



ШИЛЛЕР

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ**

**ФРИДРИХ  
ШИЛЛЕР**

---

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

---

**В СЕМИ ТОМАХ**

  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА 1957

# ФРИДРИХ ШИЛЛЕР

---

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

---

ТОМ ПЯТЫЙ

ИСТОРИЧЕСКИЕ  
СОЧИНЕНИЯ

СТАТЬИ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

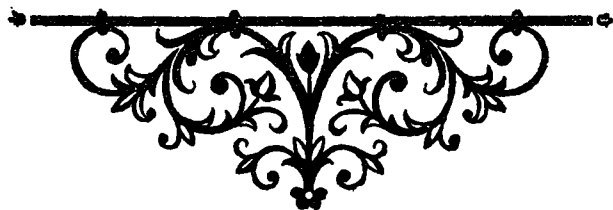
МОСКВА 1957

*Издание осуществляется*  
*под общей редакцией*  
**Н. Н. ВИЛЬМОНТА и Р. М. САМАРИНА**

*Переводы с немецкого*  
*под редакцией*  
**А. С. КУЛИШЕР**



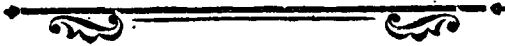
ИСТОРИЧЕСКИЕ  
СОЧИНЕНИЯ





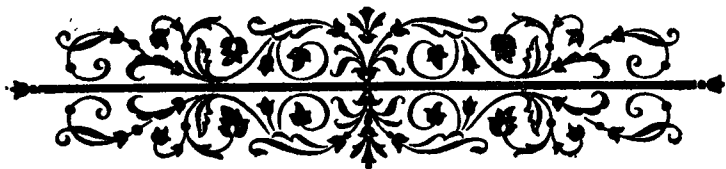


**ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ  
ВОЙНА**









## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### КНИГА ПЕРВАЯ

С начала религиозной войны в Германии вплоть до Мюнстерского мира едва ли возможно указать в политической жизни Европы какое-либо значительное и выдающееся событие, в котором реформация не играла бы первенствующей роли. Все мировые события, относящиеся к этой эпохе, тесно связаны с обновлением религии или прямо проистекают из него, и не было ни одного большого или малого государства, которое в той или иной мере, косвенно или непосредственно, не испытало бы на себе влияние реформации.

Свою огромную политическую мощь испанский царствующий дом почти целиком обратил против новых воззрений и их приверженцев. Реформация была причиной гражданской войны, которая в продолжение четырех бурных правлений потрясала самые основы Франции, вызвала ввод иноземных войск в самое сердце этой страны и в течение полувека делала ее ареной прискорбнейших бедствий. Реформация сделала испанское иго невыносимым для нидерландцев; она пробудила в этом народе стремление и мужество сбросить с себя ярмо; она же более всего дала ему и силы для этого подвига. Все враждебные акты, которые предпринимал Филипп II против королевы Английской Елизаветы,

были мезью за то, что она защищала от него его протестантских подданных и стала во главе религиозной партии, которую он стремился стереть с лица земли. В Германии последствием церковного раскола было продолжительное политическое разъединение, которое хотя и обрекло эту страну более чем столетней смуте, но зато воздвигло устойчивый оплот против грозившего ей политического угнетения. Реформация была важнейшей причиной вступления скандинавских держав, Дании и Швеции, в европейскую государственную систему, так как союз протестантских государств стал необходимым для них самих. Государства, ранее почти не сносившиеся друг с другом, под влиянием реформации находили весьма важные точки соприкосновения и начали объединяться на основе новой политической солидарности. Подобно тому как граждане вследствие реформации стали в иные отношения к своим согражданам, а государи — к своим подданным, так возникли и новые взаимоотношения между государствами. Итак, по странному стечению обстоятельств церковный раскол привел к более тесному объединению государств. Правда, страшно и губительно было первое проявление этого всеобщего политического взаимного тяготения — тридцатилетняя опустошительная война, от глубин Чехии до устья Шельды, от берегов По до прибрежья Балтийского моря разорявшая целые страны, уничтожавшая урожаи, обращавшая в пепел города и деревни; война, в которой нашли гибель многие тысячи воинов, которая более чем на полвека погасила вспыхнувшую в Германии искру культуры и возвратила к прежней варварской дикости едва зародившиеся добрые нравы. Но свободной и непорабощенной вышла Европа из этой страшной войны, в которой она впервые познала себя как целокупную общину государств; и одной этой всеобщей взаимной симпатии государств, впервые зародившейся, собственно, в эту войну, было бы достаточно, чтобы примирить гражданина мира с ее ужасами. Усердный труд постепенно загладил все пагубные ее следы; но благодатные следствия, сопровождавшие ее, укоренились. То самое всеобщее взаимное тяготение государств, вследствие которого толчок

из Чехии сообщился целой половине Европы; охраняет теперь мир, положивший конец этой войне. Как пламя опустошения, вырвавшись из глубин Чехии, Моравии и Австрии, схватило Германию, Францию, половину Европы, так светильник культуры, зажженный в этих трех государствах, озарил все эти страны.

Все это было делом религии. Она одна могла сделать возможным все то, что случилось, но все это произошло далеко не ради нее и не только из-за нее. Если бы вскоре не присоединились к ней частная выгода и государственные интересы, то никогда голос богословов и народа не встретил бы в государях такой готовности, никогда новое учение не нашло бы столь многочисленных, столь мужественных и стойких поборников. Большая доля участия в церковном перевороте принадлежит бесспорно победоносной мощи истины или того, что принимали за истину. Злоупотребления в лоне старой церкви, нелепость некоторых ее учений, непомерность ее требований неизбежно должны были возмутить душу, уже озаренную предвидением лучшего света, должны были склонить ее к обновленной вере. Прелесть независимости, расчет на богатство монастырей должны были внушить владетельным князьям соблазнительную мысль переменить веру и в немалой степени усиливали мотивы, вытекавшие из внутреннего убеждения; но лишь государственные соображения могли принудить их к решительному выступлению. Если бы Карл V, чрезмерно упоенный своими удачами, не позволил себе посягнуть на политическую свободу германских чинов, то едва ли протестантский союз встал бы с оружием в руках на защиту свободы религиозной. Не будь властолюбия Гизов, вряд ли кальвинистам во Франции довелось бы видеть Конде или Колиньи своими вождями; не будь требования десятины и двадцатины, папский престол никогда не потерял бы Соединенных Нидерландов. Государи воевали для самозащиты или ради увеличения своих владений; религиозный энтузиазм набирал им армии и открывал им сокровищницы их народов. В тех случаях, когда массу привлекала под знамена государей не одна лишь надежда на добычу, она верила, что проливает кровь за

правду; на самом деле она проливалась ее ради выгоды своего властителя.

И счастье для народов, что на этот раз выгода государей шла рука об руку с их выгодой! Лишь этому случайному обстоятельству обязаны они своим освобождением от папства. Счастье государей, что их подданный, сражаясь за их интересы, тем самым боролся и за свое дело! В эпоху, о которой идет речь, в Европе не было государя настолько самодержавного, чтобы он, преследуя свои политические цели, имел возможность не считаться с доброй волей своих подданных. А между тем как трудно было привлечь эту добрую волю народа к своим политическим целям и привести ее в действие! Убедительнейшие доказательства, почерпнутые из государственных соображений, нимало не трогают подданного; он редко понимает их и еще реже связывает с ними свои интересы. В этом случае умелому правителю остается одно: сочетать интересы государства с какими-либо иными интересами, более близкими народу, если таковые имеются, или же создать их.

В таком именно положении находилось большинство государей, вставших на защиту реформации. По своеобразному стечению обстоятельств церковный раскол совпал с двумя политическими явлениями, без которых он, вероятно, получил бы совсем иное направление. Это были: неожиданно возросшее могущество Австрийского царствующего дома, ставшее угрозой для европейской свободы, и ревностная преданность этого дома старой религии. Первое разбудило государей, второе вооружило для них подвластные им народы.

Упразднение чужой юрисдикции в их государствах, приобретение высшей власти в делах духовных, сокращение постоянного отлива денег в Рим, расчет на богатую добычу от церковных владений — таковы были выгоды, одинаково соблазнительные для всякого властелина. Почему, можно спросить, не оказали они такого же действия на государей Австрийского дома? Что мешало этому дому, в особенности его германской линии, внять настоятельным требованиям столь многих своих подданных и по примеру других властителей улучшить свое положение за счет беззащитного духовен-

ства? Маловероятно, что убеждение в непогрешимости римской церкви играло в благочестивой стойкости этого дома большую роль, нежели убеждение в противном — в отпадении протестантских государей. Много побудительных причин соединилось для того, чтобы сделать австрийских государей опорой папства. Испания и Италия, откуда австрийская держава черпала значительную долю своей мощи, были привержены папскому престолу со слепой преданностью, особенно отличавшей испанцев еще во времена готского владычества. Малейшая склонность к ненавистным учениям Лютера и Кальвина должна была навек отвратить от повелителя Испании сердца его подданных; разрыв с папством мог стоить ему этого королевства. Испанский король должен был оставаться католическим государем или сойти с престола. То же самое обязательство возлагали на него и итальянские владения, население которых он, пожалуй, вынужден был падить еще более, чем испанцев, так как оно всего нетерпеливее сносило иноземное иго и всего легче могло его свергнуть. Но всему этому присоединилось то обстоятельство, что в обеих странах Франция являлась его соперником, а папа соседом — достаточно важные препятствия к тому, чтобы объявить себя сторонником партии, стремившейся к уничтожению авторитета папы, достаточно веские основания для того, чтобы действительной преданностью старой религии снискать благосклонность папства.

Эти общие причины, которые должны были иметь одинаковое значение для каждого испанского монарха, находили у каждого поддержку еще по особым мотивам. У Карла V. имелся в Италии опасный соперник в лице короля французского, в объятия которого эта страна бросилась бы, как только Карл был бы заподозрен в склонности к ереси. Недоверие католиков и распря с церковью особенно препятствовали бы Карлу в тех замыслах, которые он ревностнее всего стремился осуществить. Когда Карлу пришлось выбирать между обеими религиозными партиями, новая вера не успела еще приобрести значение в его глазах; к тому же тогда имелись еще весьма основательные надежды на любовное соглашение церквей. В его сыне и наследнике,

Филиппе II, монашеское воспитание в соединении с мрачным деспотическим характером поддерживало непримиримую ненависть ко всяким новшествам в делах религии; а то обстоятельство, что злейшие политические противники этого государя были в то же время врагами его религии, едва ли могло ослабить эту ненависть. Так как его европейские владения, рассеянные среди столь многих иностранных государств, были повсюду открыты воздействию чужих воззрений, то он, разумеется, не мог равнодушно взирать на успехи реформации в других странах, и кровные государственные интересы заставляли его принять сторону старой церкви для того, чтобы заглушить самые источники еретической заразы. Таким образом, вполне естественный ход вещей ставил этого государя во главе католицизма и союза, заключенного папистами против сторонников новшеств. То, что проводилось во время долгих, отмеченных энергичной деятельностью правлений Карла V и Филиппа II, осталось законом и для следующих, и чем более усиливался раскол в лоне церкви, тем крепче должна была Испания держаться католицизма.

Германская линия Австрийского дома была по видимости свободнее; но если многие из этих препятствий были для нее несущественны, то ее сковывали другие отношения. Корона Священной Римской империи, совершенно немислимая на голове протестанта (ибо как мог отступник от римской церкви носить римскую императорскую корону?), связывала преемников Фердинанда I с папским престолом; сам Фердинанд по своим религиозным убеждениям был искренно предан этому престолу. К тому же германо-австрийские государя не были достаточно сильны, чтобы обойтись без испанской поддержки, которой они неминуемо лишились бы, если бы стали покровительствовать новой религии. С другой стороны, их императорский сан заставлял их встать на защиту германской имперской системы, которая была основой их власти и которую стремилась разрушить протестантская часть империи. Если прибавить к этому равнодушие протестантов к стесненному положению императоров и к общим опасностям,

грозившим империи, их насильственное вмешательство в мирские интересы церкви и их враждебное поведение там, где они чувствовали себя сильнее, то легко понять, что взаимодействие столь многих причин удержало императоров на стороне папства и что их собственные интересы должны были вполне отождествиться с интересами католической религии. Так как, быть может, судьба этой религии целиком зависела от решения, принятого Австрийским домом, то вся Европа должна была смотреть на государей австрийских как на столпов папства. Поэтому ненависть протестантов к папству единодушно обратилась против Австрии и постепенно смешала защитника с делом, которое он защищал.

А между тем этот самый Австрийский дом, непримиримый противник реформации, своими честолюбивыми замыслами, которые опирались на его огромную силу, стал грозить политической свободе европейских государств, в особенности — германских владетельных князей. Это обстоятельство должно было возбудить в них тревогу и заставить подумать о самозащите. На борьбу со столь грозной силой отнюдь не могло хватить их обычных денежных средств. Им пришлось потребовать от своих подданных чрезвычайного напряжения, а так как этого далеко не было достаточно — просить помощи у соседей и, заключив союзы, бороться сообща с силой, против которой каждому из них позорно не удалось бы устоять.

Но важные политические соображения, заставлявшие государей противиться успехам Австрии, были чужды их подданным. Лишь непосредственные выгоды или непосредственные бедствия могут привести народ в движение, а ведь искусная государственная политика не может дожидаться этого момента. Трудно пришлось бы этим государям, если бы, к счастью для них, на помощь им не явились другие мотивы, под влиянием коих народ был охвачен страстью и воспылал одушевлением, которое могло быть направлено и против политической опасности, так как предмет у них был один! Этими мотивами была исступленная ненависть к религии, на защиту которой встал Австрийский



дом, фанатическая приверженность к учению, которое этот дом старался искоренить огнем и мечом. Пламенна была эта приверженность, неодолима эта ненависть! Религиозный фанатизм боится самой отдаленной опасности; фантасты никогда не рассчитывают, чем они жертвуют. Если величайшая опасность, грозившая государству, не могла всколыхнуть граждан, то это сделало религиозное воодушевление. Немного рук добровольно взялось бы за оружие ради государства, ради интересов государя; во имя веры охотно хватались за меч купец, художник, пахарь. Ради государства или ради государя старались бы уклониться от самого незначительного чрезвычайного налога; во имя религии отдавали добро и жизнь, все свои земные надежды. Утроенные суммы стекались теперь в государственную казну, утроенное количество войск выступало в поле; в неистовом возбуждении, охватившем все сердца при мысли о том, что религия в опасности, подданный не чувствовал тягот, под бременем которых в более спокойном душевном состоянии он склонился бы, истощенный. Боязнь испанской инквизиции, варфоломеевских ночей открывает принцу Оранскому, адмиралу Колиньи, королеве Британской Елизавете, протестантским государям Германии возможность черпать в своих народах средства, размеры которых поражают нас по сию пору.

Но и при величайшем напряжении всех сил едва ли удалось бы сделать что-либо с державой, которая была сильнее всякого, даже самого могущественного государя, взятого в отдельности. Между тем в эпоху крайне слабого развития политической жизни лишь случайные обстоятельства могли побудить отдаленные государства оказывать друг другу помощь. Различие государственного строя, законов, языка, нравов, национального характера разбивало народы и страны на соответственные обособленные единицы и разделяло их непроходимой стеной, делая одно государство нечувствительным к тяжкому положению другого, а то и возбуждая в нем, в силу национальной зависти, враждебное злорадство. Реформация разрушила эту стену. Отдельные граждане и целые государства стали вооду-

шевяться болѣе живымъ и болѣе близкимъ имъ интересомъ, чѣмъ національная выгода или любовь къ отечеству, интересомъ, который оставался совершенно независимымъ отъ гражданскихъ отношеній. Этотъ интересъ могъ связывать многіе, даже самыя отдаленныя, государства и могъ въ то же время отсутствовать у гражданъ одного и того же государства. Такимъ образомъ, французскій кальвинистъ могъ имѣть съ женевскимъ, англійскимъ, немецкимъ или голландскимъ реформатомъ точки соприкосновения, которыхъ у него не было съ его католическими согражданами. Поэтому въ одномъ чрезвычайно важномъ отношеніи онъ, можно сказать, переставалъ быть гражданиномъ отдельнаго государства, ограничивать свое вниманіе и участіе однимъ этимъ государствомъ. Его кругозоръ расширяется; по судьбѣ иныхъ странъ, держащихся одной съ нимъ веры, онъ начинаетъ предвидѣть свою собственную судьбу и ихъ дѣло считать своимъ дѣломъ. Лишь теперь могли государи осмелиться представить дѣла иноземныя на обсужденіе собранія своихъ земскихъ чиновъ, лишь теперь могли они надеяться найти въ нихъ вниманіе и быструю помощь. Эти чужіе дѣла стали для нихъ своими, и единоверцу охотно протягивали руку помощи, которой раньше не дождался бы соседъ, а далекий иноземецъ — и подавно. Теперь уроженецъ Пфальца покидаетъ родину, чтобы сражаться противъ общаго религіознаго врага за своихъ французскихъ единоверцевъ. Французскій подданный, обнажая мечъ противъ родины, подвергающей его гоненіямъ, идетъ проливать кровь за свободу Голландіи. Теперь швейцарцы бьются противъ швейцарцевъ, немцы противъ немцевъ, решая на берегахъ Луары и Сены вопросы престолонаследія во Франціи. Датчанинъ переходитъ черезъ Эйдеръ, шведъ переправляется черезъ Бельтъ, чтобы разбить цепи, предназначенныя для Германіи.

Очень трудно сказать, что случилось бы съ реформациею и со свободой Германской имперіи, если бы грозный Австрійскій домъ не ополчился на нее. Но можно, кажется, считать доказаннымъ, что ничто такъ не препятствовало созданію задуманной австрійскими государями всемирной монархіи, какъ та упорная борьба, которую они вели съ новымъ мировоззреніемъ. Ни въ какомъ

другом случае не удалось бы более слабым владетельным князьям добиться от своих подданных тех необычайных усилий, которые они противопоставили австрийской державе; ни в каком другом случае государствам не удалось бы соединиться против общего врага.

Никогда могущество Австрии не было так велико, как после победы Карла V при Мюльберге, где он разбил немцев. Казалось, что со Шмалькальденским союзом навеки погибла свобода Германии; но она воскресла в Морице Саксонском, ее опаснейшем враге. Все плоды победы при Мюльберге были потеряны на конгрессе в Пассау и на имперском сейме в Аугсбурге, и все мероприятия, направленные к усилению светского и духовного гнета, сведены к нулю мирными уступками.

На этом имперском сейме в Аугсбурге Германия распалась на две религии и на две политические партии, распалась лишь тогда, потому что лишь тогда этот раскол был узаконен. До той поры на протестантов смотрели как на мятежников; теперь решили относиться к ним как к братьям — не потому, чтобы их признали таковыми, а потому, что пришлось пойти на это: аугсбургское исповедание могло теперь ставить себя наравне с католической религией, пользуясь, однако, лишь временным ограниченным равноправием в качестве соседа, которого терпят поневоле. Каждый светский владетельный князь получил право объявить религию, которую он сам исповедует, господствующей и единственной в своих владениях и преследовать свободное исповедание всякой другой. Каждому подданному разрешено было покинуть страну, где угнетена его религия. Таким образом, лишь теперь учение Лютера впервые добилось положительной санкции, и если даже оно пресмыкалось во прахе где-нибудь в Баварии или Австрии, то могло утешиться тем, что царит в Саксонии и в Тюрингии. Но одни только владетельные князья имели право решать, какая религия допускается в их землях и какая изгоняется из них; о подданных, которые на этом имперском сейме не имели никаких представителей, в этом мирном договоре не позаботились. Лишь в церковных владениях,

где католическая религия оставалась безусловно господствующей, протестантским подданным (то есть лицам, которые к тому времени уже были протестантами) было предоставлено право свободного исповедания их веры; но и это право было дано лишь в виде личного обещания короля Римского Фердинанда, заключившего этот мир, обещания, которое, встретив возражения со стороны государей-католиков, было внесено в мирный трактат с этими возражениями и потому не получило законной силы.

Впрочем, если бы причиной общего несогласия были только взгляды, — как равнодушно смотрели бы все па это несогласие! Но с этими взглядами были связаны богатства, высокие звания, права, — обстоятельства, бесконечно затруднявшие раздел. Из двух братьев, до сих пор совместно владевших отцовским достоянием, один покидал теперь отчий дом, и, следовательно, возникала необходимость разделить с остающимся братом. Отец не сделал никаких распоряжений на случай этого раздела, потому что он не мог его предвидеть. Богатства церкви были накоплены в течение целого тысячелетия; они составились из пожертвований предков на дела благотворения, и эти предки принадлежали уходящему брату в той же степени, как и остающемуся. Связано ли право наследования с отцовским домом или с отцовской кровью? Пожертвования были сделаны католической церкви потому, что тогда не было еще никакой другой; первенцу — потому, что тогда он был единственным сыном. Должно ли было в лоне церкви признаваться право первородства, как в дворянских семьях? Было ли законно предпочтение, оказанное одной стороне в тот момент, когда другой еще не существовало? Могли ли лютеране быть лишены права пользования достоянием, которое составилось из пожертвований их же предков, лишены единственно потому, что во времена пожертвования еще не было никакого различия между лютеранами и католиками? Обе религиозные партии выступали друг против друга в этом спорном деле с видимой основательностью, выступают и до сих пор; но доказать свою правоту было одинаково трудно и для той и для другой. Право

располагает решениями только для таких случаев, какие можно представить себе заранее, и, быть может, церковные пожертвования не принадлежат к таковым, — не принадлежат по крайней мере тогда, когда требования жертвователей распространяют на догматические положения. Мыслимо ли связывать вековечное пожертвование с изменяющимися воззрениями?

Когда бессильно решить право, решает сила; так было и в этом случае. Одна часть удержала за собой то, чего у нее уже нельзя было отнять; другая защищала то, чем еще владела. Все епископства и аббатства, секуляризованные до заключения мира, остались за протестантами; но паписты обезопасили себя специальной оговоркой, что в будущем секуляризаций больше не будет. Всякий господин церковного владения, непосредственно подчиненного империи, — курфюрст, епископ или аббат, — теряет свои доходы и сан, как только он переходит в протестантство. Он обязан тотчас же оставить свои владения, и капитул приступает к новым выборам совершенно так же, как в том случае, если бы место его освободилось вследствие его смерти. На этом священном якоре «церковной оговорки» (*Reservatio ecclesiastica*), ставившем все земное благополучие князя церкви в зависимость от его вероисповедания, держится до сих пор католическая церковь Германии, — и что случилось бы с ней, если бы этот якорь не выдержал? «Церковная оговорка» наткнулась на ожесточенное сопротивление со стороны протестантских чинов, и хотя они в конце концов внесли ее в мирный договор, однако потребовали, чтобы прямо было сказано, что соглашение обеих партий по этому пункту не было достигнуто. Могла ли такая оговорка иметь для протестантской стороны большую силу, нежели для католиков — обещание Фердинанда обеспечить свободу совести протестантских подданных в церковных владениях? Таким образом, в мирном договоре сохранились два спорных пункта; они и повлекли за собой войну.

Так обстояло дело со свободой совести и с церковными владениями; в таком же положении был вопрос о правах и званиях. Германская имперская система

была рассчитана на единую церковь, потому что, когда эта система создавалась, никакой другой церкви не было. Затем в церкви произошел раскол, имперский сейм распался на две религиозные партии — как могла имперская система отныне покоиться исключительно на одной из них? Все императоры до сих пор были сынами римской церкви, потому что до сих пор римская церковь в Германии не имела соперницы. Но что, собственно, составляло сущность германского императора: связь с Римом или сама Германия, находившая в этом императоре свое воплощение? Между тем в состав всей Германии входит также и ее протестантская часть; каким же образом может эта часть находить свое воплощение в непрерывном ряде католических императоров? В высшем имперском суде германские чины сами судят себя, потому что из их среды набираются судьи; смысл этого учреждения заключается именно в сознании, что чины сами себя судят, что всем им оказывается равная справедливость; сможет ли эта идея осуществиться, если заседать там будут представители одного лишь, а не обоих вероисповеданий? То, что в момент основания этого учреждения в Германии царил единая вера, — случайность; основной целью учреждения имперского суда было воспрепятствовать тому, чтобы один властитель угнетал другого на основании закона. Между тем цель эта, очевидно, не будет достигнута, если одной религиозной партии будет принадлежать исключительное право судить другую. Но можно ли пожертвовать основной целью, если изменились случайные обстоятельства? Лишь с большим трудом добились протестанты в конце концов одного места в верховном суде для представителя своей религии, но не могли добиться равновесия голосов. Императорской короной не был еще увенчан ни один протестантский государь.

Вообще, как ни расценивать равенство, установленное религиозным миром в Аугсбурге между обеими немецкими церквами, победительницей отсюда бесспорно вышла католическая. Все, чего добилась лютеранская, была терпимость; все, что уступила католическая, было уступкою необходимости, но не

справедливости. Все еще не был достигнут мир между двумя равноправными силами; был лишь договор между господином и неусмирленным мятежником. Именно этот принцип руководил, повидимому, всеми действиями католической церкви по отношению к протестантской, руководит ими как будто и посейчас. Все еще считалось преступлением перейти в протестантство, и для отпавшего князя церкви это влекло за собой тяжкие потери, предусмотренные «церковной оговоркой». И в дальнейшем католическая церковь предпочитала идти на риск потерять все под гнетом насилия, нежели добровольно и по справедливости отказаться от маленькой выгоды; ибо всегда оставалась надежда вернуть себе отнятое и всегда потеря рассматривалась лишь как нечто случайное; наоборот, отказ от притязания, право, добровольно признанное за протестантами, потрясало самые основы католической церкви. Даже при заключении религиозного мира это начало оставалось руководящим. Все уступки, сделанные протестантам в мирном договоре, были сделаны с оговорками. Все — так было прямо сказано в акте — имеет силу лишь до ближайшего собора, который займется воссоединением обеих церквей. Лишь в том случае, если эта последняя попытка не увенчается успехом, религиозный мир получит безусловную силу. Как ни слаба была надежда на такое воссоединение, как ни мало, быть может, верили в него сами католики, выгода для них все же заключалась в том, что мир был ограничен хотя бы этим условием.

Итак, этот религиозный мир, долженствовавший навеки загасить пламя междоусобной войны, был по существу лишь временной мерой, делом необходимости и насилия; он не был продиктован велениями справедливости, не был плодом обновленных понятий о религии и свободе совести. Такого религиозного мира не могли дать католики, и — сказать правду — до такого мира не доросли еще и протестанты. Далекое от того, чтобы проявлять по отношению к католикам полную справедливость, они душили там, где могли, кальвинистов, которые, разумеется, заслуживали терпимости в этом лучшем смысле не более всех остальных, так как

сами столь же далеки были от ее применения. Для такого религиозного мира еще не пришло время, и еще слишком большая смута царила в умах. Как могла одна сторона требовать от другой того, что сама она не в состоянии была дать? Все, что спасла или выиграла та или иная религиозная партия по Аугсбургскому миру, было результатом случайного соотношения сил во время заключения мира. То, что было приобретено силой, могло быть охранено только силой; стало быть, это равновесие сил должно было сохраниться и на будущее время — или же религиозный мир перестал бы существовать. Мечом были намечены границы между обеими церквами; меч должен был охранять их и в будущем — и горе стороне, преждевременно сложившей оружие! Уже теперь этот мир сулил покою Германии сомнительное, страшное будущее!

Пока что в империи царило временное затишье, и непрочное согласие как будто вновь объединяло расторгнутые части в *единое* государственное целое, так что на некоторое время вновь возродилось стремление к общему благополучию. Но разрыв коренился в самых глубинах, и момент, удобный для восстановления бывшего согласия, был упущен. Как ни точно, казалось, были установлены миром границы прав обеих сторон, они, однако, подвержены были весьма разнообразным толкованиям. В разгаре яростной борьбы договор определял для враждующих сторон лишь временное умиротворение; он прикрыл огонь, но не погасил его, и неудовлетворенные притязания сохранились у обеих партий. Католикам казалось, что они потеряли слишком много; евангелистам — что они отвоевали слишком мало; каждая из сторон искала выхода в том, что, еще не смея нарушить мир, толковала его соответственно своим целям.

Могущественный мотив — секуляризация церковных имуществ, побудивший столь многих протестантских государей склониться к принятию учения Лютера, остался и после заключения мира в той же силе, что и раньше, и все такие имуществва, еще не попавшие в их руки, должны были вскоре перейти к ним. Вся Нижняя Германия была секуляризована с чрезвычайной



быстротой, и если в Верхней Германии дело обстояло иначе, то лишь вследствие живейшего сопротивления католиков, которые здесь имели перевес. Каждая партия угнетала или притесняла сторонников другой там, где она была сильнее. Особенно настойчиво теснили церковных владетелей, как слабейших членов империи, их некаатолические соседи, жаждавшие расширить свои владения. Кто был слишком слаб, чтобы противопоставить насилию насилие, тот искал защиты под сенью закона, и жалобы на протестантских чинов накапливались в имперском суде, который с готовностью выносил решения, осуждавшие виновную сторону, но не располагал достаточной поддержкой, чтобы вводить их в силу. Аугсбургский мир, предоставивший чинам империи полную свободу совести, до некоторой степени все же позаботился также и о подданном, выговорив ему право беспрепятственно покидать страну, где его религия подвергалась преследованиям. Но от насилий, которым подвергался ненавистный подданный со стороны своего государя; от невыразимых мучений, какими затруднялось его переселение; от искусно расставленных тенет, какими хитрость в союзе с силой может опутать умы людей,— от всего этого мертвая буква договора не могла охранить никого. Католический подданный протестантских государей громко жаловался на нарушения религиозного мира; евангелический еще громче жаловался на притеснения, какие он терпел от своих католических владык. Ожесточение и озлобление богословов разжигали души и обостряли всякую мелочь, как бы ни была она ничтожна сама по себе; хорошо еще, когда эта богословская ярость изливалась на общего религиозного врага, не обрызгивая ядом своего собственного единоверца.

Для того чтобы удержать обе враждующие партии в равновесии и таким образом продлить мир, было бы в конце концов достаточно единства протестантов между собой, но в довершение общей смуты вскоре исчезло и это единство. Учение, распространенное Цвингли в Цюрихе и Кальвином в Женеве, вскоре стало укореняться и в Германии и сеять раздоры между протестантами, так что теперь они едва ли могли рас-

познавать друг друга по чему-либо, кроме общей ненависти к папству. Протестанты этого времени уже не были похожи на тех, которые полвека тому назад изложили свое исповедание в Аугсбурге, и причиной перемены является именно это аугсбургское исповедание. Оно поставило протестантской религии твердые границы, прежде чем пробудившийся дух исследования мог примириться с этими границами, и протестанты по неведению потеряли часть преимуществ, которые им обеспечивало отпадение от папства. Одинаковых жалоб на римскую иерархию и на злоупотребления в римской церкви, одинакового отрицания католических доктрин было бы достаточно, чтоб объединить протестантскую церковь. Но они искали этого объединительного начала в новой положительной религиозной системе, в ней видели отличительные признаки, преимущества и сущность своей церкви и лишь к ней относили договор, заключенный с католиками. Религиозный мир они заключили лишь в качестве приверженцев определенного вероучения: одни только приверженцы этого вероучения могли пользоваться благами этого мира. Таким образом, каков бы ни был исход для кальвинистов, дело обстояло одинаково печально. Требование строго придерживаться аугсбургского исповедания надолго ограничивало дух исследования; несогласие в толковании установленной формулы означало гибель объединяющего начала. К несчастью, произошло и то и другое, и печальные последствия того и другого не замедлили обнаружиться. Одна сторона крепко держалась первого (аугсбургского) исповедания, и если кальвинисты отступали от него, то лишь для того, чтобы таким же образом замкнуться в новом вероучении.

Протестанты не могли доставить своему общему врагу лучшего аргумента против себя, чем это внутреннее разногласие, не могли доставить более утешительного зрелища, чем взаимное ожесточение, с каким они преследовали друг друга. Кто мог осуждать католиков за то, что они высмеивали занесчивость, с которой эти преобразователи веры выставляли себя провозвестниками единственно истинной религии? Ведь оружие в борьбе против протестантов католики брали не у кого

другого, как у самих протестантов; ведь эта борьба воззрений укрепляла их веру в авторитет *своей* религии, за которую к тому же говорила почтенная давность и еще более почтенное большинство. Но протестантам пришлось испытать еще более неприятные последствия своих несогласий. Религиозный мир имел в виду исключительно единоверцев, и католики требовали теперь от протестантов объяснения, *кого* именно они считают своими единоверцами. Совесть не позволяла евангелистам принять в свою среду реформатов; между тем они не могли исключить их из нее, не превращая полезного друга в опасного врага. Так этот злополучный разрыв проложил путь махинациям иезуитов, которые постарались посеять недоверие между обеими сторонами и разрушить единство их действий. Скованные двойным страхом пред католиками и пред своими протестантскими противниками, протестанты упустили невозвратимый момент, когда им еще возможно было отвоевать для своей церкви права, совершенно равные правам римской церкви. И всех этих затруднений они могли бы избежать, отпадение реформатов не причинило бы ни малейшего ущерба общему делу, если бы основы для объединения искали не в одних только аугсбургских исповеданиях и согласительных писаниях, а в совместном отдалении от папства.

Но как ни велики были несогласия во всех прочих отношениях, в одном, однако, были согласны все: в том, что безопасность, достигнутая посредством равновесия сил, может быть в будущем сохранена только этим же равновесием. Нескончаемые новшества в одной партии и противодействие им со стороны другой поддерживали бдительность обеих сторон, и толкование религиозного мира было поводом к вечному спору. В каждом шаге противной партии усматривали нарушение мира, каждый шаг, сделанный своими, предпринимался якобы для сохранения этого мира. Не все действия католиков имели целью нападение, как в этом их обвиняла противная сторона; многое из того, что они делали, вызывалось необходимой самозащитой. Протестанты показали самым недвусмысленным образом, чем рискуют

католики, если на их долю выпадает несчастье быть побежденной стороной. Жадные взоры протестантов, с вожделением прикованные к церковным владениям, не давали католикам никакой надежды на пощаду, их собственная ярость не позволяла им ждать великодушия и терпимости.

Но и протестантов трудно было винить в том, что они мало доверяли честности папистов. Вероломное и варварское отношение к их единоверцам в Испании, Франции и Нидерландах, позорное обыкновение католических государей прибегать к папскому разрешению от священнейших клятвенных обещаний, гнусный принцип, по которому считалось позволительным не соблюдать обязательств, данных еретикам,— лишили католическую церковь уважения в глазах всех честных людей. Никакое обещание, никакая клятва в устах паписта не могли успокоить протестанта. Как же мог успокоить их этот религиозный мир, который иезуиты по всей Германии открыто провозглашали лишь временной уступкой, торжественно осужденной в самом Риме?

Между тем вселенский собор, предусмотренный мирным договором, собрался в городе Триденте. Однако, как и можно было ожидать, он не воссоединил враждующих религий, не сделал ни одного шага к этому воссоединению: в числе его участников не было ни одного протестанта. Теперь протестанты были торжественно прокляты церковью, за представителя которой выдавал себя собор. Мог ли светский и к тому же вынужденный силою оружия договор, опиравшийся на условие, судя по всему отмененное решениями собора, обеспечить протестантам достаточную безопасность перед лицом церковного проклятия? Таким образом, была создана и видимость права, на которую могли опираться католики, если бы только они почувствовали себя достаточно сильными, чтобы нарушить религиозный мир,— отныне протестантов не охраняло ничто, кроме уважения к их мощи.

К этому присоединялись многие обстоятельства, усиливавшие недоверие. Испания, на которую опиралась католическая Германия, вела с нидерландцами

яростную войну, привлекая ядро испанской армии к границам Германии. Как легко могло оказаться это войско в пределах империи, если бы для решительного удара потребовалось его присутствие здесь! Германия была тогда запасной военной базой почти всех европейских держав. Религиозная война собрала здесь массу солдат, которых Аугсбургский мир оставил без хлеба. Каждый из многочисленных независимых государей мог легко на вербовать войско, а затем из корысти или из личной склонности уступить его другой державе. При помощи немецких войск вел Филипп II войну с Нидерландами, которые в свою очередь пользовались для своей защиты немецкими войсками. Каждый рекрутский набор в Германии всегда угрожал какой-нибудь из религиозных партий: он мог иметь целью ее подавление. Странствующий посол, чрезвычайный папский легат, съезд государей — всякое необычное явление, очевидно, готовило гибель той или другой стороне. В таком положении пребывала Германия в течение целой половины столетия — не отрывая руки от меча, вздрагивая при любом шорохе.

В эту беспокойную эпоху империей правили Фердинанд I, король Венгерский, и его даровитый сын, Максимилиан II. С сердечной искренностью и с терпением, поистине героическим, старался Фердинанд заключить религиозный мир в Аугсбурге и потратил немало сил на неудачную попытку воссоединить церкви на Тридентском соборе. Этому императору, оставленному на произвол судьбы его племянником Филиппом Испанским и теснимому в то же время в Семиградье и Венгрии победоносными войсками турок, разумеется, не могло прийти в голову нарушить религиозный мир и уничтожить собственное свое создание, стоившее ему таких трудов. Громадные издержки на нескончаемую турецкую войну не могли быть покрыты скудными доходами с его истощенных наследственных владений. Ему необходима была помощь Германии, а расчлененную империю теперь связывал воедино лишь религиозный мир. С точки зрения экономических нужд протестанты были ему не менее необходимы, чем католики, и он был вынужден обращаться с обеими сторонами равно справед-

ливо, что при столь противоречивых требованиях было поистине исполинскою задачей. Но успех его политики отнюдь не отвечал его пожеланиям: его уступки протестантам явились лишь причиной войны, которой уже не узрели его тускнеющие очи, но которая выпала на долю его внуков. Не более его был счастлив его сын Максимилиан, которому, быть может, лишь обстоятельства и преждевременная смерть помешали возвести новую религию на трон империи. Отца учила падать протестантов необходимость; необходимость и справедливость учили этому и его сына. Внук дорогого поплатился за то, что он не внял голосу справедливости и не покорился требованиям необходимости.

Шестерых сыновей оставил Максимилиан, но лишь старший из них, эрцгерцог Рудольф, унаследовал его владения и вступил на императорский престол; остальные братья получили небольшие уделы. Немногие владения принадлежали боковой линии и перешли к их дяде Карлу Штирийскому; но и они, при его сыне Фердинанде II, соединились с остальными наследственными землями Австрии. Таким образом, за исключением этих уделов, вся огромная вотчина Австрийского дома соединилась теперь в одной руке, к несчастью — совершенно бессильной.

Рудольф II не был лишен добродетелей, которые могли снискать ему общую любовь, если бы ему выпал жребий человека, не предназначенного для выдающейся роли. По характеру он был мягок; он любил мирную жизнь и занимался науками — особенно астрономией, естествоведением, химией и археологией — со страстным интересом, который, однако, в такое время, когда неустойчивое положение дел требовало его напряженнейшего внимания, а истощенные финансы — величайшей бережливости, отвлекал его от государственных дел и толкал к пагубной расточительности. Его интерес к астрономии расплывался в астрологических мечтаниях, которым так легко предается дух меланхолический и робкий. Это обстоятельство в связи с тем, что юность свою он провел в Испании, делало его восприимчивым к наихудшим советам иезуитов и внушениям испанского двора, которые в конце концов приобрели

над ним безраздельную власть. Увлекаемый занятиями, столь мало достойными его высокого сана, постоянно страхась смехотворных предсказаний, он был, по испанскому обычаю, невидим для своих подданных; он скрывался от них среди своих резных камней и древностей, в своей лаборатории, в своих конюшнях — в то время как жесточайшая вражда разрывала все узы, связующие государственный организм Германии и пламя мятежа уже достигло ступеней его трона. Доступ к нему был закрыт для всех без исключения. Неотложнейшие дела оставались неразрешенными; надежды на богатое испанское наследство погибли, потому что он не решился предложить свою руку инфанте Изабелле; империи грозила ужаснейшая анархия, потому что невозможно было добиться от него позволения избрать короля Римского, хотя у него самого не было наследников. Австрийские земские чины отказали ему в повиновении. Венгрия и Семиградье вышли из-под его власти, и Чехия не замедлила последовать их примеру. Над потомками некогда столь грозного Карла V нависла опасность, что одна часть их владений отойдет к туркам, другая — к протестантам и сами они погибнут в борьбе с грозным союзом государей, сплоченным против их могущественным европейским монархом. В Германии происходило то, что от века наблюдается там, где престолу недостает императора или императору — государственного ума. Обиженные или оставленные главой империи без помощи, чины обходились своими силами, стараясь заключением союзов заменить недостающий авторитет императора. Германия разделяется на два союза, стоящие друг против друга в полной боевой готовности. Бездеятельный и никому не нужный, равно неспособный рассеять первый и властвовать над вторым, стоит между обоими союзами Рудольф, презираемый противник одного и бессильный защитник другого. Да и чего могла ожидать Германия от государя, который не был способен охранить от внутреннего врага даже свои собственные владения? Чтобы спасти австрийскую династию от полной гибели, против Рудольфа объединяется его собственная семья, и во главе могущественного заговора становится родной его

брат. Изгнанный из всех своих наследственных владений, он мог теперь потерять лишь одно на свете — свой императорский трон, и только своевременная смерть спасает его от этого предельного позора.

Злой дух Германии дал ей в императоры Рудольфа как раз в эту критическую эпоху, когда лишь гибкий ум и могучая рука могли бы спасти мир в империи. В более спокойное время государственный организм Германии оправился бы сам собой, и Рудольф, подобно стольким другим носителям такого сана, скрывал бы в таинственной мгле свое ничтожество. Крайняя необходимость в достоинствах, каких у него не было, обнаружила его полную несостоятельность. Положение Германии требовало императора, который своими средствами мог бы придать вес своим решениям; между тем собственные владения Рудольфа, хотя и весьма значительные, находились в таком состоянии, что правителю чрезвычайно трудно было с ними справиться.

Правда, австрийские государи были католиками и даже столпами папства; но их владения отнюдь не могли считаться католическими землями. Новые воззрения проникли в эти страны и вследствие затруднительного положения Фердинанда и кротости Максимилиана быстро распространились здесь. В австрийских землях происходило в малом масштабе то, что в Германии имело место в больших размерах. Большая часть знати и рыцарства принадлежала к евангелическому исповеданию, и в городах протестанты также получили значительный перевес. После того как протестантам удалось провести некоторых лиц из своей среды в ландтаг, они стали неприметно захватывать в ландтаге одно место за другим, одну коллегия за другой, вытесняя католиков отовсюду. Против многочисленных представителей знати, рыцарства и городов голос немногих священнослужителей был в ландтаге слишком слаб и в конце концов совершенно замолк под влиянием непристойного издевательства и оскорбительного презрения остальных. Таким образом, весь австрийский ландтаг постепенно стал протестантским, и реформация быстрыми шагами подвигалась отныне к завоеванию официального положения. Император зависел от земских



чинов, потому что в их власти было отказывать ему в установлении новых налогов или соглашаться на эту меру. Они воспользовались стесненным финансовым положением Фердинанда и его сына, чтобы добиться от этих государей одной уступки за другой в деле свободы совести. Наконец, Максимилиан даровал знати и рыцарству право свободного исповедания их религии, но лишь в пределах их собственных владений и замков. Неукротимый фанатизм протестантских проповедников вскоре переступил эти, предписанные благоразумием, границы. Вопреки прямому воспрещению многие из них произносили проповеди в провинциальных городах и даже в Вене, и народ толпами стекался слушать это новое евангелие, самую острую приправу которого составляли непристойности и брань. Таким образом, фанатизм имел постоянную пищу, и взаимная ненависть обеих столь близких друг другу церквей была напоена ядом нечистого изуверства.

Из всех наследственных владений Австрийского дома самым ненадежным и неустойчивым была Венгрия с Семиградьем. Невозможность охранять обе эти страны от столь близкой и столь могущественной Турецкой империи довела уже Фердинанда до позорного шага — до согласия посредством взноса ежегодной дани признать верховенство Турции над Семиградьем: пагубное признание своего бессилия и роковой соблазн для беспокойного дворянства, когда оно почему-либо было недоволено своим господином! В свое время венгры подчинились Австрийскому дому не безусловно. За ними оставался свободный выбор монарха, и они упорно требовали всех государственных прав, которые неразрывно связаны с такой свободой выбора. Близкое соседство турецкой монархии и возможность легко и безнаказанно менять своего господина еще больше разжигали своеволие магнатов. Недовольные австрийским правлением, они бросались в объятия османов; неудовлетворенные османами, они возвращались под власть немецкого государя. Частые и быстрые переходы от одного властелина к другому влияли также и на их образ мыслей. Как колебалась их страна между германским и оттоманским верховенством, так колебались их по-

мысли между изменой и покорностью. Чем несчастнее чувствовали себя обе страны в приниженном положении провинций иноземной монархии, тем неодолимее становилось в магнатах желание быть подвластными повелителю из своей среды; таким образом, предприимчивому дворянину не стоило особого труда добиться их присяги. С полной готовностью любой турецкий паша предлагал мятежнику магнату, восставшему против Австрии, скипетр и корону; с такой же готовностью закрепляли в Австрии за другим магнатом области, отнятые им у Порты, радуясь, что таким образом сохраняется хоть тень верховенства и создается новый оплот против Турции. Многие из таких магнатов — Баторий, Бочкай, Ракоци, Бетлен — перебивали таким образом королями-данниками в Семиградье и в Венгрии, держась на троне благодаря одной неизменной политике — соединиться с врагом, чтобы устрашать своего господина.

Все трое владык Семиградья и Венгрии — Фердинанд, Максимилиан и Рудольф — высасывали соки из своих остальных земель, чтобы охранять эти две области от нашествий турок и от внутренних восстаний. Опустошительные войны сменялись в этих странах недолгими перемириями, которые были не намного лучше войны. Весь этот край был опустошен, и измученные жители терпели одинаково и от своих врагов и от своих защитников. Реформация проникла и в эти места, и под защитой свободы, которою пользовались земские чины, под покровом смуты она здесь заметно развивалась. Теперь неосторожно задела и ее, и в сочетании с религиозным фанатизмом дух политической крамолы стал еще опаснее. Под предводительством смелого мятежника Бочкайа семиградское и венгерское дворянство подымает знамя восстания. Венгерские мятежники намерены соединиться с недовольными протестантами Австрии, Моравии и Чехии и увлечь все эти страны в страшное *общее* восстание. Гибель Австрийского дома стала бы тогда неотвратимой, гибель папства в этих странах — неизбежной.

Давно уже эрцгерцоги австрийские, братья императора, взирали с молчаливым недовольством на упадок

своей династии. Это последнее событие окончательно определило их решение. Эрцгерцог Матвей, второй сын Максимилиана, наместник Венгрии и вероятный наследник Рудольфа, взял на себя роль спасителя гибнущего дома Габсбургов. Соблазняемый обманчивой жаждой славы, этот принц еще в юности, вопреки интересам своего дома, внял призыву нескольких нидерландских мятежников, призвавших его в свое отечество на защиту народных вольностей против его же родича, Филиппа II. В ответ на этот призыв Матвей, ошибочно приняв голос одной из политических партий за голос всего нидерландского народа, появился в Нидерландах. Но успех так же мало соответствовал желаниям брабантцев, как и его собственным ожиданиям, и он бесславно отказался от своего неразумного замысла. Тем почетнее было его новое появление на политической арене.

После того как многократные обращения Матвея к императору остались тщетными, он созвал эрцгерцогов, своих братьев и родичей, в Пресбург держать совет, что предпринять ввиду возрастающей опасности для их дома. Братья единогласно верили ему, как старшему, защиту их наследия, расточаемого скудоумным братом. Всю свою власть и все свои права отдали они в руки этого старшего, дав ему неограниченные полномочия распоряжаться всем по своему усмотрению во имя общего блага. Матвей тотчас вступил в переговоры с Портой и венгерскими мятежниками, и благодаря его ловкости удалось заключением мира с турками сохранить остатки Венгрии, а соглашением с мятежниками — права Австрии на потерянные земли. Но Рудольф, столь же дороживший своей верховной властью, сколь вяло ее защищавший, замедляет утверждение мира, в котором видит преступное покушение на свои державные права. Он обвиняет эрцгерцога в соглашении с врагом и в предательских расчетах на венгерскую корону.

Деятельность Матвея была менее всего свободна от своекорыстных намерений, но поведение императора ускорило выполнение этих намерений. Убежденный в преданности благодарных венгров, которым он даро-

вал недавно мир, убежденный своими уполномоченными в верности дворянства и опираясь в самой Австрии на значительное число приверженцев, он решается более широко огласить свои замыслы и с оружием в руках выступить против императора. Австрийские и моравские протестанты, уже готовые к восстанию и соблазняемые свободой совести, обещанной эрцгерцогом, прямо и открыто принимают его сторону, и давно задуманный союз их с мятежными венграми осуществляется. Сразу образуется страшный заговор против императора. Слишком поздно решается он исправить свою ошибку; напрасно силится он расстроить этот пагубный союз. Уже все взялись за оружие. Венгрия, Австрия и Моравия принесли присягу Матвею, который уже находится на пути в Чехию, чтобы здесь настичь императора в его замке и сразу перерезать жизненный нерв его могущества.

Королевство Чешское было для Австрии не более спокойным владением, чем Венгрия, с той только разницей, что в Венгрии в основе распри лежали причины более политического, а в Чехии — более религиозного свойства. В Чехии за сто лет до Лютера загорелось впервые пламя религиозной войны, в Чехии спустя сто лет после Лютера вспыхнул пожар Тридцатилетней войны. Секта, созданная Иоганном Гусом, все еще жила с тех пор в Чехии, согласная с римской церковью в обрядах и вероучении, за исключением только вопроса о причастии, которое гуситы принимали под обоими видами; это право предоставлено было на Базельском соборе последователям Гуса особым договором (чешские компактаты), и хотя папы впоследствии не признавали его, гуситы продолжали все-таки пользоваться им под охраной законов. Так как употребление чаши было единственным важным отличительным признаком этой секты, то приверженцы ее были известны под именем утраквистов (принимающих причастие под обоими видами), и они охотно носили это имя, напомилавшее им дорогое для них право. Но под этим именем скрывалась также гораздо более крайняя секта чешских и моравских братьев, которые расходились с господствующей церковью в гораздо более существенных пунктах

имели много общего с немецкими протестантами. У тех и других немецкие и швейцарские вероисповедные новшества быстро возымели успех, а название утравкистов, под которым они все еще умело скрывали свои измененные догматы, спасало их от преследований.

Собственно говоря, с настоящими утравкистами у них не было ничего общего, кроме названия: по существу они были подлинными протестантами. В твердой надежде на поддержку своих могущественных единоверцев и на терпимость императора, они решились в правление Максимилиана открыто выступить со своими истинными воззрениями. По примеру немцев они изложили свое вероучение, в котором как лютеране, так и реформаты усматривали большое сходство со своими верованиями, и потребовали, чтобы это новое вероучение получило все привилегии прежней утравкистской церкви. Эта просьба встретила сопротивление со стороны их католических сограждан, и они вынуждены были удовлетвориться одним лишь устным обещанием императора.

Пока был жив Максимилиан, их вероучение пользовалось полной свободой и в новом своем виде; при его преемниках дело изменилось. Был издан императорский указ, которым отменялась свобода вероисповедания для так называемых чешских братьев. «Чешские братья» ни в чем не отличались от остальных утравкистов; стало быть, суровый эдикт должен был быть распространен на всех чешских единоверцев. Поэтому все выступили в ландтаге против императорского повеления, но не имели возможности бороться с ним. Император и католические чины опирались на компакаты и на чешское земское право, где, разумеется, не было никаких оговорок в пользу религии, за которую тогда еще не высказался голос народа. Но как много изменилось с тех пор! То, что было тогда лишь незначительной сектой, стало теперь господствующей церковью; и, разумеется, желание держать новую религию под гнетом старых узаконений было не чем иным, как злостной придишкой. Чешские протестанты ссылались на устное обещание Максимилиана и на религиозную свободу

пемцев, ниже которых они ни в чем не хотели стоять. Все было напрасно: они получили отказ.

Таково было положение в Чехии, когда Матвей, уже властелин Венгрии, Австрии и Моравии, появился у Колина, чтобы возмутить и чешских чинов против императора. Положение последнего стало до крайности критическим. Покинутый прочими своими наследственными провинциями, он возлагал последнюю надежду на чехов, которые, как можно было с уверенностью предвидеть, не преминули бы воспользоваться его трудным положением для удовлетворения своих давних требований. После многолетнего промежутка он вновь появился на сейме в Праге; для того чтобы показать народу, что он действительно еще жив, пришлось настежь открыть ставни всех окон дворцовой галереи, по которой он шествовал: лучшее свидетельство того, как обстояли его дела. Случилось то, чего он опасался: чешские чины, почувствовав свою силу, ни на что не соглашались, пока им полностью не обеспечат их сословные привилегии и религиозную свободу. Напрасны были попытки вернуться путем старых уловок; судьба императора была в руках чинов, и он вынужден был подчиниться необходимости. Но они добились его согласия только на все прочие свои требования; религиозные дела он отложил до ближайшего сейма.

Теперь чехи взялись за оружие для защиты императора, и кровавая усобица должна была вспыхнуть между двумя братьями. Однако Рудольф, который ничего так не боялся, как этой рабской зависимости от своих чинов, поспешил, не дожидаясь войны, покончить миром с эрцгерцогом, своим братом. По акту формального отречения он отдал ему все, чего все равно не мог получить обратно,— Австрию и королевство Венгерское,— и признал его своим наследником на чешском престоле.

Выйдя столь дорогой ценой из величайших затруднений, император тотчас же запутался снова. Религиозные дела чехов были отложены до ближайшего сейма; этот сейм был созван в 1609 году. Они потребовали той же свободы совести, что и при прежнем императоре, собственной консистории, передачи протестан-

там Пражской академии и разрешения выбирать из своей среды дефензоров, или защитников свободы. Ответ оставался все тот же, ибо католическая сторона сковывала решимость робкого императора. Сколько ни возобновляли чины свои требования, сопровождая их угрозами, Рудольф упорно держался своего прежнего решения — не давать ничего сверх установленного старыми договорами. Сейм разошелся, не добившись ничего, и чины, возмущенные императором, решили самовольно устроить съезд в Праге, чтобы помочь себе собственными силами.

В Прагу их явилось великое множество. Сопевания происходили вопреки запрету императора, чуть не на его глазах. Уступчивость, которую он начал обнаруживать, только показала чинам, как их боятся, и усилила их задор, но в основном вопросе он оставался непреклонен. Чины выполнили свои угрозы и приняли веское решение — самовластно установить повсюду свободу исполнения обрядов своей религии и отказывать императору в удовлетворении его финансовых требований, покуда он не утвердит этого постановления. Они пошли дальше и сами выбрали себе дефензоров, в которых им отказывал император. Было назначено по десяти человек от каждого из трех сословий; было решено как можно скорее набрать войско, причем генерал-вахтмейстером был назначен граф фон Турн, глава всего движения. Столь серьезный оборот дела заставил, наконец, императора согласиться — это рекомендовали ему теперь даже испанцы. Боясь, как бы доведенные до крайности чины не бросились в конце концов в объятия короля Венгерского, он подписал примечательную «грамоту величества» чехов; ссылаясь на эту грамоту они оправдывали восстание, поднятое ими при преемниках Рудольфа.

Чешское вероисповедание, изложенное чинами перед императором Максимилианом, получало по этому документу совершенно равные права с католической церковью. Утраквистам, как продолжали называть себя чешские протестанты, предоставляется Пражский университет и собственная консистория, совершенно не зависящая от архиепископа Пражского. За ними остаются

все церкви, которыми они в момент издания этого акта владели в городах, деревнях и селениях; если у них возникнет необходимость в новых церквях, то сооружение таковых должно разрешаться рыцарям, дворянству и всем городам. Этот последний пункт грамоты величества был причиной злосчастного спора, охватившего пожаром всю Европу.

Грамота величества сделала протестантскую Чехию чем-то вроде республики. Чины познали свою силу, основанную на стойкости, согласии и единодушии. У императора осталась лишь тень его державной власти. В лице так называемых «защитников свободы» дух крамолы получил опасную поддержку. Удача Чехии была соблазнительным примером для остальных наследственных владений Австрии, и все они намеревались тем же путем добыть такие же привилегии. Дух свободы проносился из одной области в другую, а так как причиной удачи протестантов были главным образом раздоры между австрийскими принцами, то позаботились поскорее помирить императора с королем Венгерским.

Но примирение это никак не могло быть искренним. Оскорбление было слишком тяжело, чтобы его можно было простить, и в глубине души Рудольф продолжал питать неугасимую ненависть к Матвею. Он не мог отделаться от мучительной, раздражавшей его мысли, что в конце концов и чешский скипетр перейдет в столь ненавистные ему руки, а надежда на то, что Матвей умрет без наследников, была для него не слишком утешительной: тогда главой рода будет Фердинанд, эрцгерцог Грацкий, который тоже был ему не по душе. Чтоб отрезать ему, как и Матвею, путь к чешскому престолу, Рудольф пришел к мысли передать это наследство брату Фердинанда, эрцгерцогу Леопольду, епископу Пассаускому, своему любимому и наиболее преданному родственнику. Представления чехов о свободе избрания королей и их расположение к Леопольду как будто благоприятствовали этому замыслу, который был продиктован Рудольфу скорее пристрастностью и жаждой мести, нежели заботой о благе его рода. Но для того, чтобы привести этот план в исполнение, нужна



была военная сила, которую Рудольф и сосредоточил в епископстве Пассауском. Никому не было известно назначение этого войска; но неожиданное вторжение солдат в Чехию, предпринятое без ведома императора из-за задержки жалования, а также бесчинства, совершенные там солдатами, возмутили все королевство, и оно восстало против императора. Напрасно уверял он чехов в своей непричастности — чины не верили ему; напрасно пытался он прекратить своевольные бесчинства своих солдат — они не слушались его. В предположении, что эти действия клонятся к отмене «грамоты величества», «защитники свободы» вооружили всю протестантскую Чехию и призвали в страну Матвея. После изгнания его пассауского войска император, лишенный всякой поддержки, оставался в Праге, где его содержали в его собственном замке как пленника, удалив от него всех его советников. Тем временем Матвей среди всеобщего ликования торжественно вступил в Прагу, где вскоре затем Рудольф, проявив чрезвычайное малодушие, признал его королем Чешским. Так жестоко наказала судьба этого императора: ему пришлось при жизни отдать врагу трон, который он не хотел предоставить ему после своей смерти. Чтобы довершить унижение, Рудольфа заставили собственноручно подписанным отречением освободить всех своих подданных в Чехии, Силезии и Лузании от всех их обязанностей по отношению к нему. И он это сделал, терпя жестокие душевные муки. Все покинули его, даже те, чьим благодетелем он себя считал. Подписав акт, он швырнул шляпу наземь и разгрыз перо, сослужившее ему столь позорную службу.

Теряя одно свое наследственное владение за другим, Рудольф не сумел соблюсти и высокое достоинство императорского сана. Каждая из религиозных партий, враждовавших в Германии, попрежнему стремилась улучшить свое положение за счет другой или защитить себя от ее нападений. Чем слабее была рука, державшая скипетр государства, и чем свободнее чувствовали себя протестанты и католики, тем напряженнее следили они друг за другом, тем более возрастало их взаимное недоверие. Тот факт, что императором ру-

ководили иезуиты и он следовал совстам, получаемым из Испании, был достаточной причиной для страха протестантов и достаточным основанием для их враждебного отношения к императору. Неразумный фанатизм иезуитов, своими сочинениями и проповедями сеявших сомнения в действительности религиозного мира, разжигал недоверие протестантов и заставлял их в каждом маловажном начинании католиков видеть опасные замыслы. Все, что предпринималось в наследственных владениях императора для ограничения евангелического вероисповедания, привлекало внимание всей протестантской Германии, и та могучая поддержка, которую евангелические подданные Австрии нашли или надеялись найти у своих единоверцев в остальной Германии, была в значительной мере причиной их упорства и быстрого успеха Матвея. В империи были уверены, что продолжительность религиозного мира объясняется только стесненным положением императора, вызванным смутой в его владениях: именно потому никто и не спешил вывести его из этих затруднений.

Почти все дела имперского сейма оставались без движения либо по беспечности императора, либо по вине протестантских имперских чинов, которые поставили себе за правило ничего не делать для общих нужд государства, пока не будут удовлетворены их жалобы. Эти жалобы относились главным образом к недостаткам императорского правления, к нарушениям религиозного мира и к новым притязаниям придворного имперского суда (рейхсгофрата), который за последнее царствование стал расширять свою юрисдикцию в ущерб правам имперского суда (камергерихта). До сих пор все тяжбы между чинами, не решенные кулачным правом, в высшей инстанции решались в незначительных случаях самим императором единолично, в более важных — при участии имперских князей или, наконец, императорскими судьями, сопровождавшими императора в его переездах. В конце XV века императоры передали эту верховную судебную власть хорошо организованному постоянному трибуналу, так называемому камергерихту в Шпейере, где, во избежание про-

извола императора, заседали также выборные члены от имперских чинов, которые равным образом выговорили себе право подвергать приговоры суда периодическому пересмотру. Это право чинов (называемое презентационным и визитационным правом) религиозный мир распространил и на лютеран, так что отныне в делах протестантов приговор выносился при участии протестантских судей, и в верховном судилище установилось кажущееся равновесие между обеими религиями.

Но враги реформации и сословной свободы, бдительно следя за каждым обстоятельством, благоприятствующим их целям, быстро нашли способ уничтожить положительные стороны этого порядка вещей. Понемногу все сложилось так, что высшее правосудие по делам имперских чинов перешло в руки частного суда императора, венского рейхсгофрата, первоначально учрежденного лишь для помощи императору в осуществлении его бесспорных личных императорских прав. Члены этого суда, назначаемые самим императором по его усмотрению и получавшие жалованье исключительно от него, не могли не признать своим единственным руководящим началом благо католической церкви, к которой они принадлежали, и своим единственным законом — выгоду своего господина. В этот суд теперь передавались многие тяжбы между представителями разных религий, право разрешения которых принадлежало только камергерихту, а до учреждения последнего — совету князей. Нет ничего удивительного, что католические судьи и креатуры императора, заседавшие в рейхсгофрате, жертвовали справедливостью в интересах католической религии и своего повелителя, о чем свидетельствовали выносимые ими приговоры. Хотя можно думать, что все имперские чины Германии имели причины своевременно воспротивиться столь опасному злоупотреблению, однако это сделали одни только протестанты, на которых оно отзывалось особенно сильно, да и среди них не все те, кого, как защитников германской свободы, это самочинное учреждение оскорбляло в их священнейшем интересе — в отправлении правосудия. В самом деле, Германии нечего было особенно радоваться уничтожению кулачного

права и учреждению камергерихта, если наряду с последним предполагалась еще произвольная юрисдикция императора. Что же выиграли бы германские имперские чины по сравнению с теми варварскими временами, если бы камергерихт, в котором они заседали рядом с императором, из-за которого они отказались от своего державного права суда, перестал быть необходимой судебной инстанцией? Но в умах этого времени часто мирно уживались самые странные противоречия. С титулом императора, наследием деспотического Рима, тогда еще соединялось понятие полноты верховной власти, которое самым нелепым образом противоречило всему государственному праву немцев и, однако, защищалось юристами, распространялось сторонниками деспотизма и признавалось людьми малодушными.

К этим всеобщим жалобам присоединилась мало-помалу вереница отдельных случаев, которые довели беспокойство протестантов до высшей степени недоверия. Во время религиозных преследований, начатых испанцами в Нидерландах, немало протестантских семей нашло убежище в католическом имперском городе Аахене, где они поселились и потихоньку приобрели немало приверженцев. Успев хитростью провести нескольких своих единоверцев в городской совет, они потребовали для себя отдельной церкви и права публичного богослужения и, когда последовал отказ, добыли себе все это насильственным путем, захватив и само городское управление. Видеть столь значительный город в руках протестантов было слишком тяжелым ударом для императора и всей католической партии. После того как все императорские увещания и приказы восстановить прежнее положение вещей остались тщетными, город, по решению рейхсгофрата, был объявлен в имперской опале; однако этот приговор был приведен в исполнение лишь в следующее царствование.

Большее значение имели две другие попытки протестантов расширить свои владения и приумножить свою силу. Курфюрст Кельнский Гебгард, по рождению Трухзес фон Вальдбург, воспылил к молодой графине Агнесе фон Мапсфельд, канониссе в Герресгейме, страстной любовью, которая встретила взаимность. Так как

взоры всей Германии были обращены на эту связь, то братья графини, ревностные кальвинисты, потребовали удовлетворения за оскорбление своей фамильной чести, которая не могла быть восстановлена браком, пока курфюрст оставался католическим епископом. Они угрожали курфюрсту смыть этот позор его кровью и кровью своей сестры, если он не откажется немедленно от всяких сношений с графиней или не восстановит ее честь перед алтарем. Курфюрст, равнодушный ко всем последствиям своего шага, послушался лишь голоса любви. Потому ли, что он и раньше склонялся к новой религии, или же это чудо совершили прелести его возлюбленной, он отрекся от католической веры и предстал пред алтарем с прекрасной Агнесей.

Этот случай наводил на самые серьезные размышления. По букве «церковной оговорки» такое отступничество лишало курфюрста всех прав на его церковные владения, и если для католиков когда-либо было важно добиваться применения «церковной оговорки», то это, конечно, прежде всего относилось к случаям, касавшимся курфюршеств. С другой стороны, отказ от верховной власти был чрезвычайно тяжким шагом, тем более тяжким для столь нежного супруга, которому так хотелось впридачу к своему сердцу и своей руке поднести невесте целое княжество! «Церковная оговорка» и без того была спорным пунктом Аугсбургского мира, и всей протестантской Германии казалось в высшей степени важным отнять у католической партии это четвертое курфюршество. Подобные случаи, ознаменовавшиеся успехом, уже имели место во многих церковных владениях Нижней Германии. Многие члены соборного капитула в Кельне были уже протестантами и стали на сторону курфюрста; в самом городе он мог рассчитывать на значительное число приверженцев-протестантов. Все эти причины да еще уговоры друзей и родственников и посулы многих германских дворов вызвали в курфюрсте решимость удержать свои владения и после перемены религии.

Но весьма быстро выяснилось, что он начал борьбу, которую ему не под силу было успешно закончить. Объявление свободы протестантского богослужения в

кельнских землях сразу же наткнулось на самые решительные протесты католических земских чинов и членов соборного капитула. Вмешательство императора и указ из Рима, по которому Гебгард предавался проклятию как вероотступник и отрешался от всех духовных и светских званий, вооружили против него его земских чинов и его капитул. Курфюрст собрал войско; члены капитула сделали то же самое. Чтобы поскорее обеспечить себя могущественным сторонником, они поспешно приступили к выборам нового курфюрста; избранныком их оказался епископ Люттихский, баварский принц.

Вспыхнула усобица, которая ввиду деятельного участия, какое неизбежно должны были принять в этом деле обе религиозные партии Германии, легко могла привести к общему нарушению имперского мира. Более всего возмущало протестантов то, что папа, присваивая себе апостольскую власть, посмел отрешить от светского верховенства одного из имперских князей. Даже в золотые времена духовного владычества пап это право признавалось далеко не всеми. Какое же противодействие должно было оно встретить в эпоху, когда авторитет папы для одних пал совершенно, а в глазах других был сильно расшатан! Все протестантские дворы Германии настойчиво ходатайствовали об этом деле пред императором. Генрих IV Французский, тогда еще король Наваррский, всеми возможными способами старался побудить германских князей не отступаться от своих прав. Этот случай имел решающее значение для свободы Германии. Четыре протестантских голоса против трех католических в совете курфюрстов должны были дать перевес протестантской партии и навеки преградить Австрийскому дому путь к императорскому престолу.

Но курфюрст Гебгард перешел не в лютеранское, а в реформатское вероисповедание; это единственное обстоятельство стало для него роковым. Взаимное ожесточение двух протестантских церквей не позволяло евангелическим имперским чинам смотреть на курфюрста как на своего и оказывать ему, как таковому, действительную поддержку. Все, правда, ободряли его и

обещали ему помощь, но лишь удельный принц из Пфальцского дома, пфальцграф Иоганн-Казимир, ревностный кальвинист, сдержал свое слово. Невзирая на императорский запрет, он поспешил со своим маленьким войском в Кельнскую область, но не мог сделать ничего существенного, так как курфюрст, сам лишенный всего необходимого, оставил его без всякой помощи. Тем быстрее укреплялся новоизбранный курфюрст, которому оказывали всяческое содействие как его баварские родственники, так и находившиеся в Нидерландах испанцы. Отряды Гебгарда, не получая жалованья от своего господина, сдавали неприятелю одно укрепление за другим; сам курфюрст продолжал отстаивать свои вестфальские владения, пока и здесь не вынужден был уступить превосходству сил. После многих тщетных попыток получить в Англии и Голландии помощь для своего восстановления он удалился в Страсбургское епископство, где и умер соборным деканом — первая жертва «церковной оговорки» или, вернее, разногласий между немецкими протестантами.

За кельнским столкновением вскоре последовало новое — в Страсбурге. Многие протестантские каноники из Кельна, преданные папскому проклятию вместе с курфюрстом, бежали в это епископство, где у них также были бенефиции. Так как в Страсбурге католические каноники не решались позволить им, как отлученным, пользоваться этими бенефициями, то они овладели ими самовольно и насильственно, а могущество приверженцев протестантизма среди страсбургских граждан вскоре дало им преобладание в епископстве. Католические каноники переселились в Цаберн в Эльзасе, где под защитой своего епископа продолжали вести дела своего капитула, как единственно законного, и объявили священнослужителей, оставшихся в Страсбурге, самозванцами. Между тем последние, приняв в свою среду многих протестантских священнослужителей знатного происхождения, усилились до такой степени, что после смерти епископа отважились избрать епископом протестанта, принца Бранденбургского Иоганна-Георга. Католические каноники, отнюдь не склонные утвердить их выбор, избрали носителем этого

высокого звания епископа Мецского, принца Лотарингского, который не замедлил возвестить о своем избрании враждебными действиями против Страсбургских земель.

Так как город Страсбург встал с оружием в руках на защиту протестантского капитула и принца Бранденбургского, а противная партия при помощи лотарингских войск старалась завладеть епископскими землями, то возникла продолжительная война, сопровождавшаяся, по обычаю тех времен, варварским опустошением. Напрасно старался император решить спор своим высоким авторитетом: епископские владения еще долгое время оставались разделенными между обеими партиями, покуда, наконец, протестантский принц за умеренное денежное вознаграждение не отказался от своих притязаний, и таким образом католическая церковь одержала еще одну победу.

Еще более серьезным для всей протестантской Германии было событие, происшедшее в швабском имперском городе Донауверте, после того как был улажен спор, о котором сейчас шла речь. В этом католическом городе в правление Фердинанда и его сына протестантская религиозная партия получила законным путем такой перевес, что католические обыватели города должны были довольствоваться часовней в монастыре святого Креста и по причине раздражения, царившего среди протестантов, отказаться от многих своих богослужебных обрядов. Наконец, фанатический настоятель этого монастыря, осмелев пренебречь гласом народа, вздумал устроить крестный ход с поднятием креста и с развевающимися хоругвями. Однако его быстро заставили вернуть процессию в монастырь. Когда тот же самый настоятель, ободренный благоприятным императорским указом, через год повторил крестный ход, протестанты перешли к прямому насилию. Фанатически настроенная толпа заперла ворота перед возвращавшимися в город монахами, изорвала их хоругви и проводила их домой криками и бранью. Следствием погрома был вызов в императорский суд, и когда возбужденные жители решились поднять руку на императорских комиссаров, когда все попытки



мирно уладить распрю наткнулись на сопротивление разъяренного народа, город, наконец, был объявлен в имперской опале; исполнение приговора было возложено на герцога Максимилиана Баварского. Малодушные охватило столь задорных ранее граждан при приближении баварского войска: они сдались без сопротивления. Возмездием за их вину была полная отмена протестантского вероисповедания в Донауверте. Город потерял свои привилегии и из швабского имперского вольного города обратился в город, подчиненный Баварии.

Два обстоятельства, сопровождавшие это событие, должны были обратить на себя внимание протестантов даже в том случае, если бы интересы религии не имели для них такого значения.

Приговор этот был произнесен императорским рейхсгофратом, трибуналом католическим, действующим произвольно, подсудность которому давно уже вызывала яростные нападки протестантов, а выполнение его было поручено герцогу Баварскому, начальнику чуждого округа. Распоряжения, столь противные имперской конституции, предвещали протестантам насильственную расправу со стороны католиков, которые, опираясь на тайные соглашения и осуществляя опасный план, могли добиться полного подавления их религиозной свободы.

В положении, где господствует право силы и на силе основана всякая безопасность, слабейшая сторона всегда деятельнее заботится о самозащите. Это происходило теперь и в Германии. Если католики в самом деле замыслили что-либо дурное против протестантов, то, очевидно, первый удар, по разумному расчету, должен был скорее пасть на Южную, чем на Северную Германию, ибо земли, где обитали нижнегерманские протестанты, тянулись длинной сплошной полосой, и таким образом они легко могли помогать друг другу; верхнегерманским же протестантам, отрезанным от остальных и охваченным со всех сторон католическими государствами, было бы весьма трудно противостоять нападению. Если бы, далее, католики, как можно было предполагать, пожелали воспользоваться внутренней рознью протестантов и направить нападение на обособленную рели-

гнозную партию, то, очевидно, кальвинисты, как более слабые и вдобавок отрешенные от религиозного мира, подвергались самой непосредственной опасности, и первый удар должен был пасть на них.

Оба эти условия соединились в пфальцских землях, имевших в лице герцога Баварского весьма опасного соседа. Эти земли в результате перехода их государя в кальвинизм совершенно не пользовались защитой религиозного мира и не могли надеяться на помощь евангелических чинов. Ни одна немецкая страна не пережила за столь краткий промежуток времени столь быстрых перемен религии, как Пфальц той эпохи. В течение всего только шестидесяти лет эта страна, злополучная игрушка своих властелинов, два раза обращалась к учению Лютера и два раза сменяла это учение на кальвинизм. Сперва курфюрст Фридрих III изменил аугсбургскому исповеданию; его старший сын и наследник Людвиг быстро и насильственно снова сделал это исповедание господствующим. У кальвинистов во всей стране были отобраны их церкви; их проповедники и даже школьные учителя, исповедовавшие их веру, были высланы из Пфальца; этот ревностный евангелический государь преследовал их даже в своем духовном завещании, назначив опекунами своего малолетнего наследника лишь строго правоверных лютеран. Но противозаконное завещание это было уничтожено его братом, пфальцграфом Иоганном-Казимиром, который, согласно предписаниям Золотой буллы, принял на себя опеку и управление всей страной. Девятилетний курфюрст Фридрих IV был окружен учителями-кальвинистами, которым поручено было изгнать лютеранскую ересь из души их воспитанника, коли надо, хоть палками. Если так поступали с государем, то можно себе представить, как обходились с подданными.

При Фридрихе IV пфальцкий двор с особой ревностью призывал протестантских чинов в Германии к единодушной борьбе с Австрийским домом и пытался достичь их объединения. Не говоря о влиянии советов Франции, которые всегда были продиктованы ненавистью к Австрии, одна уже забота о самосохранении заставила Пфальцкий двор постараться своевременно

обезопасить себя от столь близкого и столь могущественного врага хотя бы ненадежной поддержкой со стороны протестантов. Осуществление этого союза было сопряжено с большими трудностями, так как ненависть евангелистов к реформатам едва ли уступала общему их отвращению к папистам. Поэтому пытались прежде всего воссоединить религии, чтобы таким образом проложить путь к политическому объединению; но все эти попытки не имели успеха и кончались обыкновенно тем, что каждая сторона лишь еще более укреплялась в своих воззрениях. Оставалось одно: усилить страх и недоверие евангелистов и тем вызвать в них сознание необходимости такого союза. Для этого преувеличивали силу католиков; раздували опасность; случайные события приписывались заранее обдуманному плану; незначительные происшествия извращались злостным толкованием, и всему поведению католиков приписывали такое единодушие и осмотрительность, от коих они, вероятно, были очень далеки.

Имперский сейм в Регенсбурге, где протестанты надеялись добиться возобновления религиозного мира, окончился для них неудачей, и к их прежним жалобам прибавилась еще жалоба на недавнее насилие над Донаувертом. С невероятной быстротой был заключен столь долгожданный союз. В 1608 году в Ангаузене, во Франкони, курфюрст Фридрих IV Пфальцский, пфальцграф Нейбургский, два маркграфа Бранденбургские, маркграф Баденский и герцог Иоганн-Фридрих Вюртембергский — стало быть, лютеране и кальвинисты — заключили между собой за себя и за своих наследников тесный союз, названный евангелической унией. По этому договору вошедшие в унию государи поддерживают друг друга словом и делом в вопросах религии и политических прав против всякого обидчика, и все обязуются стоять за *одного*. Каждый член унии, вовлеченный в войну, получает от остальных вспомогательные отряды. Войскам его в случае надобности открывается доступ в земли, города и замки всех других союзников, а то, что будет завоевано одним, делится между всеми членами унии соразмерно степени их участия. Управление всем союзом передается в мирное

время Пфальцу, но с ограниченной властью. Были сделаны взносы на необходимые издержки и создан фонд. Религиозные различия между лютеранами и кальвинистами не должны оказывать никакого влияния на союз. Договор остается в силе в течение десяти лет. Каждый член унии обязуется вербовать новых членов. Курфюршество Бранденбургское примкнуло к унии; курфюршество Саксонское не одобрило союза. Гессен не мог принять свободного решения; герцоги Брауншвейгский и Люнебургский также не знали, на что решиться. Но три имперские города — Страсбург, Нюрнберг и Ульм — были важным приобретением для союза, так как их деньги были очень нужны ему и их пример мог найти подражание во многих других имперских городах.

Выступая порознь, союзные государства действовали нерешительно и внушали мало уважения; но, объединившись, они заговорили более смелым языком. Через князя Ангальтского Христиана они представили императору свои совместные жалобы и требования, среди которых первое место занимали: восстановление самостоятельности Донауверта, отмена императорской придворной юрисдикции, преобразование его правления и ограничение функций его советников. Для этих представлений они выбрали удачный момент, когда император едва справлялся со смутой в его собственных землях: Австрия и Венгрия только что перешли к Матвею, и чешскую корону Рудольф сохранил только благодаря дарованию грамоты величества; наконец, юлихское наследство грозило в будущем новой войной. Нет ничего странного, что этот медлительный государь менее чем когда-либо спешил теперь со своими решениями, и союз взялся за оружие, прежде чем император успел что-либо надумать.

Католики подозрительно следили за унией. С таким же недоверием наблюдала уния за католиками и за императором, а император — за теми и другими. С обеих сторон страх и взаимное озлобление достигли предела. И как раз в этот критический момент смерть Иоганна-Вильгельма, герцога Юлихского, вызвала чрезвычайно серьезный спор о юлих-клевском наследстве.

На наследство, нераздельность которого была основана на торжественных договорах, заявили притязания восемь соискателей. Император был не прочь овладеть этим наследством как выморочным имперским леном и мог считаться девятым претендентом. Четверо из соискателей — курфюрст Бранденбургский, пфальцграф Нейбургский, пфальцграф Цвейбрюкенский и австрийский принц маркграф Бургауский — предъявили требования от имени четырех принцесс, своих жен, сестер покойного герцога. Двое других — курфюрст Саксонский из альбертинской линии и герцог Саксонский из линии эрнестинской — ссылались на давние права, предоставленные им на это наследство императором Фридрихом III и утвержденные за обоими саксонскими домами Максимилианом I. Притязания некоторых иностранных принцев были оставлены без внимания. Ближайшие и приблизительно равные права имели владетели Бранденбурга и Нейбурга. Тотчас после открытия наследства оба двора заявили о них; начал Бранденбург, за ним последовал Нейбург. Спор начался пером и окончился бы, вероятно, мечом, но вследствие вмешательства императора, который предпочитал решить эту тяжбу с высоты своего трона, а пока взять под секвестр спорные земли, и обе враждующие стороны быстро примирились, чтобы отвлечь общую для обеих опасность. Сошлись на том, что герцогством будут править совместно. Напрасно император требовал от юлих-клевских земских чинов, чтоб они не присягали своим новым властителям; напрасно послал он в спорные владения своего родственника, эрцгерцога Леопольда, епископа Пассауского и Страсбургского, чтобы тот личным присутствием воодушевлял императорскую партию. Вся страна, за исключением Юлиха, подчинилась протестантским государям, и императорская партия была осаждена в этой столице.

Борьба за Юлих имела важное значение для всей Германской империи и даже привлекла внимание многих европейских дворов. Вопрос был не в том, кому достанется и кому не достанется Юлихское герцогство, но в том, какая из обеих партий Германии — католическая или протестантская — усилится столь значительным приобретением, для какой из обеих религий будет выиг-

рана или потеряна эта область. Вопрос был в том, удастся ли Австрии снова удовлетворить свои непомерные притязания, временно насытив свою жадность новым грабежом, или же свобода Германии и равновесие ее сил устоят против посягательств Австрии. Таким образом, спор о юлихском наследстве затрагивал интересы всех держав, покровительствовавших свободе и враждебно относившихся к Австрии. В спор были вовлечены евангелическая уния, Голландия, Англия и в особенности — Генрих IV Французский.

Этот монарх, потративший лучшую половину своей жизни на борьбу с Австрийским домом и Испанией, монарх, с непреодолимой, геройской силой преодолевавший все препятствия, воздвигнутые Австрийским домом между ним и французским престолом, отнюдь не оставался бездейственным созерцателем смут, происходивших в Германии. Именно эта борьба чинов с императором даровала и обеспечила мир его Франции. Протестанты и турки представляли две благодетельные силы, которые ограничивали австрийское могущество на Востоке и Западе, но Австрия вновь встала бы во всей своей грозной мощи, если бы только ей позволили сбросить с себя эти оковы. На протяжении половины своей жизни Генрих IV непрестанно наблюдал зрелище австрийского властолюбия и австрийских захватов. Ни неудачи, ни даже скудоумие, обычно умеряющее все страсти, не могли погасить эти стремления в груди, где текла капля крови Фердинанда Арагонского. Уже сто лет тому назад австрийское стяжательство лишило Европу блаженного мира и произвело насильственный переворот среди самых значительных ее государств. Оно оставило поля без пахарей, мастерские — без художников, чтобы заполнить целые страны огромными, никогда еще не виданными массами войск, а мирные торговые пути моря — военными флотами. Оно заставило европейских монархов обременить своих трудолюбивых подданных неслыханными налогами и истощать в вынужденной обороне лучшие силы своих государств без всякой пользы для благосостояния их обитателей. Европа не знала мира, ее государства не знали процветания, ничто не могло быть порукой благоденствия народов, пока этой

опасной династии предоставлена была возможность нарушать по своему произволу покой этой части света.

Таковы были размышления, омрачавшие душу Генриха на закате его славной жизни. Сколь великих трудов ему стоило умиротворить мрачный хаос, в который свергла Францию многолетняя междоусобная война, вызванная и питаемая этой Австрией! Всякий выдающийся человек хочет иметь уверенность, что работал для вечности, а кто мог поручиться этому государю за длительность благосостояния, созданного им во Франции, пока Австрия и Испания оставались той силой, которая, хотя теперь разбитая и истощенная, при первом благоприятном для нее случае могла снова стать единым целым и воскреснуть во всей своей грозной мощи! Если он хотел оставить своему преемнику достаточно прочный престол и своему народу — длительный мир, он должен был навеки обезоружить эту опасную силу. Отсюда и проистекала непримиримая ненависть Генриха IV к Австрийскому дому — неутолимая, пламенная и справедливая, как вражда Ганнибала к народу Ромула, но продиктованная более благородными мотивами.

Великие замыслы Генриха разделялись всеми державами Европы, но не все были способны вести эту прощательную политику, проявлять бескорыстнейшее мужество и смело действовать во имя этого замысла. Всех людей без различия соблазняет непосредственная выгода, но лишь великие сердца вдохновляются отдаленным благом. Пока мудрость рассчитывает в своих замыслах на всеобщую мудрость или полагается на свои собственные силы, она строит одни химерические планы и подвергается опасности стать посмешищем для всего мира. Но она может быть уверена в счастливом исходе и может рассчитывать на одобрение и восхищение, когда в своих глубоко продуманных расчетах отводит определенную роль варварству, любостыжанию и суеверию и когда обстоятельства дают ей возможность сделать чужие корыстные страсти орудием ее прекрасных целей.

В первом случае известный проект Генриха — изгнать Австрийский дом из всех его владений и поделить между европейскими державами награбленные этим до-

мом земли — действительно заслуживал бы названия химеры, которое ему давали столь часто и столь охотно; но заслуживал ли его план такой же характеристики и во втором случае? Этому замечательному государю никогда не пришла бы мысль приписывать исполнителям своего проекта те побуждения, какие одушевляли в этом замысле его самого и его помощника Сюлли. Все государства, содействие которых в этом начинании было необходимо, взяли на себя приличествовавшую им в данном случае роль по самым серьезным мотивам, какие только могут привести в действие политическую силу. От австрийских протестантов требовалось лишь то, что и ранее было целью их стремлений: свержение австрийского ига. От нидерландцев не требовалось ничего, кроме такого же свержения испанского владычества. Для папы и для всех итальянских республик важнее всего было навеки освободить их полуостров от испанской тирании. Для Англии не было ничего желательнее переворота, который освободил бы ее от заклятого врага. Каждое государство выигрывало при этом разделе австрийской добычи территорию или свободу, новые владения или безопасность старых. А так как выигрыш был обеспечен для всех, то равновесие оставалось бы нерушимым. Франция могла великодушно пренебречь участием в дележе, потому что сама она по меньшей мере вдвойне выигрывала от гибели Австрии и, не усилившись, все равно оказалась бы сильнее всех. Наконец, предполагалось, что за освобождение Европы от их присутствия потомки Габсбургов получат свободу расширять свои владения во всех открытых или могущих быть открытыми частях света. Кинжал Равальяка спас Австрию, чтобы отдалить мир в Европе еще на несколько столетий.

Стремясь к осуществлению этих замыслов, Генрих, естественно, должен был вскоре принять активное участие в делах такой важности, как создание евангелической унии в Германии и спор из-за юлихского наследства. Его уполномоченные вели переговоры при всех протестантских дворах Германии, и того немногочисленного, что они выдавали или позволяли угадывать из великой политической тайны своего монарха, было вполне доста-



точно, чтобы привлечь к нему души, охваченные столь пламенной враждой к Австрии и обуреваемые столь могучею жаждой стяжания. Дальновидная политика Генриха сплотила унию еще теснее, и сильная подмога, которую он обязался дать, укрепила мужество союзников до степени непоколебимой твердости. Многочисленная французская армия под предводительством короля должна была соединиться с войсками унии на берегах Рейна и прежде всего способствовать окончательному завоеванию юлих-клевских владений, а затем двинуться в союзе с немцами в Италию, где их ждала могущественная помощь Савойи, Венеции и папы, и низвергнуть все испанские троны. Затем этой победоносной армии предстояло вторгнуться из Ломбардии в наследственные владения Габсбургов и здесь, вкупе с всеобщим восстанием протестантов, сокрушить австрийскую державу во всех ее немецких землях, а также в Чехии, Венгрии и Семиградье. Тем временем брабантцы и голландцы, подкрепленные французской помощью, должны были свергнуть иго испанской тирании, и этот страшный поток, с такой неодолимой силой вышедший из берегов, еще так недавно грозивший потопить свободу Европы в своих мрачных пучинах, снова будет медленно, бесшумно катиться за Пиренеями.

Французы всегда хвалились своей быстротой; однако на этот раз немцы превзошли их. Армия евангелической унии вступила в Эльзас прежде, чем там появился Генрих, и австрийское войско, сосредоточенное в этом краю епископом Страсбургским и Пассауским и готовое двинуться в юлихские владения, было рассеяно. Генрих IV создал план, достойный государственного человека и короля, но он поручил его выполнение разбойникам. По его замыслу необходимо было действовать так, чтобы ни один католический владетельный князь не мог заподозрить, что эти военные приготовления направлены против него, и в связи с этим отождествить дело Австрии со своими личными интересами. Предполагалось совершенно не впутывать во все это религию. Но разве могли германские государи из-за планов Генриха забыть свои собственные цели? Ими двигали жажда увеличить свои владения и религиозная ненависть, и они, естественно,

стремились попутно захватить, для удовлетворения своей алчности, все, что только могли. Точно хищные коршуны налетели они на земли князей церкви, выбирая для своих стоянок самые тучные пажити, хотя бы для этого надобно было идти кружным путем. Точно во вражеской стране налагали они контрибуции, самочинно собирали налоги и брали силой то, чего им не давали по доброй воле. Мало того — чтобы не оставить у католиков никаких сомнений относительно истинных причин их похода, они громко и открыто говорили, какую судьбу готовят они церковным владениям. Вот как мало общего было у Генриха IV и германских государей в данном плане действий! Вот как жестоко ошибся этот замечательный государь в своих исполнителях! Остается вечной истиной, что применение силы там, где этого применения требует мудрость, никогда не должно быть поручено насильнику, что нарушение порядка можно доверить лишь тому, кто им дорожит.

Действия, возмутившие даже многих евангелических владетелей, и страх подвергнуться еще худшему насилию вызвали в среде католиков нечто большее, чем пассивное возмущение. Утраченный авторитет императора не мог служить им защитой против такого врага. Только союз придавал устрашающую мощь евангелистам, связанным унией, и противоборствовать им мог только союз.

План такого католического союза, отличавшегося от евангелического названием «лига», был составлен епископом Вюрцбургским. Статьи договора были почти те же, что в унии, большинство в ней принадлежало епископам; во главе ее стоял герцог Баварский Максимилиан, но так как это был единственный влиятельный мирской государь в этом союзе, то он имел неизмеримо большую власть, чем получил от членов унии ее глава. Кроме того обстоятельства, что герцог Баварский был единственным предводителем всех войск лигистов, — это обеспечивало операциям лиги быстроту и единство, недостижимые для войск унии, — лига имела еще то преимущество, что денежные взносы от богатых прелатов притекали гораздо регулярнее, нежели от бедных евангелических членов унии. Не предлагая участия

в своем союзе императору, как католическому государю Германии, не отдавая ему, как императору, никакого отчета, лига выросла вдруг в страшную и грозную силу, достаточно могучую, чтобы покончить с унией и существовать в течение правления трех императоров. Лига как будто сражалась за Австрию, потому что была направлена против протестантских государей, по вскоре и Австрии пришлось трепетать перед нею.

Тем временем оружию унии сопутствовало счастье в Юлихе и Эльзасе. Юлих был осажден, и все епископство Страсбургское было в руках протестантов. Но теперь пришел конец их блестящим успехам. Французские войска не появились на берегах Рейна, ибо того, кто должен был вести их, кто вообще был душой всего этого начинания, Генриха IV, уже не было в живых. Средства унии приходили к концу. В новых ей отказывали земские чины, а вошедшие в унию имперские города были очень недовольны тем, что у них все время требуют денег, но никогда не спрашивают совета. Особенно возмущало их то, что они несли расходы по юлихскому делу, которое безусловно было исключено из общих дел унии, что князья, вошедшие в унию, назначили себе из общей кассы большие оклады, а более всего то, что никто из князей не давал отчета в употреблении денег.

Таким образом, уния клонилась к упадку как раз в тот момент, когда лига стала против нее с новыми и свежими силами. Воевать далее не позволял членам унии все усиливавшийся недостаток в деньгах, а сложить оружие в виду готового к бою врага было слишком опасно. Чтобы по крайней мере обеспечить себя с одной стороны, пришлось вступить в соглашение с давним врагом, эрцгерцогом Леопольдом, и обе стороны решили вывести свои войска из Эльзаса, освободить пленных и предать все прошлое забвению. Итак, столь много обещавшие приготовления закончились ничем.

Тем же повелительным языком, каким в надежде на свои силы говорила уния с католической Германией, заговорила теперь лига с унией и ее войсками. Членам унии показывали следы их прохождения и клеймили самыми позорными именами, каких они заслуживали. В церковных владениях Вюрцбурга, Бамберга, Страс-

бурга, Майнца, Трира и Кельна и многих других они произвели сильнейшие опустошения. Лига потребовала, чтобы уния вознаградила всех пострадавших за нанесенный ущерб, восстановила свободу водных и сухопутных сообщений (так как уния захватила рейнское судоходство), привела все в прежнее состояние. Но прежде всего от членов унии требовали прямого и определенного объяснения, чего ожидать от их союза. Теперь для членов унии пришел черед уступить силе. На такого сильного врага они не рассчитывали; но ведь они сами выдали католикам тайну своей мощи. Их гордость оскорблялась необходимостью униженно просить мира, но они должны были считать себя счастливыми, что получили его. Одна сторона обещала удовлетворение, другая — прощение. Обе сложили оружие. Военная гроза пронеслась еще раз, и наступило временное затишье. Теперь разразилось восстание в Чехии, стойвшее императору последнего из его наследственных владений; но ни уния, ни лига не вмешивались в эту чешскую распрю.

Наконец (1612), умер император, которого так же мало оплакивали во гробе, как мало замечали на троне. Много лет спустя, когда ужасы последующих царствований заставили забыть об ужасах его правления, память его окружена была ореолом, и над Германией в ту пору сгустилась мгла, столь страшная, что люди кровавыми слезами молили о возвращении хоть такого императора.

Никакими средствами невозможно было добиться от Рудольфа позволения избрать ему преемника, и потому все с большой тревогой ждали близкого освобождения императорского престола. Но сверх всякого ожидания на него быстро и спокойно вступил Матвей. Католики отдали ему свои голоса, потому что они ждали всяких благ от деятельной натуры этого государя; протестанты голосовали за него, потому что возлагали большие надежды на его слабохарактерность. Нетрудно примирить это противоречие. Одни исходили из того, как он показал себя раньше; другие судили сообразно тому, как он проявлял себя теперь.

Момент вступления на трон — всегда решающая минута для надежд. Первый сейм государя там, где он вступает на престол по избранию, бывает обычно труд-

нейшим испытанием для него. На сцену выступают все старые жалобы; к ним присоединяют новые, в чаянии, что ожидаемые реформы распространятся и на них. С новым государем должно начинаться новое созидание. Важные услуги, оказанные австрийскими единоверцами протестантов Матвеем во время его восстания, были свежи в памяти протестантских имперских чинов, и они намеревались требовать за свои услуги такую же награду, какую получили те.

Матвей пролагал себе путь к трону своего брата посредством покровительства протестантским чинам в Австрии и в Моравии. Это удалось ему. Но, увлекаемый честолюбивыми замыслами, он не сразу постиг, что чины получают таким образом возможность предписывать законы своему повелителю. Это открытие рано отрезвило его от упоения удачей. Едва он после чешского похода торжественно показался своим австрийским подданным, как к нему поступили почтительнейшие представления, которых было совершенно достаточно, чтобы испортить ему все его торжество. До принесения присяги на верность от него требовали неограниченной свободы совести в городах и селениях, полного уравнивания в правах католиков и протестантов и совершенно свободного доступа последних ко всем должностям. Во многих местностях подданные осуществили эту свободу без всякого разрешения и в надежде на нового правителя самовольно восстановили евангелическое богослужение там, где император отменил его. В свое время Матвей не отказывался пользоваться жалобами протестантов как орудием против императора, но ему никогда не приходило в голову удовлетворять их. Теперь он рассчитывал в самом начале твердым и решительным тоном отвергнуть все такие притязания. Он говорил о своих наследственных правах на страну и не хотел слышать ни о каких условиях принесения присяги. Такую безоговорочную присягу принесли эрцгерцогу Фердинанду соседи — чины Штирии, но им вскоре пришлось горько раскаяться в этом. Ввиду этого примера австрийские чины настаивали на своем отказе; мало того, чтобы не быть насильно приведенными к присяге, они даже покинули столицу, подстрекая като-

лических владетелей к такому же сопротивлению; и начали набирать войска. Они предприняли шаги к возобновлению их старого союза с Венгрией; они расположили в свою пользу протестантских имперских князей Германии и серьезно помышляли с оружием в руках добиться исполнения своего требования.

Матвей без колебания согласился на гораздо более существенные требования венгров. Но в Венгрии государи были выборные, и республиканская конституция этой страны оправдывала в его глазах тот факт, что чины предъявили ему требования, а в глазах всего католического мира — его уступчивость по отношению к чинам. Наоборот, в Австрии его предшественники пользовались неизмеримо большими державными правами, которых он не мог уступить своим чинам, не позоря себя перед всей католической Европой, не навлекая на себя гнева Испании и Рима и презрения своих собственных католических подданных. Его строго католические советники, среди которых наибольшее влияние оказывал на него епископ Венский Мельхиор Клезель, твердили ему, что лучше дать протестантам силой отнять у него все церкви, нежели на основании закона уступить им хоть одну.

Но, к несчастью, это затруднение постигло Матвея в то время, когда император Рудольф еще здравствовал, был свидетелем этого события и, стало быть, легко мог поддасться соблазну пустить в ход против своего брата то самое оружие, каким тот победил его, а именно — соглашение с его мятежными подданными. Чтобы избегнуть такого оборота, Матвей охотно принял предложение моравских земских чинов, которые вызвались быть посредниками между ним и чинами Австрии. Выборные обеих сторон собрались в Вене, где австрийские депутаты говорили языком, который показался бы необычным даже в лондонском парламенте. «Протестанты, — было сказано в заключение, — не хотят, чтобы с ними в их отечестве обходились хуже, чем с горстью католиков. Матвей принудил императора к уступкам благодаря своему протестантскому дворянству. На восемьдесят папистов здесь можно насчитать триста евангелических баронов. Да

послужит пример Рудольфа предостережением Матвею. Как бы ему не пришлось потерять земные блага ради небесных приобретений». Так как моравские чины, вместо того чтобы заняться посредничеством в интересах императора, в конце концов сами перешли на сторону своих австрийских единоверцев и так как уния в Германии самым настойчивым образом вмешивалась в это дело, а Матвей страшился возможной мести императора, то, наконец, и он дал вырвать у себя требуемое заявление в пользу протестантов.

Это поведение земских чинов Австрии по отношению к эрцгерцогу послужило теперь примером для протестантских имперских чинов Германии в их отношениях к императору, и они ожидали столь же счастливого исхода. На первом же сейме в Регенсбурге (1613), где ждали разрешения настоятельнейшие вопросы, где обсуждалось установление общей подати для покрытия расходов на войну против турок и против князя Семиградского Бетлен Габора, который при поддержке турок провозгласил себя владыкой этой страны и даже грозил Венгрии, они ошеломили его совершенно новым требованием. Католическим голосам все еще принадлежало большинство в совете князей, и так как все вопросы решались большинством голосов, то обыкновенно протестанты, даже когда они были вполне согласны между собой, не принимались в расчет. Вот от этого перевеса предлагалось теперь отказаться католикам: впредь любой религиозной партии должно быть запрещено подавлять голоса другой своим неизменным большинством. И в самом деле, если евангелической религии полагается иметь представителей в имперском сейме, то, понятно, конституция сейма не должна отнимать у нее возможность пользоваться таким правом на деле. Это требование сопровождалось жалобами на неправомерное расширение юрисдикции императорского суда в Вене и на угнетение протестантов. К тому же уполномоченные чинов получили предписание устраняться от участия во всяких общих совещаниях до тех пор, пока они не получат благоприятного ответа на это требование.

Это опасное разногласие грозило расколоть имперский сейм и навсегда уничтожить единство в его сове-

щаниях. Как ни хотел император по примеру отца своего Максимилиана благоразумно поддерживать равновесие между обеими религиями, поведение протестантов предоставляло ему теперь только рискованный выбор между ними. Испытывая сильнейшие финансовые затруднения, он не мог отказаться от совокупной помощи имперских чинов, а между тем невозможно было сделать что-нибудь для одной партии, не лишая себя этим поддержки другой. Он еще не утвердился окончательно в своих наследственных землях, поэтому одна мысль вступить в открытую борьбу с протестантами не могла не привести его в трепет. Но с другой стороны — весь католический мир, внимание которого было приковано к его предстоящему решению, католические чины, двор римский и испанский не позволили бы ему мирволить протестантам в ущерб католической религии. Столь трудное положение могло смутить даже более сильного духом человека, чем Матвей, и ему едва ли удалось бы выпутаться из него собственным разумением. Но выгоды католиков были теснейшим образом связаны с авторитетом императора. С падением этого авторитета церковные владетели лишались всякой защиты против притеснений со стороны протестантов. Поэтому, видя теперь колебания императора, они нашли, что настал решительный момент подкрепить его слабеющее мужество. Они раскрыли пред ним тайну образования лиги и ознакомили его с ее уставом, силами и средствами. Как ни мало утешительно это открытие было для императора, все же надежда на столь сильную опору несколько подняла его дух. Требования протестантов были отвергнуты, и имперский сейм был распущен без принятия решения. Но Матвей пал жертвой этого раздора. Протестанты отказали ему в денежных средствах и тем отомстили ему за упорство католиков.

Тем временем сами турки выказали склонность проdlить перемирие, а князю Бетлен Габору предоставили спокойно владеть Семиградьем. Теперь Германия была ограждена от внешней опасности, и, как ни опасны были внутренние разногласия, в ней все-таки царил мир. Совершенно неожиданный случай придал борьбе за юлихское наследство необычайный оборот. Это герцог-



ство было все еще занято сообщая курфюрстом Бранденбургским и пфальцграфом Нейбургским. Предполагалось, что интересы обоих домов будут неразрывно связаны путем брака принца Нейбургского с Бранденбургской принцессой. Весь этот план был разрушен пощечиной, которую курфюрст Бранденбургский имел несчастье дать под влиянием винных паров своему зятю. Отныне о добрых отношениях между обоими домами не могло быть и речи. Принц Нейбургский перешел в католичество. Наградой за это отступничество явился брак с принцессой Баварской, а естественным следствием того и другого — могущественное покровительство Баварии и Испании. С целью сделать пфальцграфа исключительным владетелем Юлиха в герцогство были направлены испанские войска из Нидерландов. Чтобы избавиться от этих гостей, курфюрст Бранденбургский призвал в страну голландцев, благосклонность которых он постарался снискать принятием реформатской веры. Испанские и голландские войска действительно появились в стране, но, видимо, лишь для того, чтобы захватить ее.

Таким образом, надвигавшаяся нидерландская война грозила, повидимому, разразиться на немецкой земле. Сколько горючего материала было здесь накоплено для нее! С ужасом смотрела протестантская Германия, как испанцы твердой ногой становятся в низовьях Рейна. С еще большим страхом смотрели католики на вторжение голландцев. На Западе должна была взорваться мина, давно уже заложенная под всей Германией, на Запад взирали со страхом и ожиданием, а между тем взрыв грянул на Востоке.

Спокойствие, дарованное Чехии грамотой Рудольфа II, продолжалось в правление Матвея лишь до тех пор, пока наследником престола в этом королевстве не был провозглашен Фердинанд Грацский.

Этот принц, которого мы в дальнейшем узнаем ближе под именем императора Фердинанда II, насильственным искоренением протестантской религии в своих владениях заявил себя непреклонным приверженцем папизма, и потому католическая часть чешского народа смотрела на него как на будущую опору своей церкви.

Слабое здоровье императора приближало этот момент, и в надежде на столь могущественного защитника чешские паписты стали менее терпимо относиться к протестантам. Особенно тяжкие испытания выпали на долю евангелических подданных католических владетелей. К тому же многие католики имели неосторожность слишком громко говорить о своих надеждах и случайно оброненными угрозами возбудили в протестантах глубокое недоверие к их будущему повелителю. Но это недоверие никогда не перешло бы во враждебные действия, если бы противная сторона ограничилась общими выражениями, если бы ее нападки на отдельных членов протестантской церкви не привели к тому, что глухое недовольство народа возглавили предприимчивые вожаки.

Генрих Матвей граф фон Турн, по происхождению не чех, но собственник нескольких поместий в этом королевстве, снискал благодаря приверженности к протестантской религии и самозабвенной преданности своему новому отечеству безграничное доверие утраквистов, что проложило ему путь к высшим должностям. Он храбро сражался с турками и вкрадчивым обхождением привлек сердца толпы. То была пылкая, необузданная натура, любившая смуты, так как во время смут в полном блеске проявлялись его дарования; неизмеримо смелый и достаточно безрассудный, чтобы браться за начинания, перед которыми отступают трезвое благоразумие и хладнокровие, Турн вместе с тем был достаточно свободен от укоров совести, чтобы играть судьбою тысяч людей, когда это было нужно для удовлетворения его страстей, и достаточно хитер, чтобы заставить плясать под свою дудку такой народ, как чехи того времени. Смуты во время правления Рудольфа происходили при деятельнейшем участии Турна, и грамота величества, добытая чешскими чинами от императора, была главным образом его заслугой. Ему, как носителю звания бургграфа Карлштейнского, двор вручил для сохранения чешскую корону и указы о вольностях королевства; но, возведя его в сан дефензора, или защитника веры, народ отдал ему нечто гораздо более важное — самого себя. Аристократы, под чьим влия-

нием находился император, неблагоприятно отняли у Турна власть над неживыми вещами, но оставили ему влияние на живых людей. Они лишили его звания бургграфа, ставившего его в зависимость от милостей двора; тем самым они раскрыли ему всю важность того звания, которое за ним осталось, и задели его тщеславие, до той поры мешавшее его честолюбию стать опасным. Теперь его обуяла жажда мести, и ему недолго пришлось ждать случая для ее удовлетворения.

В грамоте величества, силою добытой чехами от Рудольфа II, так же как и в вероисповедном мирном договоре немцев, оставался невыясненным важный вопрос. Все права, дарованные этим договором протестантам, были даны только владетельным князьям, но не их подданным, лишь для подданных церковных владетелей была выговорена весьма сомнительная свобода совести. Равным образом чешская грамота величества говорила только о чинах и о королевских городах, магистратам которых удалось добиться равных прав с владетелями. Лишь им предоставлено было право строить церкви, учреждать школы и публично отправлять свое протестантское богослужение. Во всех остальных городах право определять границы свободы совести подданных предоставлено было владетелю, под властью которого они находились. Этим правом германские имперские чины пользовались во всем его объеме: светские без противоречия, духовные же, право которых неким заявлением императора Фердинанда было объявлено спорным, не без основания отказывались признать это заявление обязательным. Но то, что в аугсбургском вероисповедном мирном договоре было спорным пунктом, в чешской грамоте являлось неопределенным; там не было споров о толковании, но было спорно, следует ли повиноваться договору; здесь толкование было предоставлено чинам. Поэтому подданные церковных земских чинов в Чехии считали, что имеют те права, которые, согласно заявлению Фердинанда, были признаны за подданными немецких епископов; они считали себя равными подданным королевских городов, так как относили церковные владения к коронным. В небольшом городке Клостерграбе, принадлежавшем архиепископу Пражскому, и в Браунау,

принадлежавшем аббату этого монастыря, подданные-протестанты самовольно принялись за сооружение церквей и, несмотря на протесты их господ и даже неодобрение самого императора, довели это дело до конца.

Тем временем бдительность дефензоров несколько ослабела, и двор нашел, что можно решиться на серьезный шаг. По приказу императора церковь в Клостерграбе была разрушена, церковь в Браунау насильственно заперта и самые беспокойные из граждан брошены в темницу. Следствием этой меры было всеобщее недовольство среди протестантов; возмущались нарушением грамоты величества, и граф Турн, одушевляемый местью и еще более побуждаемый к действию своим званием дефензора, чрезвычайно усердно разжигал страсти. По его почину из всех округов королевства были созваны в Прагу депутаты, дабы принять соответственные меры против общей опасности. Было решено подать императору ходатайство и настаивать на освобождении заключенных. Ответ императора, очень дурно принятый чинами уже по той причине, что он был обращен не к ним непосредственно, а к его собственным заместителям, называл их поведение противозаконным и мятежным, оправдывал события в Клостерграбе и Браунау императорским приказом и заключал в себе несколько мест, которые могли быть истолкованы как угрозы.

Граф Турн не замедлил искусно усилить дурное впечатление, произведенное императорским посланием на собравшихся чинов. Он указал им на опасность, коей подвергались все, кто участвовал в ходатайстве и сумел путем подстрекательства и страха увлечь их на путь насильственных решений: поднять их непосредственно против императора было бы пока слишком смелым шагом. К этой неизбежной цели он вел их постепенно. Поэтому он счел более удобным сначала направить их раздражение против советников императора и с этой целью распустил слух, что императорское послание составлено в канцелярии пражского наместничества и лишь подписано в Вене. Среди императорских наместников предметом всеобщей ненависти были камер-президент Славата и назначенный вместо Турна бургграфом Карлштейнским барон фон Мартиниц. Оба они уже

ранее ясно выказали свои враждебные протестантам намерения, отказавшись принять участие в заседании, на котором грамота величества была внесена в земское уложение Чехии. Уже тогда этим наместникам грозили, что в будущем ответственность за всякое нарушение грамоты падет на них, и все дурное, что с тех пор претерпели протестанты, было — и не без основания — отнесено на их счет. Среди всех католических владельцев эти двое были наиболее жестоки к своим протестантским подданным. Их обвиняли в том, что они собаками загоняли протестантов на католическую обедню и отказом в крещении, венчании и погребении старались насильственно обращать их в папизм. Ярость народа легко могла быть направлена против ненавистных пачальников, и они должны были пасть жертвой всеобщего недовольства.

23 мая 1618 года депутаты, вооруженные, в сопровождении огромной толпы, появились в королевском замке и ворвались в зал, где находились наместники Штернберг, Мартиниц, Лобковиц и Славата. Угрожающим тоном потребовали депутаты от каждого из них объяснения, принимал ли он участие в императорском ответе и высказывался ли за него. Штернберг дал сдержанный ответ; Мартиниц и Славата ответили дерзко. Это решило их участь. Штернберг и Лобковиц, которых не так сильно ненавидели, но боялись больше других, были выведены из зала; Славату же и Мартиница поволокли к окну и с высоты восьми — десяти футов выкинули в замковый ров. Их креатуру, секретаря Фабрициуса, отправили вслед за ними. Как и следовало ожидать, весь образованный мир был поражен характером этой расправы; чехи оправдывали ее как употребительный у них обычай и во всем происшедшем находили удивительным только то, что потерпевшие встали целы и невредимы после прыжка с такой высоты. Навозная куча, на которую упали императорские наместники, спасла их от всяких увечий.

Трудно было ожидать, чтобы этот решительный образ действий способствовал доброму расположению императора; но до этого и хотел довести чехов граф Турн. Если они позволили себе такое насилие из страха пред

неопределенной опасностью, то теперь ожидание неминуемой кары и уже неизбежная необходимость прибегнуть к самозащите должны были увлечь их еще далее. Акт этого грубого своеволия отрезал пути для всякой перешительности и раскаяния. Людям казалось, что возмездием за единичное преступление неизбежно будет ряд новых насилий. Так как случившееся было непоправимо, то нужно было обезоружить карающую власть. Для правильного руководства восстанием было избрано тридцать руководителей. Все дела правления и все королевские сборы были захвачены, все королевские чиновники и солдаты приведены к присяге; было опубликовано воззвание к чешскому народу, призывавшее всех участвовать в общем деле. Иезуиты, которых все ненавидели и обвиняли во всех преследованиях, были изгнаны из всего королевства, и чины нашли необходимым оправдать это суровое решение особым манифестом. Все это совершалось ради сохранения королевской власти и исполнения законов — обычные слова всех мятежников, покуда счастье не склонится на их сторону.

Впечатление, произведенное при императорском дворе известием о чешском восстании, было далеко не так сильно, как того заслуживал этот вызывающий образ действий. Император Матвей не был уже тем решительным человеком, который некогда отважился схватить своего короля и повелителя и свергнуть его с трех тронов. Самонадеянное мужество, одушевлявшее его при узурпации, покинуло его при правомерной защите. Чешские мятежники выступили первыми, и ему, силою вещей, пришлось вооружиться вслед за ними. Но он не мог надеяться, что война ограничится одной Чехией. Опасное взаимное сочувствие связывало протестантов всех его земель воедино — гибель, неминуемо грозившая религии, могла слишком быстро объединить их в одну страшную республику. Что сможет он противопоставить такому врагу, если от него отделится протестантская часть его подданных? И разве не истощат себя в этой опасной усобице обе стороны? Разве не лишится он всего в случае поражения, если же одержит верх, то кого он погубит, как не своих подданных?

Такие соображения склонили императора и его советников к уступчивости и к мирным намерениям. Но именно в этой уступчивости кое-кто усматривал корень зла. Так, эрцгерцог Фердинанд Градский поздравил императора с происшествием, способным оправдать перед всей Европой всякое насилие над чешскими протестантами. «Непокорность, — говорил он, — беззаконие и крамола шли всегда рука об руку с протестантизмом. Все вольности, дарованные протестантским чинам им самим и прежним императором, имели до сих пор одно лишь следствие: увеличение их требований. Все поведение еретиков направлено против власти монарха; переходя постепенно от непокорства к непокорству, они дошли до этого последнего насилия. В ближайшем будущем они посягнут на единственную неприкосновенную пока особу — на самого императора. От такого врага спасение лишь в оружии. Спокойствие и покорность могут быть достигнуты только на развалинах их пагубных привилегий. Лишь в полной гибели этой секты залог безопасности католической веры. Правда, исход предстоящей войны неизвестен, но если уклониться от войны — гибель неминуема. Конфискованные владения мятежников с лихвой возместят все военные издержки, а ужас казней быстро научит остальных земских чинов покорности». Можно ли было винить чешских протестантов, если они заблаговременно старались оградить себя от осуществления таких планов? К тому же чешское восстание было направлено лишь против преемника императора, а не против него самого, ибо он не сделал ничего такого, что могло бы оправдать опасения протестантов. Лишь для того, чтобы преградить его преемнику путь к чешскому престолу, прибегали к оружию в царствование Матвея; однако при жизни этого императора согласны были оставаться в границах покаянной покорности.

Но чехи все же взяли за оружие, и император не мог даже предложить им мира, не вооружившись. Испания дала денег на военные нужды и обещала прислать войска из Италии и из Нидерландов. Главнокомандующим был назначен граф де Букуа — голландец, потому что никому из своих подданных нельзя было дове-

риться, — и другой иностранец, граф Дампьер, был его помощником. Прежде чем эта армия выступила, император попытался посредством манифеста открыть путь милости. Он объявил чехам, что «грамота величества священна для него, что он никогда не думал посягать на их религию или их привилегии, что даже теперь его вооружение вызвано лишь тем, что вооружились они; как только чешский народ сложит оружие, будет распущено и императорское войско. Но это милостивое послание не возымело никакого действия, так как предводители восстания нашли более удобным скрыть от народа благие намерения императора. Вместо того они распространяли с кафедр и в летучих листках самые злокозненные слухи и пугали обманутый народ призраком варфоломеевских ночей, которые существовали только в их воображении. Вся Чехия, за исключением трех городов — Будвейса, Круммау и Пильзена, приняла участие в восстании. Эти три города, почти исключительно католические, одни имели мужество остаться при общем отпадении верными императору, который обещал им помощь. Граф Турн, разумеется, понял, как опасно оставлять в руках неприятеля три пункта такой важности, открывавшие императорским войскам во всякое время путь в королевство. Неожиданно он появился пред Будвейсом и Круммау в надежде поразить эти города страхом. Круммау сдался, но Будвейс стойко отбил все нападения.

Теперь и император начал относиться к делу более серьезно и проявлять больше энергии. Букуа и Дампьер вошли с двумя армиями в Чехию и открыли враждебные действия. Но путь к Праге оказался труднее, чем предполагали императорские генералы. Всякий горный проход, всякое незначительное укрепление приходилось брать силой, и сопротивление возрастало с каждым их шагом, так как бесчинства их войск, состоявших главным образом из венгров и валлонов, доводили друзей до измены и врагов — до отчаяния. Но и тогда, когда его войска уже вторглись в Чехию, император продолжал выказывать мирные намерения и протягивать руку чешским чинам для полюбовного соглашения. Новые надежды, внезапно осенившие мятежников, подняли их мужество. Земские чины Моравии стали на их сторону,



а из Германии в лице графа Мансфельда явился к ним на помощь сторонник столь же неожиданный, сколь и мужественный.

Главарь евангелической унии до сих пор следили за чешским движением спокойно, но отнюдь не равнодушно. Те и другие боролись за одно дело, против одного врага. В судьбе чехов члены унии могли читать свою собственную судьбу, и дело чешского народа они представляли как священнейшее дело германского союза. Поэтому они ободряли мятежников обещаниями помощи, и счастливый случай неожиданно дал им возможность претворить свои обещания в дело.

Граф Петр-Эрнст фон Мансфельд, сын старого австрийского служаки Эрнста фон Мансфельда, который долго и славно командовал испанской армией в Нидерландах, сделался орудием унижения Австрийского дома в Германии. Сам он совершил первые свои походы, служа тому же дому. Под знаменами эрцгерцога Леопольда сражался он в Юлихе и в Эльзасе против протестантской религии и германской свободы. Но, приметно усвоив начала этой религии, он покинул господина, который по своекорыстию отказал ему в вознаграждении за произведенные на его службе расходы, и отныне посвятил свою энергию и свой победоносный меч евангелической унии. Случилось как раз, что герцог Савойский, союзник унии, потребовал от нее помощи в войне с Испанией. Она предоставила ему своего нового полководца, и Мансфельду было поручено держать наготове в Германии для герцога и на его счет отряд из четырех тысяч человек. Это войско уже было снаряжено, когда пламя восстания вспыхнуло в Чехии, и герцог, как раз теперь не нуждавшийся в подкреплении, предоставил его унии. Для последней не было ничего приятнее возможности оказать своим союзникам в Чехии услугу на чужой счет. Граф Мансфельд немедленно получил приказ двинуть эти четыре тысячи человек в королевство, и мнимый призыв со стороны чехов должен был скрыть от всего мира истинных виновников его похода.

Итак, Мансфельд появился в Чехии и, взяв укрепленный город Пильзен, преданный императору, стал

твердой ногой в этом королевстве. Мужество мятежников поддерживала и та помощь, которую им оказали силезские чины. Между ними и императорскими войсками произошло несколько незначительных, но кровопролитных стычек, послуживших введением к более крупным военным операциям. Чтобы ослабить решительность военных действий императора, чехи продолжали вести с ним переговоры, и было даже принято посредничество, предложенное Саксонией. Но прежде чем исход посредничества смог показать, как мало искренности было в действиях чехов, смерть унесла императора с арены.

Что же совершил Матвей, чтобы оправдать те всеобщие упования, которые он возбудил некогда, свергнув своего предшественника? Стоило ли взойти путем преступления на престол Рудольфа, чтобы столь дурно владеть им и столь бесславно его покинуть? В продолжение всего своего правления Матвей расплачивался за неразумие, которое заставило его добиваться престола. Ради того, чтобы возложить на себя корону на несколько лет ранее, он отказался от всех присвоенных ей привилегий. Теми крохами самостоятельности, которые еще оставила ему усилившаяся мощь имперских чинов, бесстыдно распоряжались его собственные родичи. Больной, бездетный, он видел, как внимание всего мира направлено на гордого наследника, который нетерпеливо предвосхищал решения судьбы и начал свое правление еще при жизни дряхлого государя.

Со смертью Матвея правящую линию германского дома Австрии можно было считать угасшей, ибо из всех сыновей Максимилиана в живых оставался лишь бездетный и болезненный эрцгерцог Альбрехт в Нидерландах, уступивший свои права на это наследие грацской линии. Испанский дом тайным договором также отрекся от всех своих притязаний на австрийские владения в пользу эрцгерцога Штирийского Фердинанда; в его лице германской ветви Габсбургов суждено было обрести новый, свежий побег и воскресить былое величие Австрии.

Отцом Фердинанда был младший брат императора Максимилиана II, эрцгерцог Краинский, Каринтийский

и Штирийский — Карл; мать — принцесса Баварская. Он потерял отца на двенадцатом году жизни, и эрцгерцогиня препоручила его своему брату, герцогу Баварскому Вильгельму, под надзором которого он получил воспитание и образование в иезуитской академии в Ингольштадте. Нетрудно понять, какие убеждения он мог усвоить в обществе князя, который ради служения церкви отказался от власти. С одной стороны, ему указывали на склонность максимилиановской линии к приверженцам нового вероучения и на смуту в ее землях; с другой — на благоденствие Баварии и непреклонное религиозное рвение ее государей; ему предоставляли выбор между этими двумя образцами.

Воспитанный в этой школе как мужественный боец за имя божие, как деятельное орудие церкви, он оставил Баварию после пятилетнего пребывания там и вступил во владение своей вотчиной. Чины Крайны, Каринтии и Штирии, потребовавшие, чтобы эрцгерцог до принесения ими присяги подтвердил их религиозную свободу, получили ответ, что религиозная свобода не имеет ничего общего с присягой. Присяга была потребована эрцгерцогом безоговорочно, так она и была принесена чинами. Прошло несколько лет, прежде чем созрело для выполнения дело, задуманное в Ингольштадте. Взявшись за осуществление этого замысла, Фердинанд лично отправился в Лоретто испросить у святой девы ее покровительство и у ног Климента VIII в Риме — апостольское благословение.

Начинание и впрямь было нешуточное: оно заключалось в том, чтобы вытеснить протестантизм из страны, где за него стояло большинство и где он был узаконен формальным актом о веротерпимости, который отец Фердинанда даровал дворянскому и рыцарскому сословию этих стран. Невозможно было, не подвергая себя опасности, отнять столь торжественно данное разрешение, но и никакая трудность не пугала набожного питомца иезуитов. Оправданием этому насилию должны были служить, во-первых, пример остальных католических и протестантских владетелей, беспрепятственно осуществивших в своих землях реформационное право, и, во-вторых, то обстоятельство,

что штирийские чины злоупотребляли своей религиозной свободой. Опираясь на нелепый действующий закон, считали возможным грубо нарушить закон разума и справедливости. Нужно сказать, что в этом несправедливом деле Фердинанд проявил изумительное мужество и похвальную стойкость: без шума и — надо прибавить — без жестокости он уничтожил протестантское богослужение в одном городе за другим, и, к изумлению всей Германии, это опасное дело было закончено в несколько лет.

Но меж тем как католики с восторгом приветствовали в нем героя и паладина своей церкви, протестанты начали готовиться к борьбе против него, как против своего опаснейшего врага. Однако ходатайство Матвея — передать права преемства Фердинанду — не встретило в государствах Австрии, пользовавшихся правом избрания, никакого или весьма малое противодействие, и даже чехи короновали его как своего будущего короля на весьма приемлемых условиях. Лишь позже, когда они узнали о дурном влиянии его советов на действия императора, они начали обнаруживать беспокойство, а различные собственноручные его документы, по злому умыслу попавшие к ним и с достаточной ясностью свидетельствовавшие о его истинных намерениях, усилили их страх до чрезвычайности. Особенное негодование возбудил тайный семейный договор с Испанией, по которому Фердинанд передавал испанской короне, в случае отсутствия у него наследников мужского пола, королевство Чешское, не справляясь с голосом нации, не считаясь с тем, что носитель ее короны должен быть ее избранником. Многочисленные враги, которых Фердинанд нажил себе среди протестантов своими религиозными реформами в Штирии, оказали ему в Чехии весьма дурную услугу; особенно деятельно разжигали пламя восстания бежавшие туда штирийские эмигранты, принеся в свое новое отечество сердца, исполненные мести. В таком неблагоприятном расположении духа застал король Фердинанд чешской народ, когда император Матвей уступил ему место.

Столь дурные отношения между народом и кандидатом на престол могли и при наиспокойнейшем переходе

престола явиться источником потрясений, — насколько же более теперь, в разгаре мятежа, когда народ вновь завоевал свой былой суверенитет и возвратился к состоянию естественного права, когда он вооружился, когда чувство единства возбуждало в нем бодрящую уверенность в своих силах, когда мужество его, вследствие счастливых успехов, обещаний сторонней помощи и увлекательных надежд, возвысилось до степени непоколебимой уверенности. Презрев утвержденные уже за Фердинандом права, чины объявили свой трон свободным, свой выбор ничем не связанным. Не было никаких надежд на добровольное подчинение Чехии, и если Фердинанд хотел стать носителем чешской короны, то ему предстоял выбор — либо купить ее ценой всего того, что делает корону желанной, либо же добыть ее с мечом в руке.

Но как добыть ее? На какую из своих земель ни бросал он взгляд, все они были объаты пламенем. Силезия уже была вовлечена в чешское восстание; Моравия собиралась последовать ее примеру. В Верхней и Нижней Австрии, как и прежде при Рудольфе, бурлил дух свободы, и ни один земский чин не желал приносить присягу. Венгрии грозил нападением князь Семиградья Бетлен Габор; таинственные вооружения турок приводили в трепет все восточные области; в довершение смуты протестанты в наследственных землях Фердинанда, возбужденные общим примером, также начали поднимать голову. В этих землях протестанты имели численный перевес: в большинстве областей им принадлежали источники тех доходов, за счет которых Фердинанду предстояло вести войну. Люди безразличные начали колебаться, верные — приходили в отчаяние, и лишь мятежники сохраняли мужество; одна половина Германии подбадривала восставших, другая бездейственно ожидала исхода борьбы; испанская помощь была еще далека. Все, что подарила Фердинанду минута, она грозила вновь отнять у него.

Что бы ни предлагал теперь Фердинанд чешским мятежникам под тяжким давлением необходимости, — все его мирные предложения высокомерно отвергались. Уже граф Турн во главе целой армии появляется в Моравии, чтобы заставить эту единственную, еще колеблющуюся

провинцию принять решение. Появление друзей дает моравским протестантам сигнал к восстанию; Брюнн взят; все остальные области сдаются добровольно; во всей провинции меняют религию и правление. Возрастая на пути, поток мятежников вторгается в Верхнюю Австрию, где единомышленники встречают его ликованием. «Никакого различия не должно отныне быть между религиями, — равные права для всех христианских церквей. Ходят слухи, что в стране вербуют иноземцев для угнетения Чехии. Их разыщут, и вплоть до самого Иерусалима будут гнать врагов свободы». Ни одна рука не поднялась на защиту эрцгерцога. Наконец, мятежники располагаются лагерем перед Веной, осаждая своего повелителя.

Своих детей Фердинанд перевез из Граца в Тироль, потому что в Граце, по его мнению, они не были в безопасности. Сам он остался в столице и там ожидал мятежников. Горсть солдат — вот все, что он мог противопоставить разъяренным толпам. Но и эта горсть вряд ли стала бы храбро сражаться, потому что люди не получали платы и даже хлеба. К длительной осаде Вена совсем не была подготовлена. В городе преобладала партия протестантов, готовая в любую минуту присоединиться к чехам; те, что были в провинции, набирали там войско против герцога. Протестанты уже с радостью рисовали себе картину, как эрцгерцога заточают в монастырь, владения его разделяют, его детям дают протестантское воспитание. Охраняемый тайными врагами и окруженный явными, он воочию видел, как перед ним разверзается пропасть, готовая поглотить все его надежды и даже его самого. Чешские пули залетали в императорский дворец, когда шестнадцать австрийских баронов, ворвавшись в покои Фердинанда, бросились на него, осыпая его упреками, пытаясь угрозами вынудить у него согласие на конфедерацию с чехами. Один из них, схватив его за пуговицу кафтана, рычал: «Фердинанд, подпишешь ты или нет?»

Кому не было бы простительно поколебаться в эту страшную минуту? Фердинанд крепко призадумался над тем, как ему стать императором Священной Римской империи. Казалось, ему оставалось только опроретью

бежать — или же уступить; первое советовали католические священники, второе — мудрые люди. Покинуть город — значит отдать его в руки врагу; с Венной потеряна Австрия, с Австрией — императорский трон. Фердинанд не покинул столицу, но и слышать не хотел об уступках.

Эрцгерцог еще спорил с уполномоченными баронами, как вдруг перед дворцом раздались звуки труб. Присутствующие переходят от страха к изумлению — страшный слух пробегает по дворцу, один уполномоченный исчезает за другим. Многие дворяне и горожане поспешно бросились в лагерь Турна. Причиной столь быстрой перемены был полк дамъеровских кирасиров, в этот решающий миг вступивший в город на защиту эрцгерцога. За ними следовала и пехота; многие горожане-католики, которым появление кирасиров вновь придало мужество, и даже студенты взялись за оружие. Известие, принесенное из Чехии, довершило спасение эрцгерцога. Нидерландский генерал Букуа разбил наголову графа Мансфельда при Будвейсе и шел на Прагу. Чехи поспешили сняться с лагеря и бросились на защиту своей столицы.

Теперь снова открылись и те пути, которые неприятель предусмотрительно занял, чтобы лишить Фердинанда возможности явиться во Франкфурт на избрание императора. Если королю Венгерскому для осуществления его планов необходимо было взойти на престол Германии, то теперь это было тем важнее, что избрание его императором должно было служить решительным и несомненным свидетельством достоинства его особы, доказательством справедливости его дела — и вместе с тем давало ему надежду на помощь империи. Но те самые козни, которые преследовали Фердинанда в его наследственных землях, преградили ему путь и к императорскому сану. Ни один австрийский принц, заявляли протестанты, не вступит отныне на германский престол — и тем паче Фердинанд, ярый ненавистник их религии, раб Испании и иезуитов. С целью воспрепятствовать этому германскую корону еще при жизни Матвея предлагали герцогу Баварскому, а после его отказа — герцогу Савойскому. Так как с последним не

так-то легко было столкнуться об условиях, то постарались по крайней мере отсрочить выборы, покуда какой-нибудь решительный удар в Чехии или Австрии не погубит все надежды Фердинанда и не сделает его непригодным для такого сана. Члены унии все пустили в ход, чтобы восстановить против Фердинанда курфюршество Саксонское, преданное австрийским интересам; они старались живо изобразить при саксонском дворе все опасности, какими грозят протестантской религии и существованию империи убеждения этого государя и его испанские связи. Восшествие Фердинанда на императорский престол, говорили они далее, вовлечет Германию в частные дела этого государя и направит против нее оружие чехов. Но, несмотря на все усилия противников, день выборов был назначен, Фердинанд, как законный король Чешский, приглашен на них, и его избирательный голос, вопреки тщетным возражениям чешских чинов, признан действительным. Три голоса духовных курфюрстов были за него, курфюрст Саксонский тоже был на его стороне, курфюрст Бранденбургский ничего не имел против него, и решительное большинство избрало его в 1619 году императором. Таким образом, его главу прежде всего увенчала наиболее оспариваемая из всех его корон, а спустя несколько дней он потерял ту, которую считал уже своим неотъемлемым достоянием. В то время как его во Франкфурте сделали императором, в Праге его свергли с чешского престола.

К тому времени почти все немецкие наследственные владения Фердинанда объединились с Чехией в общий грозный союз, дерзость которого перешла теперь все границы. 17 августа 1619 года на общегосударственном сейме члены союза объявили императора врагом чешской религии и свободы, который своими пагубными советами возбуждал против них покойного короля, предоставлял войска для их угнетения, предал королевство на разграбление иноземцам и, наконец, презрев державные права чехов, уступил его по тайному договору Испании; на этом основании Фердинанда лишили всех прав на чешскую корону и незамедлительно приступили к новым выборам. Так как приговор был вынесен протестан-



тами, то выбор, разумеется, не мог пасть на католического принца, хотя приличия ради раздалось несколько голосов за Баварию и Савойю. Но ожесточенная религиозная ненависть, разделявшая евангелистов и реформатов, долгое время затрудняла также избрание протестантского короля, пока, наконец, ловкость и энергия кальвинистов не победили лютеран, несмотря на их численный перевес.

Из всех князей, которым возможно было предложить этот сан, курфюрст Пфальцский Фридрих V имел наибольшее основание притязать на доверие и благодарность чехов. Среди всех претендентов не было ни одного, за которого бы так красноречиво говорили и частные интересы отдельных чинов, и привязанность народа, и столь многочисленные государственные выгоды. Фридрих V был человек свободного и просвещенного ума, большой доброты, королевской щедрости. Он был главой немецких реформатов, вождем унии, располагавшим ее силами, близким родственником герцога Баварского, зятем короля Великобритании, который мог оказать ему могущественную поддержку. Все эти преимущества были умело и успешно выставлены на вид партией кальвинистов, и Пражский сейм с молитвами и слезами радости избрал королем Фридриха V.

Все, что произошло на Пражском сейме, было слишком умело подготовлено, и Фридрих сам принимал во всех переговорах слишком деятельное участие, чтобы предложение чехов могло изумить его. Но его все же испугал блеск этой короны, и двойное величие преступления и счастья повергло его, малодушного, в трепет. По обыкновению всех слабых людей, он сперва, дабы укрепиться в своем замысле, спрашивал совета у других, но советы, которые шли в разрез с его вождениями, не имели на него никакого влияния. Саксония и Бавария, с которыми он особенно считался, все остальные курфюрсты, все, кто сопоставлял его замыслы с его способностями и силами, старались отвратить его от пропасти, в которую он готов был броситься. Даже король Английский Яков предпочитал видеть своего зятя лишенным короны, чем поощренным столь дурного примера участвовать в оскорблении священной власти коро-

лей. Но мог ли голос благоразумия бороться с соблазнительным блеском королевской короны? В момент высшего напряжения своих сил свободный народ, свергнув священную ветвь двухсотлетней династии, бросается в объятия Фридриха; в надежде на его мужество этот народ избирает его своим вождем на опасной стезе славы и свободы; от него, своего прирожденного защитника, ждет угнетенная религия защиты и охраны от гонителя — неужто он малодушно признается в своем страхе, неужто он трусливо предаст религию и свободу? Вдобавок эта религия являет ему все превосходство своих сил, всю немощь ее врага. Две трети австрийских владений вооружены против Австрии, и воинственный семиградский союзник готов предпринять нападение, чтобы разъединить и жалкие остатки австрийской армии. Могло ли такое предложение не возбудить его честолюбие? Могли ли такие надежды не вдохнуть в него мужество?

Нескольких минут спокойного размышления было бы достаточно, чтобы показать ему всю огромность риска и всю ничтожность выигрыша, но соблазн взывал к его чувствам, а предостережения — только к рассудку. Его несчастьем было то, что самые близкие ему и самые громкие голоса оказались на стороне его страстей. Усиление власти их господина открывало необъятное поприще честолюбию и корысти его пфальцских слуг. Торжество его церкви должно было воодушевить всякого ревностного кальвиниста. Мог ли столь слабый ум устоять против уверений его советников, которые так же неумеренно преувеличивали его силы и средства, как преуменьшали силу неприятеля? Мог ли он не внимать увещаниям своих придворных и проповедников, которые выдавали ему призраки, рожденные фанатизмом, за волю неба? Астрологические бредни дурманили его химерическими надеждами. Искушение говорило и чарующими устами любви. «Как же ты смел, — вопрошала его супруга, — предложить руку королевской дочери, раз ты боишься принять корону, которую тебе добровольно подносят? Лучше я буду есть хлеб за твоим королевским столом, чем роскошные яства за твоей курфюрстской трапезой».

Фридрих принял чешскую корону. Торжество коронации совершенно было в Праге с беспримерной пышностью: народ не пожалел богатств, чтобы почтить свое собственное создание. Силезия и Моравия, земли подвластные Чехии, последовали ее примеру и также принесли присягу. Реформация водворилась во всех церквах королевства, торжество и ликование были безграничны, увлечение новым королем доходило до преклонения. Дания и Швеция, Голландия и Венеция, многие немецкие государства признали его законным королем; Фридриху оставалось только утвердиться на своем новом троне.

Главные его надежды покоились на князе Семиградском Бетлен Габоре. Не довольствуясь своим княжеством, которое он при помощи турок отнял у своего законного повелителя Гавриила Батория, этот страшный враг Австрии и католической церкви с радостью ухватился за возможность увеличить свои владения за счет австрийских князей, которые отказывались признать его государем Семиградья. По соглашению с чешскими мятежниками решено было сообща напасть на Венгрию и Австрию; соединение обеих армий должно было произойти перед столицей. Однако Бетлен Габор под маской дружбы умело скрывал истинные цели своих военных приготовлений. Он коварно обещал императору под видом помощи заманить чехов в западню и выдать ему живыми предводителей чешского восстания, но вдруг обернулся врагом императора и вторгся в Верхнюю Венгрию. Ужас предшествовал ему, опустошения следовали за ним; все покорялось ему. В Пресбурге он возложил на себя венгерскую корону. Брат императора, наместник Вены, трепетал за судьбу столицы. Он поспешно призвал на помощь генерала Букуа, но удаление императорских войск вновь привлекло к стенам Вены чешскую армию. Получив сильную подмогу — двенадцать тысяч семиградцев — и соединившись вскоре затем с победоносными отрядами Бетлен Габора, войско мятежников грозило вторично овладеть столицей. Окрестности Вены были опустошены, Дунай прегражден, всякий подвоз отрезан: угрожал голод. Ввиду этой грозной опасности

Фердинанд поспешно вернулся в столицу и вторично очутился на краю гибели. Недостаток припасов и суровое время года принудили, наконец, чехов двинуться во свояси; поражение в Венгрии заставило Бетлен Габора вернуться туда; счастье вторично спасло императора.

За несколько недель все изменилось, и благоразумная политика Фердинанда исправила его положение в той же мере, в какой положение Фридриха ухудшилось из-за его медлительности и неудачных распоряжений. После утверждения их привилегий чины Нижней Австрии принесли присягу, а немногие отказавшиеся от присяги были обвинены в оскорблении величества и государственной измене. Таким образом, император вновь утвердился в одной из своих наследственных земель. В то же время все было пущено в ход, чтобы добиться иноземной помощи. Путем устных переговоров Фердинанду удалось еще во время выборов во Франкфурте склонить на свою сторону духовных курфюрстов, а в Мюнхене — герцога Максимилиана Баварского. Весь исход этой войны, судьба Фридриха и императора зависели от того участия, какое намеревались принять в чешской войне уния и лига. Для всей протестантской Германии было, вероятно, выгодно поддерживать короля чешского; интересы католической религии, очевидно, требовали, чтобы верх одержал император. Победы протестанты в Чехии — всем католическим князьям Германии пришлось бы дрожать за свои владения; их поражение дало бы императору возможность предписывать законы протестантской Германии. Итак, Фердинанд заставлял действовать лигу, Фридрих — унию. Родственные узы и личная преданность императору, своему шурина, вместе с которым он рос в Ингольштадте, приверженность к католической религии, подвергавшейся самой несомненной опасности, увещания иезуитов и подозрительные действия унии — все это побудило герцога Баварского и всех участников лиги отождествить дело Фердинанда со своим собственным.

По заключенному с Фердинандом договору, обеспечивавшему Максимилиану вознаграждение за все воен-

ные издержки и возможные убытки, герцог Баварский принял неограниченную власть над войсками лиги, которые должны были поспешить на помощь императору против чешских мятежников. Вожди унии, вместо того чтобы как-нибудь предотвратить это опасное соединение лиги с императором, делали все, чтобы ускорить его. Ведь побудив католическую лигу открыто принять участие в чешской войне, они могли рассчитывать, что все члены и союзники унии тоже выступят решительно. Без прямых действий католиков против унии не было надежды на мощный союз протестантских государств. Поэтому уния воспользовалась устрашающим влиянием чешского восстания для того, чтобы выдвинуть все свои прежние жалобы и потребовать от католиков полной религиозной свободы. Обращая это требование, изложенное в угрожающем тоне, к герцогу Баварскому, как к главе католической партии, вожди унии настаивали на быстром и недвусмысленном ответе. Решит ли Максимилиан за или против них — их цель так или иначе достигнута: уступка с его стороны лишит католическую партию ее могущественнейшего защитника; отказ вооружит против него всю протестантскую партию и сделает неизбежной войну, посредством которой протестанты надеялись получить весьма многое. Максимилиан, и без того уже имевший веские основания быть на стороне противной партии, счел требования унии формальным объявлением войны и ускорил свои приготовления. В то время как Бавария и лига готовились воевать за императора, велись также переговоры с испанским двором о денежной помощи. Все трудности, с которыми встретились эти переговоры из-за вялой политики министерства, были счастливо преодолены императорским посланником в Мадриде графом фон Кевенгиллером. Кроме взноса в один миллион гульденов, который удалось выманить у испанского двора, было также обещано наступление на Нижний Пфальц из испанских Нидерландов.

Привлекая в свои ряды все католические государства, лига в то же время без усталости работала над тем, чтобы расстроить союз протестантов. Необходимо было

рассеять страшившие курфюрста Саксонского и многих евангелических чинов распускаемые унией слухи, будто военные приготовления лиги имеют целью вновь отнять у них секуляризованные церковные владения. Письменное заверение в противном успокоило курфюрста Саксонского, которого и без того уже склоняли на сторону Австрии личная зависть к Пфальцскому дому, внушения его придворного проповедника, подкупленного Австрией, и недовольство чехами, которые обогнали его при выборе короля. Лютеранский фанатизм никогда не мог простить реформатам, что столь многие, как выражались тогда, «благородные» земли попали в пасть кальвинизма и римский антихрист только уступил место швейцарскому.

В то время как Фердинанд делал все, чтобы улучшить неблагоприятную для него обстановку, Фридрих не упускал ничего, что могло ухудшить его благоприятные шансы. Заключив непозволительно тесный союз с князем Семиградским, открытым союзником Порты, он этим озлобил робкие умы, и всеобщая молва обвиняла его в том, что он стремится к личному возвышению за счет христианства, что он вооружает турок против Германии. Его безрассудное пристрастие к реформатскому исповеданию возмутило против него чешских лютеран, его мероприятия против икон — чешских папистов. Новые тягостные налоги лишили его любви народа. Несбывшиеся ожидания чешских вельмож охладили их усердие, отсутствие иностранной помощи ослабило их мужество. Вместо того, чтобы с неутомимой энергией приняться за управление государством, Фридрих терял время в забавах; вместо того, чтобы мудрой бережливостью умножить свою казну, он расточал доходы своих земель на ненужную театральную пышность и неуместную щедрость. Беззаботно и легкомысленно любовался он собой в своем новом сане. Он не во-время наслаждался своей короной и забыл о более настоятельной необходимости — укрепить ее на своей голове.

Как ни сильно было разочарование в нем, еще сильнее было разочарование самого Фридриха в надеждах на иностранную помощь. Большинство членов унии не

отождествляло чешских дел с истинной целью своего союза; других преданных ему имперских чинов скрывал слепой ужас перед императором. Курфюршество Саксонское и Гессен-Дармштадт Фердинанд переманил на свою сторону; Нижняя Австрия, от которой ждали энергичной диверсии, принесла присягу императору; Бетлен Габор заключил с ним перемирие. Данию венский двор сумел усыпить переговорами, Швецию — занять войной с Польшей; Голландская республика едва справлялась с испанской армией; Венеция и Савойя не трогались с места; короля Английского Якова ловко провели коварные испанцы. Друзья отступали один за другим, одна за другой исчезали надежды. Так быстро изменилось все в течение немногих месяцев.

Между тем вожди унии собирали войска; император и лига делали то же самое. Армия лиги стояла под знаменами Максимилиана у Донауверта; войска унии под предводительством маркграфа Анспакского — под Ульмом. Казалось, настал решительный момент; предстояло одним ударом покончить долгие раздоры и окончательно определить отношения обеих церквей Германии. Обе стороны находились в трепетном ожидании. Сколь велико, однако, было всеобщее изумление, когда внезапно пришла весть о мире и обе армии разошлись, не обнажив меча!

Причиной этого мира, с равной готовностью принятого обеими сторонами, было вмешательство Франции. Французское министерство, не руководимое больше великим Генрихом, политика которого, возможно, была уже и неприменима к новому положению королевства, теперь боялось усиления Австрийского дома гораздо менее, чем возрастания могущества кальвинистов, неминуемого в случае укрепления Пфальцского дома на чешском престоле. Вовлеченное в опасную борьбу со своими собственными кальвинистами, министерство видело, что необходимо как можно скорее подавить протестантскую крамолу в Чехии, прежде чем она послужит опасным примером для гугенотской крамолы во Франции. Поэтому, чтобы дать императору возможность поскорее побороть чехов, Франция выступила

посредницей между унией и лигой и устроила этот неожиданный мир, важнейшей статьей которого был отказ унии от всякого участия в чешских раздорах и обязательство не оказывать Фридриху V помощи за пределами его пфальцских владений. Решительность Максимилиана и боязнь очутиться между войсками лиги и новой императорской армией, выступившей из Нидерландов, заставили унию согласиться на этот позорный мир.

Теперь в распоряжении императора были все войска Баварии и лиги, и он мог свободно двинуть их на Чехию, Ульмским договором предоставленную своей судьбе. Прежде чем там мог распространиться слух о событии в Ульме, Максимилиан вступил в Верхнюю Австрию, где ошеломленные чины, не ожидая появления врага, купили милость императора поспешной и безоговорочной присягой. В Нижней Австрии к герцогу присоединились нидерландские войска графа Букуа, и эта императорско-баварская армия, возросшая теперь до пятидесяти тысяч человек, внезапно вторглась в Чехию. Все чешские отряды, рассеянные по Нижней Австрии и Моравии, бежали пред ней; все города, осмелившиеся сопротивляться, были взяты приступом; остальные, уstraшенные слухом о постигшей других каре, сдавались без боя; ничто не удерживало стремительного движения Максимилиана. Чешская армия под предводительством храброго князя Ангальтского Христиана отступила к Праге, под стенами которой Максимилиан дал ей бой.

Герцог рассчитывал напасть врасплох на армию мятежников, находившуюся в плохом состоянии. Именно поэтому он действовал с такой быстротой, и это обеспечило ему победу. У Фридриха не было и тридцати тысяч человек, восемь тысяч привел с собой князь Ангальтский, десять тысяч венгров прислал Бетлен Габор. Вторжение курфюрста Саксонского в лужицкие земли лишило его помощи, которую он ожидал оттуда и из Силезии; успокоение Австрии лишило его помощи, которую он ожидал из австрийских земель. Бетлен Габор, его сильнейший союзник, не двигался с места, уния предала его императору. Ему остава-



лось одно — его чехи, у которых не было ни доброй воли, ни единодушия, ни мужества. Чешские магнаты с неудовольствием смотрели на замену их немецкими генералами; граф Мансфельд, отрезанный от главной квартиры чешской армии, остался в Пильзене, чтобы не быть под начальством князей Ангальтского и Гогенлоэ. Солдаты, нуждаясь во всем необходимом, утратили всякое воодушевление, и распущенность войска вызывала у крестьян ожесточеннейшие жалобы. Напрасно явился сам Фридрих в лагерь, чтобы своим присутствием возбудить мужество в солдатах, своим примером — соревнование в дворянстве.

Недалеко от Праги, на Белой Горе, начали оказываться чехи, когда на них (8 ноября 1620 года) двинулись соединенные баварско-императорские войска. В начале сражения кавалерия принца Ангальтского имела некоторый успех, но перевес неприятеля скоро свел его на нет. Неудержимо неслись вперед баварцы и валлоны, и первую дрогнула венгерская конница; ее примеру тотчас последовала чешская пехота; затем были вовлечены во всеобщее бегство и немцы. Десять пушек, составлявшие всю артиллерию Фридриха, попали в руки неприятеля. Четыре тысячи чехов пало во время бегства и в сражении. Войска императора и лиги потеряли едва несколько сот человек. Эта решительная победа была одержана менее чем за час.

Фридрих сидел за обеденным столом в Праге, когда его армия погибала за него под стенами города. Он, вероятно, не ждал еще нападения, потому что как раз на этот день был назначен парадный обед. Появление гонца оторвало его, наконец, от пиршества, и с высоты крепостного вала пред ним раскрылась ужасающая картина. Чтобы принять какое-нибудь обдуманное решение, он стал просить перемирия на двадцать четыре часа. Герцог дал ему всего восемь, и Фридрих воспользовался этим сроком, чтобы ночью покинуть столицу вместе со своею супругой и своими военачальниками. Это бегство произошло с такой поспешностью, что князь Ангальтский забыл свои секретнейшие документы, а Фридрих — свою корону. «Теперь я знаю, кто

я такой, — говорил этот несчастный государь тем, кто его успокаивал. — Есть добродетели, которым может научить нас только несчастье; только в превратностях судьбы мы, государи, узнаем, что мы собой представляем».

Прага еще не была потеряна безвозвратно, когда Фридрих отказался от нее в своем малодушии. Летучий отряд Мансфельда еще стоял в Пильзене и не участвовал в сражении. Бетлен Габор мог каждую минуту открыть военные действия и отвлечь войска императора к венгерской границе. Разбитые чехи могли оправиться; болезни, голод и суровая погода могли ослабить неприятеля, — но все эти надежды исчезли под влиянием непреодолимого страха. Фридрих боялся непостоянства чехов, которые легко могли поддаться соблазну — выдачей его особы купить у императора прощение.

Турн и другие, которым грозила такая же суровая кара, как и самому Фридриху, сочли столь же неблагоприятным ожидать в стенах Праги решения своей участи. Они отступили в Моравию, после чего искали спасения в Семиградье. Фридрих бежал в Бреславль, где он, однако, оставался лишь недолгое время; позднее он нашел пристанище при дворе курфюрста Бранденбургского и, наконец, в Голландии.

Сражение под Прагой решило судьбу Чехии. Прага сдалась победителю на другой день; остальные города последовали примеру столицы; чешские чины принесли безоговорочную присягу; то же самое сделали силезцы и моравцы. Следствие обо всем совершившемся было наряжено императором лишь через три месяца. Многие из тех, кто сначала, охваченные ужасом, бежали, теперь, поверив этому мнимому снисхождению снова показались в столице. Но в один и тот же день и час повсюду разразилась буря. Сорок восемь наивиднейших участников мятежа были арестованы и привлечены к суду чрезвычайной комиссии, составленной из коренных чехов и австрийцев. Двадцать семь из них погибли на плахе; людей из простонародья было казнено несметное множество; отсутствующим был сделан вызов явиться, и так как никто не последовал этому

вызову, то все они были заочно приговорены к смертной казни как изменники и оскорбители его католического величества; имущество их было конфисковано, имена их прибиты к виселице. Имущество умерших мятежников также подверглось конфискации. Эта тирания была еще терпима, ибо она касалась лишь отдельных частных лиц, и ограбление одного обогачило другого; тем тягостнее зато был гнет, обрушившийся вслед за тем на все королевство. Все протестантские проповедники были изгнаны из страны: чешские — немедленно, немецкие — несколько позже. Грамоту величества Фердинанд изрезал своей собственной рукой и сжег печать. Через семь лет после пражского сражения всякая религиозная терпимость по отношению к протестантам в Чехии была отменена. Позволяя себе эти насилия над вероисповедными привилегиями чехов, император, однако, не решился коснуться их политической конституции, и, отнимая у них свободу совести, он великодушно оставил за ними право облагать самих себя налогами.

Победа при Белой Горе вновь сделала Фердинанда господином всех его владений; она возвратила ему их, обеспечив ему над ними более обширную власть, нежели имели его предшественники, потому что на этот раз присяга была дана без всяких условий и его верховенство не было ограничено никакими грамотами величества. Таким образом, цель всех его законных желаний была достигнута.

Ныне он мог расстаться со своими союзниками и отозвать свои войска. Будь он справедлив, война теперь была бы прекращена; будь он справедлив и великодушен, прекратилось бы и возмездие. Судьба Германии была теперь целиком в его руках, и счастье и горе многих миллионов людей зависели от его решения. Никогда еще столь важное решение не находилось в руках одного человека, никогда ослепление *одного* человека не причиняло таких бедствий.

Решение, принятое теперь Фердинандом, дало войне совершенно иное направление, иное место действия, иных участников. Из мятежа в Чехии и карательной экспедиции против мятежников возникла германская и вскоре затем европейская война. Пора поэтому бросить взгляд на Германию и на остальную Европу.

Как ни неравномерно были распределены области Германской империи и права ее членов между католиками и протестантами, однако каждой партии достаточно было бы держаться политически благоразумного единства и умело пользоваться своими особыми преимуществами, чтобы сохранять равновесие сил с противной стороной. Если за католиками было численное превосходство и особое покровительство имперской конституции, то протестанты имели за собой сплошное пространство густо населенных земель, мужественных правителей, воинственное дворянство, многочисленные армии, зажиточные имперские города, владычество на море и на худой конец — надежных сторонников во владениях католических государей. Если католическая партия могла опираться на вооруженную помощь Испании и Италии, то республики Венецианская и Голландская, равно как и Англия, открывали протестантской партии свои сокровищницы, а скандинавские государства и грозная турецкая армия были готовы немедленно прийти им на помощь. Трем головам духовенства в совете курфюрстов противостояли Бранденбург, Саксония и Пфальц — три веских протестантских голоса, а для курфюрста Чешского, как и для эрцгерцога Австрийского, императорский сан означал бы оковы, если бы только протестантские имперские чины сумели воспользоваться своим значением. Меч унии мог держать меч лиги в ножнах или же по крайней мере сделать сомнительным исход войны, если бы дело дошло до нее. Но, к несчастью, сложные частные отношения разорвали всеобщую политическую связь, которая должна была объединять протестантских князей империи. Великая эпоха нашла на сцене лишь

посредственных людей, и решительный момент остался неиспользованным, ибо мужественным не хватало силы, а сильным — дальновидности, мужества и решительности.

Заслуги его предка Морица, обширность владений и значение его голоса на выборах ставили курфюрста Саксонского во главе всей протестантской Германии. От решения, принятого этим государем, зависела победа той или другой из враждующих сторон, и Иоганн-Георг отнюдь не был равнодушен к тем выгодам, которые он мог извлечь из такого положения дел. Будучи одинаково ценным приобретением для императора и для протестантского союза, он избегал решительного шага — перейти на ту или другую сторону, сделать обязующее заявление и довериться признательности императора — или же отказаться от выгод, которые можно извлечь из страха, внушаемого этим государем. Не зараженный рыцарским или религиозным одушевлением, побуждавшим одного властелина за другим рисковать в азартной военной игре своей короной и жизнью, Иоганн-Георг стремился к более прочной славе — сохранить и умножить свое достояние. Если современники винили его в том, что он среди бури отказался от кровного дела протестантов, принес спасение отечества в жертву усилению своего дома и обрек на гибель всю евангелическую церковь Германии, лишь бы не взяться за оружие в защиту реформатов; если они упрекали его в том, что он, будучи ненадежным другом, повредил общему делу немногим меньше, чем его отъявленнейшие враги, — то повинны во всем этом были сами эти государи, не принявшие за образец мудрую политику Иоганна-Георга. Если, несмотря на эту мудрую политику, саксонский крестьянин, как и всякий другой, стонал от ужасов, сопряженных с императорскими походами; если вся Германия была свидетелем того, как Фердинанд обманывал своего союзника и издевался над своими собственными обещаниями; если, наконец, сам Иоганн-Георг стал как будто замечать все это — тем позорнее для императора, который так жестоко обманул столь чистосердечное доверие!

Если чрезмерное доверие к Австрии и надежда расширить свои владения связывали руки курфюрсту Саксонскому, то страх перед Австрией и боязнь лишиться своих владений наложили на слабого Георга-Вильгельма Бранденбургского гораздо более постыдные оковы. То, что ставили в упрек обоим этим государям, могло спасти курфюрсту Пфальцскому его славное имя и его владения. Легкомысленная надежда на не испытанные еще силы, влияние советов, исходивших из Франции, и соблазнительный блеск короны толкнули этого злополучного государя на рискованное предприятие, не соответствовавшее ни его дарованиям, ни политическому строю его владений. Раздробление земель и несогласие между их владельцами ослабили мощь Пфальцского дома, которая, будь она объединена в твердой руке, могла бы еще долго держать исход войны под сомнением.

Такое же раздробление земель ослабило и Гессенский дом, а различие религий поддерживало пагубные раздоры между Дармштадтом и Касселем. Дармштадтская линия, преданная аугсбургскому исповеданию, снискала покровительство императора, который облагодетельствовал ее за счет кассельской линии, державшейся реформатского толка. В то время как его единоверцы проливали кровь за веру и свободу, ландграф Дармштадтский Георг получал жалованье от императора. Зато Вильгельм Кассельский, вполне достойный своего предка, сто лет назад отважно взявшего на себя защиту свободы Германии против страшного Карла, избрал путь чести и опасности. Чуждый малодушия, заставлявшего гораздо более сильных властителей гнуть спину под ярмом Фердинанда всемогущества, ландграф Вильгельм был *первым*, кто добровольно протянул шведскому герою свою доблестную руку и подал германским князьям пример, которого никто другой подать не хотел. Насколько мужественно было его решение, настолько же непоколебимо было его упорство и отважны его подвиги. Со смелой решительностью стал он на защиту своей истекавшей кровью страны и презрением встретил врага, руки которого еще пахли дымом магдебургского пожара.

Ландграф Вильгельм достоин бессмертия наравне с героями Эрнестинского рода. Не скоро настал для тебя день отмщения, злосчастный Иоганн-Фридрих, благородный, незабвенный государь,— долго заставил он себя ждать, но славен был этот день. Возвратились твои времена, и твой геройский дух снизошел на твоих внуков. Из глубины лесов Тюрингии выходит мужественный род государей, чьи бессмертные подвиги посрамляют приговор, сорвавший с твоей головы курфюрстскую шапку, и умиротворяют твою гневную тень грудой кровавых жертв. Приговор победителя мог отнять у них твои владения, но не ту патриотическую доблесть, из-за которой ты лишился их, не ту рыцарскую отвагу, которая столетие спустя потрясла трон его внука. Мечь за тебя и за Германию отточила им священный меч против рода Габсбургов, и непобедимый булат переходит по наследству из одной геройской руки в другую. Как доблестные мужи выполняют они то, чего не могли сделать как государи, и умирают славной смертью как храбрейшие борцы за свободу. Слишком бедные землями, чтобы бороться с врагом своими войсками, они направляют на него иноземные громы и ведут к победе чужие знамена.

Преданная могущественными князьями, все благо состояние которых зависело только от нее, свобода Германии осталась под защитой небольшого числа владетелей, для которых она едва ли имела серьезное значение. Владения и высокие звания убивали мужество; отсутствие их порождало героев. Если Саксония, Бранденбург и другие земли робко удалялись от боя, то князья Ангальтские, Мансфельд, принцы Веймарские и другие проливали свою кровь в яростных битвах. Герцоги Померанские, Мекленбургские, Люнебургские, Вюртембургские, имперские города Верхней Германии, которым самое имя властелина империи искони внушало ужас, боязливо уклонялись от борьбы с императором и, втайне ропща, покорились его сокрушительной руке.

Австрия и католическая Германия нашли в герцоге Максимилиане Баварском столь же могущественного, сколь дальновидного и мужественного защитника.

Следуя в течение всей этой войны одному тщательно продуманному плану, никогда не колеблясь между интересами своего государства и своей религией, никогда не раболепствуя пред Австрией, трудившейся для создания его величия и трепетавшей пред его спасительной рукой, Максимилиан был достоин не из рук произвола получить титулы и земли, послужившие ему наградой. Остальные католические князья, почти сплошь церковные владетели, недостаточно воинственные, чтобы бороться с полчищами, привлеченными благосостоянием их земель, стали один за другим жертвами войны и довольствовались тем, что в своих кабинетах и с церковных кафедр поносили врага, с которым боялись встретиться в открытом поле: рабы Австрии или Баварии, все они ступшевывались пред Максимилианом, и лишь в руках этого государя их объединенная сила получила значение.

Грозная монархия, созданная Карлом V и его сыном из противоестественного соединения Нидерландов, Милана, обеих Сицилий, обширных ост- и вест-индских земель, уже при Филиппе III и Филиппе IV клонилась к упадку. Быстро раздувшаяся при посредстве бесплодного золота до огромных размеров, эта монархия погибла от медленного истощения, ибо ей недоставало насущного питания государств — земледелия. Вест-индские завоевания повергли Испанию в нищету, тем самым обогатив все рынки Европы; антверпенские, венецианские и генуэзские менялы давно уже спекулировали золотом, которое еще дремало в перуанских рудниках. Ради Индии обезлюдили Испанию, индийские сокровища расточали на обратное завоевание Голландии, на химерический проект изменения французского престолонаследия, на злополучный поход против Англии. Но гордыня этого древнего рода пережила апогей его величия, ненависть его врагов пережила его грозное могущество, и ужас, казалось, все еще царил над покинутым логовом льва. Недоверчивые протестанты считали, что министры Филиппа III продолжают опасную политику его отца, а в немецких католиках, подобно вере в чудотворную силу мощей мученика, жила еще надежда на поддержку Испании. Внеш-



ний блеск скрывал раны, от которых истекала кровью эта монархия, и все были уверены в ее могуществе, потому что она не изменяла высокомерного тона своих золотых дней. Рабы в своем доме и чужаки на своем престоле, призрачные короли Испании диктовали законы своим германским родичам, и позволительно сомневаться, стоила ли помощь, оказываемая ими, той позорной зависимости, ценою которой германские императоры покупали их содействие. Судьбы Европы решались за Пиренеями невежественными монахами и придворными интриганам. Но и в период глубочайшего распада должна была оставаться грозною держава, которая не уступала никакой другой по размерам, была верна — если не из твердой политики, то по привычке — все той же государственной системе, обладала испытанными армиями и превосходными полководцами, прибегала там, где войны было недостаточно, к кинжалу бандитов и умела пользоваться своими официальными посланниками в качестве поджигателей. Все, что она потеряла в трех странах света, она теперь старалась наверстать на Востоке, и вся Европа попала бы в ее сети, если бы ей удался давнишний ее замысел — слиться между Альпами и Адриатическим морем с наследственными владениями Австрии.

К величайшему беспокойству итальянских государств эта всех тяготившая держава проникла в Италию, где ее неустанные стремления к расширению своих владений заставляли всех соседних государей трепетать за свои земли. В наиболее опасном положении находился папа, стиснутый испанскими вице-королями между Неаполем и Миланом. Венецианская республика была зажата между австрийским Тиролем и подвластным испанцам Миланом, Савойя — между Миланом и Францией. Этим объясняется уклончивая и двуличная политика, усвоенная итальянскими государствами со времен Карла V. Двойственный характер папской власти заставлял пап вечно колебаться между двумя совершенно противоположными государственными системами. Если наместник апостола Петра почитал в лице испанских государей своих покорнейших сынов, наиболее стойких защитников своего пре-

стола, то властитель Церковной области не мог не видеть в этих же государях наихудших своих соседей, опаснейших врагов. Если для первого не было ничего важнее истребления протестантов и торжества австрийского оружия, то второй имел все основания благословлять оружие протестантов, которое лишало этого соседа возможности быть ему опасным. Верх одерживало то одно, то другое соображение, смотря по тому, что больше заботило пап — светская ли власть, или же духовное владычество. В общем, однако, римская политика исходила из более непосредственной опасности, а известно, насколько страх потерять то, что имеешь, действует на душу сильнее желанья возвратить себе то, что давно утрачено. Отсюда понятно, почему наместник Христа вступал в заговор с Австрийским домом с целью уничтожения еретиков и почему тот же наместник Христа вступал в заговор с теми же еретиками с целью уничтожения Австрийского дома. Поразительно переплетаются нити всемирной истории! Что было бы с реформацией, что стало бы со свободой немецких государей, если бы у *епископа* римского и у *римского государя* были всегда *одни и те же* интересы.

Со смертью великого Генриха IV Франция потеряла все свое величие и все свое значение на политических весах Европы. Все благотворные результаты предыдущего великого правления были уничтожены в бурный период малолетства наследника. Неспособные министры, случайные создания милостей и интриг, расточили за немногие годы сокровища, накопленные мудрой политикой Сюлли и бережливостью Генриха. Кое-как защищая от внутренней крамолы свою добытую происками власть, они вынуждены были отказаться от мысли править кормилом Европы. То самое междоусобие, которое вооружило Германию против Германии, восстановило также Францию против Франции, и Людовик XIII достиг совершеннолетия лишь для того, чтобы воевать со своей собственной матерью и своими протестантскими подданными. Не сдерживаемые теперь просвещенной политикой Генриха, протестанты, усмотревшие удобный случай и возбуждаемые предприимчивыми вожаками, взяли за оружие и

образовали свое собственное государство в государстве, избрав могущественный укрепленный город Ла-Рошель средоточием своего будущего королевства. Недостаточно искусный политик, чтобы благоразумной терпимостью задуть в зародыше это междоусобие, недостаточно властный государь, чтобы держать в узде силы своего государства и править им твердой рукой, Людовик XIII вскоре был доведен до унижительной необходимости купить покорность мятежников огромными денежными суммами. Как ни важны были политические соображения, говорившие в пользу поддержки чешских мятежников против Австрии, сын Генриха IV должен был пока равнодушно взирать на их гибель и почитать за счастье, что кальвинисты в его стране не вспомнили в столь неудобное для него время о своих зарейнских единоверцах. Сильный характер у кормила правления сумел бы привести французских протестантов к покорности и завоевать свободу их братьям в Германии; но Генриха IV уже не было в живых, и лишь Ришелье суждено было воскресить его мудрую политику.

Меж тем как Франция вновь падала с высоты своей славы, освободившаяся Голландия завершала созидание своего могущества. Еще не угасло беспримерное мужество, пробужденное Оранским домом, превратившее эту торговую нацию в народ героев и давшее ей силу отстоять свою независимость в кровопролитной войне с Испанией. Памятуя, в какой степени сами они были обязаны своим освобождением чужой помощи, эти республиканцы горели желанием помочь своим немецким братьям ради такой же победы, тем более что и те и другие боролись с одним и тем же врагом, и свобода Германии была наилучшим оплотом для свободы Голландии. Но республика, еще борющаяся за свое собственное существование и ценою невероятного напряжения едва справлявшаяся с могущественным врагом в своих собственных пределах, не могла дробить силы, необходимые для самозащиты, и великодушно расточать их ради чужих государств.

Равным образом Англия, хотя и увеличенная недавним присоединением Шотландии, под властью сво-

его слабого Якова не имела уже в Европе того веса, который завоевал ей державный дух Елизаветы. Убежденная в том, что благоденствие ее острова покоится на безопасности протестантов, эта дальновидная государыня никогда не отступала от правила содействовать всякому начинанию, имевшему целью ослабление австрийского могущества. Ее преемник не обладал ни умом, необходимым, чтобы усвоить этот принцип, ни силой привести его в исполнение. Если бережливая Елизавета не жалела своих сокровищ для того, чтобы помогать Нидерландам против Испании, а Генриху IV — против ярости лиги, то Яков отдал свою дочь, внуков и зятя на произвол непримиримого победителя. Изоцряя свою ученость в поисках небесного источника королевской власти, этот король потерял свою власть на земле. Напрягая все свое красноречие, чтобы доказать неограниченность королевских прав, он тем самым напоминал английскому народу о его правах и из-за ненужного расточительства лишился своей важнейшей привилегии — обходиться без парламента и подавлять голос свободы. Врожденный трепет перед обнаженным клинком отпугивал его от самой справедливой войны; его любимец Бекингем играл на его слабостях, а самодовольное тщеславие Якова дало испанскому коварству удобный случай провести его. В то время как в Германии губили его зятя и раздавали другим наследие его внуков, этот слабоумный государь с блаженным самодовольством упивался лестью, которую ему кадили Австрия и Испания. Чтобы отвлечь его внимание от германской войны, ему предложили невестку в Мадриде, и придурковатый отец сам побудил своего жаждавшего приключений сына к скоморошеству, которое привело испанскую инфанту в изумление. Испанская невеста была потеряна для его сына, как чешская корона и пфальцский престол для его зятя, и лишь смерть избавила его от опасности закончить свое мирное правление войной, вызванной только тем, что он не имел мужества вовремя пригрозить ей.

Бури гражданской войны, подготовленные его неумелым правлением, разразились при его несчастном

сыне и скоро принудили последнего, после нескольких незначительных попыток, отказаться от всякого участия в германской войне, дабы усмирить в своем собственном государстве разбушевавшуюся крамолу, жалкой жертвой которой он в конце концов и пал.

Два выдающихся короля, пользовавшиеся, правда, далеко не одинаковой личной славой, но одинаково могущественные и честолюбивые, внушали тогда уважение к скандинавскому северу. За время долгого и деятельного правления Христиана IV Дания стала видной державой. Личные достоинства этого государя, превосходный флот, отборные войска, благоустроенные финансы и дальновидные союзы обеспечили его государству цветущее благосостояние внутри и уважение вовне. Швецию Густав Ваза вырвал из рабства, преобразовал ее путем мудрого законодательства и впервые вывел новосозданное государство на сцену всемирной истории. То, что этот великий государь наметил лишь в общих чертах, было приведено в исполнение его еще более великим внуком Густавом-Адольфом.

Оба государства, некогда противостоительно соединенные в одну монархию и обесиленные этим соединением, порвали эту связь во время реформации, и разрыв был началом их расцвета. Насколько пагубно было для них обоих насильственное объединение, настолько необходимы были после разделения взаимная добрососедская дружба и согласие. На обе страны опиралась евангелическая церковь; обоим надлежало охранять те же моря; *общая* выгода должна бы соединить их против *одного и того же* врага. Но ненависть, из-за которой распалась связь обеих монархий, продолжала разжигать вражду между давно разъединенными народами. Датские короли все еще не могли отказаться от своих притязаний на Швецию; шведы не могли забыть былую тиранию датчан. Смежные границы обоих государств давали вечную пищу для национальной вражды; ревнивое соперничество обоих королей и неизбежные торговые столкновения в северных морях были неиссякаемым источником раздоров.

Из всех средств, которыми основатель шведской державы Густав Ваза стремился усилить свое новое

создание, одним из самых действенных была церковная реформа. Основным законом государства отстранял приверженцев папизма от всех государственных должностей и воспрещал всякому будущему властелину Швеции изменять вероисповедное состояние государства. Но уже второй сын и второй наследник Густава, Иоганн, опять вернулся к папизму, а сын его Сигизмунд, занимавший одновременно и престол польский, отважился на некоторые шаги, имевшие целью ниспровержение конституции и господствующей церкви. Чины, возглавленные Карлом, герцогом Зюдерманландским, третьим сыном Густава, оказали ему мужественное сопротивление, последствием которого была открытая междоусобная война между дядей и племянником, между королем и народом. Герцог Карл, бывший в отсутствие короля регентом государства, воспользовался долгим пребыванием Сигизмунда в Польше и справедливым недовольством чинов для того, чтобы теснейшим образом привязать к себе народ и незаметно проложить своему собственному дому путь к престолу. Неудачные действия Сигизмунда немало благоприятствовали замыслу Карла. Общегосударственный сейм позволил себе отменить в пользу регента право первородства, введенное в шведский закон о престолонаследии Густавом Вазой, и возвел герцога Зюдерманландского на престол, от которого был торжественно отрешен Сигизмунд со всем его потомством. Сыном нового короля, правившего под именем Карла IX, был Густав-Адольф, которому приверженцы Сигизмунда именно по этой причине отказали, как сыну узурпатора, в признании. Но если обязательства между королем и народом взаимны, если государство не переходит из рук в руки по наследию, как неодушевленный предмет, то целая нация, действующая в полном единодушии, имеет право отказаться исполнить свой долг по отношению к вероломному властелину и заместить его более достойным.

Густаву-Адольфу еще не было семнадцати лет, когда шведский престол освободился вследствие смерти его отца, но, ввиду ранней умственной зрелости юноши, чины до истечения положенного срока признали его

совершеннолетним. Славной победой над самим собой начал он правление, которому суждено было сопровождаться победой и победой закончиться. Первые порывы своего великого сердца Густав-Адольф посвятил юной графине Браге, дочери его подданного, и он искренно желал разделить с нею шведский престол. Но под давлением времени и обстоятельств он принес свои чувства в жертву высшему долгу государя, и геройская доблесть вновь всецело овладела сердцем, не созданным для того, чтобы ограничиться тихим семейным счастьем.

Христиан IV Датский, уже царствовавший в ту пору, когда Густава еще не было на свете, вторгся в пределы Швеции и в борьбе с отцом этого героя добился значительных преимуществ. Густав-Адольф поспешил закончить эту пагубную войну и благоразумными уступками купил мир для того, чтобы обратить оружие против царя Московского. Никогда двусмысленная слава завоевателя не соблазняла его проливать кровь своих народов в несправедливых войнах, но от войны справедливой он никогда не уклонялся. Его борьба с Россией закончилась удачно для него, и шведская держава увеличилась на востоке значительными областями.

Между тем Сигизмунд, король польский, продолжал питать против сына враждебные намерения, вызванные еще отцом, и всяческими хитростями пытался поколебать верность подданных Густава-Адольфа, склонить его друзей к равнодушию, его врагов — к неприимости. Ни высокие достоинства его соперника, ни бесчисленные доказательства преданности, которыми Швеция окружала своего обожаемого короля, не могли излечить этого ослепленного государя от бессмысленной надежды вновь вступить на потерянный трон. Все мирные предложения Густава высокомерно отвергались. Против воли был этот миролюбивый герой вовлечен в продолжительную войну с Польшей, в ходе которой под шведское владычество постепенно перешла вся Лифляндия и прусская Польша. Всегда победитель, Густав-Адольф всегда был готов первый протянуть руку примирения.

Эта шведско-польская война совпадает с началом Тридцатилетней войны в Германии и находится с ней в связи. Король Сигизмунд, католик, боролся за шведскую корону с протестантским монархом, — этого было совершенно достаточно, чтобы он считал обеспеченным за собой действительное дружелюбие Испании и Австрии; двойное родство с императором давало ему еще большие права на поддержку. Надежда на столь могущественную подмогу и побуждала главным образом короля Польского к продолжению войны, которая оказалась столь невыгодной для него; к тому же мадридский и венский дворы не переставали подбадривать его лживыми обещаниями. Теряя одну крепость за другой в Лифляндии, Курляндии и Пруссии, Сигизмунд в то же время видел, что его союзник, переходя в Германии от победы к победе, движется к неограниченному господству: нет ничего удивительного, что его нежелание заключить мир возрастало вместе с его поражениями. Страстное упорство, с которым он преследовал свои химерические планы, мешало ему разгадать коварную политику его союзника, который старался лишь за его счет отвлечь войска шведского героя, дабы беспрепятственно покончить со свободой Германии и вслед за тем, как легкой добычей, овладеть истощенным севером. Одно только обстоятельство, на которое враги никак не рассчитывали — геройское величие Густава, — разорвало хитросплетения этой бесчестной политики. Восьмилетняя польская война, отнюдь не истощив Швецию, лишь способствовала развитию военного гения Густава-Адольфа, закалила шведские войска в долгих походах и позволила незаметно ввести новую тактику, благодаря которой шведы впоследствии творили чудеса на полях Германии.

После этого необходимого обзора тогдашнего состояния европейских государств я позволю себе вновь перейти к прерванной нити событий.

Фердинанд вновь владел своими землями, но еще не вернул себе тех денег, которые потратил на их завоевание. Сорока миллионов гульденов, доставленных ему конфискациями в Чехии и Моравии, было бы вполне достаточно, чтобы возместить все издержки



его и его союзников; но эта громадная сумма быстро растаяла в руках иезуитов и его любимцев. Герцог Максимилиан Баварский, победоносной руке которого император почти исключительно обязан был возвращением своих владений и который ради своей религии и своего императора пожертвовал близким родственником, имел самые веские основания притязать на его благодарность, и в договоре, который герцог заключил с императором еще до начала войны, он прямо выговорил себе возмещение всех расходов. Фердинанд сознавал все значение обязательств, налагаемых на него этим договором и заслугами Максимилиана, но не ощущал никакого желания выполнить их за свой счет. Он намеревался блестяще вознаградить герцога, но без малейшего ущерба для себя. Это, разумеется, успешнее всего можно было сделать на средства того государя, против которого война позволяла ему учинить все что угодно, проступки которого могли быть изображены в достаточно черных красках, чтобы, ссылаясь на уважение к законам, этим оправдать любое насилие над ним. Итак, надо было продолжать преследование Фридриха, обобрать Фридриха с целью вознаградить Максимилиана, и ради того, чтобы расплатиться за старую войну, затеяли новую.

Но к этой побудительной причине присоединилась другая, неизмеримо более важная: до сих пор Фердинанд боролся только за свое существование и выполнял лишь долг самозащиты; теперь же, когда победа даровала ему свободу действий, он вспомнил о своих мнимых высших обязанностях и подумал об обете, который он принес в Лоретто и Риме своей покровительнице деве Марии,— не щадя своей жизни и короны, повсюду распространять ее почитание. С этим обетом неразрывно было связано угнетение протестантов. Трудно представить себе более благоприятное стечение обстоятельств для выполнения обета, нежели теперь, по окончании чешской войны. Опираясь на свое могущество и на видимость права, Фердинанд мог отважиться передать пфальцские земли католику, и последствия этой перемены были исключительно важны для всей католической Германии. Вознаграж-

дая герцога Баварского добром, награбленным у его родственника, он этим одновременно удовлетворял самые низменные свои вождедения и исполнял свой возвышеннейший долг: он уничтожал врага, которого ненавидел; избавляя свое корыстолюбие от чувствительной жертвы, он вместе с тем приобретал и венец небесный.

Гибель Фридриха была решена в кабинете императора гораздо раньше, чем судьба высказалась против него; но лишь после того, как это случилось, можно было осмелиться разгромить его актом насилия. Без соблюдения каких бы то ни было формальностей, предписанных законами империи для такого случая, указом императора курфюрст и три другие князя, сражавшиеся за него в Силезии и Чехии, были объявлены оскорбителями его императорского величества и нарушителями общего мира, ввергнуты в имперскую опалу, лишены сана и всех владений. Исполнение этого приговора против Фридриха, иначе говоря — захват его земель, было с таким же дерзким нарушением имперских законов возложено на Испанию, как владельницу Бургундии, на герцога Баварского и на лигу. Будь евангелическая уния достойна того имени, которое она носила, и того дела, которое защищала, исполнение приговора об опале могло бы натолкнуться на непреодолимые препятствия; но жалкое войско, едва равнявшееся испанской армии в Нижнем Пфальце, должно было отказаться от мысли бороться с соединенными войсками императора, Баварии и лиги. Приговор, произнесенный над курфюрстом, немедленно заставил все имперские города отшатнуться от союза, и государи не замедлили последовать их примеру. Осчастливленные уже тем, что спасли свои владения, они предоставили курфюрста, своего прежнего главу, самоуправству императора, отреклись от унии и поклялись никогда не возобновлять ее.

Бесславно покинули германские государи злосчастного Фридриха; Чехия, Силезия и Моравия преклонились пред грозной силой императора. Лишь единственный человек, авантюрист, все богатство которого заключалось в его мече, граф Эрнст фон

Мансфельд осмелился в чешском городе Пильзене сопротивляться всему воинству императора. Оставленный после пражского сражения без всякой поддержки курфюрстом, которому он преданно служил, не зная даже, будет ли Фридрих благодарен ему за стойкость, он долго еще сопротивлялся один, сдерживая напор императорских войск, пока его солдаты под гнетом жестокой нужды не продали город Пильзен императору. Не отчаявшись и после этого удара, он занялся в Верхнем Пфальце новой вербовкой, привлекая к себе таким образом войска, распущенные унией. Вскоре под его знаменами собралось свежее двадцатитысячное войско, тем более страшное для всех областей, которые оно наводняло, что единственным источником средств к жизни для этих солдат был грабеж. Не ведая, куда хлынут эти полчища, заранее трепетали все соседние епископства, богатства которых могли вызвать нашествие. Но теснимый герцогом Баварским, который для исполнения императорского приговора вторгся в Верхний Пфальц, Мансфельд вынужден был покинуть эту область. Ускользнув посредством ловкого маневра от преследовавшего его баварского генерала Тилли, он вдруг появился в Нижнем Пфальце и там подверг рейнские епископства тем самым насилиям, которые готовил франконским. В то время как баварско-императорская армия наводнила Чехию, испанский генерал Амброзио Спинола двинулся из Нидерландов со значительным войском в Нижний Пфальц, защита которого была по Ульмскому договору предоставлена унией. Однако все распоряжения были настолько неудачны, что один город за другим попадал в испанские руки, и, наконец, когда уния распалась, большая часть страны оказалась занятой испанскими войсками. Вторжение Мансфельда в Нижний Пфальц заставило испанского генерала Кордуву, который командовал этими войсками после ухода Спинолы, поспешно снять осаду Франкенталя. Но вместо того, чтобы вытеснить испанцев из этой провинции, Мансфельд поспешил перейти через Рейн, чтобы дать своим изголодавшимся войскам возможность подкормиться в Эльзасе. В страшную пустыню обратились все незащищенные земли, по

которым прокатился этот разбойничий поток, и лишь огромными суммами удавалось городам откупиться от полного разграбления. Набравшись новых сил в этом походе, Мансфельд снова появился на Рейне для защиты Нижнего Пфальца.

Пока за курфюрста Фридриха сражалась такая рука, он не мог считать себя безвозвратно погибшим. У него зародились новые надежды, а в несчастье зазвучал голос друзей, которые безмолвствовали, покуда он был счастлив. Король Английский Яков, равнодушно взиравший на то, как его зять лишился чешской короны, вышел из своего тупого равнодушия, когда было поставлено на карту самое существование его дочери и его внуков и когда победоносный враг дерзнул вторгнуться в пределы курфюршества. Теперь, наконец — хотя и достаточно поздно, — он открыл свою сокровищницу и поспешил помочь деньгами и войсками сперва уни, тогда еще защищавшей Нижний Пфальц, а затем, когда она распалась, — графу Мансфельду. Он склонил также к деятельной помощи своего близкого родственника, короля Датского Христиана. К тому же истечение срока перемирия между Испанией и Голландией лишило императора всякой поддержки, на которую он мог рассчитывать со стороны Нидерландов. Но важнее всего была помощь, оказанная пфальцграфу Семиградьем и Венгрией. Едва окончилось перемирие между Габором и императором, как этот грозный исконный враг Австрии снова вторгся в Венгрию и возложил на себя в Пресбурге королевскую корону. Он продвигался вперед так стремительно, что Букуа пришлось покинуть Чехию и поспешить на защиту Венгрии и Австрии. Этот храбрый полководец пал во время осады Нейгейзеля; несколько ранее погиб под стенами Пресбурга столь же храбрый Дампьер. Не встречая на своем пути сопротивления, вторгся Габор в пределы Австрии; старик граф Турн и многие знатные чехи отдали всю свою ненависть и все свои силы на служение врагу своего врага. Решительное наступление со стороны Германии в то время, как Габор теснил императора со стороны Венгрии, могло быстро восстановить шансы Фридриха; но когда

Габор выступал в поход, чехи и немцы неизменно складывали оружие, а когда они начинали оправляться, он всегда уже был истощен.

Между тем Фридрих не замедлил броситься в объятия своего нового защитника — Мансфельда. Переодетый, появился он в Нижнем Пфальце, из-за которого боролись теперь Мансфельд и баварский генерал Тилли: Верхний Пфальц давно был уже завоеван. Луч надежды блеснул пред Фридрихом, когда из развалин унии стали являться ему новые друзья. С некоторого времени маркграф Баденский Георг-Фридрих, бывший член унии, стал набирать войско, которое вскоре превратилось в значительную армию. Никто не знал, на чьей стороне она будет, как вдруг маркграф двинулся в поход и соединился с графом Мансфельдом. Предварительно он уступил маркграфство сыну, чтобы этой уловкой спасти свои владения от мести императора, в случае если счастье ему изменит. Соседний герцог Вюртембергский также стал увеличивать свои войска. Все это поднимало дух пфальцграфа, и он изо всех сил старался вновь вызвать к жизни унию. Теперь и для Тилли пришел черед подумать о своем спасении. С величайшей поспешностью призвал он к себе войска испанского генерала Кордувы. Но в то время как неприятель соединял свои силы, Мансфельд и маркграф Баденский расстались, и последний был разбит баварским полководцем при Вимпфене (1622).

Нищий авантюрист, чья законнорожденность вызывала сомнения, объявил себя защитником короля, погубленного своим ближайшим родственником и оставленного без поддержки отцом своей супруги. Владетельный князь отказывался от своих земель, которыми он спокойно правил, ради того, чтобы испытать ненадежное счастье войны в интересах другого, совершенно чуждого ему государя. Новый удалец, бедный владениями, но богатый славными предками, берется за защиту дела, которое другому авантюристу не удалось выполнить. Герцогу Христиану Брауншвейгскому, правителю гальберштадтскому, показалось, что он постиг тайну графа Мансфельда, как без денег содержать в боевой готовности армию в двадцать тысяч чело-

век. Одушевляемый юношеской самонадеянностью, исполненный жажды добыть себе славу и деньги за счет католического духовенства, предмета его рыцарской ненависти, он набрал в Нижней Саксонии значительное войско и объявил себя защитником Фридриха и германской свободы. «Богу друг — попам враг» — таков был девиз, выбитый на его монетах, вычеканенных из награбленного церковного серебра, — девиз, который он не посрамил своими действиями.

Путь, избранный этой разбойничьей шайкой, был, по обыкновению, ознаменован ужасающими опустошениями. Разграбив нижнесаксонские и вестфальские монастыри, она набралась сил для грабежа верхнерейнских епископств. Теснимый здесь друзьями и врагами, Христиан подошел у майнцского города Гехста к Майну и перешел реку после кровопролитного столкновения с Тилли, прештствовавшего переправе. Потеряв половину войска, он добрался до противоположного берега, где быстро собрал остатки своих отрядов и с ними присоединился к графу фон Мансфельду. Преследуемая Тилли, вся банда бросилась вторично на Эльзас, чтобы докончить опустошение всего, что не было разграблено в первый раз. Меж тем как курфюрст Фридрих, мало чем отличаясь от нищего беглеца, тащился вслед за войском, которое признавало его своим господином и украшало себя его именем, его друзья прилагали все старания к тому, чтобы примирить его с императором. Фердинанд не хотел отнять у них всякую надежду снова увидеть пфальцграфа на престоле. Исполненный хитрости и коварства, он выказал полную готовность приступить к переговорам; этим он рассчитывал охладить их воинский пыл и удержать от крайностей. Король Яков, как всегда игрушка австрийского коварства, своей нелепой суетливостью немало содействовал успеху хитростей императора. Фердинанд требовал прежде всего, чтобы Фридрих, раз он взывает к милости монарха, сложил оружие, и Яков нашел это требование весьма справедливым. По его повелению пфальцграф дал отставку своим единственным искренним защитникам, графу Мансфельду и Христиану Брауншвейгскому, и стал

дождаться в Голландии решения своей участи и милосердия императора.

Мансфельду и герцогу Христиану не хватало только нового покровителя; они взялись за оружие не во имя интересов пфальцграфа, а поэтому его отказ от их услуг не мог заставить их сложить оружие. Война была для них целью независимо от того, за кого они сражались. После неудачной попытки графа Мансфельда поступить на службу к императору оба они двинулись на Лотарингию, где неистовства их войск распространили ужас до самого центра Франции. Долго стояли они здесь в тщетном ожидании господина, который подрядил бы их на работу, пока голландцы, теснимые испанским генералом Спинолой, не предложили им службу. После кровопролитного столкновения при Флерюсе с испанцами, которые хотели преградить им путь, они достигли Голландии, где появление их немедленно заставило испанского генерала снять осаду с Берген-оп-Зома. Но и Голландии скоро стали в тягость эти беспокойные гости, и она воспользовалась первой же передышкой, чтобы избавиться от их опасной помощи. Мансфельд предоставил своим войскам подкрепляться для новых подвигов в богатой провинции — Восточной Фрисландии. Герцог Христиан, воспылавший страстью к пфальцграфине, которую он впервые узнал в Голландии, и более воинственный, чем когда-либо, увел свои войска обратно в Нижнюю Саксонию: он прикрепил перчатку этой государыни к своей шляпе, а на его знаменах теперь красовался девиз: «Все для бога и для нее». Оба отнюдь еще не доиграли своих ролей в этой войне.

Таким образом, все императорские земли были, наконец, очищены от врагов, уния распалась, маркграф Баденский, граф Мансфельд и герцог Христиан выбиты из своих позиций, и пфальцские земли наводнены войсками, приводившими в исполнение приговор императора. Мангейм и Гейдельберг были в руках баварцев; Франкенталь также вскоре перешел в руки испанцев. В глухом уголке Голландии пфальцграф дожидался постыдного разрешения коленопреклоненно

молить императора смягчиться — и так называемый съезд курфюрстов в Регенсбурге должен был, наконец, решить его участь. Она давно уже была решена при дворе императора, но только теперь обстоятельства оказались достаточно благоприятными, чтобы громогласно объявить это решение. После всего, что император учинил против курфюрста, Фердинанд не мог надеяться на искреннее примирение. Лишь довершением насильственных действий можно было обеспечить им безнаказанность. Поэтому то, что уже было утрачено, должно было остаться утраченным; Фридриху не дано было вновь увидеть свои владения, а государь без земли и народа, разумеется, не мог долее носить курфюрстскую шапку. Насколько тяжела была вина пфальцграфа пред Австрийским домом, настолько велики были заслуги герцога Баварского перед этой династией. Насколько жажда мести и религиозная ненависть Пфальцского дома были страшны Австрийскому дому и католической церкви, настолько были велики надежды последних на благодарность и религиозное рвение герцога Баварского. Наконец, перенесение избирательных прав Пфальц-графа на баварскую корону обеспечивало католической религии решительный перевес в совете курфюрстов и непреходящее первенство в Германии.

Этого последнего довода было достаточно, чтобы склонить трех духовных курфюрстов в пользу наменного нововведения; среди протестантских голосов имел значение один лишь голос Саксонии. Но мог ли Иоганн-Георг отказать императору в праве, непризнанием которого ставилось под сомнение его собственное право на курфюршество? Правда, для государя, которого его происхождение, его сан и его могущество ставили во главе протестантской церкви Германии, ничто, казалось бы, не могло быть более свято, нежели защита прав этой церкви от всех притязаний католиков. Однако вопрос заключался теперь не в том, как охранить интересы протестантской религии от католиков, а в том, какой из двух равно ненавистных религий — кальвинистской или папской — предоставить победу над другой, какому из двух одинаково опас-



ных врагов отдать звание курфюрста Пфальцского; при столкновении двух противоположных велений долга было естественно, что вопрос решался по мотивам личной ненависти и частной выгоды. Прирожденный защитник германской свободы и протестантской религии подстрекал императора распорядиться Пфальцским курфюршеством по своему высочайшему благоусмотрению и нимало не смущаться тем, что со стороны Саксонии, формы ради, будет оказано некоторое сопротивление его мероприятиям. Если Иоганн-Георг впоследствии медлил дать свое согласие, то сам Фердинанд изгнанием евангелических проповедников из Чехии подал повод к такому изменению образа мыслей, и передача Пфальцского курфюршества в лен Баварии перестала быть противозаконным действием после того, как император согласился уступить курфюрсту Саксонскому Лузацію в погашение шести миллионов талеров военных издержек.

И вот, не считаясь с возражениями всей протестантской Германии, нарушая основные законы империи, которые он в избирательном акте клятвенно обещал соблюдать,— Фердинанд торжественно передал в Регенсбурге герцогу Баварскому Пфальцское курфюршество, с тем, однако, что это пожалование, как было оговорено, не касается притязаний, которые могли предъявить на Пфальц родственники и потомки Фридриха. Таким образом, этот злополучный государь теперь окончательно лишился своих владений, даже не быв предзарительно выслушан судом, который его осудил,— справедливость, в которой закон не отказывает ничтожнейшему из подданных и даже самому гнусному преступнику.

Этот насильственный шаг открыл, наконец, глаза королю Английскому, и так как в это время как раз были прерваны переговоры о браке его сына с одной из испанских принцесс, то Яков деятельно вступился, наконец, за своего зятя. Переворот во французском министерстве поставил во главе управления кардинала Ришелье, и королевство, пребывавшее в глубоком упадке, ощутило, наконец, что у кормила его стоит настоящий государственный муж. Старания испанского

наместника в Милане овладеть Вальтелиной, чтобы таким путем прийти в ближайшее соприкосновение с наследственными землями Австрии, вновь возбудили былые опасения перед этой державой и вместе с тем снова призывали к жизни политические принципы Генриха Великого. Следствием женитьбы принца Уэльского на Генриетте Французской был более тесный союз между обеими этими коронами, к которому присоединились также Голландия, Дания и несколько итальянских государств. Предполагали силою оружия принудить Испанию к возвращению Вальтелины, а Австрию — к восстановлению Фридриха. Но лишь для достижения первой цели была проявлена некоторая деятельность. Яков I скончался, а Карл I, борясь со своим парламентом, уже не мог уделять внимание германским делам. Савоя и Венеция отказали в поддержке, и французский министр рассудил, что, прежде чем решиться выступить на помощь немецким протестантам против их императора, необходимо усмирить гугенотов в своей стране. Насколько велики были надежды, порожденные этим союзом, настолько ничтожен был его успех.

Граф Мансфельд, лишенный всякой поддержки, стоял в бездействии на Нижнем Рейне, а герцог Христиан Брауншвейгский после неудачного похода был вновь изгнан из Германии. Новое вторжение Бетлен Габора в Моравию, безуспешное, как все прежние, из-за отсутствия помощи со стороны Германии, окончилось формальным миром с императором. Унии более не существовало; ни один протестантский государь не был подготовлен к войне, а на границах Нижней Германии стоял баварский генерал Тилли с войском, привыкшим к победам на протестантской земле. Передвижения герцога Брауншвейгского Христиана привлекли его в этот край, откуда он уже как-то раз прошел до Нижней Саксонии, где взял Липпштадт, опорный пункт правителя области. Необходимость следить за этим врагом и удерживать его от новых вторжений должна была и теперь еще оправдывать присутствие Тилли в этих землях. Но к тому времени Мансфельд и Христиан за недостатком средств уже распу-

стили свои войска, и армия графа Тилли нигде не видела перед собой неприятеля. Для чего же обременяла она своим присутствием этот край?

Трудно среди рева разъяренных партий различить голос истины, но подозрительным являлось уже то, что лига и не думала о разоружении. Преждевременное ликование католиков неизбежно должно было усилить тревогу. Император и лига, вооруженные и победоносные, стояли в Германии, где на всей территории не было силы, способной оказать им сопротивление, попытайся они напасть на протестантских князей или даже просто положить конец религиозному миру. Если император Фердинанд и в самом деле был далек от мысли злоупотреблять своими победами, то одна уже беззащитность протестантов должна была подсказать ему такую мысль. Устарелые договоры не могли связывать государя, убежденного, что он все на свете обязан сделать для своей религии, и считавшего, что религиозная цель освящает всякое насилие. Верхняя Германия была побеждена, и лишь Нижняя могла противиться его самодержавию. Здесь господствовали протестанты, здесь у католической церкви была отобрана большая часть ее владений, и казалось, что настал момент возвратить церкви утраченные имущества. В церковных имуществах, присвоенных нижнегерманскими князьями, заключался немалый источник их мощи, и необходимость возвратить церкви ее достояние являлась в то же время превосходным предлогом ослабить этих государей.

Оставаться бездейственными в таком опасном положении было бы преступной беспечностью. Воспоминание об ужасах, совершенных войсками Тилли в Нижней Саксонии, было слишком свежо, чтобы не побудить князей к самозащите. Со всей возможной поспешностью вооружился весь нижнесаксонский округ. Были введены чрезвычайные военные налоги, набраны войска и наполнены склады. С Венецией, Голландией и Англией велись переговоры о денежной помощи. Шли совещания о том, какую державу поставить во главе союза. Короли Зунда и Балтийского моря, естественные союзники этого округа, не могли равнодушно

дожидаться того дня, когда император победоносно водворится здесь и станет их соседом на берегах северных морей. Как интересы религии, так и интересы политики властно побуждали их положить предел продвижению этого государя в Нижней Германии. Христиан IV, король датский, причислял себя, в качестве герцога Голштинского, к чинам этого округа; столь же веские мотивы заставили и Густава-Адольфа Шведского принять участие в этом союзе.

Оба короля добивались чести стать на защиту нижнесаксонского края и сразиться с грозной Австрийской державой. Каждый предлагал выставить вполне снаряженную армию и лично предводительствовать ею. Победоносные походы против Москвы и Польши придавали особый вес обещанию короля Шведского. На всем балтийском побережье славилось имя Густава-Адольфа. Но слава этого соперника точила сердце короля Датского, и чем больше лавров ждал Христиан IV для себя от этого похода, тем менее мог он подавить свою зависть и заставить себя уступить их своему соседу. Оба предъявили свои предложения и условия английскому министерству, и там, наконец, Христиану IV удалось взять верх над соперником. Густав-Адольф, в целях своей безопасности, требовал передачи ему в Германии, где сам он не имел ни пяди земли, нескольких крепостей для того, чтобы в случае неудачи обеспечить своим войскам необходимое прибежище. Христиан IV владел Голштинией и Ютландией и, потерпев неудачу, мог безопасно отступить через эти земли восвояси.

Чтобы опередить соперника, король Датский поспешил выступить в поход. Назначенный главнокомандующим нижнесаксонского округа, он вскоре получил в свое распоряжение шестидесятитысячное войско; администратор Магдебургский, герцоги Брауншвейгские и Мекленбургские присоединились к нему. Помощь, обещанная Англией, вдохнула в короля новое мужество, и, став во главе такой силы, он льстил себя надеждой окончить войну *одним* походом. В Вену дано было знать, что вооружение имеет целью лишь защиту округа и сохранение спокойствия в этом крае. Но пере-

говоры с Голландией, Англией и даже с Францией, необычайно напряженная деятельность в нижнесаксонском округе и пребывание здесь грозной армии, видимо, имели целью не только защиту определенных земель, но полное восстановление курфюрста Пфальцского в его правах и унижение не в меру усилившегося императора.

После того как император, пытаясь принудить короля Датского и нижнесаксонский округ сложить оружие, исчерпал все возможности переговоров, увещаний, угроз и приказаний, начались военные действия, и Нижняя Германия стала театром войны. Граф Тилли, подвигаясь по левому берегу Везера, овладел всеми проходами вплоть до Миндена. После неудачного нападения на Нинбург и перехода через реку, он вторгся в княжество Калембергское и занял его своими войсками. На правом берегу Везера действовал король, войска которого заняли Брауншвейг. Но, ослабив свою армию выделением из нее значительных отрядов, он не мог предпринять с остатком войска ничего серьезного. Сознвая превосходство противника, он избегал решительной схватки так же упорно, как полководец лиги искал ее.

До сих пор император воевал в Германии,— если не считать испанско-нидерландских вспомогательных отрядов, вторгшихся в Нижний Пфальц,— исключительно посредством войск Баварии и лиги; Максимилиан вел войну в качестве главы имперской экзекуции, и Тилли, руководивший ею, являлся слугою Баварии. Всем своим превосходством на поле брани император был обязан войскам Баварии и лиги, и поэтому от них зависели все его удачи и весь его авторитет. Эта зависимость от доброй воли Баварии и лиги была несовместима с обширными замыслами, которые возникли при императорском дворе после столь блестящего начала.

Как ни велика была готовность лиги встать на защиту императора, ибо с этим было связано ее собственное благополучие, все же трудно было ожидать, чтобы она простерла эту готовность и на завоевательные планы императора. А если бы она впрямь и согласилась давать войска для завоевательных целей, то было

основание опасаться, что она разделит с императором только общую им ненависть, выгодами же завоевания воспользуется сама. Лишь значительная военная сила, выставленная в поле им самим, могла снять с плеч императора бремя гнетущей зависимости от Баварии и обеспечить ему сохранение его прежнего могущества в Германии. Но война настолько истощила владения императора, что они не могли стать источником средств для снаряжения такой армии. При таких обстоятельствах для императора ничего не могло быть приятнее предложения, которое ему неожиданно сделал один из его офицеров.

То был граф Валленштейн, заслуженный офицер, самый богатый дворянин Чехии. С ранней юности он служил императорскому дому и прославился во многих походах против турок, венецианцев, чехов, венгров и трансильванцев. Полковником он участвовал в битве под Прагой и затем в должности генерал-майора разбил венгерскую армию в Моравии. Благодарность императора соответствовала этим заслугам, и наградой за них была значительная доля имущества, конфискованного после чешского мятежа. Владелец несметного состояния, движимый честолюбивыми планами, исполненный надежд, основанных на вере в свою счастливую звезду и еще более — на глубоком понимании условий своего времени, он вызвался набрать и снарядить для императора армию на свои средства и средства своих друзей и даже избавить императора от забот о ее содержании, если ему будет позволено увеличить ее до пятидесяти тысяч человек. Не было человека, который не издевался бы над этим предложением как над химерическим созданием увлекающегося ума, но попытка оправдала бы себя даже в том случае, если бы он выполнил лишь часть своего обещания. Ему предоставлено было для вербовки несколько округов в Чехии и дано было разрешение назначать командиров по своему усмотрению. Через несколько месяцев под его знаменами стояло двадцать тысяч человек, которых он повел за пределы Австрии. Вскоре он появился на границе Нижней Саксонии уже с тридцатью тысячами. Для всего этого начинания император не дал ничего,

кроме своего имени. Слава полководца, виды на блестящее повышение и надежда на добычу привлекали удалцов со всех концов Германии под его знамена, и даже владетельные князья под влиянием корыстолюбия или из жажды славы вызывались теперь поставлять войска для Австрии.

Таким образом, теперь, в первый раз за эту войну, в Германии появилось императорское войско — гроза для протестантов и немногим более утешительное явление для католиков. Валленштейну было приказано соединить свою армию с войсками лиги и вместе с баварским генералом двинуться на короля Датского. Но, давно уже завидуя воинской славе Тилли, он не проявлял никакого желания делить с ним лавры этого похода и затмевать блеск своей славы сиянием подвигов Тилли. Правда, военный план Валленштейна служил поддержкой операциям Тилли, но выполнял он его совершенно независимо от Тилли. У него не было тех источников, из которых Тилли черпал средства для своего войска; поэтому он вынужден был вести свою армию в богатые земли, еще не пострадавшие от войны. Итак, не соединившись — вопреки приказу — с полководцем лиги, он двинулся в область Гальберштадта и Магдебурга и овладел Эльбой при Дессау. Все земли по обоим берегам этой реки были таким образом открыты для его грабежей; он мог отсюда напасть с тыла на короля Датского и, в случае надобности, даже проложить себе путь в его владения.

Христиан IV чувствовал всю опасность своего положения между двумя столь страшными армиями. Еще ранее он соединился с возвратившимся из Голландии правителем Гальберштадтским. Теперь он открыто признал также графа Мансфельда, от услуг которого до сих пор отказывался, и оказал ему посильную поддержку. Мансфельд сторицей вознаградил его за это. Без всякой чужой помощи он отвлек войска Валленштейна и помешал им уничтожить в союзе с Тилли короля Датского. Невзирая на численное превосходство неприятеля, этот смелый полководец подошел даже к Дессаускому мосту и отважился окопаться прямо в виду императорских окопов. Но, не выдержав натиска всего

неприятельского войска с тыла, он вынужден был уступить численности и покинуть позицию, потеряв три тысячи человек убитыми. После этого поражения Мансфельд двинулся в Бранденбург, где, после краткого отдыха, подкрепил себя новыми войсками, а затем внезапно появился в Силезии, намереваясь оттуда вторгнуться в Венгрию и в союзе с Бетлен Габором внести войну в самое сердце австрийских владений. Так как наследственные земли императора были беззащитны против такого неприятеля, то Валленштейн получил спешный приказ оставить на время в покое короля Датского для того, чтобы по возможности преградить Мансфельду путь через Силезию.

Диверсия, предпринятая Мансфельдом, для отвлечения войск Валленштейна, дала королю Датскому возможность отправить часть своих войск в Вестфалию, чтобы занять здесь епископства Мюнстер и Оснабрюк. С целью воспрепятствовать этому Тилли поспешил покинуть Везер; но продвижение герцога Христиана, который обнаруживал намерение ворваться через Гессен в земли лиги и перенести туда театр войны, заставило его как можно скорее покинуть Вестфалию. Чтобы не быть отрезанным от этих земель и воспрепятствовать опасному соединению ландграфа Гессенского с неприятелем, Тилли поспешно овладел всеми укрепленными местами на Верре и Фульде и захватил город Мюнден, расположенный у подножия гессенских гор, где обе реки впадают в Везер. Вслед за тем он занял Геттинген — ключ к Брауншвейгу и Гессену — и готовил ту же судьбу Нордгейму, но король со всей своей армией поспешил расстроить его намерения. Обеспечив эту крепость всем необходимым для долгой осады, король попытался проложить себе путь в земли лиги через Эйхсфельд и Тюрингию. Он прошел уже Дудерштадт, но граф Тилли быстрыми переходами опередил его. Так как армия Тилли, подкрепленная несколькими полками Валленштейна, численностью на много превосходила королевское войско, то Христиан во избежание боя повернул назад к Брауншвейгу. Но Тилли неустанно преследовал его при этом отступлении, и после трехдневных стычек королю пришлось, наконец, дать неприятелю



телю сражение при деревне Луттер у Баренберга. Датчане начали бой с большой храбростью; мужественный король трижды водил их в атаку, но, наконец, более слабой стороне пришлось уступить численности и военной опытности неприятеля, и на долю полководца лиги выпала полная победа. Шестьдесят знамен и вся артиллерия, обоз и амуниция достались победителю; много благородных офицеров и около четырех тысяч рядовых полегли на поле битвы; несколько рот пехоты, бросившихся во время бегства в общинную управу в Луттере, сложили оружие и сдались победителю.

Король бежал со своей кавалерией и быстро оправился от этого чувствительного удара. Пользуясь плодами своей победы, Тилли овладел Везером и брауншвейгскими землями и оттеснил короля обратно к Бремену. Запуганный поражением, король собирался теперь держаться оборонительного образа действий, прежде всего чтобы воспрепятствовать неприятелю перейти через Эльбу. Но, выделив гарнизоны для всех крепостей, он тем самым ослабил свое войско и обрек себя на бездействие; разрозненные отряды были один за другим рассеяны или уничтожены неприятелем. Войска лиги, овладев всем течением Везера, заняли местности по ту сторону Эльбы и Гавеля, и датские отряды были постепенно выбиты из всех позиций. Сам Тилли переправился через Эльбу и победно двинулся в глубь Бранденбурга, а Валленштейн вторгся с другой стороны в Голштинию, дабы перенести войну в собственные владения короля.

Этот полководец только что возвратился из Венгрии, где преследовал графа Мансфельда, но не смог ни замедлить его продвижения, ни помешать его соединению с Бетлен Габором. Неустанно преследуемый судьбой и всегда ее преодолевая, Мансфельд с невероятным трудом пробился через Силезию и Венгрию к князю Семиградскому, который, однако, принял его не слишком радушно. В надежде на помощь Англии и на сильную диверсию в Нижней Саксонии Габор снова нарушил перемирие с императором — и вдруг Мансфельд вместо желанной диверсии привел следовавшее за ним по пятам войско Валленштейна и, вместо того чтобы доста-

вить Габору деньги, требовал их от него. Неладь между протестантскими государями охладила пыл Габора, и он поспешил, по своему обыкновению, отделаться от грозных войск императора миром. Твердо решив при первом проблеске надежды снова нарушить этот мир, он отправил графа Мансфельда в Венецианскую республику, чтобы там прежде всего добыть денег.

Отрезанный от Германии и лишенный возможности прокормить жалкие остатки своих войск в Венгрии, Мансфельд продал оружие и снаряжение и распустил своих солдат. С небольшой свитой он направился через Боснию и Далмацию в Венецию; новые смелые замыслы наполняли его мужеством, но жизненный путь его был закончен. Судьба, неустанно швырявшая его во все стороны, готовила ему могилу в Далмации. Неподалеку от Зары его настигла смерть (1626). Незадолго перед тем скончался его верный товарищ Христиан, герцог Брауншвейгский, — два мужа, достойные бессмертия, будь они способны так же возвыситься над своим веком, как возвысились над своей судьбой.

Борьба с Тилли была не под силу королю Датскому, даже когда он располагал всей своей армией, тем менее мог он с ослабленными войсками оказывать сопротивление обоим полководцам императора! Одну за другой сдавали датчане свои позиции на Везере, Эльбе и Гавеле, и армия Валленштейна бурным потоком хлынула на Бранденбург, Мекленбург, Голштинию и Шлезвиг. Этот полководец, слишком надменный, чтобы действовать совместно с кем-либо другим, отправил полководца лиги на ту сторону Эльбы, якобы затем, чтобы там наблюдать за голландцами, на самом же деле для того, чтобы он, Валленштейн, мог самолично окончить войну против короля и один пожать плоды побед, одержанных усилиями Тилли. Христиан потерял все крепости в своих немецких владениях, кроме Глюкштадта; войска его были разбиты или рассеяны, Германия не оказывала ему никакой помощи. От Англии утешения было мало, его союзники в Нижней Саксонии были отданы в жертву ярости победителя. Ландграфа Гессен-Кассельского Тилли тотчас после победы при Луттере заставил отказаться от союза с Данией. Грозное появле-

ние Валленштейна перед Берлином заставило курфюрста Бранденбургского покориться и принудило его признать Максимилиана Баварского законным курфюрстом. Большая часть Мекленбурга была теперь наводнена войсками императора, а оба герцога, как сторонники короля Датского, ввергнуты в имперскую опалу и изгнаны из их владений. Защита германской свободы от противозаконных нарушений рассматривалась как преступление, влекущее за собой потерю всех титулов и владений. И все это было лишь началом еще более вопиющих насилий, которые вскоре воспоследовали.

Теперь выяснилось, каким способом Валленштейн предполагал выполнить свои безмерные обещания. Методы действия он перенял у графа Мансфельда, но ученик превзошел учителя. Руководствуясь правилом, что война должна питать войну, Мансфельд и герцог Христиан содержали свои войска посредством контрибуций, безжалостно налагаемых и на друзей и на врагов. Но этот разбойничий образ жизни сопровождался всеми неудобствами и опасностями разбойничьего существования. Подобно беглым грабителям приходилось им пробираться меж врагов, бдительных и ожесточенных, перебегать из одного конца Германии в другой, трепетно выжидать удобного случая и избегать самых богатых земель, как находившихся под охраной более сильных войск. Если Мансфельд и герцог Христиан в борьбе со столь страшными препятствиями успели все-таки сделать так изумительно много, то насколько же больше можно было совершить, когда все эти препятствия отпали, когда вновь собранная армия была достаточно многочисленна, чтобы привести в трепет любого из наисильнейших князей империи, когда имя императора обеспечивало безнаказанность всякого насилия,— словом, когда под прикрытием высшего авторитета империи и во главе могущественной армии выполнялся тот самый план, который те два авантюриста осуществляли за свой страх и риск со случайно набранной бандой!

На все это рассчитывал Валленштейн, делая императору свое смелое предложение, которое теперь никто уже не находил слишком самонадеянным. Чем много-

численнее становилось войско, тем меньше приходилось заботиться о его содержании, ибо тем сильнее трепетали пред ним все противники; чем возмутительнее были насилия, тем безнаказаннее можно было их творить. Применяемые против враждебно настроенных имперских чинов, они имели видимость законности; применяя их против покорных, можно было ссылаться на мнимую необходимость. Неравномерное распределение этого гнета препятствовало опасному единению между князьями; разорение их земель лишало их возможности сопротивляться. Таким образом, вся Германия стала провиантским складом для войск императора, и он мог хозяйничать во всех землях, как в своих наследственных владениях. Отовсюду неслись к императорскому престолу мольбы о правосудии, но пока обиженные государи смиренно домогались правосудия, Фердинанд II мог считать себя огражденным от самоуправного мщения. Всеобщее негодование было обращено как против императора, своим высоким саном покрывавшего все эти ужасы, так и против полководца, преступившего границы своих полномочий и открыто употреблявшего во зло авторитет своего господина. Взывали к императору, чтобы добиться у него защиты от его полководца. Но как только Валленштейн почувствовал, что благодаря своим войскам он всемогущ, он сбросил с себя узы покорности императору.

Полное истощение врага давало возможность ожидать близкого мира. Тем не менее Валленштейн неуклонно продолжал усиливать императорские войска и, наконец, довел их численность до ста тысяч человек. Несметные полковничьи и офицерские патенты, двор, пышностью не уступавший императорскому, огромные подачки приближенным (он никогда не дарил меньше тысячи гульденов), раздача несметных сумм на подкупы при дворе, чтобы сохранить там влияние,— и все это, нимало не обременяя императорскую казну. Все эти огромные деньги добывались взысканием контрибуций в нижнегерманских областях; не делалось никакого различия между друзьями и врагами — везде, во владениях всех государей, самовольные вторжения войск и постой, везде одинаковые вымогательства и

насилия. Если верить одному сильно преувеличенному сообщению того времени, то Валленштейн в течение семилетнего командования собрал посредством контрибуций с одной только половины Германии шестьдесят миллиардов талеров. Чем чудовищнее были вымогательства, тем обширнее становились его военные запасы, тем охотнее, стало быть, стекались под его знамена; весь мир гонится за счастьем. Его армия все увеличивалась, а земли, по которым она проходила, быстро хирели. Но какое ему было дело до проклятий, несшихся из областей, до воплей государей? Войско Валленштейна боготворило его, и само преступление давало ему возможность смеяться над всеми его последствиями.

Было бы несправедливо относить все эти бесчинства императорских армий за счет самого императора. Знай Фердинанд заранее, что он отдает все германские государства в жертву своему полководцу, он неизбежно понял бы, какую страшную опасность для него самого представляет полководец, ставший полновластным. Чем теснее становились узы между армией и ее вождем, от которого исходило всякое счастье и всякое повышение, тем более ослаблялись эти узы между ними обоими, с одной стороны, и императором — с другой. Правда, все делалось от имени последнего. Но величием, присвоенным главе империи, Валленштейн пользовался лишь для сокрушения всякого другого авторитета в Германии. Отсюда сознательно выработанное этим человеком правило: явно унижать германских имперских князей, постепенно уничтожать все ступени и ранги между этими князьями и главою империи и поднять авторитет последнего на недостижимую высоту. Если император будет единственной законодательной властью в Германии — кто сравнится тогда с визирем, которого он избрал исполнителем своей воли? Самого императора изумила высота, на которую возвел его Валленштейн; но так как это величие господина являлось делом рук его слуги, то творение Валленштейна неминуемо должно было погибнуть, как только его творец отказал бы ему в поддержке. Не напрасно заставлял он всех князей Германии негодовать против импе-

ратора: чем яростнее их вражда против Фердинанда, тем необходимее будет для императора тот единственный, кто способен охранить его от их злых намерений. План Валленштейна, очевидно, состоял в том, чтобы его повелитель не боялся во всей Германии никого, кроме одного человека — того, кому он обязан всемогуществом.

Важным шагом к этой цели было требование Валленштейна предоставить ему только что завоеванный Мекленбург в качестве временного залога, пока ему не будут возмещены издержки, понесенные им до той поры в походах для императора. Еще ранее Фердинанд, очевидно для того, чтобы дать *своему* полководцу лишнее преимущество пред баварским, возвел его в сан герцога Фридландского. Но обыкновенная награда не могла, конечно, удовлетворить честолюбие Валленштейна. Тщетно раздавались даже в императорском совете недовольные голоса против этого нового повышения за счет двух владетельных князей империи; напрасно протестовали даже испанцы, которых давно уже оскорбляла надменность Валленштейна. Сильная партия среди советников императора, под влиянием подкупа державшая сторону Валленштейна, взяла верх: Фердинанд хотел во что бы то ни стало обеспечить себе признательность этого необходимого слуги. Придравшись к незначительным проступкам, лишили наследия представителей одного из древнейших владетельных домов Германии, чтобы их достоянием вознаградить императорскую креатуру (1628).

Вскоре затем Валленштейн стал именовать себя генералиссимусом императора на море и на суше. Город Висмар был взят, и таким образом приобретена точка опоры на балтийском побережье. От Польши и ганзейских городов были потребованы суда, чтобы перенести войну за Балтийское море, преследовать датчан в самом их государстве и принудить их к миру, который должен был открыть путь к еще более обширным завоеваниям. Связь нижнегерманских чинов со скандинавскими государствами была бы разорвана, если бы императору удалось вклиниться между ними и окружить Германию от Адриатического моря до Зунда

непрерывной цепью своих земель (лежавшая по пути Польша зависела от него). Если таковы были намерения императора, то у Валленштейна были свои собственные основания преследовать ту же цель. Прибалтийские владения должны были послужить краеугольным камнем могущества, мечты о котором давно тешили его честолюбие и которое должно было дать ему возможность обходиться впредь без своего господина.

Чтобы достичь этой цели, было в высшей степени важно овладеть городом Штральзундом на балтийском побережье. Превосходная гавань и легкость переправы на шведский и датский берега делали его отличнейшим опорным пунктом в случае войны с обоими государствами. Город этот, шестой в Ганзейском союзе, пользовался под охраной герцога Померанского весьма важными привилегиями. Не имея никаких связей с Данией, он до того времени не принимал в настоящей войне ни малейшего участия. Но ни этот нейтралитет, ни привилегии не могли спасти его от посягательств Валленштейна, распространившего на него свои замыслы.

Предложение Валленштейна принять императорский гарнизон было с достойной твердостью отвергнуто штральзундским магистратом; было отказано также в коварной просьбе пропустить его войско. Тогда Валленштейн начал осаду города.

Для обоих скандинавских королей было равно важно сохранить независимость Штральзунда, при отсутствии которой корабли не могли спокойно плавать по Бельту. Общая опасность победила, наконец, личную вражду, давно уже разъединявшую обоих королей. По договору в Копенгагене (1628) они взаимно обязались защищать Штральзунд соединенными силами и сообща бороться со всякой иноземной державой, которая с враждебными намерениями покажется в Балтийском море. Христиан IV немедленно отправил в Штральзунд достаточный гарнизон и личным присутствием воодушевил мужество горожан. Несколько военных кораблей, присланных на помощь императорскому полководцу королем Польским Сигизмундом, были пущены датским флотом ко дну, и так как город Любек

тоже отказался предоставить Валленштейну свои суда, то генералиссимусу на море и суше не хватило кораблей даже для того, чтобы запереть гавань одного лишь города.

Казалось, не было большей авантюры, чем попытка взять превосходно укрепленную морскую крепость, оставляя открытой ее гавань. Валленштейн, до сих пор не знавший сопротивления, хотел на этот раз преодолеть также и природу, победить непобедимое. Штральзунд, открытый с моря, продолжал беспрепятственно получать продовольствие и подкрепляться новыми войсками. Тем не менее Валленштейн обложил его с суши и старался пустыми угрозами заменить недостаток более действенных средств. «Я возьму этот город, хотя бы он был прикован цепями к небу», — говорил он. Сам император, быть может раскаиваясь в начинании, которое не могло иметь для него славного исхода, охотно воспользовался мнимой покорностью и некоторыми приемлемыми предложениями граждан Штральзунда и приказал своему полководцу снять осаду. Валленштейн пренебрег этим приказом и продолжал теснить осажденных непрерывными штурмами. Так как датский гарнизон, значительно поредевший, был не в состоянии справиться с тяжелой непрерывной работой, а король не имел никакой возможности прислать подкрепления, то Штральзунд, с разрешения Христиана, обратился за помощью к королю Шведскому. Датский комендант, оставив крепость, уступил место шведскому, который продолжал оборону с исключительным успехом. Счастье Валленштейна разбилось об этот город, и впервые в жизни его гордости пришлось испытать чувствительное поражение: потеряв понапрасну несколько месяцев, понеся урон в двенадцать тысяч убитых, он отказался от своего намерения. Но созданная им для города необходимость прибегнуть к шведской помощи обеспечила тесный союз между Густавом-Адольфом и Штральзундом, что в дальнейшем немало облегчило появление шведов в Германии.

До сих пор удача сопровождала оружие лиги и императора, и Христиан IV, побежденный в Германии, вынужден был искать убежища на своих островах.



Однако Балтийское море остановило это победоносное движение. Недостаток кораблей не только воспрепятствовал преследованию короля, но даже грозил победителю потерей уже совершенных завоеваний. Опаснее всего был возможный союз обоих северных монархов, который совершенно лишил бы императора и его полководца возможности играть какую-либо роль на Балтийском море или сделать высадку в Швеции. Если бы, однако, удалось разъединить интересы обоих государей и в особенности обеспечить себе дружбу Датского короля, то можно было надеяться легко осилить оставшуюся в одиночестве Шведскую державу. Страх перед вмешательством иностранных государств, непокорство протестантов в его собственных владениях, огромные расходы по войне и более всего — буря, грозившая разразиться во всей протестантской Германии, склоняли императора к миру, и его полководец, по совершенно противоположным побуждениям, спешил исполнить это желание. Весьма мало склонный желать мира, который неминуемо должен был из блеска величия и могущества ввергнуть его в неизвестность частной жизни, он хотел только перенести театр войны на новое место и путем этого одностороннего мира затянуть всеобщую смуту. Дружба Дании, соседом которой он сделался в качестве герцога Мекленбургского, была весьма важна для осуществления его обширных замыслов, и он решил, хотя бы в ущерб своему повелителю, обеспечить себе благодарность короля Датского.

Договором в Копенгагене Христиан IV обязался не заключать без участия Швеции мира с императором. Несмотря на это, он с готовностью принял предложение, сделанное ему Валленштейном. На конгрессе в Любеке (1629) датчане получили от императора обратно все отнятые у них земли; участие в конгрессе шведских послов, явившихся ходатайствовать за Мекленбург, было с нарочитым пренебрежением отклонено Валленштейном. Король Датский обязался впредь вмешиваться в дела Германии лишь постольку, поскольку давало ему на то право звание герцога Голштинского ни в коем случае не присваивать нижнегерманских церковных владений и, наконец, предоставить меклен-

бургских герцогов их судьбе. Христиан сам вовлек обоих этих властителей в войну с императором; теперь он жертвовал ими, чтобы убогатить того, кто похитил их владения. Одним из важнейших побуждений, заставивших его начать войну с императором, было восстановление его родственника курфюрста Пфальцского на престоле,— об этом государе в Любекском мирном договоре не было упомянуто ни единым звуком; наоборот, одной из его статей была признана законность курфюршеских прав Баварии. Так бесславно сошел со сцены Христиан IV.

Теперь спокойствие Германии вторично было в руках Фердинанда, и от него одного зависело превратить мир с Данией в мир всеобщий. Из всех областей Германии неслись к нему вопли несчастных, умолявших его положить конец их терзаниям. Неистовства его солдат, корыстолюбие его полководцев перешли все границы. Наводненная опустошительными бандами Мансфельда и Христиана Брауншвейгского и страшными отрядами Тилли и Валленштейна, Германия, окровавленная, истощенная и опустошенная, молила о покое. Могуче было стремление к миру у всех имперских чинов, могуче было оно у самого императора, который, втянувшись в Верхней Италии в войну с Францией, был обессилен нескончаемой войной в Германии и страшился счетов, по которым ему предстояло платить. Но, к несчастью, условия, на которых обе религиозные партии соглашались вложить меч в ножны, были прямо противоположны. Католики хотели окончить войну с выгодой для себя; протестанты тоже не хотели остаться в накладе; император, вместо того чтобы с мудрой умеренностью согласовать требования обеих партий, стал на сторону одной из них — и в результате Германия снова была ввергнута в ужасы губительной войны.

Сразу после подавления чешского восстания Фердинанд занялся искоренением реформации в своих наследственных землях; однако из уважения к некоторым евангелическим князьям мероприятия эти проводились здесь с умеренностью. Но победы полководцев императора в Нижней Германии придали ему смело-

сти, и он отбросил всякое стеснение. В соответствии с этим всем протестантам в его наследственных владениях было предложено отказаться или от их веры, или от отечества — страшный, бесчеловечный выбор, вызвавший неопишное возмущение среди австрийских крестьян. В пфальцских владениях тотчас по изгнании Фридриха V реформатское богослужение было воспрещено, и преподаватели, наставлявшие в этом вероучении, были изгнаны из Гейдельбергского университета.

Эти новшества были лишь предвестием других, еще более значительных. На собрании курфюрстов в Мюльгаузене католики потребовали от императора, чтоб он возвратил католической церкви все перешедшие со времени Аугсбургского религиозного мира к протестантам архиепископства, епископства, самостоятельные и подчиненные аббатства и монастыри и таким образом вознаграждал католических владетелей за все потери и притеснения, которые они претерпели в войне. Это указание, данное столь строго католическому государю, как Фердинанд, не могло остаться безрезультатным; но император находил пока несвоевременным возмущать всю протестантскую Германию столь решительным шагом. Не было ни одного протестантского князя, для которого отобрание церковных владений не означало бы потери части его земель. Там, где доходы с них шли не целиком на мирские цели, они обращались в пользу протестантской церкви. Многие князья черпали значительную долю своих богатств и своей мощи из этих источников. Всех без исключения должно было до крайности ожесточить отнятие церковных имуществ. Религиозный мир не лишил их права на них, хотя и не признал его бесспорным. Но долгое, у многих почти вековое обладание ими, молчание четырех сменивших друг друга императоров, закон справедливости, дававший им равное с католиками право на пожертвования их предков, — все это они могли уверенно приводить в обоснование своих прав. Кроме реального ущерба, который неизбежно нанесло бы их могуществу и юрисдикции возвращение церковных владений, кроме необозримой смуты, какая должна была явиться следствием его, немалой невыгодой было

для них и то, что вновь назначенные католические епископы, очевидно, должны были усилить католическую партию в имперском сейме таким же количеством новых голосов. Столь чувствительные потери, угрожавшие протестантской партии, давали императору повод ожидать самого упорного сопротивления с ее стороны, и он не хотел раньше времени, прежде чем пламя войны в Германии не будет погашено без остатка, возбуждать против себя целую партию, столь опасную в своем единстве и имевшую могущественную опору в лице курфюрста Саксонского. Поэтому он произвел предварительно опыт в малом масштабе, чтобы испытать, как эта мера будет принята в большом. Несколько имперских городов в Верхней Германии и герцог Вюртембергский получили приказ передать католикам захваченные ими церковные владения.

Положение вещей в Саксонии дало императору возможность предпринять там некоторые еще более смелые попытки. В епископствах Магдебургском и Гальберштадтском протестантские каноники позволили себе избрать епископов своего вероисповедания. Оба епископства, за изъятием только города Магдебурга, были теперь наводнены войсками Валленштейна. Случайно епископство Гальберштадтское было теперь свободно вследствие смерти правителя, герцога Брауншвейгского Христиана, а Магдебург — вследствие отрешения Бранденбургского принца Христиана-Вильгельма. Фердинанд воспользовался обоими этими обстоятельствами, чтобы передать Гальберштадтское епископство католику, вдобавок принцу своего же дома. Чтобы предупредить такое насилие, магдебургский капитул поспешил избрать архиепископом сына курфюрста Саксонского. Но папа, самовольно вмешавшись в этот спор, присудил епископство Магдебургское все тому же австрийскому принцу. Нельзя было не изумляться ловкости Фердинанда, который, при всей благочестивейшей ревности к делам веры, всегда помнил о благе своих родственников.

Наконец, когда после Любекского мира императору уже нисколько не приходилось бояться Дании и германские протестанты были, казалось, совершенно разгромлены, а требования лиги становились все громче и на-

стоятельнее, Фердинанд подписал (1629) получивший столь печальную известность реституционный эдикт (указ о возвращении церковных владений), представив его предварительно на утверждение каждого из четырех католических курфюрстов. Во введении он заявляет о своем праве, в силу полноты императорской власти, дать непреложное толкование смыслу религиозного мира, различное понимание которого до сих пор порождало нескончаемые смуты, и в качестве верховного посредника выступить третейским судьей между обеими враждующими сторонами. Это право он основывал на обычае своих предшественников и на давнишнем соглашении самих же протестантских чинов. Курфюршество Саксонское действительно признало за императором это право; теперь выяснилось, как много вреда причинил этот князь протестантскому делу своей приверженностью Австрии. Если, однако, буква религиозного мира в самом деле могла быть предметом разноречивых толкований, что в достаточной степени доказали длившиеся уже более ста лет раздоры обеих религиозных партий, то, разумеется, император, который сам являлся либо католическим, либо протестантским имперским князем и, стало быть, сам принадлежал к одной из партий, никак не мог решать религиозный спор между католическими и протестантскими чинами, не нарушая важнейшего постановления религиозного мира. Он не мог быть судьей в своем собственном деле, не обращая свободу германских государств в пустой звук.

И вот в силу этого незаконно присвоенного им права толковать религиозный мир Фердинанд издал постановление, согласно которому всякое имевшее место после заключения этого мира обращение протестантами в свою собственность церковных владений как самостоятельных, так и подчиненных противоречит смыслу этого договора и как нарушающее таковой подлежит отмене. Далее он определил, что религиозный мир не обязывает католического государя разрешать своим протестантским подданным что-либо, кроме свободного выезда из его владений. Сообразно этому решению все незаконные владельцы церковных владений — стало быть, все протестантские чины империи без различия — под страхом

имперской опалы обязаны были без замедления выдать это незаконное достояние императорским комиссарам.

В списке значились два архиепископства и двенадцать епископств, кроме того — бесчисленное множество монастырей, присвоенных протестантами. Этот эдикт был громовым ударом для всей протестантской Германии; он был страшен уже тем, что фактически отнимал сейчас; он был еще страшнее тем, что предрекал в будущем и предвестником чего являлся. Теперь протестанты не сомневались что император и католическая лига решили стереть с лица земли их веру, а вслед за тем и свободу Германии. Вопреки всем представлениям протестантов были назначены комиссары и собрана армия, чтобы обеспечить повиновение. Дело начали с Аугсбурга, где заключен был религиозный мир. Город заставили возвратиться под юрисдикцию своего епископа, и шесть протестантских церквей были закрыты. Таким же образом и герцога Вюртембергского принудили отдать свои монастыри. Эта суровая решимость повергла в ужас всех евангелических государей империи, но не могла подвигнуть их на действительное сопротивление. Слишком силен был страх пред мощью императора; большая часть начала уже склоняться к уступкам. Ввиду этого надежда мирным путем достигнуть поставленной цели побудила католиков отсрочить еще на год приведение эдикта в исполнение, и это спасло протестантов. Прежде чем истек этот срок, успехи шведского оружия полностью изменили положение вещей.

На собрании курфюрстов в Регенсбурге (1630), где лично присутствовал Фердинанд, решено было употребить все усилия для полного успокоения Германии и удовлетворения всех жалоб. Последние исходили от католиков не в меньшем количестве, чем от протестантов, как ни уверял себя Фердинанд, что он достаточно благодетельствовал всех членов лиги реституционным эдиктом, а вождя ее — дарованием курфюрстского сана и пожалованием большей части пфальцских владений. Хорошие отношения между императором и князьями лиги сильно поколебались со времени появления Валленштейна. Привыкший играть в Германии роль законодателя и даже распоряжаться судьбою императо-

ра, гордый курфюрст Баварский заметил, что новоявленный полководец императора сразу сделал его совершенно ненужным, что вместе с авторитетом лиги исчезло все его прежнее значение. Другому суждено было пожать плоды его побед и покрыть забвением все его прежние заслуги. Раздражению курфюрста в немалой степени способствовал высокомерный характер герцога Фридландского, для которого наивысшим торжеством была возможность проявлять пренебрежение к имперским князьям и раздувать авторитет своего господина до размеров, вызывавших общую ненависть. Недовольный императором, исполненный недоверия к его замыслам, курфюрст Баварский вступил в союз с Францией, к которому склонялись и остальные государи лиги. Страх перед завоевательной политикой императора, недовольство вопиющими злоупотреблениями целиком заглушали в них чувство благодарности. Вымогательства Валленштейна стали совершенно невыносимы. Бранденбург оценивал свои убытки в двадцать миллионов, Померания — в десять, Гессен — в семь, остальные — в той же пропорции. Отовсюду неслись отчаянные мольбы о помощи; напрасны были всякие представления; в этом единственном вопросе между католиками и протестантами разногласий не было. Испуганного императора забросали массою петиций, сплошь направленных против Валленштейна, и совершенно ошеломили его ужасающими описаниями всевозможных насилий. Фердинанд не был варваром. Если он и был отчасти виновен в гнусностях, которые творились его именем в Германии, он все же не знал всей безмерности их, и потому, не долго думая, уступил требованиям князей и уволил из своих войск восемнадцать тысяч конницы. Когда происходило это уменьшение армии, шведы уже деятельно готовились к походу в Германию, и большая часть отпущенных императором солдат поспешила стать под их знамена.

Эта уступчивость Фердинанда только дала курфюрсту Баварскому повод выступить с более решительными требованиями. Торжество, одержанное им над авторитетом императора, было неполно, покуда герцог Фридландский оставался главнокомандующим. Жестоко мстили

теперь князья этому полководцу за высокомерие, гнет которого пришлось испытать всем им без различия. Поэтому отставки его требовала вся коллегия курфюрстов и даже испанцы, притом с единодушием и горячностью, изумившими императора. Но именно единодушные и ярость, с которой завистники императора настаивали на отставке Валленштейна, должны были убедить его в ценности этого слуги. Валленштейн, уведомленный о кознях, которые ковались против него в Регенсбурге, не замедлил открыть императору глаза на истинные замыслы курфюрста Баварского. Он сам явился в Регенсбург, но окруженный такой пышностью, которая затмила величие самого императора и дала лишь новую пищу ненависти его врагов.

Долго не мог решиться император. Тяжела была жертва, которой от него требовали. Всем своим превосходством он был обязан герцогу Фридландскому; он сознавал, как много теряет, принося Валленштейна в жертву ненависти князей. Но, к несчастью, он именно теперь нуждался в благосклонности курфюрстов. Он задумал передать императорский престол сыну своему Фердинанду, избранному королем Венгерским, а для этого ему необходимо было согласие Максимилиана. Это обстоятельство было для него важнее всего остального, и он не поколебался предать лучшего своего слугу, чтобы купить благоволение курфюрста Баварского.

На том же съезде курфюрстов в Регенсбурге присутствовали также французские послы, уполномоченные предотвратить войну, грозившую вспыхнуть в Италии между императором и их господином. Герцог Мантуанский и Монферратский Винченцо умер, не оставив потомства. Его ближайший родственник Карл, герцог Неверский, поспешил завладеть наследством, не исполнив своего долга по отношению к императору, ленному сюзерену этих герцогств. Опираясь на поддержку французов и венецианцев, он упорно отказывался, впредь до решения вопроса о его правах на эти земли, отдать их во власть императорских комиссаров. Фердинанд, подстрекаемый владетелями Милана, испанцами, для которых близкое соседство французского вассала было крайне нежелательно и которые были очень рады воз-



возможности при содействии императора приобрести еще кое-что в этой части Италии, взялся за оружие. Вопреки всем усилиям папы Урбана VIII, боявшегося допустить войну в этих краях, император послал за Альпы немецкую армию, внезапное появление которой привело в ужас все итальянские государства. В то время как все это происходило в Италии, войска императора одерживали победу за победой по всей Германии. Под влиянием все преувеличивающего страха в этом усматривали внезапное возрождение сокровенных замыслов Австрии — стать всемирной монархией. Ужасы германской войны распространились теперь также на благословенные поля, орошаемые рекою По. Город Мантуя был взят приступом, и все окрестные территории были обречены терпеть опустошительное пребывание необузданных полчищ. К проклятьям, окружавшим по всей Германии имя императора, присоединились теперь проклятия Италии, и даже в конклаве возносились тихие моления об успехе протестантского оружия.

Испуганный всеобщей ненавистью, навлеченной на него этим итальянским походом, и утомленный настоятельными требованиями курфюрстов, ревностно поддерживавших представления французских министров, император принял предложение Франции и обещал утвердить в лене нового герцога Мантуанского.

Столь важная услуга со стороны Баварии заслуживала ответной услуги Франции. Заключение трактата дало уполномоченным Ришелье удобный случай во время их пребывания в Регенсбурге опутать императора коварнейшими интригами, восстановить против него и без того уже недовольных государей — участников лиги и направлять все совещания этого собрания курфюрстов в неблагоприятном для императора духе. Превосходным орудием этих козней явился капуцин патер Жозеф, по распоряжению Ришелье включенный в состав посольства под видом совершенно незначительного лица. Одной из главных инструкций, данных ему, было — всячески добиваться отставки Валленштейна. С уходом полководца, одержавшего столько блистательных побед, австрийские войска неизбежно потеряли бы большую часть своей силы; целые армии

не могли возместить утрату одного этого человека. Главная хитрость политики Ришелье заключалась в следующем: в тот момент, когда победоносный король, целиком державший в своих руках инициативу военных действий, готовился к бою против императора, — отнять у императорских войск единственного полководца, равного этому королю по военному опыту и авторитету. Сговорившись с курфюрстом Баварским, папер Жозеф взялся преодолеть нерешительность императора, которого держали как бы в осаде испанцы и весь совет курфюрстов. «Было бы разумно, — так он советовал, — уступить князьям в этом вопросе и таким образом заручиться их согласием на передачу римской короны сыну императора. Пусть только пройдет буря, а Валленштейн всегда будет готов опять занять свое прежнее место». Хитрый капуцин был слишком уверен в своем собеседнике и ничем не рисковал, приводя такой утешительный довод.

Голос монаха был для Фердинанда II голосом божьим. «На земле не было для него ничего священнее особы священнослужителя, — пишет его собственный духовник. — Он часто говорил, что если бы он встретил в *одном* месте и *одновременно* члена духовного ордена и ангела, то он раньше поклонился бы монаху, а затем ангелу». Отставка Валленштейна была решена.

В благодарность за благочестивое доверие императора капуцин с такой ловкостью действовал в Регенсбурге против него, что все его старания обеспечить своему сыну, королю Венгерскому, римскую корону окончились полной неудачей. Особой статьей только что заключенного договора французские министры именем своего короля обязались хранить полнейший нейтралитет по отношению ко всем врагам императора, а тем временем Ришелье уже вел переговоры с королем Шведским, подстрекал его к войне и навязывал союз со своим государем. От своих лживых заверений он отказался, как только они произвели свое действие, и паперу Жозефу пришлось поплатиться заточением в монастырь за якобы дерзкое превышение своих полномочий. Слишком поздно понял Фердинанд, как над ним издевались. «Дрянной капуцин, — сказал он однажды, — обезоружил меня

своими четками и уложил в свой маленький капюшон целых шесть курфюрстских шапок».

Итак, обман и козни восторжествовали над императором в тот самый момент, когда в Германии его считали всемогущим; там он и в самом деле был всемогущ благодаря успехам своего оружия. Потеряв пятнадцать тысяч солдат, лишившись полководца, который возместил бы для него потерю целого войска, он покинул Регенсбург, не достигнув исполнения желания, ради которого он принес все эти жертвы. Прежде чем шведы успели разбить его на поле битвы, Максимилиан Баварский и папер Жозеф нанесли ему неисцелимую рану. На этом самом достопамятном собрании в Регенсбурге была решена война со Швецией и покончена война с Мантуей. Напрасно ходатайствовали здесь князья пред императором за герцогов Мекленбургских; столь же напрасно клянчили английские послы о назначении ежегодного содержания пфальцграфу Фридриху.

Когда весть об отставке дошла до Валленштейна, он стоял во главе почти стотысячной армии, обожавшей его. Большинство офицеров были его креатурами, мановение его руки было приговором судьбы для простого солдата. Безгранично было его честолюбие, непреклонна его гордость; его властный дух был неспособен претерпеть оскорбление и не отомстить за него. Один миг низвергал его теперь с высоты всемогущества в ничтожество частной жизни. Чтобы привести в исполнение *такой* приговор против *такого* преступника, требовалось, пожалуй, не меньшее искусство, чем для того, чтобы добиться от судьи его осуждения. Поэтому доставить эту страшную весть Валленштейну предусмотрительно поручили двум лучшим его друзьям, которые должны были, по возможности, смягчить ее самыми льстивыми уверениями в неизменной благосклонности императора.

Когда посланцы императора явились к Валленштейну, содержание их поручения давно было ему известно. Он успел уже прийти в себя, и лицо его выражало радость, тогда как в его груди бушевали страдание и гнев. Но он решил повиноваться. Приговор захватил его врасплох, прежде чем создались благоприятные ус-

ловия и закончены были приготовления к решительному шагу. Его обширные поместья были рассеяны в Чехии и Моравии; конфискацией их император мог перерезать жизненный нерв его мощи. От будущего ждал он удовлетворения, и в этой надежде его укрепили пророчества итальянского астролога, водившего этот неукротимый дух на помочах, словно ребенка. Сени — так звали звездочета — прочитал в звездах, что блистательный жизненный путь его господина далеко еще не завершен, что будущее готовит ему счастье, еще более лучезарное. Можно было, и не утруждая звезды, предсказать с достаточной вероятностью, что такой враг, как Густав-Адольф, не позволит долго обходиться без такого полководца, как Валленштейн.

— Императора предали, — ответил Валленштейн посланным, — я жалею его, но прощаю ему. Он, видимо, во власти высокомерного баварца. Правда, я огорчен, что он так легко пожертвовал мною, но я повинуюсь.

Он по-царски одарил послов и в смиренном письме просил императора не лишать его своей милости и сохранить за ним пожалованные ему звания. Всеобщий ропот армии сопровождал весть об отставке полководца, и лучшая часть его офицеров не замедлила покинуть императорскую службу. Многие последовали за Валленштейном в его чешские и моравские поместья; других он привязал к себе большими пенсиями, чтобы в случае надобности иметь возможность немедленно воспользоваться их услугами.

Удаляясь в тишину частной жизни, он менее всего думал о покое. Как бы издеваясь над унижительным приговором, он окружил себя в этом уединении королевской пышностью. Шесть ворот вели ко дворцу, в котором он жил в Праге. Около ста домов было разрушено, чтобы очистить место для двора его замка. Такие же дворцы были выстроены в его остальных многочисленных поместьях. Представители знатнейших родов добивались чести служить ему. Императорские камергеры возвращали свой золотой ключ, чтобы исполнять те же обязанности при Валленштейне. Он держал шестьдесят пажей, обученных лучшими наставниками; его прихожую всегда охраняли пятьдесят телохранителей. Его

обычная трапеза состояла не меньше чем из ста блюд; его домоправитель был важный сановник. Во время путешествий его челядь и обоз занимали сто шести- и четырехконных упряжек; его свита следовала за ним в шестидесяти каретах с пятьюдесятью запасными лошадьми. Великолепие ливрей, блеск экипажей и убранство комнат соответствовали всей прочей роскоши. Шесть баронов и столько же рыцарей состояли неизменно при его особе для исполнения малейшего его желания; двенадцать патрулей совершали обход вокруг его дворца, чтобы везде царила мертвая тишина. Его неустанно работавшей голове была необходима эта тишина; шум колес не должен был доноситься до его жилища, и для этого улицы нередко преграждались цепями. Безмолвие, окружавшее его, сквозило и в его обращении. Мрачный, замкнутый, непроницаемый, он гораздо более скупился на слова, чем на подарки, и то немногое, что он говорил, изрекалось пренеприятным тоном. Он никогда не смеялся, и соблазны чувственности были неизвестны его ледяной крови. Всегда занятый, всегда поглощенный обширными замыслами, он отказался от всяких пустых развлечений, на которые другие расточают драгоценную жизнь. Своей обширной перепиской, охватывавшей всю Европу, он занимался сам; большинство бумаг он писал собственноручно, чтобы как можно менее доверяться скрытности других. Он был высок и худощав, лицо у него было желтоватое, волосы короткие, с рыжеватым отливом, глаза маленькие, но сверкающие. Страшная, тягостная сосредоточенность выражалась на его челе, и лишь расточительная щедрость удерживала трепещущую толпу челяди на его службе.

В этой напускной безвестности тихо, но не бездеятельно дожидался Валленштейн решительного часа и близкого момента мести. Благодаря победоносному продвижению Густава-Адольфа он вскоре начал предвкушать ее. Он не отказался ни от одного из своих заносчивых планов; неблагодарность императора освободила его честолюбие от всяких стеснительных обязательств. Ослепительный блеск его частной жизни свидетельствовал о гордом полете его замыслов, и расточительный,

словно монарх, он как будто уже считал своим бесспорным достоянием те блага, которых жаждал.

После отставки Валленштейна и высадки Густава-Адольфа надо было назначить нового главнокомандующего; в то же время казалось необходимым соединить в одних руках раздельное до сих пор командование войсками императора и лиги. Максимилиан Баварский мечтал об этом назначении, которое могло дать ему власть над императором; но именно поэтому император хотел предоставить этот пост королю Венгерскому, своему старшему сыну. В конце концов, чтобы отделаться от обоих соискателей и не обидеть никого, главнокомандующим назначили полководца лиги Тилли, который тем временем переменял баварскую службу на австрийскую. Войско Фердинанда в Германии, после роспуска отрядов Валленштейна, состояло из сорока тысяч человек; почти столько же насчитывала армия лиги; обе армии были поручены превосходным офицерам, имели опыт многолетних походов и гордились длинным рядом побед. Располагая такими армиями, можно было не бояться появления короля Шведского, тем более что это воинство занимало Померанию и Мекленбург, единственные пути, по которым он мог вторгнуться в Германию.

После безуспешной попытки короля Датского остановить продвижение императора Густав-Адольф оставался единственным государем Европы, от которого гибнущая свобода могла ждать спасения, и в то же время — единственным, кого побуждали к тому серьезнейшие политические причины, кому право на это давали перенесенные оскорбления, а необходимую мощь — личные способности, вполне соответствовавшие этому отважному начинанию. Важные политические соображения, общие с Данией, побудили его еще до начала войны в Нижней Саксонии предложить себя лично и свои войска для защиты Германии; тогда, на свою беду, его отстранил король Датский. С тех пор надменность Валленштейна и деспотическое высокомерие императора достаточно раздражали Густава-Адольфа и указывали ему, в чем его монарший долг. Императорские войска помогали королю Польскому Сигизмунду отстаивать

Пруссию от шведов. Густав-Адольф, жаловавшийся Валленштейну на эти враждебные действия, получил ответ, что у императора слишком много солдат — он должен выручать ими своих добрых друзей. Тот же Валленштейн с оскорбительным упорством настаивал на удалении шведских послов с Любекского конгресса и, когда они не испугались этого, пригрозил им действиями, нарушающими международное право. Фердинанд позволил оскорбить шведский флаг и приказал перехватить депеши короля в Семиградье. Он продолжал затруднять заключение мира между Польшей и Швецией; поддерживал притязания Сигизмунда на шведский престол и отказывал Густаву-Адольфу в признании за ним королевского титула. Многократные представления Густава он оставлял без внимания и вместо того, чтобы дать ему требуемое удовлетворение за обиды, нанесенные ранее, прибавлял к ним новые.

Наличие столь многих личных мотивов в соединении с важнейшими государственными и религиозными соображениями и настоятельными призывами из Германии должно было произвести сильнейшее воздействие на душу государя, склонного тем ревнивее относиться к своей королевской чести, чем настойчивее оспаривали ее у него, пламенно жаждавшего славы защитника угнетенных и страстно любившего войну как истинную стихию своего гения. Но прежде чем перемирие или мир с Польшей развязали бы ему руки, он не мог серьезно думать о новой и опасной войне.

Заслуга такого перемирия с Польшей принадлежит кардиналу Ришелье. Держа в одной руке кормило Европы, а другою укрощая ярость партий и высокомерие вельмож внутри Франции, этот великий государственный муж среди забот бурного правления непоколебимо преследовал свой план — остановить стремительный рост возрастающего могущества Австрии. Но условия, в которых он действовал, создавали на пути к осуществлению этих замыслов немалые препятствия, ибо и самому великому человеку не проходит безнаказанно презрение к предрассудкам своей эпохи. Министр католического короля и, в сане кардинала, сановник римской церкви, он не мог еще осмелиться в союзе с вра-

гом своей церкви открыто напасть на державу, которая сумела в глазах толпы освятить именем религии свои честолюбивые притязания. Уступки, которые Ришелье вынужден был делать ограниченным воззрениям своих современников, ограничивали и его политическую деятельность, которая могла проявляться лишь в осторожных попытках действовать тайно, поручая чужой руке выполнение замыслов, возникших в его проникательном уме. После напрасных стараний воспрепятствовать заключению мира между Данией и императором, он прибегнул к Густаву-Адольфу, герою своего века. Ничто не было упущено, чтобы заставить этого короля решиться и вместе с тем дать ему средства для выполнения его решения. Шарнас, не возбуждавший подозрений агент кардинала, появился в польской Пруссии, где Густав-Адольф вел войну с Сигизмундом, и, странствуя от одного короля к другому, старался склонить их к перемирию или миру. Густав-Адольф давно был согласен на мир; наконец, французскому министру удалось открыть глаза и королю Сигизмунду на его истинные интересы и на коварную политику императора. Между обоими королями заключено было шестилетнее перемирие, в силу которого Густав сохранял за собой все свои завоевания и, наконец, получал вожделенную свободу обратить свое оружие против императора. Для этого предприятия французский агент предложил ему от имени своего короля союз и значительную субсидию, которую не приходилось пренебрегать. Но Густав-Адольф не без основания боялся, что, приняв деньги, он очутится в зависимости от Франции, которая чего доброго наложит на него оковы именно тогда, когда он будет побеждать, а также опасался союзом с католической державой возбудить недоверие протестантов.

Насколько необходима и справедлива была эта война, настолько же были благоприятны обстоятельства, при которых Густав-Адольф начинал ее. Правда, грозно было имя императора, неистощимы источники его средств, неодолимо доселе его могущество. Столь рискованная игра устрасила бы всякого другого, но не Густава. Он предвидел все препятствия и опасности, стоявшие



на пути его начинания; но он знал также способы, которыми надеялся побороть все это. Его армия была невелика, но превосходно дисциплинирована, закалена суровым климатом и долгими походами, приучена в польской войне к победам. Бедная деньгами и людьми и свыше сил истомленная восьмилетней войной, Швеция была беззаветно предана своему королю, а это позволяло ему надеяться на самоотверженную поддержку своих чинов. В Германии имя императора было по меньшей мере столь же ненавистно, сколь страшно. Протестантские государи ждали только появления освободителя, чтобы свергнуть нестерпимое иго тирании и открыто стать на сторону Швеции. Да и католическим чинам было на руку появление противника, ограничивающего чрезмерное преобладание императора. Первая победа, одержанная на германской территории, решала успех дела шведского короля — она должна была определить решение еще колеблющихся государей, поднять мужество его сторонников, усилить приток солдат под его знамена и в изобилии привлечь средства для продолжения войны. Если большинство немецких земель весьма пострадало от пережитых бедствий, то богатые ганзейские города пока еще не испытали их и им был прямой расчет небольшими добровольными пожертвованиями предотвратить общее разорение. Чем большее количество земель очищалось от императорских войск, тем значительнее должна была уменьшиться численность этих войск, ибо они могли жить лишь за счет стран, где стояли. Отправка войск в Италию и Нидерланды в это тяжкое время еще более подорвала силы императора; Испания, ослабленная потерей своего американского флота, перевозившего серебро, и занятая решительной войной с Нидерландами, могла оказать ему лишь незначительную помощь. Наоборот, Великобритания обещала королю Шведскому значительные субсидии, а Франция, только что достигшая внутреннего умиротворения, поощряла его планы наивыгоднейшими предложениями.

Но лучший залог счастливого исхода своих замыслов Густав-Адольф нашел в самом себе. Благоразумие требовало, чтоб он был обеспечен всеми иноземными

источниками помощи и таким образом оградил себя в своем начинании от упрека в самонадеянности. Лишь в своем сердце черпал он, однако, мужество и отвагу. Густав Адольф был бесспорно первым полководцем своего века и наихрабрѣйшим солдатом того войска, которое он сам создал. Хорошо знакомый с тактикой греков и римлян, он создал усовершенствованное военное искусство, ставшее образцом для величайших полководцев последующих времен. Большие неповоротливые эскадроны он уменьшил, чтобы сообщить движениям кавалерии бóльшую легкость и быстроту; с той же целью он увеличил расстояние между батальонами. Он располагал свою армию в бою не одной линией, как делали до сих пор, а двумя: поэтому если первая шеренга начинала отступать, могла наступать вторая. Недостаточную численность конницы он искусно возмещал тем, что между кавалеристами расставлял пехотинцев, что очень часто решало побѣду; о значении пехоты в бою Европа впервые узнала от него. Вся Германия изумлялась дисциплине, которую так доблестно выделялись шведские войска в начале своего пребывания на немецкой земле: всякое распутство преследовалось строжайшим образом, а строже всего — богохульство, грабежи, азартная игра и поединки. Шведские военные законы предписывали умеренность, и в шведском лагере, не исключая палатки короля, не было видно ни золота, ни серебра. Полководец так же внимательно следил за нравственностью солдат, как и за их храбростью. Каждый полк собирался для утренней и вечерней молитвы вокруг своего пастора, и богослужение отправлялось под открытым небом. Во всем этом законодатель был лучшим образцом. Искреннее, глубокое благочестие, которым была проникнута его великая душа, еще усиливало его доблесть. Равно свободный от грубого неверия, разнуздывающего дикие страсти варвара, и от презренного лицемерия Фердинанда, которое пресмыкается пред божеством и чванливо попирает выю человечества, он в упоении счастьем всегда оставался человеком и христианином, в смирении своей молитвы — героем и королем. Все тяготы войны он переносил наравне с последним рядовым; посреди черного дыма сражений в душе его царил свет;

все объемля взором, он забывал о смерти, окружавшей его; на пути к страшнейшей опасности всегда можно было найти его. Природная смелость слишком часто заставляла его забывать, что он должен дорожить собой как полководец, и он закончил свою царственную жизнь как рядовой солдат. Но вслед за таким полководцем трус и храбрец равно шли к победе, и от его всеохватывающего орлиного взгляда не укрывался ни один геройский подвиг, вдохновленный его примером. Слава повелителя пробуждала во всем народе восторг и чувство собственного достоинства. Гордясь таким королем, финляндский и готландский крестьянин охотно забывал свою бедность, солдат радостно проливал кровь, и высокое одушевление, которое один человек сообщал всему народу, надолго пережило своего творца.

Насколько необходимость войны казалась бесспорной, настолько расходились мнения относительно того, как должно ее вести. Даже мужественному канцлеру Оксеншерна наступательная война казалась слишком смелой. Силы бедного и честного короля представлялись ему слишком незначительными в сравнении с несметными богатствами деспота, который распоряжался всей Германией, как своим достоянием. Опасливые сомнения министра были опровергнуты дальновидными соображениями героя. «Если дожидаться неприятеля в Швеции, — говорил Густав, — то, потеряв *одно* сражение, мы потеряем все; наоборот, если мы удачно начнем в Германии — мы победим. Море велико, и, оставаясь в Швеции, нам придется охранять ее обширное побережье. Если неприятельский флот проскользнет мимо нас или наш флот будет разбит, то мы ничем не сможем воспрепятствовать высадке неприятеля. Во что бы то ни стало надо отстоять Штральзунд. Пока эта гавань открыта для нас, мы господствуем над Балтийским морем и будем всегда иметь свободное сообщение с Германией. Но если мы хотим защищать Штральзунд, нам нельзя прятаться в Швеции, нам необходимо переправиться с армией в Померанию. Поэтому не говорите мне больше об оборонительной войне, в которой мы потеряем наши важнейшие преимущества. Швеция не

должна видеть в своих пределах неприятельского знамени, а вашим планом мы еще успеем воспользоваться, если нас побьют в Германии».

Итак, решено было двинуться в Германию и напасть на императора. Приготовления велись самым энергичным образом, и меры, принятые Густавом, обнаруживали столько же благоразумия, сколько его решение — смелости и величия. Прежде всего необходимо было, ввиду перенесения войны в столь дальние страны, обезопасить Швецию от подозрительных намерений ее ближайших соседей. При личном свидании с королем Датским в Маркареде Густав заручился дружбой этого монарха; московские границы были прикрыты войсками; Польшу, если бы ей вздумалось нарушить перемирие, можно было, находясь в Германии, держать в страхе. Шведский уполномоченный Фалькенберг, объезжавший Голландию и немецкие дворы, привез своему господину самые льстивые заверения со стороны многих протестантских государей, хотя никто еще не имел достаточно мужества и самоотвержения, чтобы заключить с ним формальный союз. Города Любек и Гамбург выказали готовность дать ссуду деньгами и принимать в уплату шведскую медь. Доверенные лица были посланы также к князю Семиградскому, чтобы побудить этого непримиримого врага Австрии поднять оружие против императора.

Тем временем в Нидерландах и Германии началась вербовка солдат в шведскую армию; были пополнены старые полки, сформированы новые, добыты суда, флот приведен в полную исправность, провиант, амуниция и деньги собраны в возможно большем количестве. Вскоре тридцать военных кораблей были готовы к отплытию, пятнадцатитысячная армия стояла под ружьем и двести транспортных судов ждали ее для переправы. Большое число войск Густав-Адольф не хотел переправлять в Германию; к тому же содержание их было бы не по силам его королевству. Но если эта армия была невелика, то состав ее был превосходен по дисциплине, воинскому мужеству и опытности, и, достигнув Германии и одержав первую победу, она могла стать крепким ядром большого войска. Оксеншерна, полководец и канц-

лер одновременно, стоял с десятью тысячами человек в Пруссии для защиты этой области от Польши. Некоторое количество регулярных войск и значительный корпус территориальной милиции, служивший питомником для главной армии, оставались в Швеции, чтобы, в случае неожиданного нападения вероломного соседа, королевство не оказалось беззащитным.

Таким образом, безопасность государства была обеспечена. Неменьшую предусмотрительность проявил Густав-Адольф в заботах о внутреннем управлении. Регентство было поручено государственному совету, финансы — пфальцграфу Иоганну-Казимиру, шурина короля; супруга его, столь нежно им любимая, была удалена от всех государственных дел, слишком трудных для ее ограниченных способностей. Словно на смертном одре распорядился он своим достоянием. 20 мая 1630 года, закончив все приготовления и совершенно готовый к отплытию, король явился на сейм в Стокгольме, чтобы торжественно проститься с государственными чинами. Держа на руках свою четырехлетнюю дочь Христину, уже в колыбели объявленную его наследницей, он показал ее чинам как их будущую государыню, заставил их, на случай, если ему не суждено вернуться, вновь принести присягу и приказал прочитать указ о регентстве во время его отсутствия или малолетства его дочери. Все собрание разразилось рыданиями, и сам король не сразу овладел собой, чтобы обратиться с прощальной речью к земским чинам.

«Не с легким сердцем, — так он начал, — ввергаю я снова себя и вас в эту опасную войну. Всемогущий бог свидетель, что я воюю не ради удовольствия. Император жесточайшим образом оскорбил меня в лице моих послов, он поддерживает моих врагов, он преследует моих друзей и братьев, он топчет ногой мою веру и протягивает руку к моей короне. Слезно молят нас о помощи угнетенные чины Германии, и, если богу угодно, мы окажем им эту помощь.

Я знаю опасности, которым подвергается моя жизнь. Я никогда не избегал их и едва ли спасусь от них. Правда, до сих пор всемогущий чудесно хранил меня, но все же мне суждено в конце концов умереть, защищая

родину. Поручаю вас покровительству небесному. Будьте справедливы, будьте честны, живите безгрешно — и мы вновь встретимся в вечности.

К вам, мои советники, обращаюсь я прежде всего. Да просветит вас господь, и да исполнит он вас мудростью, дабы вы могли вести мое королевство по пути блага. Вас, храбрые дворяне, поручаю защите господа бога. Будьте попрежнему достойными потомками тех готских героев, чья доблесть повергла в прах древний Рим. Вас, служители церкви, призываю к терпимости и согласию; будьте сами образцом добродетелей, которые вы проповедуете, и никогда не употребляйте во зло вашу власть над сердцами моего народа. Вам, представителям горожан и крестьян, желаю благословения небесного, радостной жатвы вашему прилежанию, изобилия вашим житницам, избытка всех благ жизни. За всех вас, отсутствующие и присутствующие, воссылаю я искренние мольбы к небу. Всем вам со всей нежностью говорю прости — быть может, навеки».

В Эльфснабене, где стоял флот, была произведена посадка войск на корабли. Толпы народа стеклись сюда, чтобы присутствовать при этом столь же величественном, сколь и трогательном зрелище. Сердца жителей были преисполнены различных чувств, в зависимости от того, что больше привлекало их внимание — величие подвига или величие героя. Среди военачальников, возглавивших это войско, многие прославили свое имя; то были Густав Горн, рейнграф Отто Людвиг, граф Генрих-Матиас Турн, Ортенбург, Баудиссен, Баннер, Тейфель, Тотт, Мутсенфаль, Фалькенберг, Книпгаузен и другие. Флот, задержанный противными ветрами, лишь в июне мог поднять паруса и 24-го числа достиг острова Рудена у берегов Померании.

Густав-Адольф первый ступил здесь на берег. На глазах своих спутников он преклонил колена на германской земле, благодаря небо за сохранение своей армии и флота. На островах Воллине и Узедоме он высадил войска. При их приближении императорские гарнизоны поспешили покинуть свои укрепления и бежали. С быстротой молнии появился он пред Штеттином, чтоб овладеть этой сильной крепостью ранее, чем это могли

сделать императорские войска. Богуславу XIV, герцогу Померанскому, немощному и пожилому правителю, давно уже были в тягость неистовства, совершенные и совершаемые императорскими войсками в его стране. Но, бессильный противиться им, он, неслышно ропща, склонялся перед силой. Появление спасителя не только не придало ему мужества, но внушило страх и сомнения. Хотя его страна истекала кровью из ран, нанесенных ей императорскими войсками, он все же не решался открыто стать на сторону шведов и этим навлечь на себя месть императора.

Расположившись лагерем пред штеттинскими пушками, Густав-Адольф потребовал от города принятия шведского гарнизона. Богуслав сам явился в лагерь короля, чтобы отклонить это требование. «Я пришел к вам как друг, а не как враг,— ответил Густав.— Не с Померанией и не с Германией веду я войну, а с их врагами. Я буду свято беречь это герцогство, и по окончании похода вы получите его обратно из моих рук в большей сохранности, нежели от кого-либо другого. Посмотрите на следы пребывания императорских войск в вашей стране, сравните их со следами пребывания моей армии в Узедоме и выбирайте, кого вы хотите иметь другом — императора или меня. Чего вы ждете от императора, если он овладеет вашей столицей? Милостивее ли он обойдется с ней, нежели я? Или вы хотите подождать предел моим победам? Время не терпит; примите решение и не вынуждайте меня прибегнуть к более действенным средствам».

Тягостен был выбор для герцога Померанского. Здесь, у ворот его столицы,— король Шведский с грозной армией; там — неизбежная месть императора и ужасающий пример столь многочисленных немецких князей, жертв этой мести, ставших жалкими скитальцами. Более близкая опасность положила конец его колебаниям. Ворота Штеттина были открыты королю, шведские войска вошли в город и таким образом опередили императорскую армию, которая ускоренными переходами стремительно двигалась вперед. Занятие Штеттина дало королю опорный пункт в Померании, господство над течением Одера и плацдарм для армии.

Герцог Богуслав не замедлил оправдать свое решение необходимостью, тем самым заранее защитив себя пред императором от упрека в измене. Но, убежденный в непримиримости этого монарха, он вступил в тесный союз со своим новым защитником, чтобы дружбой со Швецией обеспечить себя от австрийской мести. Союзом с Померанией король приобрел в Германии важного сторонника, который прикрывал его с тылу и обеспечил ему свободное сообщение со Швецией.

По отношению к Фердинанду, который первый напал на него в Пруссии и без объявления войны открыл враждебные действия, Густав-Адольф считал себя свободным от обычных формальностей. Перед европейскими государями он оправдал свое поведение в особом манифесте, где приводил все указанные выше причины, заставившие его взяться за оружие. Тем временем успехи его в Померании продолжались, войско увеличивалось с каждым днем. Толпами стекались под его победоносные знамена офицеры и солдаты из войск, ранее сражавшихся под предводительством Мансфельда, герцога Христиана Брауншвейгского, короля Датского и Валленштейна.

При императорском дворе нападению короля Шведского не придали того значения, какого оно, как вскоре оказалось, заслуживало. Австрия, гордыня коей вследствие долгих неслыханных удач достигла предела, пренебрежительно взирала на государя, который явился с кучкой солдат из презираемого ею глухого уголка Европы и своей воинской славой — так думали в Австрии — был обязан исключительно неумелости неприятеля, еще более слабого, чем он. Уничжительное описание шведской армии, не без намерения сделанное Валленштейном, усилило уверенность императора. Как мог он относиться с уважением к врагу, которого его полководец брался прогнать из Германии розгами! Даже неимоверно быстрые успехи Густава-Адольфа в Померании не могли полностью побороть эти предрассудки, которым зубоскальство придворных постоянно давало новую пиццу. В Вене его называли не иначе как «снежным величеством», которое пока что держится благодаря северным холодам, но несо-



мненно растает, как только приблизится к югу. Даже курфюрсты, собравшиеся в Регенсбурге, не уделили его представлениям ни малейшего внимания и из слепой угодливости перед Фердинандом отказали ему в королевском титуле. В то время как в Регенсбурге и Вене над Густавом-Адольфом издевались, в Померании и Мекленбурге одна крепость за другой переходила в его руки.

Несмотря на это пренебрежение, император выказал готовность уладить распрю со Швецией путем переговоров и для этой цели отправил в Данциг уполномоченных. Но из их инструкций было ясно, сколь несерьезны его намерения, раз он попрежнему отказывал Густаву в королевском титуле. Его замыслы, очевидно, сводились к тому, чтобы снять с себя ответственность за нападение, взвалить ее на короля Шведского и как можно скорее обеспечить себе этим помощь имперских чинов. Как и следовало ожидать, встреча в Данциге оказалась совершенно безуспешной, и, под влиянием обмена резкими нотами, ожесточение обеих сторон возросло до крайности.

Меж тем императорский полководец Торквато Конти, командовавший армией в Померании, тщетно старался вырвать Штеттин из рук шведов. Императорские войска сдавали одну крепость за другой: Дамм, Штаргард, Каммин, Вольгаст перешли в руки короля. Чтоб отомстить герцогу Померанскому, императорские войска во время отступления совершали по приказу своего предводителя вопиющие неистовства против жителей Померании, и без того истерзанных его алчностью. Все опустошалось и разграблялось якобы для того, чтобы лишить шведов продовольствия. Сплошь и рядом императорские войска, не имея возможности дольше держаться в какой-нибудь местности, во время отступления сжигали все, чтобы врагу достался один лишь пепел. Но все эти зверства лишь ярче оттеняли совсем иное поведение шведов и привлекали все сердца к их человеколюбивому королю. Шведский солдат платил за все, в чем нуждался, и на пути следования шведов чужое достояние оставалось неприкосновенным. Поэтому города и села принимали шведов

с распростертыми объятиями; зато императорских солдат, попавших в руки померанских крестьян, убивали без пощады. Многие жители вступили в ряды шведских войск, и чины этого истощенного края с радостью согласились уплатить королю контрибуцию в сто тысяч гульденов.

Не имея возможности вытеснить короля Шведского из Штеттина, Торквато Конти — превосходный полководец при всей жестокости своего характера — старался по крайней мере сделать обладание этим городом бесполезным для короля. Конти окопался в Гарцте, выше Штеттина по течению Одера, чтобы господствовать над этой рекой и лишить город всякой возможности водного сообщения с остальной Германией. Ничто не могло принудить его вступить в открытый бой с королем Шведским, превосходившим его численностью армии; еще менее удавалось Густаву-Адольфу взять приступом надежные полевые укрепления, возведенные императорскими войсками. По недостатку войск и денег Торквато не мог и думать о наступательных действиях против короля; он рассчитывал при помощи этой тактики выгадать время и дожидаться, покуда Тилли подоспеет на защиту Померании, а тогда уже вместе с этим полководцем двинуться на короля Шведского. Однажды, воспользовавшись отлучкой короля, он даже попытался внезапным нападением захватить Штеттин, но не застиг шведов врасплох. Стремительное нападение императорских войск было отбито с великой стойкостью, и Торквато отступил, понеся большой урон. Нельзя отрицать, что таким удачным началом Густав-Адольф был столько же обязан счастью, сколько своему военному опыту. После отставки Валленштейна императорские войска в Померании дошли до крайнего разложения. Жестоко мстили им теперь за себя их неистовства; опустошенная, истощенная страна не могла больше содержать их. Дисциплина исчезла, приказы офицеров не выполнялись; численность армии уменьшалась с каждым днем вследствие дезертирства и огромной смертности, вызванной в этом непривычном климате необычайно сильными холодами. При таких обстоятельствах императорскому

полководцу оставалось только стремиться к покою, чтобы дать войскам отдых на зимних квартирах. Но он имел дело с врагом, который под небом Германии не чувствовал стужи. Своих солдат Густав-Адольф предусмотрительно велел снабдить овчинными полушубками — они могли воевать и в самое суровое время года. Поэтому императорские уполномоченные, явившиеся для переговоров о перемирии, получили неутешительный ответ, что шведы — всегда солдаты, как зимою, так и летом, и совсем не склонны еще дольше высасывать все соки из бедного крестьянина. Императорские войска могут поступать как им угодно, шведы же не собираются сидеть без дела. После этого Торквато Конти сложил с себя звание, от которого уже не приходилось ожидать славы, да и на обогащение надежды было мало.

При таком неравенстве сил перевес естественным образом склонился на сторону шведов. Непрестанно тревожили шведы императорские войска на их зимних квартирах. Сильная крепость Грейфенгаген на Одере была взята приступом, и, наконец, города Гарцт и Пикриц также были оставлены войсками императора. Во всей Померании в их руках оставались только Грейфсвальд, Деммин и Кольберг, к немедленной осаде которых король готовился с величайшей энергией. Отступавший неприятель бежал по направлению к Бранденбургу, теряя массами артиллерию, обозы и людей; все доставалось преследователям — шведам.

Взятие проходов при Рибнице и Дамгартене открыло Густаву путь в герцогство Мекленбургское, подданные которого предварительно особым манифестом были призваны возвратиться под власть своих законных государей и изгнать все, что носило имя Валленштейна. Но императорским войскам удалось обманом овладеть крупным городом Ростокком; это обстоятельство сильно затруднило дальнейшее продвижение короля, неохотно дробившего свои силы. Тем временем изгнанные герцоги Мекленбургские безуспешно пытались путем посредничества собравшихся в Регенсбурге курфюрстов расположить императора в свою пользу. Тщетно стараясь покорностью снискать его благосклон-

ность, они вначале отказывались от союза со шведами и от всяких попыток самостоятельно добиться восстановления своей власти. Наконец, доведенные упорными отказами императора до отчаяния, они открыто стали на сторону короля Шведского, набрали войско и поручили командование им герцогу Францу-Карлу Саксен-Лауэнбургскому. Тот действительно овладел несколькими крепостями на Эльбе, но вскоре принужден был уступить их посланному против него императорскому полководцу Паппенгейму. Осажденный вслед за тем Паппенгеймом в городе Рацебурге, он после неудачной попытки бежать вынужден был сдаться в плен со всем своим отрядом. Так снова исчезла у этих злосчастных князей надежда на восстановление их власти, и лишь победоносной руке Густава-Адольфа суждено было совершить этот акт справедливости.

Теснимые шведами, императорские войска бросились в Бранденбург и превратили его в арену своих неистовств. Не довольствуясь контрибуциями и столь тягостными для жителей постоями, эти звери перерывали все в домах, разбивали и взламывали все, что было заперто, забирали запасы, подвергая невероятным мучениям всякого, кто осмеливался сопротивляться им; женщин насиловали даже в церквах. И эти ужасы происходили не в неприятельской стране — все это совершалось над подданными владетельного князя, который ничем не оскорбил императора и которого император, несмотря на эти бесчинства, все еще считал обязанным воевать за него против короля Шведского. Зрелище этих отвратительных зверств, которые они, по недостатку авторитета и денежных средств, волей-неволей должны были терпеть, возмутило, наконец, даже императорских генералов, и их главнокомандующий граф Шаумбург хотел от стыда подать в отставку. Не располагая достаточным войском, чтобы защищать свои земли, не получая никакой помощи от императора, оставлявшего самые настоятельные представления без ответа, курфюрст Бранденбургский особым указом повелел, наконец, своим подданным отвечать насилием на насилие и беспощадно убивать

всякого императорского солдата, пойманного на грабеже. Неописуемые неистовства и бессилие правительства дошли до такой крайности, что курфюрсту оставалось лишь одно средство, подсказанное отчаянием, — предписать своим подданным месть.

Следом за императорскими войсками в Бранденбург вступили шведы, и лишь отказ курфюрста открыть для дальнейшего беспрепятственного продвижения крепость Кюстрин воспрепятствовал королю осадить Франкфурт-на-Одере. Он отступил, чтобы взятием Деммина и Кольберга завершить завоевание Померании; а между тем фельдмаршал Тилли двинулся в Бранденбург, чтобы удержать эти земли.

Этому полководцу, который мог хвалиться тем, что не проиграл еще ни одного сражения, победителю Мансфельда, Христиана Брауншвейгского, маркграфа Баденского и короля Датского, суждено было в лице короля Шведского встретить, наконец, достойного соперника. Тилли происходил из знатного люттихского рода и развил свое военное дарование в нидерландской войне, тогдашней школе полководцев. Вскоре — в правление императора Рудольфа II — он имел случай проявить это дарование в Венгрии, где быстро восходил со ступени на ступень. По заключении мира он перешел на службу к Максимилиану Баварскому, который назначил его главнокомандующим с неограниченной властью. Разумными нововведениями Тилли создал в Баварии превосходную армию и ему Максимилиан был главным образом обязан своим военным превосходством. По окончании чешской войны Тилли было поручено командование войсками лиги, а теперь, после отставки Валленштейна, — предводительство всей императорской армией. Столь же суровый к своим войскам, столь же кровожадный по отношению к врагу, столь же мрачный, как Валленштейн, он намного превосходил его скромностью и бескорыстием. Слепой религиозный фанатизм и кровожадная нетерпимость в соединении с природной необузданностью его характера сделали его грозой протестантов. Его духовному складу соответствовала причудливая и ужасающая наружность. Маленький, тощий, с впалыми

щеками, длинным носом, широким морщинистым лбом, торчащими усами и заостренным подбородком, он ходил обыкновенно в испанском камзоле из светлозеленого атласа с разрезными рукавами, в маленькой шляпе с огромным красным страусовым пером, ниспадавшим на спину. Всем своим обликом Тилли напоминал усмирителя Фландрии, герцога Альбу, и это впечатление еще усиливалось его действиями. Таков был полководец, стоявший теперь лицом к лицу со скандинавским героем.

Тилли был очень далек от пренебрежительного отношения к своему сопернику. «Король Шведский,— так говорил он на собрании курфюрстов в Регенсбурге,— это враг, наделенный великой мудростью и такой же храбростью, закаленный в войне, находящийся в расцвете сил. Его распоряжения превосходны, его средства немалы; сословия его страны выказали ему чрезвычайную преданность. Его армия, состоящая из шведов, немцев, ливонцев, финнов, шотландцев и англичан, благодаря слепому повиновению объединена в одну нацию. Это такой игрок, что не потерять в игре с ним — уже значило выиграть очень много».

Успехи короля Шведского в Бранденбурге и Померании побуждали нового главнокомандующего не терять времени, тем более что командовавшие в этих краях генералы настоятельно требовали его присутствия. С величайшей быстротой объединил он вокруг себя императорские войска, рассеянные по всей Германии. Прошло, однако, много времени, прежде чем ему удалось заготовить в опустошенных и истощенных областях необходимые военные припасы. Наконец, среди зимы он появился во главе двадцатитысячной армии у Франкфурта-на-Одере, где присоединил к своим войскам остатки войск Шаумбурга. Поручив этому полководцу оборону Франкфурта с достаточно сильным гарнизоном, сам Тилли поспешил в Померанию, чтобы спасти Деммин и освободить Кольберг, уже доведенный шведами до крайности. Но, прежде чем он успел выйти из пределов Бранденбурга, Деммин, весьма неумело защищаемый герцогом Савелли, сдался королю, и Кольберг после пятимесячной осады был

голодом вынужден к тому же. Так как пути в Переднюю Померанию были заняты сильными шведскими отрядами, а лагерь короля при Шведте противостоял всем атакам, то Тилли отказался от своего первоначального плана — вести наступательную войну — и двинулся назад по Эльбе с намерением осадить Магдебург.

Взятие Деммина давало королю возможность вернуться беспрепятственно в пределы Мекленбурга, но более важное дело заставило его направить войска в другую сторону. Едва Тилли начал отступление, как король вдруг снялся с лагеря в Шведте и со всей своей вооруженной силой двинулся к Франкфурту-на-Одере. Этот город был слабо укреплен, но имел гарнизон в восемь тысяч человек, сколоченный главным образом из остатков тех неистовых банд, которые грабили Померанию и Бранденбург. Наступление велось весьма энергично, и уже на третий день город был взят штурмом. Уверенные в победе шведы отвергли капитуляцию, хотя неприятель два раза трубным сигналом выражал намерение сдаться, и воспользовались жестоким правом возмездия. Дело в том, что Тилли, явившись в этот край, захватил в Нейбранденбурге замешкавшийся шведский гарнизон и, взбешенный стойким сопротивлением, приказал изрубить его до последнего человека. Об этой жестокости вспомнили шведы, ворвавшись во Франкфурт. «Нейбранденбург!» — отвечали каждому императорскому солдату, молившему о пощаде, и безжалостно убивали его. Несколько тысяч было убито или взято в плен, многие утонули в Одере, остатки бежали в Силезию; вся артиллерия попала в руки шведов. Густаву-Адольфу пришлось уступить ярости своих солдат и разрешить трехчасовой грабеж.

В то время как король переходил от победы к победе, а мужество протестантских имперских чинов под влиянием этих побед все возрастало и сопротивление их становилось все энергичнее, император продолжал до крайности раздражать их проведением в жизнь реституционного эдикта и чрезмерными требованиями. Теперь он по необходимости должен был

держаться того пути насилия, на который вступил первоначально лишь из самовластия; с затруднениями, созданными его произволом, он теперь мог справиться лишь путем все новых актов произвола. Но в столь искусственно созданном государственном организме, каким был и остается германский, рука деспотизма неизбежно должна была вызвать безмерные потрясения. В глубоком изумлении взирали владетельные князья на то, как мало-помалу извращается весь государственный строй, и водворившийся первобытный порядок вещей привел их к самопомощи, единственному средству спасения при первобытном состоянии. Наконец, открытые действия императора против евангелической церкви сорвали с глаз Иоганна-Георга повязку, которая так долго скрывала от него коварную политику этого государя. Устранением сына Иоганна-Георга от архиепископства Магдебургского Фердинанд тяжко оскорбил отца, а фельдмаршал фон Арнгейм, новый любимец курфюрста и его министр, старался всеми способами расстравить эту обиду. Бывший императорский генерал под начальством Валленштейна и все еще преданный его друг, он старался теперь отомстить императору за своего старого благодетеля и за себя и отвлечь курфюрста Саксонского от содействия австрийским интересам. Средством для этого ему должно было послужить появление шведов в Германии. С присоединением протестантских владетельных князей Густав-Адольф стал бы непобедимым, и это более всего страшило императора. Пример Саксонии мог увлечь за собой других владетельных князей, и судьба императора была в известной мере в руках Иоганна-Георга. Хитрый временщик сумел разъяснить честолюбивому курфюрсту Саксонскому все выгоды его положения и советовал ему, застращав императора угрозой вступить в союз со шведами, таким путем добиться от напуганного монарха всего того, чего нельзя было ожидать от его благодарности. Но все же Арнгейм считал, что в интересах сохранения своей свободы и своего авторитета не следует заключать со шведами действительный союз. Он внушал курфюрсту гордый замысел (которому не хватало только более



разумного исполнителя) — стать средоточием всей партии протестантов, создать в Германии третью силу и, балансируя между Швецией и Австрией, поставить решение в зависимость от своей воли.

Этот замысел тем более льстил самолюбию Иоганна-Георга, что для него было равно невыносимо попасть в зависимость от Швеции и оставаться дольше под тиранией императора. Он не мог равнодушно смотреть, как руководство немецкими делами переходит к иностранному государю, и как ни мало он был способен играть первую роль, тщеславие его все-таки не мирилось с второстепенным положением. Он решил поэтому извлечь возможно большие выгоды из успехов Густава-Адольфа и в то же время продолжать свою собственную политику независимости от шведского короля. Для этой цели он вошел в соглашение с курфюрстом Бранденбургским, по тем же причинам озлобленным против императора и не доверявшим шведам. Уверившись на сейме в Торгау в намерениях своих земских чинов, согласие которых было необходимо для выполнения его плана, он созвал всех евангелических чинов империи на совещание, открывшееся в Лейпциге 6 февраля 1631 года. Властители Бранденбурга и Гессен-Касселя, многие владетельные князья, графы, имперские чины, протестантские епископы явились сами или прислали уполномоченных на это собрание, которое саксонский придворный проповедник Гоэ-фон-Гогенег открыл громовой проповедью. Напрасно старался император распустить это самочинное совещание, которое, очевидно, имело целью организацию самопомощи и, ввиду присутствия шведов в Германии, явилось в высшей степени опасным. Съехавшиеся князья, одушевленные успехами Густава-Адольфа, настаивали на своих правах и по истечении двух месяцев разошлись, вынеся примечательное постановление, доставившее императору множество затруднений. Суть этого постановления заключалась в общем настоятельном ходатайстве перед императором об отмене реституционного эдикта, о выводе его войск из их резиденций и крепостей, о прекращении экзекуций и о вознаграждении за все убытки. Пока же было постановлено собрать сорока-

тысячную армию, чтобы, в случае отказа со стороны императора, своими силами добиться искомого права.

К этому присоединилось еще одно обстоятельство, в немалой степени укрепившее решимость протестантских государей. Преодолев, наконец, опасения, удерживавшие его от соглашения с Францией, король Шведский 13 января того же 1631 года вступил в формальный союз с этой державой. После весьма существенного разногласия относительно будущей судьбы католических имперских князей, которых Франция принимала под свою защиту, а Густав, наоборот, хотел подвергнуть действию закона возмездия, и после менее важного спора относительно титула величества, в котором французы высокомерно отказывали гордому шведу, Ришелье уступил, наконец, по второму пункту, а Густав-Адольф — по первому, и союзный договор был подписан в Бервальде (в Неймарке). Обе державы обязывались оказывать друг другу военную помощь, защищать своих общих друзей, содействовать изгнанным имперским государям в возвращении их земель и как за пределами Германии, так и внутри ее восстановить то положение, какое существовало до начала войны. Для этой цели Швеция обязывалась содержать на свой счет в Германии тридцатитысячную армию, а Франция — выдавать шведам ежегодную субсидию в четыреста тысяч талеров. Если счастье будет благоприятствовать оружию Густава, то в завоеванных местностях он должен свято соблюдать свободу католической религии и имперские законы и ничего не предпринимать ни против первой, ни против последних. Всем чинам и государям, даже католическим, внутри и вне Германии разрешается свободно вступать в этот союз. Одна сторона без ведома и согласия другой не имеет права заключать с неприятелем сепаратный мир; срок действия договора определяется в пять лет.

Решение принимать от Франции субсидию и отказаться от полной свободы в ведении войны стоило королю Шведскому тяжкой внутренней борьбы. Но этот союз с французами был решающим для его положения в Германии. Лишь теперь, когда он опирался на самую значительную державу Европы, у имперских чинов

Германии появилось доверие к его замыслу, за успех которого они до сих пор — и не без основания — трепетали. Лишь теперь становился он страшным для императора. Даже католические государи, желавшие унижения Австрии, смотрели теперь с меньшей тревогой на его успехи в Германии, потому что союз с католической державой обязывал его выказывать терпимость к их религии. Как появление Густава-Адольфа означало защиту евангелической религии и германской свободы от непомерного могущества императора Фердинанда, так теперь вмешательство Франции означало охрану католической религии и свободы Германии от того же Густава-Адольфа, если бы упоение удачей увлекло его за пределы умеренности.

Король Шведский не замедлил уведомить участников Лейпцигского союза о заключенном с Францией договоре и вместе с тем призвать их к более тесному сближению с ним. Франция также поддерживала его в этом призыве и не скупилась на представления, чтобы воздействовать на курфюрста Саксонского. В случае если бы протестантские князья сочли еще слишком рискованным для себя открыто вступать с ним в союз, Густав-Адольф соглашался удовольствоваться хотя бы тайной помощью. Многие князья обнадеживали его, уверяя, что примут его предложения, как только смогут вздохнуть свободнее; Иоганн-Георг, все еще исполненный зависти и недоверия к королю Шведскому и в своей политике все еще считавшийся только со своими личными интересами, никак не мог принять решение.

Постановление совещания в Лейпциге и союз между Францией и Швецией — оба эти события были равно тягостны для императора. Против первого он пустил в ход грома своих императорских приговоров, и лишь недостаток войск помешал ему дать Франции почувствовать всю силу своего негодования. Участники Лейпцигского союза получили послания, строжайшим образом воспрещавшие им вербовать войска. Они ответили резкими жалобами, оправдывая свое поведение ссылками на естественное право, и продолжали вооружаться.

В то же время перед императорскими полководцами, вследствие недостатка войск и денег, встал неприятный выбор: оставить вне своего поля зрения либо короля Шведского, либо германских князей, так как они не могли дробить свои войска, чтобы бороться одновременно и со шведами и с немецкими протестантами. Военные действия протестантов требовали сосредоточения внимания на внутренних областях империи. Успехи короля в Бранденбурге, угрожавшие наследственным владениям императора, заставляли его полководцев обратить свое оружие в эту сторону. После взятия Франкфурта король двинулся против Ландсберга на Варте, а Тилли, предприняв запоздалую попытку отвоевать город, вынужден был возвратиться к Магдебургу и энергично продолжать начатую осаду.

Богатое архиепископство, средоточием которого являлся город Магдебург, издавна было достоянием евангелических принцев из Бранденбургского дома, которые установили здесь свою религию. За связи с Данией Христиан-Вильгельм, последний правитель, был ввергнут в имперскую опалу, и соборный капитул, опасаясь, что месть императора обратится на архиепископство, формально отрешил его от сана. Капитул предложил назначить на его место второго сына курфюрста Саксонского, принца Иоганна-Августа, но император отверг его, желая доставить архиепископство своему сыну Леопольду. Тщетно раздавались при императорском дворе жалобы курфюрста Саксонского. Христиан-Вильгельм Бранденбургский принял более действенные меры. Убежденный в преданности Магдебургского населения и магистрата, разгоряченный несбыточными надеждами, он рассчитывал преодолеть те препятствия, которые, в силу приговора капитула, соперничества двух могущественных соискателей и реституционного эдикта, преграждали ему путь к восстановлению в сане. Он предпринял путешествие в Швецию и старался обещанием важной диверсии в Германии обеспечить себе поддержку Густава. Король подал ему надежду на активную защиту, но требовал от него осмотрительности.

Узнав о высадке своего защитника в Померании, Христиан-Вильгельм, переодетый, тотчас тайно проник в Магдебург. Неожиданно появившись на заседании городского совета, он напомнил собравшимся о всех притеснениях, испытанных городом и страной от императорских войск, о пагубных замыслах Фердинанда, об опасности, грозящей евангелической религии. После этого вступления он объявил им, что настал час освобождения и что Густав-Адольф предлагает им союз и всемерное содействие. Магдебург, один из богатейших городов Германии, пользовался под управлением своего магистрата республиканской свободой, порождавшей в его гражданах геройскую отвагу. Славные доказательства этой отваги граждане Магдебурга дали в борьбе против Валленштейна, который, соблазнившись богатством города, предъявлял им самые невыполнимые требования; мужественным сопротивлением они отстаивали свои права. Правда, вся их область испытала разрушительную ярость его войск, но сам Магдебург избежал его мести. Таким образом, администратору нетрудно было склонить на свою сторону умы, еще полные свежего воспоминания о перенесенных муках. Между городом и королем Шведским был заключен союз, по которому Магдебург предоставлял королю свободный проход через свою область и город и разрешил производить вербовку солдат в своих владениях; взамен этого король обещал Магдебургу всемерную помощь в его борьбе за свою религию и свои привилегии.

Правитель тотчас собрал войско и опрометчиво открыл военные действия, прежде чем Густав-Адольф со своей армией подошел достаточно близко, чтобы оказать ему поддержку. Ему удалось разбить несколько императорских отрядов, находившихся неподалеку, занять ряд небольших пунктов и даже захватить врасплох Галле. Но приближение крупных сил неприятеля тотчас заставило его весьма поспешно и не без потерь отступить к Магдебургу. Густав-Адольф, хотя и раздосадованный этой поспешностью, прислал ему в лице Дитриха фон Фалькенберга опытного офицера для руководства военными действиями и помощи советами. Этого Фалькенберга магистрат назначил комендантом

города на все время войны. Войско принца, увеличиваясь с каждым днем вследствие притока людей из соседних городов, много раз удачно справлялось с императорскими полками, посланными против него, и в продолжение нескольких месяцев успешно вело партизанскую войну.

Наконец, окончив поход против герцога Саксен-Лауэнбургского, к городу подошел граф фон Паппенгейм. Быстро вытеснив войска правителя из всех окрестных укреплений, он таким образом совершенно отрезал его от Саксонии и решил приступить к осаде города. Явившийся после него Тилли грозным письмом потребовал, чтобы правитель перестал противиться реституционному эдикту, покорился воле императора и сдал Магдебург. Ответ принца, горячий и смелый, заставил императорского полководца обрушиться на него всей силой своего оружия.

Однако вследствие успехов короля Шведского императорскому полководцу пришлось на некоторое время отлучиться, и осада была отсрочена, а раздоры командовавших в отсутствие Тилли генералов дали Магдебургу еще несколько месяцев передышки. Накопец, 30 марта 1631 года Тилли появился вновь, и теперь он ревностно взялся за осаду.

В непродолжительном времени были взяты все внешние укрепления; Фалькенбергу пришлось стянуть в город их гарнизоны, для которых иного спасения не было, и разрушить мост на Эльбе. Так как войск для защиты этой обширной крепости с предместьями не хватало, то пришлось предместья Зуденбург и Нейштадт предоставить неприятелю, который немедленно обратил их в пепел. Паппенгейм отделился от Тилли и перешел при Шенебеке через Эльбу, чтобы подступить к городу с другой стороны.

Гарнизон, ослабленный прежними стычками в наружных укреплениях, едва насчитывал две тысячи пехоты и несколько сотен кавалерии — весьма малое количество для столь обширной и притом неправильно построенной крепости. Для восполнения этого недостатка вооружили граждан — мера отчаяния, принесшая гораздо больше вреда, чем пользы. Горожане, уже

сами по себе весьма посредственные воины, своими раздорами довели город до гибели. Бедные были недовольны тем, что на них взваливают все тяготы, на их долю выпадают все лишения, все опасности войны, тогда как богатые высылают на стены города свою челядь, а сами роскошествуют у себя дома. Неудовольствие перешло в конце концов в открытый ропот; воодушевление сменилось безразличием, бдительность и осторожность — нерадивостью и тоской. Под влиянием этих раздоров и все возрастающей нужды постепенно усилилось малодушие; многие начали страшиться дерзости своего начинания и трепетать пред могуществом императора, с которым Магдебург вступил в бой. Но религиозный фанатизм, пламенная любовь к свободе, непримиримая ненависть к имени императора, надежда на близкую помощь отгоняли всякую мысль о сдаче; и как ни велика была рознь во всем остальном, в одном — в решении защищаться до крайности — все были единодушны.

Надежда осажденных на помощь покоилась на вполне достаточных основаниях. Они знали о вооружении Лейпцигского союза, о приближении Густава-Адольфа; и для того и для другого было равно важно отстоять Магдебург, а король Шведский мог в несколько переходов достичь стен города. Все это было очень хорошо известно и графу Тилли, потому именно он и спешил любым способом овладеть Магдебургом. Уже посылал он к правителю, к коменданту и магистрату герольда с письменными предложениями сдаться, но получил ответ, что граждане предпочтут скорее умереть, нежели покориться. Смелая вылазка горожан показала ему, что мужество осажденных несколько не охладело; прибытие короля в Потсдам и набеги шведов, простиравшиеся до Цербста, внушали ему беспокойство, а обывателям Магдебурга — самые радужные надежды. Присылка второго герольда, более примирительный тон его предложений — все это укрепило их уверенность, но и усилило их беспечность.

Тем временем осаждающие уже довели свои траншеи до окружавшего город рва. Соорудив насыпи, они расставили на них батареи и открыли огонь по городу

и крепостным башням. Одна башня была совершенно разрушена, но это не облегчило дело нападавшим, так как свалилась она не в ров, а набок, прислонясь к валу. Несмотря на непрерывную бомбардировку, вал пострадал очень мало, и действие раскаленных ядер, которыми предполагалось зажечь город, было предотвращено удачными мерами. Но запасы пороха в осажденном городе истощались, и крепостные орудия одно за другим переставали отвечать на залпы. Необходимо было, чтобы шведы пришли на выручку прежде чем порох кончится, иначе Магдебург погиб. Все свои надежды жители теперь возлагали на шведов: взгляды их со страстной тоской устремлялись вдаль, в ту сторону, откуда должны были показаться шведские знамена. Густав-Адольф был так близко, что мог на третий день пути появиться под Магдебургом. С надеждой возрастает уверенность, и все усиливает ее. 9 мая неприятельская канонада неожиданно умолкает; из многих батарей увозят пушки. В императорском лагере царит мертвая тишина. Все убеждает осажденных, что спасение близко. Большинство часовых, граждане и солдаты рано утром покидают свой пост на валу, чтобы после долгих трудов, наконец, поспать спокойно. Но дорого им обошелся сон, и страшно было пробуждение.

Окончательно отказавшись от надежды взять город измором до прибытия шведов, Тилли решил снять осаду, но предварительно испробовать общий приступ. Трудности были чрезвычайно велики, так как еще не удалось пробить брешь в стене и укрепления были почти нетронуты. Но военный совет, собранный Тилли, высказался за приступ, ссылаясь при этом на пример Маастрихта, который был взят штурмом рано утром, когда граждане и солдаты удалились на покой. Приступ должен был начаться одновременно с четырех сторон; вся ночь с 9-го на 10-е прошла в необходимых приготовлениях. Все были наготове и, как было условлено, ждали пушечного выстрела ровно в пять часов утра. Выстрел раздался, но на два часа позже, так как Тилли, все еще не уверенный в успехе, снова собрал военный совет. Паппенгейм получил приказ штурмовать укрепления предместья Нейштадт; ему



помог в этом отлогий вал и сухой, не слишком глубокий ров. Большая часть граждан и солдат ушла с крепостных стен, а немногие оставшиеся часовые спали крепчайшим сном. Таким образом, этот генерал без особого труда первым поднялся на вал.

Услышав мушкетную пальбу, Фалькенберг бросился с кучкой солдат из ратуши, где писал ответ второму посланцу Тилли, к нейштадтским воротам, уже взятым неприятелем. Отбитый здесь, храбрый полководец несется в другую сторону, где уже взбирается на вал другой неприятельский отряд. Напрасные усилия; в самом начале боя Фалькенберг падает, сраженный вражеской пулей. Неистовая пальба мушкетеров, гул набата, все усиливающийся шум заставляют пробудившихся ото сна граждан понять грозящую им опасность. Они наспех одеваются, хватаются за оружие, еще не вполне очнувшись, кидаются на врага. Есть еще надежда отразить его натиск, но комендант убит, нет определенного плана защиты, нет конницы, чтобы, ворвавшись в неприятельские ряды, расстроить их, нет, наконец, пороха для того, чтобы продолжать огонь. Двое ворот, до сих пор нетронутые, оставлены их защитниками, которые поспешили в город, чтобы там отвратить еще большую опасность. Не теряя времени, неприятель пользуется вызванным переброской замешательством и занимает эти позиции. Упорное сопротивление продолжается до тех пор, пока четыре императорских полка, овладев валом, не нападают на граждан с тылу и не довершают их поражение. Среди всеобщего замешательства храбрый офицер, по имени Шмидт, еще раз ведет горсть смельчаков против врага и заставляет его отступить до ворот, но, раненный насмерть, выбывает из строя, а с ним угасает последняя надежда Магдебурга. Еще до полудня все укрепления взяты — город в руках врагов.

Теперь штурмующие открывают ворота пред главными силами императорских войск, и Тилли вводит в город часть своей пехоты. Она тотчас же занимает главные улицы, и зрелище расставленных повсюду пушек заставляет граждан укрыться в домах и там ожидать решения своей участи. Недолго оставляют их

в неизвестности: два слова графа Тилли решают судьбу Магдебурга. Более человечный полководец — и тот напрасно пытался бы дать таким войскам приказ щадить жителей; Тилли же и не пытался это сделать. Солдат, ставший благодаря молчанию полководца властелином над жизнью граждан, врывается в дома, чтобы здесь удовлетворить все необузданные вождельствия своей изменной души. Быть может, мольбы невинности кое-где достигали слуха немцев, но валлоны из войска Паппенгейма были глухи к ним. Едва началась эта резня, как распахнулись все остальные ворота, и на несчастный город бросилась вся кавалерия и страшные банды хорватов.

Началось ужасающее избиение, для воспроизведения которого нет языка у истории, нет кисти у искусства. Ни невинное детство, ни беспомощная старость, ни юность, ни пол, ни положение, ни красота не способны обезоружить ярость победителей. Женщин насилюют на глазах их мужей, дочерей — у ног их отцов, и у этих несчастных есть одно лишь преимущество — быть жертвой удвоенной ярости. Ничто — ни укромность тайника, ни святость его — не могло спасти от всюду проникавшей алчности. В одной церкви нашли пятьдесят три обезглавленных женщины. Хорваты забавлялись тем, что бросали детей в огонь; валлоны Паппенгейма закалывали младенцев у груди матерей. Некоторые офицеры лиги, возмущенные этими невероятными неистовствами, позволили себе напомнить графу Тилли, что следовало бы прекратить резню. «Придите через час, — ответил он, — я посмотрю, что можно будет сделать. Надо же вознаградить солдата за его труды и за опасности». Ужасы продолжались без перерыва, пока, наконец, дым и пламя не остановили грабеж. Чтобы усилить замешательство и сломить сопротивление граждан, еще с самого начала в некоторых местах подожгли дома. Теперь поднялась буря, разнесшая огонь по всему городу, и пожар с невероятной быстротой охватил все. Ужасна была сумятица среди чада и трупов, среди сверкающих мечей, рушащихся домов и потоков крови. Воздух накалился, невыносимый жар заставил, наконец, даже этих

душителей искать убежища в лагере. Менее чем за двенадцать часов многолюдный, укрепленный, обширный город, один из прекраснейших во всей Германии, был обращен в пепел, за исключением двух церквей и нескольких хижин. Правитель Христиан-Вильгельм, весь израненный, был взят в плен вместе с тремя бургомистрами; многие храбрые офицеры и члены магистрата нашли завидную смерть на поле битвы. Четыреста богатейших граждан спаслись от смерти благодаря корыстолюбию офицеров, которые рассчитывали получить от них огромный выкуп. Это человеколюбие выказали главным образом офицеры лиги; их действия, в сравнении с неслыханными зверствами императорских солдат, заставляли смотреть на них как на ангелов-хранителей.

Едва затих пожар, как толпы императорских солдат явились снова, алкая добычи, чтобы грабить в пепле и развалинах. Многие задохлись от дыма, многие изрядно поживились, так как граждане попрятали свое добро в погреба. Наконец, 13 мая, после того как главные улицы были очищены от трупов и мусора, в городе появился сам Тилли. Чудовищно, ужасно, возмутительно было зрелище, представшее здесь пред человечеством. Оставшиеся в живых выползали из груд трупов, дети, истошно воя, искали родителей, младенцы сосали груди мертвых матерей. Чтобы очистить улицы, пришлось выбросить в Эльбу более шести тысяч трупов; неизмеримо большее число живых и мертвых сгорело в огне; общее число убитых простиралось до тридцати тысяч.

Вступление генерала, последовавшее 14 мая, положило конец грабежу, и всем, кто спасся до той поры, была дарована жизнь. Из собора было выпущено более тысячи человек; в непрестанном страхе смерти, без всякой пищи провели они там три дня и две ночи. Тилли объявил им прощение и приказал дать хлеба. На следующий день в этом соборе отслужена была торжественная месса, и под гром пушечных выстрелов к небу вознеслось: «Тебя, бога, славим». Императорский полководец проехал по улицам города, дабы на правах очевидца иметь возможность донести своему

повелителю, что с разрушения Трои и Иерусалима не было видно такой победы. И это сравнение отнюдь не было преувеличенным, если сопоставить значение благосостояния и славу погибшего города с яростью его разрушителей.

Весть об ужасающей участи Магдебурга исполнила радости всю католическую Германию и повергла в страх и трепет всю протестантскую ее половину. Но, скорбя и негодуя, протестанты повсюду особенно настойчиво обвиняли короля Шведского, который, несмотря на то, что находился так близко и располагал такой силой, оставил союзный город без помощи. Даже самые беспристрастные не находили извинения, и Густав-Адольф, опасаясь навсегда лишиться симпатий народа, для освобождения которого он явился сюда, в особом оправдательном послании изложил миру причины своего образа действий.

Он только что напал на Ландсберг и взял его 16 апреля, когда до него дошла весть об опасном положении Магдебурга. Тотчас приняв решение освободить осажденный город, он двинулся со всей своей кавалерией и десятью полками пехоты по направлению к Шпрее. Положение, в котором Густав-Адольф находился в Германии, обязывало его считаться с требованиями благоразумия и не делать ни шага вперед, не защитив себя с тылу. Лишь крайне недоверчиво и осторожно мог он двигаться по стране, где был окружен двуличными друзьями и могущественными явными врагами, где один необдуманный шаг мог отрезать его от королевства. Курфюрст Бранденбургский уже открыл однажды свою крепость Кюстрин бегущим императорским солдатам и запер ее перед преследовавшими их шведами. Если бы Густава теперь постигла неудача в борьбе с Тилли, тот же курфюрст мог снова открыть императорским войскам свои крепости, и тогда король, окруженный врагами спереди и с тылу, погиб бы безвозвратно. Чтобы не рисковать таким оборотом дел при намеченной им операции, он требовал, чтобы, прежде чем он двинется к Магдебургу, курфюрст предоставил ему крепости Кюстрин и Шпандау на то время, пока он не освободит этот город.

Ничто, казалось, не могло быть справедливее этого требования. Огромная услуга, которую Густав-Адольф недавно оказал курфюрсту, изгнав из бранденбургских земель императорские войска, очевидно давала ему право на его благодарность, а поведение, которого шведы держались до сих пор в Германии, оправдывало притязание короля на доверие курфюрста. Но передачей этих крепостей курфюрст сделал бы короля Шведского в известной степени хозяином своей страны, не говоря уже о том, что он этим окончательно порывал связь с императором и обрекал свои владения на неминуемую месть императорских войск. Долго вел Георг-Вильгельм жестокую борьбу с самим собою, но малодушие и эгоизм взяли, наконец, верх. Равнодушный к судьбе Магдебурга, равнодушный к религии и к германской свободе, он видел пред собой лишь опасности, грозившие ему самому, и эту боязнь его министр фон Шварценберг, втайне состоявший на жалованье у императора, довел до крайних пределов. Тем временем шведские войска приблизились к Берлину, и король остановился у курфюрста. Заметив малодушные колебания этого государя, он не мог удержаться от выражения своего неудовольствия. «Я держу путь на Магдебург,— сказал Густав,— не для моей пользы, но в интересах протестантов. Если никто не хочет помочь мне, я тотчас же поворачиваю назад, предлагаю императору мирное соглашение и отправляюсь обратно в Стокгольм. Я убежден — какие бы условия мира я ни поставил, император согласится на них. Но если Магдебург погибнет и если император перестанет бояться меня, то вы увидите, что с вами будет». Эта угроза, брошенная во-время, а быть может, и зрелище шведской армии, достаточно мощной, чтобы вооруженной рукой доставить королю все то, в чем ему отказывали, когда он обращался с просьбой, сломили, наконец, сопротивление курфюрста, и он передал королю Шпандау.

Теперь перед королем лежало два пути на Магдебург: один из них, западный, проходил по истощенной стране и среди неприятельских войск, которые могли помешать ему переправиться через Эльбу; дру-

гой, южный, проходил через Дессау или Виттенберг, где были мосты для перехода через Эльбу и где можно было получить из Саксонии провиант. Но для этого требовалось разрешение курфюрста Саксонского, которому Густав имел все основания не доверять. Поэтому, прежде чем двинуться в путь, он просил курфюрста разрешить ему свободный проход и за наличные деньги доставить необходимые для его войск припасы. В этой просьбе ему было отказано, и никакие представления не могли заставить курфюрста отказаться от нейтралитета. Пока тянулись переговоры, пришло известие о страшной судьбе Магдебурга.

Тилли объявил о ней всем протестантским государям тоном победителя и, не теряя ни минуты, поспешил воспользоваться всеобщим ужасом. Авторитет императора, значительно ослабленный успехами Густава, сразу возрос и после этого решительного события стал грознее, чем когда-либо; изменение положения ярче всего сказалось во властном языке, которым он заговорил теперь с протестантскими чинами. Постановления Лейпцигского союза были отменены императорским решением, особым декретом распущен самый союз, всем непокорным чинам пригрозили судьбой Магдебурга. В качестве исполнителя императорского указа Тилли немедленно направил свои войска против епископа Бременского, который был членом Лейпцигского союза и набирал солдат. Устрашенный епископ поспешил тотчас же уступить их Тилли и подписал отмену лейпцигских постановлений. Императорская армия, под предводительством графа фон Фюрстенберга возвращавшаяся в это время из Италии, поступила таким же образом с правителем Вюртембергским. Герцог принужден был подчиниться реституционному эдикту и всем декретам императора и, кроме того, обязался делать ежемесячный взнос в размере ста тысяч талеров на содержание императорских войск. Такая же дань была наложена на города Ульм и Нюрнберг и на округа Франконский и Швабский. Страшна была расправа императора в Германии. Внезапный перевес, достигнутый им вследствие падения Магдебурга, скорее мнимый, нежели действительный, побудил его

преступить грань прежней умеренности и предпринять несколько поспешных и насильственных шагов, которые, наконец, заставили германских князей преодолеть свои колебания и примкнуть к Густаву-Адольфу. Как ни печальны были, таким образом, ближайшие следствия гибели Магдебурга для протестантов, следствия более отдаленные были благодетельны для них. Первое изумление очень быстро уступило место действительному негодованию. Отчаяние придавало силы, и германская свобода воскресла из пепла Магдебурга.

Среди государей, заключивших Лейпцигский союз, курфюрст Саксонский и ландграф Гессенский были гораздо опаснее всех других, и верховенство императора в их владениях не могло считаться устойчивым, покуда эти два государя не были обезоружены. Тилли обратил оружие прежде всего против ландграфа и прямо от Магдебурга двинулся в Тюрингию. Саксонско-Эрнестинские и Шварцбургские земли подверглись во время этого похода неописуемому разорению. Франкгаузен был на глазах Тилли безнаказанно разграблен и обращен его солдатами в пепел. Горько поплались несчастные крестьяне за то, что их повелитель благоприятствовал шведам. Эрфурту, ключу Саксонии и Франконии, пригрозили осадой, от которой он откупился добровольной поставкой провианта и денежной данью. Отсюда Тилли отправил уполномоченного к ландграфу Кассельскому с требованием немедленно распустить свои войска, отказаться от участия в Лейпцигском союзе, впустить императорские полки в свою страну и в свои крепости, уплатить контрибуцию и определенно заявить себя другом или врагом. Такое обращение приходилось терпеть германскому государю от слуги императора! Но это чрезмерное требование было подкреплено сопровождавшей его грозной воинской силой, а свежее воспоминание о потрясавшей судьбе Магдебурга должно было усилить впечатление. Тем большей похвалы достойно бесстрашие, с которым ландграф ответил на это предложение: впускать в свои крепости и в свою столицу чужих солдат он, дескать, совершенно не собирался и не собирается; его войска нужны ему самому; от нападения он сумеет

защититься. Если у генерала Тилли не хватает денег и провианта, пусть отправляется в Мюнхен: там того и другого много. Ближайшим следствием этого вызывающего ответа было вторжение двух императорских отрядов в Гессен, но ландграф так встретил их, что им не удалось натворить больших бед. Когда же сам Тилли со всем своим войском двинулся за ними следом, то, конечно, несчастной стране пришлось бы дорого заплатить за стойкость своего государя, если бы маневры короля Шведского во-время не отвлекли императорского полководца.

Густав-Адольф принял весть о гибели Магдебурга с глубочайшей скорбью, усугубленной еще тем обстоятельством, что теперь Георг-Вильгельм согласно договору потребовал возвращения крепости Шпандау. Потеря Магдебурга скорее усилила, нежели ослабила основания, по которым для короля было так важно обладание этой крепостью, и чем больше приближался неминуемый решительный бой между ним и Тилли, тем тяжелее было ему отказаться от единственного убежища на случай несчастного исхода. Истопив напрасно всевозможные представления и просьбы пред курфюрстом Бранденбургским, холодное упорство которого, напротив, возрастало с каждым днем, он отдал, наконец, своему коменданту приказ очистить Шпандау, но одновременно заявил, что с этого дня будет относиться к курфюрсту как к неприятелю.

Чтобы придать вес этому заявлению, он появился со своей армией под стенами Берлина. «Я не хочу, чтобы со мной обходились хуже, чем с генералами императора, — ответил он посланцам ошеломленного курфюрста, когда они явились в его лагерь. — Ваш повелитель принял их в свои владения, снабдил всем, в чем они нуждались, передал им все крепости, какие они хотели, и всеми этими любезностями не мог добиться даже того, чтобы они более человечно обходились с его народом. Все, чего я от него требую, это обеспечение безопасности моего движения, небольшую сумму денег и хлеб для моих войск; и за это я обещаю ему охранять его владения и избавить его от войны. Но на этих моих требованиях я должен настаи-



вать, и пусть брат мой курфюрст спешно решит, хочет ли он иметь меня своим другом, или же хочет допустить опустошение своей столицы». Этот решительный тон произвел должное впечатление, а пушки, направленные на город, победили все колебания Георга-Вильгельма. Через несколько дней был подписан союзный договор, по которому курфюрст обязался вносить ежемесячно тридцать тысяч талеров, оставлял Шпандау в руках короля и обещал всегда, когда только понадобится, впускать его войска и в Кюстрин. Это решительное соединение курфюрста Бранденбургского со шведами встретило в Вене не лучший прием, чем раньше такое же решение герцога Померанского. Но неблагоприятный поворот счастья, который вскоре испытало оружие императора, не дал ему возможности выразить свое раздражение иначе, как словами.

Удовлетворение, испытанное королем по поводу этого счастливого события, вскоре еще было усилено приятным известием, что Грейфсвальд, единственная крепость в Померании, остававшаяся еще в руках императорских войск, перешла к нему, и теперь вся страна очищена от этих злобных врагов. Явившись снова в герцогство, он наслаждался упоительным зрелищем всеобщего народного ликования, виновником которого был он сам. Минувший год с тех пор, как Густав вступил на немецкую землю, и годовщина этого события была отпразднована во всем герцогстве Померанском всеобщим торжеством. Несколько ранее царь Московский приветствовал его через своих послов, предлагая возобновить дружбу и даже помочь войсками. Миротлюбивые намерения русских были тем более приятны для короля, что в той опасной войне, навстречу которой он шел, для него было в высшей степени важно не терпеть беспокойства от враждебного соседа. Вскоре затем в Померании высадилась его супруга, королева Мария-Элеонора, с подкреплением в восемь тысяч шведов. Необходимо упомянуть также о прибытии шести тысяч англичан под предводительством маркиза Гамильтона — необходимо тем более, что история ничего, кроме этого прибытия, не может сообщить о деяниях англичан в Тридцатилетнюю войну.

Во время тюрингского похода Тилли Паппенгейм занимал область Магдебурга, но не мог помешать шведам перейти в нескольких местах Эльбу, уничтожить несколько императорских отрядов и взять много укрепленных мест. Сам он, испуганный приближением короля, настойчиво предлагал графу Тилли повернуть назад и действительно заставил его быстрыми переходами поскорее возвратиться в Магдебург. Тилли расположился лагерем по сю сторону реки, в Вольмирштедте; Густав-Адольф разбил свой лагерь с той же стороны у Вербена, неподалеку от впадения Гавеля в Эльбу. Уже самое прибытие его в эти страны не предвещало Тилли ничего хорошего. Шведы рассеяли три его полка, расположенные в деревнях далеко от главных сил, отняли половину их обоза и сожгли другую. Напрасно приближался Тилли со своей армией на расстояние пушечного выстрела к лагерю короля, вызывая его на бой; Густав, бывший вдвое слабее Тилли, благоразумно избегал сражения; его лагерь был слишком надежно укреплен, чтобы неприятель мог решиться на нападение. Пришлось ограничиться канонадой и несколькими стычками, в которых победителями неизменно оставались шведы. Во время отступления в Вольмирштедт армия Тилли уменьшилась от частых побегов. После магдебургской резни счастье покинуло его.

Тем постоянное сопровождало оно с этого времени короля Шведского. Пока он стоял лагерем в Вербене, его генерал Тотт и герцог Адольф-Фридрих завоевали почти весь Мекленбург, и он испытал царственное наслаждение — восстановить на престоле обоих герцогов. Он сам отправился в Гюстров, где совершилось это восстановление, чтобы своим присутствием придать торжеству еще больший блеск. Окруженные блестящей свитой князей, вступили в город оба герцога; их спаситель шествовал между ними обоими, и радость подданных обратила это шествие в трогательнейшее празднество. Вскоре после возвращения Густава-Адольфа в Вербен в его лагере появился ландграф Гессен-Кассельский, чтобы заключить с ним тесный оборонительный и наступательный союз; то был пер-

вый владетельный князь Германии, добровольно и открыто заявивший себя противником императора; правда, он имел на это более чем достаточное основание. Ландграф Вильгельм обязался бороться с врагами короля как со своими собственными, открыть ему свои города и всю свою страну, доставлять ему провиант и все необходимое. Король в свою очередь провозглашал себя его другом и защитником и обязался не заключать мира, не доставив ландграфу полного удовлетворения от императора. Обе стороны честно сдержали слово. Ландграф Гессен-Кассельский вплоть до конца этой долгой войны оставался верным союзу со Швецией и при заключении Вестфальского мира имел все основания хвалиться своей дружбой с ней.

Тилли, для которого этот смелый шаг ландграфа не мог остаться тайной, выслал против него графа Фуггера с несколькими полками. В то же время он пытался посредством подметных писем возмутить гессенских подданных против их властителя. Его письма принесли так же мало пользы, как и его полки, отсутствие которых вскоре затем сказалось, и весьма ощутительно для него, в сражении при Брейтенфельде. Гессенские земские чины ни минуты не могли колебаться между защитником своего достоинства и его расхитителем.

Но гораздо более, чем Гессен-Кассель, беспокоило императорского генерала двусмысленное поведение курфюрста Саксонского, который, вопреки императорскому запрещению, продолжал военные приготовления и не отказывался от Лейпцигского союза. Теперь, когда король Шведский находился так близко, когда каждую минуту могло разразиться решительное сражение, Тилли казалось в высшей степени опасным допустить, чтобы Саксония, готовая в любую минуту стать на сторону врага, осталась вооруженной. Усилившись двадцатью пятью тысячами солдат из испытанных войск, приведенными ему Фюрстенбергом, и твердо веруя в свою мощь, Тилли был убежден, что одного страха, внушенного его прибытием, будет достаточно, чтобы обезоружить курфюрста или по крайней мере без труда разбить его. Но прежде чем покинуть свой

лагерь под Вольмирштедтом, он через уполномоченных потребовал от курфюрста, чтобы тот открыл свои владения императорской армии, распустил свои войска или соединил их с армией императора и в союзе с ними изгнал короля Шведского из Германии. Он напомнил ему, что из германских стран больше всех щадил до сих пор Саксонию, и пригрозил ему в случае упорства самыми ужасными опустошениями.

Для своего грозного предложения Тилли выбрал весьма неблагоприятный момент. Преследования, испытанные его единоверцами и союзниками, разрушение Магдебурга, неистовства императорских солдат в Лужиции — все соединилось для того, чтобы курфюрст исполнился крайнего негодования против императора. Как бы ни были ничтожны его права на защиту со стороны Густава-Адольфа, все же сознание, что этот государь поблизости, вдохнуло в него мужество. Он воспретил расквартирование императорских солдат в своих землях и твердо объявил, что не намерен приступить к разоружению. Как ему ни странно, прибавил он, видеть, что императорская армия идет на его владения в тот момент, когда, казалось бы, преследование короля Шведского доставляет ей столько хлопот, он, однако, не ожидает, что вместо обещанных и заслуженных наград ему отплатят неблагодарностью и разорением его страны. Послам Тилли он после роскошной трапезы дал еще более ясный ответ. «Господа,— сказал он,— я вижу, что решили, наконец, подать на стол саксонское угощение, которое приберегалось так долго. Но в него обыкновенно входят всякие орехи и затейливые сласти, которые раскусить очень нелегко; смотрите, как бы вам не пришлось сломать о них зубы».

Теперь Тилли, снявшись с лагеря и производя страшные опустошения, двинулся к Галле и отсюда возобновил свое предложение курфюрсту в еще более настойчивом и угрожающем тоне. Если вспомнить все предыдущее поведение этого государя, который под влиянием личной склонности и внушений своих подкупленных министров соблюдал интересы императора даже в ущерб своим священнейшим обязанностям и

которого до сих пор удавалось с такой малой затратой искусства удерживать в полном бездействии, то остается только удивляться ослеплению императора или его министров, которые именно в такой опаснейший момент отказались от прежней политики и своими насильственными действиями довели этого податливого государя до крайности. Или это и было целью Тилли? Быть может, он считал нужным превратить ненадежного друга в явного врага; чтобы тем самым освободиться от необходимости щадить земли курфюрста, к чему его до сих пор принуждал тайный приказ императора? Или, быть может, сам император намеренно доводил курфюрста до враждебного шага, чтобы этим путем избавиться от своих обязательств по отношению к нему и с веским к тому основанием разорвать обременительный счет? Но и в таком случае все же нельзя не удивляться наглому высокомерию и Тилли, который не боялся пред лицом страшного неприятеля создавать себе нового врага, и той беспечности, с какой этот полководец позволил обоим своим противникам беспрепятственно соединиться.

Доведенный до отчаяния вторжением Тилли в Саксонию, Иоганн-Георг после долгой внутренней борьбы бросился в объятия короля Шведского.

Тотчас после отъезда первого посольства Тилли он спешно отправил своего фельдмаршала фон Арнгейма в лагерь Густава, прося монарха, которым так долго пренебрегал, о скорейшей помощи. Король скрыл внутреннюю радость, доставленную ему этим долгожданым событием. «Мне очень жаль курфюрста,— ответил он послу с деланой холодностью,— если бы он во-время обратил внимание на мои неоднократные представления, страна его не видала бы неприятеля в своих пределах, да и Магдебург уцелел бы. А теперь, когда иного исхода нет, обращаются к королю Шведскому. Так передайте же ему, что я совсем не собираюсь губить себя и своих союзников ради курфюрста Саксонского. Да и кто поручится мне за верность государя, министры которого состоят на жаловании у Австрии и который отступится от меня, как только император скажет ему ласковое слово и отзовет свои вой-

ска от его границ? Войска Тилли получили за последнее время значительные подкрепления, но это не помещает мне смело пойти на него, как только я буду прикрыт с тыла».

В ответ на эти упрёки саксонский министр сумел сказать только одно — что самое лучшее было бы предать прошлое забвению. Он настоятельно просил короля объявить условия, на которых тот согласен помочь Саксонии, и наперед ручался, что они будут приняты. «Я требую,— ответил Густав,— чтобы курфюрст уступил мне крепость Виттенберг, дал мне в заложники своего старшего сына, уплатил моим войскам трехмесячное жалованье и выдал мне предателей из числа своих министров. На этих условиях я готов оказать ему помощь».

«Не только Виттенберг,— воскликнул курфюрст, получив этот ответ, и тотчас погнав своего министра назад в шведский лагерь,— не только Виттенберг открою я ему, но и Торгау и всю Саксонию! В заложники я отдам ему хоть всю мою семью, а если ему этого мало, я сам пойду в заложники. Поспешите к нему и передайте ему, что я готов выдать ему изменников, которых он мне назовет, буду платить жалованье его войскам и отдам свою жизнь и все свое достояние за правое дело».

Король хотел только испытать твердость новых намерений Иоганна-Георга. Тронутый его искренностью, он отказался от своих тяжелых требований. «Недоверие, выказанное мне, когда я хотел прийти на помощь Магдебургу,— сказал он,— вызвало недоверие с моей стороны. Ныне доверие курфюрста заслуживает, чтобы я ответил тем же. Я буду вполне удовлетворен, если он заплатит моей армии жалованье за один месяц, и надеюсь, что и за такое вознаграждение смогу охранить его».

Тотчас по заключении союза король перешел через Эльбу и на следующий день соединился с саксонцами. В то же время Тилли, вместо того чтобы воспрепятствовать этому соединению, двинулся к Лейпцигу и потребовал, чтобы город принял императорский гарнизон. В надежде на скорую выручку комендант

города Ганс фон Пфорта стал готовиться к обороне и для этой цели приказал сжечь предместье Галле. Но дурное состояние укреплений сделало сопротивление невозможным, и уже на второй день осады ворота открылись. Тилли расположился в доме могильщика — единственном строении, уцелевшем во всем предместье; здесь он подписал капитуляцию, и здесь было решено нападение на короля Шведского. При взгляде на рисунки черепов и скелетов, которыми могильщик украсил свой дом, Тилли изменился в лице. Против всякого ожидания, с Лейпцигом обошлись милостиво.

Меж тем в Торгау король Шведский и курфюрст Саксонский в присутствии курфюрста Бранденбургского собрались на большой военный совет. Им предстояло принять решение, которое должно было бесповоротно определить судьбу Германии и евангелической веры, благоденствие многих народов и участь их государей. Тревожное чувство, пред важным решением теснящее души героев, как будто овладело на миг высоким духом Густава-Адольфа. «Решаясь теперь на сражение, — сказал он, — мы ставим на карту одну корону и две курфюрстские шапки. Счастье изменчиво, и неисповедимые веления неба могут, в наказание за грехи наши, даровать победу врагу. Правда, моя держава, даже потеряв меня и мое войско, еще сохраняет надежду на спасение. Ей, отдаленной от неприятеля, охраняемой значительным флотом, оберегаемой своими границами и защищаемой храбрым народом, по крайней мере не грозит самое худшее. Но что спасет вас, тех, кому враг ежечасно готов наступить на грудь, если исход сражения будет несчастлив?»

Здесь Густав-Адольф проявил сомнение, свидетельствующее о великой скромности героя, которому сознание своей силы не мешает видеть размеры опасности. Иоганн-Георг выказал самонадеянность бессильного человека, знающего, что его дело защищает герой. Желая поскорее очистить свои владения от двух обременительных армий, он жаждал боя, в котором не рисковал лишиться ранее завоеванных лавров. Он хотел сам двинуться со своими саксонцами на Лейпциг и

сразиться с Тилли. Наконец, Густав-Адольф согласился с ним, и было решено немедленно напасть на неприятеля, прежде чем тот соединится с подкреплениями, которые вели ему генералы Альтрингер и Тифенбах. Соединенная шведско-саксонская армия перешла через Мульдугу; курфюрст Бранденбургский уехал домой.

Рано утро 7 сентября 1631 года сошлись неприятельские армии. Не успев уничтожить саксонскую армию до ее соединения со шведами, Тилли решил ждать спешившие к нему вспомогательные войска; он разбил под Лейпцигом хорошо укрепленный, выгодно расположенный лагерь и надеялся, что никто не сможет заставить его принять там бой. Однако энергичные настояния Паппенгейма заставили его при наступлении неприятельских войск переменить свою диспозицию и двинуться влево, к холмам, тянувшимся от деревни Варен до Линденталя. У подножия этих высот его армия выстроилась в одну линию; его артиллерия, расположенная по холмам, могла обстреливать всю Брейтенфельдскую равнину. Оттуда приближалась построенная в две колонны шведско-саксонская армия, которой предстояло у Подельвица — села, расположенного пред фронтом Тилли, — перейти Лобер. С целью затруднить ей переход через этот ручей сюда был отправлен Паппенгейм с двумя тысячами кирасир, но лишь после долгого сопротивления Тилли и со строгим приказом ни в коем случае не вступать в бой. Несмотря на это запрещение, Паппенгейм завязал стычку с шведским авангардом, но вскоре вынужден был отступить. Чтобы удержать неприятеля, он зажег Подельвиц, что, однако, не помешало обеим армиям продолжать наступление и выстроиться в боевом порядке.

Справа расположились шведы, построенные в две линии, посредине пехота в небольших батальонах, весьма подвижных и поэтому способных быстро маневрировать без нарушения порядка; на флангах — кавалерия, разделенная таким же образом на небольшие эскадроны попеременно с многочисленными мелкими отрядами мушкетеров, которые маскировали ее малочисленность и должны были обстреливать неприятельскую конницу. Центром командовал полковник Тейфель,



левым флангом — Густав Горн, правым — сам король, имея против себя графа Паппенгейма.

Саксонцы, по требованию Густава, были отделены от шведов широким промежутком, вполне оправданным исходом сражения. Боевую диспозицию составил сам курфюрст вместе со своим фельдмаршалом; король удовлетворился согласием на нее. Он как будто тщательно старался обособить шведскую доблесть от саксонской, и счастье не смешало их.

К вечеру неприятельские войска растянулись на западных высотах необозримой линией; их было вполне достаточно для того, чтобы окружить шведскую армию; пехота разделена была на большие батальоны, конница — на столь же большие, неповоротливые эскадроны. Орудия неприятельского войска были расположены за ним на высотах; таким образом, оно было выстроено под своими же снарядами, перелетавшими через него. Из такого положения артиллерии, — если вообще можно доверять этому сообщению, — явствовало, что Тилли скорее намерен дожидаться врага, нежели наступать, ибо расположение императорских войск не давало им возможности ворваться в ряды неприятеля, не становясь вместе с тем жертвой своих собственных пушек. Тилли командовал центром, Паппенгейм — левым флангом, граф фон Фюрстенберг — правым. Численность всех войск императора и лиги не превышала в этот день тридцати четырех — тридцати пяти тысяч человек; приблизительно столько же человек насчитывалось и в соединенной шведско-саксонской армии.

Но если бы их стояли друг против друга миллионы, этот день не мог бы быть более кровавым, более значительным, более решающим. Ради этого дня Густав-Адольф переправился через Балтийское море и, подвергаясь опасностям в далекой стране, вручил изменчивому счастью свою жизнь и свою державу. Два величайших полководца своего времени, оба до сих пор непобедимые, подвергались последнему испытанию в сражении, которого так долго избегали; один из них неминуемо должен был расстаться на поле брани со своей славой. В страхе и трепете ждут обе половины Германии наступления рокового дня; с содроганием

ждет весь мир его исхода, и отдаленное потомство будет его благословлять — или проклинать.

Решимость, никогда не оставлявшая графа Тилли, покинула его в этот день. У него не было ни твердого решения вступить в бой с королем, ни непоколебимой решимости избежать сражения. Паппенгейм увлек его против его воли. Неведомые до сих пор сомнения бушевали в его груди, черное предчувствие омрачало его обычно ясное чело. Словно дух Магдебурга витал над ним.

Двухчасовая канонада открыла сражение. Со свежеспаханых пересохших полей западный ветер гнал в лицо шведам густые облака пыли и порохового дыма. Это заставило короля незаметно передвинуться к северу, и быстрота, с которой этот маневр был произведен, не дала неприятелю помешать ему.

Наконец, Тилли решился покинуть свои холмы и двинуться на шведов, но, отбитый их яростным огнем, подался вправо и атаковал саксонцев с такой яростью, что их воинские части расстроились и смятение охватило все войско. Сам курфюрст опомнился лишь в Эйленбурге. Немногие полки еще некоторое время стойко держались на поле битвы и своим мужественным сопротивлением спасли честь саксонцев. Но едва только они дрогнули, как хорваты приступили к грабежу, и уже были отправлены в Мюнхен и Вену гонцы с вестью о победе.

На правое крыло шведов обрушился всей силой своей кавалерии граф Паппенгейм, но не мог сдвинуть его с места. Здесь командовали сам король и под его началом генерал Баннер. Семь раз возобновлял Паппенгейм свою атаку, и семь раз она была отбита. Он бежал с большими потерями, оставив поле битвы неприятелю.

В то же время Тилли, опрокинув остаток саксонской армии, ринулся со своими победоносными полками на левое крыло шведов. Но король, заметив расстройство в саксонских войсках, быстро уяснил себе положение и отправил на помощь три полка, чтобы прикрыть фланг, обнаженный бегством саксонцев. Густав Горн, командовавший здесь, оказал неприятель-

ским кирасирам стойкое сопротивление, которому немало способствовала расстановка пехоты между эскадронами. Неприятель уже начинал изнемогать, когда здесь появился Густав-Адольф, чтобы решительно ускорить исход боя. Левое крыло императорских войск было разбито, и шведские солдаты, уже не имевшие пред собой врага, могли найти себе лучшее применение где-нибудь в другом месте. Поэтому Густав повернул своим правым крылом и главным отрядом налево, по направлению к холмам, на которых была расположена неприятельская артиллерия. Вскоре она перешла в руки шведов, и неприятелю пришлось испытать огонь собственных пушек.

Обстреливаемое сбоку артиллерией, теснимое спереди страшным напором шведов, дрогнуло непобедимое войско. Поспешное отступление — вот все, что оставалось Тилли; но самое отступление должно было теперь производиться через неприятельские ряды. Смятение овладело всей армией, кроме лишь четырех полков седовласых, закаленных солдат, которые никогда до сих пор не бежали с поля битвы и теперь не соглашались бежать. Сомкнутыми шеренгами пробились они через ряды победителей и с оружием в руках достигли перелеска, где снова выстроились против шведов и бились до наступления ночи, покуда число их не уменьшилось до шестисот человек. С ними бежали остатки армии Тилли, и исход сражения был решен.

Густав-Адольф бросился на колени среди раненых и убитых, и пламенная радость победы излилась у него в горячей молитве. Неустанно, вплоть до наступления глубокой ночи преследовала его кавалерия бегущего врага. Набатный звон поднял народ во всех окрестных деревнях, и горе несчастному, который попался в руки озлобленному крестьянину. С остальным войском король расположился лагерем между полем битвы и Лейпцигом, так как невозможно было напасть в ту же ночь на город. Семь тысяч неприятельских солдат полегло на поле битвы, более пяти тысяч попало в плен и было ранено. Вся неприятельская артиллерия, весь лагерь, более ста знамен и штандартов достались победителю. Саксонцы потеряли две тысячи человек,

шведы — не более семисот. Поражение императорской армии было так велико, что Тилли во время своего бегства в Галле и Гальберштадт не мог собрать более шестисот человек. Паппенгейм — не более тысячи четырехсот. Так быстро исчезло это страшное войско, приводившее еще так недавно в ужас всю Италию и Германию.

Сам Тилли был обязан своим спасением только случайности. Изнемогая от ран, он не хотел сдаться в плен шведскому ротмистру, настигнутому им и уже намеревавшемуся покончить с ним, когда выстрел из пистолета во-время поразил шведа. Но неизмеримо страшнее смертельной опасности и ран было для него тягостное сознание, что он пережил свою славу и в один день лишился трудов всей своей долгой жизни. Все прошлые его победы обращались в ничто, раз ему не досталась та, которой надлежало увенчать все остальные. От всех его блестящих подвигов оставались ему лишь проклятия человечества, которыми они сопровождались. С этого дня веселость уже не возвращалась к Тилли и счастье навеки покинуло его. Даже последнего его утешения, мести, лишил его строгий приказ его повелителя: не осмеливаться более вступать в решительный бой. Тремя ошибками объясняется главным образом неудача этого дня: во-первых, Тилли расположил свою артиллерию на холмах за армией; во-вторых, он удалился затем от этих холмов, и, наконец, в-третьих, он не препятствовал неприятелю построиться в боевом порядке. Но как легко можно было исправить эти ошибки, если бы не холодное благоразумие и не гениальное дарование его противника! Тилли бежал из Галле в Гальберштадт, откуда, едва дождавшись, чтобы зажили его раны, поспешил к Везеру, намереваясь усилить свои войска императорскими гарнизонами, стоявшими в Нижней Саксонии.

Тотчас по миновании опасности курфюрст Саксонский не замедлил явиться в шведский лагерь. Король поблагодарил его за совет вступить в бой, и Иоганн-Георг, пораженный приветливым приемом, на радостях обещал ему... римскую корону. Предоставив курфюрсту самому вернуть себе Лейпциг, Густав двинулся на

следующий день к Мерзебургу. Пять тысяч императорских солдат, снова соединившихся и по пути попавших ему в руки, были частью изрублены, частью взяты в плен; большинство последних вступило в его армию. Мерзебург сдался тотчас же, вслед за тем взят был Галле, куда к королю после взятия Лейпцига явился курфюрст Саксонский сговориться с ним относительно дальнейшего плана действий.

Победа была одержана, но лишь при умелом использовании ее можно было превратить в решающую победу. Императорская армия была разбита, в Саксонии не оставалось ни одного неприятельского солдата, и бежавший Тилли передвинулся в Брауншвейг. Преследовать его здесь — значило бы возобновить войну в Нижней Саксонии, едва успевшей оправиться от бедствий предыдущей войны. Поэтому решили перенести войну в неприятельские земли, которые, будучи открыты и незащищены вплоть до самой Вены, манили победителя к себе. Можно было двинуться направо на владения католических князей, можно было направиться налево, вторгнуться в наследственные владения императора и заставить его трепетать в его столице. Было решено сделать и то и другое, и вопрос заключался теперь лишь в распределении ролей. Во главе победоносной армии Густав-Адольф встретил бы слабое сопротивление по пути от Лейпцига к Праге, Вене и Пресбургу; Чехия, Моравия, Австрия, Венгрия не имели защитников; угнетенные протестанты этих стран жаждали перемен. Сам император не мог считать себя в безопасности в своем дворце — при первом нападении Вена в испуге раскрыла бы свои ворота победителю. Со странами, отнятыми у неприятеля, последний лишался также средств, на которые он вел войну, и Фердинанд охотно согласился бы на мир, только бы удалить столь страшного врага, проникшего в самую глубь его владений. Завоевателю этот смелый военный план пришелся бы по сердцу и, быть может, счастливый исход оправдал бы его. Но Густав-Адольф, столь же осторожный, сколь смелый, в большей мере государственный муж, нежели завоеватель, отказался от этого плана, потому что имел в виду более высокие

цели, потому что не хотел доверить исход борьбы лишь счастью и отваге.

Если бы Густав избрал путь на Чехию, то Франкония и Верхний Рейн должны были быть предоставлены курфюрсту Саксонскому; но Тилли уже начал из остатков своей разгромленной армии, из гарнизонов в Нижней Саксонии и стянутых им подкреплений сколачивать на Везере новое войско, во главе которого он, конечно, не замедлил бы двинуться против неприятеля. Было невозможно противопоставить столь опытному полководцу какого-нибудь Аригейма, способности которого были испытаны в битве при Лейпциге с весьма сомнительными результатами. Но какую пользу принесли бы королю самые быстрые и блестящие успехи в Чехии и Австрии, если бы Тилли вернул себе могущество в имперских землях, если бы он новыми победами вдохнул мужество в католиков и обезоружил союзников короля? К чему послужит изгнание императора из его наследственных владений, если Тилли завоюет ему всю Германию? Мог ли Густав надеяться стеснить императора более, чем его стеснило двенадцать лет тому назад чешское восстание, которое ведь не поколебало упорства этого властителя, не истощило его средств, восстание, из которого он вышел еще более грозным, чем прежде?

Менее блестящими, но гораздо более надежными были выгоды, которых король мог ожидать от вторжения предводительствуемых им войск в земли лиги. Решающее воздействие могло иметь появление его вооруженных сил. Государи в это время собрались по поводу реституционного эдикта на имперский сейм во Франкфурте, где Фердинанд расточал все ухищрения своей коварной политики, чтобы склонить уstraшенных протестантов к поспешному и пагубному для них соглашению. Лишь приближение их защитника могло побудить их к стойкому сопротивлению и обратить в ничто замыслы императора. Густав-Адольф мог надеяться своим победоносным присутствием объединить всех этих недовольных государей, остальных же — оторвать от императора, уstraшив их своим оружием. Здесь, в центре Германии, следовало перерезать жизненный

нерв императорского могущества, которое не могло держаться без помощи лиги. Здесь он мог вблизи следить за своим ненадежным союзником — Францией, и если для осуществления его сокровенного замысла ему необходима была дружба католических курфюрстов, то надлежало прежде всего стать властелином их судьбы, чтобы великодушным снисхождением приобрести право на их благодарность.

Поэтому он выбрал путь к Франконии и Рейну, предоставив курфюрсту Саксонскому завоевание Чехии.



## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### КНИГА ТРЕТЬЯ

Славная битва при Лейпциге вызвала огромную перемену как во всем дальнейшем поведении Густава-Адольфа, так и в воззрениях его врагов и друзей. Он померялся теперь силами с величайшим полководцем своего времени, он испытал силу своей тактики и мужество своих шведов в борьбе с ядром императорских войск, лучших в Европе, и победил в этом поединке. Начиная с этого момента он исполнился твердой веры в себя, а вера — мать великих подвигов. С этих пор во всех воинских начинаниях короля Шведского наблюдается более смелый и уверенный размах, в самых трудных положениях — большая решимость, более гордая речь с неприятелем, больше самостоятельности в отношениях с союзниками, и даже в его мягкости больше чувствуется снисхождение повелителя. Его природное мужество поддерживалось мечтательным полетом его воображения; он легко отождествлял свое дело с велением неба; в поражении Тилли он видел решающий приговор господень, осуждающий его противника, а в себе самом — орудие божественного возмездия. Оставив далеко за собой свою державу, свое отечество, он несся теперь на крыльях победы вглубь Германии, которая на протяжении многих столетий не видала на своей земле



победителя-чужестранца. Воинственный дух ее граждан, бдительность ее многочисленных властителей, искусно созданная связь ее государств, многочисленность ее укрепленных замков, течение ее полноводных рек уже с незапамятных времен сдерживали соседей, алкавших завоеваний. И как ни часты были бури у пределов этого обширного государственного организма, однако не было случая, чтобы чужеземцы вторглись вглубь Германии. Испокон века обладала эта страна обоюдоострым преимуществом быть лишь своим собственным врагом и оставаться непобедимой извне. Да и теперь единственно раздоры ее владетельных князей и религиозный фанатизм проложили шведскому победителю путь во внутрь ее государств. Давно уж распалась связь между чинами, делавшая Германию непобедимой, и в самой Германии заимствовал Густав-Адольф те силы, которыми он ее покорил. Столь же умно, как и смело, пользовался он тем, что ему давал благоприятный момент; равно искусный и в кабинете и на поле сражения, он разрывал сети коварной политики с той же легкостью, с какой разрушал стены городов залпами своих орудий. Неудержимо шествовал он от победы к победе, от одной границы Германии к другой, не теряя ариадниной нити, обеспечивавшей ему благополучное возвращение, и на берегах Рейна, так же как у устья Леха, он в мыслях оставался близок родной стране.

Ужас императора и католической лиги, вызванный поражением Тилли при Лейпциге, едва ли был сильнее изумления и смущения, овладевших союзниками Швеции при неожиданной удаче короля. Она была больше, чем ожидали, больше, чем было желательно. Одним ударом было уничтожено грозное войско, останавливавшее его успехи, ограничивавшее его честолюбие, ставившее его в зависимость от их благосклонности. Один, без соперника, без равного ему противника, стоял он теперь лагерем в центре Германии; ничто не могло задержать его стремительного движения, ничто не могло ограничить его притязаний, если бы, упоенный успехами, он попытался злоупотребить ими. Если прежде трепетали пред могуществом императора, то теперь было не меньше оснований со страхом ожидать от произвола победителя-

иноземца — посягательств на государственный строй Германии, от религиозного рвения короля-протестанта — бедствий для католической церкви. Вновь воскресли недоверие и зависть некоторых союзных держав, на время усыпленные еще большим страхом пред императором; и едва успел Густав-Адольф своим мужеством и победами оправдать их доверие, как они исподтишка уже начали готовить крушение его замыслов. В неустанной борьбе с коварством врагов и недоверием своих собственных союзников приходилось ему завоевывать свои победы. Но его непоколебимое мужество, его пронизательный ум победили все эти препятствия. Внушая тревогу самым сильным из его союзников, Франции и Саксонии, счастье, сопровождавшее его оружие, подымало дух более слабых, которые теперь лишь осмелились во всеуслышание заявить о своих подлинных воззрениях и открыто принять его сторону. Не соперничая с величием Густава-Адольфа и не боясь пострадать от его честолюбия, они тем большего ожидали от великодушия этого могущественного друга, даровавшего им то, что было захвачено их врагами, и охранявшего их от гнета сильных. Его мощь прикрывала их бессилие, и, незначительные сами по себе, они получали значение в союзе со шведским героем. Так было с большинством имперских городов и в особенности — с более слабыми протестантскими чинами. Они указали королю путь внутрь Германии и прикрывали его с тыла. Они снабжали его войска провиантом, открывали его отрядам свои крепости, проливали за него кровь в его сражениях. Его дальновидное, бережное отношение к немецкой гордости, простота и приветливость обращения, несколько случаев изумительнейшей справедливости, его уважение к законам — все это сковывало собственную германским протестантам подозрительность, а вопиющие злодеяния императорских солдат, испанцев и лотарингцев самым благоприятным образом оттеняли умеренность подвластных ему войск.

Если Густав-Адольф был почти всем обязан своему собственному гению, то нельзя отрицать и того, что немало ему содействовали счастье и благоприятное стечение обстоятельств. На его стороне было два больших

преимущества, дававших ему решительный перевес над неприятелем. Перенося театр военных действий в земли лиги, привлекая в ряды своих войск всю тамошнюю молодежь, обогащаясь добычей и распоряжаясь доходами бежавших государей как своей собственностью, он лишал неприятеля всех способов и средств стойко бороться с ним, а сам получал полную возможность с ничтожными издержками вести дорогостоящую войну. Если, далее, его противники, государи лиги, враждовавшие между собой, руководимые совершенно различными, часто противоположными интересами, действовали без единодушия, а потому и без настойчивости; если их военачальникам не доставало полновластия, их войскам — дисциплины, их рассеянным армиям — единства; если их полководец не был ни законодателем, ни государственным мужем, — то все это, наоборот, соединилось в Густаве-Адольфе. Он был единственным источником, из которого происходила всякая власть, единственной целью, на которую обращены были в сражении взоры воинов; он был душой всей своей партии, создателем военного плана и в то же время исполнителем его. В нем, таким образом, дело протестантов обретало единство и гармонию, совершенно отсутствовавшие у противной партии. Нет ничего удивительного, что, имея такие преимущества, стоя во главе такой армии, обладая таким умением пользоваться ею и руководствуясь такой политической мудростью, Густав-Адольф был непобедим.

С мечом в одной руке и милостью в другой пронесется он теперь по всей Германии, из конца в конец, как покоритель, законодатель и судья, пронесется в такое короткое время, какое другой употребил бы на обозрение ее во время увеселительной поездки; точно прирожденному властелину, подносят ему города и крепости свои ключи. Нет для него неприступных замков, реки не останавливают его победоносного шествия; часто он побеждает одним звуком своего грозного имени. Вдоль всего Майна развеваются шведские знамена. Нижний Пфальц очищен, испанцы и лотарингцы выбиты за Рейн и Мозель. Бурным потоком хлынули шведы и гессенцы на майнцские, вюрцбургские и бамбергские владения, и три бежавших епископа искупают вдали от своих

престолов злосчастную свою преданность императору. Наконец, и для предводителя лиги, Максимилиана, приходит очередь испытать в своих владениях те бедствия, которые ранее по его вине претерпевали другие. Ни страшная судьба его союзников, ни великодушные предложения Густава, который, завоевывая одну область за другой, протягивал руку для заключения мира, не могли сломить упорство этого государя. Через труп Тилли, подобно архангелу с мечом стоявшего у врат Баварии, хлынула война в ее пределы. Подобно берегам Рейна, кишат теперь берега Леха и Дуная шведскими солдатами. Укрывшись в своих неприступных замках, предоставляет разбитый курфюрст свои беззащитные земли неприятелю, которого благословенные, еще не тронутые войной нивы призывают к грабежу, а изуверство баварского крестьянина — к ответным насилиям. Сам Мюнхен открывает свои ворота непобедимому королю, и скиталец — пфальцграф Фридрих, лишившийся всех своих владений, находит мимолетное утешение в том, что водворяется в покинутой резиденции своего соперника.

В то время как Густав-Адольф расширяет свои завоевания в южных землях Германии и с неодолимой силой сокрушает всех врагов, его союзники и полководцы одерживают такие же победы в остальных областях. Нижняя Саксония свергает императорское иго; неприятель покидает Мекленбург; оба берега Везера и Эльбы очищены от австрийских гарнизонов. В Вестфалии, на Верхнем Рейне все бежит пред ландграфом Гессенским Вильгельмом, в Тюрингии — перед герцогами Веймарскими, в курфюршестве Трирском — перед французами; на востоке вся почти Чехия перешла в руки саксонцев. Турки готовятся уже к походу на Венгрию, а в средоточии австрийских владений назревает великое восстание. Император Фердинанд обращает унылые взоры ко всем дворам Европы, моля о чужеземной поддержке против столь многочисленных врагов. Напрасно призывает он испанские войска, доблестью нидерландцев отвлеченные за Рейн; тщетно старается он поднять римский престол и всю католическую церковь на свою защиту. Оскорбленный папа словно издевается своими пышными крестными ходами и бессильными проклятиями над тягост-

ным положением Фердинанда, а вместо просимых денег ему указывают на опустошенные равнины Мантуи.

Со всех сторон своей обширной монархии окружен он вражеским оружием. От смежных с ним государств лиги, теперь наводненного неприятелем, его не отделяют более те окопы, за которыми Австрийская держава так долго чувствовала себя в безопасности, и пламя войны уже бушует у ее незащищенных границ. Обезоружены его наипреданнейшие союзники; его могущественнейшая опора, Максимилиан Баварский, сам еле отбивается. Его войска, ослабленные дезертирством и неоднократными поражениями и удрученные долгими неудачами, забыли под командой разбитых генералов о той военной отваге, которая, будучи плодом победы, заранее обеспечивает новую победу. Опасность достигла предела; лишь какое-либо чрезвычайное средство могло снова возвеличить императора, дошедшего до столь глубокого унижения. Нужнее всего сейчас полководец, а между тем интриги, вызванные завистью, отняли у армии единственного полководца, от которого можно ожидать воскрешения былой славы. Так глубоко пал грозный император, что ему приходится теперь предлагать своему оскорбленному слуге и подданному унижительные для монарха договоры, и власть, которую он сам постыдно отнял у надменного герцога Фридландского, он теперь вынужден еще постыднее навязывать ему. Новый дух начинает оживлять полумертвое тело Австрийской державы, и быстрый поворот в ходе событий говорит о том, чья твердая рука ими руководит. Полновластному королю Шведскому противопоставлен теперь столь же полновластный полководец, победоносному герою — победоносный герой. Обе силы вновь вступают в отчаянный бой, и звание победителя в великой войне, наполовину уже завоеванное Густавом-Адольфом, снова с ожесточением оспаривается. Пред Нюрнбергом друг против друга чернеют две грозные тучи, две враждующие армии; обе глядят друг на друга с трепетным уважением; обе жаждут и вместе с тем страшатся мгновения, которое в вихре битвы сольет их воедино. Взоры всей Европы со страхом и любопытством устремляются на роковое поле битвы, и Нюрнберг с содроганием ожидает,

что именем его будет названо сражение, еще в большей мере решающее, нежели битва при Лейпциге. Но вдруг тучи расходятся, гроза минует Франконию и с ужасающей силой разражается на равнинах Саксонии. Неподалеку от Люцена ударил гром, грозивший Нюрнбергу, и битва, уже наполовину потерянная, выиграна ценою смерти короля. Счастье, никогда не покидавшее Густава-Адольфа на всем протяжении его жизненного пути, даровало ему и при гибели редкую милость — умереть во всей полноте своей славы, во всей чистоте своего имени. Своевременной смертью его добрый гений спас его от неизбежной судьбы человека: на вершине счастья утратить скромность, в зените могущества — забыть о справедливости. Позволительно усомниться, заслужил ли бы Густав-Адольф, продлись его дни, те слезы, которыми Германия оплакала его кончину, то восхищение, которым потомство почтило единственного в мире *справедливого* завоевателя. В случае ранней смерти великого вождя можно опасаться гибели целой партии, но для силы, правящей миром, нет незаменимых людей. Два великих политика, Аксель Оксеншерна в Германии и Ришелье во Франции, принимают кормило войны, выпавшее из рук усопшего героя; равнодушный ко всему рок переступает через его прах, и еще целых шестнадцать лет пламя войны бушует над давно забытой могилой.

Позвольте мне теперь дать краткий очерк победоносного шествия Густава-Адольфа, беглым взором окинуть весь театр войны, на котором он является единственным действующим героем, и затем уже, когда будет изложено, как Австрия, доведенная успехами шведов до крайности, согбенная под бременем непрерывных неудач, снизошла с высоты своей гордыни до жалких средств, подсказанных отчаянием, снова привести нить истории к императору.

Не сразу был в Галле установлен королем Шведским и курфюрстом Саксонским план войны, и не сразу было решено, что курфюрст нападает на Чехию, а король вторгается во владения лиги; не сразу были заключены союзы с соседними владетельными князьями — Веймарским и Ангальтским и сделаны приготовления к осво-

бождению епископства Магдебургского; все это было сделано лишь тогда, когда король уже подвигался к границам Германии. Он шел теперь навстречу сильному неприятелю. Император был еще могуществен в Германии; во всей Франконии, Швабии и Пфальце крепости были заняты императорскими гарнизонами, у которых всякий значительный населенный пункт приходилось отнимать с мечом в руке. На Рейне короля ждали испанцы, заповившие все земли изгнанного пфальцграфа, занявшие все крепости и охранявшие все переправы через реку. В тылу у него стоял Тилли, уже набравший новое войско, да и лютарингские вспомогательные отряды готовы были стать под знамена императорского полководца. В груди каждого паписта короля подстерегал ожесточеннейший враг — религиозная ненависть; и, однако, его отношения с Францией не позволяли ему действовать вполне свободно против католиков. Густав-Адольф ясно видел все эти препятствия, но он видел также способы победить их. Императорские войска стояли гарнизонами по всей стране, а он имел то преимущество, что нападал на них сосредоточенными силами единой армии. Если религиозный фанатизм католиков и страх мелких имперских чинов перед императором был против него, зато он мог ожидать деятельной помощи от сочувствия протестантов и от их ненависти к австрийскому гнету. Неистовства императорских и испанских войск в этих странах проложили ему путь; давно уже истерзанные крестьяне и горожане рвались к освободителю, и многим даже смена прежнего ига новым уже казалась облегчением. Вперед были посланы агенты с поручением склонить на сторону шведов важнейшие имперские города, особенно Нюрнберг и Франкфурт. Эрфурт был первой крепостью, приобретение которой было в высшей степени важно и которую король не мог оставить в тылу, не расположив там гарнизона. Полюбовное соглашение с гражданами-протестантами открыло ему без помощи меча ворота города и крепости. Здесь, как и во всяком другом значительном населенном месте из тех, что впоследствии попадали ему в руки, он прежде всего заставил жителей принести ему присягу, а со своей сто-

роны достаточно сильным гарнизоном обеспечил себе их верность. Его союзнику, герцогу Веймарскому Вильгельму, было поручено командование войсками, которые тот должен был набрать в Тюрингии. Городу Эрфурту Густав-Адольф вверил также свою супругу и обещал расширить его права. Затем шведская армия через Готу и Арнштадт прошла двумя отрядами весь Тюрингский лес, вырвала мимоходом графство Геннебергское из рук императорских войск и на третий день вновь соединилась у Кенигсгофена на границе Франконии.

Франц, епископ Вюрцбургский, ожесточеннейший враг протестантов и ревностнейший участник католической лиги, первым испытал тяжелую руку Густава-Адольфа. Несколько слов угрозы было достаточно для того, чтобы в руки шведов перешла его пограничная крепость Кенигсгофен, а с нею — открылся доступ ко всей области. Известие об этом внезапном захвате ошеломило всех католических владетелей округа; епископы Вюрцбургский и Бамбергский содрогались в своих замках. Они видели уже, как колеблются их престолы, оскверняются их храмы, повергается в прах их вера. Злобствующие враги короля Шведского распространяли чудовищнейшие слухи о его нетерпимости и о поведении его войск. Ни многократные уверения короля, ни самые яркие примеры человечности и снисходительности не могли вполне рассеять эти слухи. Боялись испытать от другого то, что в подобном случае učinили бы сами. Многие богатейшие католики спешили уже теперь скрыть от кровожадного изуверства шведов свое имущество, свою веру и свою особу. Пример подданным подал сам епископ. Он покинул свои владения, объятые пламенем, которое сам он зажег своим фанатизмом, и бежал в Париж, чтобы попытаться по мере сил восстановить французское министерство против общего врага, угрожавшего католической религии.

Успехи, сопровождавшие дальнейшее продвижение Густава-Адольфа в епископстве, вполне соответствовали счастливому началу. Покинутый императорским гарнизоном, сдался ему Швейнфурт и вслед затем — Вюрцбург; Мариенберг пришлось взять приступом. В этой



крепости, считавшейся неприступной, хранилось огромное количество провианта и военного снаряжения; все это досталось теперь неприятелю. Чрезвычайно приятной для короля находкой была библиотека иезуитов, которую он отправил в Упсалу; еще более приятным открытием для его солдат — богатейшие винные погреба прелата. Свои сокровища епископ успел заблаговременно вывезти. Примеру столицы последовало вскоре все епископство, все покорилось шведам. Король заставил всех подданных епископа принести присягу на верность и за отсутствием законного правителя назначил регентский совет, наполовину составленный из протестантов. В каждой католической местности, переходившей под власть Густава-Адольфа, он давал свободу протестантской религии, не мстя, однако, папистам за гнет, под которым они так долго держали его единоверцев. Лишь к тем, кто сопротивлялся ему с оружием в руках, применялось жестокое право войны. Нельзя, разумеется, возлагать на гуманного полководца ответственность за единичные злодейства, какие в слепой ярости нападения позволяла себе иногда разнузданная военщина. С безоружными и покорными обращались милостиво. Священнейшим заветом Густава-Адольфа было щадить жизнь врагов так же, как жизнь своих приверженцев.

После первой же вести о вторжении шведов епископ Бюрцбургский, невзирая на переговоры, которые он, чтобы выиграть время, завязал с королем Шведским, обратился к полководцу лиги с мольбой скорее спасти теснимое епископство. К этому времени разбитый Тилли успел собрать на Везере остатки своей рассеянной армии, пополнил ее императорскими гарнизонами Нижней Саксонии и соединился в Гессене с двумя подчиненными ему генералами, Альтрингером и Фуггером. Граф Тилли возглавил эту внушительную армию; ему хотелось поскорее искупить блестящей победой позор своего первого поражения. В лагере под Фульдой, где он расположился со своими войсками, он нетерпеливо ждал от герцога Баварского разрешения вступить в бой с Густавом-Адольфом. Но если бы лига потеряла армию Тилли — единственную, которой она располагала, — у нее совершенно не осталось бы войск, а Максимилиан был слиш-

ком осторожен, чтобы поставить судьбу своей партии в зависимость от изменчивого военного счастья. Со слезами на глазах принял Тилли от своего властелина приказ, обрекавший его на бездействие. Таким образом, поход этого полководца в Франконию был отсрочен, и Густав-Адольф выиграл время, чтоб овладеть всем епископством. Напрасно Тилли, усилив затем в Ашафенбурге свои войска двенадцатью тысячами лотарингцев, поспешил с этими превосходящими силами на выручку Вюрцбурга. Город и цитадель были уже в руках шведов, и общий голос, быть может не вполне безосновательно, обвинял Максимилиана Баварского в том, что он своими колебаниями ускорил гибель епископства. Вынужденный избегать боя, Тилли довольствовался тем, что препятствовал продвижению неприятеля; но ему удалось отбить у отважных шведов лишь очень немногие места. После тщетной попытки доставить подкрепления слабому императорскому гарнизону города Ганау, переход которого в руки короля дал бы ему слишком большой перевес, Тилли перешел при Зелигенштадте через Майн и двинулся по Нагорной дороге, чтобы защитить пфальцские владения от вторжения победителя.

Граф Тилли был не единственным врагом, которого нашел на своем пути и гнал пред собой Густав-Адольф во Франконию. Герцог Лотарингский Карл, судя по европейским летописям того времени знаменитый своим непостоянным характером, своими тщеславными замыслами и своими неудачами, тоже замахнулся своей слабой ручонкой на шведского героя, чтобы выслужить себе у императора Фердинанда II курфюрстскую шапку. Глухой к требованиям разумной государственной политики, он следовал лишь внушениям своего неумного честолюбия; помощью, оказанной императору, он раздражил своего могущественного соседа, Францию, и, гоняясь в чужих землях за лучезарными видениями, вечно от него ускользавшими, оставил без защиты свои земли, куда бурным потоком хлынула французская армия. В Австрии его охотно удостоили высокой чести губить себя, подобно другим государям лиги, для блага императорского дома. Упоенный несбыточными надеждами, этот принц собрал войско в семнадцать тысяч человек, кото-

рое намеревался самолично двинуть на шведов. Его солдаты не отличались ни дисциплиной, ни мужеством, но красивое обмундирование придавало им привлекательный вид. Скрывая свою храбрость от неприятеля, они тем щедрее проявляли ее по отношению к несчастному горожанину и крестьянину, на защиту которых были вызваны. Против беззаветной отваги и суровой дисциплины шведов эта щегольски наряженная армия не могла устоять. Панический страх охватил ее, когда на нее ринулась шведская кавалерия, и лотарингцы без труда были выбиты из их расположения в Вюрцбургской области. Замешательство в нескольких полках вызвало повальное бегство остальных войск, и жалкие остатки этой армии поспешили укрыться от мужественных северян в городах по ту сторону Рейна. Под градом насмешек, покрытый позором, ускакал ее предводитель через Страсбург домой и был несказанно счастлив, когда ему удалось смиреннейшим извинительным письмом умиротворить гнев своего победителя, который сперва разбил его в сражении и лишь затем потребовал к ответу за его враждебные действия. Рассказывают, что крестьянин из какой-то прирейнской деревни осмелел настолько, что вытянул кнутом лошадь герцога, когда тот, спасаясь от шведской погони, поравнялся с ним. «Живей, государь, — крикнул крестьянин, — если бежишь от великого Шведского короля, надо торопиться!»

Неудачный пример соседа побудил епископа Бамбергского вести себя более благоразумно. Чтобы избежать опустошения своих земель, он явился к королю с мирными предложениями, которые, однако, имели целью лишь замедлить движение шведских войск, покуда не явится помощь. Густав-Адольф, человек слишком честный, чтобы предполагать коварство в других, охотно принял предложение епископа и уже определил было условия, на которых соглашался воздержаться в пределах епископства от всяких враждебных действий. Он тем охотнее шел на это, что вообще не намеревался терять время на завоевание Бамбергского епископства; другие обширные планы призывали его в прирейнские земли. Поспешность, с которой он выполнял эти планы, лишила его тех денег, которые он легко мог получить от

бессильного епископа, если бы он продлил свое пребывание во Франконии и припугнул его, ибо этот хитрый прелат поспешил прекратить переговоры, как только война удалилась от его границ. Едва успел Густав-Адольф покинуть его владения, как он бросился в объятия графа Тилли и предоставил императорским войскам те самые города и крепости, которые только что с такой готовностью предлагал королю Шведскому. Но этим коварством он ненадолго отсрочил опустошение своего епископства: оставшийся во Франконии полководец Густава-Адольфа решил наказать епископа за такое предательство, и в результате епископство сделалось злополучным театром войны, который равно опустошали и друзья и враги.

Бегство императорских войск, устрашающее присутствие которых до сих пор связывало решения франконских чинов, и гуманное обращение короля побудили дворянство и города этой области встретить шведов благосклонно. Нюрнберг торжественно отдался под покровительство короля. Благосклонность франконских рыцарей он снискал лестными для них воззваниями, в которых снизошел до извинений в том, что он, чужеземец, вторгся в их страну. Благосостояние Франконии и обычная совесть шведских воинов в отношении жителей обеспечили изобилие в королевском лагере. Любовь дворянства всего края, которую король сумел приобрести, восторг и уважение, возбуждаемые его блестящими подвигами даже в рядах неприятеля, надежда на богатую добычу, которой можно было ждать на службе у военачальника, неизменно побеждавшего, — все это было ему весьма полезно при наборе новых полков, необходимом ввиду того, что значительную часть основной армии пришлось распределить по гарнизонам. Стоило только где-либо во Франконии вербовщику забить в барабан, и тотчас же со всех сторон стекались толпы.

Король мог потратить на занятие Франконии лишь немногим больше времени, чем потребовалось бы на то, чтобы быстро пройти по ней. Закончить покорение всей области и закрепить за собой завоеванное было поручено Густаву Горну, одному из лучших полководцев Густава-Адольфа, располагавшему отрядом в восемь

тысяч человек. Сам король с основной армией, усиленной наборами во Франконии, поспешил к Рейну, чтобы на этой границе Германии оградить себя от испанцев, обезоружить духовных курфюрстов и добыть в этих богатых землях новые средства для продолжения войны. Он шел по течению Майна; Зелигенштадт, Ашафенбург, Штейнгейм — все области по обе стороны реки покорились ему. Лишь в редких случаях императорские гарнизоны дожидались его появления: устоять против него им никогда не удавалось. Еще ранее одному из его командиров посчастливилось внезапным нападением отбить у императорских войск город и цитадель Ганау, удержать которые Тилли считал столь важным. Радуюсь избавлению от невыносимого гнета военщины Тилли, владетельный граф Ганау охотно подчинился менее тягостному игу короля Шведского.

Внимание Густава-Адольфа, везде в Германии неукоснительно соблюдавшего правило: дружбой более значительных городов и оставлением там гарнизонов обеспечивать безопасность тыла, теперь сосредоточилось на Франкфурте. Франкфурт был одним из первых имперских городов, которые король, еще находясь в Саксонии, подготовлял к своему прибытию, и теперь он еще раз отправил из Оффенбаха уполномоченных с просьбой разрешить ему пройти через город и расположить там гарнизон. Франкфурт с радостью уклонился бы от тягостного выбора между королем Шведским и императором, ибо на чью бы сторону он ни стал, его привилегии и торговля подверглись бы опасности. Тяжко обрушился бы на него гнев императора, если бы он слишком поспешно покорился королю Шведскому, а у короля потом не хватило бы сил защитить своих германских приверженцев от императора. Но гораздо больше страшила их немилость неодолимого победителя, стоявшего со своей грозной ратью почти что у самых ворот Франкфурта и способного за упорство покарать город уничтожением всей его торговли и благосостояния. Напрасно ссылались депутаты города на опасности, грозящие их прославленным ярмаркам, их привилегиям и, быть может, даже их имперским вольностям, если они, примкнув к шведам, навлекут этим на город гнев императора.

Густав-Адольф выразил свое удивление по поводу того, что город Франкфурт в столь важном деле, как свобода всей Германии и судьба протестантской церкви, говорит о своих ярмарках и жертвует великим делом родины и совести ради своих земных выгод. До сих пор, прибавил он угрожающе, он находил ключи ко всем крепостям и городам, от острова Рюгена до Майна, найдет их и к городу Франкфурту. Единственная цель его появления с вооруженными силами — благо Германии и свобода протестантской церкви. В сознании правоты своего дела он, конечно, не допустит, чтобы какое бы то ни было препятствие преградило ему путь. Он видит, что франкфуртцы хотят протянуть ему только два пальца, но ему нужна вся рука, чтобы было за что держаться. Со всей своей армией последовал он за депутатами города, получившими этот ответ, и в полном боевом порядке расположился у Саксенгаузена, дожидаясь окончательного решения городского совета.

Если город Франкфурт не решался подчиниться шведам, то единственно из страха пред императором. Личная же склонность граждан не допускала и минутного колебания между угнетателем германской свободы и ее спасителем. Грозные приготовления, которыми Густав-Адольф подкреплял теперь предъявленное им требование сделать выбор, могли смягчить в глазах императора преступность их измены, а видимость подневольного согласия могла оправдать шаг, на который они в сущности шли весьма охотно. Итак, перед королем Шведским распахнулись ворота, и его армия в изумительном порядке и пышнейшем великолепии торжественно вошла в имперский город. Шестьсот человек были оставлены в Саксенгаузене; сам король с остальной армией двинулся тем же вечером на майнцский город Гехст, который был взят еще до наступления ночи.

Пока Густав-Адольф совершал эти завоевания по течению Майна, успех венчал действия его генералов и союзников в Северной Германии. Росток, Висмар и Демиц, единственные крепости в герцогстве Мекленбургском, еще томившиеся под игом императорских гарнизонов, были заняты их законным владетелем, герцогом Иоганном-Альбрехтом, под руководством шведского

полководца Ахатия Тотта. Напрасно пытался императорский полководец, граф Вольф фон Мансфельд, отнять у шведов епископство Гальберштадтское, захваченное ими тотчас после лейпцигской победы; ему пришлось вскоре отдать в их руки также и Магдебургское епископство. Шведский полководец Баннер, оставленный с восьмьютысячным отрядом на Эльбе, держал город Магдебург в осаде и разбил уже несколько императорских полков, присланных на выручку города. Его чрезвычайно стойко защищал, правда, сам граф Мансфельд, но, слишком слабый, чтобы долго оказывать сопротивление многочисленному войску осаждавших, он уже подумывал об условиях сдачи города, когда на помощь ему явился генерал Паппенгейм и отвлек неприятельские войска в другую сторону. Тем не менее Магдебург, или, вернее, жалкие хижины, печальные остатки некогда большого города, превращенного в развалины, был позднее добровольно очищен императорскими войсками и немедленно занят шведским гарнизоном.

Чины Нижней Саксонии, ободренные удачными действиями короля, тоже осмелились, наконец, поднять голову после удара, нанесенного им Валленштейном и Тилли в злополучную датскую войну. Собравшись в Гамбурге, они постановили набрать три полка; с их помощью чины рассчитывали избавиться от императорских гарнизонов, нестерпимо угнетавших население. Не удовлетвовавшись этим, епископ Бременский, родственник короля Шведского, набрал для себя особое войско и приводил им в страх беззащитных попов и монахов, но, на свое несчастье, был вскоре разбит императорским полководцем графом фон Гронсфельдом. Равным образом перешел на сторону Густава-Адольфа герцог Люнебургский Георг, ранее полковник на службе Фердинанда. Он набрал несколько полков и, действуя в Нижней Саксонии, с большой пользой для короля отвлекал этим часть императорских сил.

Еще более ценные услуги оказывал королю Вильгельм, ландграф Гессен-Кассельский, чье победоносное оружие привело в трепет большую часть Вестфалии и Нижней Саксонии, епископство Фульдское и даже курфюршество Кельнское. Как уже было указано, после

того как ландграф и Густав-Адольф заключили союз в Вербенском лагере, граф Тилли отправил в Гессен двух императорских генералов, Футгера и Альtringера, предписав им наказать ландграфа за отпадение от императора. Но ландграф мужественно противостоял неприятельскому оружию, так же как его земские чины — воззваниям графа Тилли, призывавшим их к мятежу, а вскоре битва под Лейпцигом избавила его от этих грабительских орд. Их уходом ландграф воспользовался столь же смело, сколь и решительно: быстро овладел Вахом, Мюнденом и Гекстером и своими быстрыми успехами привел в трепет Фульду, Падерборн и другие смежные с Гессеном епископства. Повергнутые в ужас, владетели этих областей спешили своевременным изъявлением покорности положить предел его победоносному движению и спасались от грабежа тем, что добровольно подносили ему значительные суммы в виде выкупа. После этого удачного похода ландграф соединил свое победоносное войско с главной армией Густава-Адольфа, а сам явился во Франкфурт к шведскому монарху сговориться с ним о дальнейшем плане действий.

Одновременно с ним прибыли во Франкфурт многие владетельные князья и иноземные послы; все они явились преклониться перед величием Густава-Адольфа, молить его о милости или постараться смягчить его гнев. Наиболее известен среди них был изгнанный король Чешский и курфюрст Пфальцский Фридрих V, поспешивший сюда из Голландии, чтобы броситься в объятия отомстившего за него защитника. Густав-Адольф оказал ему подобающий почет, приняв его как коронованную особу, и старался благородным своим участием облегчить его горе. Но как ни уповал Фридрих на могущество и счастье своего защитника, как ни велики были его расчеты на справедливость и великодушие Шведского короля — надежды на восстановление несчастного на утраченном им престоле почти не оставалось. Бездействие и безрассудная политика английского двора охладили пыл Густава-Адольфа, и раздражение, которое он не вполне мог подавить, заставило его в этом случае забыть о славном призвании защитника угнетен-



ных, которое он так громко провозгласил при своем появлении на Германской земле. Страх пред непреодолимым могуществом и неизбежной местью короля побудил и ландграфа Гессен-Дармштадского Георга своевременно изъявить покорность. Связь этого властителя с императором и его малое усердие к делу протестантской религии не были тайной для короля, но он удовольствовался презрением к столь бессильному врагу. Так как ландграф, не имевший верного представления ни о своих собственных силах, ни о политическом положении Германии, пытался самонадеянно и без знания дела взять на себя роль посредника между враждующими сторонами, то Густав-Адольф обыкновенно с насмешкой называл его «миротворцем». Часто, играя с ландграфом в карты и выигрывая у него, король говорил, что радуется вдвойне: «Во-первых, потому, что это выигрыш, а во-вторых, потому, что это — императорская монета». Лишь своему родству с курфюрстом Саксонским, которого Густав-Адольф имел основания щадить, ландграф был обязан тем, что король Шведский удовлетворился занятием его крепости Рюссельсгейм и обещанием соблюдать в течение этой войны строгий нейтралитет. Явились к королю во Франкфурт также графы Вестервальда и Веттерау, чтобы вступить с ним в союз и предложить ему против испанцев помощь, которая впоследствии была ему очень полезна. Город Франкфурт имел все основания быть вполне довольным пребыванием монарха, который поставил торговлю под охрану своей мощной власти и самыми энергичными мерами восстановил безопасность ярмарок, весьма пострадавших от войны.

Шведская армия теперь усилилась десятью тысячами гессенцев, которых привел королю ландграф Кассельский Вильгельм. Густав-Адольф приказал уже наступать на Кенигштейн; Костгейм и Флисгейм сдались ему после непродолжительной осады; он владел теперь всем течением Майна, и в Гехсте поспешно сооружались суда для переправы войск через Рейн. Эти приготовления страшили курфюрста Майнцского Ансельма-Казимира, ни минуты не сомневавшегося в том, что на него первого обрушатся ужасы войны. Приверженец императора,

один из деятельнейших участников католической лиги, он не мог рассчитывать на лучшую участь, нежели та, которая уже постигла обоих его собратьев: епископов Вюрцбургского и Бамбергского. Его владения находились у Рейна, поэтому неприятелю необходимо было захватить их. К тому же для истомленного войска этот благословенный край представлял огромный соблазн. Но, плохо зная свои силы и возможности противника, курфюрст льстил себя надеждой противопоставить силу и неприступностью своих укреплений сломить мужество шведов. Он приказал поспешно исправить валы и бастионы своей резиденции, обеспечил ее всем необходимым для долговременной осады и вдобавок впустил в свой город две тысячи испанцев под начальством испанского генерала дона Филиппа да-Сильва. Чтобы не допустить шведские суда к городу, он приказал заградить устье Майна множеством свай и кучами камня и даже затопить там несколько кораблей. Сам он вместе с епископом Вормским и своим ценнейшим имуществом бежал в Кельн, предоставив город и страну жадности грабительского гарнизона. Все эти приготовления, обличавшие не столько истинное мужество, сколько бессильное упрямство, не помешали шведской армии подойти к Майнцу и очень основательно готовиться к нападению на город. Тогда как часть войск, рассеявшись по Рейнгау, уничтожала всех еще оставшихся там испанцев и взимала огромные контрибуции, другая сжигала католические города в графствах Вестервальда и Веттерау; главная армия расположилась уже у Кастеля против Майнца, а герцог Веймарский Бернгард даже взял на противоположном берегу Рейна Мышиную башню и замок Эренфелье. Густав-Адольф деятельно готовился к переправе через Рейн и к осаде города со стороны суши, но успехи графа Тилли заставили его поспешно снять осаду и дали курфюрсту — правда, лишь кратковременный — роздых.

Опасное положение Нюрнберга, которому граф Тилли во время пребывания Густава-Адольфа на Рейне грозил осадой и — в случае сопротивления — страшной судьбой Магдебурга, заставило короля Шведского поспешно удалиться от Майнца. Не желая вторично под-

вергнуться упрекам всей Германии за то, что он покинул союзный город в беде и отдал его в жертву беспощадному врагу, он ускоренным маршем двинулся в поход, чтобы освободить этот важный имперский город, но, уже во Франкфурте узнав о стойком сопротивлении нюрнбергцев и отступлении Тилли, не теряя ни минуты, снова устремился к Майнцу. Так как ему не удалось переправиться через Рейн у Кастеля под пушечными выстрелами осажденных, он, чтобы подступить к городу с другой стороны, двинулся по Нагорной дороге, захватил на этом пути все крупные поселения и вторично появился на берегах Рейна у Штокштадта, между Гернсгеймом и Оппенгеймом. Нагорная дорога вся была очищена от испанцев, но противоположную сторону Рейна они продолжали защищать весьма упорно. С этой целью они частью сожгли, частью потопили все находившиеся в окрестностях суда и теперь стояли по ту сторону реки, готовые яростно напасть на шведов, если бы король отважился переправиться здесь через реку.

Смелость, отличавшая короля, была причиной того, что он едва не попал в руки неприятеля. С целью осмотреть противоположный берег он в небольшом челне переплыл реку; но едва только он высадился там, как на него бросилась кучка испанских конников, и спасло его только поспешное бегство. Наконец, ему удалось добыть у окрестных корабельщиков несколько судов; на двух из них он переправил через реку графа Браге с тремястами шведов. Не успел Браге окопаться на противоположном берегу, как на него ринулись четырнадцать рот испанских драгун и кирасиров. Как ни велико было превосходство сил неприятеля, граф Браге мужественно защищался со своим маленьким отрядом, и благодаря его геройскому сопротивлению король во-время явился со свежими войсками. Теперь испанцы, потеряв шестьсот человек убитыми, обратились в бегство: одни бросились в укрепленный город Оппенгейм, другие укрылись в Майнце. Еще семьдесят лет спустя мраморный лев на высокой колонне с обнаженным мечом в правой лапе и со шлемом на голове указывал путнику то место, где бессмертный король переправился через главную реку Германии.

Тотчас после этой удачи Густав-Адольф переправил через Рейн артиллерию и большую часть войск, осадил Оппенгейм и взял его приступом 8 декабря 1631 года, преодолев отчаянное сопротивление. Пятьсот испанцев, так храбро защищавших город, все до одного пали жертвой ярости шведов. Известие о переходе Густава через Рейн привело в трепет всех испанцев и лотарингцев, находившихся по ту сторону реки и считавших ее оплотом против мести шведов. Спасти их могли только бегством. Поспешно покидали они все малонадежные укрепления. После долгих насилий над беззащитными жителями лотарингцы оставили город Вормс, в последний раз со злобной жестокостью разграбив его перед самым уходом. Испанцы спешили укрыться в Франкентале, так как надеялись, что эта крепость устоит против победоносного оружия Густава-Адольфа.

Теперь король, не теряя времени, принялся за осуществление своих замыслов относительно Майнца, где укрылось ядро испанских войск. Пока он подступал к этому городу с той стороны Рейна, ландграф Гессен-Кассельский подошел к нему с этой стороны реки, овладев по дороге многими укрепленными городами. Осажденные испанцы, хотя и запертые с обеих сторон, сначала проявили мужество и решимость стойко переносить самые жестокие испытания; в продолжение нескольких дней на шведский лагерь градом сыпались ядра, лишая короля множества храбрых солдат. Но, несмотря на это мужественное сопротивление, шведы неуклонно подвигались вперед и, наконец, подошли так близко к городскому рву, что стали серьезно готовиться к штурму. Тогда осажденные пали духом. Вполне понятно, что они содрогались при мысли о неистовстве шведских солдат, ужасающим примером которого служило все то, что произошло в Мариенберге близ Вюрцбурга. Страшный жребий был уготован Майнцу, если бы шведы взяли город приступом, и неприятель легко мог впасть в искушение отомстить этой богатой и великолепной столице католического владетеля за трагическую судьбу Магдебурга. Не столько ради спасения собственной жизни, сколько ради города испанский гарнизон сдался на четвертый день, получив от великодушного короля право

свободно пройти в Люксембург; но большинство испанцев, как не раз бывало и раньше, вступило в шведскую армию.

13 декабря 1631 года король Шведский совершил торжественный въезд в покоренный город и поместился во дворце курфюрста. Восемьдесят пушек достались ему в виде военной добычи, и восемьдесят тысяч гульденов внесли горожане, чтобы откупиться от грабежа. Этот выкуп не касался евреев и духовенства, которые особо должны были внести за себя более значительные суммы. Завладев библиотекой курфюрста, король подарил ее своему канцлеру Оксеншерна, а тот в свою очередь передал ее гимназии в Вестересе; но корабль, перевозивший библиотеку в Швецию, погиб, и Балтийское море поглотило это невозместимое сокровище.

После потери Майнца неудачи продолжали преследовать испанцев в прирейнских странах. Незадолго до взятия этого города ландграф Гессен-Кассельский овладел также Фалькенштейном и Рейфенбергом. Крепость Кенигштейн сдалась гессенцам. Рейнграфу Отто Людвигу, одному из королевских генералов, посчастливилось разбить наголову девять испанских эскадронов, подходивших к Франкенталю, и овладеть важнейшими городами по течению Рейна от Боппарта до Бахараха. После того как графы Веттерау при помощи шведов взяли крепость Браунфельс, испанцы потеряли последнюю опору в Веттерау, а во всем Пфальце им удалось — за исключением Франкенталья — удержать лишь очень немногие города. Ландау и Кронвейсенбург открыто перешли на сторону шведов. Шпейер предлагал набирать войска для короля. Мангейм был взят благодаря осмотрительности молодого герцога Веймарского Бернгарда и нерадивости тамошнего коменданта, который за эту неудачу был привлечен в Гейдельберге к военному суду и обезглавлен.

Военные действия короля затянулись до глубокой зимы, и, очевидно, сама суровость этого времени года была причиной постоянного превосходства шведских солдат над неприятелем. Но теперь изнуренные войска нуждались в отдыхе на зимних квартирах, поэтому Густав-Адольф и разрешил им после взятия Майнца

расположиться в окрестностях. Сам он, воспользовавшись приостановкой военных действий, вызванной зимним временем, занимался со своим канцлером политическими делами, вел с неприятелем переговоры о нейтралитете и улаживал с одним из союзных государств кое-какие досадные недоразумения, вызванные его образом действий. Своей зимней резиденцией и местом для ведения этих государственных дел он выбрал город Майнц, который, повидимому, гораздо больше пришелся ему по душе, чем это соответствовало интересам немецких властителей и предполагавшейся кратковременности его пребывания в Германии. Не довольствуясь тем, что он снова сильно укрепил город, Густав-Адольф заложил против него в тупике, образуемом слиянием Майна и Рейна, новую крепость, названную по имени ее основателя Густавбург, но более известную под названием Пфафенрауб или Пфафенцванг.

В то время как Густав-Адольф, овладев Рейном, угрожал своим победоносным оружием трем близлежащим курфюршества, его недремлющие враги в Париже и Сен-Жермене, пуская в ход все принятые в политике ухищрения, старались лишить его поддержки Франции и по возможности даже вовлечь его в войну с этой державой. Сам он неожиданным и допускаявшим различные толкования перенесением военных действий к Рейну изумил друзей и дал своим противникам возможность заронить опасное недоверие к своим намерениям. После покорения епископства Вюрцбургского и большей части Франконии Густав-Адольф имел полную возможность вторгнуться через епископство Бамбергское и Верхний Пфальц в Баварию и Австрию. Столь же распространенным, сколь и естественным, было ожидание, что он не замедлит атаковать императора и герцога Баварского в средоточии их сил и, одолев этих двух главных врагов, скоро окончит войну. Но, к немалому изумлению обеих враждующих сторон, Густав-Адольф не пошел по пути, который был ему предначертан общественным мнением, и, вместо того чтобы обратить свое оружие направо, двинул войска налево, чтобы дать почувствовать свое могущество менее виновным и менее опасным прирейнским владетелям. Тем самым он предоставил двум могущест-

веннейшим своим врагам возможность снова собраться с силами. Казалось, этот всех поразивший шаг объяснялся только одним: желанием изгнать испанцев, дабы восстановить на престоле злосчастного пфальцграфа Фридриха V; надежда на скорое восстановление Фридриха сначала действительно заставила умолкнуть подозрения друзей и наговоры врагов шведского короля. Но теперь Нижний Пфальц был совершенно очищен от неприятеля, а Густав-Адольф продолжал создавать все новые планы завоеваний на Рейне и не передавал освобожденный Пфальц его законному владельцу. Напрасно напоминал победителю посол короля Английского о том, чего требует от него справедливость и что сам он торжественным обещанием признал долгом своей чести. Густав-Адольф отвечал на это предложение горькими жалобами на бездействие английского двора и готовился двинуть в ближайшем будущем свои победоносные войска в Эльзас и даже в Лотарингию.

Теперь недоверие к шведскому монарху прервалось наружу, а ненавидевшие его противники без устали занимались распространением самых злокозненных слухов относительно его намерений. Давно уже министр Людовика XIII Ришелье с беспокойством взирал на приближение короля к французским границам, а недоверчивый ум его повелителя был крайне восприимчив к тем злостным предположениям, которые делались по этому поводу. Франция в то время была по горло занята междоусобной войной с протестантской частью своего населения, и действительно имелось некоторое основание опасаться, что приближение победоносного короля, принадлежащего к их партии, снова оживит в протестантах ослабевшее было мужество и вдохновит их на непримиримейшее сопротивление. Это могло произойти даже в том случае, если бы Густав-Адольф был бесконечно далек от того, чтобы подавать им какие-либо надежды и намереваться в самом деле изменить своему союзнику, королю Французскому. Но мстительность епископа Вюрцбургского, который старался при французском дворе утешиться в потере своих владений, ядовитое красноречие иезуитов и постоянные старания баварского посла изобразили этот опасный союз между

гугенотами и королем Шведским как нечто вполне доказанное и сумели запугать боязливого Людовика самыми мрачными предсказаниями. Не только глупые политики, но и многие благоразумные католики совершенно серьезно верили, что король в ближайшем будущем вторгнется вглубь Франции и, соединившись с гугенотами, искоренит католическую религию во всем королевстве. Фанатичным изуверам уже чудилось, как он переходит со своей армией через Альпы и свергает в Италии наместника Христова с его престола. Как ни невероятны были такого рода рассказы, все же нельзя было отрицать, что военные действия Густава на Рейне давали серьезные основания для нападков его противников и до некоторой степени оправдывали подозрение в том, что свое оружие он намерен направить не столько против императора и герцога Баварского, сколько против католической религии как таковой.

Всеобщий вопль негодования против союза Франции с врагами церкви, вопль, исходивший от подстрекаемых иезуитами католических государей, заставил, наконец, кардинала Ришелье сделать решительный шаг, чтобы обезопасить свою религию и одновременно оповестить весь католический мир о глубокой преданности Франции своей вере и о своекорыстной политике церковных чинов империи. В полном убеждении, что замыслы короля Шведского, так же как его собственные, направлены лишь против Австрийского дома, он, нимало не колеблясь, обещал государям лиги полный нейтралитет Швеции, как только они откажутся от союза с императором и отзовут свои войска. Какое бы решение ни приняли теперь государи, цель Ришелье была достигнута. Разрыв их с австрийской партией оставлял Фердинанда беззащитным, в полном одиночестве против соединенных войск Франции и Швеции, и Густав-Адольф, освободившись от всех своих остальных врагов в Германии, мог со всей своей уже не раздробленной армией вторгнуться в наследственные владения императора. Падение Австрийского дома стало бы в таком случае неизбежным, и эта великая конечная цель всех стараний Ришелье была бы достигнута без ущерба для католической церкви. Наоборот, неизмеримо меньше был бы успех в том случае,



если бы государи лиги вздумали упорствовать и остаться верными союзу с Австрией. Но тогда для всей Европы было бы очевидно, что Франция доказала свою преданность католической религии, что она исполнила долг, лежащий на каждом члене римской церкви. Государи лиги явились бы в таком случае единственными виновниками всех бедствий, какие неминуемо принесло бы католической Германии продолжение войны. Они одни своей упрямой приверженностью к императору сделали бы напрасными все старания своего защитника, подвергнув церковь крайней опасности и погубив самих себя.

Ришелье тем настойчивее следовал этому плану, чем сильнее курфюрст Баварский докучал ему многократными просьбами о помощи со стороны французов. Мы указывали уже, что этот государь, с тех пор как у него возникли основания не верить искренности императора, вступил в тайный союз с Францией, рассчитывая этим укрепить за собой Пфальцское курфюршество в случае возможной перемены симпатий Фердинанда. Как ни ясно было уже из самого происхождения этого договора, против какого врага он направлен, однако Максимилиан весьма произвольно распространил теперь его действие и на поход короля Шведского и, не обвиняясь, требовал, чтобы помощь, обещанная ему лишь против Австрии, была ему оказана и против союзника французской державы, короля Шведского. Поставленный в затруднение этим противоречивым союзом с двумя враждебными друг другу державами, Ришелье мог выпутаться из него только скорейшим прекращением военных действий между ними. С одной стороны, он не хотел жертвовать Баварией; с другой — в силу своего договора с шведами был не в состоянии защищать ее; поэтому он с величайшим рвением хлопотал о нейтралитете как единственном средстве, которое могло дать ему возможность выполнить лежавшие на нем противоречивые обязательства. Особый уполномоченный, маркиз де Брезе, был отправлен им к королю Шведскому в Майнц, чтобы ознакомиться с его взглядами на этот предмет и добиться у него благоприятных условий для союзных государей. Но насколько серьезны были причины, заставлявшие Людовика XIII добиваться этого нейтралитета,

настолько вески были и те основания, по которым Густав-Адольф желал как раз противоположного. Убежденный многочисленными примерами, что отвращение князей, членов лиги, к протестантской религии непреодолимо, их ненависть к чужеземному владычеству шведов неугасима, их преданность Австрийскому дому неистребима, он не столько боялся их открытой вражды, сколько не доверял нейтралитету, так резко противоречившему их склонностям. Так как вдобавок пребывание на германской территории вынуждало его продолжать войну за счет неприятеля, то он, очевидно, много терял, когда, не приобретая этим новых друзей, уменьшал число своих явных врагов. Итак, не удивительно, что Густав-Адольф проявлял весьма мало склонности жертвовать уже сделанными приобретениями ради нейтралитета католических государей, который принес бы ему очень мало пользы.

Условия нейтралитета, предложенные королем курфюрсту Баварскому, были чрезвычайно суровы и вполне соответствовали этим его взглядам. Он требовал от католической лиги полного отказа от всякой деятельности, удаления ее войск из императорской армии и вывода их из всех захваченных крепостей, из всех протестантских земель. Кроме того, он требовал уменьшения войск лиги до самого незначительного числа. Все владения членов лиги должны быть закрыты для императорских войск с обязательством не снабжать Австрию ни людьми, ни провиантом, ни военными припасами. Как ни тяжки были эти условия, предложенные победителем побежденному, все же французский посредник еще льстил себя надеждой, что убедит курфюрста Баварского принять их. Для облегчения переговоров Густав-Адольф согласился заключить с курфюрстом перемирие на две недели. Но в то самое время, как шведский монарх получал от французского агента непрестанные уверения в успешном ходе переговоров, в его руки попало перехваченное письмо курфюрста к генералу Паппенгейму в Вестфалию, свидетельствующее о коварстве этого властителя, который путем переговоров старался только выиграть время. Отнюдь не собираясь заключением договора со шведами лишить себя свободы действий,

двуличный курфюрст всячески ускорял военные приготовления и роздых, дарованный ему неприятелем, употреблял на то, чтобы тем энергичнее готовиться к вооруженной борьбе. Таким образом, все разговоры о нейтралитете остались бесплодными и привели лишь к тому, что военные действия между Баварией и Швецией возобновились с еще большим ожесточением.

Опасность вторжения Тилли, сильно увеличившего свое войско и намеренного наводнить им Франконию, настоятельно требовала присутствия Густава-Адольфа в этой области. Но раньше необходимо было очистить Рейн от испанцев и лишить их возможности действовать против германских земель из Нидерландов. С этой целью Густав-Адольф предложил курфюрсту Трирскому Филиппу фон Цельтерну нейтралитет под условием, что тот передаст ему трирскую крепость Германштейн и разрешит шведским войскам беспрепятственно пройти через Кобленц. Но как ни тяжело было курфюрсту видеть свои земли в руках испанцев, все же он еще менее мог решиться поручить их подозрительной охране еретика и сделать шведского завоевателя властелином своей судьбы. Не имея, однако, никакой возможности сохранить независимость меж двух столь страшных соискателей, он попытался укрыться от обоих под могучим крылом Франции. С обычной своей дальновидностью воспользовался Ришелье затруднительным положением курфюрста для того, чтобы увеличить могущество Франции и доставить ей сильного союзника на границе Германии. Многочисленная французская армия должна была охранять трирские владения, а крепость Эренбрейтштейн — принять французский гарнизон. Но расчет, побудивший курфюрста пойти на такой рискованный шаг, оправдался не полностью, ибо раздраженный Густав-Адольф успокоился только тогда, когда и шведским войскам было разрешено свободно пройти через трирские владения.

В то время как велись переговоры с Триром и Францией, полководцы короля очистили все архиепископство Майнцское от остатков испанских гарнизонов, а сам Густав-Адольф взятием Крейцнаха лично закончил покорение всей области. Для охраны завоеванных земель

был оставлен на среднем течении Рейна канцлер Оксеншерна с частью армии, а главные силы под предводительством самого короля двинулись против неприятеля во Франконию.

За обладание этим краем боролись тем временем с переменным успехом граф Тилли и шведский генерал фон Горн, которого Густав-Адольф оставил здесь с восьмитысячным отрядом. В особенности епископство Бамбергское было одновременно предметом их спора и ареной производимых ими опустошений. Призванный другими обширными планами на берега Рейна, король предоставил своему полководцу покарать епископа, возбудившего его гнев своим предательским поведением, и выбор короля был оправдан деятельностью Горна. За короткое время он подчинил шведскому оружию значительную часть епископства, а после яростного приступа ему досталась сама столица, покинутая императорским гарнизоном. Тщетно обращал изгнанный епископ мольбы о помощи к курфюрсту Баварскому, который, наконец, сообразовал положить конец вынужденному бездействию Тилли. Получив от своего государя приказ восстановить епископа в его правах, Тилли собрал свои войска, рассеянные в Верхнем Пфальце, и с двадцатитысячной армией подступил к Бамбергу. Густав Горн, твердо решивший, несмотря на численное превосходство неприятеля, не уступать завоеванный город, ожидал его за стенами Бамберга; но уже авангарду Тилли ему пришлось отдать то, что он надеялся отстоять от всей его армии. Замешательство среди войск Горна, которое бесильно было пресечь присутствие духа самого полководца, предало город в руки неприятеля, так что едва удалось спасти войска, обоз и орудия. Плодом этой победы было возвращение всего епископства Бамбергского его владетелю. Но, несмотря на всю стремительность преследования, графу Тилли не удалось догнать шведского полководца, и тот в полном порядке переправился через Майн. Появление во Франконии шведского короля, которому Густав Горн привел в Кицинген остаток своего отряда, быстро положило конец успехам Тилли, заставив его поспешным отступлением обеспечить себе безопасность.

В Ашафенбурге король произвел общий смотр своим войскам, численность которых, по соединении с Густавом Горном, Баннером и герцогом Веймарским Вильгельмом, достигла почти сорока тысяч. Ничто не мешало ему теперь пройти по всей Франконии, ибо граф Тилли, слишком слабый, чтобы искать встречи с таким сильным противником, быстрыми переходами приблизился к Дунаю. Теперь король был на равном расстоянии и от Чехии и от Баварии, и Максимилиан, не знавший, куда устремится победитель, не мог быстро принять решение. Путь, который ему теперь предстояло указать Тилли, должен был определить, куда направится король, и решить судьбу обеих стран. Опасно было ввиду приближения столь страшного врага оставить беззащитной Баварию для того, чтобы прикрыть границы Австрии. Еще опаснее было, впустив Тилли в Баварию, привлечь вслед за ним в эту страну неприятеля и сделать ее ареной опустошительной войны. Заботливость хозяина страны победила, наконец, колебания государственного мужа, и Тилли получил приказ защищать со всей своей армией границы Баварии, к чему бы это ни привело.

Радостно и торжественно принял имперский город Нюрнберг защитника протестантской веры и германской свободы, и при виде его граждане, воодушеваясь, трогательно изъявляли свой восторг и свое ликование. Сам Густав не мог скрыть изумления, охватившего его, когда он очутился в этом городе, в средоточии Германии, где он никогда не надеялся водрузить свои знамена. Его прекрасная, благородная осанка увенчала впечатление, произведенное его славными подвигами, а благосклонность, с которой он отвечал на приветствия горожан, мгновенно покорила ему все сердца. Теперь он лично подтвердил союз, заключенный с городом еще на берегах Балтийского моря, и объединил всех граждан в пламенном самоотвержении и братском согласии против общего врага. После кратковременного пребывания в стенах Нюрнберга он последовал за своей армией к Дунаю и появился пред пограничной крепостью Донаувертом, когда здесь совсем не ждали врага. Это укрепление за-

щищал многочисленный баварский гарнизон, и комендант его, Рудольф-Максимилиан герцог Саксен-Лауэнбургский, выказал сначала мужественную решимость продержаться до прихода Тилли. Но настойчивость, с которой Густав-Адольф приступил к осаде, заставила его вскоре подумать о быстром и верном отступлении, что он и выполнил удачно под сильнейшим огнем шведских орудий.

Взятие Донауверта открыло королю доступ к противоположному берегу Дуная, и от Баварии его отделял лишь мелководный Лех. Близкая опасность, угрожавшая его владениям, пробудила в Максимилиане всю его энергию, и если до сих пор он не мешал неприятелю продвинуться до самого порога своей страны, то теперь он старался тем решительнее затруднить ему последний шаг. По ту сторону Леха, у городка Райна, Тилли расположился в надежно укрепленном лагере, окруженном тремя реками и, казалось, неприступном. Все мосты через Лех были разрушены, течение реки вплоть до самого Аугсбурга охранялось сильными отрядами, а верность этого имперского города, которому уже давно не терпелось последовать примеру Нюрнберга и Франкфурта, была обеспечена пребыванием здесь баварского гарнизона и разоружением граждан. Сам курфюрст со всеми войсками, какие ему удалось собрать, заперся в лагере Тилли, словно связывая с этим местом все свои надежды и словно веря, что об этот пограничный оплот должно разбиться счастье шведов.

Вскоре на берегу, как раз против баварских окопов, показался Густав-Адольф, уже захвативший всю окружающую Аугсбург область по сю сторону Леха и в изобилии снабдивший свои войска продовольствием из этой области. Дело было в марте, когда вода в Лехе из-за частых дождей и снега, тающего в Тирольских горах, подымается необычайно высоко и поток с бешеной быстротой мчится меж крутых берегов. Верная могила ожидала отчаянного смельчака в волнах реки, а на противоположном берегу грозно зияли смертоносные жерла неприятельских пушек. Если бы даже удалась эта почти невозможная переправа по бушующим волнам, под огнем неприятеля, то на другой стороне утом-

ленные войска ждал в неприступном лагере бодрый, мужественный враг, готовивший им бой вместо отдыха. Истощив свои силы переправой, они должны будут тотчас взбираться на неприятельские укрепления, повидимому достаточно надежные, чтобы устоять против любого натиска. Поражение на том берегу неминуемо повлечет за собой их гибель, ибо та самая река, которая затрудняла им путь к победе, преградит им, ежели счастье их покинет, все пути к бегству.

Шведский военный совет, собранный королем, настаивал на всей вескости этих доводов, чтобы удержать короля от столь рискованной операции. Самые храбрые — и те колебались, и почтенное собрание посевших в боях воинов не стыдилось сознаться в своих опасениях. Но решение короля было непреклонно. «Как! — сказал он Густаву Горну, выступившему от лица всех других, — через Балтийское море, через столь многие большие реки Германии мы могли перейти; так неужели пред таким ручьем как этот Лех, мы откажемся от своего замысла?» Осматривая местность, — это он сделал с опасностью для жизни, — он уже обнаружил, что этот берег заметно выше противоположного, чем создавалось преимущество для шведской артиллерии. Быстро и находчиво воспользовался Густав-Адольф этим обстоятельством. Он приказал немедленно расположить на том месте, где левый берег Леха образует излучину и таким образом приближается к правому, три батареи, откуда семьдесят два орудия открыли перекрестный огонь по неприятелю. Эта яростная канонада заставила баварцев несколько отойти от противоположного берега, а тем временем он велел как можно скорее навести мост через Лех. Густой дым, подымавшийся от зажженных по его приказу дров и сырой соломы, долго скрывал от глаз неприятеля эти приготовления, а непрерывный грохот орудий заглушал стук плотничьих топоров. Своим личным примером король пробуждал мужество в войсках и собственной рукой направил свыше шестидесяти снарядов. В продолжение двух часов баварцы отвечали на канонаду с такой же энергией, но с гораздо меньшим успехом, так как обстреливавшие их батареи шведов господствовали над противоположным низким

берегом с высоты, которая к тому же прикрывала их от выстрелов противника. Напрасно старались баварцы разрушить с берега неприятельские сооружения; более сильная артиллерия шведов каждый раз заставляла их отойти, и им приходилось бессильно терпеть, что едва не на их глазах заканчивается наводка моста. В этот страшный день Тилли прилагал все усилия к тому, чтобы воспламенить мужество своих войск, и никакая, даже самая грозная, опасность не могла отдалить его от берега. Наконец, его настигла смерть, которой он искал: фальконетный снаряд раздробил ему ногу, вслед за ним был опасно ранен в голову Альтрингер, его столь же храбрый соратник. Лишившись воодушевляющего присутствия обоих этих полководцев, дрогнули, наконец, баварцы, и сам Максимилиан вынужден был против своей воли принять малодушное решение. Поддавшись уговорам умирающего Тилли, обычная твердость которого была поколеблена приближением смерти, он преждевременно счел свою неприступную позицию потерянной, а то обстоятельство, что шведы нашли брод и шведская конница уже собиралась переправляться через реку, ускорило его малодушное отступление. В ту же ночь, прежде чем хоть один неприятельский солдат перешел через Лех, он покинул свой лагерь и, не дав королю времени потревожить его во время отступления, в полном порядке двинулся в Нейбург и Ингольштадт. Велико было изумление Густава-Адольфа, когда, переправившись на другой день через реку, он нашел неприятельскую стоянку пустой; бегство курфюрста поразило его еще более, когда он убедился в неприступности покинутого лагеря. «Будь я герцогом Баварским, — воскликнул он в изумлении, — никогда, хоть бы мне бомбой оторвало бороду и подбородок, никогда я не покинул бы такой позиции, как эта, и не впустил бы неприятеля в мои земли!»

Итак, Бавария теперь была открыта победителю, и буря войн, неистовствовавшая до сих пор лишь у границ этой страны, впервые пронеслась по ее благословенным равнинам, пощаженным до сих пор этим бедствием. Но прежде чем король решился на завоевание всей враждебно настроенной страны, он освободил имперский



город Аугсбург от баварского ига, принял присягу его граждан и оставлением гарнизона обеспечил себе их верность. Затем он ускоренными переходами двинулся на Ингольштадт, чтобы взятием этой важной крепости, которую защищал сам курфюрст с большей частью своего войска, обеспечить свои приобретения в Баварии и стать твердой ногой на Дунае.

Вскоре после прибытия в Ингольштадт раненый Тилли завершил в стенах этого города свой жизненный путь, испытав все прихоти пeverного счастья. Сокрушенный могучим воинским гением Густава-Адольфа, он видел на закате своих дней, как вянут все лавры его прежних побед, и длинная вереница несчастий была справедливым возмездием судьбы за грозную тень погибшего Магдебурга. Армия императора и лиги теряла в нем незаменимого руководителя, католическая религия — ревностнейшего из своих поборников, а Максимилиан Баварский — преданнейшего из своих слуг, смертью запечатлевшего свою верность и даже на смертном одре еще исполнявшего обязанности полководца. Последним его заветом, обращенным к курфюрсту, было настояние занять город Регенсбург, чтобы сохранить господство над Дунаем и не терять связи с Чехией.

С той твердой уверенностью, которая обычно является плодом столь многих побед, приступил Густав-Адольф к осаде города; он надеялся мощью первого приступа сломить его сопротивление. Но сильные укрепления и мужественный гарнизон явились для него такими препятствиями, каких ему не приходилось встречать со времени битвы при Брейтенфельде. Стены Ингольштадта едва не положили предел его подвигам. Во время разведки перед крепостью двадцатичетырехфунтовый снаряд убил под ним коня, а вскоре за тем осколок ядра поразил подле него его любимца, молодого маркграфа Баденского. Не теряя присутствия духа, король тотчас вскочил на ноги, продолжал свой путь на другом коне и этим успокоил своих смятенных солдат.

Занятие баварцами Регенсбурга, хитростью захваченного курфюрстом по совету Тилли и охраняемого крепким гарнизоном, вызвало изменение военных планов короля. Он сам льстил себя надеждой захватить этот

имперский город, склонный к протестантизму, и найти в нем не менее преданного союзника, чем Нюрнберг, Аугсбург и Франкфурт. Переход Регенсбурга к баварцам отдалил на долгое время исполнение его заветного желания — овладеть Дунаем и отрезать своему противнику всякую помощь со стороны Чехии. Он быстро покинул Ингольштадт, у стен которого так бесцельно приходилось тратить людей и время, и вторгся вглубь Баварии, чтобы побудить курфюрста поспешить на защиту его владений и таким образом лишить берега Дуная их охранителя.

Вся страна до самого Мюнхена была открыта победителю. Ему покорились Мосбург, Ландсгут, все епископство Фрейзингенское; ничто не могло противиться его оружию. Но если на своем пути он не встречал регулярных войск, то в груди каждого баварца он находил гораздо более непримиримого врага — религиозный фанатизм. Солдаты, не верующие в папу римского, были в этих землях явлением новым, неслыханным; слепое изуверство попов рисовало их крестьянину чудовищами, исчадьями ада, а их полководца — антихристом. Нет ничего удивительного, что люди считали себя по отношению к этим детищам сатаны свободными от всяких обязанностей, налагаемых природой и человечностью, и позволяли себе невероятнейшие злодеяния. Горе оставшему шведскому солдату, который попадался в руки этим зверям! Несчастливая жертва подвергалась всем пыткам, какие только может измыслить изобретательная ярость, и вид их обезображенных трупов вызывал в шведской армии жажду страшного возмездия. Только Густав-Адольф не запятнал своей геройской славы ни единым поступком, продиктованным мезтью. Недоверие баварцев к его христианским чувствам не только не побуждало его нарушить по отношению к этому несчастному народу завет человеколюбия, но, наоборот, вмняло ему в священнейший долг прославлять свою веру соблюдением строжайшей умеренности.

Приближение короля вызвало в столице страх и ужас; покинутая защитниками и знатнейшими жителями, она могла искать спасения только в великодушии победителя. Она рассчитывала успокоить его гнев без-

условным добровольным подчинением и выслала к нему во Фрейзинген послов—сложить к его ногам ключи города. Как ни был раздражен король бесчеловечием баварцев и враждебными намерениями их повелителя, как ни велико было искушение воспользоваться со всей жестокостью правами завоевателя, как ни настоятельно требовали от него даже немцы отомстить за судьбу Магдебурга столице его губителя, — великое сердце Густава-Адольфа отвергло с презрением эту низкую месть, и беззащитность врага обезоружила его гнев. Удовлетворясь благородным триумфом, — торжественно введя пфальц-графа Фридриха в резиденцию властителя, бывшего главным орудием его падения и присвоившего себе его государство, — он усугубил великолепие своего въезда прекрасным сиянием кротости и милосердия.

Король нашел в Мюнхене лишь пустой дворец, так как все сокровища курфюрста перевезены были в Верфен. Великолепие замка поразило его, и он спросил у смотрителя, показывавшего ему комнаты, имя зодчего. «Сам курфюрст», — сказал тот. «С удовольствием взял бы такого зодчего и отправил бы в Стокгольм», — сказал король. «Он-то сумеет уберечься от этого», — ответил смотритель. В цейхгаузе нашли только лафеты без пушек. Последние были так искусно спрятаны под полом, что их невозможно было найти, и если бы не измена одного рабочего, то обман не был бы раскрыт. «Восстаньте из мертвых, — воскликнул король, — и придите на суд!» Пол вскрыли, и под ним нашли около сорока орудий; некоторые из них, захваченные баварцами по преимуществу в Пфальце и Чехии, были огромных размеров. Тридцать тысяч золотых дукатов, скрытые в одной из самых больших пушек, увенчали удовольствие, которое получил король от такой драгоценной находки.

Но гораздо более приятным событием было бы для него появление самой баварской армии. Он ведь вторгся вглубь Баварии лишь для того, чтобы выманить ее из укреплений. В этой надежде король обманулся: неприятель не показывался; самые настоятельные мольбы подданных курфюрста не могли побудить его поставить на карту последние остатки своих воинских сил. Запер-

шись в Регенсбурге, он ждал подмоги, которую ему должен был привести из Чехии герцог Фридрихландский, а в ожидании ее пытался возобновлением переговоров о нейтралитете склонить неприятеля к бездействию. Но этому помешало недоверие короля, обостренное двуличием его противников, а нарочитая медлительность Валленштейна тем временем привела к тому, что Бавария стала добычей шведов.

Так далеко зашел Густав-Адольф, шествуя от победы к победе, от завоевания к завоеванию и не встретив на пути равного себе противника. Часть Баварии и Швабии, франконские епископства, Нижний Пфальц, архиепископство Майнцское были в его власти до самых границ Австрийской монархии, постоянные удачи сопутствовали ему, и блестящий успех был оправданием стратегического плана, начертанного им после Брейтенфельдского сражения. Если ему и не удалось, как он вначале рассчитывал, создать союз протестантских государей, то он обезоружил или по крайней мере ослабил участников католической лиги, вел войну главным образом на их счет, сильно уменьшил средства императора, усилил мужество более слабых чинов империи, через разоренные владения союзников императора проложил себе путь в австрийские земли. Там, где он не мог принудить к повиновению силой оружия, ему оказывала важнейшие услуги дружба имперских городов, которые он сумел привязать к себе двойными узами политики и религии, и покуда перевес в военных действиях был на его стороне, он мог твердо рассчитывать на их рвение. Даже если бы война в Нидерландах оставила испанцам достаточно сил, чтобы принять участие в германской войне, победами короля на Рейне они были отрезаны от Нижнего Пфальца; равным образом и герцог Лотарингский после своего неудачного похода предпочел соблюдать нейтралитет. Как ни многочисленны были гарнизоны, оставленные королем на всем протяжении его похода в Германии, они не уменьшили численности его армии; столь же бодрая, как в самом начале похода, стояла она теперь в глубине Баварии, превосходно вооруженная и готовая перенести войну в Австрию.

Пока Густав-Адольф вел так удачно войну в Германии, неменьшие успехи пожинал на другом театре войны его союзник, курфюрст Саксонский. Мы знаем, что после лейпцигского сражения обоими государями на совещании в Галле было решено, что курфюрст Саксонский приступит к завоеванию Чехии, а король направит путь в земли лиги. Первым плодом победы при Брейтенфельде, доставшемся королю, было возвращение Лейпцига, за которым вскоре последовало освобождение всей области от императорских гарнизонов. Пополнив свои полки солдатами, перешедшими к нему из неприятельских войск, саксонский генерал фон Арнгейм направился в Лузатию, занятую императорским полководцем Рудольфом фон Тифенбахом, с целью покарать курфюрста Саксонского за его переход на сторону неприятеля. Тифенбах уже приступил к обычному опустошению этой почти беззащитной области, захватил многие города и даже Дрезден привел в трепет своим грозным приближением. Но эти быстрые успехи были внезапно прекращены решительным и повторным приказом императора приостановить военные действия в саксонских владениях.

Слишком поздно понял Фердинанд всю ошибочность политики, которою он довел курфюрста Саксонского до крайности и, можно сказать, принудил этого могущественного князя стать союзником шведского короля. Все то, что Фердинанд прежде испортил несвоевременным упорством, он хотел исправить столь же неуместной мягкостью и, желая загладить первую ошибку, совершил вторую. Чтобы лишить своего неприятеля столь сильного союзника, он возобновил при посредстве испанцев переговоры с курфюрстом, а для облегчения хода последних Тифенбаху приказано было немедленно очистить все саксонские земли. Однако это самоуничтожение императора не только не произвело желанного действия, а, наоборот, открыло курфюрсту глаза на стесненное положение его врага и его собственное значение и лишь побудило его энергичнее пользоваться уже достигнутыми преимуществами. Да и могли он, не опозорив себя постыднейшей неблагодарно-

стью, отречься от союзника, которому обязан был спасением своих владений и даже сохранением своего курфюрстского сана?

Саксонская армия, освобожденная таким образом от похода в Лузацию, двинулась в Чехию, где, казалось, победа была ей заранее обеспечена стечением благоприятных обстоятельств. Искра раздора все еще тлела под пеплом в этом королевстве, первом театре всей пагубной войны, а неустанный гнет тирании что ни день давал раздражению народа новую пищу. Куда ни посмотреть, всюду в этой несчастной стране видны были следы печальных перемен. Целые округа сменили своих владетелей и стонали под ненавистным игом католических господ, которым волею императора и иезуитов было роздано достояние изгнанных протестантов. Другие воспользовались общественным бедствием для того, чтобы за бесценок скупить конфискованные имения изгнанников. Кровь благороднейших бойцов за свободу была пролита на плахе, а те, кого своевременное бегство спасло от гибели, скитались нищими вдали от родины, меж тем как податливые рабы деспотизма расточали их наследие. Но еще нестерпимее гнета этих мелких тиранов было насилие над совестью, тяготевшее над всей протестантской партией королевства без изъятий. Ни внешняя опасность, ни отчаянное сопротивление народа, ни устрашающий опыт не в силах были обуздать изуверский прозелитизм иезуитов; если нельзя было убедить добром, заблудших овец загоняли в церковь при помощи солдат. Тяжелее всего пришлось обитателям Иоахимстала — пограничной местности между Чехией и Мейсеном. Два императорских комиссара, в сопровождении стольких же иезуитов и пятнадцати мушкетеров, явились в мирную долину, чтобы проповедовать еретикам евангелие. Там, где не действовало красноречие иезуитов, старались достичь цели насильственным размещением солдат в крестьянских домах, угрозами изгнания, денежными штрафами. Но на сей раз правда победила, и мужественное сопротивление этого маленького народа заставило императора с позором отменить свой вероисповедный указ. Политика двора служила путеводной нитью для поведения католиков во всем

королевстве и оправданием для всевозможных притеснений, которым их своеволие подвергало протестантов. Что удивительного, если эта угнетенная партия была поборницей перемены и с вожделием ждала своего освободителя, который теперь показался на границе.

Саксонская армия подходила уже к Праге. Императорские гарнизоны бежали отовсюду, где бы она ни появлялась. Шлекенау, Тешен, Ауссиг, Лейтмериц — все эти города перешли один за другим в руки неприятеля, всякое католическое селение делалось жертвою грабежа. Ужас обуял всех папистов королевства, и, памятуя о своих злодеяниях, жертвой которых стали протестанты, они не решились ждать появления карающего протестантского войска. Всякий, кто был католиком и у кого было что терять, спешил укрыться в столице, а затем — с такою же быстротой покинуть и ее. Сама Прага совершенно не была подготовлена к появлению неприятеля, и ее гарнизон был слишком мал, чтобы выдержать долгую осаду. Слишком поздно решились при венском дворе послать на защиту столицы фельдмаршала Тифенбаха. Прежде чем приказ императора достиг главной квартиры этого полководца в Силезии, саксонцы были уже неподалеку от Праги. От населения города, наполовину протестантского, не приходилось ждать большой стойкости, а на долгое сопротивление слабого гарнизона нельзя было рассчитывать. В этом опаснейшем положении католические граждане Праги уповали только на Валленштейна, жившего в ее стенах в качестве частного лица. Но, совершенно не собираясь воспользоваться своим военным опытом и авторитетом для спасения города, он, наоборот, был рад долгожданному случаю удовлетворить свою месть. Если он и не привлек саксонцев в Прагу, то несомненно его поведение облегчило им захват ее. Как ни мало город был подготовлен к длительной обороне, все же он отнюдь не был лишен возможности защищаться до прибытия подкреплений, и один из императорских военачальников, граф Марадас, действительно предполагал взять на себя оборону. Но, не имея приказа и побуждаемый к этому смелому начинанию лишь своим усердием и жрабостью, он не решался при-

ступить к делу на свой страх и риск, без одобрения высшей власти. Поэтому он просил совета у герцога Фридрихландского — лица, чье одобрение могло служить заменой полномочий, предоставляемых императором, и к которому, согласно прямому приказу двора, должно было обратиться в такой крайности военное начальство Чехии. Но, коварно сославшись на свою отставку, на свое полное удаление от политических дел, Валленштейн поколебал решимость своего подчиненного теми опасениями, которые он изложил как власть имущий. Общее смятение дошло до крайней степени, когда сам герцог со всем своим двором покинул город, переход которого к неприятелю ему лично ничем не угрожал, и Прага была оставлена на произвол судьбы именно потому, что ее оставил Валленштейн. Его примеру последовало все католическое дворянство, все чиновники; вся ночь прошла в приготовлениях к бегству и вывозу имущества. Все дороги вплоть до Вены были покрыты беглецами, и лишь в стенах столицы они оправились от пережитого ужаса. Сам Марадас, потеряв надежду на спасение Праги, последовал за остальными и перевел свой незначительный отряд в Табор, где решил дожидаться исхода дела.

Глубокая тишина царила в Праге, когда саксонцы на другое утро появились под ее стенами; не было видно никаких приготовлений к обороне, ни один выстрел с укреплений не возвестил о готовности граждан защищаться. Наоборот, вокруг саксонцев собралась толпа зрителей, которых привлекло из города любопытство, подстрекавшее их поглядеть на неприятельское войско, и мирная доверчивость, с которой они приближались, больше походила на дружественное приветствие, чем на неприязненный отпор. Из единогласных показаний этих людей узнали, что солдат в городе нет, а начальство бежало в Будвейс. Это неожиданное и необъяснимое отсутствие сопротивления возбудило недоверие Арнгейма, тем более что поспешное движение императорских войск из Силезии не было для него тайной, а саксонская армия была слишком малочисленна и недостаточно снабжена осадными орудиями, чтобы взять приступом такой большой город. Боясь ловушки, Арнгейм удвоил бдительность. Страх владел им, пока домоправитель герцога



Фридландского, которого он заметил в толпе, не подтвердил невероятного известия. «Мы взяли город, не обнажив меча!» — крикнул изумленный Арнгейм своим офицерам и немедленно послал герольда с требованием сдачи.

Граждане Праги, постыдно покинутые своими защитниками, давно приняли решение; вопрос был только в том, как бы обеспечить выгодной капитуляцией свободу и достояние жителей. Как только капитуляция была подписана саксонским полководцем от имени его государя, ворота города открылись без сопротивления, и 11 ноября 1631 года армия торжественно вступила в город. За нею последовал вскоре сам курфюрст, чтобы лично принять присягу своих новых подопечных, потому что только в качестве таковых сдались ему три части города Праги. Тем самым их связь с Австрийской монархией оставалась нерасторгнутой. Насколько преувеличен был страх папистов пред репрессалиями саксонцев, настолько приятно поразили их снисходительность курфюрста и дисциплина в его войсках. В частности, фельдмаршал фон Арнгейм воспользовался этим случаем, чтобы подчеркнуть свою преданность герцогу Фридландскому. Не довольствуясь тем, что еще в походе по его приказу шадяли все поместья герцога, он приставил теперь стражу к его дворцу, чтобы оттуда ничто не было похищено. Католикам города была предоставлена полная свобода совести, и из всех церквей, отнятых ими у протестантов, последним было возвращено всего четыре. Лишь на иезуитов, которым единодушно приписывались все прежние притеснения, не были распространены блага этой терпимости, и они были изгнаны из королевства.

Даже одержав победу, Иоганн-Георг не отбросил смирения и покорности, которые внушало ему имя императора, и он не позволил себе поступить в Праге с императором так, как несомненно поступил бы с ним самим в Дрездене императорский генерал вроде Тилли или Валленштейна. Он старательно отличал противника, с которым вел войну, от главы Германии, которому обязан был оказывать почет. Он не позволил себе коснуться дворцовой утвари, считая ее достоянием императора, но без всяких колебаний забрал, как законную добычу,

пушки противника и отправил их в Дрезден. Слишком скромный, чтобы водвориться в покоях того, у кого он отнимал королевство, он жил не в императорском дворце, а в доме Лихтенштейнов. Если бы нам рассказали о таких поступках великого человека и героя, это справедливо привело бы нас в восхищение. Но характер государя, о котором это сообщают, дает нам право усомниться в том, что его умеренность происходила от избытка благородной скромности, и предположить, что перед нами мелкие расчеты слабого человечка, которого даже счастье не окрыляет смелостью и даже свобода не освобождает от привычных цепей.

Взятие Праги, за которым вскоре последовала сдача большинства городов Чехии, вызвало во всем королевстве значительную и быструю перемену. Многие дворяне-протестанты, дотоле нищими скитавшиеся по свету, снова появились в своем отечестве, и граф Турн, известный зачинщик чешского восстания, испытал великую радость вернуться победителем туда, где некогда совершил свое преступление и был так сурово осужден. По тому же мосту, на котором головы его приверженцев, вздетые на копья, являли ему страшную картину ожидавшей его участи, совершил он теперь торжественный въезд в столицу, и первым приказом его было — удалить эти эмблемы изуверства. Изгнанникам были тотчас же возвращены их поместья, покинутые нынешними владельцами. Не заботясь о том, кто возместит беглецам затраченные средства, вернувшиеся захватывали все, что некогда принадлежало им, даже в тех случаях, когда сами продали это имущество и получили деньги, и многие из них имели полное основание воздать хвалу умелому управлению своих предшественников, чьими стараниями поля и стада стали источником богатства. Комнаты блистали дорогой утварью; в погребах, которые они оставили пустыми, царило изобилие; конюшни были полны, кладовые — набиты добром. Но, не доверяя счастью, которое так неожиданно привалило им, они спешили отделаться от этого ненадежного достояния и превратить недвижимую собственность в движимое имущество.

Присутствие саксонцев придало мужество всем, кто питал склонность к протестантству, и во всем королевстве, в деревнях, как и в столице, народ толпами стекался во вновь открытые евангелические церкви. Многие, кого лишь страх удерживал в покорности папству, обратились теперь открыто к новому учению, и не один из новообращенных католиков с радостью отказался от насильно навязанной ему веры, чтобы следовать своим прежним убеждениям. Несмотря на всю терпимость нового правительства, невозможно было сдержать в угнетенном народе взрыв справедливого негодования против губителей его священнейшей свободы. Свирепо воспользовался он своими вновь обретенными правами, и ненависть к навязанной религии была во многих местностях утолена кровью ее слугителей.

Тем временем вспомогательные войска, шедшие из Силезии, под предводительством императорских генералов Геца и Тифенбаха явились в Чехию, где к ним присоединилось несколько полков графа Тилли из Верхнего Пфальца. Чтобы рассеять это войско прежде чем оно успеет усилиться, Арнгейм двинулся на него из Праги с частью своей армии и при Нимбурге на Эльбе смело напал на его расположение. После горячего боя ему удалось, наконец, не без большого урона выбить императорские войска из укрепленного лагеря, принудить их яростным орудийным огнем отступить обратно за Эльбу и уничтожить мост, по которому перешел неприятель. Но он не мог помешать этим войскам нанести ему урон во многих мелких стычках, а хорваты в своих набегах доходили даже до стен Праги. Как ни блестяще и многообещающе было начало чешского похода саксонцев, успех его совершенно не оправдал ожиданий Густава-Адольфа. Вместо того чтобы, воспользовавшись добытыми преимуществами, пробиться с неудержимой силой через покоренную Чехию навстречу шведской армии и вместе с нею напасть на средоточие императорского могущества, саксонцы зря истощали себя в длительной малой войне, где выгода была не всегда на их стороне, а время, необходимое для более важных операций, расточалось бесплодно. Но из дальнейшего поведения Иоганна-Георга стало ясно, какие причины меша-

ли ему воспользоваться своим перевесом над императором и целесообразными действиями способствовать выполнению планов короля Шведского.

Большая часть Чехии теперь была безвозвратно утрачена для императора, и саксонцы двинулись оттуда на Австрию, в то время как король Шведский пролагал себе путь в наследственные земли императора через Франконию, Швабию и Баварию. Долгая война поглотила силы Австрийской монархии, истощила страну, уменьшила армии. Исчезли слава ее побед, дух непобедимости, повиновение и дисциплина войск — словом, все те качества, благодаря которым шведский полководец приобрел решающее превосходство: Одни союзники императора были разбиты, другие — под натиском грозной опасности поколебались в своей верности. Сам Максимилиан Баварский, могущественнейшая опора Австрии, уже как будто склонен был принять соблазнительное предложение соблюдать нейтралитет; подозрительный союз этого государя с Францией давно уже внушал императору опасения. Епископы Вюрцбургский и Бамбергский, курфюрст Майнцкий, герцог Лотарингский были изгнаны из их владений или страшились изгнания; Трир собирался перейти под французское покровительство. Испанские войска, изгнанные Густавом-Адольфом из прирейнских областей, были заняты борьбой с мужественными голландцами в Нидерландах. Польша была связана перемирием с королем Шведским. Венгерским границам угрожал семиградский князь Ракоци, преемник Бетлен Габора и наследник его беспокойного духа; даже Порта была занята подозрительными приготовлениями, рассчитывая воспользоваться благоприятным моментом. Большинство протестантских чинов, набравшись храбрости под влиянием успеха их защитников, открыто и деятельно приняло сторону противников императора. Все средства, которые в былое время путем насилия и вымогательств выжимало из этих земель бесстыдство Тилли и Валленштейна, теперь истощились. Все эти вербовочные пункты, эти склады, эти укрепленные прибежища были потеряны для императора, и войну нельзя было вести, как некогда, на чужой счет. К довершению всех трудностей в землях за

Инном вспыхивает опасное восстание. Несвоевременный прозелитизм правительства возмутил протестантское крестьянство, и фанатизм потрясает своим факелом в то время, как неприятель уже врывается в ворота государства. После столь долгого счастья, после столь блестящего ряда побед и столь великих завоеваний, после стольких потоков бесцельно пролитой крови австрийский монарх видит себя вторично на краю той пропасти, куда он едва не был ввергнут при вступлении на престол. Если Бавария согласится на нейтралитет, если Саксония будет противостоять соблазнам, а Франция решится напасть на испанцев одновременно в Нидерландах, Италии и Каталонии, — гордое здание величия Австрии рухнет, союзные державы разделят добычу, и государственное устройство Германии подвергнется коренному преобразованию.

Длинная вереница этих несчастий началась с битвы при Брейтенфельде, злополучный исход которой сделал очевидным давно уже ставшее неизбежным падение австрийского могущества, долгое время таившееся под мишурным блеском великого имени. Если вдуматься в причины, обеспечившие шведам столь грозный перевес на поле битвы, то их нетрудно найти главным образом в неограниченной власти их повелителя, который в одной руке объединил все силы своей партии и, не связанный в своих действиях никаким высшим авторитетом, полный хозяин каждого благоприятного момента, владел всеми средствами для осуществления своей цели и повиновался только самому себе, тогда как после отставки Валленштейна и поражения Тилли мы видим на стороне императора и лиги нечто совершенно противоположное. Генералам не хватало власти над войсками и столь необходимой свободы действий, солдатам — повиновения и дисциплины, рассеянным отрядам — единства действий, имперским чинам — энергии, начальствующим — согласия, быстроты в принятии решений и твердости в их исполнении. Не численное превосходство, но лучшее применение своих сил — вот что давало врагам императора столь решительный перевес. Средства у лиги и императора были, но не было даровитого полководца, который умел и мог бы применить их. Если бы

даже граф Тилли и не утратил своей славы, то недоверие к Баварии не позволило бы вручить судьбы монархии человеку, который никогда не отрицал своей преданности Баварскому дому. Таким образом, всего необходимее был Фердинанду полководец, достаточно опытный, чтобы создать и повести в бой армию, и в то же время слепо преданный Австрийскому дому.

Поиски такого полководца давно уже были самой важной проблемой для тайного совета императора и предметом раздоров среди его членов. Для того чтобы противопоставить государю государя и своим личным присутствием возродить мужество войск, Фердинанд в первом порыве увлечения предложил было сам вести войска, но нетрудно было убедить его отказаться от решения, внушенного лишь отчаянием и по зрелом размышлении отвергнутого им самим. Но то, что было недопустимо для императора ввиду его сана и лежавшего па нем бремени правления, обстоятельства позволяли взять на себя его сыну, одаренному и мужественному молодому человеку, на которого австрийцы возлагали радостные надежды. Самим рождением предназначенный для защиты монархии, из корон которой две уже увенчали его чело, Фердинанд III, король Чешский и Венгерский, соединял с высоким саном наследника уважение войск и любовь народов, помощь которых была ему так необходима для ведения войны. Лишь наследник, любимый народом, мог осмелиться возложить на обремененного подданного новые тяготы; лишь его личное присутствие в армии могло подавить пагубное соперничество военачальников, лишь могущество его имени могло восстановить во всей строгости упавшую дисциплину разнуздавшихся войск. Если этому молодому человеку недоставало необходимой зрелости суждений, рассудительности и военной опытности, которые даются только временем, то этот недостаток мог быть возмещен удачным выбором советников и помощников, под прикрытием его имени располагающих высшей властью.

Как ни вески были доводы, которыми поддерживала это предложение часть министров,— недоверие, а быть может, даже и зависть императора, в связи с отчаянным положением дел, сильно затрудняли осуществление

этого замысла. Как опасно в самом деле вручить судьбу целого государства юноше, который сам еще нуждается в том, чтобы им руководили! Как рискованно противопоставить величайшему полководцу своего времени новичка, чья пригодность для столь важного поста ничем еще не доказана на опыте, чье имя, еще не отмеченное славой, недостаточно громко, чтобы наперед быть залогом победы для павшей духом армии! Сколь огромные новые тяготы для подданного возникают из необходимости содержать дорогой штат свиты, соответствующей королевскому сану такого полководца и неотделимой, в силу предрассудков того времени, от его пребывания среди войск! Как страшно, наконец, для самого принца начать свою политическую деятельность на посту, делающем его бичом своего народа и угнетателем стран, над которыми ему суждено впоследствии властвовать!

К тому же мало было найти полководца для армии — надо было еще найти армию для полководца. После насильственного удаления Валленштейна император защищал свое дело по преимуществу войсками лиги и Баварии, а не своими собственными. Именно этой зависимости от ненадежных друзей желали теперь избежать назначением собственного главнокомандующего. Но каким образом без всемогущей силы золота и без воодушевляющего имени победоносного полководца вызвать к жизни армию — притом такую, которая могла бы по дисциплине, по воинскому духу и по сноровке сравняться с многоопытными войсками победителя? Во всей Европе был *один* только человек, способный на это великое деяние, и этого единственного человека оттолкнули, смертельно его оскорбив.

Настал, наконец, день, давший несказанное удовлетворение оскорбленной гордости герцога Фридрихландского. Сама судьба взяла на себя роль мстителя, и непрерывный ряд несчастий, обрушившихся на Австрию со дня его отставки, вырвал у самого императора признание, что с этим полководцем он лишился правой руки. Каждое новое поражение его войск растравляло эту рану, каждое потерянное укрепление бросало обманутому монарху упрек в слабости и неблагодарности. Он был бы

счастлив, если бы потерял в оскорбленном полководце лишь предводителя своих войск, лишь защитника своих владений, но он нашел в нем врага, быть может опаснейшего из всех, ибо менее всего был защищен от покушений *такого* изменника.

Удаленный с театра войны и осужденный на мучительное бездействие, тогда как его соперники пожинали лавры на полях славы, гордый герцог с притворным равнодушием взирал на перемену счастья, и за сверкающим великолепием театрального героя таились мрачные замыслы деятельного духа. пылая всепожирающей страстью, но неизменно выказывая притворное спокойствие и беспечность, он втайне лелеял ужасные планы, порожденные мстостью и честолюбием, и медленно, но верно приближался к цели. Из его памяти изгладилось все, чем он был обязан императору, но огненными чертами запечатлелось в ней все, что сам он сделал для императора. Его неутолимой жажде величия и могущества неблагодарность монарха пришлась весьма кстати; она давала ему возможность порвать свои обязательства и освобождала его от всякого долга по отношению к тому, кто создал его счастье. Правыми и безгрешными казались ему теперь в обличье справедливого возмездия замыслы его честолюбия. Его надежды возрастали по мере того, как суживались пределы его деятельности, и его пылкое воображение блуждало среди бескрайних планов, которые у всякого другого были бы лишь порождением безумия. Его заслуги вознесли его так высоко, как только может подняться человек собственной силой; все то, чего частное лицо и гражданин может достичь, не нарушая своих обязанностей, было даровано ему счастьем. До самой его отставки его притязания не знали отказа, его честолюбие не встречало преград. Удар, поразивший его на Регенсбургском сейме, явил ему разницу между властью изначальной и властью передоверенной и расстояние, отделяющее подданного от повелителя. Отрезвленный этим неожиданным поворотом судьбы от опьянения своим величием, он стал сравнивать ту власть, которою он обладал, с тою, которая отняла у него могущество, и теперь его честолюбие сразу заметило ту ступень, на которую ему



сще надлежало подняться по лестнице счастья. Лишь после того, как он во всей ее тягостной реальности испытал на себе тяжкое насилие высшей власти, он жадно протянул к ней руки; грабеж, жертвой которого он стал, сделал его грабителем. Не будь он раздражен оскорблением, он послушно совершал бы свой путь вокруг лучезарного престола, довольствуясь гордым сознанием, что он — самый блестящий из его спутников. Лишь после того, как его насильно столкнули с его орбиты, он отверг систему, к которой принадлежал, и, все сокрушая на пути, ринулся на свое солнце.

Густав-Адольф победоносно пронесся по всему северу Германии; один город за другим переходил в его руки, и при Лейпциге было уничтожено ядро императорской армии. Слух об этом поражении быстро донесся до Валленштейна, который, скрываясь в полумраке частной жизни, наблюдал из спокойного далека неистовство военной бури. То, что наполняло сердце каждого католика тревогой, ему возвещало счастье и силу; лишь для него работал Густав-Адольф. Едва начал последний привлекать к себе внимание своими военными подвигами, как герцог Фридрихландский, не теряя ни мгновения, поспешил предложить ему свою дружбу, чтобы действовать заодно с удачливым врагом Австрии. Изгнанный граф Турн, давно уже поступивший на службу к королю Шведскому, взялся передать королю поздравления Валленштейна и предложение вступить с ним в более тесный союз. Лишь пятнадцать тысяч человек желал Валленштейн получить от короля и взамен брался, при помощи этого отряда и войска, которое он обязывался набрать сам, покорить Чехию и Моравию, напасть на Вену и гнать до самой Италии императора, своего властелина. Как ни велико было недоверие, вызванное в Густаве-Адольфе этим неожиданным предложением и явно преувеличенными обещаниями, он, однако, был слишком проникательным ценителем чужих выдающихся заслуг, чтобы хладнокровно отвергнуть столь важного сторонника. Но когда Валленштейн, ободренный благоприятным исходом этой попытки, возобновил свое предложение после битвы при Брейтенфельде, требуя определенного ответа, осторожный король не решился связать

свою славу с химерическими замыслами этой отчаянной головы и доверить столь значительные воинские силы честности человека, который являлся к нему в качестве изменника. Сославшись на незначительность своей армии, которой в походе на Австрию не может не повредить такое уменьшение, король по чрезмерной осторожности потерял, быть может, случай покончить войну одним ударом. Впоследствии он пытался возобновить прерванные переговоры, но уже было поздно: благоприятный момент миновал, и оскорбленная гордость Валленштейна никогда не могла простить ему этого пренебрежения.

Но отказ короля, очевидно, лишь ускорил разрыв, неизбежный между этими двумя натурами. Оба рожденные повелевать, а не исполнять чужие веления, они никак не могли действовать заодно в деле, более, чем какое-нибудь другое, требующем уступчивости и взаимных жертв. Валленштейн был ничем, если он переставал быть всем; он должен был действовать с самой неограниченной свободой или не действовать вовсе. Так же страстно ненавидел и Густав-Адольф всякую зависимость, и он едва не расторг столь важный союз с французским двором лишь потому, что требования этого двора связывали его самостоятельность. Первый погиб бы для своей партии, если бы не мог стать во главе ее; второй был еще менее способен ходить на помочах. Если повелительные требования этого союзника были бы столь тягостны для герцога Фридландского при их совместных действиях, то они стали бы совершенно невыносимы для него позже, когда дело дошло бы до раздела добычи. Гордый монарх мог снизить до того, чтобы принять помощь мятежного подданного против императора и с королевской щедростью вознаградить его за эту великую услугу; но он никогда не мог бы презреть свой сан и сан всех королей до такой степени, чтобы согласиться на ту награду, которой осмеливалось требовать необузданное честолюбие герцога: он никогда не решился бы заплатить за выгодную измену короной. Именно от него, даже в случае молчания со стороны всей Европы, мог ожидать Валленштейн грозного противоречия, как только он протянул бы руку к чешской

короне: король Шведский был во всей Европе единственным человеком, способным подлинно наложить вето на это его притязание. Возведенный рукой Валленштейна в сан диктатора Германии, он мог обратить свое оружие против него и считать себя свободным от всякого долга благодарности по отношению к изменнику. Очевидно, рядом с таким союзником не было места для такого человека, как Валленштейн, и, вероятно, именно на это обстоятельство, а не на приписываемые ему виды на императорский престол намекал он в известных своих словах, сказанных после смерти короля: «Счастье для меня и для него, что он умер! В Германии не было места для двух таких голов».

Первая попытка отомстить Австрийскому дому не удалась, но решение Валленштейна было непреклонно, и перемена коснулась лишь средств. От курфюрста Саксонского он рассчитывал с меньшими трудностями и большими выгодами добиться того, что ему не удалось получить от короля Шведского, руководить которым было так же невыносимо, как легко было управлять курфюрстом. В неизменной согласии с Арнгеймом, своим старым другом, он старался теперь заключить союз с Саксонией, благодаря которому рассчитывал стать равно страшным и для императора и для короля. Он мог надеяться тем легче расположить Иоганна-Георга в пользу проекта, который в случае удачи лишал короля Шведского его влияния в Германии, что сильно развитая в саксонском государе зависть была уже раздражена могуществом Густава-Адольфа и его симпатия к королю Шведскому, без того весьма слабая, была охлаждена большими требованиями короля. Если бы ему удалось порвать связь между Швецией и Саксонией и в союзе с последней образовать третью партию в империи, то исход войны был бы в его руках, и ему одним этим шагом удалось бы одновременно отомстить императору, отомстить королю Шведскому за то, что тот пренебрег его дружбой, и на гибели их обоих основать собственное величие.

Однако, каким бы путем он ни шел к выполнению своих замыслов, он не мог осуществить их без содействия вполне преданной ему армии. Но как бы тайно он

ни набирал эту армию, при императорском дворе неминуемо возникли бы подозрения, и планы герцога были бы разрушены в самом начале. Эта армия до поры до времени ничего не должна была знать о своем противозаконном назначении, ибо нельзя было ожидать, что она захочет повиноваться зову изменника и сражаться против своего законного властелина. Следовательно, Валленштейну необходимо было набирать войско открыто, опираясь на авторитет императора, и от самого императора получить неограниченную власть над этим войском. Это, очевидно, могло произойти лишь в том случае, если бы его восстановили в отнятом у него звании главнокомандующего и ему одному предоставили ведение войны. Между тем ни его гордость, ни его интересы не позволяли ему искать этого поста и взывать к милости императора, дабы получить ограниченную власть, когда ему необходимо было, искусно пользуясь опасениями Фердинанда, вынудить у него власть неограниченную. Чтобы диктовать условия, на которых он примет власть над войсками, Валленштейну надо было ждать, покуда император навяжет ее ему. Таков был совет, поданный ему Арнгеймом, и к этой цели он стремился с неустанной энергией и изощреннейшей хитростью.

Убежденный, что лишь крайняя необходимость может победить нерешительность императора и преодолеть противодействие Баварии и Испании, его жесточайших врагов, он изо всех сил старался теперь содействовать успехам неприятеля и ухудшить тягостное положение своего государя. Весьма вероятно, что именно по его приглашению и настояниям саксонцы, двинувшиеся уже в Лузанию и Силезию, повернули в Чехию и наводнили своими войсками это беззащитное королевство. Равным образом их быстрые успехи в этой стране были делом его рук. Прикидываясь малодушным, он подавил в жителях столицы всякую мысль о сопротивлении, а его поспешный отъезд отдал ее в руки победителя. Во время свидания с саксонским генералом в Каунице, якобы для мирных переговоров, очевидно во всех подробностях столковались насчет задуманного заговора, и завоевание Чехии было первым плодом этой интриги.

Сам он всячески способствовал умножению бедствий Австрии, в чем ему чрезвычайно помогали шведы своим стремительным продвижением вдоль Рейна, а его приверженцы и нанятые им клеветы в Вене изливались в горьких жалобах на всеобщее несчастье, причем единственной причиной понесенных поражений выставлялась отставка прежнего полководца. «Будь Валленштейн у дел, до этого никогда не дошло бы!» — зывали теперь тысячи голосов, и это мнение находило пламенных сторонников даже в тайном совете императора.

Но и без этого постоянного давления монарху, находившемуся в критическом положении, стало понятно, сколь велики заслуги его полководца и сколь опрометчиво он поступил, удалив его. Зависимость от Баварии и лиги давно уже тяготила Фердинанда, но именно эта зависимость не позволяла ему выказать свое недоверие и раздражить курфюрста восстановлением власти герцога Фридрихландского. Теперь, однако, когда затруднения возрастали с каждым днем, а слабость баварской подмоги становилась все очевиднее, он был расположен внять друзьям герцога и обдумать их совет призвать этого полководца к власти. Несметные богатства Валленштейна, всеобщее к нему уважение, быстрота, с которой он шесть лет назад выставил сорокатысячную армию, ничтожные издержки, которых требовало содержание этого многочисленного войска, подвиги, совершенные им во главе последнего, наконец самоотверженность и верность, проявленные им по отношению к императору, все это было еще живо в памяти монарха, и герцог казался ему наилучшим орудием для того, чтобы восстановить равновесие сил между враждующими сторонами, спасти Австрию и сохранить господствующее положение католической религии. Как ни тяжело и ни унижительно было для гордости императора столь недвусмысленно признаться в своей прежней ошибке и нынешней беде, как ни трудно было ему с высоты своего величия снизойти до просьб, как ни сомнительна была верность столь жестоко оскорбленного и столь непримиримого человека, как ни громко и настоятельно было, наконец, неодобрение, открыто выражаемое испанскими министрами и курфюрстом Баварским

по поводу этого шага, — безвыходность положения победила всякие другие доводы, и друзьям герцога было поручено осведомиться о его намерениях и намекнуть ему на возможность восстановления на посту главнокомандующего.

Осведомленный обо всем, что говорилось в кабинете императора в его пользу, Ваяленштейн достаточно владел собой, чтобы скрывать внутреннее торжество и выказывать видимость равнодушия. Пробыл час мести, и его гордое сердце ликовало при мысли о том, что императору с лихвой будет уплачено за понесенное оскорбление. С необычайным красноречием распространился он о том блаженстве частной жизни, которое он испытывает после удаления с политической арены. Он слишком долго, — заявил он, — наслаждался прелестями независимости и досуга, чтобы жертвовать ими ради ничтожного призрака славы и неверной милости государей. Угасли все его стремления к величию и могуществу, единственная цель его желаний — покой. Чтобы не выдать своего нетерпения, он не принял приглашения явиться ко двору, но переехал в Цнайм в Моравии, откуда удобнее было вести переговоры с Веной.

Сначала пытались ограничить передаваемую ему власть тем, что предполагали приставить к нему особого наблюдателя; этой уловкой хотели успокоить курфюрста Баварского. Уполномоченным короля, Квентенбергу и Верденбергу, при посредстве которых, как старых друзей герцога, велись эти щекотливые переговоры, было поручено упомянуть в их предложениях о короле Венгерском, который также, дескать, будет находиться при армии, чтобы под руководством Ваяленштейна изучить военное дело. Но при одном упоминании об этом имени переговоры едва не были прерваны. Герцог заявил, что никогда и ни в каком случае он не потерпит в своем деле помощника, хотя бы сам господь бог захотел разделить с ним его власть. Но даже и тогда, когда отказались от этого неприемлемого условия, любимец императора и министр, князь фон Эггенберг, стойкий друг и защитник Ваяленштейна, лично присланный к нему, долго понапрасну истощал все свое красноречие, чтобы преодолеть притворное

нежелание герцога. Монарх потерял в Валленштейне драгоценнейший алмаз своей короны,— сознавался министр,— лишь под чужим влиянием и против своей воли сделал он этот шаг, в котором не переставал раскаиваться. Его уважение к герцогу неизменно, его благосклонность к нему непоколебима. Решающее тому доказательство — исключительное доверие, которое монарх теперь проявляет к верности и дарованиям герцога, ожидая от него, что он исправит ошибки своих предшественников и изменит весь ход событий. Великодушно и благородно будет пожертвовать ради блага отечества справедливым негодованием; великодушно и достойно герцога — победить коварные наговоры противников тем, что он удвоит свою энергию и свое рвение. Эта победа над собой,— говорил в заключение Эггенберг,— увенчает прежние бесценные заслуги герцога и сделает его величайшим человеком своего времени.

Столь униженные признания, столь льстивые уверения как будто обезоружили, наконец, гнев герцога. Но лишь отведя душу в упреках против императора, восплавав с хвастливой выпренности все величие своих заслуг и глубочайшим образом унижив монарха, нуждавшегося теперь в его помощи, соблаговолил он выслушать соблазнительные предложения министра. Якобы уступая лишь силе убеждения, он с надменным великодушием согласился на то, что было заветным желанием его души, и осчастливил посла лучом надежды. Но, совсем не склонный безусловной и полной готовностью сразу вывести императора из его затруднительного положения, он согласился выполнить лишь часть того, что от него требовали, чтобы повысить цену на другую, более существенную половину. Он принимал начальствование, но лишь на три месяца; он соглашался набрать армию, но отказывался предводительствовать ею. Созданием армии он хотел лишь представить доказательство своего умения и мощи и удостоверить императора в том, какую огромную услугу может при желании оказать ему Валленштейн. Убежденный, что армия, призванная к жизни из небытия одним его именем, без своего творца возвратится в небытие, он пользовался ею лишь

как приманкой, чтобы вырвать у своего повелителя более важные уступки. И, однако, Фердинанд был счастлив, что добился хоть этого.

Недолго медлил Валленштейн исполнением своего обещания, над химеричностью которого издевалась вся Германия и которое сам Густав-Адольф находил чрезмерным. Но почва для этого дела была подготовлена уже давно, и теперь он лишь привел в действие механизм, который создавал для этой цели в течение многих лет. Едва распространился слух о том, что Валленштейн набирает войско, как со всех концов Австрийской монархии толпами стали стекаться удальцы, желавшие попытать счастья под знаменами прославленного полководца. Многие, уже ранее сражавшиеся в его войсках, бывшие восторженными очевидцами его величия и испытавшие его великодушие, откликнулись на этот зов из тьмы неизвестности, чтобы снова делить с ним славу и добычу. Размеры обещанного жалованья привлекали тысячи охотников, и обильное питание, которое они получали за счет крестьянина, было для последнего непреодолимым соблазном лучше самому вступить в ряды войска, чем страдать под его гнетом. Все австрийские земли были обременены налогами на этот дорогостоящий поход; никто не был освобожден от обложения; ни высокие звания, ни привилегии не спасали от подушной подати. Испанский двор и король Венгерский согласились дать значительную субсидию; министры сделали крупные взносы, и Валленштейн сам издержал двести тысяч талеров из своих денег для ускорения вооружения. Неимущих офицеров он содержал на свои средства, а более состоятельных заставил своим примером, повышениями по службе и соблазнительными посулами набирать войска на свой счет. Всякий, кто сформировал на свои деньги отряд, становился его командиром. Религия не играла при назначении офицеров никакой роли; богатство, храбрость и опытность были важнее веры. Это беспристрастие по отношению к различным вероисповеданиям, а еще более — заявления, что предстоящий поход нисколько не связан с религией, успокоили протестантских подданных и побудили их также принять участие в расходах



на общее дело. В то же время герцог, не теряя времени, вел от своего имени переговоры с иностранными государствами насчет войск и денег. Он вторично соблазнил герцога Лотарингского выступить за императора; Польша должна была доставить Валленштейну казаков, Италия — военные припасы. Не прошло и трех месяцев, как армия, собранная в Моравии, возросла до сорока тысяч человек, набранных главным образом в оставшейся подвластной императору части Чехии, в Моравии, Силезии и в германских владениях Австрийского дома. В короткое время, на диво всей Европе, Валленштейн совершил то, что всем казалось невыполнимым. Волшебная сила его имени, его богатства, его гения собрала под его знамена тысячи солдат там, где, по общему мнению, другие не собрали бы и сотен. С избытком снабженное всем необходимым, возглавленное опытными военачальниками, одушевленное энтузиазмом, это вновь созданное войско ждало лишь мановения своего вождя, чтобы доказать смелыми подвигами, что оно достойно его.

Герцог исполнил обещание — армия стояла готовая к бою. Теперь он отступил на второй план, предоставляя императору назначить ей начальника. Но дать ей в предводители кого-либо, кроме Валленштейна, было так же трудно, как создать наряду с этой армией — вторую. Это многообещающее войско, последняя надежда императора, обратилось бы в призрак, если бы исчез волшебник, призвавший его к жизни; Валленштейн был причиной его бытия, и без него оно, словно порождение магической силы, возвратилось бы в прежнее небытие. Офицеры были либо его должниками, либо в качестве его кредиторов теснейшим образом связаны с его интересами, с устойчивостью его власти; полками командовали его родственники, его креатуры, его любимцы. Лишь он один мог сдерживать пред войсками те чрезмерные обещания, которые привлекли всех на его службу. Его слово было единственной порукой в исполнении смелых ожиданий каждого; слепая вера в его могущество была единственной связью, сливавшей разнообразнейшие побуждения отдельных лиц в живое единство общего дела. Каждому при-

плось бы проститься с мыслью о благополучии, если бы ушел тот, кто ручался, что оно обеспечено.

Хотя герцог отказывался только для вида, однако он весьма умело пускал эти отказы в ход для того, чтобы припугнуть императора и вынудить у него согласие на свои непомерные требования. Из-за успехов неприятеля положение день ото дня становилось опаснее, а помощь была так близка. От одного человека зависело быстро положить конец всеобщему бедствию. И князю фон Эггенбергу в третий и последний раз было приказано побудить своего друга, каких бы жертв это ни стоило, принять власть над войсками.

Эггенберг нашел Валленштейна в Цнайме, в Моравии, где тот дерзко выставил напоказ окружавшие его войска — те войска, которые так хотел получить император. Гордый подданный принял посла своего властелина, словно какого-то ничтожного просителя. Никким образом, — ответил он, — не может он верить своему восстановлению на посту главнокомандующего; этим он обязан лишь критическому положению, а не справедливости императора. Теперь, правда, когда бедствия Фердинанда достигли предела и спасения можно ждать только от его, Валленштейна, руки, явились к нему. Но после того как помощь будет оказана, его вскоре снова предадут забвению, и когда будет восстановлена безопасность, дело опять кончится неблагодарностью. Если он обманет надежды, возлагаемые на него, он рискует всей своей славой; он рискует своим благополучием и покоем, если ему удастся их оправдать. Вновь оживет старая зависть, и государь, зависимый от других, не задумываясь, снова принесет в жертву разным особым соображениям слугу, в котором больше не нуждается. Лучше уж он безотлагательно, по своей воле покинет пост, с которого его неминуемо рано или поздно свергнут козни его врагов. Лишь в тиши частной жизни обретет он безопасность и спокойствие, и лишь ради императора покинул он на некоторое время против своей воли этот блаженный покой.

Утомленный этой затянувшейся комедией, министр заговорил теперь более внушительным тоном и пригрозил упряму испуганным гневом монарха, если он

будет дольше настаивать на своем отказе. Величие монарха достаточно унижено,— заявил он,— но вместо того, чтобы пробудить великодушие Валленштейна, это унижение лишь раздражило его гордыню и усугубило упрямство. Если и эта великая жертва окажется напрасной, то министр боится, как бы проситель не превратился в повелителя и как бы монарх не отомстил мятежному подданному за свое оскорбленное достоинство. Сколь бы ни провинился Фердинанд, как *император*, он имеет право требовать повиновения; *человек* может заблуждаться, но *властелин* не должен сознаваться в своей ошибке. Если герцог Фридландский пострадал от незаслуженного приговора, то всякая потеря может быть возмещена, и его величество в силах исцелить все раны, им самим нанесенные. Если герцог требует обеспечения неприкосновенности его особы и его сана, то император, столь справедливый, не откажет ни в каком разумном требовании. Но никакое раскаяние не может искупить непочтение к монарху, и неповиновение его приказам уничтожает самые блестящие заслуги. Император *нуждается* в услугах герцога и *требует* их как император. Какую бы цену за это ни назначил герцог, император согласен заранее. Но он требует повиновения, в противном случае его негодование сокрушит непокорного слугу.

Валленштейн, обширные владения которого были рассеяны по Австрии и могли в любую минуту очутиться во власти императора, живо почувствовал, что это не пустая угроза. Но не из страха оставил он, наконец, свое притворное упорство. Именно этот повелительный тон слишком ясно выдавал ему слабость и отчаяние, которыми он был продиктован, а готовность императора согласиться на все его требования убеждала его, что он у цели своих желаний. Он согласился, делая вид, что убежден красноречием Эггенберга, и оставил его, чтобы письменно изложить свои требования.

Не без трепета ожидал министр послания, в котором надменнейший из подданных решался ставить требования надменнейшему из государей. Но как ни мало он доверял скромности своего друга, чрезмерность условий, изложенных в послании, превзошла

самые худшие из его опасений. Валленштейн требовал беспредельной высшей власти над всеми немецкими войсками Австрийского и Испанского домов и безграничных полномочий карать и награждать по своему усмотрению. Не только король Венгерский, но и сам император должны отказаться от права являться в армию, а тем более — отдавать ей какие бы то ни было распоряжения. Император не может ни производить назначения в армии, ни раздавать награды; его жалованные грамоты не действительны без утверждения Валленштейна. Всяким достоянием, конфискованным или завоеванным в империи, герцог Фридрихландский будет распоряжаться единолично, без вмешательства императорских или имперских судов. В качестве вознаграждения ему должна быть передана одна из наследственных земель императора, а в виде чрезвычайного подарка — одна из земель, завоеванных в Германии. Любая австрийская область должна в случае необходимости стать для него убежищем. Кроме всего этого, он требовал, чтобы ему при заключении в будущем мирного трактата обеспечили герцогство Мекленбургское и формально известили его заблаговременно об отставке, если сочтут нужным лишить его вторично звания главнокомандующего.

Тщетно убеждал его министр умерить эти требования, лишавшие императора всех его верховных прав над армией, отдававшие государя в полное подчинение его полководца. Валленштейну слишком ясно раскрыли всю его незаменимость, чтобы возможно было с успехом торговаться из-за цены, которую приходилось платить за его услуги. Если император, под давлением обстоятельств, согласился на эти требования, то поставил их герцог не только под влиянием мстительности и надменности. План будущего мятежа был готов, и для осуществления его Валленштейну необходимы были все те преимущества, которые он старался выговорить себе, идя на соглашение с двором. Этот план требовал, чтоб император был лишен всякого авторитета в Германии и власть его перешла в руки его полководца. В этом герцог преуспел, раз Фердинанд согласился на его условия. Употребление, какое Валлен-

штейн задумал сделать из своей армии, — разумеется, бесконечно далекое от той цели, ради которой она была ему подчинена, — не допускало никакого раздела власти, тем паче какого-либо более высокого авторитета над ней, чем его собственный. Чтобы быть единственным господином над ее волей, он должен был стать для войск единственным вершителем их судеб. Чтобы незаметно занять место своего повелителя и перенести на себя все верховные права, лишь на время уступленные ему высшей властью, он должен был старательно отдалять ее от взоров армии. Вот истинная причина того, почему он так упорно не хотел позволить какому-либо принцу Австрийского дома находиться при армии. Свобода распоряжаться по своему усмотрению всем конфискованным и завоеванным в Германии имуществом давала ему могучее средство приобретать приверженцев и покорные орудия своих замыслов, давала возможность играть в Германии большую роль, чем играл ее император в мирное время, — роль диктатора. Право пользоваться в случае нужды убежищем в австрийских землях давало ему полную возможность держать императора чуть не в плену в его собственном государстве и посредством его собственной армии высасывать все соки из этих земель, подрывая в корне основы австрийского могущества. Как бы потом ни решила судьба, условия, добытые им от императора, достаточно прочно обеспечивали его. Если бы обстоятельства оказались благоприятными для претворения его дерзновенных замыслов в жизнь, то этот договор с императором облегчал их исполнение; если бы ход событий сделал их осуществление невозможным, то этот самый договор вознаграждал его наилучшим образом. Но как мог он считать действительным договор, силой исторгнутый у верховного властителя и основанный на преступлении? Как мог он надеяться связать императора условиями, являвшимися смертным приговором для того, кто имел дерзость продиктовать их? И все же этот достойный казни преступник был теперь необходимейшим человеком во всей монархии, и Фердинанд, искушенный в притворстве, согласился на все, чего требовал Валленштейн.

Итак, наконец, во главе императорской армии стал полководец, заслуживающий этого имени. Всякая другая власть в войсках, не исключая власти самого императора, теряла значение в тот самый момент, как Валленштейну был вручен жезл главнокомандующего, и все, исходившее не от его osoby, было недействительно. От берегов Дуная до Везера и Одера все почувствовали животворное появление нового светила. Новый дух вселяется в солдат императора; начинается новая эпоха войны, новые надежды придают папистам бодрости, и протестантский мир с тревогой наблюдает перемену ситуации.

Чем выше было вознаграждение, ценой которого пришлось купить нового полководца, тем большие надежды считал себя вправе возлагать на него императорский двор. Но герцог не торопился оправдать эти надежды. Ему достаточно было бы появиться вблизи Чехии со своим грозным войском, чтобы разбить ослабленные войска саксонцев и возвращением этого королевства под власть императора блистательно ознаменовать свое вступление на новый путь. Но, удовлетворяясь мелкими стычками хорватов с неприятелем, он предоставил ему без помех грабить лучшую часть Чехии, а сам мерными тихими шагами шел к своей заветной цели. Не *уничтожить* саксонцев, но *соединиться* с ними — таков был его план. Поглощенный этим важным замыслом, он пока не брался за оружие, чтобы тем вернее победить путем переговоров. Всевозможными способами старался он побудить курфюрста расторгнуть союз со шведами, и сам Фердинанд, все еще склонный к миру с Саксонией, одобрял этот образ действий. Но громадные услуги, оказанные шведами, были еще слишком свежи в памяти саксонцев, чтобы они могли пойти на столь позорную измену. И если бы даже они чувствовали себя склонными к этому, то двуличие Валленштейна и дурная слава австрийской политики не внушили бы им никакого доверия к искренности его обещаний. Он слишком хорошо был известен как вероломный политик, чтобы на него положились в том единственном случае, когда, по всем вероятностям, он не собирался обмануть. Но обстоятель-

ства еще не позволяли ему раскрыть истинные свои побуждения и тем самым внушить доверие к искренности своих намерений. Поэтому он против собственного желания решился добыть силой оружия то, чего не удалось достигнуть посредством переговоров. Быстро собрав войска, он появился пред Прагой, прежде чем саксонцы могли прийти на помощь столице. После непродолжительной обороны осажденных монахи-капуцины предательски открыли одному из полков герцога вход в город, и укрывшийся в замке гарнизон сложил оружие на позорных условиях. Валленштейн полагал, что, овладев столицей, он легче сможет договориться с саксонским двором, но, возобновляя переговоры с генералом фон Аргаеймом, в то же время не преминул подкрепить их решительным ударом. Чтобы отрезать саксонской армии отступление на родину, он приказал поспешно занять проходы между Аусигом и Пирной. Однако проворство Аргаейма избавило саксонцев от опасности. После отступления этого генерала сдались победителю последние прибежища саксонцев — Эгер и Лейтмериц, и Чехия была возвращена своему законному государю еще скорее, чем была им утрачена.

Озабоченный не столько интересами своего повелителя, сколько осуществлением своих собственных планов, Валленштейн собирался теперь перенести войну в пределы Саксонии, чтобы опустошением этой страны принудить ее курфюрста к заключению сепаратного договора с императором, или, вернее, с герцогом Фридландским. Но как ни мало герцог обычно подчинял свою волю требованиям обстоятельств, все же он понял всю необходимость временно отказаться от своего сокровенного замысла для более неотложного дела. В то время как он вытеснял саксонцев из Чехии, Густав-Адольф одерживал вышеописанные победы на Рейне и на Дунае и через Швабию и Франконию перенес уже войну к границам Баварии. Разбитый на Лехе и гибелью графа Тилли лишенный своей лучшей опоры, Максимилиан молил императора как можно скорее прислать ему на помощь из Чехии герцога Фридландского и обороной Баварии отвлечь опасность от самой Австрии. Обратившись с этой просьбой к самому

Валленштейну, он настоятельно убеждал его, до его прибытия с главной армией, помочь ему пока хоть несколькими полками. Фердинанд поддерживал эту просьбу всей силой своего авторитета, и один курьер за другим несся теперь к Валленштейну, чтобы заставить его двинуться к Дунаю.

Но теперь-то выяснилось, какую великую долю своей власти принес в жертву император, передав в руки Валленштейна войска и начальство над ними. Равнодушный к мольбам Максимилиана, глухой к многократным повелениям императора, герцог оставался в полном бездействии в Чехии, предоставив курфюрста его судьбе. Память о том, как некогда на Регенсбургском сейме Максимилиан настойчиво добивался от императора его удаления, глубоко запечатлелась в злопамятной душе герцога, и недавние старания курфюрста воспрепятствовать его назначению также не остались для него тайной. Теперь настал час возмездия за это оскорбление, и тяжело расплатился курфюрст за то, что восстановил против себя наимстительнейшего человека на свете. Невозможно, так ответил Валленштейн, оставить Чехию беззащитной. Лучше всего Австрия будет защищена в том случае, если шведская армия выдохнется пред баварскими крепостями. Так наказывал он своего врага рукою шведов. И в то время как одна крепость за другою переходила в их руки, он заставил курфюрста тщетно ждать в Регенсбурге его прибытия. Лишь тогда, когда полное покорение Чехии лишило его последних уважительных доводов, а завоевания Густава-Адольфа в Баварии стали угрожать непосредственно самой Австрии, он снизошел к настоятельным просьбам курфюрста и императора и решился на вожделенное объединение с первым, что, по чаяниям всех католиков, должно было решить судьбу войны.

Сам Густав-Адольф, не располагавший достаточными вооруженными силами, чтобы бороться даже с одной армией Валленштейна, боялся объединения двух столь сильных армий, и кажется удивительным, что он не старался более энергично воспрепятствовать этому соединению. Судя по всему, он слишком рассчитывал



на ненависть, разъединявшую обоих предводителей и препятствовавшую слиянию их войск для общей цели. Когда события опровергли его предположения, было уже поздно исправлять эту ошибку. Правда, при первом достоверном известии об их намерениях он поспешил в Верхний Пфальц, чтобы преградить путь курфюрсту, но тот уже предупредил его, и соединение произошло под Эгером.

Этот пограничный город избрал Валленштейн ареной замышленного им торжества над гордым противником. Не довольствуясь тем, что он увидит его у своих ног, униженно просящим, он вдобавок принудил его оставить беззащитными свои земли, прийти издалека на поклон к своему защитнику и этим длинным переходом смиренно признаться в своей беде и своем несчастии. И такому унижению покорно подчинился гордый государь! Тяжкой внутренней борьбы стоило курфюрсту прибегнуть к спасающей руке того, кто никогда не имел бы этой власти, если бы все шло согласно его, курфюрста, желаниям. Но однажды решившись, он имел достаточно мужества, чтобы перенести любое оскорбление, связанное с его решением, и достаточно владел собой, чтоб отнестись с презрением к мелким страданиям, если это было нужно для достижения великой цели.

Но если такой дорогой ценой куплена была лишь возможность этого объединения, то еще труднее было стовориться относительно условий, на которых оно могло состояться и вступить в силу. Для достижения цели слияния было необходимо вручить власть над объединенными войсками одному человеку, а между тем обе стороны были одинаково не склонны подчиняться чужому высшему авторитету. Если Максимилиан опирался на свой курфюрстский сан, на знатность своего происхождения, на свое значение в империи, то Валленштейн основывал свои отнюдь не меньшие притязания на своей военной славе и неограниченной власти, врученной ему императором. Насколько царственная гордость первого возмущалась необходимостью подчиниться велениям императорского слуги, настолько льстила высокомерию герцога мысль отдавать приказы

столь властному человеку. Возникли упорные пререкания, окончившиеся соглашением в пользу Валленштейна. Ему предоставлялась высшая власть над обеими армиями, власть неограниченная, особенно в дни сражений, а курфюрст отказывался от права менять не только боевые диспозиции, но и маршрут армии. У него осталось только право наказывать и награждать своих собственных солдат и свободно пользоваться ими тогда, когда они не будут заняты совместными действиями с императорскими войсками.

После этих приготовлений будущие союзники решились, наконец, встретиться лично, но это произошло лишь после того, как они обещали друг другу предать прошлое полному забвению и точнейшим образом были определены все внешние формальности обряда примирения. Согласно условию, оба герцога обнялись пред лицом своих войск, давая друг другу взаимные обещания хранить дружбу, в то время как сердца их кипели злобой. Максимилиан, опытный в науке притворства, достаточно владел собою, чтобы ни одним движением не выдать своих истинных чувств. Но в глазах Валленштейна сверкало злобное торжество, и принужденность, которая была заметна во всем его поведении, обнаруживала всю силу страстей, обуревавших его гордое сердце.

Соединенные императорско-баварские войска составляли армию почти в шестьдесят тысяч большею частью закаленных солдат, пред которыми шведский монарх не смел показаться в поле. После того как попытка воспрепятствовать их соединению не удалась, он поспешно отступил во Франконию и ожидал здесь решительного движения врага, чтобы сообразоваться с его действиями. Положение, занятое соединенной армией между границами Саксонии и Баварии, еще не давало возможности определить, перенесет ли она театр войны в первую из этих стран, или попытается изгнать шведов с Дуная, чтобы освободить Баварию. Арнгейм, в это время завоевывавший Силезию, оттянул войска из Саксонии, как утверждают многие, не без тайного расчета облегчить герцогу Фридрихскому вторжение в курфюршество и толкнуть нерешительного Иоганна-

Георга на договор с императором. Сам Густав-Адольф, уверенный, что Валленштейн двинется на Саксонию, поспешно отправил туда, чтобы не оставить своего союзника без помощи, значительные подкрепления, твердо намереваясь последовать за ними со всей своей армией, как только позволят обстоятельства. Но передвижения армии Валленштейна скоро показали ему, что она идет на него самого, а следование герцога чрез Верхний Пфальц ставило это вне всяких сомнений. Настал час подумать о своей собственной безопасности, сражаться не столько за владычество в Германии, сколько за свое существование, и искать средств к спасению в изобретательности своего гениального ума. Приближение неприятеля застигло Густава-Адольфа врасплох, прежде чем ему удалось стянуть свои войска, рассеянные по всей Германии, и призвать на помощь союзных государей. Не располагая достаточными силами, чтобы задержать продвижение императорских войск, он должен был выбрать одно из двух: либо броситься в Нюрнберг, рискуя, что будет здесь взят в кольцо всей армией Валленштейна и погибнет от голода, либо, пожертвовав этим городом, ожидать под защитой пушек Донауверта подкреплений. Не страшась ни тягот, ни опасностей, руководствуясь лишь человеколюбием и велениями чести, он без колебаний выбрал первое, твердо решив скорее похоронить себя со всей своей армией под развалинами Нюрнберга, нежели спастись ценою гибели этого союзного города.

Тотчас приступили к окружению города со всеми его предместьями непрерывной цепью окопов, а внутри ее стали устраивать укрепленный лагерь. Многие тысячи рук немедленно принялись за эту огромную работу. Всех обитателей Нюрнберга одушевляло геройское стремление отдать кровь, жизнь и достояние за общее дело. Вдоль всей линии укреплений был вырыт ров глубиной в восемь футов и шириной в двенадцать; линии защищались редутами и бастионами, входы — люнетами. Река Регниц, протекающая чрез Нюрнберг, разделяла весь лагерь на два полукруга, соединенные многими мостами. Около трехсот орудий стояло на городских стенах и пред окопами лагеря. Крестьяне из

окрестных селений и граждане Нюрнберга работали вместе со шведскими солдатами, так что уже на седьмой день армия могла занять лагерь, а на четырнадцатый вся гигантская работа была закончена.

Пока все это происходило в стенах города, магистрат Нюрнберга был занят наполнением складов и снабжением города всеми военными и съестными припасами, какие только могли понадобиться для продолжительной осады. При этом были приняты и весьма тщательные меры к охране здоровья жителей в связи с возможностью мора и болезни при большом скоплении людей. Чтобы в случае нужды действительно помочь королю, молодежь города училась владеть оружием, наличное городское ополчение было значительно усилено, и вооружили новый полк из двадцати четырех рот, с названиями по буквам старого алфавита. В то же время сам Густав требовал вспомогательных отрядов от союзников — герцога Вильгельма Веймарского и ландграфа Гессен-Кассельского, — а также приказал своим генералам на Рейне, в Тюрингии и Нижней Саксонии поспешно двинуться в путь и со своими войсками присоединиться к нему у Нюрнберга. Армия его, расположенная внутри укреплений этого имперского города, насчитывала несколько более шестнадцати тысяч человек — стало быть, не достигала и трети численности неприятельского войска.

Между тем это войско, медленно подвигаясь вперед, дошло до Неймарка, где герцог Фридрихландский произвел общий смотр. При виде такой грозной силы он не мог удержаться от мальчишеского бахвальства. «Через четыре дня будет решено, — воскликнул он, — кому из нас двоих быть владыкой мира — королю Шведскому или мне!» Но, несмотря на все превосходство своих войск, он не предпринимал ничего, чтобы претворить это высокомерное обещание в дело, и даже упустил случай разбить неприятеля наголову, когда тот отважился двинуться из окопов ему навстречу. «Довольно было сражений, — ответил он тем, которые побуждали его к нападению, — пора держаться иного метода». Здесь сказалось преимущество испытанного полководца, чья прочная слава не нуждается в тех рискованных

операциях, на которые поспешно идут другие, чтобы составить себе имя. Убежденный, что неприятель, движимый мужеством отчаяния, очень дорого продаст победу, а неудача, испытанная в этих краях, безвозвратно погубит дело императора, Валленштейн удовлетворился решением истощить воинский пыл своего противника долговременной осадой и, лишив его всякой возможности бурного натиска, тем самым отнять у него преимущество, до той поры делавшее его столь непобедимым. Не предпринимая поэтому никаких действий, он расположился сильно укрепленным лагерем по ту сторону Регница, напротив Нюрнберга, и благодаря этой удачно выбранной позиции отрезал как городу, так и шведскому лагерю всякий подвоз припасов из Франконии, Швабии и Тюрингии. Осадив таким образом короля в городе, он надеялся медленно, но зато верно подорвать голодом и болезнями мужество противника, которое не собирался испытывать в сражении.

Но слишком мало знакомый со средствами и силами противника, он недостаточно позаботился о том, чтобы оградить самого себя от той судьбы, которую готовил королю. Крестьяне со своими запасами покинули всю округу, а за скудные остатки провианта герцогским фуражирам приходилось драться со шведскими. Король щадил городские запасы, покуда возможно было получать провиант из окрестных деревень, и непрекращавшиеся набеги хорватов и шведских отрядов приводили к постоянным стычкам между ними, пагубные следы которых обнаруживались во всей этой местности. С мечом в руке приходилось добывать продовольствие, и без значительного вооруженного прикрытия ни та, ни другая сторона не решалась отправляться на фуражировку. Когда наступила нехватка припасов, город Нюрнберг, правда, открыл королю свои кладовые, но Валленштейн вынужден был подвозить продовольствие для своих войск издалека. Большой обоз съестных припасов, закупленных им в Баварии, находился в пути, и тысяча воинов была послана сопровождать его до лагеря. Уведомленный об этом, Густав-Адольф поспешил отправить конный полк, чтобы

захватить этот транспорт, и ночной мрак помог успеху экспедиции. Весь обоз вместе с городом, где он остановился, попал в руки шведов; конвой был изрублен, около тысячи двухсот волов угнано, а тысяча телег с хлебом, которые невозможно было увезти, сожжены. Семь полков, двинутых герцогом Фридландским к Альтдорфу на защиту этого долгожданного обоза, были после упорного боя рассеяны королем, выступившим, чтобы прикрыть возвращение своих солдат, и были вынуждены, потеряв четыреста человек убитыми, вернуться в императорский лагерь. Эти многочисленные злоключения и стойкость короля, на которую герцог Фридландский никак не рассчитывал, заставили его раскаяться в том, что он упустил случай к сражению. Теперь неприступность шведского лагеря делала всякое нападение невозможным, а вооруженная молодежь Нюрнберга служила королю надежным военным резервом, из которого он быстро пополнял всякую убыль в людях. Недостаток продовольствия, ощущавшийся в императорском лагере, так же сильно как в шведском, вызывал большие сомнения в том, какая из обеих сторон раньше принудит другую к отступлению.

Уже две недели стояли обе армии лицом к лицу под охраной равно неприступных укреплений, отваживаясь на одни только небольшие набеги и незначительные стычки. В обеих армиях заразные болезни, естественное следствие плохого питания и скученности, вызывали большие потери, нежели неприятельский меч, и бедствия эти возрастали с каждым днем. Наконец, в шведском лагере появились долгожданные вспомогательные войска, и значительное усиление дало теперь королю возможность руководствоваться велениями своего природного мужества и разорвать путы, связывавшие его до сих пор.

По его требованию герцог Веймарский Вильгельм поспешно составил из гарнизонов Нижней Саксонии и Тюрингии отряд, к которому присоединились у Швейнфурта во Франконии четыре саксонских полка, а вслед за тем у Кицингена — рейнские войска, отправленные на помощь королю ландграфом Гессен-Кассельским Вильгельмом и пфальцграфом Биркенфельдским. Канц-

лер Оксеншерна взялся вести этот корпус к месту назначения. Соединившись в Виндсгейме с герцогом Веймарским Бернгардом и шведским генералом Баннером, он двинулся ускоренными переходами к Бруку и Эльтерсдорфу, где переправился через Регниц, и благополучно достиг шведского лагеря. Это подкрепление насчитывало до пятидесяти тысяч человек с шестьюдесятью орудиями и обозом в четыре тысячи подвод. Таким образом Густав-Адольф оказался во главе почти семидесятитысячной армии, не считая ополчения города Нюрнберга, который мог в случае надобности выставить в поле тридцать тысяч боеспособных граждан,— устрашающая сила, которой противостояла другая, не менее устрашающая. Казалось, все неистовство войны разразится в одном сражении, которому суждено определить ее исход. Трепетно созерцала расколота на партии Европа это поле битвы, где, точно в фокусе, грозно сосредоточились силы обеих враждующих сторон.

Но если еще до прибытия подкреплений была велика нужда в хлебе, то теперь это бедствие в обоих лагерях (ибо Валленштейн тоже получил подкрепление из Баварии) достигло ужасающих размеров. Кроме ста двадцати тысяч солдат, стоявших друг против друга с оружием в руках, кроме великого множества — более пятидесяти тысяч — лошадей в обеих армиях, кроме жителей Нюрнберга, далеко превосходивших численностью шведское войско, в одном только лагере Валленштейна было до пятнадцати тысяч женщин и столько же погонщиков и слуг, и не менее того — в шведском. По обычаю того времени, солдат мог брать в поход свое семейство. За императорским войском следовало бесчисленное множество женщин легкого поведения, а строгий надзор за нравами в шведском лагере, где не допускался никакой разврат, способствовал законным бракам. Для молодого поколения, которому шведский лагерь стал отечеством, были устроены настоящие походные школы, где воспитывались превосходные солдаты, так что армии во время продолжительной войны могли пополняться собственными резервами рекрутов. Нет ничего удивительного, что эти

кочующие народы истощали всякую страну, где они разбивали свой стан, и вследствие этого ненужного при- датка продовольствие неизмеримо подымалось в цене. Все мельницы вокруг Нюрнберга не успевали молоть зерно, которое лагерь поглощал ежедневно, и пятьде- сят тысяч фунтов хлеба, которые город ежедневно по- ставлял туда, лишь дразнили голод, но не утоляли его. Поистине изумительная заботливость нюрнбергского магистрата не могла предотвратить огромной убыли лошадей из-за недостатка фуража, а заразные болезни, свирепствовавшие все сильнее, уносили ежедневно бо- лее ста человек.

Чтобы положить конец этому бедствию, Густав- Адольф, в надежде на превосходство своих сил, поки- нул, наконец, на пятьдесят пятый день свои окопы, двинулся в полном боевом порядке на неприятеля и из трех батарей, расположенных на берегу Регница, от- крыл огонь по лагерю Валленштейна. Но герцог не тро- гался из своих укреплений, удовлетворяясь тем, что издали отвечал на этот вызов мушкетным и пушечным огнем. Он вполне обдуманно решился истомить короля бездействием и победить его упорство голодом, и ни на- стояния Максимилиана, ни нетерпение его армии, ни издевательства неприятеля не могли поколебать этого решения. Обманутый в своей надежде и теснимый все возрастающей нуждой, Густав-Адольф решился на не- возможное: штурмом взять лагерь, который природные условия и военное искусство сделали вдвойне непри- ступным.

Поручив охрану лагеря нюрнбергскому ополчению, он в день св. Варфоломея, на пятьдесят восьмой день пребывания шведской армии в нюрнбергских укрепле- ниях, двинулся вперед в полном боевом порядке и пе- решел у Фюрта через Регниц, где без труда заставил отступить неприятельские форпосты. Главные силы неприятеля были расположены между Бибером и Ре- гницем на крутых холмах, называвшихся Старая Кре- пость и Альтенберг, а сам лагерь тянулся в необозри- мую даль по равнине у подножия этих холмов. Вся артиллерия была расположена на обоих холмах. Не- приступные укрепления были окружены глубокими



рвами; частые засеки и колючие палисады преграждали доступ к крутой горе, с вершины которой Валленштейн, спокойный и уверенный, как бог, метал свои молнии сквозь черные облака дыма. За брустверами штурмующего смельчака ждал коварный огонь мушкетов, из сотен зияющих пушечных жерл на него глядела верная смерть. На этом опасном пункте сосредоточил Густав-Адольф нападение, и пятистам мушкетерам, подкрепленным незначительным отрядом пехоты (большее количество не могло в этой тесноте действовать разом), досталась незавидная участь первыми броситься в разверстую пасть смерти. Яростен был приступ, страшен отпор; под бешеным огнем неприятельских орудий, без прикрытия, полные ярости перед лицом неизбежной смерти, эти бесстрашные воины бегом взбираются на холм, который в мгновение ока превращается в пылающую Геклу и с грохотом извергает на них чугунный град. В то же время тяжелая кавалерия врывается в бреши, созданные неприятельскими ядрами в сомкнутых колоннах нападающих: Тесные ряды расстраиваются, и стойкие герои, побежденные соединенными усилиями природы и людей, обращаются в бегство, оставляя на месте сотни убитых. Густав-Адольф беспристрастно предоставил кровавое начало первого штурма немцам. Раздраженный их отступлением, король повел на приступ своих финляндцев в расчете, что их северная отвага посрамит немецкую трусость. Но и его финляндцы, принятые таким же огненным дождем, уступают численному превосходству, и свежий полк, сменяющий их, возобновляет нападение столь же безуспешно. Его сменяет четвертый, и пятый, и шестой, так что в продолжение десятичасового боя все полки один за другим идут на приступ и все уходят с поля битвы истерзанными и поредевшими. Тысячи изувеченных трупов покрывают место побоища, и Густав, не побежденный, продолжает нападение, а Валленштейн непоколебимо защищает свои окопы.

Тем временем между императорской конницей и левым крылом шведов, расположенным в зарослях у Реница, завязывается яростный бой, где неприятель с пе-

ременным счастьем становится то побежденным, то победителем, и обе стороны равно истекают кровью, равно свершают чудеса храбрости. Под герцогом Фридландским и принцем Веймарским Бернгардом убиты кони; у короля осколок ядра отрывает подошву от сапога. С неустанной яростью возобновляются нападение и отпор, пока, наконец, на поле битвы не спускается ночной мрак, призывая неистовствующих бойцов к покою. Но шведы слишком далеко подвинулись вперед, чтобы они могли без опаски начать отступление. В то время как король разыскивает какого-нибудь офицера, чтобы через него передать всем полкам приказ об отступлении, ему встречается полковник Геброн, храбрый шотландец, который, движимый лишь природным мужеством, покинул лагерь, чтобы разделить с другими опасности этого дня. Рассердясь на короля, который недавно для одного опасного поручения предпочел ему офицера помоложе, он поклялся, что никогда больше не будет сражаться за Густава-Адольфа. К нему обращается теперь король и, похвалив за мужество, предлагает ему повести полки обратно. «Государь,— отвечает храбрый солдат,— вот единственная услуга, в которой я не могу отказать вашему величеству, потому что это — опасное дело»,— и тотчас покидает короля, чтобы исполнить его поручение. Хотя в пылу сражения герцог Веймарский Бернгард овладел одной из высот над Старой Крепостью, откуда можно было обстреливать гору и весь лагерь, однако после сильного дождя, лившего всю ночь, склон горы стал таким скользким, что невозможно было втащить наверх орудия, и поэтому пришлось добровольно покинуть эту позицию, завоеванную потоками крови. Не доверяя счастью, которое ему изменило в этот критический момент, король не решился на следующий день с истощенными войсками возобновить приступ, и, побежденный впервые, потому что впервые не был победителем,— отвел свои войска обратно за Регниц. Две тысячи убитых, оставленные им на месте, свидетельствовали о его потерях, а герцог Фридландский остался в своих окопах непобежденным.

Еще целых две недели после этого столкновения обе армии стояли лагерем друг против друга, каждая в расчете принудить другую выступить первой. Чем более таяли с каждым днем скудные запасы провианта, тем ужаснее становились муки голода, тем более дичали солдаты, тем сильнее терпели окрестные крестьяне от их зверского хищничества. Все возрастающая нужда расшатывала порядок и дисциплину в шведском лагере. Особенно отличались насилиями над другом и недругом без различия немецкие полки. Слабая рука одного человека не могла преодолеть беззаконие, которое низшие начальники, казалось, одобряли своим молчанием и даже поощряли собственным пагубным примером. Больно терзало короля это позорное разложение военной дисциплины, которою он до сих пор так справедливо гордился, и сила, с которой он упрекал немецких офицеров, свидетельствовала о ярости его негодования. «Вы, немцы,— воскликнул он,— вы грабите ваше собственное отечество и терзаете ваших единоверцев! Бог свидетель, я презираю вас, я чувствую к вам отвращение, и сердце мое переполняется горечью, когда я смотрю на вас. Вы не исполняете моих приказаний, вы — причина того, что мир проклинает меня, что меня преследуют слезы ни в чем не повинных людей, доведенных до нищеты, что мне приходится открыто слышать: король, наш друг, приносит нам больше горя, чем наши злейшие враги. Ради вас я опустошил казну моей державы и истратил более сорока бочек золота, а от вашего германского государства не получил даже на жалкую одежонку. Я отдал вам все, чем бог наделил меня, и с радостью разделил бы между вами все, что он еще может мне пожаловать в будущем, лишь бы только вы слушались моих приказаний. Ваше неповиновение убеждает меня, что вы замышляете недоброе, хотя я имею все основания хвалить вашу храбрость».

Ценою невероятных усилий Нюрнберг в течение одиннадцати недель кормил несметное множество народу, скопившееся в его стенах. Но, наконец, запасы иссякли, и король, у которого людей было гораздо больше, вынужден был поэтому первый решиться на

отступление. Нюрнберг похоронил более десяти тысяч своих жителей, а Густава-Адольфа военные действия и болезни лишили свыше двадцати тысяч солдат. Все окрестные нивы были вытоптаны, деревни обращены в пепел, ограбленные крестьяне умирали от истощения на дорогах, ядовитые испарения отравляли воздух; заразные болезни, вызванные скудным питанием, скоплением в лагере такой массы народа, множеством разлагающихся трупов и летним зноем, свирепствовали среди людей и животных, и долго еще после ухода армий вся страна тяжело страдала от голода и нищеты. Тронутый всеобщими бедствиями, потеряв надежду преодолеть упорство герцога Фридландского, король снялся 8 сентября с лагеря и покинул Нюрнберг, оставив здесь на случай приступа достаточный гарнизон. В полном боевом порядке прошел он мимо неприятеля, который не тронулся с места, шагу не сделал, чтобы помешать его отступлению. Он направился к Нейштадту на Айше и Виндсгейму, где остановился на пять дней, чтобы дать роздых своим войскам и находиться поблизости от Нюрнберга на случай, если бы неприятель вздумал что-либо предпринять против этого города. Но Валленштейн, не менее нуждавшийся в отдыхе, ждал лишь отступления шведов, чтобы двинуться в путь со своими войсками. Через пять дней и он покинул свой лагерь у Цирндорфа, обратив его предварительно в пепел. Сотни клубов дыма, вздымавшихся из подожженных деревень в окрестностях, возвестили о его отступлении и показали успокоенному городу, какой участи он избегнул. Путь Валленштейна, направившегося к Форхгейму, был ознаменован невероятнейшими опустошениями.

Но он с чрезвычайной быстротой ушел так далеко, что королю не удалось бы настигнуть его. Густав-Адольф разделил свою армию, которую не могла прокормить истощенная страна, на две части, чтобы одну оставить для защиты Франконии, а самому вместе с другою частью продолжать завоевание Баварии.

Между тем императорско-баварская армия двинулась в епископство Бамбергское, где герцог Фридланд-

ский произвел ей вторичный смотр. Оказалось, что шестидесятитысячное войско вследствие войны, побегов и болезней сократилось до двадцати четырех тысяч человек, четвертую часть которых составляли баварцы. Таким образом, пребывание под Нюрнбергом ослабило обе стороны более, чем два проигранных сражения, немало не приблизило окончания войны и ни единым решающим событием не удовлетворило напряженных ожиданий всей Европы. Правда, диверсия под Нюрнбергом на некоторое время остановила продвижение короля в Баварии и даже оградила Австрию от его вторжения. Но отступление императорских войск от Нюрнберга снова дало ему полную возможность сделать Баварию театром войны. Не заботясь о судьбе этой страны и тяготясь вынужденным союзом с курфюрстом, герцог Фридрихский жадно ухватился за возможность избавиться от неудобного соратника, а затем с новым усердием взялся за осуществление своих сокровенных замыслов. Все еще упорствуя в своем первоначальном намерении отколоть Саксонию от Швеции, он назначил Саксонию местом зимовки своих войск, надеясь бременем их пребывания принудить курфюрста к сепаратному миру.

Обстоятельства как нельзя более благоприятствовали такому плану. Саксонцы вторглись в Силезию, где они в союзе с бранденбургскими и шведскими вспомогательными войсками одерживали над императорской армией победу за победой. Отвлечением курфюрста в его собственные владения создавалась возможность спасти Силезию, и это было тем легче, что из-за сосредоточения саксонских войск в Силезии сама Саксония осталась без защиты и была со всех сторон открыта неприятелю. Необходимость спасти одну из наследственных земель Австрии свела на нет все возражения курфюрста Баварского, которым теперь можно было пожертвовать, ничем не рискуя, под маской патриотической заботы об интересах императора. Оставляя в добычу королю Шведскому богатую Баварию, можно было надеяться, что он не будет мешать императорским войскам действовать в Саксонии, и все возрастающая холодность отношений между ним и саксонским двором

не давала оснований бояться, что король проявит особую заботу о спасении Иоганна-Георга. Снова покинутый таким образом своим коварным защитником, курфюрст Баварский отделился в Бамберге от Валленштейна, чтобы с жалкими остатками своих войск оборонять свою беззащитную страну, тогда как императорская армия под предводительством Валленштейна двинулась чрез Байрейт и Кобург к Тюрингенскому лесу.

Императорский генерал фон Гольк с шеститысячным отрядом был уже отправлен вперед в Фохтланд, дабы огнем и мечом опустошить эту беззащитную область. Вслед за ним был послан второй полководец герцога и столь же верное орудие его бесчеловечных приказаний, Галлас. Наконец, из Нижней Саксонии был вызван также граф Паппенгейм, чтобы подкрепить ослабленную армию герцога и довершить бедствия Саксонии. Разрушенные церкви, сожженные деревни, растоптанные жатвы, ограбленные семьи, трупы убитых отмечали путь этих варварских полчищ. Вся Тюрингия, Фохтланд и Мейсен пали под ударами этого тройного бича. Но то были лишь предвестники гораздо больших бедствий, которыми злосчастной Саксонии угрожал сам герцог с главной своей армией. Оставив на пути чрез Франконию и Тюрингию чудовищнейшие следы своего неистовства, он появился со всем своим войском под Лейпцигом и после недолгой осады принудил город сдаться. Он предполагал продвинуться к Дрездену и, заняв всю страну, навязать курфюрсту свою волю. Он приближался к реке Мульде, чтобы численным превосходством своих войск раздавить саксонскую армию, двинувшуюся навстречу ему и уже дошедшую до Торгау; но неожиданное появление короля в Эрфурте положило предел его завоевательным планам. Теснимый саксонскими и шведскими войсками, которые еще намеревался подкрепить выступивший из Нижней Саксонии герцог Лüneбургский Георг, Валленштейн поспешно отступил к Мерзебургу, чтобы соединиться здесь с графом Паппенгеймом и решительно выбить вторгнувшихся в эту местность шведов.

С чрезвычайной тревогой следил Густав-Адольф за уловками Испании и Австрии, все пускавших в ход, чтобы отколоть от него союзного государя. Союз с Саксонией был для него чрезвычайно важен, но он имел веские основания бояться непостоянства Иоганна-Георга. Между ним и курфюрстом никогда не было искренних дружеских отношений. Для государя, гордого своим политическим значением и привыкшего смотреть на себя как на главу своей партии, вмешательство сторонней силы в германские дела было, разумеется, весьма подозрительно и тягостно, и лишь крайне стесненное положение его государства могло временно заглушить недовольство, возбуждаемое в нем успехами этого незнамого чужака. Все возраставший авторитет короля в Германии, его огромное влияние на протестантских государей, недвусмысленные доказательства его честолюбивых замыслов, достаточно подозрительные, чтобы вызвать настороженность имперских чинов, породили в курфюрсте великую тревогу, которую агенты императора сумели искусно поддержать и усилить. Каждый шаг короля, каждое, хотя бы самое справедливое, требование, обращенное им к германским владетельным князьям, служили для курфюрста поводом к горьким жалобам, казалось предвещавшим близкий разрыв. Даже у полководцев обеих сторон, как только им приходилось действовать совместно, сплошь и рядом проявлялись отголоски соперничества, разделившего их государей. Врожденное отвращение Иоганна-Георга к войне и все еще не вполне подавленная преданность его Австрии благоприятствовали стараниям Арнгейма, который, поддерживая постоянные сношения с Валленштейном, неуклонно старался склонить своего государя к сепаратному соглашению с императором. И если его настояния долгое время оставались безуспешными, то позднее исход событий показал, что они все-таки несколько повлияли на курфюрста.

Густав-Адольф, справедливо опасавшийся последствий отпадения столь важного союзника его партии для своих дальнейших действий в Германии, всеми способами старался удержать курфюрста от столь

опасного шага, и до сих пор его представления производили некоторое действие. Но военная мощь, придававшая огромный вес соблазнительным предложениям императора, и бедствия, какими он грозил Саксонии в случае дальнейшего сопротивления, бесспорно должны были поколебать в конце концов стойкость курфюрста, в случае если бы его оставили без помощи, в жертву врагам; вдобавок равнодушие к столь важному союзнику могло навсегда уничтожить доверие всех остальных соратников Швеции к их защитнику. Это соображение заставило короля Швеции вторично уступить настоятельным призывам теснимого курфюрста и ради спасения союзника пожертвовать всеми своими блестящими перспективами. Он уже решил вторично двинуться на Ингольштадт, и слабость курфюрста Баварского давала ему основание надеяться, что теперь этот вконец истощенный враг вынужден будет согласиться на нейтралитет. А затем крестьянское восстание в Верхней Австрии должно было открыть ему путь в эту страну, и резиденция императора могла очутиться в его руках, прежде чем Валленштейн успел бы явиться на помощь. Но всем этим ослепительным надеждам он предпочел спасение союзника, не стоившего такой жертвы ни по своим заслугам, ни по своим намерениям, союзника, который в обстоятельствах, прежде всего требовавших единодушия, по своему мелкому эгоизму думал лишь о своей выгоде, с которым приходилось считаться не из-за тех услуг, которые он мог оказать, а из-за того вреда, которого можно было от него ожидать. И трудно подавить чувство гнева при мысли, что как раз на пути к спасению курфюрста доблестный король нашел предел своим подвигам.

Быстро сосредоточив войска во Франконии, он последовал за армией Валленштейна чрез Тюрингию. Герцог Веймарский Бернгард, высланный против Паппенгейма, присоединился у Арнштадта к королю, возглавившему теперь двадцатитысячное испытанное войско. В Эрфурте король простился со своей супругой, которой суждено было вновь увидеть его лишь в Вейсенфельсе — уже в гробу; грустное торопливое про-



щание было как бы предвестником вечной разлуки. Он прибыл в Наумбург 1 ноября 1632 года, прежде чем отправленный сюда отряд герцога Фридландского мог овладеть этим городом. Толпами стекался народ из окрестностей взглянуть на героя, на мстителя, на великого короля, который год назад явился сюда подобно ангелу-хранителю. Клики ликования сопровождали его везде, где бы он ни появлялся. Все молитвенно преклоняли колена перед ним, спорили из-за счастья коснуться ножен его шпаги, края его платья. Герой, исполненный смирения, возмущался этой невинной данью искреннейшей благодарности и восторга. «Этот народ как бы обожествляет меня,— говорил он своим спутникам.— Дела наши идут хорошо; но я боюсь, что кара небесная постигнет меня за столь нечестивое скоморошество и вскорости раскроет этой неразумной толпе, что я лишь слабый смертный человек». В каком привлекательном свете является нам Густав в момент, когда нам предстоит проститься с ним навсегда! Даже на вершине счастья почитая карающую Немезиду, он отвергает поклонение, подобающее лишь бессмертным, и его право на наши слезы становится неоспоримым именно тогда, когда уже близко событие, которое заставит их струиться.

Тем временем герцог Фридландский двинулся навстречу приближающемуся королю, твердо решив хотя бы ценой битвы сохранить за собой зимние квартиры в Саксонии. Он дошел до Вейсенфельса. Его бездействие под стенами Нюрнберга навлекло на него подозрение в том, что он не решается помериться силами с северным героем; вторично уклонясь от сражения, он мог лишиться всей своей славы. Численное превосходство его войск, правда далеко не столь значительное, как в первое время пребывания под Нюрнбергом, давало ему основание твердо надеяться на победу, если бы только ему удалось вызвать короля на бой до соединения шведов с саксонцами. Но теперь уверенность Валленштейна покоилась не столько на численности его армии, сколько на уверениях его астролога Сени, который прочитал в звездах, что счастье швед-

ского короля закатится в ноябре. К тому же местность от Камбурга до Вейсенфельса, между горной цепью и протекающей вдоль нее рекой Заале, изобилует теснинами, которые чрезвычайно затрудняли дальнейшее продвижение шведской армии. Чтобы совершенно запереть эти теснины, требовалось немного войск. Тогда у короля не было бы другого выбора, как пробиться чрез эти теснины, подвергаясь величайшей опасности, или же предпринять трудное отступление через Тюрингию и потерять значительную часть своей армии в опустошенной области, совершенно лишенной продовольствия. Быстрота, с которой Густав-Адольф взял Наумбург, уничтожила этот плац, и теперь ждать нападения пришлось самому Валленштейну.

Но он обманулся в этом ожидании: король, вместо того чтобы двинуться навстречу ему к Вейсенфельсу, начал окапываться у Наумбурга, ожидая здесь подкреплений, которые собирался доставить ему герцог Люнебургский. Не зная, что предпринять — идти ли на короля чрез теснины между Вейсенфельсом и Наумбургом, или оставаться в бездействии в своем лагере, Валленштейн собрал военный совет, чтобы осведомиться о мнении своих испытаннейших генералов. Никто из них не считал целесообразным напасть на короля в выгодной для него позиции, а энергия, с которой он укреплял свой лагерь, указывала достаточно ясно, что он вовсе не собирается покинуть его так скоро. Но приближение зимы также не позволяло затягивать долее кампанию и истощать столь утомленную армию долгим пребыванием на стоянках. Все единогласно высказались за окончание похода, тем более что имевшему важное значение городу Кельну на Рейне серьезно угрожали голландские войска, а успехи неприятеля в Вестфалии и на Нижнем Рейне настоятельно требовали помощи в этих местностях. Признав всю серьезность выслушанных доводов, герцог Фридрихландский, почти уверенный, что король не решится на нападение в это время года, отпустил свои войска на зимние квартиры, но так, что они могли быть немедленно собраны, если бы неприятель против всякого

ожидания отважился на выступление. Граф Паппенгейм был поспешно отправлен с большей частью войска на помощь Кельну; вдобавок ему было поручено овладеть по дороге крепостью Морцбургом близ Галле. Отдельные корпуса расположились на зимних квартирах в наиболее подходящих для этого окрестных городах, чтоб иметь возможность отовсюду наблюдать за движениями неприятеля. Граф Коллоредо стоял с гарнизоном в замке Вейсенфельсе, а сам Валленштейн с остальными войсками остановился неподалеку от Мерзебурга, между Флосграбенем и Заале, откуда он предполагал двинуться чрез Лейпциг, чтоб отрезать саксонцев от шведской армии.

Но едва только Густав-Адольф получил весть об уходе Паппенгейма, как он внезапно покинул лагерь у Наумбурга, чтобы всей своей мощью атаковать вполнину ослабленные вражеские войска. Форсированным маршем двинулся он на Вейсенфельс, откуда слух о его наступлении быстро дошел до неприятеля, повергнув герцога Фридландского в величайшее изумление. Нужно было немедленно решить, как действовать дальше, и герцог не замедлил принять соответственные меры. Хотя двадцатитысячному войску неприятеля он мог противопоставить лишь немного более двенадцати тысяч человек, однако была надежда продержаться до возвращения Паппенгейма, который за это недолгое время мог отдалиться самое большее на пять миль по направлению к Галле. Тотчас помчались гонцы, чтобы воротить его, а сам Валленштейн перешел на широкую равнину между Флосграбенем и Люценом, где в полном боевом порядке ожидал короля, отрезав его таким образом от Лейпцига и саксонцев.

Три выстрела пушек графа Коллоредо, занимавшего Вейсенфельсский замок, возвестили приближение короля, и по этому условленному сигналу передовые отряды Валленштейна сомкнулись под начальством предводителя хорватов Изолани, чтобы занять лежащие по течению Риппах деревни. Их слабое сопротивление не остановило наступавшего неприятеля, который у деревни Риппах перешел через речку того же названия и расположился ниже Люцена против боевой ли-

нии императорской армии. Между Люценом и Маркранштедтом большую дорогу из Вейсенфельса в Лейпциг перерезает канал Флосграбен, который тянется от Цейца до Мерзбурга, соединяя Эльстер с Заале. В этот канал упиралось левое крыло императорских войск и правое — короля Шведского, но таким образом, что кавалерия обеих сторон стояла и по ту сторону канала. Севернее Люцена расположено было правое крыло Валленштейна, а на юг от этого городка — левое крыло шведов. Фронт обеих армий был обращен к большой дороге, проходившей посредине между ними и отделявшей одну боевую линию от другой. Но вечером накануне сражения Валленштейн, к большому неудобству для противника, занял эту дорогу, приказав углубить окаймляющие ее с обеих сторон рвы и расположив в них стрелков, так что переход через дорогу был сопряжен с чрезвычайными трудностями и опасностями. За дорогой возвышалась батарея из семи больших орудий; она должна была усилить огонь, который мушкетерам предстояло вести из рвов, а у ветряных мельниц за Люценом стояли четырнадцать полевых орудий меньшего калибра, из которых можно было обстреливать большую часть равнины. Пехота, разделенная всего на пять больших и неповоротливых колонн, стояла в боевом порядке в трехстах шагах за дорогой, а конница прикрывала фланги. Чтобы не мешать движениям частей, весь обоз был отправлен в Лейпциг, и лишь подводы с боевыми припасами стояли за войсками. Чтобы скрыть слабость армии, посадили на коней и присоединили к левому крылу всех погонщиков и слуг, но лишь до прибытия войск Паппенгейма. Все это успели сделать во мраке ночи, и уже до рассвета все было готово к встрече неприятеля.

В тот же вечер на противоположной стороне равнины появился Густав-Адольф и расположил свои войска к сражению. Боевой порядок был тот же, благодаря которому год тому назад была одержана победа при Лейпциге. Пехота перемежалась небольшими отрядами конницы; среди кавалерии местами были вкраплены группы стрелков. Вся армия была построена двумя линиями, имея Флосграбен по правую руку и

позади себя, дорогу перед собою и город Люцен на- лево. В центре находилась пехота под начальством графа Браге, кавалерия — на правом и левом флан- гах, артиллерия — перед фронтом. Германскому герою, герцогу Веймарскому Бернгарду, была поручена не- мецкая кавалерия левого крыла, а на правом сам король предводительствовал своими шведами, дабы воз- будить в этом благородном поединке соревнование обоих народов. В таком же порядке расположена была вторая линия войск, за которой стоял вспомогательный корпус под начальством шотландца Гендерсона.

Приготовясь таким образом, ожидали войска крова- вой зари, чтобы вступить в бой, который не столько возможные великие последствия, сколько долгое про- медление, не столько количество войск, сколько их со- став заранее определяли как кровопролитный и знаме- нательный. Напряженные ожидания Европы, обману- тые под стенами Нюрнберга, должны были разрешиться на равнинах Люцена. Два таких полководца, равных друг другу авторитетом, славой и дарованиями, ни разу еще не имели в течение всей этой войны случая помериться силами в открытом бою; никогда еще доб- лести не предстояло такого состязания, никогда еще чаяние столь необычайной награды не воодушевляло сердца. Наступающий день откроет Европе, кто вели- чайший из ее полководцев, и укажет, кто победит до- селе непобедимого. Наступающий день должен неоспо- римо решить, гений ли Густава-Адольфа, или же только неумелость его противника даровала ему победы на Лехе и при Лейпциге. Завтра победа герцога Фрид- ландского оправдает выбор императора, и величие пол- ководца перевесит цену, за которую он был куплен. Ревниво разделял каждый солдат армии славу своего вождя, и под каждым панцирем кипели те же чувства, что бушевали в груди полководцев. Неизвестно было, кто победит, но несомненно было — великих трудов и потоков крови будет стоить победа и сокрушителю и сокрушенному. Каждая сторона хорошо знала неприя- теля, с которым предстояло сразиться, и трепет, кото- рый тщетно старались подавить, являлся славным сви- детельством мощи противника.

Наконец, забрезжило роковое утро, но непроницаемый туман, заставший все поле битвы, оттягивает нападение до полудня. Коленопреклоненно творит король молитву пред фронтом, и вся армия, преклонив колена, оглашает в то же время равнину трогательным песнопением; трубные звуки сопровождают хорал. Затем король садится на коня, и в одном кожаном колете и суконном кафтане (старая рана не позволяла ему носить панцырь) объезжает ряды, чтобы поднять отвагу войск до степени твердой уверенности, которой нет в его собственной груди, теснимой тягостными предчувствиями. «С нами бог!» — боевой клич шведов; «Иисус, Мария!» — возглашают императорские солдаты. К одиннадцати часам начинает расходиться туман и становится виден неприятель. Глазам открывается объятый огнем Люцен, подожженный по приказу герцога, чтобы с этой стороны нельзя было предварить его выступление. Гремит сигнал — конница мчится на врага, пехота устремляется на рвы.

Встреченные неистовым огнем мушкетов и расположенных за дорогой тяжелых орудий, храбрые шведские батальоны продолжают наступать с непоколебимым мужеством; неприятельские стрелки покидают свою позицию; рвы уже остались позади, батарея взята, и ее огонь тотчас направлен на неприятеля. С неудержимой силой продолжают шведы свой натиск; первая из пяти колонн Валленштейна опрокинута, за ней — вторая, уже обращается в бегство третья, но не теряющий присутствия духа герцог останавливает их. С быстротою молнии является он, чтобы прекратить замешательство в рядах своей пехоты, и его властное слово удерживает бегущих. Разбитые было колонны, спешно подкрепленные тремя конными полками, снова выстраиваются против неприятеля и бурным натиском разрывают его ряды. Загорается смертный бой. Стоя лицом к лицу, враги не могут действовать ружьем; в ярости нападения некогда его заряжать; воины бьются врукопашную, один на один, бесполезный огнестрел сменяется мечом и пикой, а уменьше — бешенством. Уступая численности, отходят, наконец, истомленные шведы за рвы, причем ранее взятая батарея переходит

обратно к неприятелю. Тысячи изувеченных трупов покрывают поле, и никто еще не продвинулся ни на пядь.

Между тем правое крыло шведов под личным предводительством короля бросается на левое крыло неприятеля. Уже первый могучий натиск тяжелых финских кирасир рассеял легкую кавалерию поляков и хорватов, приданных к этому крылу, и их беспорядочное бегство вызывает страх и смятение во всей остальной коннице. В это время королю доносят, что его пехота отступила за рвы и что его левое крыло под страшным обстрелом неприятельских орудий, расположенных у ветряных мельниц, пришло в замешательство и тоже дрогнуло. Быстро решив, что делать, он поручает генералу Горну преследовать разбитое уже левое крыло неприятеля, а сам во главе полка Стенбока несетя восстановить порядок во всем левом крыле. Стрелюю мчит его благородный конь через рвы, но следующим за ним эскадронам этот переход дается труднее, и лишь немногим всадникам, среди которых надлежит назвать Франца-Альберта, герцога Саксен-Лауэнбургского, удалось остаться при нем. Он скачет прямо туда, где особенно стеснена его пехота, и пристально оглядываясь вокруг, чтобы высмотреть более слабое место во вражеских рядах и обрушить туда нападение, по своей близорукости подъезжает слишком близко к неприятелю. Императорский ефрейтор, заметив, что все почтительно расступаются пред этим несущимся впереди всадником, велит мушкетеру взять его на прицел. «Стреляй вон в того,— кричит он,— это, должно быть, знатная особа!» Солдат спускает курок и раздробляет королю левую руку. В это мгновение являются, мчась во весь опор, его эскадроны, и многоустный крик: «Король в крови — король убит!» — распространяет страх и ужас среди прибывших. «Пустяки — за мной!» — восклицает король, собрав все силы; но, ослабев от боли и теряя сознание, он по-французски просит герцога Лауэнбургского незаметно вывести его из толчеи. В то время как герцог, стараясь скрыть это удручающее зрелище от упавшей духом пехоты, в объезд поворачивает с раненым к правому

крылу, второй выстрел, поражающий короля в спину, лишает его последних сил. «Конец, брат! — восклицает он слабым голосом. — Спасай свою жизнь!» Свалившись с лошади, пораженный еще несколькими выстрелами, покинутый всеми своими спутниками, теснимый разъяренными кроатами, он испускает дух. Вскоре его окровавленный конь, несущийся без всадника, приносит шведской коннице весть о гибели короля, и она неистово бросается вперед, чтобы вырвать священную добычу из рук жадного врага. Кровопролитный бой завязывается вокруг его бездыханного тела, и изувеченный труп исчезает под кучей убитых.

Страшная весть мгновенно облетает все шведское войско. Но вместо того чтобы убить отвагу этих храбрых солдат, она зажигает в них новое бешеное, всепожирающее пламя. Жизнь теряет цену, так как погибла священнейшая из всех жизней, и смерть не пугает солдата после того, как она не пощадила главу, увенчанную короной. С лвиной яростью вторично бросаются упландские, смоландские, финские, ост- и вестготландские полки на левое крыло неприятеля, едва державшееся против генерала Горна и теперь совершенно выбитое из позиции. В тот же миг осиротевшее войско шведов получает в лице герцога Веймарского Бернгарда даровитого вождя, и дух Густава-Адольфа снова ведет его победоносные полки в бой. Быстро приведенное в порядок левое крыло мощным натиском опрокидывает правое крыло императорских войск. Орудия у ветряных мельниц, осыпавшие шведов столь убийственным огнем, теперь переходят в их руки, и залпы их обращаются против неприятеля. В центре — шведская пехота, под начальством Бернгарда и Книппгаузена, снова движется к дороге, благополучно переходит через рвы и вторично овладевает семипушечной батареей. С удвоенным остервенением бросаются теперь шведы на тяжелые батальоны неприятельского центра; те отбиваются все слабее и слабее; в союз со шведской отвагой, чтобы довершить поражение неприятеля, вступает случай. Огонь охватывает зарядные ящики в армии императора, кучи гранат и бомб разрываются с ужасающим грохотом. Ошеломленный



неприятель воображает, что его обошли с тыла, тогда как шведы яростно атакуют его спереди. Мужество покидает императорское войско. Его левое крыло разбито, правое близко к поражению, орудия в руках неприятеля. Битва клонится к исходу; уже судьба всего дня зависит от одного мгновения — и вдруг на поле битвы появляется Паппенгейм с кирасирами и драгунами. Все, чего шведы достигли, утрачено, и начинается совершенно новое сражение.

Приказ, призывавший этого генерала обратно в Люцен, настиг его в Галле как раз в то время, когда его солдаты еще усердно грабили этот город. Немыслимо было собрать рассеянную пехоту с той быстротой, какой требовали спешный приказ и нетерпение военачальника. Не дожидаясь пехоты, он приказал восьми полкам кавалерии сесть на коней и во главе их поехать во весь карьер к Люцену, чтобы принять участие в кровавом празднестве боя. Он прискакал как раз вовремя, чтобы явиться свидетелем бегства левого крыла императорских войск, разбитого Густавом Горном, и сначала даже сам был вовлечен в это бегство. Но, не утратив присутствия духа, он вновь собирает бегущих солдат и снова ведет их на неприятеля. Увлеченный своей дикой отвагой, горя нетерпением сразиться с самим королем, который, по его предположениям, должен был предводительствовать этим крылом, он бешено врывается в малочисленные и истомленные победой шведские полки, у которых хватает сил лишь на то, чтобы после отчаянного сопротивления погибнуть под этим шквалом. Угасшее было мужество императорской пехоты тоже вспыхивает вновь благодаря неожиданному появлению Паппенгейма, и герцог Фридландский искусно пользуется благоприятным мгновением, чтобы снова построить ряды в боевой порядок. Тесно сомкнутые шведские батальоны после кровопролитного боя опять оттеснены за рвы, и дважды потерянные пушки снова вырваны из их рук. Желтый полк, лучший из всех, давших в этот кровавый день доказательство своей геройской отваги, весь ложится костями на поле битвы, устилая его своими трупами в том же прекрасном боевом порядке, в каком он с таким стойким

мужеством защищал его при жизни. Та же участь постигла другой, синий полк, который после ожесточеннейшей борьбы уничтожила возглавленная графом Пикколомини императорская конница. Семь раз возобновлял этот выдающийся полководец атаку; семь коней пало под ним, и шесть мушкетных пуль пронзили его. Но он покинул поле битвы лишь тогда, когда его увлекло отступление всей армии. Сам герцог, под градом пуль, невозмутимо объезжает войска, всегда готовый выручить теснимого, похвалой ободрить храбреца и грозным взглядом покарать труса. Вокруг него валяются его солдаты, и плащ его пронизан множеством пуль; но боги мести охраняют сегодня его грудь, для которой уже отточен иной клинок; не на том одре, где кончил свои дни Густав-Адольф, суждено было Валленштейну испустить свой грешный дух.

Не так счастлив был Паппенгейм, Теламонид армии, самый грозный защитник Австрийского дома и церкви. Неодолимое стремление встретиться в бою с самим королем увлекло неистового графа в гущу кровавой свалки, где он с уверенностью рассчитывал найти своего благородного врага. Густав тоже горел желанием сойтись с этим достойным уважения противником, но их мечта помериться отвагой не осуществилась, и лишь смерть соединила примиренных героев. Две мушкетные пули пробили покрытую шрамами грудь Паппенгейма, и окружающие против его воли унесли его с поля сражения. В то время как графа выносили за боевую линию, до слуха его долетела весть, что тот, кого он искал, пал в бою. Когда эта весть подтвердилась, лицо его просияло, и последний проблеск огня сверкнул в его взоре. «Передайте герцогу Фридландскому, — сказал он, — что у меня нет надежды сохранить жизнь; но я радостно расстаюсь с нею, ибо знаю, что этот непримиримый враг моей веры пал в один день со мною».

Вместе с Паппенгеймом ряды императорских войск покинуло счастье. Потеряв своего победоносного вождя, уже разбитая было, но вновь сплоченная им конница левого крыла сочла все потерянным и, малодушно отчаявшись, обратилась в бегство. Такое же замешатель-

ство охватило правое крыло, за исключением немногих полков, не дрогнувших благодаря мужеству их вождей: Геца, Терцки, Коллоредо и Пикколомини. Шведская пехота немедля обращает смятение неприятеля на пользу себе. Чтобы заполнить бреши, пробитые смертью в их передних рядах, обе линии смыкаются в одну для последнего, решающего натиска. В третий раз переходят шведские войска через рвы, и в третий раз расположенные позади рвов орудия — в их руках. Солнце уже склоняется к западу, когда обе армии сходятся вновь. Перед концом бой кипит всего неистовее, последние силы стремятся побороть последние силы, уныние и ярость ни перед чем не останавливаются, чтобы в последние, драгоценные минуты вернуть то, что потеряно за весь день. Все напрасно — каждая из сражающихся армий в иступленном отчаянии превосходит самое себя: ни одна из них не способна победить, ни одна не согласна уступить, и если тактическое искусство на одной стороне пускает в ход все свои изумительные ресурсы, то на другой оно применяет новые, никому не известные, никем не испробованные приемы. Туман и ночная мгла кладут конец битве, которую длило ожесточение. Нападение прекращается, потому что неприятеля уже не различить. Обе армии расходятся по молчаливому соглашению, радостно гремят трубы, и каждое войско, объявляя себя непобежденным, покидает поле битвы.

За отсутствием лошадей, разбежавшихся во все стороны, артиллерия обеих армий оставалась всю ночь на поле брани; она могла стать одновременно и наградой и доказательством победы для того, кто овладел бы этим полем. Но герцог Фридрихский покинул Лейпциг и Саксонию так поспешно, что забыл захватить с собой орудия. Вскоре по окончании боя показались шесть полков пехоты Паппенгейма, которые не успели во-время догнать своего равшегося в бой полководца. Но все было кончено. Несколькими часами ранее эта значительная подмога решила бы, вероятно, сражение в пользу императора, и даже теперь, овладев полем битвы, прибывшие могли бы спасти артиллерию герцога и захватить шведские орудия. Но, не получив ни-

какого приказа и ничего не зная об исходе сражения, эти полки направились к Лейпцигу, где рассчитывали присоединиться к главной армии.

Сюда отступил герцог Фридландский; без пушек, без знамен и почти без всякого оружия последовали за ним на следующее утро рассеянные остатки его армии. Повидимому, между Люценом и Вейсенфельсом герцог Бернгард дал шведской армии отдых от трудов этого кровавого дня в достаточно близком расстоянии от поля битвы, чтобы помешать всякой попытке неприятеля овладеть им. Более девяти тысяч воинов обеих армий полегло в бою; еще гораздо больше было число раненых, особенно среди императорских солдат, между которыми не было почти никого, кто бы не пострадал в сражении. Вся равнина от Люцена до Флосграбена была покрыта ранеными, умирающими, убитыми. С обеих сторон пали многие представители знатнейших родов; заплатил смертью за свое любопытство и неуместное религиозное рвение аббат Фульдский, затесавшийся как зритель в ряды солдат. О пленных история умалчивает — еще одно доказательство остревенения армий, не дававших и не просивших пощады.

Паппенгейм скончался от ран в Лейпциге на следующий день — незаменимая потеря для императорской армии, которую так часто водил к победе этот замечательный воин. Пражское сражение, в котором он участвовал вместе с Валленштейном, командуя полком, было началом его доблестного пути. Благодаря своей бешеной отваге он с небольшим отрядом, опасно раненный, опрокинул целый полк неприятеля и в продолжение многих часов лежал на поле сражения под лошадью в груде трупов, пока его солдаты, грабившие мертвецов, не нашли его. С небольшим войском он усмирил сорок тысяч мятежников в Верхней Австрии, разбив их в трех сражениях; в битве под Лейпцигом он своей храбростью надолго оттянул поражение Тилли и доставил императорскому оружию ряд побед на Эльбе и Везере. Его дикая, безудержная отвага, презиравшая самую грозную опасность и с трудом смирявшаяся перед невозможным, делала его ужасающим орудием в руках полководца, но совершенно непригодным для роли

главнокомандующего. Если верить словам Тилли, битва при Лейпциге была проиграна из-за его невероятной горячности. Подобно Тилли, он обагрив свои руки кровью Магдебурга. Его ум, прекрасно развившийся благодаря усердным занятиям в юности и частым путешествиям, одичал в военной среде. На лбу его виднелись две алые, похожие на мечи полоски, которыми природа отметила его при рождении. И в зрелых летах эти пятна резко проступали всякий раз, когда страсть волновала его кровь. Суеверные люди говорили, что призвание воина отмечено было уже на лбу ребенка. Такой слуга имел самое несомненное право на благодарность обеих линий династии Габсбургов, но он не дожил до самого блистательного выражения этой благодарности. Гонец, везший ему из Мадрида орден Золотого руна, был в пути, когда смерть настигла Папценгейма в Лейпциге.

Хотя во всех австрийских и испанских землях отслужены были благодарственные молебны, славившие одержанную победу, но сам Валленштейн той невероятной быстротой, с которой он покинул Лейпциг, а затем — и Саксонию, отказавшись от зимовки в этом государстве, громко и открыто признал свое поражение. Правда, он сделал еще слабую попытку захватить как бы с налета славу победителя, выслав на другое утро своих хорватов произвести разведку вокруг поля битвы; но при виде шведского войска, стоявшего здесь в полном боевом порядке, эти летучие отряды мгновенно рассеялись, и герцог Бернгард, заняв поле сражения, а вскоре вслед за этим и Лейпциг, безраздельно вступил в права победителя.

Но как дорого досталась эта победа и как скорбно торжество! Лишь теперь, когда остыла ярость сражения, стала очевидной вся огромность потери, и ликующие клики победителей умолкли, сменяясь тоскливым, мрачным отчаянием. Он, кто вел их к победам, не вернулся вместе с ними. Там, на поле сражения, завершившегося победой, лежит он в груди мертвецов, ничем не прославившихся. После долгих напрасных поисков находят, наконец, прах короля возле большого камня между Флосграбенем и Люценом, камня, известного

уже сотни лет, но после достопамятного несчастья этого дня получившего название Шведского камня. Изувеченный ранами и залитый кровью до неузнаваемости, истоптанный лошадьми и ограбленный мародерами, которые сняли с него драгоценности и одежду, лежит он под кучей трупов, откуда его вытаскивают и переносят в Вейсенфельс; там войска встречают останки горестными стенаниями, королева заключает их в свои объятия. На первую дань за гибель монарха властно притязало возмездие — и в искушение его смерти пролились потоки крови; теперь любовь вступает в свои права, и тихие слезы струятся о человеке. Общее горе поглощает личную боль. В мрачном оцепенении, еще не придя в себя от ошеломляющего удара, окружают его гроб полководцы, и никто не может измерить всю огромность этой потери.

Император, повествует Кевенгиллер, при виде окровавленного колета, снятого с короля на поле битвы и отправленного в Вену, выказал пристойное случаю волнение, вероятно искреннее. «Охотно пожелал бы я долгой жизни и радостного возвращения на родину этому несчастному, — воскликнул он, — лишь бы в Германии воцарился мир!» Однако, если католический писатель наших дней, заслуги которого признаны, находит достойным высшей похвалы это изъявление не вполне заглушенных человеческих чувств, которое диктуется внешним приличием, исторгается себялюбием даже у наичерствейших сердец и недоступно лишь самой одичалой душе, если он сопоставляет поведение императора с великодушным отношением Александра к памяти Дария, то этими преувеличенными похвалами он только возбуждает в нас глубокое недоверие к остальным достоинствам своего героя или еще хуже — к своему собственному идеалу нравственного совершенства. Однако и такая похвала много значит для человека, которого приходится обелять от подозрения в цареубийстве.

Едва ли можно было ожидать, чтобы люди, с их непреодолимым влечением ко всему необыкновенному, допустили предположение, что славная жизнь Густава-Адольфа оборвалась в силу естественного хода вещей.

Смерть этого грозного противника была слишком важным событием для императора, чтобы у противной партии не возникла мысль — уж не причастен ли он к тому, что было ему так нужно. Но для исполнения этого злого дела императору нужна была чужая рука, и этим исполнителем общественное мнение называло Франца-Альберта, герцога Саксен-Лауэнбургского. Благодаря знатности он имел свободный доступ к шведскому королю, мог общаться с ним, не возбуждая недоверия, и высокому сану он был обязан тем, что его не заподозрили в столь гнусном замысле. Нужно, однако, еще доказать, что он был способен на такое злодеяние и что побуждений действительно совершить его у этого принца было предостаточно.

Франц-Альберт, младший из четырех сыновей Франца II, герцога Лауэнбургского, по материнской линии состоявший в родстве с династией Вазы, был в юности весьма радушно принят при шведском дворе. На одну непристойную выходку, которую он позволил себе в комнате королевы-матери по отношению к Густаву-Адольфу, пылкий юноша, как передают, ответил пощечиной. Правда, он тотчас раскаялся и дал обиженному полное удовлетворение, но в мстительной душе герцога зародилась непримиримая ненависть к Густаву. Впоследствии Франц-Альберт, вступив в императорскую армию, командовал там полком и очень близко сошелся с герцогом Фридландским; на него было возложено поручение, делавшее мало чести его высокому званию — вести тайные переговоры при саксонском дворе. Затем он, без достаточных к тому причин, внезапно оставил австрийские войска, явился в Нюрнберг, в лагерь короля, и добровольно предложил ему свои услуги. Усердием к делу протестантов и вкрадчивым, предупредительным обращением он привлекает к себе сердце короля, который, несмотря на тщетные предостережения Оксеншерны, дарит своей дружбой этого подозрительного пришельца и расточает ему милости. Вскоре затем происходит сражение при Люцене, во время которого Франц-Альберт ни на миг, точно злой дух, не оставляет короля и покидает его лишь после его гибели. Сам он остается невредимым среди неприятель-

ских выстрелов, потому что носит зеленую перевязь, цвет императорских войск. Он первый сообщает своему другу, герцогу Фридландскому, весть о гибели короля. Тотчас после этого сражения он меняет шведскую службу на саксонскую и, привлеченный к суду после убийства Валленштейна как сообщника этого полководца, лишь отречением от своей веры избегает казни. Затем он снова появляется в роли командующего императорской армией в Силезии и умирает под Швейдницем от ран. Действительно, приходится сделать некоторое усилие над собой, чтобы ратовать за невиновность человека, прожившего такую жизнь. Но если на основании вышеизложенных фактов нравственная и физическая возможность столь отвратительного поступка представляется весьма вероятной, то уже при поверхностном рассмотрении их видно, что они недостаточны для бесспорного утверждения виновности. Известно, что Густав-Адольф подвергал себя опасности, как последний рядовой своего войска, и, конечно, он легко мог найти смерть там, где гибли тысячи. *Как он нашел ее* — остается неразгаданной тайной. Но здесь, более чем где-либо, необходимо исходить из принципа, что нельзя позорным обвинением унижать достоинство человека там, где все может быть исчерпывающе объяснено естественным ходом событий.

Но от чьей бы руки ни пал король, мы должны рассматривать эту необычную участь как действие некоей вышней силы. История, столь часто обреченная лишь безрадостно исследовать однообразную игру человеческих страстей, иногда получает в награду явления, которые, словно длань, властно ниспростертая с облаков, вторгаются в размеренный механизм человеческой деятельности и убеждают мыслящий ум в существовании высшего порядка вещей. Именно так мы воспринимаем внезапное исчезновение со сцены Густава-Адольфа; одним махом оно останавливает ход политической машины и сводит к нулю все расчеты человеческой мудрости. Вчера еще всеоживляющий дух, великий и единственный двигатель своего творения, сегодня неумолимо сраженный в своем орлином полете, вырванный из мира своих обширных замыслов,



лишенный созревающих плодов своих надежд,— он оставляет на произвол судьбы осиротевших и безутешных соратников своих, и гордое здание его тленного величия обращается в развалины. С болью в сердце отказывается протестантский мир от тех надежд, которые он возлагал на этого непобедимого вождя, и в страхе вопрошает себя, не похоронил ли он вместе с королем все свои прежние успехи. Но под Люценом пал уже не благодетель Германии — Густав-Адольф прошел благотворную часть своего жизненного пути, и самая великая услуга, какую он мог еще оказать свободе Германии, это — умереть. Всепоглощающая мощь одного человека рушится, и многие начинают испытывать свои силы; небезопасная помощь всемогущего защитника сменяется более почетной самопомощью германских чинов, которые, перестав быть орудиями его возвышения, лишь теперь начинают трудиться для самих себя. В своем собственном мужестве черпают они теперь средства к спасению, которые рискованно было получать из рук могущественного государя, и шведская держава, лишенная возможности превратиться в угнетательницу, возвращается к скромной роли союзницы.

Честолюбивый шведский монарх несомненно стремился приобрести в Германии такое могущество, которое было несовместимо со свободой чинов, а также намеревался закрепить за собой владения в центре империи. Целью его был императорский престол, и высокий сан, которому его мощь и деятельность придали бы новое, более серьезное значение, мог в его руках явиться источником гораздо худших злоупотреблений, нежели те, каких можно было опасаться от австрийской династии. Рожденный в чужой земле, воспитанный в идеях неограниченного самовластия, фанатик и отъявленный ненавистник папистов, он не был создан для роли хранителя неприкосновенности германских законов и не мог питать достаточного уважения к свободе чинов. Подозрительный характер присяги, которую, не говоря уже о многих других городах, вынужден был принести *шведской короне* имперский город Аугсбург, явно характеризует его не столько, как защитника

империи; сколько как завоевателя. Этот город, больше гордившийся названием королевского города, чем славными преимуществами имперских вольностей, заранее льстил себя надеждой сделаться столицей его новой империи. Довольно явственные притязания Густава-Адольфа на архиепископство Майнцское, которое он сначала предназначал принцу Бранденбургскому в качестве приданого своей дочери Христины, а затем — своему канцлеру и другу Оксеншерне, показывали с достаточной ясностью; как далеко он способен был пойти в нарушении основных законов империи. Протестантские государи, заключившие с ним союз, требовали от него благодарности, которую могли получить лишь за счет других владетельных князей, особенно за счет непосредственных церковных владений, и, возможно, уже был задуман раздел завоеванных владений, как общей добычи, между его германскими и шведскими соратниками, по примеру тех древних варваров, орды которых некогда хлынули на Римскую империю. По отношению к пфальцграфу Фридриху он совершенно не проявлял ни великодушия героя, ни благороднейших черт, отличающих защитника: Пфальц был в его руках, и долг как справедливости, так и чести требовал, чтобы отвоеванная у испанцев область была возвращена ее законному владельцу в неприкосновенном виде. Но путем уловок, не достойных великого человека и позорящих славное имя защитника угнетенных, он сумел освободиться от этой обязанности. Он смотрел на Пфальц как на добычу, доставшуюся ему от врага, и считал себя вправе распоряжаться им по своему усмотрению; поэтому он передал пфальцграфу его владения не из сознания долга, но из милости, в виде лена шведской короны, на условиях, наполовину уменьшавших их ценность и низводивших этого государя на ступень жалкого вассала Швеции. Одно из условий, предписанных пфальцграфу — по окончании войны содержать «по примеру других государей» часть шведских войск, — позволяет нам с достаточной ясностью предвидеть судьбу, грозившую Германии при дальнейших успехах короля. Его внезапная кончина обеспечила Герма-

нии свободу, ему самому — лучезарную славу и, быть может, даже избавила его от огорчения увидеть своих прежних союзников своими врагами и потерять все плоды своих побед в результате невыгодного мира. Саксония уже склонялась к разрыву с ним, Дания с тревогой и завистью смотрела на его величие, а Франция, самая мощная его союзница, встревоженная грозным ростом его могущества и все более властным его тоном, искала новых союзников уже тогда, когда он только переходил через Лех, и старалась остановить победоносное шествие этого *gota*, дабы восстановить политическое равновесие в Европе.

## КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Слабые узы солидарности, с помощью которых Густав-Адольф не без больших усилий поддерживал единство протестантских членов империи, распались после его смерти. Союзникам предстояло либо возвратиться к прежней свободе, либо объединиться в новом союзе. Первое лишало их всех выгод, добытых ими ценою потоков крови, и неминуемо подвергало их опасности пасть жертвой врага, которого они только благодаря своему единству сдерживали и даже одолевали. Поодиночке ни Швеция, ни любой государь Германии не могли бы бороться с императором и лигой, и поэтому мир, полученный при таких обстоятельствах, заставил бы признать волю неприятеля законом. Союз, стало быть, был равно необходимым условием как в случае заключения мира, так и в случае продолжения войны. Но мир при таком положении вещей мог быть заключен не иначе, как в ущерб союзным державам. Со смертью Густава-Адольфа у неприятеля появились новые надежды, и как ни шатко было его положение после битвы при Люцене, исчезновение самого опасного из всех противников, было слишком пагубным для союзников и слишком благоприятным для императора обстоятельством, чтобы не пробудить в нем самых радужных надежд и не подвигнуть его на продолжение войны. Неизбежным следствием гибели короля Швед-

ского должен был быть раскол, по меньшей мере временный, между союзниками, а как выгоден был для императора и для лиги такой раскол в среде врагов! Чрезвычайными выгодами, каких можно было ожидать при этом обороте дела, он не мог пожертвовать ради мира, от которого выиграл бы не больше других; да и союзники не могли согласиться на такой мир. Естественнейшим решением было, таким образом, продолжение войны, а необходимейшим средством для этого признано было объединение.

Но как возобновить это объединение и где набраться сил для продолжения войны? Не могущество шведского государства, а только дарование и личный авторитет его усопшего властелина доставили ему преобладающее влияние в Германии и столь огромную власть над умами; и даже этому властелину удалось связать государей слабыми и ненадежными узами объединения, лишь преодолев бесконечные трудности. С ним исчезло все, что было связано своим возникновением ему одному, его личным качествам, и связь между имперскими чинами рушилась вместе с надеждами, на которых она зиждилась. Многие из государей поспешно сбрасывают с себя ярмо, которое они несли не без глухого ропота; другие стремятся сами завладеть кормилом, которое они с великим неудовольствием видели в руках Густава, но при жизни короля не имели силы оспаривать у него. Одни, искушенные соблазнительными обещаниями императора, поспешно покидают общий союз; другие, удрученные тяготами четырнадцатилетней войны, малодушно ищут какого бы то ни было, хотя бы пагубного для них, мира. Предводители армий, главным образом германские государи, не могут сговориться о назначении главнокомандующего, и никто не хочет унизиться до исполнения приказаний другого. Нет согласия ни в совете, ни на поле битвы, и общему делу грозит опасность погибнуть из-за господства духа раздора.

Густав не оставил мужского потомства; престол унаследовала его шестилетняя дочь Христина. Неизбежные недостатки регентства были несовместимы с силой и решительностью, какие Швеция должна была

выказать в этот критический момент. Могучий гений Густава-Адольфа завоевал слабому и незаметному государству такое место в ряду европейских держав, какое оно не могло сохранить, лишившись удачи и гения своего создателя и отказ от которого означал бы вместе с тем позорное признание своего бессилия. Несмотря на то, что германская война велась в основном на средства Германии, уже и та незначительная доля людьми и деньгами, какую должна была давать Швеция из своих средств, истощила это бедное государство, и крестьянин изнемогал под бременем тягот, которые пришлось на него возложить. Добытые в Германии богатства достались лишь некоторым знатым лицам и военным, но сама Швеция была попрежнему бедна. Правда, одно время национальная слава льстила шведам и заставляла подданных мириться с этими тяготами; уплачиваемые ими налоги можно было рассматривать как ссуду, которая в удачливой руке Густава-Адольфа приносит высокие проценты и будет с лихвой возвращена благодарным государем по заключении славного мира. Надежды эти развеялись после смерти короля, и обманутый народ с грозным единодушием требовал освобождения от удручавших его тягот.

Но дух Густава-Адольфа жил еще в тех выдающихся людях, которым он вверил управление государством. Как ни страшна была для них внезапная весть о его гибели, она не лишила их мужества, и дух древнего Рима времен Бренна и Ганнибала одушевляет благородное собрание. Именно потому, что столь дорогой ценой пришлось расплатиться за приобретенные выгоды, немислимо было добровольно от них отказаться; столь тяжкая утрата — гибель короля — должна была быть возмещена шведам. Государственный совет, вынужденный либо решиться на бедствия истощающей сомнительной войны, либо пойти на полезный, но позорный мир, мужественно выбирает путь опасности и славы, и мир с радостным изумлением взирает на этих почтенных старцев, ныне действующих со всей бодростью, свойственной юности. Окруженный недремлющими врагами, внутренними и внешними, знающий, что со всех границ государства надвигаются опасности,

этот достойный уважения сенат вооружается против них столь же мудро, сколь и мужественно, и, едва имея силы отстоять существование государства, в то же время стремится к расширению его границ.

Кончина короля и малолетие его дочери Христины дали новый толчок старым притязаниям Польши на шведский престол, и сын Сигизмунда, король Владислав, без устали вел переговоры, стараясь приобрести сторонников в Швеции. Поэтому регенты, не теряя ни минуты, провозглашают в Стокгольме королевой шестилетнюю малютку и учреждают регентство. Все лица, состоящие на государственной службе, должны присягнуть новой повелительнице. Всякая переписка с Польшей воспрещается, и все заявления предыдущих королей, направленные против потомства Сигизмунда, подтверждаются торжественными актами. Предусмотрительно возобновляется дружба с царем Московским, чтобы силою оружия этого государя успешнее сдерживать враждебную Польшу. Зависть Дании исчезла после смерти Густава-Адольфа, а вместе с ней исчезли и опасения, ранее стоявшие на пути к доброму согласию между обоими соседями. Попытки врагов вооружить против Швеции Христиана IV теперь не имели успеха, а живейшее желание дальновидного датского короля — женить своего сына Ульриха на юной королеве, — удерживало его в состоянии нейтралитета. В то же время Англия, Голландия и Франция шлют шведскому государственному совету ободряющие уверения в неизменной дружбе и содействии и единодушно призывают его как можно решительнее продолжать столь славную войну. Насколько серьезные основания имела Франция радоваться смерти шведского героя, настолько ясна была для нее и необходимость оставаться в союзе со Швецией. Нельзя было допустить поражения этой державы в Германии, не подвергая себя тем самым величайшей опасности. Недостаток собственных сил принуждал Францию либо решиться на немедленный и невыгодный мир с Австрией, при котором она лишилась бы результатов всех трудов, направленных на ограничение этой опасной державы, либо же нужда и отчаяние научили бы армии содержать себя в землях вла-

детельных князей-католиков своими средствами и Франция явилась бы тогда изменницей перед этими государствами, отдавшимися под ее мощное покровительство. Гибель Густава-Адольфа не только не разорвала связи Франции со Швецией, но, наоборот, сделала эту связь еще более необходимой для обоих государств и гораздо более выгодной для Франции. Лишь теперь, когда не стало того, кто простер свою руку над Германией и охранял пределы этого государства от алчности французов, могла Франция беспрепятственно осуществить свои замыслы касательно Эльзаса и тем дороже продать немецким протестантам свою помощь.

Усиленные этими союзами, уверенные в спокойствии внутри страны и защищенные извне хорошей пограничной охраной и флотом, правители Швеции ни на миг не поколебались в решимости продолжать войну, в которой мало что могли потерять, но зато имели шансы, в случае удачи шведского оружия, получить, как вознаграждение за издержки или как военную добычу, какую-либо из германских областей. Чувствуя себя за морем в безопасности, Швеция рисковала одинаково мало и в случае вытеснения ее войск из Германии и в случае добровольного их ухода из этой страны, а между тем первое было столь же почетно, сколько позорно второе. Чем больше смелости выказывала Швеция, тем более она внушала доверия союзникам и уважения врагам, тем больших выгод можно было ожидать при заключении мира. Если бы она и оказалась слишком слабой, чтобы привести в исполнение широчайшие замыслы Густава, то во имя его великой памяти она была обязана напрячь все силы, считаясь лишь с одним-единственным препятствием — необходимостью. Жаль только, что своекорыстные мотивы сыграли в этом славном решении большую роль, и поэтому нет возможности безоговорочно восхищаться им. Тем, кто сам не испытал бедствий войны, а, наоборот, обогатился благодаря ей, — тем, разумеется, легко было подать голос за ее продолжение, ибо в конце концов все бремя войны падало ведь на одну Германию, и те области, на которые Швеция рассчитывала, должны были достаться ей весьма дешево, если принять

во внимание, что численность войск, которые она посылала на театр военных действий, была ничтожна, что ее полководцы теперь возглавляли войска, по преимуществу состоявшие из немецких солдат, и что в основном она ведала почетным наблюдением за ходом войны и переговоров.

Но именно это наблюдение было несовместимо с отдаленностью шведского регентства от театра войны и с медлительностью, неизбежной при коллегиальном управлении делами. Одному всеобъемлющему уму следовало вверить заботу об интересах Швеции и самой Германии, поручить по своему усмотрению решать вопросы о войне и мире, о заключении нужных союзов и о судьбе завоеванных земель. Необходимо было облечь этого высокого сановника диктаторскими полномочиями и окружить его всем авторитетом той власти, которую он воплощал, чтобы поддерживать ее достоинство, чтобы согласовать общие действия, чтобы придать должный вес ее распоряжениям и таким образом во всех отношениях заменить государя, преемником которого он стал. Такой человек был найден в лице канцлера Оксеншерны, первого министра и, что еще важнее, друга покойного короля. Посвященный во все тайны своего властелина, хорошо знакомый со всеми делами Германии и других европейских государств, он бесспорно являлся наилучшим исполнителем замыслов Густава-Адольфа во всем их объеме.

Оксеншерна был как раз на пути в Верхнюю Германию, где предполагал созвать представителей четырех верхних округов, когда в Ганау его настигла весть о кончине короля. Этот страшный удар поразил любящее сердце друга, ошеломил государственного деятеля. Он потерял все, что было дорого его душе. Швеция потеряла лишь короля, Германия — лишь защитника, Оксеншерна потерял творца своего счастья, ближайшего друга, создателя своих идеалов. Но всех тягостнее пораженный общим несчастьем, он первый преодолел его силою своей воли, ибо никто, кроме него, не мог совладать с последствиями того, что произошло. Его пронизательный взор видел все препятствия, стоявшие на пути к исполнению его замыслов: малодушие



чинов, интриги неприятельских держав, раздоры в среде союзников, зависть вождей, нежелание имперских государей подчиниться иноземному руководству. Но именно это глубокое понимание положения, раскрывшее пред ним всю огромность бедствия, указало ему также и способы справиться с ним. Важнее всего было поднять упавший дух более слабых имперских чинов, покончить с тайными происками врагов, утишить зависть более могущественных союзников, добиться активной помощи со стороны дружественных держав, и особенно Франции, но прежде всего — собрать воедино осколки германского союза и тесными и прочными узами связать разъединенные силы партии. Смятение, в какое повергла немецких протестантов гибель их верховного вождя, могло с одинаковой вероятностью побудить их либо к более тесному союзу со Швецией, либо к поспешному миру с императором, и лишь от дальнейшего поведения Швеции зависел их выбор между этими двумя решениями. Всякое, хотя бы ничтожное проявление малодушия могло все погубить. Лишь явная уверенность Швеции в своих силах могла воодушевить немцев благородным мужеством. Было очевидно, что все старания австрийского двора отвлечь их от союза со Швецией будут безуспешны, если удастся показать им, в чем для них истинная выгода, и побудить их к открытому и формальному разрыву с императором.

Конечно, прежде чем эти меры были приняты и между правительством и его министром достигнуто необходимое согласие по важнейшим вопросам, прошло много драгоценного для шведской армии времени, и этим как нельзя лучше воспользовался неприятель. Если бы император внял разумным советам герцога Фридландского, он имел бы в ту пору полную возможность совершенно уничтожить шведские войска в Германии. Валленштейн советовал ему объявить полную амнистию и предложить протестантским государям выгодные условия мира. В тот момент, когда протестантская партия еще была во власти ужаса, обуявшего ее после гибели Густава-Адольфа, такое заявление возымело бы сильнейшее действие и повергло бы менее не-

примиримых князей к стѣпам императора. Но ослепленный неожиданной удачей и сбитый с толку нашептываниями Испании, император ожидал более блестящих результатов от оружия и, вместо того чтобы внять предложениям сговориться, поспешил увеличить свою армию. Испания, обогащенная десятиной с церковных имуществ, дарованной ей папой, поддерживала императора значительными субсидиями, вела за него переговоры с саксонским двором и поспешно вербовала в Италии войска для военных действий в Германии. Курфюрст Баварский тем временем значительно усилил свои войска, и герцог Лотарингский по своему неспокойному характеру тоже не оставался бездеятельным при столь счастливом повороте событий. Но в то время как враги деятельно старались воспользоваться несчастьем шведов, Оксеншерна также делал все возможное, чтобы ликвидировать пагубные последствия этого несчастья.

Не столько опасаясь явного врага, сколько зависти союзных держав, Оксеншерна покинул Верхнюю Германию, сорабничество которой было обеспечено завоеваниями и союзами, и лично отправился в путь с целью удержать нижнегерманских государей от полного разрыва с ним или образования частного союза между ними, что было бы для Швеции не менее пагубно. Оскорбленный властью, с которой канцлер взял на себя руководство делами, и до крайности раздраженный мыслью, что ему придется принимать предписания от шведского дворянина, курфюрст Саксонский снова решился на опасный разрыв со Швецией, и вопрос был лишь в том, примириться ли безоговорочно с императором, или сделаться вождем протестантов, чтобы вместе с ними образовать в Германии третью партию. Такие же намерения питал герцог Брауншвейгский Ульрих, достаточно ясно раскрывший их тем, что он воспретил шведам производить набор войск в своих владениях и пригласил чинов Нижней Саксонии в Люнебург для заключения ими союза. Один лишь курфюрст Бранденбургский из зависти к тому влиянию, какое могла получить Саксония в Нижней Германии, выказывал некоторую преданность интересам

шведской короны, которую он в мечтах видел уже на голове своего сына. Хотя Оксеншерне был оказан при дворе Иоганна-Георга самый почетный прием, однако, несмотря на личное предстательство курфюрста Бранденбургского, ему удалось добиться от этого государя лишь неопределенных уверений в неизменной дружбе. Большой успех имел он у герцога Брауншвейгского, с которым говорил гораздо решительнее. Швеция владела тогда архиепископством Магдебургским, епископ которого имел право собирать нижнесаксонский сейм. Канцлер заявил, что это верховное право принадлежит его державе, и благодаря его настойчивости это опасное собрание на сей раз не состоялось. Но общего союза протестантов — главной цели предпринятого им путешествия и всех его дальнейших трудов — ему не удалось добиться ни теперь, ни впоследствии, и он вынужден был удовлетвориться отдельными непрочными союзами в саксонских округах и еще более слабой помощью Верхней Германии.

Ввиду господствующего положения, занимаемого баварцами на Дунае, собрание четырех верхних округов, местом которого сперва избрали Ульм, было перенесено в Гейльброн, куда прибыли представители двенадцати имперских городов и блестящая толпа законовеедов, князей и графов. Прислали своих уполномоченных также иностранные государства — Франция, Англия и Голландия, и Оксеншерна появился на нем со всей пышностью представителя короны, величие которой ему предстояло утверждать. Он сам руководил собранием и делал доклады, которые определяли ход совещаний. Выслушав от всех собравшихся здесь чинов уверения в непоколебимой верности, преданности и единодушии, он потребовал, чтобы они формально и торжественно объявили императора и лигу своими врагами. Но насколько для шведов было важно довести враждебные отношения между императором и чинами до формального разрыва, настолько сами чины мало были склонны решительным шагом отрезать себе всякую возможность примирения и таким образом полностью отдать свою судьбу в руки шведов. Они находили, что формальное объявление войны бесполезно и не-

нужно, поскольку она ведется, и их стойкое сопротивление заставило канцлера умолкнуть. Еще более оживленные споры вызвал третий, наиважнейший вопрос, обсуждавшийся собранием, — вопрос об изыскании средств на продолжение войны и о взносах чинов на содержание войск. Правило Оксеншерны — взваливать как можно большую часть общего бремени на германские государства — было несовместимо с принципом чинов давать как можно меньше. Здесь шведский канцлер познал пренеприятную истину, которую до него познали тридцать императоров, что из всех тягостных дел самое тягостное — добывать от немцев деньги. Вместо того чтобы согласиться отпустить необходимые для вновь организуемых армий суммы, ему красноречиво перечисляли все бедствия, причиненные уже существующими армиями, и требовали облегчения прежних тягот в тот момент, когда надо было взять на себя новые. Дурное настроение, вызванное в чинах денежными требованиями канцлера, породило тысячи жалоб, и бесчинства войск во время переходов и постоев были изображены с ужасающей правдивостью.

Находясь на службе у двух самодержавных государей, Оксеншерна не привык к формальностям и медленному ходу республиканских совещаний и не был способен терпеливо выслушивать возражения. Всегда готовый действовать, когда признавал это необходимым, и непоколебимый в однажды принятом решении, он не понимал непоследовательности большинства людей, которые жаждут достичь цели — и ненавидят необходимые к тому средства. Крутой и властный от природы, он здесь сознательно показал себя таким, ибо теперь все зависело от того, чтобы твердым, самоуверенным поведением прикрыть бессилие Швеции и, усвоив себе повелительный тон, стать в самом деле властелином. Что удивительного, если при таком расположении он чувствовал себя среди немецких ученых и чинов совсем не в своей сфере и доходил до отчаяния от немецкой обстоятельности — характерной черты немцев во всех их общественных совещаниях. Пренебрегая древним порядком, которому вынуждены были подчиняться могущественнейшие из императоров, он

отверг все письменные рассуждения, столь любезные немецкой медлительности; он не понимал, как можно десять дней препираться о статье, которую, казалось ему, надо было принять, как только она была оглашена. Но как ни сурово было его отношение к чинам, он все же нашел их вполне склонными и готовыми принять четвертую статью, касавшуюся его самого. Когда он перешел к вопросу о необходимости дать учреждаемому союзу главу и руководителя, эта честь была единогласно присуждена Швеции, и его всепокорнейше просили послужить общему делу своим просвещенным умом и взять на себя бремя высшего надзора. Но чтобы обеспечить себя от злоупотребления высшей властью, которую этим назначением отдавали в его руки, к нему, не без внушений Франции, приставили под пазванием помощников несколько человек наблюдателей, которые должны были ведать финансами союза и имели голос в вопросах набора, расположения и передвижения войск. Оксеншерна энергично восстал против такого ограничения своей власти, затруднявшего выполнение любого дела, требующего быстроты или скрытности, и лишь с большим трудом отвоевал себе право поступать в военных делах по своему усмотрению. Наконец, канцлер коснулся также щекотливого вопроса о вознаграждении, какого Швеция может ждать от благодарности своих союзников по окончании войны; он льстил себя надеждой, что ему назовут Померанию, которую в первую очередь имела в виду Швеция, и пообещают деятельную поддержку чинов для приобретения этой области. Но все ограничилось туманными и ненадежными уверениями в том, что при заключении мира все будут стоять друг за друга. Что сдержанность чинов в этом вопросе отнюдь не проистекала из уважения к имперской конституции, доказывается той щедростью, какую предполагали выказать канцлеру в нарушение священнейших законов империи. Ему едва не предложили в вознаграждение архиепископство Майнцское, которым он и так владел по праву завоевания, и лишь с трудом удалось французскому послу предотвратить этот шаг, столь же неразумный политически, сколь и постыдный. Как ни мало соответствовал

исход совещания желаниям Оксеншерны, все же он достиг важнейшей своей цели: руководство всеми делами отныне принадлежало ему, его державе, чины четырех великих округов были связаны более тесными и прочными узами, а на содержание армии был определен ежегодный взнос в два с половиною миллиона талеров.

Такая уступчивость со стороны чинов заслуживала благодарности Швеции. Через несколько месяцев после смерти Густава-Адольфа пфальцграф Фридрих, снедаемый тоской, закончил свою печальную жизнь. Этот жалкий государь в течение восьми месяцев обременял придворный штат своего покровителя и, повсюду гоняясь за ним в его свите, расточил ничтожные остатки своего достояния. Наконец, он приблизился к цели своих желаний, и пред ним раскрылось более светлое будущее, как вдруг смерть унесла его покровителя. Но то, что казалось ему величайшим несчастьем, имело самые благоприятные последствия для его преемника. Густав-Адольф мог позволить себе откладывать возвращение его владений и умалить ценность этого дара тягостными оговорками; Оксеншерна, для которого дружба Англии, Голландии, Бранденбурга и доброе расположение всех вообще протестантских чинов были неизмеримо важнее, вынужден был исполнить долг справедливости. Поэтому на том же собрании в Гейльбронне он передал наследникам Фридриха как все завоеванные уже, так и могущие быть завоеванными в будущем пфальцские земли, за исключением лишь Мангейма, который должен был остаться в руках шведов до возмещения военных издержек. Канцлер не ограничивал своей любезности Пфальцским домом; другие союзные государи, правда, несколько позже, также получили от Швеции доказательства признательности, которая обошлась этой державе столь же дешево.

Долг беспристрастия, священнейший долг историка, обязывает к признанию, не делающему большой чести защитникам немецкой свободы. Сколько ни твердили протестантские государи о справедливости своего дела и о чистоте своих намерений, они все же главным образом действовали под влиянием весьма корыстных побуждений; военные действия они начали не в мень-

шей мере из желания пограбить, чем из страха стать жертвой грабежа. Густав-Адольф скоро заметил, что эти нечистые побуждения могут дать ему гораздо больше, чем их патриотические чувства, и постарался ими воспользоваться. Каждому из владетельных князей, заключивших с ним союз, он обещал ту или другую уже отнятую у неприятеля или могущую быть отнятой область, и лишь смерть помешала ему исполнить эти обещания. То, что для короля было заветом благоразумия, для его преемника являлось велением необходимости. И если этот преемник хотел во что бы то ни стало продолжать войну, он должен был делиться добычей с союзными государями и сулить им выгоды от распри, которую деятельно поддерживал. Поэтому он обещал ландграфу Гессенскому епископства Падерборн, Корбей, Мюнстер и Фульду, герцогу Веймарскому Бернгарду—франконские епископства, герцогу Вюртембергскому—расположенные в его землях церковные владения и австрийские графства, всё в виде шведских ленов. Самого канцлера это странное зрелище, делавшее так мало чести немцам, удивляло настолько, что он едва мог скрыть свое презрение. «Пусть сохранится в нашем архиве для вечного воспоминания,— сказал он как-то,— что германский государь мог требовать чего-либо подобного от шведского дворянина и что шведский дворянин жаловал нечто подобное германскому государю на германской земле».

После столь успешных приготовлений можно было смело выступить в поход и с удвоенной энергией возобновить войну. Вскоре после победы при Люцене саксонские и люнебургские войска соединяются со шведской армией, и в короткое время во всей Саксонии не остается ни одного императорского солдата. Затем эта соединенная армия разделяется. Саксонцы направляются в Лузанию и Силезию, чтобы здесь вместе с графом Турном действовать против австрийцев; одну часть шведской армии ведет герцог Бернгард во Франконию, другую — Георг, герцог Брауншвейгский, в Вестфалию и Нижнюю Саксонию.

Во время похода Густава-Адольфа в Саксонию земли, завоеванные по течению Леха и Дуная, защи-

щали от баварцев пфальцграф Биркенфельдский и шведский генерал Баннер. Но не располагая достаточными силами, чтобы бороться с победоносным наступлением баварцев, вдохновляемых военным опытом и храбростью императорского полководца фон Альтрингера, они вынуждены были призвать на помощь из Эльзаса шведского генерала Горна. Подчинив шведам города Бенфельд, Шлетштадт, Кольмар и Гагенау, этот искусный полководец поручил защиту их рейнграфу Отто-Людвигу, а сам перешел Рейн, спеша на помощь Баннеру. Однако, несмотря на то, что войско Баннера возросло теперь до шестнадцати тысяч человек, ему не удалось помешать неприятелю стать твердой ногой на швабской границе, взять Кемптен и подкрепитьсь семью полками из Чехии. Для обороны берегов Леха и Дуная пришлось оставить беззащитным Эльзас, где рейнграф Отто-Людвиг по уходе Горна с трудом защищался от восставшего крестьянства. Вдобавок ему пришлось подкрепить своими войсками дунайскую армию, а когда и эта подмога оказалась недостаточной, то обратились к герцогу Веймарскому Бернгарду с настоятельной просьбой защитить эту область своими войсками.

В самом начале похода 1633 года Бернгард овладел городом Бамбергом и всем епископством Бамбергским и готовил ту же судьбу Вюрцбургу. По призыву Густава Горна он, не мешкая, выступил в поход на Дунай, разбил по дороге баварское войско под начальством Иоганна фон Верта и под Донаувертом соединился со шведами. Эта многочисленная армия под предводительством искусных полководцев грозит Баварии страшным вторжением. Все епископство Эйхштетское занято войсками, и один изменник обещает даже Ингольштадт предать шведам. В своих действиях Альтрингер связан строгими приказами герцога Фридрихландского и потому, не получая помощи из Чехии, не может противостоять натиску неприятельской армии. Стечение благоприятнейших обстоятельств обеспечивает шведам победу в этих краях, как вдруг действия шведской армии приостанавливаются вследствие мятежа офицеров.



Всеми успехами в Германии шведы были обязаны лишь своему оружию. Даже самое величие Густава-Адо́льфа было делом армии, плодом ее дисциплины, ее отваги, ее стойкого мужества среди бесконечных опасностей и трудностей. Как ни искусны были планы, составляемые в кабинете, исполнительницей их была в конце концов лишь армия, и по мере того как ширились предначертания вождей, неизменно увеличивались и переносимые ею тяготы. Важнейшие успехи в течение всей этой войны были завоеваны поистине варварским принесением солдат в жертву во время зимних походов, форсированных маршей, штурмов и сражений; правилом Густава-Адо́льфа было не отказываться от победы, если она стоила ему только людей. Великое значение солдата недолго могло оставаться тайной для него самого, и он по праву стал требовать своей доли в добыче, приобретенной его кровью. Но в большинстве случаев ему с грехом пополам уплачивали следуемое ему жалованье, и корыстолюбие отдельных вождей или потребности государства обычно поглощали большую часть выжатых из местного населения денег и захваченных владений. За все бедствия, им испытанные, воину оставались лишь сомнительные расчеты на грабеж или на повышение, и в том и в другом случае ему слишком часто приходилось обманываться в своих чаяниях. Правда, пока жил Густав-Адо́льф, страх и надежда предотвращали взрывы неудовольствия. Но после его кончины общее раздражение прорвалось наружу, и солдаты воспользовались самым опасным моментом, чтобы напомнить о своем значении. Два офицера, Пфуль и Митшефаль, известные уже при жизни короля как беспокойные головы, подали в дунайском лагере пример, которому в течение нескольких дней последовали почти все офицеры армии. Дана была общая клятва не повиноваться приказаниям начальства, покуда не будет уплачено следуемое за несколько лет жалованье и сверх того не назначена будет каждому соответственная награда деньгами или недвижимостью. Громадные суммы — говорилось при этом — вымогаются ежедневно посредством контрибуции, и все эти деньги тают в руках немногих... В снег и стужу гонят

воинов, а благодарности за эту нескончаемую работу не видно никогда. В Гейльбронне вопят о своеволии армии, о ее заслугах никто не думает. Ученые трубят по всему миру о завоеваниях и победах, а разве не руками воинов одержаны все эти победы? Армия недовольных увеличивалась с каждым днем; посредством писем, к счастью перехваченных, они пытались также возмутить войска на Рейне и в Саксонии. Ни убеждения Бернгарда Веймарского, ни суровое порицание со стороны его, более строгого, чем он сам, помощника не могли подавить это брожение, а горячность Горна даже усилила упорство бунтовщиков. Они требовали, чтобы каждому полку были назначены определенные города для взыскания задержанного жалованья. Шведскому канцлеру был дан четырехдневный срок для удовлетворения этих требований; в случае отказа солдаты грозили самовольно вознаградить себя и никогда больше не обнажить меча за Швецию.

Столь дерзкое требование, предъявленное в момент полного истощения военной казны и падения кредита, не могло не поставить канцлера в затруднительнейшее положение. Необходимо было принять меры раньше, чем это неистовство охватит остальные войска и придется разом остаться среди врагов без всякой армии. Из всех шведских полководцев один только пользовался среди солдат авторитетом и уважением, достаточным для того, чтобы прекратить этот спор: герцог Бернгард был любимцем армии; мудрой умеренностью он завосвал доверие солдат, а его военный опыт вызывал у них глубочайшее восхищение. Он взялся успокоить взбудораженную армию. Но, сознавая свое значение, он не упустил этого благоприятного случая прежде всего позаботиться о самом себе и, воспользовавшись стесненным положением шведского канцлера, удовлетворить свои собственные вожделения.

Еще Густав-Адольф подавал ему надежды на создание для него герцогства Франконского, которое должно было состояться из двух епископств: Бамбергского и Вюрцбургского; теперь герцог Бернгард настаивал на исполнении этого обещания. Вместе с тем он потребовал высшей военной власти — звания шведского главно-

командующего. Эта попытка злоупотребить своим значением привела Оксеншерну в такое бешенство, что он в порыве негодования уволил его со шведской службы. Но затем он опомнился и, прежде чем пожертвовать столь выдающимся полководцем, предпочел любую ценою связать его с интересами Швеции. Поэтому он отдал ему в качестве лена шведской короны франконские епископства, удержав, однако, крепости Вюрцбург и Кенигсгофен, где должны были остаться шведские гарнизоны; при этом он от имени своей державы обязался охранять власть герцога над этими землями. В главном начальствовании над всей шведской армией герцогу Бернгарду было отказано под благовидным предлогом. Герцог Бернгард поспешил проявить признательность за эту немалую жертву: благодаря своему влиянию и энергии он быстро успокоил охваченную недовольством армию. Офицерам были розданы крупные суммы наличными деньгами и — что имело еще большее значение — обширные, ценностью почти что в пять миллионов талеров поместья, на которые Швеция не имела никаких прав, кроме права завоевателя. А за всем этим был упущен благоприятный момент для действий большого размаха, и союзные вожди разделились, чтобы бороться с неприятелем в других местах.

Заняв на краткое время часть Верхнего Пфальца и овладев Неймарком, Густав Горн направился к швабской границе, где императорские войска успели за это время значительно усилиться и грозили Вюртембергу опустошительным нашествием. Испуганные его приближением, они двинулись к Боденскому озеру, чем, однако, лишь привлекли шведов в эту еще не знакомую им страну. Владеть крепостью у врат Швейцарии было чрезвычайно важно для шведов, и город Констанц представлялся особенно удобным для связи со Швейцарской конфедерацией. Поэтому Густав Горн немедленно приступил к осаде, но, не имея орудий, которые еще нужно было доставить из Вюртемберга, он не мог действовать с должной быстротой, и неприятель имел достаточно времени, чтобы стянуть к городу войско, — снабжать его со стороны озера провиантом и без того

было нетрудно. Поэтому после безуспешной попытки взять город Горн снял осаду и двинулся к берегам Дуная, где положение тем временем стало чрезвычайно опасным.

По требованию императора кардинал-инфант, брат Филиппа IV Испанского и наместник Миланский, вооружил армию в четырнадцать тысяч человек, предназначенную, независимо от распоряжений Валленштейна, для действий на Рейне и для защиты Эльзаса. Эта армия, подчиненная испанцу, герцогу Фериа, появилась теперь в Баварии. Чтобы немедленно обратиться ее против шведов, Альтрингеру велено было тотчас присоединиться к ней со своими войсками. Услышав о ее появлении, Густав Горн поспешил вызвать к себе с берегов Рейна пфальцграфа Биркенфельдского и, соединившись с ним в Штокахе, отважно двинулся навстречу тридцатитысячной неприятельской армии. Неприятель направился через Дунай в Швабию, где Густав Горн подошел к нему однажды так близко, что обе армии разделяло расстояние не более полумили. Но вместо того чтобы принять этот вызов, императорские войска двинулись через «лесные города» на Верхнем Рейне — Рейнфельден, Вальдсхут, Зекинген и Лауфенбург — в Брейсгау и Эльзас, куда они прибыли как раз во-время, чтобы спасти осажденный Брейзах и положить конец победоносному продвижению рейнграфа Отто-Людвига. Последний незадолго перед тем овладел «лесными городами» и при поддержке пфальцграфа Биркенфельдского, освободившего Нижний Пфальц и разбившего герцога Лотарингского, снова доставил в этих местах перевес шведскому оружию. Правда, теперь он вынужден был уступить численному превосходству неприятеля, но вскоре Горн и Биркенфельдский явились к нему на помощь, и после недолгого успеха императорские войска были снова изгнаны из Эльзаса. Суровая осень, настигшая их в этом несчастном походе, погубила большую часть итальянцев, и сам их предводитель, герцог Фериа, не пережил этой неудачи.

Меж тем герцог Веймарский Бернгард с восемнадцатью полками пехоты и ста сорока эскадронами

кавалерии занял позицию на Дунае, чтобы прикрыть Франконию и наблюдать за движениями баварско-императорской армии по берегам этой реки. Едва Альтрингер обнажил эти пределы, чтобы присоединиться к итальянским войскам герцога Фериа, как Бернгард, воспользовавшись его уходом, поспешил перейти Дунай и с быстротой молнии появился под Регенсбургом. Обладание этим городом было решающим для успеха любых действий шведов в Баварии и Австрии. Оно давало им точку опоры на Дунае и верное убежище в случае неудачи. Оно же обеспечивало владение всем тем, что было завоевано в этих краях. Удержать Регенсбург — таков был последний настоятельный совет, данный умирающим Тилли курфюрсту Баварскому, и Густав-Адольф считал непоправимой неудачей то, что баварцы ранее его заняли этот город. Велик был поэтому ужас Максимилиана, когда герцог Бернгард внезапно появился под Регенсбургом и начал деятельно готовиться к осаде города.

Всего пятнадцать рот, главным образом из новобранцев, составляли гарнизон города — число, более чем достаточное для того, чтобы утомить и самого сильного противника, если гарнизон пользуется поддержкой сочувствующих и воинственных горожан. Но население то и было опаснейшим врагом баварского гарнизона. Протестантские жители Регенсбурга, равно дорожившие своей верой и своей имперской свободой, с недовольством переносили баварский гнет и давно уже нетерпеливо ждали освободителя. Появление Бернгарда под стенами города преисполнило их радости, и приходилось сильно опасаться, как бы они внутренним мятежом не поддержали действий осаждающих. В этом великом затруднении курфюрст баварский отправляет к императору и к герцогу Фридландскому слезные послания, умоляя их помочь ему всего пятью тысячами человек. Семерых гонцов, одного за другим, отправляет Фердинанд к Валленштейну с приказанием исполнить эту просьбу; Валленштейн обещает немедленную помощь и действительно извещает курфюрста о предстоящем вскоре прибытии двенадцати тысяч человек под командой Галласа, но под страхом смертной казни вос-

прещает этому полководцу двинуться в путь. Тем временем баварский комендант Регенсбурга в расчете на близкую выручку сделал все приготовления к обороне, вооружил католических крестьян, протестантских же граждан, наоборот, обезоружил и бдительно следил за ними, дабы они не могли предпринять ничего опасного для гарнизона. Но так как помощь не явилась, а неприятельские орудия с неустанной яростью бомбардировали укрепления, то он выговорил себе и гарнизону приемлемые условия капитуляции, а баварских чиновников и духовенство отдал на милость победителя.

С занятием Регенсбурга планы герцога Бернгарда расширяются, и даже Бавария становится слишком тесным поприщем для его отваги. Он хочет продвинуться к пределам Австрии, возмутить протестантских крестьян против императора и вернуть им прежнюю свободу совести. Он захватил уже Штраубинг, меж тем как другой шведский полководец овладел северным берегом Дуная. Несмотря на суровую погоду, он во главе своих шведов доходит до устья Изара и на глазах баварского генерала фон Верта, расположившегося здесь лагерем, переправляет через реку свои войска. Теперь трепещут Пассау и Линц, и объятый ужасом император вновь и вновь шлет Валленштейну увещания и приказы спешить на выручку Баварии. Но вдруг победоносный Бернгард сам добровольно кладет предел своим завоеваниям. Имея пред собой Инн, берега которого защищены рядом укрепленных замков, позади себя — две неприятельские армии, враждебную страну и Изар, где ни одно укрепление не прикрывает его с тыла, а подмерзшая земля не позволяет окопаться, подвергаясь опасности столкнуться со всей армией Валленштейна, который, наконец, решился двинуться к Дунаю, Бернгард своевременным отступлением избегает риска быть отрезанным от Регенсбурга и окруженным врагами. Он поспешно переходит Изар и Дунай, чтобы защитить от Валленштейна свои завоевания в Верхнем Пфальце, и даже не пытается избежать сражения с этим полководцем. Но Валленштейн, у которого и в мыслях не было совершать на Дунае великие подвиги, не дожи-

дается его и, даже не дав баварцам по-настоящему порадоваться своему появлению, опять исчезает в Чехии. Тогда Бернгард заканчивает свой славный поход и дает своим войскам заслуженный отдых на зимних квартирах в неприятельской стране.

Пока Густав Горн в Швабии, пфальцграф Биркенфельдский, генерал Баудиссин и рейнграф Отто-Людвиг на Верхнем и Нижнем Рейне, а герцог Бернгард на Дунае столь успешно ведут войну, славу шведского оружия в Нижней Саксонии и Вестфалии с таким же блеском поддерживают герцог Люнебургский и ландграф Гессен-Кассельский. Крепость Гамельн взята герцогом Георгом после упорнейшего сопротивления, а соединенная армия шведов и гессенцев одерживает при Ольдендорфе блистательнейшую победу над императорским генералом фон Гронсфельдом, командующим на Везере. В этом сражении показал себя достойным своего отца граф Вазабург, побочный сын Густава-Адольфа. Шестнадцать пушек, весь императорский обоз и семьдесят четыре знамени достались шведам; неприятель оставил на месте около трех тысяч убитых, и почти столько же солдат было взято в плен. Городом Оснабрюк овладел шведский полковник Книппгаузен, а Падеборном ландграф Гессен-Кассельский, но зато пришлось уступить императорским войскам весьма важный для шведов город Бюкебург. Почти во всех концах Германии победа была на стороне шведского оружия, и в течение года, прошедшего после смерти Густава-Адольфа, не ощущалось никаких следов утраты, понесенной в лице великого вождя.

При описании важнейших событий, ознаменовавших военные действия 1633 года, естественное изумление вызывает бездействие человека, на которого возлагались наибольшие надежды. Среди всех полководцев, деяния которых занимали нас в эту войну, никто не мог сравниться по опытности, дарованию и славе с Валленштейном, и, однако, именно он исчезает из виду после люценского сражения. Гибель его великого противника безраздельно предоставляет ему поприще славы. Вся Европа напряженно ждет от него подвигов, которые должны изгладить память о его

поражении и явить миру превосходство его военного гения, а он бездеятельно пребывает в Чехии, хотя поражения императора в Баварии, в Нижней Саксонии, на Рейне настоятельно требуют его вмешательства. Он остается одинаково непроницаемой загадкой для друга и недруга, предметом ужаса и в то же время последней надеждой для императора. С непонятной поспешностью удаляется он после поражения при Люцене в Чехию, где назначает строжайшее следствие о поведении своих офицеров в этой битве. Те, кого военный суд признал виновным, были без всякого снисхождения приговорены к смертной казни; отличившиеся — награждены с царской щедростью, а память павших — увековечена великолепными монументами. Всю зиму он истощал императорские земли огромными контрибуциями и пребыванием своих войск на зимних квартирах, которые он занял там, а не в неприятельских областях намеренно, с целью высосать все соки из владений Австрийского дома. Вместо того, однако, чтобы со своей отборной, хорошо отдохнувшей армией открыть военные действия ранней весны 1633 года прежде всех и явить всю мощь своего полководческого гения, он пришел в поле последним и театром войны, как и в предыдущие походы, избрал наследственные владения императора.

Из всех австрийских провинций Силезия подверглась наибольшей опасности. Три различных армии — шведская под начальством графа Турна, саксонская под начальством Арнгейма и герцога Лауэнбургского и бранденбургская под командой Боргсдорфа — одновременно начали кампанию в этой провинции. Они овладели уже важнейшими крепостями, и даже Бреславль перешел на сторону союзников. Но именно благодаря тому, что военачальников и армий здесь было много, сохранил император эту область, ибо соперничество генералов и взаимная ненависть шведов и саксонцев не давали им действовать дружно. Арнгейм и Турн враждовали из-за первенства; бранденбуржцы и саксонцы сообща противодействовали шведам, на которых они смотрели как на обременительных пришельцев и которым старались вредить где только



могли. Зато саксонцы были в приятных отношениях с императорскими войсками, и нередко офицеры обеих враждующих армий навещали друг друга и устраивали совместные пирушки. Императорским офицерам дозволялось беспрепятственно увозить свое имущество, и многие саксонцы даже не скрывали, что получают из Вены большие суммы. Среди таких двуличных союзников шведы чувствовали себя проданными и преданными; думать о серьезных действиях при таких раздорах было невозможно. Генерал Арнгейм отсутствовал почти все время, а когда он, наконец, снова прибыл к войскам, Валленштейн со своей грозной армией уже приблизился к границе.

Он вел сорокатысячное войско, а союзники могли выставить против него не более двадцати четырех тысяч человек. Однако они решили вступить в бой и подошли к Мюнстербергу, где Валленштейн расположился укрепленным лагерем. Но он продержал их здесь целую неделю, не двигаясь с места, а затем, покинув свои укрепления, гордым, спокойным шагом проследовал мимо их лагеря; да и после отхода, когда расхрабренный неприятель шел рядом с его войсками, он не воспользовался случаем сразиться. Настойчивость, с которой он уклонялся от сражения, объясняли страхом. Однако Валленштейн, имея столь давнюю военную славу, мог позволить себе пренебречь таким наветом. Тщеславные союзники не замечали, что он играет ими и великодушно избавляет их от поражения, потому что победа была теперь для него несвоевременна. Но чтобы показать им, что он хозяин положения и что не страх перед их силой удерживает его в бездействии, он приказал убить на месте коменданта одного занятого им укрепленного замка, не сразу сдавшего укрепление, которое невозможно было защищать.

Девять дней стояли обе армии друг против друга на расстоянии мушкетного выстрела, как вдруг из лагеря Валленштейна явился в лагерь союзников граф Терцки с трубачом, чтобы пригласить Арнгейма на переговоры. Переговоры свелись к тому, что Валленштейн, несмотря на превосходство сил, предложил

шестинедельное перемирие. По его словам, он явился, чтобы заключить вечный мир со шведами и имперскими государями, выплатить солдатам следующее жалованье и дать всем и каждому удовлетворение. Все это — в его власти, и если в Вене не захотят подтвердить это соглашение, то он соединится с союзниками и (последнее, правда, он шейнул на ухо только Арнгейму) пошлет императора ко всем чертям. При втором свидании он высказался пред графом Турном еще определеннее. Все привилегии, заявил он, будут вновь подтверждены, все чешские изгнанники возвращены на родину, им вернут все их достояние; сам он первый отдаст им свою долю. Иезуиты, как виновники всех прежних притеснений, будут изгнаны, со Швецией рассчитаются деньгами, распределив платежи на известный срок, все остальные войска обеих сторон будут отправлены против турок. Ключ ко всей загадке сохранился в последнем пункте. Если он, Валленштейн, получит чешскую корону, то все изгнанники будут иметь основания славить его великодушие, в королевстве будет установлена полная свобода совести, Пфальцский дом — восстановлен в своих прежних правах, и маркграфство Моравское вознаградит герцога за потерянный Мекленбург. Затем возглавленные им союзные армии под его начальством пойдут на Вену, чтобы с оружием в руках заставить императора подтвердить этот договор.

Итак, спал покров с замысла, который герцог в таинственном уединении создавал на протяжении долгих лет. Сами обстоятельства указывали, что пора незамедлительно приступить к его осуществлению. Лишь слепое доверие к военному счастью и блестящему дарованию герцога Фридрихского внушило императору решимость, вопреки всем представлениям Баварии и Испании, в ущерб своему собственному авторитету вручить этому властолюбивому человеку столь неограниченные полномочия. Но эта вера в непобедимость Валленштейна давно была поколеблена его долгим бездействием и почти совершенно подорвана неблагоприятным исходом сражения при Люцене. Снова зашевелились его прежние враги при дворе

Фердинанда, и император, раздраженный крушением своих надежд, теперь внимательно выслушивал наговоры. Все поведение герцога подвергалось здесь язвительной критике, пред завистливым государем настойчиво подчеркивались его надменное упорство и неповиновение высочайшим приказам, вспоминались жалобы австрийских подданных на неслыханные притеснения, им учиненные, подвергалась сомнению его верность, и делались зловещие намеки на его тайные замыслы. Эти обвинения, подтверждавшиеся всеми прочими действиями герцога, глубоко запали в память Фердинанда. Но дело было сделано, и огромную власть, врученную герцогу, нельзя было отнять у него, не создавая великой опасности. Урезать ее незаметно — вот все, что оставалось императору, а чтобы выполнить столь трудную задачу с некоторым успехом, необходимо было расчленить эту власть и первым делом — поставить себя вне зависимости от его доброй воли. Но даже этого права император лишил себя по договору, заключенному с Валленштейном. Собственно-ручная подпись Фердинанда охраняла герцога от всякого поползновения монарха назначить равноправного с ним полководца или самому отдавать непосредственные приказания его армии. Поскольку невозможно было ни соблюдать, ни уничтожить этот пагубный договор, оставалось лишь одно — вывернуться путем хитроумной уловки. Валленштейн был императорским главнокомандующим в Германии, но за пределы этой страны его власть не простиралась, и он не мог притязать на командование иноземной армией. Поэтому в Милане создали испанскую армию и отправили ее в Германию под начальством испанского генерала. Валленштейн перестает таким образом быть безусловно необходимым, ибо он уже не единственный и в крайности найдется кого противопоставить ему.

Герцог сразу и верно понял, откуда исходит и на что нацелен этот удар. Напрасно он протестовал пред кардиналом-инфантом против такого противного договору новшества, — итальянская армия двинулась в Германию, и его принудили послать ей на помощь генерала Альтрингера с подкреплениями. Правда, ему

удалось строжайшими предписаниями так связать руки Альтрингеру, что итальянская армия в Эльзасе и Швабии завоевала невеликую славу. Но этот самовольный поступок венского двора лишил Валленштейна прежнего спокойствия и предупредил его о надвигающейся опасности. Чтобы не расстаться вторично с властью, а вместе с нею — с плодами всех своих стараний, он должен был ускорить выполнение своих замыслов. Устранив ненадежных офицеров и щедро наградив остальных, он обеспечил себе преданность своих войск. Все остальные сословия государства, все заветы справедливости и человечности он принес в жертву интересам армии — и поэтому рассчитывал на ее признательность. Намереваясь дать миру невиданный пример неблагодарности к творцу своего счастья, он все свое благополучие основывал на благодарности, которую должны были выказать *ему* другие.

Начальники силезских армий не имели от своих правителей таких полномочий, которые позволили бы им самостоятельно согласиться на необычайные предложения Валленштейна, и даже требуемое им перемирие они решились заключить не более чем на две недели. Прежде чем открыться шведам и саксонцам, герцог счел полезным, замыслив столь дерзновенное начинание, обеспечить себе покровительство Франции. С этой целью при посредстве графа Кинского велись тайные, но весьма осторожные переговоры с французским уполномоченным в Дрездене Фекьером, исход которых вполне соответствовал желаниям герцога. Фекьер получил от своего двора приказание обещать всякую помощь со стороны Франции и в случае необходимости — предложить герцогу значительную денежную субсидию.

Но именно эти сверхмудрые старания обеспечить себя со всех сторон погубили герцога. С величайшим изумлением узнал французский уполномоченный, что замысел, более чем какой-либо иной, требовавший соблюдения строжайшей тайны, сообщен шведам и саксонцам. Саксонское министерство, — об этом знали все, — было предано интересам императора, а условия, предложенные шведам, слишком мало соответствовали

их ожиданиям, чтобы быть принятыми. Поэтому Фекьер находил совершенно непонятным, что герцог серьезно рассчитывает на поддержку саксонцев и молчание шведов. Он открыл свои сомнения и опасения шведскому канцлеру, столь же мало доверявшему намерениям Валленштейна и еще менее склонному восторгаться его предложениями. Хотя для него не было тайной, что герцог и ранее вел такие же переговоры с Густавом-Адольфом, он все же не представлял себе, каким образом ему удастся склонить к измене целую армию и выполнить свои широкообещательные обещания. Столь фантастический план и столь безрассудный образ действий не соответствовали, по его мнению, замкнутому и недоверчивому характеру герцога, и все это он объяснял притворством и обманом, ибо скорее позволительно было сомневаться в честности герцога, чем в его уме. Колебания Оксеншерны сообщились, наконец, самому Арнгейму, который, вполне доверяя искренности Валленштейна, отправился к канцлеру в Гельнгаузен, чтоб убедить его предоставить в распоряжение герцога свои лучшие полки. Возникла мысль, что все это предложение — лишь прехитрая ловушка, расставленная для того, чтобы обезоружить союзников и предать лучшую часть их войск в руки императора. Достаточно известные черты характера Валленштейна не опровергали этого мрачного подозрения, а противоречия, в которых он запутался несколько позднее, вызвали в конце концов полное недоверие к нему. Стараясь побудить шведов войти с ним в союз и даже требуя от них отборных войск, он в то же время говорил Арнгейму, что надо начать с изгнания шведов из Германии. А когда саксонские офицеры, считая, что перемирие обеспечивает им безопасность, во множестве явились к нему, он сделал неудачную попытку захватить их в плен. Он первый нарушил перемирие, возобновить которое несколько месяцев спустя ему удалось лишь с большим трудом. Всякое доверие к его искренности исчезло, и в конце концов во всем его образе действий стали усматривать лишь сеть обманов и гнусных уловок, рассчитанных на то, чтобы ослабить союзников и усилиться самому. Этого

он, правда, достиг, так как его войско увеличивалось день ото дня, а армии союзников растаяли больше чем наполовину вследствие побегов и дурного содержания. Но он не сделал из своего перевеса того употребления, какого ждали в Вене. В тот момент, когда все рассчитывали на решительный удар, он вдруг возобновил переговоры. А когда перемирие вполне успокоило союзников, он внезапно снова начал военные действия. Все эти противоречия проистекали из двойственного, преследовавшего две несовместимые цели замысла разом погубить императора и шведов и заключить с саксонцами сепаратный мир.

Недовольный медленным ходом переговоров, он решил, наконец, показать свою мощь, тем более что возраставшая разруха во всей империи и усиливавшееся недовольство венского двора не позволяли ему долее пребывать в бездействии. Еще до заключения последнего перемирия шведский генерал Гольк вторгся из Чехии в Мейсенскую область, уничтожая огнем и мечом все, что лежало на его пути, загнал курфюрста в его крепости и даже взял Лейнциг. Но перемирие в Силезии положило конец опустошениям, которые он учинял, а последствия распутства уготовили ему могилу в Адорфе. По окончании перемирия Валленштейн снова предпринял движение, дававшее повод думать, что он чрез Лузацию вторгнется в Саксонию, и распустил слух, что Пикколомини уже направился туда. Узнав об этом, Арнгейм немедленно покинул свой Силезский лагерь и следом за Валленштейном поспешил на помощь курфюршеству. Но тем самым он оставил без прикрытия шведов, под начальством графа Турна стоявших в очень небольшом числе вблизи Штейнауна-Одере; этого-то и хотел герцог. Он дал саксонскому полководцу пройти на шестнадцать миль вперед, вглубь Мейсенского округа, а сам внезапно повернул назад к Одеру, где застал врасплох шведскую армию, мнившую себя в безопасности. Шведская кавалерия была наголову разбита высланным вперед генералом Шафготшем, а пехота — целиком окружена при Штейнау следовавшей за передовыми частями армией герцога. Валленштейн дал графу Турну полчаса сроку, чтобы

решить, будет ли он с двумя с половиною тысячами солдат драться против двадцати тысяч или же сдастся на милость победителя. При таких обстоятельствах выбирать было не из чего. Вся армия сдалась — и без пролития крови одержана полнейшая победа. Знамена, обоз и орудия достаются победителю, офицеры взяты под стражу, рядовые — распределены по императорским полкам. И вот, наконец, после четырнадцатилетних странствий, после бесчисленных превратностей судьбы зачинщик чешского восстания, чуть не первый виновник всей этой пагубной войны, пресловутый граф Турн — в руках своих врагов. С кровожадным нетерпением ожидают в Вене прибытия этого страшного преступника и предвкушают жестокое торжество — заклание на алтаре справедливости столь знатной жертвы. Но лишить иезуитов этого наслаждения было торжеством более сладостным — и Турн получил свободу. К счастью для него, ему было известно больше, чем следовало знать в Вене, и враги Валленштейна были также и его врагами. В Вене герцогу простили бы поражение; этой обманутой надежды ему никогда не простили. «Что мне было делать с этим бесноватым? — так он пишет со злобной насмешкой министрам, потребовавшим от него объяснений по поводу столь неуместного великодушия. — Дай бог, чтобы у неприятеля все генералы были вроде этого! Во главе шведских войск он нам будет гораздо полезнее, чем в темнице».

За победой при Штейнау непосредственно последовало взятие Лигница, Грос-Глогау и, наконец, Франкфурта-на-Одере. Шафготш, оставшийся в Силезии, чтобы закончить покорение этой области, осадил Бриг и тщетно теснил Бреславль, так как этот вольный город дорожил своими привилегиями и оставался верен шведам. Полковников Илло и Геца Валленштейн отправил к реке Варте с приказом вторгнуться в Померанию и продвинуться к берегам Балтийского моря, и действительно, они овладели ключом к Померании — Ландсбергом. Теперь курфюрст Бранденбургский и герцог Померанский трепетали за свои владения, а сам Валленштейн вторгся с остальной армией в Лузацию,

где взял приступом Герлиц и принудил к сдаче Бауцен. Но он не намерен был воспользоваться добытыми преимуществами, а более всего хотел запугать курфюрста Саксонского и с мечом в руке продолжал делать Бранденбургу и Саксонии мирные предложения, также не увенчавшиеся успехом, ибо противоречивостью своего поведения он убил всякое доверие к себе. Теперь Валленштейн мог обрушить все свои силы на злосчастную Саксонию и, наконец, силою оружия достиг бы своей цели, если бы обстоятельства не заставили его покинуть эти земли. Победы герцога Бернгарда на Дунае, непосредственно угрожавшие самой Австрии, настоятельно требовали его присутствия в Баварии, а изгнание саксонцев и шведов из Силезии лишало его всякого предлога противиться долее приказам императора и оставлять курфюрста Баварского без помощи. Итак, он двинулся с главной армией к Верхнему Пфальцу, и его отступление навсегда избавило Верхнюю Саксонию от этого страшного врага.

Пока было возможно, Валленштейн затягивал спасение Баварии и при помощи изощреннейших уверток издевался над приказами императора. Правда, после многократных просьб он послал, наконец, из Чехии несколько полков на помощь графу Альтрингеру, который старался отстоять Лех и Дунай от Горна и Бернгарда,— но с неременным условием не покидать оборонительного положения. Всякий раз, когда император и курфюрст молили его о помощи, он отсылал их к Альтрингеру, получившему от него, как он официально утверждал, неограниченные полномочия, тогда как на самом деле Альтрингер был связан строжайшими инструкциями и предупрежден, что неисполнение приказов герцога грозит ему смертной казнью. После того как герцог Бернгард появился под Регенсбургом, император, как и курфюрст, стали еще настойчивее требовать поддержки; и тогда Валленштейн посулил прислать на Дунай генерала Галласа с крупными силами. Но и это не было сделано, и вслед за епископством Эйхштетским к шведам перешли Регенсбург, Штраубинг и Хам. Но когда уклоняться от исполнения решительных приказаний двора уже стало немислимо, он



начал так медленно, как только мог, подвигаться к баварской границе, где обложил взятый шведами Хам. Проведав, однако, что шведы подговаривают саксонцев предпринять диверсию в Чехии, он воспользовался этим слухом, чтобы как можно скорее, ровно ничего не сделав, возвратиться в Чехию. Охрана и защита императорских владений, так он заявлял, превыше всего; поэтому он оставался, словно прикованный, в Чехии и охранял это королевство, как если бы уже владел им. Император еще более властным тоном повторил приказание двинуться к Дунаю и воспрепятствовать опасному закреплению герцога Веймарского на австрийских границах. Но Валленштейн, считая кампанию этого года законченной, снова расквартировал свои войска на зиму в истощенной Чехии.

Столь постоянное упорство, столь беспримерное пренебрежение всеми приказаниями императора, столь преднамеренное невнимание к общему благу, в связи с крайне двусмысленным образом действий по отношению к неприятелю, должны были, наконец, убедить императора в основательности зловещих слухов, давно уже ходивших по всей Германии. Долго удавалось Валленштейну прикрывать видимостью законности свои преступные переговоры с неприятелем и убеждать все еще благоволившего к нему императора, что единственная цель этих тайных сношений — доставить Германии мир. Но как ни был он убежден, что его тайна непроницаема, все его поведение в целом вполне оправдывало обвинения, которыми его противники прожужжали уши императору. Чтобы на месте проверить справедливость или несправедливость этих обвинений, император не раз уже посылал в лагерь Валленштейна соглядатаев, но они возвращались с одними предположениями, так как герцог остерегался что бы то ни было излагать письменно. Однако когда, наконец, сами министры, стойкие защитники Валленштейна при дворе, поместья которых герцог разорял такими же поборами, стали на сторону его противников; когда курфюрст Баварский пригрозил, что он заключит мир со шведами, если Валленштейн не будет отставлен; когда, наконец, его отставки настоя-

тельно потребовал испанский посол, грозя в случае отказа прекращением субсидий от своего двора, — император вторично счел себя вынужденным лишить Валленштейна командования войсками.

Вскоре самовластные и непосредственные распоряжения императора по армии не оставили у герцога сомнений в том, что договор с ним считается расторгнутым и что отставка его неизбежна. Один из его помощников в Австрии, которому Валленштейн под страхом смертной казни запретил повиноваться венскому двору, получил непосредственно от императора приказ присоединиться к курфюрсту Баварскому, и самому Валленштейну передано было строжайшее повеление послать несколько полков на подмогу кардиналу-инфанту, шедшему со своей армией из Италии. Все эти распоряжения показывали герцогу, что в Вене твердо решили постепенно обезоружить его, а затем, слабого и незащищенного, уничтожить одним ударом.

Во имя собственного спасения он должен был теперь как можно скорее осуществить план, первоначально созданный лишь с целью получить большую власть. Герцог медлил его исполнением дольше, чем предписывало благоразумие, потому что ему все не выпадало благоприятного сочетания звезд или же — этим он обычно успокаивал нетерпение своих друзей — «потому что еще не настало время». Время не настало и теперь, но настоятельная необходимость уже не позволяла ему долее дожидаться благосклонности светил. Прежде всего нужно было удостовериться в верности главных военачальников, а затем — испытать преданность войск, которую он полагал безграничной. Три командира — полковник Кински, Терцки и Илло — давно уже были посвящены в тайну заговора, и первые два были связаны с ним родственными узами. Равное честолюбие, равная ненависть к правительству и надежда на неслыханно щедрую награду теснейшим образом связывали их с Валленштейном, который не пренебрегал самыми низменными средствами, только бы увеличить число своих приверженцев. Полковника Илло он в свое время убедил ходатайствовать в Вене о графском титуле, обещав ему свою могущественную под-

держку в этом деле. Но втайне он написал министру, чтобы тот отказал Илло в его просьбе — не то, по его словам, явятся еще многие, имеющие такие же заслуги, и станут требовать такой же награды. Когда Илло возвратился в армию, Валленштейн прежде всего спросил об исходе его хлопот и, услышав о полной неудаче, разразился негодованием против двора. «Вот чего добились мы за нашу верную службу, — воскликнул он, — вот как ценят мои просьбы; а вам, за ваши заслуги, отказывают в такой ничтожной награде! Кто захочет долее служить столь неблагодарному повелителю! Нет, что до меня, я отныне заклятый враг Австрийского дома». Илло во всем согласился с ним, и они заключили между собой нерушимый союз.

Но то, что было известно этим трем наперсникам герцога, долго оставалось непроницаемой тайной для всех остальных, и уверенность, с которой Валленштейн говорил о преданности своих офицеров, основывалась исключительно на благодеяниях, которые он им оказывал, и на их недовольстве двором. Но прежде чем снять маску и решиться на открытое выступление против императора, необходимо было обратить это шаткое предположение в уверенность. Граф Пикколомини, тот самый, который в битве при Люцене выказал столь беспримерное мужество, был первым, чью верность Валленштейн подвергнул испытанию. Щедрыми дарами герцог приобрел право на признательность этого генерала, которому оказывал явное предпочтение, ибо Пикколомини родился под одним созвездием с ним. Теперь он объяснил ему, что, вынужденный к тому неблагодарностью императора и неминуемой опасностью, принял твердое решение отречься от интересов Австрии, перейти с лучшей частью армии на сторону неприятеля и бороться с австрийской династией во всех странах, на которые простирается ее могущество, до тех пор, пока она не будет совершенно искоренена. В этом деле, прибавил герцог, он рассчитывает прежде всего на Пикколомини и давно уже предназначил ему блистательнейшую награду. Когда тот, чтобы скрыть замешательство, вызванное в нем столь невероятным предложением, заговорил о препятствиях и опасностях,

связанных с таким дерзким предприятием, Валленштейн посмеялся над его страхом. «В подобных рискованных делах,— воскликнул он,— трудно только начало; звезды к нему благосклонны, более благоприятного случая желать не приходится, к тому же и удаче нужно хоть сколько-нибудь доверять!» Его решение неизменно, и если иначе никак не выйдет, то он готов попытать счастья во главе хотя бы тысячи всадников. Пикколомини не решился долгими препирательствами возбудить недоверие герцога и с притворной готовностью уступил его доводам. Так велико было ослепление герцога, что он, несмотря на все предостережения графа Терцки, нисколько не усомнился в искренности человека, который, не теряя ни минуты, сообщил об этом чрезвычайном открытии в Вену.

Чтобы, наконец, решительно устремиться к цели, Валленштейн в январе 1634 года созвал всех военачальников в Пильзен, где он расположился лагерем после своего отступления из Баварии. Последние требования императора — избавить его наследственные владения от расквартирования там войск на зиму, отвоевать Регенсбург в это суровое время года, уменьшить армию на шесть тысяч человек кавалерии и подкрепить ими войско кардинала-инфанта — были достаточно вески, чтобы стать предметом обсуждения военного совета, и этот благовидный предлог скрывал от любопытных подлинную цель съезда. Сюда же были тайно приглашены шведы и саксонцы для мирных переговоров с герцогом Фридрихландским; с начальниками более отдаленных отрядов предполагалось снестись письменно. Из приглашенных командиров явилось двадцать, но в числе их не было самых влиятельных: Галласа, Коллоредо и Альтрингера. Герцог вторично, притом более настоятельно, предложил им приехать, а пока, в ожидании их скорого прибытия, приступил к делу.

Нелегкая задача предстояла ему теперь: склонить к позорнейшей измене гордое, мужественное, ревниво охраняющее свою честь дворянство, внезапно стать негодяем, искусителем, мятежником в глазах тех, кто

доселе привык чтить в нем отблеск верховного величия, видеть в нем судью своих поступков, хранителя законов. Нелегко было поколебать в прочных ее основах законную, веками укрепленную, освященную религией и законами власть, разрушить все чары воображения и чувств — грозных хранителей законного престола, — насильственной рукой искоренить то неистребимое чувство долга, которое так громко и так властно говорит в груди каждого подданного за прирожденного государя. Но ослепленный блеском короны Валленштейн не видел пропасти, разверзшейся у его ног, и в захватывающем радостном ощущении своего могущества он забыл — обычный удел сильных и отважных душ! — по достоинству оценить и обдумать все препятствия. Валленштейн не видел перед собой ничего, кроме армии, отчасти равнодушной ко двору, отчасти озлобленной против двора, — армии, привыкшей слепо преклоняться перед его властью, дрожать перед ним, своим законодателем и судьей, в благоговейном трепете, словно веления рока исполнять его приказания. В безмерной лести, расточаемой его всемогуществу, в дерзком издевательстве над двором и правительством, которое позволяла себе беспшабашная военщина и извинением которому служила дикая разнузданность лагеря, ему чудились сокровенные помышления армии, а смелость, с которой решались порицать действия самого монарха, казалась ему залогом готовности войск отказаться от верности столь презираемому государю. Но наипугающим препятствием оказалось для него именно то, что он считал таким легким: все его расчеты разбились о верность его войск своему долгу. Опьяненный владычеством над этими необузданными толпами, он приписывал все своему личному значению, не различая, в какой степени он им обязан самому себе и в какой — своему сану. Все трепетало перед ним потому, что он был носителем законной власти, потому, что повиновение ему было долгом, потому, что его авторитет опирался на величие престола. Величие само по себе может вызвать изумление и страх, но лишь законное величие вызывает благоговение и покорность. Этого решающего преимуще-

ства он лишился с того мгновения, как открыто объявил себя преступником.

Фельдмаршал Илло взялся разведать помыслы командиров и подготовить их к шагу, которого от них ожидали. Он начал с того, что изложил им последние требования, предъявленные венским двором к герцогу и армии, и, ловко выставив эти требования в самом неприглядном свете, без труда распалил гневом собрание. После этого искусного вступления он весьма красноречиво распространился о заслугах армии и ее вождя и о неблагодарности, которою император обычно платил им за это. «Каждый шаг двора,— говорил он,— подсказан Испанией, министерство на жалованье у Испании; один лишь герцог Фридландский боролся до сих пор с этой тиранией и тем навлек на себя смертельную ненависть испанцев. Давно уже,— продолжал он,— заветнейшей целью их стремлений было добиться его отставки или совсем избавиться от него, а в ожидании, покуда им удастся то или другое, они стремятся лишить его власти над войсками. Вот почему так стараются передать командование королю Венгерскому — лишь для того, чтобы распорядиться этим монархом по своему произволу, как покорным орудием чужих внушений, и тем прочнее укрепить испанское владычество в Германии. Лишь для того, чтобы уменьшить армию, требуют теперь отправки шести тысяч человек к кардиналу-инфанту. Лишь для того, чтобы истощить ее зимним походом, настаивают на взятии Регенсбурга в это суровое время года, затрудняют всякую возможность содержать армию, меж тем как иезуиты и министры обогащаются потом и кровью провинций и расточают деньги, предназначенные для войск. Герцог сознается в своей бессилии сдержать слово, данное армии, ибо двор ставит ему препятствия. За все услуги, оказанные им австрийскому двору на протяжении двадцати двух лет, за все тяготы, понесенные им, за все богатства, истраченные им ради службы императору, его ждет теперь вторичная позорная отставка. Но он заявляет, что не допустит до этого. Он добровольно отказывается от начальствования, прежде чем у него вырвут из рук власть. Вот что герцог поручил мне

передать командирам,— продолжал оратор.— Пусть каждый сам спросит себя, желательно ли лишиться такого полководца. Пусть каждый подумает, кто возместит ему суммы, издержанные на императорской службе, где получит он заслуженную награду за свою храбрость, когда не будет того, на чьих глазах он ее выказал».

Общий вопль, что допустить отставку герцога невозможно, прервал оратора. Четверо самых знатных лиц из числа присутствовавших были посланы к герцогу, чтобы передать ему волю собрания и молить его не покидать армии. Герцог сначала для виду отказался, но после присылки второй депутации уступил настояниям. Эта податливость с его стороны, очевидно, давала ему право ждать ответной услуги. Обязавшись не подавать в отставку без ведома и согласия командиров, он в свою очередь потребовал от них письменного обещания хранить верность ему, никогда от него не отступаться и не давать другим разъединить его с ними и, наконец, сражаться за него до последней капли крови. Тот, кто выступит из этого союза, будет считаться презренным изменником, и остальные будут с ним обходиться как с общим врагом. Ясно выраженная оговорка: *«покуда Валленштейн будет пользоваться армией на службе императора»* — устраняла всякое превратное толкование, и собравшиеся командиры, все до единого, ни в чем не усомнившись, безусловно одобрили столь невинное на вид и столь справедливое требование.

Чтение этого документа происходило непосредственно перед банкетом, устроенным фельдмаршалом Илло исключительно с этой целью; по окончании пиршества должны были приступить к подписанию документа. Хозяин всячески старался крепкими напитками затемнить сознание своих гостей и подал бумагу к подписи лишь тогда, когда заметил, что они совершенно захмелели. Большинство легкомысленно начертало свое имя, не разбирая, что подписывают. Лишь немногие, более любопытные или более подозрительные, еще раз пробежали документ глазами и с изумлением открыли, что оговорка: *«покуда Валленштейн будет пользоваться армией на службе императора»* — пропущена.

Действительно, Илло с ловкостью умелого фокусника подменил первый экземпляр другим, где этой оговорки не было. Подлог раскрылся, и теперь многие отказывались дать свою подпись. Пикколомини, раскусивший этот обман и явившийся лишь для того, чтобы сообщить обо всем двору, под влиянием винных паров забылся настолько, что предложил тост за здоровье императора. Но тут встал граф Терцки и объявил всякого, кто теперь пойдет на попятный, гнусным клятвопреступником. Его угрозы, мысль о неизбежной опасности, сопряженной с дальнейшим сопротивлением, пример большинства и красноречие Илло победили в конце концов колебания — и документ был подписан всеми без исключения.

Итак, Валленштейн достиг своей цели; однако совершенно неожиданное сопротивление командиров разом исторгло его из сладостных мечтаний, в которых он витал до сих пор. К тому же большинство имен было нацарапано так неразборчиво, что в этом нельзя было не видеть злого умысла. Но вместо того чтобы призадуматься над этим предостерегающим указанием судьбы, он дал исход своему раздражению в недостойных нареканиях и проклятиях. Созвав к себе командиров на следующее утро, он лично повторил им все то, что Илло накануне изложил в своей речи. Излив свое негодование против двора в горчайших упреках и насмешках, он напомнил им об их вчерашней строптивости и заявил, что их поведение заставляет его отказаться от своего обязательства. Безмолвные и удрученные разошлись командиры, но после непродолжительного совещания они вновь явились в приемную герцога, принесли извинения в том, что произошло накануне, и предложили снова дать свою подпись.

Теперь оставалось только получить такое же обязательство и от неявившихся военачальников или же, в случае отказа, лишить их свободы. Поэтому Валленштейн возобновил приглашение, настойчиво призывая их поспешить приездом. Но еще в пути до них дошла молва о том, что произошло в Пильзене, и это побудило их не торопиться. Альтрингер под предлогом



болезни остался в укрепленном замке Фрауэнберг. Галлас хотя и явился, но лишь для того, чтобы затем в качестве очевидца дать императору более точные сведения о грозящей ему опасности. Сведения, сообщенные им и Пикколомини, сразу превратили мрачные предположения двора в ужасающую уверенность. Такие же вести, полученные в то же время из других мест, не допускали дальнейших сомнений, а быстрая смена комендантов в силезских и австрийских крепостях, повидимому, указывала на весьма подозрительные замыслы. Опасность была близка и требовала неотложных мероприятий. Однако находили неудобным начать с исполнения приговора и намеревались строго соблюсти закон. Поэтому тем военачальникам, на преданность которых вполне полагались, были вручены секретные приказы любым способом взять под стражу герцога Фридландского вместе с обоими его соучастниками — Илло и Терцки — и отправить в надежное место, где им могли бы учинить допрос и заставить их дать отчет в своих действиях. Если же невозможно будет выполнить это мирным путем, то в видах общественной безопасности их следует захватить живыми или мертвыми. В то же время генерал Галлас получил на руки открытый лист, коим это распоряжение императора доводилось до сведения всех командиров и офицеров, вся армия освобождалась от своих обязанностей по отношению к изменнику и до назначения нового главнокомандующего препоручалась генерал-лейтенанту Галласу. Чтобы облегчить обманутым отступникам возврат к исполнению их долга и не повергнуть их в отчаяние, обещали полную амнистию за все, что совершено было в Пильзене против его императорского величества.

Генерал Галлас отнюдь не был рад оказанной ему чести. Он находился в Пильзене, на глазах у того, чья судьба была ему вверена, во власти врага, располагавшего для наблюдения за ним сотнями соглядатаев. Если Валленштейн проведает о тайном поручении, возложенном на него, Галласа, то ничто в мире не защитит его от мести и отчаяния герцога. Если опасно было скрывать такое поручение, то еще страшнее было при-

вести его в исполнение. Сокровенных помыслов командиров он не знал, и можно было по меньшей мере сомневаться, захотят ли они, уже сделав такой шаг, поверить посулам императора и разом отказаться от всех тех блестящих надежд, которые они возлагали на Валленштейна. И, наконец, какое дерзновенное предприятие — наложить руку на человека, который до сих пор считался неприкосновенным, который в силу долговременного пользования высшей властью, в силу покорства, обратившегося в привычку, стал предметом глубочайшего благоговения и был вооружен всем, чем может наделить внешний блеск и внутреннее величие; человека, один взгляд которого внушал рабский трепет и который одним мановением даровал жизнь или обрекал на смерть! Схватить, как простого преступника, такого человека среди телохранителей, окружающих его, в стенах города, очевидно, слепо ему преданного, внезапно обратить предмет столь давнего глубокого преклонения в предмет жалости или издевательства — такого поручения мог утрашиться и самый храбрый из людей. Так глубоко внедрились в души солдат герцога трепет и преклонение пред ним, что даже столь чудовищное преступление, как государственная измена, не могло вырвать с корнем их чувств к нему.

Галлас понял невозможность исполнить данное ему поручение открыто, на глазах герцога, и заветнейшим его желанием было снестись с Альтрингером, прежде чем решиться на какой-либо шаг. Так как продолжительное отсутствие последнего начало уже возбуждать подозрения герцога, то Галлас вызвался лично отправиться в Фрауэнберг и уговорить Альтрингера, приходившегося ему родственником, явиться в Пильзен. Валленштейн принял это доказательство усердия Галласа столь благосклонно, что предоставил ему свою карету. Весьма довольный успехом своей хитрости, Галлас поспешил оставить Пильзен, предоставив графу Пикколомини следить за действиями Валленштейна; сам он, однако, не преминул, где только мог, огласить императорский приказ, который был принят войсками гораздо лучше, чем он мог ожидать. Вместо того чтобы привезти с собой своего друга в Пильзен, он, наоборот,

отправил его в Вену для охраны императора от угрожавшего ему нападения, а сам направился в Верхнюю Австрию, где приближение герцога Бернгарда Веймарского вызвало чрезвычайную тревогу. В Чехии города Будвейс и Табор вновь были заняты императорскими войсками, и приняты были все меры к тому, чтобы дать быстрый, решительный отпор любым действиям изменника.

Так как и Галлас, очевидно, не думал о возвращении, то Пикколомини решился еще раз испытать легковерие герцога. Он испросил у него позволение съездить за Галласом, и Валленштейн во второй раз дался в обман. Это непонятное ослепление мы можем объяснить лишь как естественное следствие его гордыни, под влиянием которой он никогда не отказывался от однажды составленного себе мнения о человеке и даже самому себе не признавался в возможной ошибке. Графа Пикколомини он также в своей карете отправил в Линц, где тот не только сейчас же последовал примеру Галласа, но предпринял и дальнейший шаг. Он обещал Валленштейну возвратиться, — он и пускается в обратный путь, но во главе целой армии, с целью захватить герцога в Пильзене. Другое войско, под начальством генерала Суйса, спешило в Прагу, чтобы укрепить этот город за императором и охранять его от возможного нападения мятежников. В то же время Галлас возвещает всем, рассеянным повсюду австрийским армиям, что отныне он — единственный полководец, распоряжения которого являются непреложным законом. Во всех императорских лагерях распространяются приказы, которыми герцог вместе с его наперсниками объявлен вне закона и армии освобождены от всяких обязательств по отношению к изменнику.

Примеру, поданному в Линце, следуют все; имя изменника предается проклятию; все армии отпадают от него. Наконец, когда уж и Пикколомини не возвращается, повязка спадает с глаз Валленштейна — и страшно его пробуждение. Но и теперь еще он верит в истинность того, что рекут звезды, и в преданность армии. В ответ на известие об отпадении Пикколомини

он объявляет, что впредь не должно повиноваться никакому приказу, не исходящему непосредственно от него или от Терцки и Илло. Он спешно готовится выступить в Прагу, где намерен, наконец, сбросить маску и открыто объявить себя врагом императора. Под Прагой должны собраться все войска и отсюда с быстротой молнии ринуться на Австрию. Герцог Бернгард, тоже участвующий в заговоре, должен был шведскими войсками поддержать действия герцога и предпринять диверсию на Дунае. Уже Терцки спешил в Прагу, и лишь нехватка лошадей мешала герцогу немедленно последовать за ним с остальными сохранившими верность полками. С великим нетерпением ожидает он известий из Праги и узнает, что этот город потерян, генералы предали его, войска изменили ему, заговор раскрыт и Пикколомини, поклявшийся погубить его, двинулся ему навстречу. С ужасающей быстротой рушатся все его планы, обращаются в прах все его чаяния. Он одинок, покинут всеми, кого облагодетельствовал, предан всеми, на кого надеялся. Но именно в таких обстоятельствах познаются великие натуры. Обманувшись во всех своих надеждах, он не отказывается ни от одного из своих замыслов: он ни в чем не отчаивается, потому что сам он еще существует. Теперь настал момент, когда невозможно обойтись без вожденной помощи шведов и саксонцев и когда исчезает всякое сомнение в его искренности. Убедившись в твердости его намерений и в затруднительности его положения, Оксеншерна и Арнгейм также, отбросив всякие колебания, решают воспользоваться благоприятным случаем и обещают ему поддержку. Саксонией поручено герцогу Францу-Альберту Саксен-Лауэнбургскому доставить ему четыре тысячи воинов; от шведов он должен получить чрез герцога Бернгарда и пфальцграфа Биркенфельдского Христиана шесть тысяч испытанных солдат. Покинув Пильзен с полком Терцки и теми немногими из окружавших его лиц, что остались верными ему или прикидывались такими, Валленштейн поспешил в Эгер, к самой границе королевства, чтобы быть ближе к Верхнему Пфальцу и тем легче соединиться с герцо-

гом Бернгардом. Приговор, объявивший его врагом государства и изменником, еще не был известен ему. Лишь в Эгере поразил его этот громовый удар. Он еще рассчитывал на ту армию, которую генерал Шафготш держал в Силезии наготове для него, и попрежнему тешил себя надеждою, что многие даже из числа тех, кто изменил ему, вновь возвратятся к нему при первом проблеске возврата счастья. Даже во время бегства в Эгер — так мало это страшное испытание смирило его отважную душу — он еще лелеял дерзновенный замысел низвергнуть императора с престола. В этих обстоятельствах некто из его свиты попросил разрешения подать ему совет. «Для императора, — начал он, — ваша светлость являетесь известным, великим и весьма уважаемым сановником; для неприятеля вы — пока что сомнительный король. Неразумно рисковать надежным ради ненадежного. Неприятель воспользуется вашей особой, потому что случай очень уж благоприятен, но ваша светлость всегда будут у него на подозрении, и он всегда будет опасаться, что когда-нибудь вы с ним поступите так же, как теперь — с императором. Поэтому одумайтесь, пока не поздно». — «Что же будет тогда?» — возразил герцог. «У вас в сундуках сорок тысяч «солдат» (золотых с вычеканенными на них латниками), — ответил тот. — Прихватив их с собой, отправьтесь прямо к императорскому двору. Объясните там, что все ваши действия в последнее время имели целью лишь одно — испытать верность императорских слуг и отличить благонамеренных от подозрительных. И так как большинство из них оказалось склонным к измене, то вы и явились предостеречь его императорское величество от этих опасных людей. Таким образом, каждого, кто теперь захочет изобразить вас преступником, вы сможете выставить изменником. При императорском дворе вас с сорока тысячами золотых примут, разумеется, с распростертыми объятиями, и вы снова станете важной особой». — «Совет недурен, — ответил Валленштейн после некоторого раздумья, — да черт его знает!»

В то время как герцог неумоимо вел из Эгера переговоры с неприятелем, вопрошал звезды и преда-

вался новым надеждам, чуть не на его глазах оттачивался кинжал, положивший конец его дням. Императорский приговор, объявлявший его вне закона, возымел свое действие, и карающая Немезида обрекла неблагодарного погибнуть под ударами неблагодарности. Из всех своих офицеров Валленштейн особо отличал ирландца по имени Лесли и облагодетельствовал его. Не кто иной, как этот человек, счел себя призванным привести в исполнение смертный приговор над герцогом и заслужить кровавую награду. Как только Лесли появился в свите герцога в Эгере, он поспешил раскрыть коменданту этого города, полковнику Бутлеру, и подполковнику Гордону — шотландцам и протестантам — все коварные замыслы герцога, необдуманно доверившего ему их в пути. В лице Гордона и Бутлера Лесли нашел людей, способных на решительный шаг. Им предстоял выбор между долгом и изменой, между законным властителем и беглым, всеми покинутым мятежником. То обстоятельство, что этот мятежник был их благодетелем, не могло, однако, внушить им хотя бы минутное колебание в выборе. Все трое торжественно клянутся друг другу свято хранить верность императору, а верность требует скорейших действий против общего врага. Обстоятельства благоприятствуют им, и злой дух герцога сам отдает его в руки мести. Но, чтобы не лишать правосудия его законных полномочий, решено было представить жертву живой, и заговорщики расстаются, приняв отважное решение схватить полководца, не умертвив его. Покровом глубокой тайны облечен этот мрачный заговор, а Валленштейн, не подозревая о нависшей над ним гибели, наоборот, льстит себя уверенностью, что в эгерском гарнизоне найдет храбрейших и вернейших своих защитников.

В ту пору ему вручают императорские указы, содержащие приговор и обнародованные во всех лагерях. Теперь он уясняет себе подлинные размеры угрожающей ему опасности, всю невозможность отступления, всю безысходность своего одиночества, всю необходимость сдаться врагу на милость или немилость. Все муки своей раненой души он изливает пред Лесли,

и безмерное волнение исторгает у него последнюю тайну. Он поверяет этому подчиненному свое решение сдать пфальцграфу Биркенфельдскому Эгер и Эльбоген — ключи к королевству, — и в то же время говорит ему о предстоящем прибытии в Эгер герцога Бернгарда, о котором ему возвестил гонец, прискакавший минувшей ночью. Узнав эту тайну, Лесли немедленно посвящает в нее остальных участников заговора, и они изменяют первоначальное свое решение. Нависшая опасность уже не позволяет думать о пощаде. Эгер может каждую минуту перейти в руки неприятеля, и внезапный переворот возвратит их пленнику свободу. Чтобы избежать этой беды, они решают в следующую ночь убить Валленштейна вместе с его приверженцами.

Чтобы все обошлось как можно тише, решено было покончить дело во время банкета, устроенного полковником Бутлером в Эгерском замке. Все прочие явились — лишь Валленштейн, слишком взволнованный, чтобы принять участие в веселой пирушке, отказался, принеся свои извинения. Пришлось таким образом по отношению к нему изменить намеченный план; с остальными решено было поступить как условлено. Ничего не подозревая, явились все три полковника — Илло, Терцки, Вильгельм Кински — и с ними ротмистр Нейман, весьма способный офицер, которому Терцки обыкновенно поручал всякое сложное дело, требовавшее сообразительности. До их прибытия в замок заговорщики ввели туда самых надежных солдат из гарнизона, открыв им свои замыслы. Солдаты заняли все выходы, а в чулане возле столовой были спрятаны шестеро бутлеровских драгун, которые по условному знаку должны были выскочить и перебить изменников. Не помышляя об опасности, уже нависшей над их головами, гости беспечно предались пиршественным утехам и, наполнив чаши, провозглашали здравницы во славу Валленштейна — уже не императорского слуги, а самодержавного государя. Вино развязало им языки, и Илло чрезвычайно самоуверенно заявил, что через три дня здесь будет армия, равной которой Валленштейн никогда еще не возглавлял. «Да, — прервал Нейман, — и тогда он надеется омыть руки в

австрийской крови». Среди этих разговоров приносят десерт, и тут Лесли дает условленный знак занять подъемный мост и забирает ключи от всех ворот замка. Столовая вдруг наполняется вооруженными людьми; с неожиданным кличем: «Да здравствует Фердинанд!» — становятся они за креслами тех гостей, которые заранее были им указаны. Ошеломленные, предчувствуя гибель, вскакивают четверо сообщников со своих мест. Кински и Терцки заколоты, прежде чем они успели схватиться за оружие; Нейману удается во время суматохи убежать во двор, но там часовые узнают его и тотчас убивают. Один Илло сохранил достаточное присутствие духа, чтобы обороняться. Прислонившись к окну, он осыпал Гордона горькими упреками в предательстве и вызывал его на честный рыцарский бой. Отчаянно защищаясь, он убил двоих врагов и пал, подавленный численным превосходством, пораженный десятью ударами. Тотчас после этого Лесли поспешил в город, чтобы предупредить возможные волнения; увидя, как он бежит запыхавшись, часовые у ворот замка выстрелили в него, думая, что это кто-либо из изменников, но промахнулись. Эти выстрелы всполошили стражу во всем городе, и лишь благодаря скорому появлению Лесли караульные успокоились. Он обстоятельно рассказал им о заговоре герцога и о принятых против него мерах, о судьбе четырех мятежников и об участи, ожидающей самого главаря. Встретив со стороны солдат полную готовность оказать ему поддержку, он снова взял с них клятву оставаться верными императору, жить и умереть за правое дело. Вслед затем из замка в город было отправлено сто бутлеровских драгун с поручением объезжать улицы, чтобы держать в страхе приверженцев герцога и предотвратить всякую смуту. Одновременно все ворота города Эгера были заняты солдатами, а доступ к замку герцога, выходящему на рыночную площадь, прегражден многочисленным надежным отрядом, так что герцог уже не мог ни ускользнуть, ни получить помощь извне.

Но прежде чем приступить к делу, заговорщики долго еще совещались в замке, убить ли герцога, или



удовлетвориться его арестом. Обагранные кровью, попирая, можно сказать, трупы перебитых наперспиков Валленштейна, эти жестокие сердца содрогнулись пред чудовищным злодеянием — насильственно прервать столь славную жизнь. Они видели его вождем в сражениях, в дни его счастья, окруженного победоносной армией, в полном блеске его властного величия, — и снова их обуял привычный страх. Но мысль о неминуемой опасности подавляет эту мимолетную слабость. На память приходят те угрозы, которые за столом выкрикивали Илло и Нейман; мысленно они видят, как саксонцы и шведы приближаются к Эгеру с мощной армией, и нет для них спасения, если сейчас не погибнет изменник. Итак, первоначальное решение остается в силе, и намеченный убийца, ирландец, капитан Деверу, получает кровавый приказ.

Меж тем как в Эгерском замке три заговорщика решали участь Валленштейна, сам он вел долгую беседу с астрологом Сени, стараясь прочесть ее в звездах. «Опасность не миновала», — пророчески изрек звездочет. «Опасности нет», — ответил герцог, словно желая подчинить само небо своей воле, — но что ты в ближайшем будущем очутишься в темнице, — продолжал он столь же пророчески, — это, друг мой Сени, начертано в звездах». Затем Валленштейн расстался с астрологом и уже лежал в постели, когда пред дворцом появился капитан Деверу с шестью алебардщиками. Часовые, не раз видевшие, как он входил к герцогу и выходил от него в неурочное время, беспрепятственно пропустили их всех. Повстречавшийся им на лестнице паж хотел было поднять тревогу, — его прикончили на месте. В комнате перед спальней убийцы натываются на камердинера, только что ушедшего от своего господина и запершего дверь на ключ. Приложив палец к губам, испуганный раб подает им знак не шуметь, так как герцог только что заснул. «Теперь, любезный, — восклицает Деверу, — как раз пора шуметь!» С этими словами он бросается к запертой двери, изнутри заложенной засовом, и ногой высаживает ее.

Пробужденный ружейным выстрелом от первого сна, Валленштейн бросается к окну, чтобы позвать

стражу. В эту минуту из окон смежного флигеля доносятся до него рыдания и вопли графинь Терцки и Кински, только что узнавших, что их мужья убиты. Прежде чем он уяснил себе значение этого страшного события, Деверу со своими подручными уже вломился в комнату. В одной рубашке, как вскочил с постели, Валленштейн стоял у окна, прислонясь к столу. «Так это ты, негодяй, задумал предать врагу войско императора и сорвать корону с главы его величества? — кричит Деверу. — Умри же!» Он помедлил минутудругую, как бы дожидаясь ответа. Но изумление и надменность замыкают уста герцога. Широко раскинув руки, принимает он смертельный удар в грудь и безмолвно падает, обливаясь кровью.

На следующий день является от герцога Лауэнбургского гонец с известием о предстоящем прибытии этого государя. Его задерживают и отправляют к герцогу другого слугу в ливрее челяди Валленштейна, чтобы заманить принца в Эгер. Хитрость оказывается удачной, и Франц-Альберт сам отдается в руки неприятеля. Герцог Бернгард Веймарский, уже находившийся на пути в Эгер, едва избежал той же участи. К счастью, он во-время получил известие о гибели Валленштейна и быстрым отступлением избежал опасности. Фердинанд пролил слезу над участью своего полководца и приказал отслужить в Вене три тысячи панихид по убитому. При этом он не преминул, однако, наградить убийц золотыми цепями, камергерскими ключами, почестями и рыцарскими поместьями.

Так окончил Валленштейн, пятидесяти лет от роду, свою полную славы, необыкновенную жизнь. Вознесенный честолюбием и честолюбием повергнутый в прах, при всех своих недостатках изумительный, достойный восхищения человек, он был бы недосыгаемо велик, если бы соблюдал меру. Добродетели властелина и героя, ум, справедливость, твердость и мужество с исполнской силой выражены в его натуре; но он был лишен простых человеческих добродетелей, украшающих героя и привлекающих к повелителю сердца. Страх был его волшебным жезлом; не зная меры ни в наказаниях, ни в наградах, он умел держать усердие

своих подчиненных в непрестанном напряжении, и таким повиновением, какое оказывали ему, не может похвалиться ни один полководец средних веков и нового времени. Покорность своим велениям он ценил выше храбрости, ибо храбрость — орудие солдата, тогда как покорность — орудие полководца. Он испытывал послушание своих войск нелепыми приказами и за готовность повиноваться даже в ничтожных мелочах награждал с невероятной щедростью, потому что самую покорность ценил выше того, в чем она проявлялась. Однажды он под страхом смертной казни запретил всей армии носить какие-либо другие перевязи, кроме красных. Некий ротмистр, едва услышав об этом приказе, сбросил с себя затканную золотом перевязь и растоптал ее ногами. Узнав об этом, Валленштейн немедленно произвел его в полковники. Властным взором он всегда схватывал совокупность вещей, и при всей кажущейся произвольности его распоряжений он никогда не терял из виду принципа целесообразности. Грабежи солдат в дружественных землях вызывали суровые приказы против мародерства, и каждому, кто был уличен в краже, грозила виселица. И вот однажды Валленштейн, встретив в поле солдата, без всякого расследования приказал схватить его как нарушителя закона и обычным громовым, не допускающим противоречия возгласом: «Повесить бестию!» — приговорил его к смерти. Солдат клялся и доказывал свою невиновность, но не подлежащий отмене приговор вынесен. «Пусть даже тебя повесят безвинно, — изрек бесчеловечный полководец, — тем больше будут страшиться виновные». Уже готовятся исполнить приговор, но солдат, видя, что спасения нет, в безмерном своем отчаянии решает перед смертью отомстить за себя. Яростно кидается он на своего судью, но прежде чем он успевает привести свой замысел в исполнение, его схватывают и отбирают у него оружие. «Теперь отпустите его, — говорит герцог, — теперь-то уж будут бояться». Щедрость герцога питалась огромными доходами, составлявшими около трех миллионов в год, не считая несметных сумм, взимавшихся под названием контрибуций. Силою свободно-

го духа и пронизательной мысли он возвысился над религиозными предрассудками тех времен, и иезуиты не могли простить ему того, что он насквозь понимал их систему и видел в папе лишь римского епископа.

Но как еще со времен пророка Самуила никто из тех, кто враждовал с церковью, не завершал счастливо своих дней, так и Валленштейн оказался в числе ее жертв. Происки монахов лишили его в Регенсбурге власти над армией и в Эгере — жизни; козни монахов лишили его, быть может, того, что дороже жизни и власти, — честного имени и доброй славы в веках. Ибо в конце концов нужно во имя справедливости признать, что история этого необычайного человека передана нам не вполне честными перьями и что сообщения об измене герцога и его видах на чешскую корону основываются не на бесспорно доказанных фактах, а лишь на вероятных предположениях. Пока еще не найден ни один документ, который с исторической достоверностью раскрыл бы нам тайные пружины его действий, а среди известных и надежно засвидетельствованных поступков Валленштейна нет ни одного, который не мог бы проистекать и из совершенно чистых побуждений. Многие из его действий, вызывавших самое суровое порицание, доказывают лишь подлинную склонность к миру, а большинство других объясняется и оправдывается весьма обоснованным недоверием к императору и простительным стремлением сохранить свое высокое звание. Правда, его отношение к курфюрсту Баварскому свидетельствует о неблагородной мстительности и злопамятности. Но ни один из его поступков не дает нам права считать его избалованным в измене. И даже если, наконец, тяжелое положение и отчаяние влекут его к таким поступкам, которыми он действительно мог заслужить приговор, вынесенный невиновному, то это не может служить оправданием самому приговору. Валленштейн пал не потому, что был мятежником: он стал мятежником потому, что пал. Несчастьем для живого было то, что он восстановил против себя победоносную партию; несчастьем для мертвого — что этот враг пережил его и написал его историю.

Смерть Валленштейна вызвала необходимость в назначении нового генералиссимуса, и император, уступив, наконец, уговорам испанцев, облек этим высоким званием сына своего Фердинанда, короля Венгерского. Ему был подчинен граф Галлас, который в действительности исполнял обязанности главнокомандующего, тогда как принц, собственно, лишь украшал этот пост своим именем и величием. Вскоре под знаменами Фердинанда собираются значительные силы; герцог Лотарингский лично приводит ему вспомогательные войска, а из Италии является для подкрепления его армии кардинал-инфанта с десятью тысячами солдат. Чтобы вытеснить неприятеля с берегов Дуная, новый главнокомандующий предпринимает то, чего нельзя было добиться от его предшественника, — осаду Регенсбурга. Напрасно герцог Веймарский Бернгард вторгается в самое сердце Баварии, чтобы отвлечь неприятеля от этого города; Фердинанд ведет осаду с непреклонным упорством, и после ожесточеннейшего сопротивления имперский город открывает ему свои ворота. Та же участь постигает Донауверт, затем приступают к осаде Нердлингена в Швабии. Потеря стольких имперских городов была тем чувствительнее для шведской партии, что приязнь этих городов до того времени так много значила для успехов шведского оружия; поэтому нельзя было проявить равнодушие к их судьбе. Несмываемым позором покрыли бы себя шведы, если бы они покинули своих союзников в такой страшной беде и отдали их в жертву мести неумолимого победителя. По этим причинам шведская армия под предводительством Горна и Бернгарда Веймарского направляется к Нердлингену, чтобы спасти город хотя бы ценой сражения.

Задача была трудная, ибо перевес явно находился на стороне неприятеля; при этих обстоятельствах уклониться от боя было бы тем благоразумнее, что неприятельским войскам предстояло вскоре разделиться, так как итальянские отряды были назначены для отправки в Нидерланды. А пока следовало занять такую позицию, которая прикрывала бы Нердлинген

и отрезала бы неприятелю подвоз провианта. На всех этих соображениях настаивал Густав Горн в шведском военном совете, но его указания не нашли отклика в умах, опьяненных длительными военными успехами и поэтому мнивших, что доводы благоразумия продиктованы лишь страхом. Уступая по необходимости авторитету герцога Бернгарда, Густав Горн вынужден был против воли согласиться на сражение, о несчастном исходе которого ему говорило мрачное предчувствие.

С самого начала было очевидно, что исход боя зависит от овладения холмом, господствующим над императорским лагерем. Попытка овладеть им ночью не удалась, так как трудности перевозки орудий по просекам и тропинкам задерживали движение войск. Когда около полуночи подошли к холму, оказалось, что неприятель уже занял его и основательно укрепил. Пришлось ждать рассвета, чтобы пойти на приступ. Неукротимая отвага шведов проложила себе путь чрез все препятствия; каждая из двух назначенных на это дело бригад стремительно взбирается на шанцы, но, одновременно вторгаясь в полукруглые укрепления с противоположных сторон, бригады наталкиваются друг на друга. Происходит замешательство, и вдобавок в этот тревожный момент взлетает на воздух пороховая бочка, шведские войска охвачены смятением, императорская кавалерия врывается в расстроенные ряды, шведы обращаются в бегство. Никакие увещания вождя не могут заставить бегущих снова перейти в наступление.

Тогда, чтобы удержать эту важную позицию, Горн решает двинуть в бой свежие силы; но тем временем холм уже заняли несколько испанских полков, и всякую попытку овладеть им эти войска отбивают с геройским мужеством. Семь раз идет на приступ один из посланных Бернгардом полков и семь раз отступает. Вскоре ущерб, причиненный потерей этой позиции, дает себя знать. Огонь установленной на холме неприятельской артиллерии производит страшные опустошения на смежном фланге шведов, и Густав Горн, командующий им, вынужден отступить. Герцог Бернгард не в состоянии ни прикрыть отступление полков своего

помощника, ни удержать преследующего их врага; он сам вытеснен превосходными силами неприятеля на равнину, где его конница, бегущая без оглядки, вызывает замешательство в полках Горна и тем довершает общее поражение и бегство. Почти вся пехота взята в плен или перебита, более двенадцати тысяч человек полёгло на поле брани, восемьдесят орудий, около четырех тысяч подвод, триста штандартов и знамен достаются императору. Сам Густав Горн вместе с тремя другими генералами взят в плен. С трудом спасает герцог Бернгард жалкие остатки армии, которые вновь собираются под его знаменами лишь во Франкфурте.

Нердлингенское поражение стоило канцлеру Оксеншерне второй бессонной ночи в Германии. Неисчислимы были причиненные поражением потери. Шведы сразу утратили свое боевое превосходство, а вместе с ним доверие всех своих союзников, которое в сущности зиждилось на их прежних успехах. Намечался опасный разрыв, грозивший гибелью всего протестантского союза. Страх и ужас охватил протестантов, а католическая партия, дерзко торжествуя, восстала из своего глубокого унижения. Швабия и смежные с ней земли первыми испытали на себе следствия нердлингенского поражения; в особенности Вюртемберг немало натерпелся от наводнивших его победоносных войск. Все члены Гейльбронского союза трепетали при мысли о мести императора; все, кто только мог бежать, укрылись в Страсбурге, и беззащитные имперские города с содроганием ждали решения своей участи. Некоторая мягкость по отношению к побежденным чинам вернула бы более слабых из них под власть императора. Но суровость, которую проявили даже в отношении тех, кто подчинился добровольно, довела остальных до отчаяния и одушевила их на упорнейшее сопротивление.

В этом бедственном положении все искали совета и помощи у Оксеншерны. Оксеншерна искал того же у германских чинов. Не было армий; не было денег для создания новых вооруженных сил и для уплаты жалованья, которого все настойчивее требовали старые войска. Оксеншерна обращается к курфюрсту Сак-

сонскому, но тот порывает со шведами и вступает в Пирне в переговоры с императором. Он требует помощи от нижнесаксонских чинов, но те, давно уже истощенные денежными требованиями и притязаниями шведов, заботятся теперь лишь о себе, а герцог Люнебургский Георг, вместо того чтобы поспешить на помощь в Верхнюю Германию, осаждают Минден, с целью сохранить его за собой. Покинутый своими германскими союзниками, канцлер старается заручиться помощью иностранных держав. Он просит денег и войск у Англии, Голландии, Венеции и под гнетом крайней необходимости решается на тягостный шаг, которого так долго избегал, — бросается в объятия Франции.

Настал, наконец, день, которого долгое время с жадным нетерпением ждал Ришелье. Лишь полная невозможность спастись каким-либо иным способом могла заставить протестантских государей Германии поддержать притязания Франции на Эльзас. Это безвыходное положение наступило; Франция стала необходимой и заставила дорого заплатить себе за деятельное участие, которое она отныне принимает в германской войне. Во всем блеске славы и почета вступает она теперь на политическое поприще. Оксенперна, которому дешево стоило жертвовать правами и землями Германии, уже уступил Ришелье имперскую крепость Филиппсбург и другие потребованные Францией укрепленные города; теперь и верхнегерманские протестанты отправили от своего имени особое посольство, предлагая отдать под покровительство Франции Эльзас, крепость Брейзах (которую еще предстояло взять) и все укрепленные города на Верхнем Рейне, являвшиеся ключом к Германии. Что означает французское покровительство, показывала судьба епископств Мецского, Тульского и Верденского, которые Франция уже веками охраняла даже от их законных владетелей. Трирская область уже была занята французскими гарнизонами; Лотарингия могла считаться завоеванной, так как, не имея никакой возможности своими силами противоборствовать грозному соседу, в любую минуту могла быть наводнена французскими войсками. Теперь Франция питала весьма основатель-



ные надежды присоединить к своим обширным владениям также и Эльзас, а затем, ввиду предстоящего раздела Испанских Нидерландов между французами и голландцами, сделать Рейн своей естественной границей со стороны Германии. Так позорно германские чины продали права Германии этой вероломной, жадной державе, которая под маской бескорыстной дружбы стремилась лишь к расширению своих владений и, бесстыдно присваивая себе почетное звание защитницы, думала только о том, как бы пошире раскинуть свои сети и в общей смуте урвать как можно больше.

За эти значительные уступки Франция обязалась военными действиями против испанцев отвлечь от шведов неприятельские войска и в случае открытого разрыва с самим императором — держать по сю сторону Рейна армию в двенадцать тысяч человек, которая в союзе со шведами и немцами будет действовать против Австрии. Желательный предлог для войны с испанцами был подан ими самими. Они вторглись из Нидерландов в город Трир, изрубили стоявший там французский гарнизон, завладели, вопреки всем постановлениям международного права, особой курфюрста, состоявшего под покровительством Франции, и отправили его как пленника во Фландрию. Когда кардинал-инфант в качестве наместника Испанских Нидерландов не дал королю Французскому требуемого им удовлетворения и отказался освободить пленного курфюрста, Ришелье по старинному обычаю в Брюсселе формально через герольда объявил ему войну, которая действительно была начата одновременно тремя французскими армиями — в Милане, Вальтелине и Фландрии. Войне с императором, сулившей меньше выгод и больше трудностей, французский министр, очевидно, не придавал такого значения. Тем не менее в Германию была отправлена через Рейн, под начальством кардинала де Лавалет, четвертая армия, которая, соединившись с войсками герцога Бернгарда, без предварительного объявления войны, двинулась на императора.

Гораздо более чувствительным ударом, чем даже поражение под Нердлингеном, было для шведов при-

мирение курфюрста Саксонского с императором, которое после многократных попыток с обеих сторон воспрепятствовать или содействовать ему, совершилось, наконец, в 1634 году в Пирне, а в мае следующего года было закреплено формальным миром в Праге. Курфюрст Саксонский никогда не мог примириться с властными поведками шведов в Германии, и его неприязнь к этой чужеземной державе, предписывавшей законы в Германской империи, возрастала с каждым новым требованием, предъявляемым Оксеншерной к имперским чинам Германии. Это нерасположение к шведам всячески поддерживалось испанским двором; стремившимся примирить Саксонию с императором. Утомленный превратностями столь долгой и опустошительной войны, печальной ареной которой были главным образом саксонские земли, удрученный теми жестокими бедствиями, на которые враги и друзья, без различия, обрекали его подданных, и соблазненный заманчивыми предложениями Австрийского дома, курфюрст покинул, наконец, общее дело и, мало помышляя об участи других имперских чинов и о германской свободе, заботился лишь о том, как бы соблюсти свою выгоду, хотя бы даже в ущерб общим интересам.

И правда, бедствия Германии были столь ужасающими, что миллионы людей молили лишь о мире, и самый невыгодный мир казался благодеянием небес. Пустыни расстилались там, где прежде работали тысячи бодрых и трудолюбивых людей, где природа расточала самые благодатные свои дары, где царили изобилие и достаток. В полном запустении лежали заросшие сорняками поля, покинутые рачительным пахарем, и там, где прежде зеленели молодые побѣги или приветно колосились хлеба, там прохождение одного полка уничтожало труды целого года; последнюю надежду измученных жителей. Сожженные замки, запущенные поля, испепеленные деревни тянулись на протяжении многих миль, являя картину небывалого разрушения, а их обнищавшие обитатели сами умножали число этих разбойничьих отрядов, ужасающим неистовством вымещая на уцелевших гражданах все то, что пришлось выстрадать им самим. От мучений

можно было спастись, только самому став мучителем. Города стонали под гнетом разнузданных грабительских гарнизонов, которые поглощали достояние граждан и чудовищными насилиями давали чувствовать, что такое беззаконие войны, разнузданность их сословия и требования необходимости. Если уже быстрое прохождение армии обращало целые области в пустыни, если другие края нищали от зимнего поста или истощались контрибуциями, то все это были лишь преходящие бедствия, и прилежная работа одного года могла изгладить следы нескольких мучительных месяцев. Но не знали этого роздыха те города и селенья, в которых или по соседству с которыми был расположен гарнизон. Даже переход военного счастья к другой стороне не мог улучшить их горькую участь, ибо по следам побежденного в те же места являлся победитель, и друг и недруг были равно безжалостны. Запущенные поля, растоптанные жатвы, все увеличивающиеся армии, которые вихрем проносились по истерзанным землям,— все это неизбежно влекло за собой голод и дороговизну, а в последние годы все эти ужасы еще довершились неурожаем. Скопление людей в лагерях и на зимних квартирах, обездоленность одних, излишества других вызвали моровую язву, опустошавшую все страны более, чем меч и пламя. Все основы порядка были распатаны в продолжение этой долгой разрухи; исчезло уважение к человеческим правам, страх пред законами, чистота нравов; сгинула верность и честность, и лишь одна сила правила железным своим скипетром. Пышно распустились под сенью анархии и безнаказанности все пороки, и люди одичали вместе с пажитями. Никакое, даже самое почетное положение не спасало от дерзкого своеволия, никакое имущество не было неприкосновенно для нужды и алчности. Солдат (в одном этом слове выражены все бедствия того времени), солдат царил повсюду, и нередко даже его начальникам приходилось испытывать на себе могущество этого грубейшего из деспотов. В стране, куда он являлся, предводитель армии был более важной особой, чем ее законный государь, которому нередко приходилось прятаться от него в своих

замках. Вся Германия кипела такими маленькими тиранами, и земли ее одинаково жестоко страдали как от своих врагов, так и от своих защитников. Боль от этих ран становилась еще мучительнее при мысли, что Германия претерпевает такие муки по вине иностранных держав, приносивших ее в жертву своей алчности и ради своих корыстных целей намеренно затягивавших гибельную войну. Ради обогащения Швеции и захвата ею немецких земель должна была Германия истекать кровью под бичом войны; ради сохранения могущества Ришелье во Франции должен был неугасимо пылать в Германии факел раздора.

Но не только люди своекорыстные высказывались против мира. Если шведы, как и имперские чины в Германии, желали продолжения войны из нечистых мотивов, то за нее говорила и здравая политика. Мыслимо ли было после нердлингенского поражения ждать от императора справедливого мира? И если это было невозможно, то неужели в продолжение семнадцати лет сносили все тяготы войны, истощали все силы лишь для того, чтобы в конце концов не приобрести ничего или даже выйти из войны с ущербом? Ради чего пролита вся эта кровь, если все останется по-старому, если права нимало не будут расширены, требования — нисколько не удовлетворены, если все, добытое ценою таких страданий, придется вернуть по мирному договору? Не лучше ли еще два-три года переносить тяготы, под бременем которых так долго изнывали, и, наконец, все же получить возмещение за двадцать лет страданий? Не подлежало сомнению, что можно будет заключить выгодный мир, если только шведы и германские протестанты как на поле битвы, так и в политике будут выступать единодушно и стойко бороться за свои общие интересы, оказывая друг другу поддержку. Лишь их раздоры придавали врагу силы и отдаляли надежду на устойчивый и благостный мир. И это зло, величайшее из всех, причинил протестантскому делу курфюрст Саксонский, заключив отдельный мирный договор с Австрией.

Он начал переговоры с императором еще до нердлингенского сражения, но несчастный исход боя уско-

рил заключение мирного трактата. Исчезла вера в помощь шведов, и зародилось сомнение в том, сумеют ли они вообще когда-нибудь оправиться от этого тяжкого удара. Раздоры между их собственными военачальниками, упадок дисциплины в войсках и истощение шведского государства уже не позволяли ожидать от них великих подвигов. Тем более казалось необходимым поскорее воспользоваться великодушием императора, который и после нердлингенской победы не отказывался от своих предложений. Оксеншерна, собравший чины во Франкфурте, властно требовал; император, наоборот, щедро сулил. Недолго раздумывали, прежде чем решить, на чей голос откликнуться.

Хотели, однако, избежать видимости отступничества от общего дела ради собственных выгод. Всем германским чинам и даже шведам было предложено содействовать этому миру и стать его участниками, хотя курфюрст Саксонский и император были единственными государями, заключившими мирный договор и таким образом самовластно объявившими себя законодателями для всей Германии. В договоре шла речь о жалобах протестантских чинов; их взаимоотношения и права определялись этим самочинным судилищем, и даже участь вероисповеданий решалась им без участия тех, кто был кровно в этом заинтересован. Предполагалось, что этот мир будет объявлен всеобщим законом для всей империи и в качестве общеимперского постановления претворен в дело имперской экзекуционной армией. Кто возражал против него, тот считался врагом империи, и поэтому всякий имперский чин, вопреки всем правам, которыми чины обладали, обязан был признать закон, в создании которого не участвовал. Итак, пражский мир уже по форме являлся актом произвола; тем же он был и по своему содержанию.

Главной причиной разрыва между курфюрстом Саксонским и императором был реституционный эдикт; поэтому при их примирении главное внимание надлежало обратить на него. Не уничтожая его прямо и формально, пражский мир постановлял, что все непосредственно подчиненные императору церковные владения, а из остальных — те, которые захватили протестанты

после пассауского договора, в течение последующих сорока лет останутся в том положении, в каком застал их реституционный эдикт, но без права голоса в имперском сейме. Еще до истечения этих сорока лет комиссия, составленная из равного числа представителей обоих исповеданий, должна мирно и законно распорядиться ими, и если и тогда не будет вынесено окончательное решение, то обе стороны снова вступят в те права, которыми пользовались до издания реституционного эдикта. Таким образом, это постановление отнюдь не искоренило семя раздора, а лишь отдалило на время его пагубное действие, и в этой статье пражского мирного договора уже таилась искра новой войны.

Архиепископство Магдебургское остается за принцем Августом Саксонским, а Гельберштадтское — за эрцгерцогом Леопольдом-Вильгельмом. Многие округа были отрезаны от магдебургских земель и подарены Саксонии; с правителем магдебургским Христианом-Вильгельмом Бранденбургским рассчитались иным способом. Герцогам Мекленбургским, в случае их присоединения к этому миру, должны быть возвращены их земли, которыми они, к счастью для них, давно уже снова владели милостью Густава-Адольфа; Донауверту возвращены его имперские вольности. Как ни важен для протестантских государей голос курфюрста Пфальцского при избрании императора — требования пфальцских наследников совершенно обойдены в договоре, потому что лютеранский государь не обязан блюсти справедливость по отношению к реформату. Все, что завоевано в этой войне друг у друга протестантскими чинами, лигой и императором, возвращается законным владельцам; все, что присвоено иностранными державами — Швецией и Францией, — должно быть у них отнято сообща. Войска обеих договаривающихся сторон соединяются в одну имперскую армию, которая, получая от империи содержание и жалованье, должна вооруженной рукой привести в исполнение все, что решено по этому миру.

Так как пражский мирный трактат должен был считаться общеимперским законом, то те статьи его, которые не касались империи, были присоединены к

нему в виде дополнительного договора, согласно которому курфюрст Саксонский получал Лузатию в качестве чешского лена, и особо определялась свобода совести в этой области и в Силезии.

Всем евангелическим чинам было предложено присоединиться к пражскому миру, и под этим условием они получили амнистию, за исключением властителей Бюртемберга и Бадена, земли которых, уже захваченные, было нежелательно возвратить без всяких оговорок, а также за исключением подданных Австрии, поднявших оружие против своего государя, и тех чинов, которые под председательством Оксеншерны составили совет верхнегерманских округов. Это изъятие было сделано не для того, чтобы продолжить войну с ними, а для того, чтобы подороже продать им мир, ставший для них необходимым. Земли их подлежали удержанию в качестве залога до повсеместного принятия мира, до того момента, когда все будет возвращено и все приведено в прежнее состояние. Одинаково справедливое отношение ко всем, быть может, восстановило бы взаимное доверие между главой государства и его членами, между протестантами и папистами, между реформатами и лютеранами — и тогда шведам, покинутым всеми своими союзниками, пришлось бы с позором удалиться из Германии. Но это столь различное отношение усилило недоверие и упорство обойденных имперских чинов и дало шведам возможность поддерживать пламя войны и сохранить приверженцев в Германии.

Пражский мир, как и следовало ожидать, был принят в Германии по-разному. Старались сблизить обе враждующие партии, а в результате только навлекли на себя упреки обеих сторон. Протестанты жаловались на ограничения, налагаемые на них этим миром; католики находили, что этой отвратительной секте даруют слишком много льгот за счет истинной церкви. По мнению католиков, неотъемлемые права церкви были нарушены тем, что лютеранам разрешили в течение сорока лет пользоваться церковными имуществами, тогда как лютеране считали, что протестантскую церковь предали, не отстояв свободу совести для их единоверцев

в австрийских владениях. Но самые яростные упреки обрушились на курфюрста Саксонского, которого в печатных произведениях старались изобразить вероломным перебежчиком, предателем религии и имперской свободы и сообщником императора.

Но курфюрст находил утешение и усматривал свое торжество в том, что большинству протестантских чинов поневоле приходилось согласиться на заключенный им мир. Курфюрст Бранденбургский, герцог Веймарский Вильгельм, князья Ангальтские, герцоги Мекленбургские, герцоги Брауншвейг-Люнебургские, ганзейские города и большинство имперских городов присоединились к нему. Ландграф Гессенский Вильгельм сначала колебался или прикидывался колеблющимся для того, чтобы выиграть время и действовать соответственно ходу событий. Он успел вооруженной рукой овладеть богатыми землями в Вестфалии, из которых черпал главные ресурсы для ведения войны и которые согласно мирному договору он теперь обязан был полностью возвратить. На герцога Бернгарда Веймарского, владения которого пока еще существовали только на бумаге, смотрели не как на воюющую сторону, а прежде всего как на воюющего полководца. По обоим этим мотивам он должен был с негодованием отвергнуть Пражский мир. Все его богатство заключалось в его храбрости, все его владения — в его шпаге. Только война делала его сильным и значительным; только война могла дать ему возможность осуществить свои честолюбивые замыслы.

Но из всех, кто протестовал против Пражского мира, самым решительным тоном заговорили шведы, и никто не имел более основательных причин для этого. Призванные в Германию самими немцами, спасители протестантской церкви и свободы чинов, отстоявшие ее ценою крови своих солдат и священной жизни своего короля, они теперь внезапно увидели, что их позорно покинули, что они обманулись во всех своих расчетах, что их изгоняют без вознаграждения, без благодарности из страны, за которую они изошли кровью, и что их предали на поношение врагам те самые государи, которые всем были обязаны им. Об удовлетворении их,



о возмещении потраченных ими средств, о вознаграждении за те завоевания, которых они теперь лишились, в Пражском договоре не было сказано ни единого слова. Им предстояло теперь уйти беднее, чем они пришли, а вздумай они сопротивляться — их насильственно изгнали бы из Германии те самые люди, которые их сюда призвали. Правда, курфюрст Саксонский в конце концов проронил несколько слов об уплате им вознаграждения исключительно деньгами и всего в сумме двух с половиной миллионов гульденов. Но шведы намного больше пострадали деньгами и людьми. Это позорное предложение — все свести к оплате деньгами — задело их своекорыстие и возмутило их гордость. «Курфюрсты Баварский и Саксонский, — отвечал Оксеншерна, — заставили значительными областями вознаградить их за ту помощь, которую они оказали императору по обязанности, в качестве его вассалов, а нас, шведов, отдавших за Германию своего короля, хотят выпроводить домой с жалкими двумя с половиной миллионами». Шведам тем большее было обмануться в своих надеждах, чем увереннее были их расчеты получить в вознаграждение герцогство Померанское, владетель которого был стар и не имел наследников. Но Померания была по Пражскому миру обещана курфюрсту Бранденбургскому. К тому же против водворения шведов на этой границе империи решительно возражали все соседние государства.

Никогда за всю войну положение шведов не было хуже, чем в 1635 году, непосредственно после провозглашения Пражского мира. Многие из их союзников, особенно среди имперских городов, отступились от них, чтобы насладиться благами мира; другие были вынуждены к тому победоносным оружием императора. Аугсбург, побежденный голодом, покорился на тяжелых условиях; Вюрцбург и Кобург достались австрийцам. Гейльбронский союз был формально распущен. Почти вся Верхняя Германия, средоточие шведских войск, признала главенство императора. Саксония, опираясь на Пражский мир, потребовала удаления шведских войск из Тюрингии, Гальберштадта, Магдебурга. Филиппсбург, плацдарм французской армии, был за-

хвачен врасплох австрийцами; они завладели всеми хранившимися там запасами, и эта чувствительная потеря подорвала активность Франции. В довершение всех трудностей Швеции как раз теперь истекал срок ее перемирия с Польшей. Вести одновременно войну с Польшей и Германией было совсем не по силам Швеции, и она должна была сделать выбор — от кого из этих двух врагов избавиться. Гордость и честолюбие продиктовали продолжение германской войны, как ни тяжелы были жертвы, которые пришлось принести Польше. Но для того чтобы внушить ей должное уважение и при переговорах о перемирии или мире не лишиться полностью своей свободы, все-таки необходима была армия.

Со всеми этими несчастьями, одновременно обрушившимися на Швецию, мужественно боролся непреклонный и неистощимый в изобретательности Оксеншерна. Его пронизательный ум подсказал ему, как обратить постигшие его беды в свою пользу. Отпадение столь многих имперских чинов от шведской партии лишало его, правда, большинства прежних союзников, но в то же время избавляло от всякой необходимости шадить их. И чем больше становилось число его врагов, тем значительно увеличивалось число земель, на которых могла располагаться его армия, тем больше складов открывалось ему. Вопиющая неблагодарность чинов и высокомерное презрение, выказанное ему императором (который не удостоил его даже непосредственных переговоров о мире), распалили в нем мужество отчаяния и благородную решимость бороться до конца. Самая неудачная война не могла ухудшить дела шведов по сравнению с их трудностями в настоящем, и если уж им суждено уйти из Германии, то приличнее и благороднее, так он рассуждал, сделать это по крайней мере с мечом в руке, уступая силе, а не страху.

Затруднение, в котором оказались шведы вследствие предательства их союзников, побудило их прежде всего обратить взоры на Францию. Последняя ответила им самыми ободряющими посулами. Интересы обеих держав были тесно связаны. Если бы Франция

дала погибнуть шведской армии в Германии, она повредила бы себе самой. Беспомощное положение шведов давало Франции основание прочнее соединиться с ними и принять более деятельное участие в германской войне. Уже со времени заключения со шведами договора в Бервальде в 1632 году Франция оружием Густава-Адольфа воевала с императором, не порывая с ним открыто и формально, но оказывая денежную помощь его противникам и неутомимо стараясь увеличить число его врагов. Встревоженная быстрыми и чрезвычайными успехами шведского оружия, она, однако, как будто упустила из виду на некоторое время свою первоначальную цель, чтобы восстановить равновесие сил, нарушенное превосходством шведов. Она старалась договорами о нейтралитете защитить католических государей Германии от победоносного завоевателя-шведа, и когда эти попытки завершились неудачей, собиралась сама вступить в борьбу с ним. Но едва смерть Густава-Адольфа и беспомощность шведов рассеяли эти опасения, как Франция с новой энергией вернулась к своим первоначальным замыслам и принялась щедро оказывать потерпевшим неудачу шведам ту поддержку, которой лишила, когда счастье их баловало. Избавленная теперь от противодействия, которое оказывал ее завоевательным планам честолюбивый и бдительный Густав-Адольф, она пользуется благоприятным течением обстоятельств после нердлингенского поражения, чтобы взять на себя руководство войною и предписывать законы тем, кто нуждается в ее могущественном покровительстве. Момент благоприятен для самых смелых ее замыслов, и то, что раньше было лишь прекрасной химерой, делается отныне обдуманной и вполне оправдываемой обстоятельствами целью. Итак, теперь Франция посвящает германской войне все свое внимание, и, обеспечив договором с немцами свои особые интересы, она выступает на политической арене в качестве активной и господствующей державы. Пока все участвовавшие в войне государи истощали свои владения многолетней борьбой, она щадила свои силы и в течение десяти лет воевала лишь своими деньгами. Теперь, когда обстоятельства призывают ее действовать непо-

средственно, она берется за меч и с напряжением всех сил осуществляет начинание, изумляющее всю Европу. Она одновременно высылает в моря два флота, снаряжает шесть армий и вдобавок щедро снабжает деньгами одну из союзных держав и многих германских князей. Ободренные надеждой на ее могущественную защиту, шведы и немцы воспрянули духом, с уверенностью рассчитывая вооруженной рукой добыть более славный мир, нежели Пражский. Покинутые многими владетельными князьями, которые примирились с императором, они тем теснее соединяются с Францией, и она, по мере того как у них растет нужда в помощи, оказывает ее все решительнее, принимая в германской войне все большее, хотя попрежнему негласное участие, пока, наконец, не сбрасывает маску и не вступает в открытую борьбу с императором.

Чтобы обеспечить шведам полную свободу действий против Австрии, Франция начала с того, что избавила их от войны с Польшей. При посредстве своего посланника графа д'Аво она убедила обе стороны заключить в Штумедорфе, в Пруссии, дальнейшее перемирие на двадцать шесть лет, правда, не без большого ущерба для Швеции, которая одним взмахом пера лишилась почти всей Польской Пруссии — приобретения, так дорого стоившего Густаву-Адольфу: Бервальдский договор с некоторыми изменениями, которых требовали обстоятельства, был возобновлен на более долгий срок сперва в Компъене, затем в Висмаре и Гамбурге. Разрыв с Испанией произошел еще в мае 1635 года, и сокрушительное нападение французов на эту державу лишило императора весьма ценной помощи, ранее получаемой им из Нидерландов; содействие, оказанное ландграфу Кассельскому Вильгельму и Бернгарду Веймарскому, дало большую свободу шведскому оружию на Эльбе и Дунае, а сильная диверсия на Рейне принудила императора раздробить свои войска.

Итак, война возгорелась с еще большей яростью, и если заключением Пражского мира император уменьшил число своих противников в Германии, он усилил зато энергию и рвение своих врагов за ее пределами. Император добился безграничного влияния в Германии

и сделался, если не считать некоторых чинов, полно-властным хозяином всего государственного целого и его мощи, так что мог отныне снова действовать как всеильный владыка. Первым следствием этого было возведение его сына Фердинанда III в сан короля Римского, решенное подавляющим большинством голосов, несмотря на возражения курфюрста Трирского и пфальцских наследников. Но, ожесточив шведов, он этим побудил их к отчаянному сопротивлению, вооружил против себя всю мощь Франции и втянул ее во внутренние дела Германии. Отныне обе державы — Швеция и Франция — представляют вместе со своими германскими союзниками единую, неразрывно спаянную силу, а император с преданными ему германскими государствами — другую. Теперь шведы не выказывают прежней умеренности, ибо они сражаются уже не за Германию, а за собственное существование. Они воюют быстрее, свободнее и смелее прежнего, потому что избавлены от необходимости сообразоваться с желаниями своих германских союзников и отдавать им отчет в своих планах. Битвы становятся более упорными и более кровопролитными, но не имеют столь решающих последствий. Совершаются более громкие подвиги доблести и военного искусства, но все это — лишь обособленные действия: они не входят в единый всеобъемлющий план, и нет могучего, всем управляющего духа, который извлекал бы из них пользу для общего дела. Поэтому они лишь слабо влияют на дела всей партии и мало изменяют ход войны.

По Пражскому миру Саксония обязалась изгнать шведов из Германии; поэтому отныне саксонские знамена соединяются с императорскими, и бывшие союзники превращаются в непримиримых врагов. Архиепископство Магдебургское, по Пражскому миру присужденное саксонскому принцу, было еще в руках шведов, и все попытки побудить их вернуть его мирным путем были безуспешны. Поэтому были открыты военные действия, которые курфюрст Саксонский начал с того, что так называемыми «авокаториями» (отзывными грамотами) вытребовал всех саксонцев из армии Баннера, стоявшей по обоим берегам Эльбы.

Офицеры, давно уже недовольные задержкой жалования, повинуются этому призыву и покидают одну стоянку за другой. Так как саксонцы в то же время двинулись по направлению к Мекленбургу с целью отнять Демиц и отрезать неприятеля от Померании и Балтийского моря, то Баннер поспешил туда, выручил Демиц и разбил наголову саксонского генерала Баудисипа с семитысячной армией; около тысячи человек осталось на месте и столько же было захвачено в плен. Подкрепившись войсками и артиллерией, которые до того времени находились в Польской Пруссии, но после заключения штумсдорфского договора стали там не нужны, этот отважный, энергичный воин вторгся в следующем, 1636 году в курфюршество Саксонское, где он, подстрекаемый своей давней ненавистью к саксонцам, пролил много крови. Он и его шведы, озлобленные многолетними оскорблениями, на которые надменные саксонцы не скупались во время их общих походов, и до крайности разъяренные изменой курфюрста, выместили теперь свое негодование и раздражение на несчастных подданных этого государя. С австрийцами и баварцами шведские солдаты дрались больше по обязанности, к саксонцам же чувствовали личную ненависть и злобу, ибо презирали их как предателей и изменников, а ведь взаимная ненависть двух прежних друзей всего яростнее и непримиримее. Энергичная диверсия против императора, предпринятая тем временем герцогом Веймарским и ландграфом Гессенским на Рейне и в Вестфалии, помешала Фердинанду оказать саксонцам действительную помощь, и таким образом все курфюршество стало жертвой неистовства одичалых полчищ Баннера. Наконец, курфюрст, соединившись с императорским генералом фон Гацфельдом, двинулся к Магдебургу, который поспеживший туда Баннер тщетно старался освободить от осады. Теперь соединенная саксонско-императорская армия заняла Бранденбург, отняла у шведов многие города и готовилась оттеснить их к Балтийскому морю. Но, вопреки всем ожиданиям, уже обреченный, по общему мнению, Баннер напал 24 сентября 1636 года на союзную армию у Витштока, и завязалась большая битва. Натиск был страшен: вся

масса неприятельских войск обрушилась на правое крыло шведов, возглавленное самим Баннером. Долго бились на обеих сторонах с равным упорством и ожесточением; в рядах шведов не было ни одного эскадрона, который десять раз не ринулся бы в атаку и десять раз не был бы отброшен. Когда, наконец, Баннер вынужден был уступить превосходству неприятеля, его левое крыло продолжало сражаться до наступления ночи, а шведские резервы, еще не принимавшие участия в бою, готовы были возобновить его на следующее утро. Но курфюрст Саксонский решил не дожидаться вторичного нападения. Его армия была истощена битвой, происходившей накануне, а погонщики разбежались со всеми лошадьми, так что нельзя было употребить в дело артиллерию. Поэтому он бежал в ту же ночь вместе с графом фон Гацфельдом, оставив поле сражения шведам. У союзников полегло около пяти тысяч человек, не считая тех, что были убиты шведами во время бегства или попали в руки разъяренных крестьян. Полтораста штандартов и знамен, двадцать три пушки, весь обоз вместе с серебряной утварью курфюрста да еще вдобавок около двух тысяч пленных достались победителю. Эта блестящая победа, одержанная над неприятелем, гораздо более сильным и занимавшим выгодные позиции, сразу вернула шведам прежнее уважение; их враги дрогнули, их друзья ощутили прилив бодрости. Воспользовавшись удачей, столь очевидно склонившейся на его сторону, Баннер поспешил перейти Эльбу и погнал императорские войска через Тюрингию и Гессен до самой Вестфалии. Затем он повернул обратно и расположился на зимних квартирах в Саксонии.

Если б, однако, Бернгард и французы своими действиями на берегах Рейна не облегчили положения Баннера, ему не так легко было бы одержать эти громкие победы. После нердлингенского поражения герцог Бернгард собрал остатки своей разбитой армии в Веттерау. Но покинутый гейльбронским союзом, с которым вслед за тем решительно покончил Пражский мир, и получая слишком слабую поддержку от шведов, он вскоре убедился, что содержать армию и вершить во

главе ее славные подвиги — неосуществимая для него задача. Поражение под Нердлингеном лишило его герцогства Франконского, слабость Швеции отняла у него всякую надежду при содействии этой державы осуществить свои притязания. Недовольный к тому же необходимостью мириться с повелительным обращением шведского канцлера, он обратил взоры на Францию, которая могла ему помочь тем единственным, в чем он нуждался, — деньгами, и встретил с ее стороны полную готовность договориться. Больше всего Ришелье стремился уменьшить влияние шведов на войну в Германии и под прикрытием чужого имени заполучить руководство ею. Для достижения этой цели он не мог найти лучшего средства, как отнять у шведов самого храброго из их полководцев, связать его теснейшим образом с интересами Франции и воспользоваться им для выполнения своих замыслов. Такого государя, как Бернгард, который без поддержки иностранной державы не мог сохранить свое положение; Франции нечего было бояться, так как и самый счастливый исход не мог поставить его вне зависимости от нее. Бернгард прибыл во Францию и в октябре 1635 года заключил в Сен-Жермене-ан-Ле — уже не в качестве шведского генерала, а от своего имени — договор; в силу которого лично ему определялся ежегодный оклад в полтора миллиона ливров и еще четыре миллиона в год Франция обязалась уплачивать ему же на содержание армии, командовать которою он должен был под верховным начальством короля. Чтобы еще сильнее разжечь его рвение и ускорить завоевание им Эльзаса, не постеснялись в тайном договоре обещать ему в награду эту провинцию — щедрость, от которой на самом деле были очень далеки и которой сам герцог отлично знал цену. Но Бернгард верил в свое счастье и свою мощь и намерен был бороться с лукавством путем притворства. Уж если он будет так силен, что сможет отнять Эльзас у врагов, то, конечно, в случае нужды сумеет отстоять его и от друзей. Итак, он набрал теперь на французские деньги свою собственную армию, которою командовал под верховенством Франции, но на деле — почти неограниченно и притом не порывая полностью



связи со Швецией. Он открыл военные действия на Рейне, где другая французская армия под начальством кардинала де Лавалетта действовала против императора еще с 1635 года.

Против армии де Лавалетта двинулись, покорив Швабию и Франконию, главные силы австрийской армии, под начальством Галласа одержавшие славную победу при Нердлингене, с таким же блистательным успехом заставили они французов отойти к Мецу, освободили берега Рейна и отняли у шведов занятые ими города Майнц и Франкенталь. Но главной своей цели — занять зимние квартиры во Франции — этот полководец не достиг вследствие решительного сопротивления французов, которое заставило его возвратиться со своими войсками в истощенный Эльзас и Швабию. Снова выступив в поход в следующем году, он перешел Рейн у Брейзаха и готовился перенести войну внутрь Франции. Он действительно вторгся в графство Бургундское, в то время как испанцы, выступившие из Нидерландов, успешно действовали в Пикардии, а Иоганн фон Верт, грозный полководец лиги и один из деятельнейших членов католической партии, совершал набеги вглубь Шампани и даже Париж держал в страхе угрозой своего появления. Но храбрость императорских войск натолкнулась на неодолимое сопротивление защитников некоей незначительной крепости в Франш-Конте, и им вторично пришлось отказаться от своих планов.

До этого времени зависимость от французского полководца, делавшего больше чести своей рысе, нежели своей шпаге, сковывала предприимчивый дух герцога Бернгарда, и хотя он вместе с де Лавалеттом взял Цаберн в Эльзасе, ему все же в 1636—1637 годах не удалось удержаться на Рейне. Неудачи французских войск в Нидерландах отразились на военных действиях в Эльзасе и Брейсгау; но тем более блестящий оборот приняла в этих землях война в 1638 году. Освободившись от прежних оков и сделавшись полновластным властелином своих войск, герцог Бернгард уже в начале февраля покинул покойные зимние квартиры в епископстве Базельском. и против всякого ожидания

появился на Рейне, где в это суровое время года менее всего ожидали нападения. «Лесные» города Лауфенбург, Вальдсгут и Зекинген были захвачены врасплох и взяты, Рейнфельден — осажден. Командовавший здесь императорский генерал герцог Савелли ускоренными переходами выступил на помощь этому важному укреплению, освободил его от осады и принудил герцога Веймарского отступить с большим уроном. Но, вопреки предвидению человеческого, герцог три дня спустя (21 февраля 1638 года) снова появляется перед фронтом императорских войск, беспечно наслаждающихся победой, одержанной у Рейнфельдена, и разбивает их в большом сражении, где берет в плен четырех императорских генералов — Савелли, Иоганна фон Верта, Энкефорда и Шперрейтера — и две тысячи солдат. Двух генералов, фон Верта и фон Энкефорда, впоследствии отправили по приказанию Ришелье во Францию, чтобы удовлетворить тщеславие французского народа зрелищем столь славных пленников и под мишурным блеском одержанных побед сокрыть бедствия народа. С той же целью торжественно внесли в собор Парижской богородицы отбитые знамена и штандарты и, трижды преклонив их перед алтарем, отдали на сохранение святилищу.

Занятие Рейнфельдена, Ретельна и Фрейбурга было ближайшим следствием победы Бернгарда. Его войско значительно увеличилось, а вслед за удачами возникли более широкие планы. Крепость Брейзах на Верхнем Рейне господствовала над этой рекой и считалась ключом к Эльзасу. Не было в тех местах укрепления более важного для императора, ни об одном так не заботились. Удержать Брейзах было главнейшим назначением итальянской армии под начальством герцога Фериа. Надежность укреплений и выгодное положение делали Брейзах неприступным, и императорские генералы, отправленные туда, получили приказ не щадить ничего, лишь бы отстоять эту твердыню. Но Бернгард верил в свое счастье и решил приступить к осаде крепости. Непокоримая силой, она могла быть взята лишь голодом, — и беспечность ее коменданта, который, не предвидя нападения, обратил свои хлебные запасы в

деньги, ускорила этот исход: При таких обстоятельствах она не могла выдержать продолжительной осады; поэтому нужно было немедленно выручить ее или снабдить продовольствием,— и вот императорский генерал фон Гец поспешно двинулся к ней во главе двенадцати тысяч человек с тремя тысячами телег провианта, который он хотел передать городу. Но разбитый герцогом Бернгардом под Виттевейером, он потерял почти весь свой отряд, из которого уцелело всего три тысячи воинов, и весь конвоируемый им обоз. Такая же судьба постигла на Бычьем Поле у Танна герцога Лотарингского, также шедшего на выручку крепости с пятью-шестью тысячами человек. Третья попытка генерала фон Геца спасти Брейзах тоже окончилась неудачей, и крепость, измученная жестоким голодом, после четырехмесячной осады сдалась 7 декабря 1638 года победителю, столь же гуманному, сколь и настойчивому.

Взятие Брейзаха открыло честолюбию герцога Веймарского необъятное поприще, и с этих пор его романтические надежды начинают претворяться в жизнь. Весьма далекий от мысли отказаться в пользу Франции от того, что добыто его мечом, он предназначает Брейзах себе и обнаруживает это намерение уже в присяге, которую принимает от побежденных своим именем, не упоминая ни о какой другой власти. Опьяненный постоянными блестящими успехами и увлеченный смелыми надеждами, он вообразил, что отныне не луждается ни в ком и что ему удастся удержать за собой плоды своих побед даже вопреки воле Франции. В эпоху, когда все могло быть добыто храбростью, когда личная мощь имела еще некоторое значение, а войска и военачальники ценились дороже целых областей,— такому герою, как Бернгард, позволительно было ставить себя высоко и, возглавляя превосходную армию, чувствовавшую себя непобедимой под его началом, не останавливаться ни пред каким смелым замыслом. Чтобы иметь среди множества врагов, на которых он теперь шел, хоть одного друга, он обратил внимание на ландграфиню Гессенскую Амалию, вдову недавно умершего ландграфа Вильгельма, особу, одаренную в равной мере умом и решительностью и имев-

шью возможность даровать вместе со своей рукой бое-способное войско, прекрасные завоеванные области и обширное государство. Соединив приобретения ланд-графа Гессенского и свои собственные, образовав из обеих армий единое войско, Бернгард тем самым создал бы в Германии сильную державу и, быть может, даже третью партию, от которой зависел бы исход войны. Но смерть преждевременно положила конец этому столь много сулившему замыслу.

«Бодришь, отец Жозеф! Брейзах наш!» — крикнул упоенный этой радостной вестью Ришелье в ухо капуцину, готовившемуся отойти в иной мир. Мысленно Ришелье уже прибрал к рукам Эльзас, Брейсгау и все смежные австрийские владения, нимало не думая о том обещании, которое дал герцогу Бернгарду. Решительное намерение герцога удержать Брейзах за собой, обнаруженное им весьма недвусмысленным образом, повергло кардинала в немалое замешательство, и все средства были пущены в ход, чтобы склонить победоносного Бернгарда остаться верным интересам Франции. Его пригласили ко двору, чтобы показать ему, с каким почтением здесь относятся к его победам. Но Бернгард раскусил, в чем дело, и не попался в сети соблазна. Ему оказали великую честь — предложили в супруги племянницу кардинала, но высокородный германский государь отказался, не желая бесчестить саксонскую кровь неравным браком. Тогда на него стали смотреть, как на опасного врага, и обращаться с ним, как с врагом. Его лишили денежной помощи; подкупили губернатора и высших военных Брейзаха, замыслив пусть даже ценою смерти герцога завладеть отвоеванными им землями и его войсками. Эти козни не остались тайной для Бернгарда, и меры, принятые им в покоренных городах, доказали его недоверие к Франции. Но эти распри с французским двором самым пагубным образом отразились на его дальнейших начинаниях. Приготовления, которые ему пришлось сделать для защиты занятых им областей от посягательств французов, принудили его раздробить армию, а прекращение Францией денежной помощи замедлило открытие военных действий. Он намерен был перейти

Рейн, чтобы выручить шведов и действовать против императора в Баварии на берегах Дуная. Уже он открыл Баннеру, намеревавшемуся перенести войну в пределы Австрии, свой операционный план и обещал шведскому полководцу сменить его на время, как вдруг, на тридцать шестом году жизни, смерть положила предел его триумфальному шествию. Это произошло в Нейбурге на Рейне, в июле 1639 года.

Он умер от болезни, по многим признакам схожей с чумой; это поветрие унесло в его лагере около четырехсот человек в течение двух дней. Черные пятна, проступившие на теле герцога, слова, произнесенные умирающим, и те выгоды, которые его внезапная кончина дала Франции, вызвали предположение, что он был отравлен французами; но оно в достаточной степени опровергается характером болезни. Союзники потеряли в нем крупнейшего полководца, какого они имели после Густава-Адольфа, Франция — грозного соперника в борьбе за Эльзас, император — самого опасного из своих врагов. Став героем и полководцем в школе Густава-Адольфа, он всемерно подражал этому высокому образцу, и лишь ранняя смерть помешала герцогу Бернгарду стяжать одинаковую с ним славу, а быть может, и превзойти его. С храбростью солдата он соединял холодную и спокойную проницательность полководца, с твердым мужеством зрелого человека — быструю решимость юноши, с неистовым пылом бойца — достоинство государя, умеренность мудреца и добросовестность человека чести. Не сгибаясь под бременем невзгод, он быстро, с обновленными силами подымался после самых тяжелых ударов. Никакое препятствие не могло уменьшить его отвагу, никакая неудача не могла сломить его неборимое мужество. Его дух стремился к великой, быть может недостижимой, цели; но люди этого склада повинуются не тем законам благоразумия, которые мы привыкли прилагать к толпе. Чувствуя себя в силах совершить намного больше, нежели другие, он питал более смелые замыслы. В новой истории Бернгард являет нам прекрасный образ той могучей эпохи, когда личное величие еще имело известное значение, храбрость завоевывала

целые страны, и герейская доблесть возвела немецкого рыцаря даже на императорский трон.

Лучшим наследием герцога была его армия, которую он вместе с Эльзасом завещал брату своему Вильгельму. Но на эту самую армию считали себя вправе притязать Швеция и Франция: одна — потому, что армия была набрана ее именем и принесла ей прирост; другая — потому, что армия содержалась на ее деньги. Помышлял об этой армии и наследник Пфальцский, задумавший воспользоваться ею, чтобы отвоевать свои владения; он и попытался — сначала чрез своих агентов, затем лично — привлечь ее на свою сторону. Даже со стороны императора были сделаны попытки заполучить эту армию. Это обстоятельство не должно нас удивлять, потому что в те времена принималась в соображение не самая правота защищаемого дела, а лишь цена оказываемых услуг, и храбрость, как и всякий другой товар, продавалась тому, кто платил дороже. Однако Франция, как самая богатая и решительная соискательница, одержала верх. Она подкупила генерала фон Эрлаха, коменданта Брейзаха, и остальных начальников и благодаря им забрала в свои руки Брейзах и всю армию. Молодой пфальцграф Карл-Людвиг, уже несколько лет тому назад предпринявший неудачный поход против императора, и здесь потерпел неудачу. Он предполагал действовать против Франции, — однако, отправясь в путешествие, весьма необдуманно избрал путь через эту страну. Кардинал, опасавшийся пфальцграфа, требования которого были справедливы, был рад всякому предлогу расстроить его планы. Поэтому, вопреки всем постановлениям международного права, он приказал задержать его в Мелене и выпустил на свободу лишь тогда, когда переход веймарской армии под начало Франции осуществился. Таким образом, Франция теперь располагала в Германии сильной, опытной армией, и в сущности лишь теперь она начинает вести с императором войну от своего имени.

Но уже не на Фердинанда II двинулась она, открыто признав ныне императора врагом. В феврале 1637 года смерть унесла Фердинанда на пятьдесят девятом году жизни. Война, порожденная его честолю-

бием, пережила его. За восемнадцать лет своего правления он никогда не выпускал из рук меча. За все то время, в течение которого он владел престолом империи, ему не довелось вкусить благоденствий мира. Обладая качествами, необходимыми хорошему правителю, украшенный многими из тех добродетелей, на которых зиждется счастье народов, мягкий и человечный по природе, он вследствие ложного представления о долге монарха стал орудием и в то же время жертвою чужих страстей и не выполнил своего благодетельного назначения; из поборника справедливости он обратился в угнетателя человечества, во врага мира; в бич своих народов. Безупречный в частной жизни, достойный уважения в качестве правителя, но дурно руководимый в сфере политики, он стал тем, кого благословляли его подданные-католики и проклинал весь протестантский мир. В истории были деспоты более страшные, чем Фердинанд II, и, однако, он — единственный, кто зажег факел войны, длившейся тридцать лет. Но для того, чтобы честолюбие одного человека возымело столь губительные последствия, оно должно было, к несчастью, совпасть именно с такой эпохой; с такими условиями, с такими семенами раздора. В более спокойное время эта искра не нашла бы пищи, и мирные настроения века заглушили бы честолюбие отдельной личности. В ту пору испепеляющая молния ударила в груди давно накопившихся горючих веществ — и пожар объял всю Европу.

Сын его, Фердинанд III, за несколько месяцев до смерти отца возведенный в сан короля Римского, унаследовал его престолы, его воззрения и его войну. Но Фердинанд III, видевший своими глазами бедствия людей и опустошение целых стран, глубже и живее ощущал необходимость мира. Менее зависимый от иезуитов и испанцев и более справедливый к чужой вере, он легче, нежели его отец, мог прислушаться к голосу умеренности. Он внял ему и даровал Европе мир, но лишь после одиннадцатилетней войны мечом и пером и лишь тогда, когда всякое сопротивление стало бесплодным и неумолимая необходимость продиктовала ему свой железный закон.

Его вступлению на престол сопутствовало счастье: его оружие одерживало победы над шведами, которые под сильной рукой Баннера после победы при Витштоке вконец истощали зимним постоем Саксонию и открыли военные действия 1637 года осадой Лейпцига. Мужественное сопротивление гарнизона и приближение имперско-курфюрстских войск спасли этот город, и Баннеру, чтобы не быть отрезанным от Эльбы, пришлось отступить к Торгау. Но превосходство императорских войск заставило его удалиться и отсюда, и, окруженный неприятельскими отрядами, задерживаемый реками и преследуемый голодом, он вынужден был предпринять в высшей степени опасное отступление в Померанию, смелость и удача которого граничат с невероятным. Вся армия переправилась через Одер вброд у Фюрстенберга, и солдаты по горло в воде сами тащили орудия, потому что лошади упирались. Баннер рассчитывал по ту сторону Одера найти своего помощника Врангеля и, усилив свои войска его отрядами, двинуться на неприятеля. Но Врангеля здесь не оказалось, а вместо него у Ландсберга стояло императорское войско, преграждая путь отступающим шведам. Тогда Баннеру стал ясно, что он попал в страшную западню, откуда ему не спастись. Позади была опустошенная область, императорские войска и Одер; слева — Одер, через который нельзя было переправиться, так как его охранял императорский генерал Бухгейм; впереди — Ландсберг, Кюстрин, Варта и неприятельское войско; справа — Польша, которой, несмотря на перемирие, доверять было трудно; Баннер считал себя погибшим, если не случится чуда, и императорские войска уже шумно радовались его неминуемой гибели. Справедливо негодуя, Баннер обвинял в этом несчастье французов. Они не предприняли обещанной диверсии на Рейне, и их бездействие дало императору возможность бросить все свои силы на шведов. «Если когда-нибудь, — крикнул взбешенный генерал французскому уполномоченному, находившемуся в шведском лагере, — если когда-нибудь нам придется вместе с немцами сражаться против Франции, мы не станем так долго казнить, прежде чем перейти Рейн!» Но теперь все



упреки уже были напрасны. Безвыходное положение требовало решимости и энергии. В расчете отвлечь неприятеля от Одера на ложный след, Баннер сделал вид, будто хочет уйти через Польшу; он и в самом деле приказал повести по этому направлению большую часть обоза и свою жену вместе с другими офицерскими женами также послал по этому пути. Императорские войска тотчас спешат к польской границе, чтобы воспрепятствовать его отходу, Бухгейм также покидает свою позицию — и Одер свободен. Во мраке ночи Баннер бросается обратно к реке и на какую-нибудь милю выше Кюстрина без мостов, без судов переправляет через нее свои войска вместе с обозом и артиллерией, как раньше у Фюрстенберга. Без всяких потерь добивается он до Померании, чтобы вместе с Германом Врангелем приступить к ее защите.

Но императорские войска под начальством Галласа вторгаются в это герцогство у Рибзеса и занимают его превосходящими силами. Узедом и Вольгаст взяты приступом. Деммин капитулирует, и шведы оттеснены вглубь Померании. А между тем утвердиться в этой земле им сейчас важнее, чем когда-либо: как раз в этом году умер герцог Богуслав XIV, и Швеция намерена требовать удовлетворения своих притязаний на его земли. Чтобы не дать курфюрсту Бранденбургскому осуществить свои, основанные на родстве и Пражском мире права на герцогство, Швеция, напрягая все силы, в изобилии снабжает своих полководцев деньгами и солдатами. В других областях империи дела шведов также приняли более благоприятный оборот, и они начинают оправляться от глубокого упадка, причиною которого были бездействие Франции и отпадение союзников. После поспешного отступления в Померанию они лишались в Верхней Саксонии одной крепости за другой; герцоги Мекленбургские, теснимые императорскими войсками, начали склоняться на сторону Австрии, и даже герцог Люнебургский Георг перешел в ряды врагов Швеции. Эренбрейтштейн, сраженный голодом, открыл свои ворота баварскому генералу фон Верту, а австрийцы овладели всеми возведенными на Рейне укреплениями. Франция потерпела неудачу в

войне с испанцами, исход которой совсем не соответствовал тем ширококвещательным приготовлениям, которые предшествовали открытию военных действий против этой державы. Потеряно было все, что шведы приобрели в Средней Германии; держались только крепости в Померании. Один-единственный поход выводит их из этого глубокого унижения, и мощная диверсия, предпринятая против императорских войск победоносным Бернгардом на берегах Рейна, вскоре изменяет весь ход военных действий.

Недоразумения между Францией и Швецией были, наконец, улажены, и ранее заключенный обеими державами трактат подтвержден в Гамбурге с новыми выгодами для шведов. В Гессене умелая правительница ландграфиня Амалия после смерти супруга своего Вильгельма взяла, с согласия чинов, кормило правления в свои руки и с большой твердостью отстояла свои права против возражений императора и Дармштадтской линии. Ревностно преданная шведско-протестантской партии, она уже по религиозным побуждениям ожидала лишь благоприятного случая открыто и деятельно стать на ее сторону. Ей удалось разумной сдержанностью и ловкими переговорами удерживать императора в бездействии, пока она не заключила тайный союз с Францией и победы Бернгарда не придали делам протестантов благоприятный оборот. Тогда, внезапно сбросив маску, она возобновила старую дружбу со Швецией. Успехи Бернгарда побудили и наследника Пфальцского попытать счастья против общего врага. Набрав на английские деньги войска в Голландии, он устроил склады в Меппене и соединился в Вестфалии с шведской армией. Правда, склады его погибли, а армия была разбита графом Гацфельдом при Флото; но своими действиями он на некоторое время отвлек неприятеля и облегчил операции шведов в других местах. Вновь подали признаки жизни и другие друзья, как только счастье явно перешло на сторону шведов; достаточным успехом было для них уже то, что нижнесаксонские чины объявили нейтралитет.

Воспользовавшись этими благоприятными обстоятельствами и усилив свою армию свежими войсками

из Швеции и Лифляндии в количестве четырнадцати тысяч, Баннер, исполненный надежд, открыл военные действия в 1638 году. Императорские войска, занимавшие Переднюю Померанию и Мекленбург, большую часть покидали свои позиции или толпами переходили под шведские знамена, чтобы в этой разграбленной и обнищавшей стране спастись от голода — своего злейшего врага. Походы и постой до такой степени истощили земли между Эльбой и Одером, что Баннер, опасаясь до вторжения в Саксонию и Чехию погибнуть со всей своей армией от голода, вынужден был двинуться из Средней Померании в Нижнюю Саксонию окольным путем и только под Гальберштадтом вступил в курфюршество Саксонское. Нижнесаксонские области, стремившиеся как можно скорее вновь избавиться от этих изголодавшихся пришельцев, снабдили его необходимым провиантом, так что он получил хлеб для своей армии в Магдебургской области — в краях, где под влиянием голода уже преодолели отвращение к человечине. Своим появлением, знаменовавшим чудовищные поборы, он поверг в ужас Саксонию; но не на эту истощенную страну, а на наследственные владения императора были обращены его взоры. Победы Бернгарда придали ему смелость, а богатые земли Австрийского дома возбуждали его алчность. Разбив императорского генерала Салиса при Эльстербурге, уничтожив саксонскую армию при Хемнице и овладев Пирной, он с необоримой силой ворвался в Чехию, перешел Эльбу, поставил под угрозу Прагу, взял Брандейс и Лейтмериц, разбил генерала фон Гофкирхена с десятью полками, распространяя трепет и опустошение по всему беззащитному королевству. Все, что можно было унести, становилось добычей; все, чего нельзя было потребить на месте и разграбить, уничтожалось. Чтобы забрать с собой как можно больше хлеба, срезали колосья со стеблей, все остальное уничтожали. Более тысячи замков, сел и деревень было обращено в пепел, зачастую сотни их сгорали дотла в одну ночь. Из Чехии Баннер делал набеги на Силезию; даже Моравии и Австрии пришлось пострадать от его грабежей. Для борьбы с набегами шведов в эти области поспешно

явились граф Гацфельд из Вестфалии и Пикколомини из Нидерландов. Жезл главнокомандующего был вручен эрцгерцогу Леопольду, брату императора; ему было поручено исправить ошибки его предшественника и восстановить боеспособность армии, пришедшей в глубокий упадок.

Результаты показали, насколько такая замена была необходима, и поход 1640 года вначале принял для шведов весьма дурной оборот. Из одного места за другим постепенно вытесняют их в Чехии, и они, заботясь лишь о том, как бы сохранить свою добычу, поспешно отступают чрез Мейсенские горы, но, преследуемые неприятелем и в Саксонии, разбитые у Плауэна, вынуждены искать убежища в Тюрингии. Получив за одно только лето перевес, шведы столь же быстро снова впадают в ничтожество, но затем, быстро переходя из крайности в крайность, снова обретают силу. Ослабленная армия Баннера, чуть не погибшая целиком в своем лагере у Эрфурта, внезапно воскресает. Герцоги Люнебургские, отрекшись от пражского договора, ведут ему на помощь те самые войска, которые они несколько лет тому назад вооружали против него. Гессен присылает свои отряды, и герцог Лонгвильский с прежней армией герцога Бернгарда становится под знамена Баннера. Снова став сильнее императорских войск, Баннер вызывает их на бой у Заальфельда. Но их предводитель Пикколомини благоразумно избегает сражения, а избранная им позиция слишком выгодна, чтобы его можно было принудить к битве. Когда, наконец, баварские войска, отделившись от императорских, направляются к Франконии, Баннер пытается напасть на эти отряды, но благоразумие баварского предводителя Мерси и быстрое приближение главной императорской армии не дают ему достичь успеха. Затем обе армии направляются в истощенный Гессен, где неподалеку друг от друга располагаются в двух укрепленных лагерях и остаются здесь, пока, наконец, нужда и суровое время года не заставляют их покинуть эту обнищавшую страну. Пикколомини предполагал на зиму расквартировать войска в плодородных областях по Везеру, но, опереженный Баннером, вынужден

уступить этот край шведам и обременить своим присутствием франконские епископства.

В это же время в Регенсбурге собрался имперский сейм, где предполагалось выслушать жалобы чинов, потрудиться над умиротворением империи и решить вопрос о войне и мире. Присутствие императора, большинство католических голосов в совете курфюрстов, преобладание епископов и уменьшение числа протестантских голосов придали совещаниям сейма направление, желательное для императора, и этому имперскому сейму не хватало весьма и весьма многого, чтобы подлинно представлять всю Германию. Не без некоторых оснований протестанты смотрели на него как на заговор Австрии и ее креатур против протестантского населения, и в их глазах всякая попытка помешать работам этого собрания или распугать его участников могла казаться заслугой.

Такой дерзкий план возник у Баннера. Слава его оружия была запятнана последним отступлением из Чехии, и восстановить ее могло только какое-нибудь смелое предприятие. Не сообщая никому о своем намерении, он зимою 1641 года, в лютую стужу, когда подмерзли дороги и реки покрылись льдом, покинул свои квартиры в Люнебурге. Сопровождаемый маршалом де Гебрианом, командовавшим французской и веймарской армиями, он двинулся через Тюрингию и Фогтланд к Дунаю и появился под стенами Регенсбурга, прежде чем сейм успели предупредить об опасности. Неописуемо было замешательство собравшихся чинов, и в порыве ужаса все представители сделали приготовления к бегству. Один лишь император объявил, что он не покинет город, и примером своим ободрил остальных. Но, к несчастью для шведов, наступила оттепель, Дунай вскрылся, и ни по льду, ни на судах вследствие сильного ледохода переправиться было невозможно. Но чтобы сделать хоть что-нибудь и тем уязвить гордость германского императора, Баннер позволил себе дерзость отсалютовать городу пятьюстами пушечных выстрелов, которые, однако, причинили ему мало вреда. Обманутый в своих расчетах, он решил двинуться вглубь Баварии и в беззащитную Моравию, где его

утомленные войска ожидала богатая добыча и более спокойная зимовка. Но ничто не могло заставить французского полководца последовать за ним туда. Гебриан боялся, что шведы задумали удалить веймарскую армию от Рейна и отрезать ее от Франции, а затем либо переманят ее на свою сторону, либо лишат ее возможности действовать самостоятельно. Предполагая поэтому возвратиться к Майну, он отделился от Баннера, и последний оказался вдруг лицом к лицу со всей императорской армией, которая, скрытно собравшись между Регенсбургом и Ингольштадтом, шла на него. Спасти шведов могло только быстрое отступление, а при значительном превосходстве неприятельской конницы, среди рек и лесов, в стране, сплошь враждебной, оно могло удалиться лишь благодаря чуду. Баннер поспешно двинулся в леса, чтобы через Чехию уйти в Саксонию, но под Нейбургом ему пришлось пожертвовать тремя полками. Засев за какой-то шаткой стеной, они спартанским сопротивлением задерживали императорские войска в течение четырех суток, чтобы дать Баннеру возможность отойти подальше. Через Эгер он бежал со своими войсками в Аннаберг; Пикколомини преследовал его кратчайшим путем через Шлакенвальд, и не опоздай императорский полководец на каких-нибудь полчаса — он перехватил бы Присницкий проход и истребил все шведское войско. В Цвикау Гебриан снова соединился с армией Баннера, и оба после тщетной попытки защитить Заале и помешать австрийцам в переправе двинулись к Гальберштадту.

В Гальберштадте смерть положила предел подвигам Баннера; его умертвил яд излишеств и волнений. Хотя и с переменным счастьем, он доблестно поддерживал честь шведского оружия в Германии и вереницей побед показал себя достойным учеником своего великого наставника в военном деле. Его всегда занимали обширные планы, которые он умел хранить в тайне и выполнять быстро; он был рассудителен в опасностях, в превратностях судьбы проявлял себя более достойно, нежели в счастье, и страшнее всего был тогда, когда его считали на краю гибели. Но добродетели героя соединялись в нем со всеми теми изъянами и пороками,

какие порождает или, по меньшей мере, питает военное ремесло. Равно властный как в обращении, так и перед фронтом армии, грубый, как его профессия, и гордый, как истый завоеватель, он своим высокомерием угнетал германских государей столь же тяжело, как опустошением их земель. За невзгоды походной жизни он вознаграждал себя пиршествами и любовными утехами, предаваясь излишествам, следствием которых явилась преждевременная смерть. Но полный кипучей энергии, как Александр и Махмед II, он легко расставался с наслаждениями любви ради бранных подвигов, и в тот момент, когда армия роптала на изнеженного сластолюбца, он вдруг являлся ей во всем величии могучего вождя. Более восьмидесяти тысяч человек пало в данных им многочисленных сражениях, и до шестисот неприятельских птандартов и знамен, отправленных им в Стокгольм, были свидетельством его побед. Потеря этого великого полководца скоро весьма чувствительно отразилась на военных делах шведов, и были основания опасаться, что он окажется незаменимым. Дух разнузданности и мятежа, доселе сдерживаемый высоким авторитетом этого грозного полководца, дал себя знать немедленно после его смерти. Офицеры с грозным единодушием требуют уплаты давно уже следующего жалованья, и ни один из четырех генералов, разделивших наследие Баннера, не внушает достаточного почтения, чтобы удовлетворить дерзких просителей или заставить их замолчать. Падает дисциплина; все возрастающая нужда и императорские отзывные грамоты день ото дня уменьшают армию; французско-веймарские войска не обнаруживают большого рвения; люнебургцы покидают шведские знамена, так как государи Брауншвейгского дома после смерти герцога Георга примирились с императором; наконец, гессенцы также отделяются от них, чтобы занять лучшие зимние квартиры в Вестфалии. Неприятель пользуется этим пагубным междуцарствием, и, несмотря на двукратное поражение, ему удастся многого достичь в Нижней Саксонии.

Наконец, явился вновь назначенный шведский главнокомандующий с деньгами и солдатами. То был Берн-

гард Торстенсен, питомец Густава-Адольфа и лучший преемник этого героя, пажом которого он состоял еще во время польской войны. Разбитый подагрой и прикованный к носилкам, он побеждал всех своих противников быстротою. Тело его было обременено тягчайшими из оков, но его планы обладали крыльями. При нем перемещается театр войны и устанавливаются новые принципы, предписанные необходимостью и оправданные успехом. Земли, из-за которых до сих пор сражались, обнищали окончательно, а Австрийский дом, чьи отдаленные владения остались нетронутыми, не чувствует бедствий войны, под гнетом которых истекает кровью вся Германия. Торстенсен первый доставляет ему этот горестный опыт, насыщает своих шведов всем, чем изобилует Австрия, и швыряет факел пожара к самому трону императора.

В Силезии неприятель приобретает значительный перевес над шведским полководцем Стальгантшем и оттесняет его к Неймарку. Встретившись в Люнебурге с главными силами шведской армии, Торстенсен присоединил войска Стальгантша к своим и в 1642 году через Бранденбург, который под властью великого курфюрста начал соблюдать вооруженный нейтралитет, внезапно вторгся в Силезию. Глогау взят без апрошей, без брешей, яростным штурмом. Разбитый под Швейдницею, пал в бою герцог Лауэнбургский Франц-Альбрехт, город Швейдниц покорен, как и вся почти Силезия по сю сторону Одера. Затем Торстенсен стремительно вторгается вглубь Моравии, куда не проникал еще ни один враг Австрийского дома, захватывает Ольмюц и даже приводит в трепет столицу. Тем временем Пикколомини и эрцгерцог Леопольд собрали сильную армию, она вытесняет шведского завоевателя из Моравии, а затем — после неудачной попытки взять Бриг — и из Силезии. Пополнив свои войска отрядами Врангеля, Торстенсен, правда, решился снова пойти на превосходящего его силами врага и освободил от осады Грос-Глогау. Но он не мог ни принудить неприятеля к бою, ни осуществить свои планы в отношении Чехии. Поэтому он занял Лузацию, где в виду неприятеля взял Циттау, а затем после непродолжи-



тельной остановки продолжал свой путь через Мейсен к Эльбе и перешел ее у Торгау. Теперь он грозил осадой Лейпцигу, надеясь захватить в этом богатом, в течение десяти лет пощаженном войною городе обильные склады провианта и наложить на него огромную контрибуцию.

Немедленно императорские войска, под начальством Леопольда и Пикколомини, направляются через Дрезден на выручку Лейпцига, и Торстенсен, чтобы не быть зажатым между армией и городом, смело, в полном боевом порядке выступает им навстречу. По удивительному стечению обстоятельств войска обеих сторон сошлись в том самом месте, которое одиннадцать лет тому назад решительной победой прославил Густав-Адольф. Геройская доблесть предков побудила потомков к благородному соревнованию на этой священной земле. Шведские генералы Стальгантш и Вилленберг с таким неистовством бросаются на левое крыло австрийцев, еще не совсем готовое к бою, что опрокидывают всю прикрывавшую его конницу и выводят ее из строя. Но та же участь грозила и левому крылу шведов; на помощь ему во-время явилось победоносное правое крыло, напавшее на врага с тылу и с флангов и прорвавшее его ряды. Сплошной стеной стояла с обеих сторон пехота; когда весь порох вышел, она защищалась мушкетными прикладами, пока, наконец, после трехчасового боя, императорские войска, окруженные со всех сторон, не вынуждены были очистить поле. Предводители императорских войск всеми силами старались остановить свои обратившиеся в бегство войска; эрцгерцог Леопольд со своим полком был первым в натиске и последним — в бегстве. Эта кровопролитная победа стоила шведам более трех тысяч человек и двух лучших генералов — Шлангена и Лиллиенгука. Императорские войска потеряли пять тысяч человек убитыми и почти столько же пленными. Вся их артиллерия из сорока шести орудий, серебряная утварь, канцелярия эрцгерцога и, наконец, весь обоз армии достались победителю. Слишком ослабленный этой победой, чтобы преследовать неприятеля, Торстенсен двинулся к Лейпцигу, а разбитая армия направилась к Чехии, где

бежавшие полки собрались снова. Эрцгерцога Леопольда это поражение привело в неистовство. Кавалерийский полк, бегство которого было причиной этого несчастья, испытал на себе всю тяжесть его гнева. В Раконице, в Чехии, в присутствии всех остальных войск герцог объявил полк бесчестным, отобрал у него всех лошадей, оружие и знаки отличия, приказал разорвать его знамена и приговорил к смерти многих его офицеров и каждого десятого из рядовых.

Лучшей добычей победителя был Лейпциг, занятый спустя три недели после этого сражения. Шведы заставили город заново обмундировать всю их армию и откупиться от разграбления тремя бочками золота; этой данью были обложены и иностранные купцы, имевшие склады в Лейпциге. Тогда же зимою Торстенсен двинулся к Фрейбургу, осадил город и в течение многих недель стоял в ненастную погоду под его стенами, рассчитывая своим упорством сломить мужество осажденных. Но он только напрасно терял людей: приближение императорского полководца Пикколомини заставило его, наконец, отступить с ослабленной армией. Однако он считал себя в выигрыше, потому что, добровольно отказавшись от отдыха на зимних квартирах, лишил этого отдыха и неприятеля, вдобавок потерявшего в этом изнурительном зимнем походе более трех тысяч лошадей. Затем, направившись к Одере, чтобы пополнить свои войска гарнизонами Померании и Силезии, он вдруг с быстротой молнии оказался вновь на границе Чехии, вихрем пронесся через это королевство и освободил Ольмюц в Моравии, жестоко теснимый императорскими войсками. Разбив свой лагерь при Добитшау, в двух милях от Ольмюца, он оказался властелином всей Моравии, угнетал ее тяжкими поборами и в своих набегах доходил до мостов Вены. Тщетно старался император побудить венгерское дворянство к защите этой области; ссылаясь на свои вольности, оно отказывалось служить за пределами отечества. На эти бесплодные переговоры ушло время; столь нужное для решительного сопротивления, и вся Моравия стала добычей шведов.

В то время как Бернгард Торстенсен своими походами и победами повергал друзей и врагов в изумление, армии союзников не оставались бездеятельными и в других частях империи. Гессенцы и веймарцы, под начальством графа фон Эберштейна и маршала де Гебриана, вторглись в архиепископство Кельнское, чтобы перезимовать там. На защиту от этих непрошенных гостей курфюрст призвал императорского генерала фон Гацфельда и собрал свои войска под начальством генерала Ламбуа. Напав на последнего при Кемпене (в январе 1642 года), союзники разбили его в большом сражении, где было убито две тысячи человек и столько же взято в плен. Эта крупная победа открыла им доступ ко всему курфюршеству и смежным землям, так что они не только водворились здесь на всю зиму, но и получили значительное подкрепление людьми и лошадьми.

Предоставив гессенским войскам защищать свои приобретения на Нижнем Рейне от графа фон Гацфельда, Гебриан направился в Тюрингию, чтобы поддержать действия Торстенсена в Саксонии. Но, вместо того чтобы соединить свои отряды со шведскими, он поспешно возвратился к Майну и Рейну, от которых отошел дальше, чем следовало. опередив его, баварцы под начальством Мерси и Иоганна фон Верта заняли маркграфство Баденское, и ему со всем его войском пришлось много недель скитаться в ненастную погоду, обычно располагаясь лагерем на снегу, пока, наконец, он не обрел жалкое пристанище в Брейсгау. Правда, следующим летом он снова открыл военные действия и отвлек баварскую армию в Швабию, так что она не могла выручить город Тионвиль в Нидерландах, осажденный Конде. Но вскоре крупные силы неприятеля отогнали его в Эльзас, где он остался ждать подкреплений.

Смерть кардинала Ришелье в ноябре 1642 года и перемена на троне и в министерстве, вызванная смертью Людовика XIII в мае 1643 года, отвлекли на некоторое время внимание Франции от войны в Германии и были причиной этого военного затишья. Но Мазарини, наследник власти, принципов и замыслов Ришелье, с

удвоенным пылом устремился к цели, поставленной его предшественниками, нимало не считаясь с тем, что политическое величие Франции весьма дорого обходилось французам. Если Ришелье направлял армии главным образом против Испании, то Мазарини обратил их против императора и, уделяя такое большое внимание войне в Германии, вполне оправдывал этим свое изречение, что армия, воюющая против немцев,— правая рука его короля и оплот Франции. Тотчас после взятия Тионвиля он отправил значительные силы в Эльзас на подмогу фельдмаршалу де Гебриану и, чтобы укрепить в этих войсках решимость стойко переносить тяготы войны в Германии, поставил во главе их славного победителя при Рокруа, герцога Энгьенского, впоследствии прославившегося под именем принца Конде. Теперь Гебриан снова почувствовал себя достаточно сильным, чтобы с честью действовать в Германии. Он поспешил обратно на Рейн, чтобы расположиться на более удобных зимних квартирах в Швабии, и действительно овладел Ротвейлем, где в руки его попал баварский интендантский склад. Но за эту позицию было заплачено дороже, чем она стоила, и она была потеряна быстрее, нежели завоевана. Гебриан получил рану в руку, которая вследствие невежества его лекаря стала для него смертельной, и невозместимость этой потери французам пришлось испытать в самый день его смерти.

По взятии Ротвейля французская армия, заметно уменьшенная походом в это суровое время года, двинулась в окрестности Дутлингена, где расположилась на отдых, не допуская мысли о неприятельском нападении и считая, что она в полной безопасности. Между тем неприятель собрал значительную армию, чтобы помешать французам утвердиться по сю сторону Рейна, так близко к Баварии, и уберечь эту страну от разорения. Императорские войска под предводительством Гацфельда соединяются с баварской армией под начальством Мерси, и герцог Лотарингский, которого в течение всей этой войны вообще можно встретить где угодно, кроме его герцогства, присоединяется со своими войсками к их объединенным силам. Было принято решение обрушиться на французские войска, зимовав-

шие в Дутлингене и смежных деревнях, то есть напасть на них врасплох — весьма употребительный в эту войну вид экспедиций, обычно стоивших, вследствие неизбежно сопряженной с ними сумятицы, большего числа жертв, чем настоящее сражение. Такой набег был тем более целесообразен, что французский солдат, неопытный в таких операциях, имел о немецкой зиме превратное представление и воображал, что суровое время года обеспечивает его от всякого неожиданного нападения. Весьма искушенный в этих делах, Иоганн фон Верт, которого шведы недавно, при обмене военнопленными, отослали императору, вернув себе этим Густава Горна, руководил экспедицией и выполнил ее с изумительным успехом.

Нападение было произведено оттуда, откуда его менее всего можно было ожидать, — со стороны теснин и густых лесов, а глубокий снег, выпавший в этот день (24 ноября 1643 года), скрывал приближение авангарда, пока он не остановился в виду Дутлингена. Вся артиллерия, стоявшая на отшибе за городом, как и расположенный вблизи замок Гомбург, была взята без сопротивления. Подошедшие тем временем войска окружили Дутлинген, и всякая связь между неприятельскими отрядами, рассеянными по окрестным деревням, была прервана быстро и бесшумно. Таким образом, французы уже были побеждены до первого пушечного выстрела. Кавалерия спаслась лишь благодаря быстроте лошадей и благодаря тому, что она на несколько минут опередила гнавшегося за ней неприятеля. Пехота была частью перебита, частью добровольно сложила оружие. Около двух тысяч человек осталось на месте, семь тысяч — в числе их двадцать пять штаб-офицеров и девяносто капитанов — взято в плен. За всю войну это была, вероятно, единственная битва, которая произвела почти одинаковое впечатление на проигравшую и выигравшую стороны: и те и другие были немцы, а осрамились французы. Память об этом злополучном дне, сто лет спустя повторившемся при Росбахе, была, правда, впоследствии изглажена доблестными подвигами Тюрена и Конде, но немцы были правы, когда в отместку за все бедствия, навле-

ченые на них французской политикой, сложили песенку, высмеивавшую храбрость французов.

Однако поражение, постигшее французов, могло стать пагубным для шведов, ибо теперь вся военная мощь императора целиком обратилась против них и к числу их врагов за это время прибавился еще один. Неожиданно покинув в сентябре 1643 года Моравию, Торстенсен направился в Силезию. Причин этого решения никто не знал, а частыми переменами маршрута он еще усиливал неизвестность. Из Силезии он кружным путем приблизился к Эльбе; императорские войска следовали за ним до Лузании. Приказав у Торгау навести мост через Эльбу, он распустил слух, что предполагает через Мейсен вторгнуться в Верхний Пфальц и Баварию. При Барби он снова сделал вид, будто хочет перейти Эльбу, но двигался все далее по ней, до самого Гавельберга, где, наконец, объявил своей изумленной армии, что ведет ее в Голштинию против датчан.

Король Христиан IV давно уже возбуждал негодование шведов пристрастностью, проявленной им в роли посредника, завистью, с которой он противодействовал успехам их оружия, препятствиями, которые он чинил шведскому судоходству в Зунде, и поборами, которыми обременял развивавшуюся шведскую торговлю. Эти непрестанные оскорбления требовали возмездия. Сколь ни опасным казалось затеять новую войну в то время, когда государство, несмотря на все недавние победы, изнемогало под бременем старой, — жажда мести и вековая национальная вражда пересилили эти колебания шведов, и самые трудности, в которые вовлекла Швецию война в Германии, являлись лишним мотивом попытать счастья в борьбе против Дании. Ведь дошло уже до того, что войну продолжали лишь затем, чтобы дать войскам работу и хлеб, дрались почти исключительно из-за выгодных зимних квартир, и богатые стоянки армии ценились дороже выигранного генерального сражения. Но почти все области Германии были опустошены и истощены: не было ни провианта, ни лошадей, ни людей, а всем этим изобиловала Голштиния. Если здесь удастся хотя бы набербовать солдат, подкормить лошадей и людей и добыть коней для

кавалерии, то уже этот успех окупит все труды и опасности. Затем, ввиду вероятного открытия мирных переговоров, очень важно было не допустить в этом деле пагубного влияния Дании, отдалить, искусно переплетая противоречивые интересы, самый мир, который, по видимому, не обещал быть очень выгодным для Швеции, и, так как предстояло решить вопрос о размерах вознаграждения, умножить число своих завоеваний, чтобы тем вернее обеспечить за собой именно то, что желательно было получить. Тяжелое положение Дании позволило надеяться на еще больший успех, если замысел будет выполняться быстро и без огласки. Действительно, в Стокгольме так тщательно соблюдали тайну, что датские министры ничего не заподозрили и в эти дела не были посвящены ни Франция, ни Голландия. Не объявив войны, открыли шведы военные действия — Торстенсен вторгся в Голштинию прежде, чем там могли предположить возможность нападения. Не встречая противодействия, шведские войска потоком хлынули в это герцогство и захватили все крепости, кроме Рендсбурга и Глюкштадта. Другая армия вторгается в Схонен, где также наталкивается лишь на слабое сопротивление, и единственно непогода препятствует предводителям переправиться через Малый Бельт и перенести войну в Фионию и Зеландию. Датский флот был разбит у Фемарна, и сам Христиан, находившийся при нем, потерял правый глаз, выбитый осколком. Королю, отрезанному от помощи своего дальнего союзника, императора, грозит опасность, что его королевство целиком будет захвачено шведами. Казалось, и впрямь исполняется якобы сделанное знаменитым Тихо Браге предсказание, гласившее, что в 1644 году Христиан IV должен будет покинуть свое государство, унося с собой лишь посох.

Но император не мог равнодушно допустить, чтобы Дания стала жертвою шведов, которые значительно усилились бы за счет этого королевства. Как ни велики были трудности, сопряженные с дальним походом по опустошенным дотла землям, он все же не замедлил отправить в Голштинию армию под начальством графа Галласа, после отставки Пикколомини снова

назначенного главнокомандующим. Галлас действительно прибыл в герцогство, взял Киль и надеялся, соединившись с датчанами, запереть шведскую армию в Ютландии. В то же время гессенцы и шведский генерал Кенигсмарк были отвлечены действиями Гацфельда и архиепископа Бременского, сына Христиана IV; но нападение на Мейсен, предпринятое архиепископом, завлекло его в Саксонию. Однако Торстенсен, проскользнув в незанятый проход между Шлезвигом и Стапельгольмом со своей, пополненной свежими силами армией двинулся навстречу Галласу и оттеснил его вверх по Эльбе к Бернбургу, где императорские войска расположились укрепленным лагерем. Торстенсен перешел Заале и занял позицию в тылу неприятеля, отрезав его этим маневром от Саксонии и Чехии. В императорском лагере разразился голод, уничтоживший большую часть армии; отступление к Магдебургу ничем не улучшило ее отчаянного положения. Кавалерия, пытавшаяся скрыться в Силезию, была настигнута и рассеяна Торстенсеном у Ютербога; остальное войско после тщетной попытки пробиться с мечом в руке было почти все уничтожено под Магдебургом. От всего войска Галласу осталось лишь несколько тысяч человек да слава никем не превзойденного мастера в истреблении собственной армии. После этой неудачной попытки спасти короля Датского последний запросил мира и получил его в Бремзебро в 1645 году на очень тяжелых условиях.

Торстенсен не удовольствовался этими успехами своего оружия. В то время как один из его помощников, Аксэль Лилиенстерн, тревожил Саксонию, а Кенигсмарк овладел Бременом, сам он во главе шестнадцатитысячной армии вторгся с восьмьюдесятью орудиями в Чехию, стараясь опять перенести войну в наследственные владения Австрийского дома. Узнав об этом, Фердинанд сам поспешил в Прагу, чтобы личным присутствием возбудить мужество войск и ввиду отсутствия даровитого главнокомандующего и раздоров между многочисленными командирами получить возможность быстрее и энергичнее действовать



самому .поблизости .от театра войны. По распоряжению императора Гацфельд собрал все австрийские и баварские войска и 24 февраля 1645 года у Янкова, или Янковица, против своей воли и вопреки советам, которые он давал, двинул их — последнюю армию императора и последний оплот его государства — навстречу наступающему неприятелю. Фердинанд полагался на свою кавалерию, превосходившую неприятельскую на три тысячи коней, и на помощь девы Марии, явившейся ему во сне и обещавшей верную победу.

Численный перевес императорских войск не устроил Торстенсена, вообще не привыкшего считать врагов. Уже при первом нападении левое крыло, заведенное генералом лиги фон Гецем в очень неудобную местность среди болот и лесов, пришло в полное расстройство; сам командир пал, вместе с ним — и большинство солдат; почти все боевые припасы армии достались неприятелю. Это неудачное начало решило судьбу всего сражения. Неуклонно наступая, шведы овладели важнейшими высотами и после восьмичасового кровопролитного боя, после бешеной атаки неприятельской кавалерии и отчаянного сопротивления пехоты остались хозяевами поля битвы. Две тысячи австрийцев полегли на месте, сам Гацфельд был взят в плен с тремя тысячами воинов. Так погибли в один день лучший полководец и последняя армия императора.

Решительная победа при Янковице сразу открыла неприятелю путь во все австрийские земли. Фердинанд поспешно бежал в Вену, чтобы позаботиться о защите этого города и обеспечить безопасность себе самому, своим сокровищам и своей семье. Недолго пришлось ждать победоносных шведов — они неудержимым потоком хлынули на Моравию и Австрию. Покорив почти всю Моравию, осадив Брюнн, овладев всеми крепостями и городами до Дуная и даже укреплением у Вольфсбрюке, неподалеку от самой Вены, они появились, наконец, под стенами столицы, и основательность, с которой они укрепляли занятые места, доказывала, что они рассчитывали прочно засесть

там. После долгого и опустошительного движения по всем областям Германии поток войны кружным путем возвращается, наконец, к своей исходной точке, и грохот шведских орудий напоминает жителям Вены о ядрах, пущенных в императорский дворец чешскими мятежниками двадцать семь лет тому назад. Театр войны — тот же, и ведется она теми же способами: как чешские мятежники призвали некогда Бетлен Габора, так теперь Торстенсен призывает на помощь его преемника Ракоци. Уже войска Ракоци вторглись в Верхнюю Венгрию и со дня на день, цепenea от страха, ожидали его соединения со шведами. Иоганн-Георг Саксонский, доведенный до крайности постоянными шведов в его владениях, оставленный без помощи императором, который после янковицкого сражения не в силах сам защитить себя, ищет, наконец, спасения в единственном и последнем средстве — заключить со шведами перемирие, которое в результате ежегодных отсрочек затягивается до общего мира. Император теряет друга в тот момент, когда у порога его государства встает против него новый враг, когда его войска тают и когда его союзники в других местах Германии терпят поражение за поражением. Ибо и французской армии удалось блестящим походом заглавить позор дутлингенского разгрома и сковать все силы Баварии на Рейне и в Швабии. Подкрепившись свежими войсками, которые привел из Франции герцогу Энгьенскому великий Тюренн, уже прославившийся тогда своими победами в Италии, французы появились 3 августа 1644 года под стенами Фрейбурга, который незадолго перед тем был взят генералом Мерси, охранявшим его со всей своей превосходно укрепившейся армией. Безудержной храбрости французов не удалось, правда, сокрушить твердость баварцев, и герцог Энгьенский, потеряв напрасно шесть тысяч человек, должен был решиться на отступление. Мазарини проливал слезы, узнав об этой огромной потере, на которую, однако, не обращал внимания бессердечный Конде, любивший только славу. «Одна ночь в Париже, — говорил он, — дает жизнь большему количеству людей, чем убито в этом бою». Однако это кровопро-

литное сражение до такой степени ослабило баварцев, что они не могли даже сохранить за собой берега Рейна, не говоря уже о том, чтобы спасти теснимую со всех сторон Австрию; Шпейер, Вормс, Мангейм сдаются неприятелю, неприступный Филиппсбург взят голодом, и даже Майнц спешит своевременным выражением покорности задобрить победителя.

То, что спасло Австрию и Моравию в начале войны от чехов, спасло ее и теперь от Торстенсена. Правда, Ракоци со своим двадцатипяти тысячным войском прорвался до берегов Дуная почти к самому шведскому лагерю, но его недисциплинированные буйные полчища лишь опустошали страну и усиливали нужду в шведском лагере, вместо того чтобы целесообразными действиями помогать выполнению планов Торстенсена. Добыть от императора дань, от подданного деньги и добро — такова была цель, ради которой воевал Ракоци, как и Бетлен Габор, и оба возвращались во свояси, как только она была достигнута. Чтобы избавиться от этого варвара, Фердинанд согласился на все его требования и, пожертвовав немногим, освободил свои владения от столь страшного врага.

Меж тем долговременная стоянка под Брюнном сильно ослабила главную армию шведов. Напрасно Торстенсен, сам руководивший здесь операциями, истощал в продолжение четырех месяцев все свое осадное искусство. По силе и стойкости сопротивление ничуть не уступало натиску, и отчаяние удваивало мужество коменданта де Сущ, шведского перебежчика, которому не приходилось ждать пощады. Вспышки разных эпидемий, порожденных в этом изнурительном, зараженном лагере голодом, грязью и потреблением незрелых плодов, и поспешное отступление князя Семиградского вынудили, наконец, шведского полководца снять осаду. Все проходы по Дунаю были заняты, а войско Торстенсена уже сильно уменьшилось вследствие болезней и голода. Поэтому он отказался от своих планов в отношении Австрии и Моравии, удовлетворившись тем, что оставил в захваченных им замках шведские гарнизоны, тем самым сохраняя в своих руках ключ к обеим областям. Он

направился в Чехию, куда по его следам двинулись императорские войска под предводительством эрцгерцога Леопольда. Те потерянные крепости, которые Леопольд еще не успел отвоевать, были взяты после его ухода императорским генералом Бухгеймом, так что австрийская граница в следующем году была снова совершенно очищена от неприятеля, и поверженная было в прах Вена отделалась страхом. В Чехии и Силезии шведы также защищались с весьма переменным успехом и метались из одной провинции в другую, не имея сил удержаться ни в той, ни в другой. Но если успех военных действий Торстенсена не вполне соответствовал их многообещающему началу, то для Швеции он имел самые важные последствия: Дания была вынуждена заключить мир, Саксония — бездействовать; император во время мирного конгресса был уступчивее, Франция — мягче, и сама Швеция в своих сношениях с другими державами вела себя более самоуверенно и смело. Выполнив столь блестящим образом свой великий долг, виновник этих успехов, увенчанный лаврами, возвратился в уединение частной жизни и предался поискам средств, способных облегчить его мучительный недуг.

Хотя после отхода Торстенсена император мог уже не бояться неприятельского вторжения из Чехии, однако вскоре со стороны Швабии и Баварии на границы Австрии надвинулась новая опасность. Тюрени, отделившийся от Конде и повернувший в Швабию, был в 1645 году разбит у Мергентгейма генералом Мерси, и победоносные баварцы под начальством своего храброго предводителя вторглись в Гессен. На помощь разбитому войску тотчас поспешил герцог Энгьенский со значительными силами из Эльзаса, Кенигсмарк — из Моравии, гессенцы — с Рейна, и баварцы были оттеснены до противоположных границ Швабии. У деревни Аллерстейм, неподалеку от Нердлингена, они, наконец, остановились, чтобы прикрыть границы Баварии. Но бешеная отвага герцога Энгьенского не знала препятствий. Он повел свои войска на неприятельские окопы, и произошла битва, вследствие геройского сопротивления баварцев запечатлен-

ная в истории как одна из самых упорных и кровопролитных всей долгой войны; но, наконец, смерть доблестного Мерси, хладнокровие Тюренна и железная стойкость гессенцев решили бой в пользу союзников. Однако и это новое варварское уничтожение человеческих жизней не оказало большого влияния на ход войны и мирных переговоров. Французская армия, истощенная кровавой победой, еще более ослабела после ухода гессенцев, а баварцы получили от императора приведенные Леопольдом вспомогательные войска; поэтому Тюренну пришлось поспешно отступить за Рейн.

Отступление французов дало теперь неприятелю возможность направить все свои силы в Чехию против шведов. В 1646 году главнокомандующим шведской армией, в которую, кроме летучего отряда Кенигсмарка и множества рассеянных по империи гарнизонов, входило еще до восьми тысяч конницы и пятнадцать тысяч пехоты, был назначен Густав Врангель, достойный преемник Баннера и Торстенсена. Подкрепив свою двадцатичетырехтысячную армию двенадцатью конными полками баварской кавалерии и восемнадцатью полками пехоты, эрцгерцог Леопольд двинулся на Врангеля в расчете численным превосходством раздавить его прежде, чем шведский полководец успеет соединиться с Кенигсмарком или французы сделают диверсию. Но Врангель, не дожидаясь его, поспешил через Верхнюю Саксонию к Везеру, где взял Гекстер и Падерборн. Отсюда он двинулся в Гессен на соединение с Тюренном и, расположившись лагерем в Вецларе, присоединил к своему войску летучий отряд Кенигсмарка. Однако Тюренн, связанный приказами Мазарини, который был рад возможности положить конец военным успехам и возраставшей заносчивости Швеции, сослался на более настоятельную необходимость оборонять сопредельные с Нидерландами области Франции, потому что голландцы не предприняли обещанной ими на этот год диверсии. Но Врангель продолжал настаивать на своем справедливом требовании, а дальнейшее упорство Франции могло возбудить в шведах подозрения

и, пожалуй, даже склонить их к отдельному миру с Австрией; поэтому Тюрени получил, наконец, желанное разрешение поддержать шведскую армию.

Соединение войск произошло у Гисена, и теперь союзники чувствовали себя достаточно сильными, чтобы встретиться с неприятелем, преследовавшим шведов вплоть до Гессена, чтобы лишить их провианта и воспрепятствовать соединению с Тюрени. Ни то, ни другое им не удалось. Императорские войска, отрезанные от Майна, после потери своих складов испытывали сильные лишения. Воспользовавшись их бессилием, Врангель выполнил маневр, задуманный с целью придать войне совершенно иной оборот. Он держался правила своего предшественника — стараться перенести войну в пределы Австрии; но, уstraшенный неудачей Торстенсена, он рассчитывал достичь той же цели иным путем, более надежно и основательно: Врангель решил идти вдоль Дуная и вторгнуться в Австрию через Баварию. Такой план намечал еще Густав-Адольф, но не успел привести его в исполнение, так как мощь Валленштейна и опасность, грозившая Саксонии, слишком рано отозвали его со стези побед. Примеру Густава-Адольфа следовал герцог Бернгард. К нему счастье было благосклоннее, чем к Густаву-Адольфу, и его победоносные знамена развевались уже между Изаром и Инном, когда численное превосходство неприятельских войск, находившихся поблизости, побудило его приостановить свое победоносное шествие и отступить. То, что не удалось им обоим, рассчитывал теперь успешно выполнить Врангель, тем более что императорско-баварские войска стояли далеко позади него на Лане и могли явиться в Баварию, лишь проделав дальний путь через Франконию и Верхний Пфальц. Быстро подойдя к Дунаю, он разбил баварский корпус у Донауверта и перешел эту реку, так же как и Лех, не встретив сопротивления. Затем, однако, предпринятая им неудачная осада Аугсбурга дала императорским войскам передышку, использованную ими, чтобы выручить этот город и оттеснить Врангеля к Лауингену. Но когда они, с целью отвлечь войну от границ Баварии, снова обратились

против Швабии, Врангель быстро воспользовался случаем, перешел оставленный без прикрытия Лех и затем в свою очередь преградил императорским войскам путь через реку. Теперь ему был открыт доступ в незащищенную Баварию; бурным потоком хлынули туда французы и шведы, и солдаты чудовищными насилиями, грабежами и вымогательствами вознаграждали себя за все испытанные опасности. Прибытие императорских и баварских войск, у Тиргауптена, наконец, переправившихся через Лех, лишь усугубило бедствия страны, которую наперебой грабили друг и недруг.

Теперь, наконец, впервые за всю войну, поколебалось стойкое мужество Максимилиана, в течение двадцати восьми лет не поддававшееся самым тяжким испытаниям. Фердинанда II, его сверстника и друга его юности в Ингольштадте, уже не было в живых. Со смертью этого друга и благодетеля порвалась одна из крепчайших нитей, соединявших курфюрста с интересами Австрии. С отцом он был связан давней привычкой, сердечной склонностью и признательностью; сын был чужд его сердцу, и лишь государственные интересы могли заставить его хранить верность новому властителю.

Это могущественное побуждение и было использовано коварными французами, чтобы отвлечь Максимилиана от союза с Австрией и склонить его к прекращению военных действий. Обширны были замыслы, заставившие Мазарини побороть свою зависть к возрастающему могуществу Швеции и позволить французским войскам сопровождать шведов в Баварию. Баварию обрекли в жертву всем ужасам войны, в расчете на то, что несчастья и отчаяние преодолют, наконец, упорство Максимилиана и император лишится первого и последнего своего союзника. Бранденбург под властью своего великого курфюрста теперь придерживался нейтралитета. Саксонию суровая необходимость принудила к тому же; война с французами не давала испанцам возможности участвовать в германской войне; Данию удалил с театра войны мир со Швецией; Польша была обезоружена долгосрочным перемирием. Если бы удалось в заключение отвлечь от

союза с Австрией и курфюрста Баварского, то у императора во всей Германии не осталось бы ни одного приверженца, и ему, беззащитному, пришлось бы отдаться на милость враждебных держав.

Фердинанд III понял, какая ему угрожает опасность, и всеми возможными средствами старался отвлечь ее. Но курфюрсту Баварскому, в ущерб Фердинанду, внушили, что противниками мира являются одни испанцы и что император противится перемирию только под влиянием Испании, а Максимилиан ненавидел испанцев и никогда не мог им простить, что они противодействовали ему, когда он домогался курфюршества Пфальцского. И в угоду этим ненавистным врагам жертвовали теперь его народом, опустошали его страну, губили его самого, тогда как перемирие могло вывести его из всех затруднений, дать его народу столь необходимый роздых и в то же время, быть может, ускорить всеобщий мир! Все его колебания исчезли. Убежденный в неизбежности этого шага, он решил, что исполнит свой долг по отношению к императору, если и его приобщит к благодеяниям перемирия.

В Ульме собрались представители трех держав и Баварии, чтобы определить условия перемирия. Однако из инструкций австрийских уполномоченных скоро выяснилось, что император прислал их на конгресс не для того, чтобы заключить перемирие, а для того, чтобы его расстроить. Важно было не оттолкнуть суровыми условиями, а, наоборот, склонить к перемирию шведов, которые были в более выгодном положении и могли не только не опасаться продолжения войны, а желать его. Ведь победителями были они, а император в своем высокомерии пытался предписать им условия. Возмущенные этим, шведские послы вначале едва не покинули конгресса, и, чтобы удержать их, французам пришлось прибегнуть к угрозам.

После того как курфюрсту Баварскому, несмотря на все его усилия, не удалось задуманным им способом сделать императора участником перемирия, он счел себя вправе позаботиться о самом себе. Как ни велики были уступки, ценою которых ему согласились



предоставить перемирие, он недолго думая пошел на них. Он предоставил шведам возможность расквартироваться в Швабии и Франконии, а сам удовольствовался постоями в своей Баварии и в пфальцских землях. Все, что было им завоевано в Швабии, подлежало возврату союзникам, которые, со своей стороны, отказались от всего, что было ими занято в Баварии. Владетели Кельна и Гессен-Касселя также считались участниками перемирия. По заключении этого трактата, 14 марта 1647 года, французы и шведы покинули Баварию, причем во избежание столкновений между ними каждой армии для постоя были отведены различные области: французы расположились в герцогстве Вюртембергском, шведы — в Верхней Швабии, вблизи Боденского озера. Австрийский город Брегенц, расположенный в юго-восточном углу этого озера, на самой южной оконечности Швабии, скалистой тесниной защищенный от любого нападения, стал убежищем для жителей всей округи, надеявшихся в этой природной крепости сохранить свою жизнь и свое имущество. Огромная добыча, которой можно было ожидать при скоплении таких богатств, и преимущества, связанные с обладанием проходом, ведущим в Тироль, Швейцарию и Италию, соблазнили шведского генерала, и он попытался овладеть этой неприступной, по общему мнению, тесниной и городом. Его попытка увенчалась успехом, несмотря на сопротивление шести тысяч крестьян, которые, заняв ущелье, сделали все, чтобы отстоять его. Тем временем Тюрени согласно уговору двинулся в Вюртемберг и силою оружия заставил ландграфа Дармштадтского и курфюрста Майнцского согласиться, по примеру Баварии, на нейтралитет.

Казалось, уже достигнута главная цель французской политики: лишить императора всякой поддержки со стороны лиги и его протестантских союзников, обезоружить его пред лицом соединенных армий обеих держав и с мечом в руке продиктовать ему условия мира. Самое большее двенадцать тысяч человек — вот все, что осталось ему от бывшей грозной мощи, и командование этими жалкими остатками ему при-

плось доверить кальвинисту, гессенскому перебежчику Меландеру, потому что война скосила всех его даровитых полководцев. Но как уже много раз в течение этой войны переменчивость счастья приводила к тому, что неожиданное событие внезапно спутывало все расчеты политики, так и теперь исход обманул все ожидания, и глубоко униженная Австрия после непродолжительного кризиса снова обретает свое грозное величие. Соперничество Франции со шведами не позволило этой державе совершенно погубить императора, ибо этим настолько усилилось бы влияние шведов в Германии, что оно в конце концов стало бы опасным для самой Франции. Поэтому французский министр не воспользовался беспомощным положением Австрии: армия Тюренна отделилась от Врангеля и направилась к границам Нидерландов. Правда, Врангель, двинувшись из Швабии на Франконию, взяв Швейнфурт и присоединив его гарнизон к своему войску, попытался своими силами вторгнуться в Чехию: он осадил Эгер, ключ к этому королевству. На выручку Эгера император двинул свою последнюю армию и сам сопровождал ее. Но, вынужденная сделать огромный крюк, чтобы не пройти через поместья председателя военного совета фон Шлика, она опоздала, и Эгер был взят шведами до ее прихода. Обе армии подошли друг к другу вплотную, и не раз ожидался решительный бой, так как и та и другая страдали от недостатка продовольствия; численный перевес был на стороне императорской армии, и нередко оба лагеря и боевые линии были разделены лишь временными укреплениями. Но императорские войска удовлетворялись тем, что, следуя за неприятелем по пятам, изнуряли его мелкими стычками, голодом и утомительными переходами, дожидаясь, покуда увенчаются успехом начатые с Баварией переговоры.

Нейтралитет Баварии — от этой раны императорский двор жестоко страдал; когда все попытки воспрепятствовать ему оказались напрасными, решено было извлечь из него единственно возможную выгоду. Многие офицеры баварской армии были возмущены решением своего повелителя, обрекавшим их на без-

действие и сковывавшим их влечение к разудалой походной жизни. Во главе недовольных стоял сам храбрый Иоганн фон Верт. Подстрекаемый императором, он составил заговор с целью отнять у курфюрста всю его армию и привести ее под знамена императора. Фердинанд не постыдился тайно потворствовать этой попытке предать вернейшего союзника своего отца. Он велел распространять среди войск курфюрста официальные отзывные грамоты, в которых напоминал им, что они в сущности имперские войска, коими курфюрст командует только от имени императора. К счастью, Максимилиан во-время открыл заговор и быстрыми, целесообразными мерами предупредил его осуществление.

Недостойный поступок императора давал Максимилиану право на возмездие, но он был слишком искушен в политике, чтобы внять голосу страсти там, где должен повелевать только рассудок. Перемирие не дало ему тех выгод, на которые он рассчитывал. Отнюдь не ускорив заключения общего мира, это одностороннее перемирие, напротив, повредило переговорам в Мюнстере и Оснабрюке, придав им неблагоприятный оборот и побудив союзников дерзко увеличить свои требования. Французы и шведы были удалены из Баварии; но, лишившись зимних квартир в Швабии, курфюрст был вынужден предоставить своим войскам высасывать соки из собственных земель, иначе ему пришлось бы начисто распустить их и во времена господства кулачного права безрассуднейшим образом сложить меч и щит. Из этих двух несомненных зол он не выбрал ни то, ни другое, а предпочел им третье, которое по крайней мере было еще сомнительным, а именно: решил отказаться от перемирия и снова взяться за оружие.

Его решение и помощь, немедленно посланная им императору в Чехию, были чреваты опасностями для шведов, и Врангелю пришлось немедленно уйти из Чехии. Он направился через Тюрингию в Вестфалию и Люнебург, чтобы соединиться с французскими войсками под начальством Тюренна. Императорско-баварская армия под начальством Меландера и Гронсфельда

следовала за ним вплоть до Везера. Если бы неприятелю удалось настигнуть Врангеля до соединения с Тюренном, он бы неминуемо погиб, но то, что прежде спасло императора, выручило теперь и шведов. В разгаре борьбы ход войны направлял холодный расчет, и бдительность держав возрастала по мере приближения мира. Курфюрст Баварский не мог допустить, чтобы император получил такой решительный перевес и чтобы это внезапное крутое изменение обстоятельств отдалило мир. Накануне заключения мирного договора новый, счастливый для одной из сторон оборот событий мог иметь чрезвычайное значение, и нарушение равновесия между державами, вступающими в договор, могло разом уничтожить результаты многолетних трудов, драгоценный плод сложнейших переговоров, замедлить умиротворение всей Европы. Если Франция благотворным образом держала в узде свою союзницу Швецию, соразмеряя свою помощь с ее успехами и неудачами, то курфюрст Баварский молча исполнял ту же роль при своем союзнике, императоре, благо-разумно стараясь помогать ему лишь настолько, чтобы могущество Австрии всегда было в зависимости от его, курфюрста, усмотрения. Теперь мощь императора грозила быстро возрасти до опасных размеров, и Максимилиан внезапно прекращает преследование шведской армии. К тому же он боялся возмездия со стороны Франции, которая уже грозилась двинуть на него всю армию Тюренна, если он позволит своим войскам перейти Везер.

Меландер, которому баварцы помешали преследовать Врангеля, вторгся через Иену и Эрфурт в Гессен и грозным врагом появился в той самой земле, которую в прежнее время защищал. Если он в самом деле избрал Гессен ареной своих неистовств из желания отомстить своей прежней повелительнице, то это желание он удовлетворил чудовищным образом. Гессен истекал кровью под его игом, и бедствия этой многострадальной страны дошли при нем до предела. Но вскоре ему пришлось раскаяться в том, что при выборе места для расквартирования войск им вместо благо-разумия руководила мстительность. В истощенном

Гессене армия терпела величайшую нужду, тогда как Врангель набрался свежих сил в Люнебурге и посадил своих солдат на коней. Слишком слабый, чтобы удержать за собой свои жалкие стоянки, Меландер, как только шведский генерал осенью 1648 года двинулся на Гессен, под давлением необходимости позорно отступил, решив искать спасения на берегах Дуная.

Снова обманув ожидания шведов, Франция, несмотря на все представления Врангеля, удерживала армию Тюренна на Рейне. Шведский полководец отомстил французам тем, что присоединил к своим войскам веймарскую кавалерию, отказавшуюся от французской службы. Но именно этим он дал новую пищу зависти Франции. Наконец, Тюренн получил разрешение соединиться со шведами, и обе армии совместно выступили в поход — последний в эту войну. Они гнали Меландера вплоть до самого Дуная, доставили провиант в Эгер, осажденный императорскими войсками, и разбили по ту сторону Дуная императорско-баварскую армию, преградившую им путь у Зусмаргаузена. Меландер был в этом сражении смертельно ранен, а баварский генерал фон Гронсфельд расположился с остатками войск по ту сторону Леха, чтобы оградить Баварию от неприятельского вторжения.

Но Гронсфельду посчастливилось не более, чем Тилли, который на этой самой позиции отдал жизнь ради спасения Баварии. Врангель и Тюренн избрали для переправы место, некогда ознаменованное победой Густава-Адольфа, и совершили ее, воспользовавшись тем же преимуществом, которое некогда дало перевес королю. Снова хлынули в Баварию неприятельские войска, и баварские подданные были жестоко наказаны за то, что их государь нарушил перемирие. Максимилиан укрылся в Зальцбурге, а шведы, перейдя Изар, продвинулись до Инна. Продолжительный проливной дождь, за несколько дней превративший эту не очень полноводную реку в бурный поток, еще раз спас Австрию от грозной опасности. Десять раз пытался неприятель навести через Инн плывучий мост, и десять раз река разрушала его. Никогда еще за всю войну ужас католиков не достигал такой сте-

цени, как теперь, когда неприятель стоял в сердце Баварии, и уже не было вождя, которого можно было бы противопоставить таким полководцам, как Тюренн, Врангель, Кенигсмарк. Наконец, из Нидерландов явился отважный Пикколомини и стал во главе жалких остатков императорской армии. Опустошив Баварию, союзники сами затруднили себе более продолжительное пребывание в этой стране и, гонимые нуждой, отступили в Верхний Пфальц, где весть о мире положила конец их действиям.

Кенигсмарк со своим летучим отрядом направился в Чехию, где Эрнст Одовальский, отставной ротмистр, изувеченный на императорской службе и затем уволенный без всякого вознаграждения, сообщил ему план, как овладеть врасплох «Малой страной» Праги. Кенигсмарк удачно осуществил этот план и прославился тем, что последним блистательным ударом закончил Тридцатилетнюю войну. Одного человека стоил шведам этот решающий ход, положивший, наконец, предел колебаниям императора. Но «Старый город» — большая часть Праги, расположенная по ту сторону реки Молдавы, — своим энергичным сопротивлением изнурил пфальцграфа Карла-Густава, наследника Христины, прибывшего из Швеции со свежими войсками и собравшего под стенами Праги всю шведскую армию из Чехии и Силезии. Наконец, холод заставил осаждающих разойтись по зимним квартирам, и здесь дошла до них весть о мире, подписанном 24 октября в Оснабрюке и Мюнстере.

Каким исполинским делом было заключение этого нерушимого и священного договора, увековеченного под именем Вестфальского мира; сколько необоримых на первый взгляд препятствий пришлось для этого преодолеть; сколько противоположных интересов пришлось примирить; какая длинная вереница случайностей должна была совпасть, чтобы осуществилось это сложное, дорогой ценой достигнутое, непреходящее создание политической мудрости; как невероятно трудно было хотя бы только начать переговоры; чего стоило, положив им начало, продолжать их в условиях переменного счастья непрекращающейся войны; чего

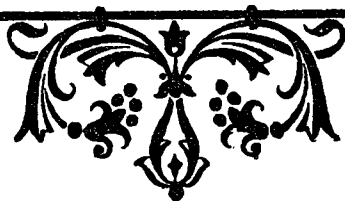
стоило формально утвердить уже выработанные условия и привести в исполнение торжественно обнародованный договор; что было содержанием этого мирного договора, что приобретал или терял в нем, ценою тридцати лет мытарств и страданий, тот или иной отдельный участник и какое воздействие — полезное или вредное — он оказал на все европейское общество в его совокупности,— все это пусть расскажет другой автор. История Вестфальского мира представляет собой такое же единое своеобразное целое, как и история этой войны. Беглый обзор этой истории превратил бы любопытнейшее и своеобразнейшее творение человеческой мудрости и человеческих страстей в безжизненный остов и лишил бы ее именно того, чем она могла бы приковать внимание тех читателей, для которых я писал и с которыми теперь расстаюсь.

1791





СТАТЬИ









**ПРЕДИСЛОВИЕ  
К ПОЛНОМУ СОБРАНИЮ  
ИСТОРИЧЕСКИХ  
МЕМОАРОВ**







Уже в течение нескольких лет в Лондоне под заглавием «Collection universelle des Mémoires particuliers relatifs à l'histoire de France» выходит полное собрание исторических мемуаров для французского читателя; это побудило издателя настоящего труда предпринять такое издание и на немецком языке, но расширив план французского издания, охватив все сочинения данного рода, какой бы истории они ни касались, на каком языке ни были написаны. Благодаря этому, а также присоединению к отдельным мемуарам обзоров всемирно-исторических событий данной эпохи и заполнению пробелов там, где мемуарист прерывает повествование, издатель надеялся возвысить это собрание до уровня некоего исторического целого и тем самым сделать его возможно более пригодным для той части читающей публики, для которой оно в сущности предназначено. По этой же причине он начинает свой труд с эпохи крестовых походов, ибо лишь отсюда можно хотя бы в некоторой последовательности вести издание мемуаров.

В наше время, когда интерес к историческим сочинениям, пробужденный некоторыми мастерскими произведениями этого вида литературы, все шире распространяется среди читателей и, повидимому, постепенно вытесняет огромную армию романов и беллетризованных историй, долгое время почти безраздельно удовлетворявших любознательность, издатель надеялся на благосклонное отношение к труду, занимающему так раз среднее положение между теми и другими, соеди-

няя приятные свойства первых с вескими качествами вторых. Этот труд предназначается главным образом для людей, которым их деятельность не позволяет сделать историю предметом собственных занятий и которые поэтому могут посвятить чтению исторических произведений лишь часы своего досуга, и вообще — для всех тех, кто занимается историей не как ученые; но и ученым это издание может оказать услуги, облегчая им пользование весьма ценным видом исторических памятников, которые не повсюду и не всегда легко доступны и которые, точно переведенные на немецкий язык, будут даны ему в хронологическом порядке.

Этот вид исторических сочинений, одно название которых уже в состоянии привлечь многих читателей, имеет то неоспоримое преимущество, что он одновременно удовлетворяет и ученого знатока и поверхностного дилетанта: первого — достоинствами содержания, второго — непринужденностью формы. Сочиненные чаще всего светскими или деловыми людьми, они всегда находили наилучший прием именно в этих кругах. Историк ценит их как незаменимых руководителей, на которых в некоторые периоды истории ему приходится едва ли не исключительно полагаться. То, что они написаны очевидцем или во всяком случае современником, то, что они ограничиваются одним только главным событием или одним только главным героем и никогда не преступают пределов жизни одного человека, то, что они изображают свой предмет в тончайших оттенках и раскрывают самые мелкие подробности событий и сокровеннейшие черты характеров, — все это накладывает на них отпечаток достоверности, подлинности, придает им убедительность и ту живость изображения, какой не может сообщить своему произведению никакой историк, широкими мазками рисуя картины революций и связывающий один отрезок отдаленных времен с другим. Именно мемуары зачастую дают нам поразительное объяснение важнейших событий всемирной истории, разыгрывающихся на большой политической арене, казалось бы, совершенно внезапно и как бы возникающих из

ничего, ибо в мемуарах зачастую приводятся мелочи, которыми пренебрегает серьезная историческая наука. Они придают колорит бесцветным контурам, начертанным рукою историка, и вновь превращают его героя в человека, сопутствуя ему в его личной жизни и неожиданно раскрывая его слабости. Они словно представляют на наше рассмотрение документы, касающиеся многих тяжeb в истории государств и людей, и обилие свидетелей дает нам возможность выяснить истину, которую так часто утаивают от нас обманывающие, а еще чаще — обманутые историки.

Так как значительная часть этих сочинений либо не переводилась ранее, либо переводилась недостаточно тщательно, а принадлежность их к самым различным эпохам, как и многочисленность, препятствует тому, чтобы целиком собрать их воедино, то уже это одно делает отнюдь не лишним выпуск собрания мемуаров в новых переводах; но главная задача настоящего издания — способствовать тому, чтобы они принесли наибольшую пользу. Назначение статей, живописующих эпоху, к которой по своему содержанию относятся помещенные затем мемуары, не только облегчить понимание их, но и в первую очередь указать менее осведомленному читателю путь от подчас несущественного частного к более значимому целому, объяснению которого эти мемуары призваны служить. Польза, которую может принести читателю изолированное, при всей своей привлекательности и значительности, историческое повествование, всегда будет очень невелика, если он не научится возводить частное к общему и находить ему плодотворное применение.

Мы сочли необходимым предпослать всему труду краткий всеобщий обзор великих изменений в политическом и нравственном состоянии Европы, вызванных феодальной системой и иерархией, потому что чтение значительной части помещенных вслед за тем мемуаров потребует этих знаний, а также еще и потому, что этот обзор дает полное и необходимое освещение как возникновения, так и последствий крестовых походов. Эту первую работу следует поэтому рассматривать как

введение не только к «Алексиаде», но и к некоторым следующим за ней мемуарам.

Издателю хотелось бы, чтобы его труд открывался каким-либо произведением, представляющим более общий интерес, чем «Алексиада» принцессы Анны, но его план этого не позволял; значительные прочие достоинства этого памятника должны помочь читателю забыть об отсутствии в нем руководящей идеи, об изъянах стиля и еще больших изъянах духа, печать которого наложил на это сочинение его автор; все эти недостатки можно простить, памятуя условия того времени.

Я сохранил французское слово «мемуары», так как не могу заменить его никаким немецким словом. «Denkwürdigkeiten» (Memorabilia) лишь неполно передает его смысл; скорее уж можно было бы назвать их «Erinnerungen» или «Erinnerungsblätter», ибо они написаны на основе воспоминаний о пережитых событиях.

Чтобы определить границы этого труда, необходимо точнее установить, что следует понимать под «мемуарами». Хотя и у нас на немецком языке также имеются «мемуары», но они появлялись не под этим названием, с другой же стороны — некоторые французские произведения, носящие его, присвоили себе это наименование без достаточных к тому оснований. Под «мемуарами» нужно, видимо, понимать все исторические произведения, удовлетворяющие следующим требованиям:

I. Они должны быть посвящены лишь *одному* событию или *одной* личности. Это исключает всякую *хронику* и всякую *всеобщую* историю.

II. Их автор должен был сам принимать участие в описываемом событии или, во всяком случае, быть настолько близок к действующему лицу мемуаров, чтобы черпать сведения из самого достоверного источника. Мемуары об истории Бранденбургского дома таковыми не являются, потому что их писал не современник и потому что их автор не ограничивается *одним* событием и *одним* главным героем. Мемуары писал кардинал де Рец, но их могла писать и фрейлина королевы Анны.

III. Они должны быть написаны в тоне повествования, причем повествования связного, и быть сочинением одного автора. Исторические письма, хвалебные и надгробные речи не могут считаться «мемуарами».

Произведения, сочетающие в себе указанные качества, относятся к этому виду, даже если они вышли под другим наименованием, и они найдут себе место в настоящем собрании. Поэтому история Фридриха Барбароссы, написанная епископом Фрейзингенским, не без оснований последует непосредственно за «Алексиадой».

Мы рассчитываем ежегодно выпускать в свет не менее шести таких томов, а чтобы не откладывать надолго выпуск мемуаров, посвященных той интересной и поучительной эпохе, которая начинается с Генриха IV Французского, сразу же после выхода третьего тома начнем издание второго раздела, то есть мемуаров, посвященных новому времени, причем это издание будет продолжено в равной доле с изданием более ранних мемуаров.

1789









**ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
ЛИКУРГА И СОЛОНА**







## ЛИКУРГ

Чтобы надлежащим образом оценить замысел Ликурга, необходимо воскресить в памяти политическое положение Спарты тех времен и ознакомиться с государственным устройством лакедемонян, каким оно было в те дни, когда Ликург огласил свой проект преобразований.

Во главе государства стояли два царя, облеченные равною властью; они непрестанно соперничали друг с другом, и каждый из них стремился приобрести как можно больше приверженцев, дабы, опираясь на них, ограничить могущество своего соправителя. Это соперничество, унаследованное от первых царей, Прокла и Эврисфена, переходило в их династиях из поколения в поколение и сохранилось вплоть до Ликурга; поэтому на протяжении очень длительного периода Спарта была ареною непрекращающихся распрей между двумя партиями. Каждый царь пытался подкупить народ дарованием значительных вольностей; эти поблажки породили в народе дерзость и в конце концов привели к мятежам. Государство пребывало в неустойчивом состоянии; оно металось от монархии к демократии и вследствие частых перемен курса впадало из одной крайности в другую. Границы между правами народа и произволом царей не были определены, богатства сосредоточивались в немногих семьях. Богатые горожане держали в страхе и повиновении бедняков, отчаянье которых находило выход в восстаниях.

Раздираемое внутренними распрями, слабое государство неминуемо должно было стать добычей воинственных соседей или распасться на более мелкие тирании. Такою нашел Спарту Ликург; неясность границ между властью народа и властью царей, неравномерное распределение достатка среди граждан, отсутствие согласия и стремления к общему благу и полное политическое бессилие были теми недугами, которые в первую очередь предстали взору законодателя и которым он поэтому в составленных им законах уделил преимущественное внимание.

В день, избранный Ликургом для обнародования этих законов, он велел тридцати наиболее знатным согражданам, которых расположил в пользу своего плана, собраться в полном вооружении на рыночной площади, дабы нагнать страху на тех, кто стал бы противиться его предложениям. Царь Харилай полагал, что эти приготовления направлены против него, и, страшась их, укрылся в храме Минервы. Но его успокоили, объяснив суть дела, и он настолько восхитился планом Ликурга, что в дальнейшем оказывал ему деятельную поддержку.

Первое постановление законодателя касалось государственного устройства. Чтобы раз навсегда воспрепятствовать республике метаться от царской тирании к анархической демократии, Ликург поставил между ними, в качестве противовеса и той и другой, некую третью силу: он учредил *сенат*. Сенаторы — их было всего двадцать восемь, а вместе с царями тридцать — обязаны были в тех случаях, когда *цари* злоупотребляли своей властью, вступаться за народ; когда же, напротив, власть народа становилась чрезмерной, им вменялось в обязанность брать под свою защиту царей. Это было превосходное нововведение, и благодаря ему Спарта навеки избавилась от тяжких междоусобиц, потрясавших ее до того времени. Благодаря ему ни одна из сторон теперь не могла попирать другую; против сената, действовавшего совместно с народом, цари были бессильны; равным образом и народ не мог сохранить за собой перевес, если сенат действовал совместно с царями.

Ликург, однако, не предусмотрел третьей возможности — что и сенат способен злоупотребить своей властью. Являясь промежуточным звеном, сенат мог без особой угрозы общественному спокойствию, с одинаковой легкостью объединяться как с царями, так и с народом, но цари не могли объединяться с народом против сената, не создавая этим большой опасности для государства. Сенат не замедлил воспользоваться выгодами своего положения и начал непомерно расширять свою власть, что удавалось ему без особых хлопот, поскольку сенаторов было немного и они легко могли договориться между собой. Поэтому продолжатель дела Ликурга восполнил этот пробел и добавил эфоров, наложивших узду на власть сената.

Намного опаснее и решительнее был второй закон, установленный Ликургом. Согласно этому закону вся земля была разделена между гражданами поровну, дабы навсегда уничтожить различие между богатыми и бедными. Вся Лакония была поделена на тридцать тысяч полей, а земли вокруг города Спарты — на девять тысяч, причем каждое поле было таких размеров, чтобы обеспечить живущей на нем семье достаток. Спарта приобрела чудесный, цветущий облик, и сам Ликург пришел в восторг от открывшегося его взору зрелища, когда впоследствии объехал страну. «Вся Лакония, — вскричал он, — подобна полю, которое братья по-братски поделили между собой!»

Не менее охотно, чем землю, поделил бы Ликург и движимое имущество, но это его намерение столкнулось с неодолимыми трудностями. Он попытался, однако, добиться осуществления своей цели окольным путем: то, чего он не мог достигнуть приказом, должно было, по его мысли, пасть само собой.

Он начал с того, что запретил золотую и серебряную монету и ввел вместо нее железную, в то же время присвоив большому, тяжелому куску железа ничтожную ценность в денежном выражении; поэтому для хранения небольшой суммы требовалось обширное помещение, а для перевозки ее — множество лошадей. Вдобавок, чтобы пресечь попытки ценить монету по годности железа для иного употребления и ради этого

накапливать его, он предписал назначенное для изготовления денег железо раскаливать докрасна, а затем охлаждать в уксусе; закаленное таким образом, оно становилось непригодным ко всякому иному использованию.

Кто же стал бы при таком положении дел воровать, или соблазняться подкупом, или тщиться копить сокровища, когда даже малый барыш нельзя было ни сохранить, ни использовать?

Отняв этим путем у своих сограждан *средства* к поддержанию роскоши, Ликург сверх того убрал с их глаз и все то, что могло ввести их в соблазн. Ни одному иноземному купцу не была нужна спартанская железная монета, а другой у жителей Спарты не было. Всем, кто работал на роскошь, пришлось покинуть Лаконию; ни один чужестранный корабль не входил теперь в ее гавани, ни один искатель приключений не являлся в поисках счастья в эту страну, ни один купец не заглядывал в эти края, чтобы взимать дань с суетности и наслаждения, ибо отсюда они могли вывезти лишь железные деньги, во всех других странах не имевшие никакой ценности. Роскоши не стало, ибо не было никого, кто мог бы способствовать ее сохранению.

Ликург решил бороться с роскошью еще и другим способом. Он повелел всем гражданам Спарты питаться за общим столом в общественном месте и всем потреблять одну и ту же, законом предписанную пищу. Далее было запрещено предаваться у себя дома изнеженности и готовить на собственной кухне дорогостоящие блюда. Каждому вменялось в обязанность ежемесячно вносить известное количество съестных припасов для общественных трапез, взамен чего государство отпускало ему пищу. Обычно за каждым столом собиралось пятнадцать граждан; чтобы быть принятым в число сотрапезников, требовалось согласие всех остальных. Никто не смел уклоняться от этой трапезы, не имея на то уважительных причин; это правило выполнялось столь неукоснительно, что даже Агий, один из последующих спартанских царей, выразивший по возвращении с победоносной войны

желание поест наедине со своею женой, столкнулся с решительным отказом эфоров. Среди кушаний, принятых у спартанцев, особая известность выпала на долю черной похлебки. В похвалу ей говорили, что спартанцам нетрудно быть храбрыми, ибо не такое уж зло умереть, если питаешься их черной похлебкой. Приправой к еде служили веселье и шутки, ибо Ликург и сам был таким другом застольного остроумия, что воздвиг в своем доме алтарь богу смеха.

Введение этих совместных трапез значительно способствовало достижению поставленной Ликургом цели: исчезла роскошная, дорого стоящая утварь, ибо ею невозможно было пользоваться за общим столом. Навсегда было покончено с чревоугодием; следствием этой строгости распорядка и умеренности было крепкое, здоровое тело, и здоровые отцы производили для государства крепких детей. Совместные трапезы приучали граждан к общественной жизни, и они ощущали себя членами одного и того же государственного образования,— излишне упоминать, что одинаковые условия существования, в одинаковой мере влияя на духовный склад граждан, порождали единообразие его.

Другой закон воспрещал кому бы то ни было покрывать свой дом кровлей, сооруженной с помощью каких-либо орудий сверх топора, а двери должны были изготовляться только пилой. В такой жалкой лачуге никому не пришло бы в голову обзаводиться хорошей утварью — ведь всем частностям подобает гармонично сочетаться с целым.

Ликург хорошо понимал, что создать законы для граждан — еще далеко не все; пред ним стояла еще и задача создать граждан, пригодных для этих законов. В душах спартанцев ему надлежало закрепить навеки свои нововведения; в них предстояло ему умертвить восприимчивость к впечатлениям, не способствующим достижению этой цели.

Вот почему наиболее существенной частью его законов были законы, посвященные воспитанию; ими он как бы замыкал круг, в котором спартанское государ-



ство должно было вращаться вокруг самого себя. Система воспитания была наиважнейшим творением государства, а государство — долговечным творением этого воспитания.

Пещась о детях, Ликург распространял свою заботу и на все то, что связано с деторождением. Девушкам было предписано закалять себя телесными упражнениями, дабы роды у них были легкими и дети появлялись на свет здоровыми, крепкими. Более того — девушек заставляли ходить обнаженными, чтобы приучить ко всякой погоде. Жених должен был похищать девушку, и ему разрешалось навещать ее лишь по ночам, украдкой. Таким образом, в первые годы брака супруги мало общались друг с другом и любовь их сохраняла всю свою пылкость.

Какие бы то ни было проявления ревности, даже между супругами, решительно подавлялись. Законодатель подчинил своей основной цели всё без изъятия, в том числе и стыдливость. Даже верностью женщин он пожертвовал, только бы для государства рождались здоровые дети.

Всякий новорожденный принадлежал государству — для матери и отца он был потерян. Ребенка осматривали старейшины, и если он был крепок и хорошо сложен, его тотчас передавали няне; если, напротив, он был слаб и увечен, его сбрасывали с Тайгетской горы в пропасть.

Благодаря суровому воспитанию, которое они давали своим питомцам, спартанские няни славились по всей Греции, и их выписывали в далекие края. Как только мальчику исполнялось семь лет, его отбирали от няни. Теперь его содержали, кормили и воспитывали вместе со сверстниками. С раннего детства приучали его преодолевать трудности и при помощи телесных упражнений приобретать власть над своим телом. Достигнув юношеского возраста, лучшие из них могли надеяться приобрести друзей среди взрослых, и эта дружба была пронизана одухотворенной любовью.

Игры юношей происходили в присутствии стариков, которые зорко наблюдали за первыми проявле-

ниями их способностей, похвалой и порицанием разжигая юное честолюбие. Когда молодые люди хотели поестъ вволю, им приходилось добывать съестное воровством; тех, кто попадался с поличным, ожидало суровое наказание и позор. Ликург избрал это средство, чтобы смолоду развить в них изворотливость и хитрость — качества, которые он в войне — а ведь он воспитывал их для ратного дела — ставил так же высоко, как телесную силу и храбрость. Мы уже видели, как мало Ликург считался с нравственными устоями, когда дело шло о достижении государственных целей. Впрочем, следует принять во внимание, что ни осквернение брака, ни эти вынужденные кражи не могли причинить спартанскому государству того ущерба, который они неминуемо причинили бы всякому другому. Поскольку государство взяло воспитание детей на себя, это воспитание нисколько не зависело от того, счастливы ли браки родителей и не запятнала ли их супружеская измена; а поскольку в Спарте почти все имущество было общим и собственности там не придавали большого значения, то и охрана ее не была делом первостепенной важности, как и посягательство на нее, — в особенности, когда само государство поощряло его в определенных целях, — не было преступлением против гражданского права.

Молодым спартамцам было запрещено наряжаться, кроме тех случаев, когда они шли в сражение или навстречу другой великой опасности. В этом случае им дозволялось делать себе затейливую прическу, надевать праздничную одежду, а также украшать свое оружие. Волосы, говорил Ликург, красят тех, кто красив, а некрасивых превращают в уродов. И бесспорно — законодатель поступил весьма прозорливо, связав представление об опасности с тем, что радостно и торжественно, и лишив ее тем самым устрашающих свойств. Он пошел еще дальше. На войне допускалось некоторое послабление дисциплины: жизнь становилась вольготнее, и проступки наказывались не так сурово. Отсюда проистекало, что война для спартамцев была единственным отдыхом, и они привет-

ествовали ее, как радостное событие. Когда приближался неприятель, спартанский царь отдавал приказание затягивать песнь в честь Кастора, и воины, под звуки флейт, сомкнутым строем шли на врага; бодро и бесстрашно устремлялись они, в такт музыке, навстречу опасности.

Законы Ликурга привели к тому, что привязанность к собственности была оттеснена на задний план привязанностью к отечеству, и умы, не отвлекаемые больше заботами личного свойства, полностью отдавали себя государству. Поэтому Ликург счел полезным и нужным избавить своих сограждан от всяких дел и обязанностей обыденной жизни и взвалить это бремя на чужестранцев; он сделал это затем, чтобы заботы, связанные с повседневным трудом, равно как и увлечение своим хозяйством, не отвлекали их дух от служения интересам отечества. Возделывание полей и домашний труд — все это легло таким образом на рабов, которых в Спарте рассматривали как рабочий скот. Здесь их звали илотами, ибо первыми рабами спартанцев были жители расположенного в Лаконии города Гелоса; покоренные спартанцами, они были обращены в рабство. От этих илотов получили название и все другие рабы спартанцев, которых они добывали в своих войнах.

Участь этих несчастных людей была поистине ужасающей. На них смотрели как на орудие, которое можно употреблять любым способом, в зависимости от стоящих перед государством целей, и их человеческое достоинство попиралось возмутительнейшим образом. Чтобы спартанская молодежь могла наглядно представить себе, к каким мерзким последствиям ведет злоупотребление вином, илотов порой принуждали напиваться допьяна и в таком виде выставляли напоказ в общественном месте. Их заставляли также петь непристойные песни и затевать потешные пляски — пляски свободнорожденных были для них под запретом.

Илотами пользовались и для других, еще более бесчеловечных целей. Государство считало полезным подвергать испытаниям мужество своих наиболее

смелых юношей и в кровавых играх готовить их к войне с настоящим врагом. В этих видах сенат время от времени направлял в сельские местности некоторое число юношей; с собой им давали лишь кинжал и немного еды на дорогу. В течение дня их обязывали таиться в укромных местах, по ночам же они выходили на дороги и убивали илотов, которые попадали в их руки. Это мерзоприятие называлось криптией, или засадой. Впрочем, не выяснено, исходило ли оно от самого Ликурга. Во всяком случае, оно вполне согласуется с его принципами. Чем успешнее были войны, которые вела Спарта, тем больше становилось число этих илотов; с течением времени они стали представлять опасность для государства и доводимые столь варварским обращением до полного отчаянья, поднимали восстания. И вот однажды сенат решился на бесчеловечную меру, которая, как он считал, оправдывалась необходимостью. Во время Пелопоннесской войны, под предлогом, что им якобы даруют свободу, было собрано до двух тысяч самых бесстрашных илотов; их увенчали венками и в сопровождении торжественной, пышной процессии ввели в храм. Здесь эти илоты бесследно исчезли, и никто никогда не узнал, какая их постигла участь. Впрочем, эти жестокости отлично известны; в Греции даже вошло в поговорку, что спартанские рабы — самые несчастные из рабов, тогда как свободные граждане Спарты — самые свободные из свободных граждан.

Поскольку илоты освободили спартанских граждан от всяких трудов и забот, вся жизнь этих граждан протекала в полнейшей праздности. Молодежь упражнялась в военных играх и в ловкости, тогда как взрослые были зрителями и судьями этих упражнений и состязаний. Для спартанского старца считалось позорным не присутствовать там, где проходило воспитание и обучение юношества. Вследствие всего этого всякий спартанец жил одной жизнью с государством, и всякое дело становилось *общественным* делом. На глазах у всего народа созревала молодежь и отцветали люди преклонного возраста. Спартанец ни на мгновение не отрывал глаз от Спарты, и Спарта не отрывала глаз

от него. Он был свидетель всему, и все было свидетелем его жизни. Этим непрестанно усиливалось стремление прославиться, питался и поддерживался патриотический дух; идея *отечества и интересов отечества* внедрялась в сознание каждого гражданина, переплеталась со всей его жизнью. Другим средством развивать эти побуждения были весьма многочисленные в праздной Спарте общественные торжества разного рода. Здесь распевали сложенные народом военные песни, в которых обычно прославлялись граждане, отдавшие жизнь за родину, или содержались призывы к доблести. На этих празднествах песни исполнялись тремя хорами: стариков, взрослых мужчин и мальчиков. Начинал хор стариков: *«Было время, мы были героями»*. Им отвечали мужчины: *«А ныне герои мы! Приходи, кто хочет, удостоверься!»* Затем вступал третий хор, состоявший из мальчиков: *«Придет время, и мы станем героями, и наши деяния затмят тогда ваши»*.

При беглом взгляде на законодательство Ликурга нас охватывает приятное изумление. В самом деле, среди сводов законов древности законы Ликурга — бесспорно самые последовательные и совершенные, если не говорить о законах Моисея, с которыми они во многом весьма схожи, особенно в отношении принципа, положенного в основу и тех и других. Законодательство Ликурга подлинно завершено в себе; здесь одно влечет за собою другое, частное держится целым, а целое — частным. И Ликург, пожалуй, не мог бы найти лучших способов достижения той цели, которую он себе поставил — создать государство, которое, будучи изолировано от всех остальных, стало бы самодовлеющим и способно было бы существовать, опираясь на свои внутренние возможности и питаясь собственной жизненной силой. Ни один законодатель не обеспечил своему государству такого единства, такого понимания общности интересов, такого единодушия, какие обеспечил Спарте Ликург. Чем же он достиг этого? Тем, что сумел направить деятельность своих сограждан на служение государству, закрыв для них все иные пути, которые могли бы отвлечь их.

Своими законами он устранил из жизни людей все, что пленяет души и распаляет страсти,— все, кроме интересов государства. Богатство и наслаждение, науки и искусство не волновали спартанцев. Поскольку все стали одинаково бедными, люди перестали задумываться над неравенством в распределении жизненных благ, а ведь оно-то и разжигает у большинства корыстные побуждения; стяжательство заглохло само собою, поскольку отпала возможность пользоваться богатством или кичиться им. Глубочайшим невежеством в области как искусства, так и науки, в одинаковой степени затемнившим в Спарте все головы, Ликург оградил ее государственное устройство от каких бы то ни было посягательств, которые могли бы исходить от просвещенных умов; более того — это невежество в сочетании со свойственным всем спартанцам грубым пренебрежением ко всему чужестранному, стало неборимым препятствием к их смешению с другими народами Греции. С самой колыбели на каждом спартанце лежал особый отпечаток, и чем больше сталкивались они с другими народами, тем упорнее они должны были держаться внушенных им представлений. Отечество было первым, что открывалось взору спартанского мальчика, лишь только он пробуждался к самостоятельной мысли. Он пробуждался к ней в лоне опекавшего его государства, и его окружало все то же: народ, государство, отечество. Это было первое впечатление, отложившееся в его мозгу, и вся его жизнь была лишь вечным обновлением этого впечатления.

У себя дома спартанец не находил ничего сколько-нибудь соблазнительного, законодатель убрал с его глаз все, что могло показаться ему привлекательным. Лишь в лоне государства находил он занятия, увеселения, почести и награды; на государстве — и только на нем — были сосредоточены все его страсти и помыслы. Государство располагало таким образом всей энергией, всеми силами своих граждан, и стремление к общему благу, воодушевлявшее совокупность граждан, питало у каждого в отдельности любовь к своему народу. Поэтому нет ничего удивительного, что доблесть спар-

танцев, когда дело шло об интересах их родины, достигала таких пределов, которые кажутся нам невероятными. Вот почему у граждан этой республики не возникало ни малейших колебаний, когда требовалось сделать выбор между самосохранением и спасением отечества.

Отсюда же понятно, каким образом спартанский царь Леонид и триста героев, сражавшихся с ним вместе, заслужили прекраснейшую в своем роде эпитафию — благороднейший памятник доблести: «Поведай, путник, когда придешь в Спарту, что, повинувшись ее законам, мы пали на этом месте».

Таким образом, нельзя не признать, что нет и не может быть ничего целесообразнее и продуманнее этого государственного устройства, что оно — в своем роде совершеннейшее произведение и что при неуклонном претворении его в жизнь оно по необходимости должно было иметь опору только в себе самом. Но если бы я на этом закончил свое описание, я был бы повинен в крупнейшей ошибке: это поразительное государственное устройство заслуживает решительного осуждения. Для человечества ничто не могло бы быть прискорбнее подражания этому образцу во всех странах. Нам не составит большого труда убедиться в справедливости этого утверждения.

Если проникнуться теми задачами, которые ставил перед собою Ликург, то его законы — поистине мастерское творение государственоведения и знания людей. Он хотел создать завершенное в себе, несокрушимое государство; политическая сила и долговечность этого государства были целью его устремлений, и этой цели он достиг в той мере, в какой это оказалось возможным при данных условиях. Но если сопоставить цель, которая вдохновляла Ликурга, с целью человечества, то восторг, охвативший нас при беглом обзоре деятельности спартанского законодателя, уступит место резкому порицанию ее. Всем можно пожертвовать ради государства, но только не тем, для чего само государство является не более как средством. Государство никогда не является самоцелью; оно существенно лишь как условие, помимо которого цель человечества недо-

стижима; цель же человечества — не что иное, как развитие всех сил человека, как неуклонное поступательное движение. Если государственное устройство препятствует развитию заложенных в человеке сил, если оно препятствует мощному поступательному движению его духа — оно порочно и губительно, сколь бы продуманным и по-своему совершенным оно ни было во всем остальном. Его прочность в этом случае может быть скорее поставлена ему в упрек, чем послужить к его славе, ибо тогда она — не более как укоренившееся зло; чем длительнее существование подобного государственного устройства, тем оно вреднее.

Вообще говоря, при оценке политических установлений мы должны твердо держаться правила, что хороши и похвальны те из них, которые, споспешествуя движению цивилизации вперед или по меньшей мере не тормозя его, развивают все заложенные в человеке силы. Это в равной мере относится и к законам религии и к законам, касающимся государственного устройства: и те и другие губительны, если они сковывают дух человеческий, если обрекают его на застой. Так, например, закон, который обязывал бы целый народ неизменно придерживаться одного и того же религиозного исповедания, в свое время признанного этим народом наисовершеннейшим, — такой закон был бы посягательством на права человечества, и никакие доводы, сколь бы благовидными они ни казались, не могли бы послужить к его оправданию. Подобный закон был бы направлен против высшего блага, против высшей цели, какую только может поставить перед собой общество.

Применив этот общий критерий к государству Ликурга, мы без долгих колебаний дадим ему свою оценку.

Пренебрегая всеми прочими добродетелями, в Спарте пестовали только одну — любовь к отечеству.

Этому искусственно привитому чувству приносились в жертву естественные, прекраснейшие влечения человечества.



В ущерб всем остальным возвышенным чувствам развивали стремление служить государству и способность к этому служению. В Спарте не знали, что такое супружеская любовь, не знали материнской любви, любви ребенка к родителям, наконец дружбы. Здесь знали лишь гражданина, лишь гражданскую доблесть. Долгое время восхищались той спартанскою матерью, которая, гневно оттолкнув сына, только что воротившегося невредимым с поля брани, поспешила в храм вознести благодарность богам за сына, павшего в бою. От такой противоестественной твердости духа человечеству солоно бы пришлось. Мать, исполненная нежности к детям, — явление в нравственной сфере неизмеримо более привлекательное, нежели героическое бесполое существо, отрекающееся от естественного влечения, чтобы выполнить надуманный долг.

Насколько более прекрасным предстает нам в своем лагере под стенами Рима грубый воин Гней Марций, когда он жертвует победой и мезтью, потому что не может видеть слез своей матери!

Государство становилось отцом ребенка; следовательно, отец, давший ему жизнь, переставал быть его отцом. Ребенок в свою очередь не мог полюбить ни свою мать, ни отца, ибо, оторванный от них с самого нежного возраста, он знал родителей не по их заботам о нем, но лишь понаслышке.

Еще более возмутительным образом подавляли в Спарте любое проявление человечности, а уважение к себе подобным — это душа всякого нравственного долга — там было безвозвратно утрачено. Закон, исходящий от государственной власти, вменял спартамцам в обязанность жестокость в отношении их рабов. В лице этих несчастных жертв предавалось унижению и поруганию человечество. И даже в спартанском своде законов проповедовался опасный принцип — рассматривать людей как средство, а не как самоцель; таким образом, сам закон подрывал основы естественного права и морали. Целиком была отброшена нравственность, чтобы получить нечто, имеющее ценность лишь как средство поддержания нравственности.

Возможно ли нечто более противоречивое, и может ли какое-нибудь другое противоречие повести к более страшным последствиям? Мало того, что Ликург воздвиг свое государство на разрушении нравственности,— он стремился еще и другим способом отвлечь человечество от его высшей цели: свою отлично продуманную системой государственного устройства он задержал дух спартанцев на той ступени, на которой нашел его, и тем самым навеки остановил его поступательное движение.

Все виды искусства были изгнаны за пределы страны, науки оставались в полнейшем небрежении, торговые сношения с другими народами подверглись запрету, ничто чужестранное не допускалось. Всеми этими мерами наглухо были закрыты каналы, по которым могли бы просачиваться к спартанцам светлые идеи извне; в вечном однообразии, погруженное в безрадостный эгоизм, обречено было спартанское государство вечно обращаться вокруг себя самого.

Единственной заботой всех его граждан было удерживать за собою то, чем они обладали, оставаться тем, чем они были, не домогаться ничего нового, не подыматься ни на одну ступень. Неумолимо суровые законы призваны были неуклонно следить за тем, чтобы в издавна установленный государственный механизм не проникло ни одно новшество, за тем, чтобы даже развитие, сопряженное с ходом времени, не изменило формы законов. Чтобы это местное, временное государственное устройство сделать прочным, вечным, потребовалось остановить дух народа на том уровне, на каком он находился, когда это устройство было введено.

Но мы уже видели, что подлинной целью государства должно быть поступательное движение духа народа.

Государство Ликурга могло, однако, существовать лишь при одном условии, а именно: чтобы дух народа оставался неподвижным; следственно, оно могло держаться лишь благодаря тому, что пренебрегало высшей и единственной целью всякого государства. И если в похвалу Ликургу не раз говорили, что Спарта могла

процветать, только покуда она следовала букве его законов, то это худшее из всего, что можно было сказать о нем. Именно потому, что она не могла отойти от старой формы государственного устройства, данной ей в свое время Ликургом, не обрекая себя на безвозвратную гибель; что она должна была оставаться тем, чем была: что она вынуждена была вечно стоять на том самом месте, на которое ее швырнул единственный человек, — именно в силу этого Спарта была несчастнейшим государством, и ее законодатель не мог сделать ей более рокового подарка, чем эта прославленная извечность государственного устройства, стоявшего неодолимой преградой на ее пути к подлинному процветанию и величию.

Если мы объединим все это, то исчезнет мишурный блеск, ослепляющий неопытный глаз при поверхностном взгляде на спартанское государство, и мы не увидим в нем ничего, кроме ученической, несовершенной попытки — первых робких шагов юного мира, которому недоставало еще житейского опыта и умения ясно познавать вещи в их подлинном соотношении. Сколь бы ошибочной ни была эта первая попытка, она останется, да и должна остаться, предметом пристального внимания философски мыслящего исследователя истории человечества. Когда за то, что до сих пор предоставлялось случаю и страстям, взялись как за сложное построение — это, конечно, означало для человеческого ума исполинский шаг вперед. Первая попытка в этом наитруднейшем искусстве должна была по необходимости оказаться несовершенной, и все же она ценна, ибо ее предметом было самое важное из всех искусств. Ваятели начали с небольших колонн в честь Гермеса и только в последующем возвысились до совершенных форм какого-нибудь Антиноя или ватиканского Аполлона; законодатели еще долгое время будут предпринимать незрелые попытки разного рода, покуда, наконец, само собой им не откроется счастливое равновесие общественных сил.

Камень терпеливо сносит резец ваятеля, и струны, по которым ударяет рука музыканта, отвечают ему, не сопротивляясь его пальцам.

И только законодатель преобразует самостоятельный и сопротивляющийся ему материал — человеческую свободу. Вот почему ему удастся лишь крайне несовершенно претворять в жизнь тот идеал, который он в мыслях своих создал таким высоким и чистым. Но даже сама попытка, если она предпринята бескорыстно, на благо людям, и осуществляется целесообразными мерами, достойна всяческой похвалы.

## СОЛОН

Законы *Солона* в Афинах были почти полной противоположностью законам *Ликурга* в Спарте, и, поскольку эти две республики — Афины и Спарта — играли главную роль в истории Греции, чрезвычайно интересно сопоставить их столь различное государственное устройство и взвесить достоинства и недостатки того и другого.

После смерти *Кодра* афиняне упразднили монархию, и верховная власть перешла к должностному лицу, избиравшемуся *пожизненно* и носившему титул *архонта*. На протяжении почти трехсот лет в Афинах, как известно, было *тринадцать* архонтов, но об этом периоде существования новой республики история не сообщает нам ничего примечательного. К концу названного периода здесь снова ожил, однако, демократический дух, свойственный афинянам еще со времен Гомера. Пожизненность архонтата слишком живо напоминала им монархию былых дней, и к тому же, быть может, предшествующие архонты злоупотребляли своей весьма значительной и долговременной властью. Поэтому срок полномочий архонта был ограничен *десятью* годами. Это был существенный шаг на пути к грядущей свободе, ибо, избирая каждые десять лет нового властителя, народ тем самым всякий раз подтверждал, что верховная власть остается за ним; каждые десять лет он отбирал уступленную им самим власть, чтобы снова вручить ее по своему усмотрению. Благодаря этому он неукоснительно помнил то, о чем

совершенно забывают подданные наследственных монархий: что источник верховной власти — он сам, а государь — не более как творение все того же народа.

Триста лет терпел афинский народ архонтов с пожизненной властью, но архонты с десятилетним сроком стали тяготить его уже через семьдесят лет. Это было вполне естественно, ибо в течение этих семидесяти лет архонты избирались семь раз, и, стало быть, ему столько же раз напоминали о его верховенстве. Поэтому дух свободы во второй период должен был проявляться гораздо сильнее, развиваться гораздо стремительнее, чем в первый.

Седьмой из этих архонтов с десятилетним сроком правления был последним архонтом этого рода. Народ пожелал осуществлять свою верховную власть ежегодно; он познал на опыте, что власть, отправляемая в течение десяти лет, достаточно продолжительна, чтобы возник соблазн злоупотребить ею. Поэтому власть архонтов отныне была ограничена одним годом, по истечении которого должны были происходить новые выборы. Но народ пошел дальше. И поскольку единовластие, хотя бы и *кратковременное*, уж очень приближается к монархии, он упразднил его, поделив власть между девятью совместно правившими архонтами.

Трое из этих архонтов имели известные преимущества по сравнению с шестью остальными. Первый архонт, именуемый *эпонимом*, председательствовал в собрании: его имя стояло под всеми официальными актами, этим же именем обозначали год. Второй, именуемый *басилевсом*, или царем, должен был наблюдать за поддержанием благочестия и заботиться об общественных молебствиях — эти обязанности были унаследованы им от древнейших времен, когда наблюдение за общественными молебствиями было существенной частью царской прерогативы. Третий, называемый *полемархом*, был верховным военачальником во время войны. Остальные шестеро назывались *фесмофетами*, ибо им поручалось следить за нерушимостью конституции, блюсти законы и истолковывать их.

Архонтов выбирали из наиболее знатных родов; лишь много позднее эта должность стала доступной

и для выходцев из народа. По этой причине государственное устройство Афин было гораздо ближе к *аристократической* форме правления, чем к подлинному народоправству, и последнее от этих реформ почти ничего не выиграло.

Решение избирать ежегодно по девять архонтов имело наряду с положительной стороной — устранением возможности злоупотреблять верховною властью — весьма дурную: оно открывало простор для борьбы партий. Вскоре в государстве оказалось немало граждан, которые в свое время были облечены высшею властью и затем лишились ее. Сложив с себя звание, они не так-то легко могли забыть его преимущества, забыть об уже изведанных ими радостях власти. Они жаждали снова стать тем, чем были, создавали себе приверженцев, разжигали в республике междоусобицы. К тому же увеличение числа архонтов и более частая смена их пробуждали в каждом знатном и богатом гражданине Афин надежду удостоиться этого звания — надежду, которая прежде, когда звание архонта давалось лишь *одному* и на более длительный срок, была ведома только немногим. Эта надежда превращалась в конце концов в нетерпение, а оно побуждало их к опасным посягательствам. Таким образом, и те, кому уже довелось быть архонтами, и те, что еще только мечтали стать ими, были в равной мере опасны для гражданского спокойствия.

Но самым большим злом было то, что верховная власть — и потому, что она была поделена между несколькими архонтами, и вследствие своей кратковременности — стала слабой, как никогда. Недоставало твердой руки, которая могла бы сдержать борьбу партий и обуздать наиболее беспокойные умы. Могущественные, смелые граждане ввергали государство в бесконечную смуту и стремились добыть себе независимость.

Решив, наконец, положить предел неурядицам, обратили взор на некоего безупречного афинского гражданина, перед которым все трепетали, и поручили ему улучшить законы, представлявшие собою до той поры лишь весьма неполный набор освященных преданием правил. Этого всем внушавшего страх гражданина

звали Драконтом. То был человек, лишенный человеческих чувств, не веривший в человеческую природу и не ждавший от нее ничего хорошего, каждый поступок видевший лишь в тусклом зеркале своей мрачной души, беспощадный к людским слабостям; он был плохой философ и еще худший знаток человека, непоколебимый в своих предубеждениях, с холодным сердцем, с ограниченным кругозором. Такой человек мог бы отлично *выполнять* законы; но назначить его, чтобы *давать* их другим,— худшего выбора нельзя было сделать.

От законов Драконта до нас дошло лишь немного; но и это немного рисует нам и самого человека и дух изданных им законов. Все преступления, без всякого различия, он карал смертной казнью: праздность так же, как смертоубийство; кражу кочана капусты или овцы так же, как государственную измену или поджог. Когда его спрашивали, почему незначительные проступки он карает столь же беспощадно, как тяжчайшие преступления, его ответ неизменно гласил: «Самые ничтожные преступления — и те заслуживают смертной казни; но и для больших я не знаю иной кары, как смерть,— вот почему я вынужден назначать ее и за те и за другие».

Законы Драконта являются попыткой новичка в искусстве править людьми. *Устрашение* — вот единственное орудие, которым он действует. Он карает уже совершенное зло, но не пытается помешать ему совершиться; его ни в коей мере не тревожит забота о том, чтобы уничтожить самые источники зла и улучшить людей. Вычеркнуть человека из списка живых за то, что он совершил нечто дурное,— совершенно то же, что срубить дерево, потому что один из его плодов оказался гнилым.

Законы Драконта вдвойне подлежат порицанию — не только потому, что они противоречат священным чувствам и правам человека, но и потому также, что не учитывают особенностей народа, которому он их дал. Если был на свете народ, неспособный процветать при такого рода законах,— это был именно народ Афин. Рабы фараонов или царя царей, быть может,

в конце концов и свыклись бы с ними, но разве могли афиняне покориться подобному ярму!

И действительно, эти законы имели силу едва на протяжении полувека, хотя законодатель и дал им хвастливое название *непреложных* законов.

Итак, Драконт очень плохо справился с возложенным на него поручением, и его законы вместо пользы принесли только *вред*. Поскольку следовать им было немыслимо, а других законов, которые могли бы их заменить, под рукой не было,— все обстояло так, как если бы Афины не имели никаких законов, и следствием этого явилась плачевнейшая анархия.

Положение афинского народа в то время заслуживает всяческого сочувствия. Один класс населения владел всем, другой, напротив,— ничем; богатые угнетали и немилосерднейшим образом грабили бедных. Между первыми и вторыми встала глухая стена. Нужда гнала бедняков искать защиты у *богачей* — у тех, кто, как пиявки, высасывал у них кровь, но помощь, которую им оказывали богачи, была жестокой помощью. За деньги, которыми они их ссужали, беднякам приходилось платить чудовищные проценты, и если платеж оказывался просроченным, земля переходила в собственность займодавцев. Когда у должников ничего не оставалось, а жить как-никак нужно было, нищета заставляла их продавать в рабство своих детей, а когда, наконец, и эта возможность оказывалась исчерпанной, они отдавали в залог себя самих и вынуждены были терпеть, чтобы кредиторы продавали их как рабов. Против этой позорной торговли людьми в Аттике не было издано никакого закона, и ничто не сдерживало гнусной алчности богачей. Положение Афин было ужасно, и чтобы не дать государству погибнуть, нужно было насильственным способом восстановить резко нарушенное равновесие в распределении имущества.

В народе возникли три партии, поставившие себе целью разрешить эту задачу. Первая, в состав которой по преимуществу входили бедные граждане, требовала установления *демократии* и равного раздела всей земли, проведенного в Спарте Ликургом; вторая,



состоявшая из богачей, отстаивала *аристократический* строй.

Третья стремилась сблизить между собою обе формы государственного устройства и выступала против обеих названных партий, дабы ни та, ни другая не могла добиться своего.

Не было ни малейшей надежды уладить этот спор миром, разве что нашелся бы такой человек, которому подчинились бы все три партии и которого все они признали бы третейским судьей.

Такой человек, к счастью, был найден: его заслуги перед республикой, его уравновешенный и кроткий характер, наконец слава о его исключительной мудрости уже давно привлекали к нему взоры народа. Этот человек был *Солон*, происходивший, подобно *Ликургу*, из царского рода, поскольку среди своих предков он числил *Кодра*. Отец *Солона*, некогда очень богатый, основательно расстроил свое состояние, щедро помогая нуждающимся, и молодому *Солону* пришлось сначала заняться торговлей. Путешествия, неизбежные при его роде деятельности, расширили его умственный кругозор, ознакомление с нравами чужих стран способствовало развитию его дарований. С ранних лет начал он пробовать свои силы в поэзии; и навыки, приобретенные им в этом искусстве, пригодились ему в дальнейшем, чтобы облечь в этот приятный наряд политические правила и моральные истины. Его сердце было открыто для радости и любви; увлечения молодости сделали его более снисходительным к людям и наложили на его законы отпечаток мягкости и умеренности, столь прекрасно отличающий их от законов и *Драконта* и *Ликурга*. К тому же он был храбрым военачальником, овладел для республики островом *Саламином*, оказал ей еще и другие значительные услуги на полях сражений. В те времена между философией и деятельностью на государственном и военном поприще не существовало такого разрыва, как ныне; мудрец был и лучшим государственным мужем, и самым опытным полководцем, и наиболее храбрым воином. Чем бы он ни занимался как гражданин, его мудрость сопутствовала ему. Слава *Солона* разнеслась по всей

Греции, и он оказывал весьма значительное влияние на общее положение дел в Пелопоннесе.

Солон был человеком в равной мере приемлемым для всех существовавших в Афинах партий. Богатые возлагали на него большие надежды, потому что у него самого было состояние. Бедные доверяли ему, потому что он слыл человеком высокой честности. Рассудительные люди между афинянами хотели бы видеть его своим *государем*, ибо монархия казалась им наиболее верным средством пресечь борьбу партий; его родственники хотели того же, но из своекорыстных соображений, ибо надеялись разделить с ним власть. Солон отвергнул этот совет. *«Монархия, — сказал он, — прекрасное обиталище, но оно не имеет выхода».*

Он ограничился тем, что позволил назначить себя архонтом, а также законодателем, причем эти высокие должности он принял весьма неохотно, исключительно ради блага своих сограждан.

Начал он с того, что обнародовал знаменитый указ, получивший название *сисакфии*, или снятия бремени. Этим указом все должники освобождались от долговых обязательств; кроме того, заимодавцам отныне возбранялось давать ссуды на условиях кабальной зависимости. Это постановление было бесспорно насильственным посягательством на частную собственность, но насущные нужды государства делали такое насилие необходимым. Из двух зол оно представляло собой меньшее, ибо тех, кто был осчастливлен им, насчитывалось во много раз больше, нежели тех, кто пострадал от него.

При помощи этого благодетельного эдикта Солон раз навсегда сбросил тяжкое бремя, на протяжении многих столетий угнетавшее беднейшие слои населения, но и не вверг в нищету богатых, ибо оставил им в неприкосновенности их владения. Он лишь отнял у них возможность творить несправедливые дела. И, однако, он от бедняков стяжал не большую благодарность, чем от богачей. Бедняки рассчитывали на полный и равный раздел земли между всеми, пример чего был дан Спартою, и поскольку Солон не оправдал этих ожиданий, они открыто выражали свое недовольство. Они забы-

вали при этом, что законодатель обязан быть одинаково *справедливым* как в отношении бедных, так и богатых и что мера Ликурга не заслуживает подражания именно в силу того, что в основу ее положена несправедливость, чего следует всячески избегать.

Неблагодарность народа исторгла у законодателя смиренную жалобу. «Некогда,— сказал он,— со всех сторон доносились до меня одни восхваления, ныне же я встречаю лишь косые, враждебные взгляды». Вскоре, однако, в Аттике сказались благодетельные последствия изданного Солоном указа. Земля, перед тем закабаленная, ныне стала свободной. Теперь афинский гражданин возделывал как свою собственность поле, на котором раньше работал поденщиком своего заимодавца. Многие граждане, проданные в чужие края и уже начавшие забывать родной язык, вернулись в свое отечество свободными людьми.

Возродилось доверие к законодателю. Наделив его неограниченной властью над собственностью и правами граждан, ему поручили коренным образом перестроить государство. Первое, что он предпринял, воспользовавшись данными ему полномочиями, была отмена законов Драконта, за исключением тех из них, которыми карались убийство и прелюбодеяние.

После этого он приступил к великой задаче — дать республике новую конституцию.

Имущество всех афинских граждан подверглось оценке, исходя из которой они были разделены на четыре класса, или разряда.

*Первый* разряд включал тех, кто получал ежегодный доход в количестве пятисот медимнов сыпучих тел или жидкостей.

Во *второй* входили те, кто имел доход в триста медимнов и возможность содержать лошадь.

В *третий* — те, кто имел лишь половину такого дохода; их объединяли по двое, чтобы общий доход обоих был равен тем же тремстам медимнам. Поэтому их называли «парной упряжкой».

В *четвертый* входили все те, кто не имел недвижимого имущества и жил только на свой заработок: ремесленники, поденщики, люди искусства.

Представители трех первых разрядов могли занимать общественные должности; последний разряд не допускался к ним, но в народном собрании его представители пользовались правом голоса так же, как и прочие, и благодаря этому деятельно участвовали в управлении государством. Народному собранию, называвшемуся *эκκλeσιeй*, передавались на рассмотрение и окончательное решение все сколько-нибудь значительные дела: выборы должностных лиц, важные тяжбы, финансовые мероприятия, вопрос о мире и войне. Далее, ввиду некоторой неясности законов Солона, во всех тех случаях, когда у судьи возникали сомнения насчет толкования закона, который он должен был применить, также полагалось обращаться к *эκκлeсии*, в последней инстанции определявшей, как именно следует понимать данный закон. Приговоры любого суда также можно было обжаловать перед народом. Люди моложе тридцати лет в народное собрание не допускались, но, достигнув этого возраста, афинянин уже не мог безнаказанно оставаться в стороне от общественной жизни, ибо ни к чему не относился Солон так нетерпимо и ни с чем так не боролся, как с равнодушием к общественным делам.

Таким образом, государственное устройство Афин стало полностью демократическим; народ сделался всевластным в самом строгом смысле этого слова, и правил он не только через *поставленных им должностных лиц*, но также и *непосредственно, самолично*.

Вскоре, однако, проявились и вредные стороны такого государственного устройства. Слишком быстро стал народ всемогущим, чтобы пользоваться доставшейся ему властью с подобающе умеренностью. Народное собрание становилось ареной бурных страстей, и шум, производимый столь многочисленною толпой, не всегда позволял надлежащим образом обсудить дело и мудро решить его. Для борьбы с этим злом Солон учредил сенат, в который вошло по сто человек от каждого из четырех разрядов. Дела, подлежащие разбору в *эκκлeсии*, сначала обсуждались в сенате. Ни одно дело не могло быть вынесено на суд народа, если оно предварительно не было рассмотрено сенатом,

но окончательное решение принадлежало только народу. После передачи сенатом дела в экклесию, на собрании обычно выступали *ораторы*, стремившиеся склонить народ к тому или иному решению. Ораторы пользовались в Афинах значительным весом; злоупотребляя своим искусством и впечатлительностью афинян, они столько же повредили республике, сколько могли бы принести ей пользы, если бы, оставив своекорыстные замыслы, постоянно имели перед глазами лишь истинные интересы государства. Они пускали в ход все свое красноречие, чтобы представить народу дело в желательном для них свете, и если они владели своим искусством, все сердца были в их власти. При посредстве этих ораторов на народ налагались малоприметные и дозволенные законом оковы. Они властвовали при помощи убеждения, но их власть не становилась менее значительной от того, что кое-что все же оставалось и на долю свободного выбора. За народом сохранялась полная свобода утвердить или отвергнуть, но искусство, с которым ему изображали дело, сводило эту свободу на нет. Это установление было бы превосходным, если бы обязанности оратора всегда оставались в чистых руках людей, преданных делу народа. Однако ораторы вскоре превратились в софистов, пользовавшихся своей славой исключительно для того, чтобы хорошее представлять дурным, а дурное — хорошим.

Посреди Афин находилась обширная, предназначенная для народных собраний площадь; окруженная статуями богов и героев, она звалась *Пританеем*. На этой площади собирался также сенат, и поэтому сенаторов называли *пританами*. От притана требовалась безупречная жизнь. Ни расточитель, ни тот, кто непочтительно относился к родителям, ни тот, кто хотя бы раз в жизни напился допьяна, не могли и помыслить о том, чтобы притязать на это звание.

Впоследствии, когда население Афин увеличилось и вместо четырех установленных Солоном разрядов было создано десять, число пританов возросло с четырехсот до тысячи. Из этой тысячи в работе сената ежегодно принимало участие не более пятисот, да и то

не одновременно. Пятьдесят из них по очереди исполняли свои обязанности пять недель сряду, так что в течение каждой недели было занято всего десять пританов. Этот порядок исключал всякую возможность произвола, ибо на каждого из пританов приходилось столько же свидетелей и наблюдателей его поступков, сколько было членов сената; ведь каждый последующий притан всегда мог без помехи ознакомиться с деятельностью своего предшественника. В течение этих пяти недель созывались четыре народных собрания, не считая внеочередных, благодаря чему ни одно дело не могло оставаться в течение долгого времени нерешенным и задерживать тем самым рассмотрение других дел.

Помимо вновь созданного им сената с его пританами, Солон возвратил также былое значение *ареопагу*, униженному в свое время Драконтом, который считал его слишком человеческим. Сделав ареопаг верховным блюстителем и стражем законов, Солон закрепил, по словам Плутарха, республику на двух этих судилищах, то есть сенате и ареопаге, словно на двух якорях.

Оба этих судебных учреждения были созданы с целью *охранять* государство и его законы от посягательств на них. Десять других судов были заняты отправлением правосудия на основе этих законов. Смертоубийства разбирались четырьмя судебными учреждениями: Палладием, Дельфинием, Фреаттией и Гелиэей. Два первых были основаны еще при царях, и Солон лишь упрочил их положение. Непредумышленные убийства разбирались *Палладием*. Перед *Дельфинием* представляли лишь те, кто считал *совершенное* ими убийство дозволенным. Суду *Фреаттии* подлежали исключительно те, кому вменялось в вину *предумышленное* убийство, совершенное после того, как в наказание за *непредумышленное* убийство им было предписано покинуть пределы страны. В последнем случае обвиняемый находился на корабле, а судьи стояли на берегу. Если они устанавливали его невиновность, он спокойно возвращался к месту своего изгнания, теша себя радостной надеждой, что, быть может, когда-

нибудь сможет вернуться домой. Если, напротив, его признавали виновным, он столь же беспрепятственно возвращался в изгнание, но уже навеки утрачивал родину.

Четвертым уголовным судом была *Гелиэя*, обязанная своим названием *солнцу*, ибо собиралась она обычно сейчас же после восхода солнца и в месте, озаряемом солнцем. Гелиэя была особой комиссией при других важнейших судах; члены ее были одновременно и судьями и должностными лицами. В их обязанности входило не только применять законы и следить за их исполнением, но также вносить в них поправки и определять правильное их толкование. Заседания Гелиэи происходили в торжественной обстановке, и страшная клятва обязывала членов ее служить только истине.

По вынесении смертного приговора и при условии, что осужденный не воспользовался своим правом добровольно уйти в изгнание, его передавали *одиннадцати мужам*; это была комиссия, состоявшая из десяти членов, по одному от каждого разряда; одиннадцатым был палач. Эти одиннадцать человек осуществляли надзор за тюрьмами и приводили в исполнение смертные приговоры. В Афинах применяли три вида казни. Преступника либо низвергали в пропасть или в морскую пучину, либо его обезглавливали мечом, либо давали ему выпить цикуту.

Следующей по тяжести карою была высылка за пределы страны. В счастливых странах это — ужасное наказание; нет, однако, недостатка и в таких странах, высылка из которых отнюдь не представляет собою несчастья. То, что *высылка* была вторым по тяжести наказанием, непосредственно следовавшим за смертною казнью, и то, что в тех случаях, когда она присуждалась навеки, ее приравнивали к казни, свидетельствует о высоко развитом у афинян чувстве национального достоинства. Афинянин, изгнанный из своего отечества, не мог во всем мире обрести другие Афины.

Изгнание, за исключением одного вида его — остракизма, сопровождалось конфискацией всего имущества осужденного. Те граждане, которые своими выдающимися заслугами или благодаря особой удаче дости-

гали исключительного влияния и почета, несовместимого с республиканским равенством, и поэтому становились опасными для гражданской свободы, нередко подвергались изгнанию *прежде, чем они заслужили подобную кару*. Чтобы спасти государство, совершали несправедливость в отношении отдельного гражданина. Идея, лежащая в основе такого обычая, сама по себе похвальна, но средство, которое избрали для ее претворения в жизнь, говорит о незрелости политической мысли. Такой вид изгнания назывался *остракизмом*, потому что голоса за него подавались на *черепках*. Чтобы подвергнуть афинского гражданина подобному наказанию, необходимо было собрать шесть тысяч голосов. Остракизм по самой природе своей в большинстве случаев налагался на *достоинейших* из граждан; таким образом, он означал скорее *почет*, нежели бесчестье, но от этого не становился менее ужасным и менее несправедливым, ибо он отнимал у достоинейших то, что было для них дороже всего, — родину. Четвертым видом наказания за уголовные преступления являлся позорный столб. Вина преступника излагалась в надписи на позорном столбе, и это навлекало бесчестье на него самого и на весь его род.

Для ведения более мелких гражданских дел было учреждено шесть судов, которые не приобрели сколько-нибудь существенного значения, поскольку осужденный мог обжаловать их решение, обратившись к вышестоящим судам или к экклесии. За исключением женщин, детей и рабов, всякий сам выступал по своему делу; при помощи водяных часов определялась продолжительность его речи или речи его противника. По наиболее важным гражданским делам судьи обязаны были выносить приговор в течение суток.

Вот все, что надлежало сказать о политических и гражданских реформах *Солона*; но законодатель ими не ограничился. Преимущество древних законодателей перед новейшими состоит в том, что своими законами они воспитывают тех, ради кого эти законы созданы, то есть людей, что они принимают во внимание нравственность, характер, наконец круг знакомств обвиняемого, никогда не отделяя гражданина от чело-



века, как это делается у нас. Наши законы нередко находятся в вопиющем противоречии с нашими нравами. У древних законы и нравы сочетались более гармонически. От *их* государственных учреждений веет к тому же жизненной теплотой; неизгладимыми чертами запечатлевалось государство в душах граждан.

И все же, воздавая хвалу античности, следует делать это с оглядкой. Позволительно утверждать, что почти во всех случаях *намерения* древних законодателей проникнуты мудростью и достойны всяческой похвалы, но *средства*, которыми они пользовались, все же несовершенны. Эти средства зачастую свидетельствуют о ложных понятиях и об узости представлений. Там, где мы *отстаем*, они *забегали вперед*. Если наши законодатели были неправы, совершенно пренебрегая нравственными обязанностями и сложившимися обычаями, то законодатели Греции в свою очередь впадали в ошибку, принудительно насаждая *нравственные* обязанности силою закона. Первым условием нравственной красоты того или иного поступка является свободная воля; но этой свободной воле приходит конец, как только принимаются внедрять добродетель, карая за нарушение правил нравственности. Благороднейшее преимущество человека — принимать решения за *себя самого* и творить добро ради добра. Никакой гражданский закон не может силою принуждения предписать верность по отношению к другу, великодушие к поверженному врагу, признательность к отцу и матери, ибо, если бы он попытался сделать нечто подобное, свободно возникшее высокое нравственное чувство превратилось бы в порождение страха, в рабское понуждение.

Но вернемся к Солону.

Один из законов Солона велит каждому гражданину рассматривать оскорбление, нанесенное кому бы то ни было, как обиду, нанесенную ему самому, и никоим образом не успокаиваться, покуда обидчик не получит возмездия. Это превосходный закон, если мы будем исходить из того, какова его цель. Цель же его — внушить каждому гражданину чувство живого

участия ко всем остальным и приучить всех и каждого смотреть на себя, как на звено единого целого. Какой приятною неожиданностью было бы для нас оказаться в стране, где всякий прохожий, по собственному почину, защитил бы нас от любого обидчика! Но насколько умалилось бы испытанное нами от этого удовольствие, когда бы нам стало известно, что он *должен* был совершить это благое дело по принуждению.

Другой изданный Солоном закон объявляет *бесчестным* всякого, кто уклоняется от борьбы во время гражданских смут. И этот закон несомненно вызван *наилучшими* побуждениями. Законодатель стремился вложить в душу каждого гражданина живейший интерес к государству. Равнодушие к родине было для него наиболее ненавистной чертою в характере гражданина. Уклонение от борьбы и впрямь может быть следствием подобного равнодушия; но Солон забывал, что оно же нередко бывает вызвано самым пламенным интересом к отчизне; это происходит *тогда*, когда обе стороны не правы, обе влекут ее к гибели.

Другой из установленных Солоном законов запрещает дурно отзываться о мертвых, еще один — злословить насчет живых где-либо в общественном месте — в суде, в храме, в театре. Солон освобождает рожденных вне брака от сыновних обязанностей, ибо отец, по его мнению, уже полностью вознагражден испытанным им чувственным наслаждением; равным образом он освобождал сына от обязанности заботиться о пропитании отца и в тех случаях, когда отец не удосужился обучить его какому-нибудь ремеслу. Он разрешал составлять завещания по *своему усмотрению* и дарить имущество по собственной воле, ибо друзья, которых выбираешь себе по сердцу, стоят, по его словам, большего, нежели те из родственников, с которыми тебя соединяют лишь кровные узы. Он уничтожил обычай давать за невестой *приданое*, ибо хотел, чтобы браки зиждились на любви, а не на корыстном расчете. Еще одна прекраснейшая черта, свидетельствующая о свойственной ему кротости, проявляется в том, что, упоминая неприятные вещи, он старается смягчить слово, которым они именуются. Подати он

называет взносами, гарнизон — городской стражей, тюрьму — горницей, а отмену долгов — облегчением. Роскошь, к которой так влекло афинян, он умерил при помощи мудрых распоряжений; строгие законы охраняли целомудрие женщин, взаимоотношения между полами, святость и нерушимость брака.

Эти законы, согласно его указаниям, должны были сохранять силу не больше ста лет, — настолько же он был дальновиднее Ликурга! Он понимал, что законы — лишь слуги воспитания, что народы, достигнув зрелого возраста, нуждаются в ином руководстве, чем во времена своего детства. Ликург увековечил младенческое состояние духа спартанцев, дабы увековечить свои законы, но созданное им государство исчезло, исчезли и его законы. Солон же, напротив, не обещал своим законам особого долголетия, ограничив его всего ста годами, а между тем многие из них и поныне продолжают жить в римском праве. Время — справедливый судья всех заслуг.

Солона упрекали в том, что он предоставил народу слишком большую власть, и этот упрек не лишен основания. Заботливо избегая одного подводного камня — *олигархии*, он чрезмерно приблизился к другому подводному камню — *анархии*, но не подошел к ней вплотную, а только *приблизился*, так как сенат пританов и судилище ареопага держали народовластие в крепкой узде.

Зла, неотделимого от демократии, непродуманных, подсказанных страстью решений и незатухающей борьбы партий, разумеется, нельзя было избежать и в Афинах. Но это зло следует скорее относить за счет избранной законодателем формы, нежели приписывать его существованию демократии. Солон совершил крупную ошибку, допустив народу выносить решения не через своих *представителей*, а непосредственно; при скоплении огромной толпы это не могло протекать без замешательства и беспорядков, и, поскольку большая часть этой толпы была неимущей, порою также не обходилось и без подкупа. Можно себе представить, сколь бурными были такие собрания; ведь для вынесения приговора об остракизме требовалось самое

малое шесть тысяч голосов. Если же, с другой стороны, принять во внимание, до чего хорошо даже самый заурядный афинянин был знаком с общественными делами, как мощно говорил в нем патриотический дух, как усердно законодатель позаботился о том, чтобы отечество было для гражданина превыше всего, то у нас создается более высокое представление о политическом разумении афинской черни, и мы по крайней мере остережемся делать о ней слишком поспешные выводы на основании знакомства с простым народом нашей страны. Многолюдные собрания всегда влекут за собой некоторое ослабление законности; малочисленным же трудно полностью уберечься от *аристократического деспотизма*. Найти благотворное среднее между тем и другим — задача исключительной трудности, и решить ее предстоит грядущим столетиям. Меня всегда поражает дух, направлявший Солона в его законодательной деятельности, — дух *здорового и подлинного искусства государственного строительства*, никогда не упускавший из виду основного принципа, на котором должны зиждиться все государства, а именно: законы, подлежащие в будущем строгому соблюдению, должны создаваться теми, для кого они предназначены, причем гражданские обязанности надлежит выполнять сознательно и из любви к родине, а не под воздействием рабского страха пред наказанием, слепого и безразличного подчинения воле вышестоящего.

Прекрасной и замечательною чертою Солона было и то, что он глубоко уважал человеческую природу и ради *государства* никогда не жертвовал *человеком*, ради *средства* — *конечною целью*, а, напротив, заставлял государство служить человеку. Его законы были не тягостными узами, и дух афинского гражданина, не стесняемый ими, легко и свободно развивался во всех направлениях, никогда не ощущая, что они ведут его за собой. Другое дело законы Ликурга: это были железные оковы, ранившие непокорных и принижавшие дух человеческий, давя на него всей своей неимоверной тяжестью. Афинский законодатель открыл для усердия и дарований своих сограждан все воз-

можные в его время пути, тогда как спартанский законодатель оставил своим согражданам один-единственный путь, преградив остальные глухою стеной,— тот путь, что ведет к заслугам на политическом поприще. Ликург законами предписывал праздность, Солон сурово карал ее. Вот почему в Афинах проявлялись все добродетели, цвели все ремесла и все искусства, был развит дух предприимчивости; вот почему там люди подвизались во всех отраслях знаний. Разве найдешь в Спарте Сократа, Фукидида, Софокла, Платона? Спарта могла породить лишь властителей да еще воинов, но не художников, не поэтов, не мыслителей и не граждан вселенной. Как Солон, так и Ликург — великие люди, оба они к тому же и честные люди, но сколь различно воздействие, которое они оказали, исходя в своей работе из совершенно противоположных принципов! Афинский законодатель окружен свободой и радостью, трудолюбием и изобилием, вокруг него теснятся все искусства и все добродетели, все музы и грации взирают на него с благодарностью и зовут его отцом и создателем своим! Вокруг Ликурга пустынно, здесь нет ничего, кроме тираний и ее ужасного спутника — рабства, потрясающего цепями и проклинаящего виновника своих бед и несчастий.

Характер народа — точнейший слепок с его законов; поэтому он и наиболее справедливый судья их достоинств и недостатков. *Ограничен* был разум спартанца и бесчувственно было его сердце. Он являл гордость и высокомерие в отношениях со своими союзниками, жестокость с побежденными, бесчеловечность, раболепство перед вышестоящими; в переговорах, которые ему приходилось вести, он был бессовестен и коварен, в решениях — деспотичен, и даже его величю и его добродетелям не хватало той чарующей прелести, которая одна завоевывает сердца. Афинянин, напротив, был кроток и приветлив в обращении, учтив, непринужден в беседе, благожелателен к нижестоящим, гостеприимен и обходителен с чужестранцами. Приверженный к роскоши и щегольству, он, однако, на полях битвы сражался как лев. Одетый в пурпур и умащенный благовониями, он одинаково приводил в

содрогание и полчища Ксеркса и суровых спартанцев. Он ценил радости, доставляемые чревоугодием, и с трудом мог устоять перед соблазнами сладострастия,— однако обжорство и непристойное поведение влекли за собой в Афинах бесчестье. Ни один народ древности не почитал в такой мере благопристойность и щепетильность, как их почитали афиняне; во время войны с Филиппом, царем македонским, афинянам довелось как-то перехватить несколько его писем и среди них одно, предназначенное его супруге; все остальные письма афиняне вскрыли, это они отослали обратно в неприкосновенности. В счастье афинянин был преисполнен великодушия, в несчастье — стоек, и в этом случае он ради отечества, не задумываясь, отваживался на все. В отношениях со своими рабами он был человечен, и слуга, подвергшийся жестокому обращению, мог принести жалобу на своего господина-мучителя. Даже на животных простирал этот народ свое великодушие; по окончании постройки храма Гекатонпедона последовало распоряжение отпустить на волю всех вычуженных животных, работавших на этой постройке, и пожизненно предоставить им, не требуя с них работы, лучшие пастбища. Некоторое время спустя одно из них добровольно явилось туда, где производились работы; оно упорно бежало впереди животных, таскавших на себе тяжести. Это зрелище до того умилило афинян, что они решили содержать отныне эту верную тварь за счет государства в особых условиях.

Однако справедливость обязывает меня не замалчивать ошибки афинян, ибо истории не подобает быть панегириком. Народ, восхищающий нас утонченностью своих нравов, своей кротостью и мудростью, нередко позорил себя постыднейшею неблагодарностью по отношению к величайшим своим мужам, жестокостью к поверженному врагу. Избалованный лестью своих ораторов, гордый своею свободой, кичившийся своими блестящими достоинствами, он зачастую с непереносимой надменностью угнетал своих союзников и соседей и на общественных совещаниях давал себя увлечь духу легкомыслия и своеволия, не раз обрекая этим на неуспех усилия наимудрейших своих государственных

ных деятелей и приводя государство на край гибели. Каждый афинянин в отдельности был податлив и мягкосердечен, но в общественном собрании он становился совершенно другим человеком. Вот почему Аристофан изображает своих сограждан мудрыми старцами дома и глупцами в народных собраниях. Любовь к славе и жажда новизны всецело владели ими и порою доводили их до неистовства; ради славы афинянин готов был пожертвовать своими богатствами, своей жизнью и нередко своей добродетелью. Венок из масличных ветвей, надпись на колонне, вещающая о его заслугах перед согражданами, были для него более действенным поощрением к подвигам, чем для перса — бесчисленные сокровища, которыми обладал его повелитель. Насколько невоздержан был афинский народ в проявлениях неблагодарности, настолько же бурно выражал он и свою благодарность. Привлечь хотя бы на один день внимание такого народа, стать тем, кого после собрания он с триумфом сопровождает домой, было для алкавших славы афинян наслаждением более высоким и вместе с тем более истинным, нежели те, которые мог бы доставить монарх любимейшим своим рабам: ведь гораздо труднее заставить восхищаться собою целый народ, гордый и умеющий чувствовать, нежели заслужить расположение *одного* человека. Афинянин по самой природе своей не мог пребывать в покое; его дух непрерывно гнался за новыми впечатлениями, ему требовались все новые и новые удовольствия. Этой жажде новизны нужно было каждодневно давать пищу, иначе она могла обернуться против самого государства. Вот почему зачастую бывало спасительным новое зрелище, во-время показанное народу: оно нередко предотвращало мятеж, угрожавший общественному порядку; вот почему и узурпатор нередко добивался успеха рядом сменяющих друг друга увеселений, потворствуя этой страсти народа! И вот почему горе достойнейшему из граждан, если он не мог постигнуть искусство что ни день представлять новым и освежать воспоминание о своих деяниях и заслугах!

Закат жизни Солона был не столь безмятежным, как он того заслужил. Чтобы избавиться от назойли-

восте афинян, ежедневно докучавших ему расспросами и предложениями, он, после того как законы его были приняты и вошли в силу, совершил путешествие в Малую Азию, на острова и в Египет, где беседовал с мудрейшими людьми своего времени; он посетил царя Креза в Лидии и побывал при дворе египетского царя в Саисе. Рассказы о его встречах с Фалесом Милетским и с Крезом настолько известны, что задерживаться на них не стоит. Возвратившись в Афины, Солон нашел государство раздираемым на части борьбою трех партий, во главе которых стояли теперь опасные люди — Мегакл и Писистрат. Мегакл стал могущественным и грозным противником благодаря своим огромным богатствам. Писистрат — благодаря выдающемуся уму и талантам. Писистрат, когда-то любимец Солона, Юлий Цезарь Афин, появился однажды перед народным собранием распростертый на колеснице, мертвенно бледный, весь забрызганный кровью, струившейся из раны, которую он сам себе нанес в руку. «Взгляните, — воскликнул он, — как из-за вас разделились со мною враги! Жизнь моя всегда будет в опасности, если вы не примете мер к ее защите». Тотчас друзья Писистрата предложили, по его же наущению, приставить к нему стражу с тем, чтобы телохранители неотступно следовали за ним всякий раз, как он отправится в общественное место. Солон догадался о коварстве этого предложения и горячо, но тщетно возражал против него; оно было принято, к Писистрату приставили телохранителей, и вскоре он, подчинив их своей воле, овладел афинскою крепостью. Теперь с глаз народа спала завеса, но было поздно. Ужас объял Афины; Мегакл с приверженцами бежал из города, уступая его узурпатору.

Солон, единственный, кто не дал себя обмануть, теперь был единственным, кто не утратил мужества; и подобно тому, как прежде он прилагал всяческие усилия, чтобы, пока не поздно, удержать своих сограждан от опрометчивости, так и теперь он стремился во что бы то ни стало поднять их дух. Не найдя, однако, ни с чьей стороны поддержки, он ушел домой и, сложив свое оружие перед входной дверью, воскликнул:



«Я сделал для блага отечества все, что мог!» Он не захотел бежать из Афин и продолжал горячо осуждать безумие граждан и бессовестность тиранов. На вопрос друзей, откуда у него берется смелость противостоять тому, кто всемогущ, он ответил: «*Мой возраст придает мне мужество*». Он умер, так и не увидев отчизну свободною.

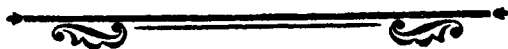
Впрочем, Афины не стали добычей варвара. Писистрат был благороден и чтит законы Солона. В дальнейшем он дважды был свергнут своим соперником и дважды снова овладевал городом, пока, наконец, упрочив свою власть, не стал спокойно управлять государством; его подлинно значительные заслуги и великие добродетели заставили забыть о том, что он узурпатор. Покуда он стоял у власти, никто не чувствовал, что Афины потеряли свободу, настолько мягким и чуждым гнета было его правление; казалось, властитель не он, но законы Солона. Писистрат положил начало золотому веку Афин; при нем занялась пленительная заря греческого искусства. Он умер, оплакиваемый всеми, как любимый отец.

Начатое им дело было продолжено его сыновьями, Гиппархом и Гипшием. Братья правили в полном согласии, в равной мере воодушевляемые любовью к науке. При них расцвело творчество *Симонида* и *Анакреонта* и была основана Академия. Все устремилось навстречу блистательному веку Перикла.





**ОБЗОР ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ  
ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ  
ВО ВРЕМЕНА  
ИМПЕРАТОРА ФРИДРИХА I**







Ожесточенный спор императора с церковью, придававший столь бурный характер правлению Генриха IV и Генриха V, закончился, наконец (в 1122 г.), временным миром, и конкордат, который Генрих V заключил с папой Каликстом II, казалось, устранял возможность новой вспышки. Благодаря последовательной политике Григория VII и его преемников духовный мир насильственно отделился от светского, и отныне церковь образовала в государстве и рядом с государством обособленную, если не враждебную систему. Столь ценное право назначения епископов, которым трон пользовался для награждения верных слуг и приобретения новых признательных друзей, было утрачено императорами даже с чисто внешней стороны, в связи с введением свободных выборов. Ничего не осталось у них от этой бесценной привилегии, кроме права перед рукоположением вручить вновь избранному епископу скипетр в знак пожалования ему, словно светскому вассалу, также и светского сана. К кольцу и посоху, этим священным символам епископского величия, не смела ныне прикасаться грешная, обогрелая кровью рука мирянина. Только в спорных случаях, если соборный капитул не мог достичь единогласия при выборе епископа, за императорами сохранялась еще некоторая доля их прежнего влияния, и разногласия между избирающими не раз давали им повод воспользоваться этим влиянием. Но в дальнейшем властолюбие пап неоднократно восставало и против немногих уцелевших остатков прежнего могу-

щества императоров, и «*слуга слуг господних*» усерднее всего пекся о том, как бы подвергнуть «*владыку мира*» еще большим унижениям.

Во всем христианском мире наиболее опасным для папства установлением был теперь бесспорно римский императорский престол; против него были направлены все грозные орудия, находившиеся в распоряжении растущей папской власти, все козни ее тайной дипломатии. Государственное устройство Германии облегчало папству победу над ее властелином; императорский титул придавал этой победе особенный блеск. Всякий германский князь, который по выбору остальных имперских князей садился на престол Оттонов, тем самым порывал с апостольским престолом. Он мог смотреть на себя как на жертву, на которую перед смертью надевали праздничный убор. Вместе с императорской порфирой ему доставались обязанности, совершенно несовместимые с папскими планами расширения власти, и его императорская честь, его авторитет в государстве зависели от выполнения им этих обязанностей. Императорский сан требовал от него сохранения своего верховенства в Италии и даже в стенах самого Рима, но папа не мог терпеть в Италии другого властелина; итальянцам же иго чужеземца и иго священника в одинаковой мере были ненавистны. Таким образом, у него оставался только сомнительный выбор — либо отречься от некоторых прав императорского престола, либо же, вступив в борьбу с папой, на всю жизнь отказаться от покоя.

Стоит призадуматься над вопросом, почему даже мудрейшие из императоров так настойчиво стремились доказать законность притязаний Германской империи на Италию, хотя на множестве примеров они могли убедиться в том, как невелик был выигрыш в сравнении с огромными жертвами, хотя сами немцы так затрудняли им каждый итальянский поход, а мишурные короны Ломбардии и империи приобретались столь дорогой во всех отношениях ценой. Одним только честолюбием не объяснить эту неизменность их действий: весьма вероятно, что признание в Италии заметно усиливало их авторитет на родине, в Германии, и что в этой под-

держке они прежде всего нуждались в тех случаях, когда восходили на трон только благодаря выборам, не имея наследственных прав на престол. Что же касается до приумножения их казны, то доходы от завоеванного едва могли покрыть расходы на завоевание, и золотой источник иссякал, как только они вкладывали меч в ножны.

Десять князей, которые теперь впервые образуют особый, выделенный из среды имперских князей совет и пользуются преимущественным правом выбора, собираются после кончины Генриха V в Майнце, чтобы дать стране императора. Три государя, в ту пору самые могущественные в Германии, имеют основание притязать на этот сан: герцог Фридрих Швабский, сын сестры покойного императора, маркграф Леопольд Австрийский и Лотарь, герцог Саксонский. Но судьба двух последних императоров напоминала о стольких бедствиях, связанных с императорским титулом, что маркграф Леопольд и герцог Лотарь пали в ноги князьям-избирателям, со слезами на глазах моля избавить их от этого опасного возвеличения. Оставался только герцог Фридрих, но из неких неосторожных слов этого государя заключили, что обоснование своего права на императорский трон он усматривает в родстве с усопшим властителем. Уже три раза подряд переходил имперский скипетр от отца к сыну, и свободе выбора германской короны грозила опасность окончательно затеряться в традиции наследования престола. Но тогда пришел бы конец свободе германских князей: трон, упроченный наследованием, противостоял бы нападениям, посредством которых беспоконный дух феодалов мог с такой легкостью потрясать эфемерные устои трона выборного властителя. Коварная политика пап лишь недавно обратила внимание князей на эту сторону государственного права и с тех пор подстрекала их ко всемерному закреплению привилегии, которая, увековечивая смуту в Германии, тем больше выгод могла принести апостольскому престолу. Если родство было бы хоть в малейшей степени принято в расчет при избрании нового императора, то это могло бы вновь создать опасность для свободы выборов в Германии и вновь привести к злоупотреблениям, от которых

едва успели избавиться. Все эти соображения волновали князей, когда герцог Фридрих на основании своего происхождения стал притязать на императорский трон. Поэтому предприняли решительный шаг, чтобы покончить с наследственностью императорской власти, тем более что архиепископ Майнцкий, руководивший избирательной процедурой, речами о благе империи прикрывал личную месть. Лотаря Саксонского единогласно провозгласили императором, привели насильно и на плечах князей под бурные приветственные клики присутствовавших внесли в зал собрания. Большинство имперских чинов здесь же, на месте, одобрило это избрание; после некоторого сопротивления выразил свое согласие и герцог Генрих Баварский, шурин Фридриха, вместе со своими епископами. Наконец, явился и сам герцог Фридрих, чтобы изъявить покорность новому императору.

Лотарь Саксонский был столь же благоразумным, сколь храбрым и многоопытным государем. Своим поведением при двух последних монархах он стяжал признательность всей Германии. Во многих битвах против Генриха IV защищал он свободу отечества; поэтому не приходилось опасаться, что, став императором, он поддастся искушению превратиться в ее душителя. Для вящей уверенности его заставили скрепить клятвой избирательную капитуляцию, весьма значительно урезывавшую его власть как в духовных, так и в светских делах. Лотарь позволил навязать себе императорский сан, но унизил престол, прежде чем взошел на него.

Однако если этот государь, когда он еще был герцогом, делал все для того, чтобы умалить авторитет императора, то порфира изменила и его помыслы. У него была единственная дочь, наследница его обширных владений в Саксонии; тот, кому он даровал бы ее руку, его будущий зять, стал бы могущественным государем. Взойдя на престол, Лотарь уже не мог править герцогством Саксонским; таким образом у него появилась возможность включить этот значительный лен в приданое своей дочери. Не довольствуясь этим, он выбрал себе зятем герцога Генриха Баварского, и без того уже могущественного князя, объединившего теперь в своей руке оба герцогства — Баварское и Саксонское. Наметив Ген-

риха своим преемником на имперском престоле и в то же время всячески стараясь в соответствии с тщательно продуманным планом принизить швабско-франконский дом — единственный, который еще мог противостоять опасному могуществу этого государя и оспаривать его наследственные права на престол, Лотарь со всей очевидностью обнаружил свое желание расширить *императорскую* власть за счет власти имперских князей.

Герцог Генрих Баварский, ныне муж дочери императора, стал в новых условиях проводить новую государственную политику. Доселе ярый сторонник рода Гогенштауфенов, с которым он состоял в свойстве, он внезапно примыкает к партии императора, замыслившего погубить этот род. Фридрих Швабский и Конрад Франконский, два брата из рода Гогенштауфенов, внуки императора Генриха IV и законные наследники его сына, присвоили себе все потомственные владения франконской (салической) династии, многие из которых были получены в обмен на домены или конфискованы в пользу имперской казны у опальных вассалов. Вскоре после коронации Лотарь обнародовал распоряжение, согласно которому все такие владения присуждались казне. Но братья Гогенштауфены не посчитались с этим распоряжением; тогда Лотарь объявил их нарушителями общественного спокойствия и пошел на них войной. Новая междоусобная распря возгорелась в Германии, едва лишь начавшей приходить в себя после бедствий прошлых войн. Нюрнберг был осажден императором, но осада не имела успеха, так как Гогенштауфены быстро явились на выручку города. Затем они отбили и заняли Шпейер, священную землю, где покоится прах франконских императоров.

Конрад Франконский предпринял еще более смелый шаг. Вняв настойчивым уговорам, он принял титул короля Германии и поспешил с сильной армией в Италию, чтобы перехватить императорский титул у своего соперника, еще не успевшего короноваться там. Город Милан с готовностью отворил ему ворота, и архиепископ Ансельм возложил на него в Монце корону Ломбардии; в Тоскане могущественное дворянство признало его королем. Но благорасположение Милана отвратило от



него все те государства, которые враждовали с этим городом, а так как и папа Гонорий II в конце концов перешел на сторону его противника и отлучил Конрада от церкви, то главная цель всех его действий — императорская корона — ускользнула от него, и ему пришлось покинуть Италию с той же быстротой, с какой он вступил туда. Тем временем Лотарь осадил город Шпейер и, как ни храбро защищались жители, воодушевляемые присутствием герцогини Швабской, овладел им после неудачной попытки Фридриха прийти на выручку. Гогенштауфенам было не по силам бороться против соединенных войск императора и его зятя. Когда же и город Ульм, их главный оплот, был завоеван герцогом Баварским и обращен в пепел, а сам император с большой армией двинулся против них, они решились, наконец, покориться. На имперском сейме в Бамберге Фридрих пал ниц перед императором и получил прощение; подобным же образом получил его и Конрад в Мюльгаузене; обоим было поставлено условие сопровождать императора в Италию.

Свой первый военный поход в эту страну Лотарь совершил уже несколькими годами раньше, когда опасные разногласия в римской церкви потребовали его присутствия. В 1130 году, после смерти Гонория II, в Риме, чтобы предотвратить бури, опасаться которых заставляли раскол и брожение умов, постановлено было препоручить выборы нового папы восьми кардиналам. Пятеро из них, собравшись втайне, избрали владыкой римской церкви кардинала Григория, бывшего монаха, который стал именоваться Иннокентием Вторым. Трое остальных, недовольные этим выбором, возвели на апостольский престол под именем Анаклета (Второго) некоего Пьерлеони, внука крещеного еврея. Оба папы старались создать себе приверженцев. На стороне Анаклета стояло все остальное духовенство римской епархии и дворянство города; кроме того, ему удалось присоединить к своей партии грозных соседей Рима, итальянских норманнов. Иннокентий бежал из города, в котором победил его противник, и вверил свою особу и свое дело благочестию короля Франции. Слова одного-единственного человека, аббата Бернара Клервоского, объявив-

шего дело этого папы правым делом, оказалось достаточно, чтобы снискать ему поддержку и верность этой страны. В землях Людовика ему был оказан блестящий прием, и благотворительность набожных французов принесла ему несметные богатства. Покровительство Бернара, заставившее преклониться перед ним французскую нацию, подчинила Иннокентию также и Англию; столь же легко и германский император Лотарь дал себя убедить, что избранием Иннокентия руководил святой дух. После личной его встречи с императором в Люттихе Лотарь, возглавив небольшую армию, привел Иннокентия обратно в Рим.

В этом городе правил антипапа Анаклет; народ и дворянство были готовы обороняться до конца. Каждый дворец, каждая церковь стали крепостью, каждая улица — полем брани, и все, чем случай наделял слепое ожесточение, — оружием. С мечом в руках приходилось убирать с пути каждое препятствие, и слабое войско Лотаря было не в силах штурмовать город, где оно затерялось, словно в бескрайных просторах океана, где даже дома вооружились против ненавистных пришельцев. По древнему обычаю коронование всегда происходило в соборе св. Петра, а всякий обычай считался в Риме священным; но собор св. Петра, так же как и замок св. Ангела, находился в руках врага, изгнать которого не были в состоянии столь небольшие силы, какими располагал Лотарь. В конце концов после долгих колебаний согласились покориться необходимости и совершить коронование в Латеране.

Читатель не забыл, что императора привели в Италию дела папы, а потому Лотарь не как проситель, а как покровитель настаивал на торжественном обряде, совершить который папа никогда не мог бы без его сильной поддержки. Невзирая на это, Иннокентий в защите своих прав обнаруживал властность, достойную самого Гильдебранда, и в центре возмущившегося Рима, укрываясь за щитом того самого императора, который оборонял его от кровожадной ярости врагов, предписывал этому императору свои законы. Предшественник Лотаря забрал в качестве имперского лена значительные владения, которые маркграфиня Тосканская Матильда заве-

щала римскому престолу, и папа Каликст II, дабы не затруднить вновь примирение с этим императором, при заключении конкордата, положившего конец спору об инвеституре, ни словом не обмолвился об этой тайной ране. Теперь Иннокентий возобновил притязания римского престола на наследство Матильды и, получив от императора отказ, попытался по крайней мере обеспечить выполнение этих дерзновенных планов церкви в будущем. Он подтвердил право императора пользоваться владениями Матильды в качестве лена, заставил его в связи с этим принести римскому престолу вассальную присягу по всем правилам и позаботился о том, чтобы этот акт вассалитета был увековечен живописцем в картине, не очень способствовавшей славе императорского имени в Италии.

Источником, из которого папа черпал этот дух стойкости, была не земля Рима, не вид грандиозных зданий, заставлявших вспоминать о величии римского владычества, не глас предшественников, взывавший к его памяти, не крайне стеснительное присутствие римских прелатов, свидетелей и судей его поведения, нет — и на германской земле он, этот беглец, не отрекался от римского духа. Уже в Люттихе, где он стоял перед императором как смиренный проситель, где он чувствовал себя обязанным этому императору за только что оказанное благодеяние и ожидал от него второго, еще большего, он вынудил его взять обратно скромную просьбу о восстановлении права инвеституры, с которой к нему обратился император, ободренный беспомощным положением папы. Явно нарушив этим договор, которым был установлен мир между Германской империей и церковью, он совершил посвящение Трирского архиепископа еще до того, как император пожаловал этому духовному лицу знаки его светского владычества. В самом сердце Германии, где без поддержки Лотаря он не имел бы и тени власти, он осмелился пренебречь одной из важнейших привилегий этого императора.

Подобные действия дают представление о том духе, который обуревал римскую курию, и о неизбежности тех принципов, которые каждый папа вынужден был соблюдать, не считаясь ни с какими личными отноше-

ниями. Нередко императоры и короли, мудрые государственные деятели и стойкие воины под давлением обстоятельств жертвовали своими правами, изменяли своим принципам и мирились с неизбежностью; с папами этого никогда или почти никогда не случалось. Даже если папа блуждал по свету в горе и нужде, не имея в Италии ни клочка земли и ни единой верной ему души и опираясь только на милосердную помощь иноземцев, даже тогда он ничего не уступал из привилегий своего престола и церкви. Если всякое другое политическое установление в известные времена в какой-то степени страдало и страдает от личных качеств того лица, которому доверено руководство им, то это едва ли когда-нибудь наблюдалось в церкви и у ее главы. Сколь различны были папы римские по своему темпераменту, образу мыслей и способностям, столь единообразной, стойкой и неизменной была их политика. Казалось, что ни их способности, ни темперамент, ни образ мыслей не оказывали никакого влияния на их деятельность; их личность, можно сказать, растворялась в их сане, и страсти угасали под тройной короной. Хотя цепь престолонаследия прерывалась с кончиной папы и каждый раз восстанавливалась с избранием нового владыки, хотя ни на одном престоле в мире не происходили так часто перемены, ни на один престол не вступали так бурно и ни одного так бурно не покидали — именно этот престол был единственным в христианском мире, который, казалось, никогда не менял владельца, ибо умирали лишь папы, но дух, владевший ими, был бессмертен.

Едва только Лотарь успел покинуть пределы Италии, как Иннокентию вновь пришлось уступить поле битвы своим противникам. В сопровождении святого Бернара бежал он в Пизу, где на церковном соборе торжественно проклял антипапу и его приспешников. В частности, эта анафема относилась к Рожеру, королю Сицилии, который решительно встал на сторону Анаклета и своими изумительными успехами в Южной Италии в немалой степени поддерживал мужество этой партии.

История Сицилии и Неаполя и его новых владельцев, норманнов, теснейшим образом связана с историей

этого столетия. Анна Комнин и Оттон Фрейзингенский обратили наше внимание на норманские завоевания; поэтому, в соответствии с целью настоящей работы, необходимо остановиться на источнике этой новой силы в Италии и вкратце проследить ее успешные действия.

Едва только южные и западные земли Европы начали оправляться от тех страшных потрясений, которые придали им новый облик, как в девятом веке европейский север вновь стал устрашать земли юга. С островов и из прибрежных земель, в наши дни подчиненных Датской державе, хлынули эти новые толпы варваров; их называли «северными людьми», норманнами; западный океан ускорял их внезапные страшные набеги и облекал их покровом тайны. Однако, пока властный дух Карла Великого оберегал Франкскую империю, здесь не страшились врага, угрожавшего безопасности ее границ. Сильный флот охранял каждую гавань и устье каждой реки; могучая рука монарха одинаково успешно противоборствовала и арабским корсарам на юге и норманнам на западе. Но эта защитная цепь, опоясывавшая все побережье Франкской империи, порвалась при немощных сыновьях Карла, и тогда притаившийся враг опустошительным потоком ворвался в страну, оставшуюся без защиты. Все население аквитанского побережья стало жертвой хищничества иноземных варваров; они появлялись быстро, точно вырастая из-под земли, и так же быстро необъятное море укрывало их от преследования. Более смелые шайки, которым дотла опустошенные берега уже не могли предоставить никакой добычи, заходили в устья рек и своей знаменовавшей несказанные бедствия высадкой наводили ужас на застигнутые врасплох внутренние провинции. Уводилось все, что могло стать товаром,— был ли то бык в упряжке плуга или сам пахарь; людей толпами угоняли в беспросветное рабство. Богатство внутренних провинций усиливало алчность норманнов, слабое сопротивление усугубляло их дерзость, и короткие передышки, которые они давали жителям, кончались тем, что они возвращались еще более многочисленными, еще более жадными.

В борьбе с этим все усиливавшимся врагом нечего было ждать помощи от трона, который сам шатался и был опозорен рядом беспомощных призрачных королей, недостойных потомков Карла Великого. Вместо железа варварам показывали золото и в погоне за кратковременным роздыхом ставили на карту покой всего королевства в будущем. Анархия феодального духа уничтожала те узы, которые могли объединить нацию в борьбе с общим врагом, а воинская отвага дворянства служила только на погибель тому самому государству, которое она должна была оборонять.

Один из самых предприимчивых главарей варваров, *Роллон*, захватил город Руан и, твердо намереваясь закрепить свои завоевания, превратил его в свой главный оплот. Бессилие и насущная необходимость навели, наконец, Карла Простоватого, в то время правившего Францией, на счастливую мысль привязать к себе этого главара узами благодарности, родства и религии. Он предложил ему руку своей дочери, а в приданое дал ей все побережье, больше всех других земель страдавшее от опустошительных набегов норманнов. Сделкой руководил некий епископ, и от норманна потребовали за это лишь одного — чтобы он принял христианство. Роллон созвал своих корсаров и предоставил им решать этот вопрос совести. Предложение было слишком соблазнительным, чтобы не пожертвовать ради него своими северными суевериями. Всякая религия была равно хороша, только бы она не отучала от воинской отваги. Огромные выгоды возобладали над всеми сомнениями. Роллон крестился, и один из его сподвижников был послан к королю Франции, чтобы в соответствии с ритуалом принесения присяги совершить обряд целования королевской ноги.

Роллон заслуживал того, чтобы стать основателем государства: его законы совершенно преобразили этот разбойничий народ. Корсары бросили весло, чтобы взяться за плуг, и новая отчизна стала им дорога, как только они начали собирать урожай на ее земле. В однообразном, спокойном ритме сельской жизни постепенно заглох мятежный разбойничий дух, а с ним и природная дикость этого народа. Законы Роллана принесли

Нормандии расцвет, и никому иному, как варвару-завоевателю, пришлось учить потомков Карла Великого оказывать сопротивление вассалам и приносить процветание своим народам. С тех пор как сами норманны стали оберегать западное побережье Франции, она перестала страдать от норманских набегов, и позорный шаг, порожденный слабостью, стал благодеянием для страны.

В новом отечестве норманны не утратили своего воинственного духа. Эта провинция Франции стала питомником отважной молодежи; отсюда одновременно отправились две храбрые дружины, которые в противоположных концах европейской земли снискали себе неувядаемую славу и основали сильные государства. Норманские искатели приключений пошли на юго-восток, подчинили себе Южную Италию и остров Сицилию и основали здесь монархию, приводившую в трепет Рим на Тибре и Рим на Босфоре. Британию также завоевал норманский герцог.

Из всех итальянских провинций Апулия, Калабрия и остров Сицилия в течение многих столетий находились в самом плачевном состоянии. Здесь, под счастливейшими небесами Великой Греции, где уже в самые ранние времена расцвела греческая культура, где щедрая природа сама, без принуждения, окружала нежной заботой растения Эллады, на том благословенном острове, где некогда молодые государства Агригент, Гела, Леонтины, Сиракузы, Селинунт и Гимера гордились своей дерзновенной свободой, — здесь в конце первого тысячелетия восседали на своем ужасном троне Анархия и Разрушение. Печальный опыт учит нас, что нигде с такой силой не бушуют страсти и пороки людей, нигде не гнездится больше горя, как в тех чудесных землях, которые природа предназначила для райской обители. Уже в ранние времена покой благословенного острова нарушала страсть иноземцев к разбою и завоеваниям; и так же как животворное тепло этого неба имело злосчастное свойство порождать отвратительнейших тиранов, так и на долю благодетельного моря, которое предназначило этому острову служить центром торговли, выпало лишь одно — нести к его побережью вражеские флоты мамертинцев, карфагенян и арабов.

Целый ряд варварских народов вступил на эту манящую землю. Греки, вытесненные лангобардами и франками из Верхней и Средней Италии, сохранили в этих областях тень власти. Вплоть до самой Апулии распространились лангобарды, и арабские корсары с мечом в руках отвоевали себе там места для поселения. Об их пагубном присутствии свидетельствовало варварское смешение языков и нравов, одежд и обычаев, законов и верований. Одного подданного судили согласно лангобардским законам, его ближайшего соседа — согласно кодексу Юстиниана, третьего — согласно корану. Тот самый паломник, который утром, сытно поевши, выходил из ограды монастыря, к вечеру прибегал к милосердной помощи мусульманина. Преемники святого Петра не преминули протянуть свою благочестивую руку к этой обетованной земле; некоторые германские императоры также притязали на то, чтобы осуществить в этой части Италии права, присвоенные императорской власти, и победоносно проходили по ее городам и весям. Греки заключили с ненавистными им арабами союз против Оттона II, имевший весьма пагубные последствия для этого завоевателя. Калабрия и Апулия вновь подпали под власть греков, но из укрепленных замков, которыми в этих краях еще владели сарацины, время от времени вырывались вооруженные отряды, а другие арабские войска совершали набеги из ближней Сицилии, равным образом грабя и греков и латинян. Пользуясь постоянной анархией, всякий урывал себе то, что мог, и, смотря по тому, что ему было выгоднее, заключал союз то с магометанами, то с греками, то с латинянами. Некоторые города, например Гаэта и Неаполь, имели республиканское самоуправление, многие знатные лангобардские роды в Беневенте, Капуе, Салерно и других районах пользовались подлинным суверенитетом под покровом призрачной зависимости от Римской или Греческой империи. Обилие и разнообразие властителей, частое изменение границ, отдаленность и бессилие греческого императорского двора как нельзя более благоприятствовали безнаказанному неповиновению; национальные противоречия, религиозная ненависть, страсть к разбою, стрем-



ление к расширению владений — все эти побуждения, не будучи сдерживаемы законами, увековечивали на этой земле анархию и разжигали факел вечной войны. Народ не знал сегодня, кому он должен будет подчиниться завтра, и сеятелю было неведомо, кому достанется урожай.

Столь жалким было состояние Южной Италии в девятом, десятом и одиннадцатом столетиях, в то время как покорная арабскому владычеству Сицилия пребывала в более мирной кабале. Дух паломничества, вновь оживший в странах Запада к концу десятого века под влиянием пророчеств о близости Страшного суда, в 983 году привел в Иерусалим также норманских пилигримов, человек пятьдесят — шестьдесят. Возвращаясь на родину, они высадились в Неаполе и появились в Салерно как раз в тот момент, когда арабское войско осаждало этот город и жители пытались посредством выкупа избавиться от врага.

При виде вооруженной борьбы в этих воинственных паломниках, весьма неохотно сменивших панцырь на суму пилигрима, пробудилась доблесть. Смелые удары, обрушенные на головы неверных, казались им не худшей подготовкой к Страшному суду, нежели хождение ко гробу господню. Они предложили осажденным христианам свою тяготившуюся вынужденной праздностью отвагу, и, как легко можно догадаться, неожиданная помощь была охотно принята. Отряд смельчаков, поддержанный небольшим числом салернцев, врывается ночью в лагерь арабов, которые, не ожидая врага, пребывают в надменной беспечности. Неотразимый натиск храбрецов приводит сарацин в смятение. Они спешно бросаются к своим кораблям, оставив лагерь на произвол судьбы. Салерно не только спас свои сокровища, но и обогатился за счет добычи неверных, — таковы были плоды ратных дел шестидесяти норманских паломников. Столь значительная услуга была достойна особой благодарности, и, осыпанная щедротами князя Салернского, победоносная дружина отчалила к родным берегам.

На родине они не умолчали о том, что приключилось с ними в Италии. Восхвалялись прекрасное небо Неа-

поля, благословенная земля, бесконечные междоусобицы в этих краях, дающие войну занятие и почет; были упомянуты и богатства слабых, сулящие храбрецам добычу и награду. Жадным ухом внимала этим рассказам воинственная молодежь, и вскоре Нижняя Италия стала свидетельницей высадки новых дружин норманнов, немногочисленность которых возмещалась их воинской отвагой. Мягкий климат, щедрая земля, богатые трофеи были слишком сильной приманкой для народа, который, усвоив на новой земле новый образ жизни, не мог, однако, так быстро отвыкнуть от корсарских повадок. Свои мощные руки они отдавали любому покупателю; они пришли сюда ради того, чтобы сражаться, и им безразлично было, за чье дело они сражаются. Руками норманнов греческий подданный отбивался от тиранического владычества сатрапов; с помощью норманнов противоборствовали лангобардские князья притязаниям греческого двора; греки же противопоставляли норманнов сарацинам. Как латиняне, так и греки имели основания попеременно страшиться мощи этих чужеземцев и восхвалять их.

В Неаполе воцарился некий герцог, которому отвага норманнов оказала большие услуги в борьбе с властителем Капуи. Чтобы крепче привязать к себе этих полезных пришельцев и всегда быть уверенным в том, что сильная подмога неподалеку, он подарил им земли между Капуей и Неаполем, где в 1029 году они построили город Аверсу, таким образом отвагой, а не насильем приобретя свои первые постоянные владения на итальянской земле — быть может, единственные законные владения, которыми они могли гордиться.

Растет число пришельцев из Нормандии, которым город, подвластный их соотечественникам, гостеприимно открывает свои ворота. Три брата, Вильгельм Железная Рука, Гумфред и Дрогон, покинули отца своего, Танкреда Отвильского, и девятерых братьев, чтобы оружием попытать счастье в новой колонии. Недолго пришлось равным в бой воинам сидеть без дела. Греческий наместник Апулии решает высадиться в Сицилии, и храбрых гостей призывают разделить опасности этого

похода. Они наголову разбивают войско сарацин, предводитель которого падает под ударами Железной Руки. Помощь могущественных норманнов вновь сулит грекам завоевание всего острова, но их неблагодарность к своим защитникам приводит к тому, что греки теряют немногие земли на континенте Италии, еще признававшие их господство. Стремясь отомстить вероломному наместнику, норманны оборачивают против него то самое оружие, которым они еще так недавно сражались за его дело. Греческие владения подвергаются нападению, сотни четыре норманнов захватывают всю Апулию. С присущей варварам честностью делят они неожиданно доставшуюся им добычу. Не обращаясь за разрешением ни к апостольскому престолу, ни к императору Германии или Византии, победоносное войско провозглашает Железную Руку графом Апулийским, и каждый норманнский воин получает в награду город или деревню на завоеванной земле.

Неожиданная удача устремившихся вдаль сыновей Танкреда вскоре возбудила зависть тех из них, кто остался дома. Самый младший, *Роберт Гвискар* (Хитрый), тем временем подрос, и его воображению уже чудилось грядущее величие. С двумя другими братьями отправился он в золотые края, где можно было острием меча подцепить княжество. Германские императоры Генрих II и Генрих III охотно разрешали этому героическому племени проливать свою кровь за дело изгнания самого ненавистного их врага и освобождения Италии. То, что утрачивалось Восточной империей, они считали выигранным Западной, и благосклонным оком взирали они на то, как ограбление греков укрепляло храбрых пришельцев. Но по мере того как умножаются число и удачи норманнов, ширятся их завоевательные планы: покорив греков, они выказывают желание обратить свое оружие против латинян. Чрезмерная предприимчивость соседей тревожит римский двор. Норманны угрожают герцогству Беневентскому, лишь недавно полученному папой Львом IX в дар от императора Генриха III. Для защиты от них папа призывает на помощь могущественного императора, но тот склонен удовольствоваться превращением этих храбрых

воинов, которых он не надеется сокрушить, в вассалов империи, дабы их отвага служила ей оплотом против греков и неверных. Лев IX применяет против них апостольское оружие, всегда имеющееся под рукой. Их предают анафеме, против них проповедуется священная война, и папа считает опасность достаточно грозной, чтобы вместе со своими епископами лично возглавить идущую на них святую рать. Однако норманнов не трогают ни численность этого войска, ни святость его предводителей. Привыкшие к тому, чтобы побеждать еще меньшим числом, они атакуют без всякого страха; немцы разгромлены, итальянцы рассеяны, священная особа самого папы попадает в их нечестивые руки. С глубочайшим благоговением встречают они наместника Петра и неизменно преклоняют колена, приближаясь к нему, но уважение победителей не может сократить его пребывание в плену.

За взятием Апулии вскоре последовало покорение Калабрии и всей области вокруг Капуи. Отказавшись после многих неудачных попыток от замысла изгнать норманнов из их владений, римская курия, наконец, нашла более мудрый выход из положения: было решено извлечь из самого этого зла пользу для величия Рима. В соглашении, заключенном с Робертом Гвискарром в Амальфи, папа Николай II закрепил за победителем обладание Калабрией и Апулией в качестве *папского* лена, снял с него церковное проклятие и на правах сюзерена вручил ему знамя. Если какая-либо держава и могла пожалованием этих княжеств вознаградить норманнов за их отвагу, то уж главе римской церкви неместно было выказывать подобную щедрость. Ведь Роберт отнял эту землю не у того, кто впервые ее заселил; от греческой, или, если угодно, Германской, империи были отторгнуты провинции, которые он завоевал своим мечом. Но преемники Петра испокон века извлекали пользу из смут. Ленная зависимость норманнов от римской курии была наивыгоднейшим делом и для них самих и для нее. Незаконность их завоеваний прикрывалась теперь церковной мантией, а слабая, едва ощутимая зависимость от апостольского престола спасла их от не в пример более тяжкого ига герман-

ких императоров; папа же превратил этих опаснейших недругов в верных столпов своего престола.

В Сицилии власть попрежнему была разделена между сарацинами и греками, но вскоре норманские завоеватели, замыслив расширить свои владения, стали включать этот богатый остров в свои планы. Папа также пожаловал его новым своим вассалам; ведь ему, как известно, ничего не стоило прокладывать через земной шар новые меридианы и раздавать еще неоткрытые земли. Сыновья Танкреда, Гвискар и Рожер, переправились в Сицилию под знаменем, которое освятил первосвященник римский, и в короткое время подчинили себе весь остров. Греки и арабы присягнули на верность норманским властителям, оставив за собой право соблюдать свою религию и свои законы, и вновь завоеванная земля досталась Рожеру и его потомкам. За покорением Сицилии следуют захват Беневента и Салерно и изгнание из Салерно правившей в этом городе княжеской династии, которой, однако, удастся положить конец временному перемирию норманнов с римской церковью и разжечь жестокую распрю между Робертом Гвискаром и папой. Григорий VII, самый деспотичный из всех пап, никак не может ни утратить, ни покорить нескольких норманских дворян, вассалов и соседей своего престола. Они не боятся его проклятия, страшные последствия которого сокрушили доблестного и могущественного императора; но чем более вызывающим становится упорство папы, умножающее число его врагов и обостряющее их ненависть, тем большую цену приобретает для него каждый друг, находящийся невдалеке. Чтобы противоборствовать императорам и королям, он вынужден льстить удачливому авантюристу, воцарившемуся в Апулии. Спасительная сила его вооруженной руки становится вскоре необходимой папе в самом Риме. Осажденный римлянами и немцами в замке св. Ангела, он призывает к себе на помощь герцога Апулийского, под предводительством которого норманские, греческие и арабские вассалы действительно вызывают главу латинского христианства. Преследуемый ненавистью своих современников, чей покой постоянно нарушало его властолюбие, папа Григо-

рий VII отправляется со своими спасителями в Неаполь и умирает в Салерно под защитой сыновей Танкреда Отвильского.

Тот же норманский князь Роберт Гвискар, вселявший такой страх в Италии и Сицилии, был грозой греков, которых он теснил в Далматии и Македонии, которых устрашал даже вблизи столицы их империи. В своем бессилии греки взывали к помощи войск и флота Венецианской республики, чьим замыслам о господстве на Адриатическом море грозили стремительные успехи вновьявленной итальянской державы. В конце концов на острове Кефалония смерть положила предел завоевательным планам Роберта раньше, чем могло это сделать честолюбие. Его обширные владения в Греции, добытые лишь силою меча, унаследовал его сын Боэмунд, князь Тарентский, не уступавший ему храбростью, а честолюбием даже превосходивший его. Это он потрясал трон Комнинов в Греции, искусно пользовался фанатизмом крестоносцев для выполнения хитроумных, подсказанных алчностью планов расширения своих владений, завоевал крупное княжество в Антиохии и, единственный из государей-крестоносцев, был свободен от религиозного безумия. Греческая принцесса Анна Комнин описывает нам отца и сына как бессовестных бандитов, единственной добродетелью которых был их меч, но Роберт и Боэмунд были самыми заклятыми врагами ее дома, а потому ее свидетельства недостаточно, чтобы осудить их. Эта принцесса никак не может простить Роберту, что он, всего-навсего дворянин и баловень счастья, так далеко зашел в своих дерзновенных планах, что решил породниться с императорской династией, правившей в Константинополе. Для истории по сей день остается загадкой, как могло случиться, что сыновья небогатого дворянина одной из областей Франции наудачу отправляются в путь из родных мест, опираясь только на собственный меч, создают из захваченных земель обширное королевство, вооруженной рукой и прозорливым умом противостоят императорам и папам и при этом сохраняют еще достаточно сил, чтобы потрясать троны в других государствах.

Другой сын Роберта, по имени Рожер, унаследовал его владения в Калабрии и Апулии, но род его угас уже через сорок лет после смерти Роберта. Затем норманские земли на континенте Италии перешли в руки потомков его брата, благоденствовавших в Сицилии. Рожер, граф Сицилийский, был не менее храбр, чем Гвискар, но столь же добр и кроток, как тот — жесток и своекорыстен; он прославился тем, что мечом добыл своим потомкам почетнейшую привилегию. В эпоху, когда притязания римских пап грозили полностью поглотить власть светских государей, когда они отобрали у императоров в Германии право инвеституры и насильственно отделили церковь от государства, этот норманский дворянин в Сицилии закрепил за собой право, от которого пришлось отказаться императорам. Граф Рожер принудил римский престол предоставить ему и его преемникам верховную власть в духовных делах Сицилии. Папа оказался в затруднительном положении: дружба с норманнами была ему необходима, чтобы оказывать сопротивление германским императорам. Поэтому он сделал мудрый ход, уступчивостью обязав себе соседа, раздражать которого было слишком опасно. Но чтобы предотвратить включение этого права в число других прерогатив короны и изобразить предоставление его как милость, папа объявил сицилийского графа своим *легатом* или *духовным правителем* острова Сицилии. Преемники Рожера продолжали под именем постоянных легатов римского престола пользоваться этим столь существенным правом, и все последующие правители острова соединяли этот титул с титулом сицилийских монархов.

Рожер II, сын предыдущего монарха, был тем правителем, который присоединил к графству Сицилийскому столь значительные владения, как Апулия и Калабрия, и приобрел благодаря этому могущество, вдохнувшее в него смелость возложить на себя в Палермо королевскую корону. Для этого ему требовались только решимость и власть, достаточная для того, чтобы подавить сопротивление с любой стороны. Но то самое, связанное с государственными соображениями суеверие, под влиянием которого отец и дядя Рожера II старались освятить присвоение чужих земель, именуя его папским даром, побу-

дило их племянника и сына испросить у той же все освящающей руки высшую санкцию па пошение присвоенного титула. Его намерениям благоприятствовал раскол, который произошел в то время в церкви. Рожер привлек на свою сторону папу Анаклета тем, что признал законность его избрания и выразил готовность отстаивать его мечом. За эту великую услугу благодарный первосвященник подтвердил его *королевский* титул и пожаловал ему в лен Капую и Неаполь, последние ленные владения греков на итальянской земле, которые Рожер вознамерился включить в состав своего государства. Но он не мог привлечь на свою сторону одного папу, не превратив другого в своего непримиримого врага. Таким образом, теперь один папа призывает на его голову благословение божие, другой — проклятие; что именно окажется более действенным — зависело, повидимому, от того, сколь остер будет его меч.

Новому королю Сицилии нужно было применить всю силу своего ума и энергии, чтобы противостоять буре, надвигавшейся на него с запада и с востока. Четыре вражеские державы, ни одной из которых, даже взятой в отдельности, нельзя было пренебрегать, объединились, чтобы погубить его. Венецианская республика, уже некогда посылавшая в море свой флот против Роберта Гвискара и помогавшая защищать от этого завоевателя греческие земли, вновь подняла оружие против его племянника, чья устрашающая мощь на море становилась все опаснее для владычества Венеции на Адриатическом море. Отбив у этой торговой державы товаров на крупную сумму, Рожер нанес ей тем самым чувствительный удар. Греческий император Калоян имел все основания мстить ему за потерю стольких владений в Греции и Италии, а также за недавний захват Неаполя и Капуи. Оба двора — константинопольский и венецианский — послали своих гонцов в Мерзебург к императору Лотарю, дабы и в верховном властителе Германской империи пробудить враждебные чувства к ненавистному захватчику их земель. Папа Иннокентий, хотя и слабейший из всех противников Рожера в военном отношении, являлся, однако, одним из самых опасных, ибо его на смелые начинания вдохновляла ненависть и он мог



действовать мощным оружием, находившимся в распоряжении церкви. Императору Лотарю внушили, что существование норманской державы в Нижней Италии и присвоение Рожером титула короля Сицилии несовместимо с верховной юрисдикцией императоров в этих краях и что преемнику Оттонов подобает воспротивиться умалению империи.

Так Лотаря склонили предпринять второй переход через Альпы и пойти войной на короля Сицилии Рожера. Он располагал теперь более многочисленной армией, с ним был цвет германского дворянства, за него стояли храбрые Гогенштауфены. Ломбардские города, издавна привыкшие решать вопрос о своем подчинении в зависимости от силы тех войск, с которыми императоры появлялись в Италии, присягнули на верность его неодолимой мощи, и город Милан без сопротивления открыл ему свои ворота. Он созвал имперский сейм в Ронкальской долине и показал итальянцам, кто является их верховным владыкой. Затем он разделил свое войско, одна половина которого под предводительством герцога Генриха Баварского вторглась в Тосканскую область, а другая под личным командованием императора двинулась вдоль адриатического побережья прямым путем в Апулию. Греческий двор и Венецианская республика дали для этого похода войска и деньги. В то же время город Пиза, уже в ту пору значительная морская держава, послал вслед за этой сухопутной армией небольшой флот, который должен был нападать на вражеские гавани.

Казалось, пришел конец владычеству норманнов в Италии, и не без сожаления следишь за тем, как подвергалось разрушению то здание, над сооружением которого трудилось столько отважных героев и которое так явственно охраняла сама судьба. Славными успехами увенчиваются первые шаги Лотаря. Капуя и Беневент вынуждены сдаться. Апулийские города Трани и Бари завоеваны; Амальфи капитулирует перед пизанцами, Салерно — перед Лотарем. Один за другим рушатся столпы норманского владычества, и новому королю, прогнанному с континента Италии, не остается ничего другого, как искать последнее прибежище в своих наследственных сицилийских владениях.

Но так уж складывалась судьба Танкредова рода, что церковь, вольно или невольно, всегда действовала ему на пользу. Едва только город Салерно был завоеван, папа Иннокентий предъявил на него свои права как на папский лен, и жаркий спор разгорается по этому поводу между папой и императором. Другим поводом для такой же распри являлась Апулия: было достигнуто соглашение, по которому в эту провинцию надлежало назначить герцога, но Иннокентий, усматривая в пожаловании нового правителя леном прерогативу своей верховной власти, оспаривает у императора Лотаря это право. Чтобы положить предел пагубному тридцатидневному спору, император и папа, наконец, находят необычный выход из положения в том, что во время церемонии пожалования этого герцога леном оба они будут вправе одновременно положить руку на знамя, которое вручалось вассалу сеньором при торжественном принесении присяги.

Во время этих раздоров военные действия против Рожера были прекращены или велись очень вяло, и этот бдительный, деятельный государь выиграл время, чтобы собраться с силами. Пизанцы, недовольные папой и немцами, увели обратно свой флот, срок службы немцев кончился, их деньги были растрочены, а пагубные свойства неаполитанского климата начали производить в их лагере обычное опустошительное действие. Нетерпение, которое они выражали все громче, вырвало императора из объятий победы. Покидая Италию, он лишился большинства завоеванных владений быстрее, чем приобрел их. Еще в Болонье Лотарю пришлось услышать страшную весть о том, что город Салерно сдался врагу, что Капуя завоевана и что герцог Неаполитанский сам перешел на сторону норманнов. Только Апулию стойко защищал с помощью оставленного там германского корпуса новый герцог, и потеря этой провинции была той ценой, которой Рожер оплатил спасение прочих своих земель.

После того как умер ставленник норманнов папа Анаклет и Иннокентий стал единственным властителем церкви, он созвал церковный собор в Латеране, который объявил недействительными все декреты антипапы и вновь отлучил его защитника Рожера от церкви. Кроме

того, Иннокентий, по примеру Льва, лично возглавил поход против сицилийского государя; однако и ему, как и его предшественнику, пришлось заплатить за эту дерзость полным поражением и потерей свободы. Но победитель Рожер искал мира с церковью, который был ему тем более необходим, что Венеция и Константинополь угрожали ему новым наступлением. Из рук плененного им папы он получил титул короля Сицилии, а оба его сына были признаны герцогами Капуи и Апулии. Ему самому, так же как и им, пришлось принести вассальную присягу папе и согласиться на уплату ежегодной дани римской церкви. Но, заключая соглашение, обе стороны обошли молчанием притязания Германской империи на эти провинции, ради которых сам Иннокентий и посылал императора в поход на Рожера. Вот как мало могли рассчитывать римские императоры на честность пап, когда последние не нуждались в их ратной силе! Рожер поцеловал у своего пленника туфлю, снова водворил его в Риме, и между норманнами и апостольским престолом воцарился мир. Что же касается императора Лотаря, то в 1137 году на обратном пути в Германию в убогой крестьянской хижине между реками Лех и Инн он закончил свою многотрудную достославную жизнь.

План этого императора, несомненно, состоял в том, чтобы его зять, герцог Генрих Баварский и Саксонский, унаследовал императорский трон; вероятно, император намеревался еще при жизни принять к тому некоторые меры. Но смерть настигла его прежде, чем он успел сделать хоть один шаг в этом направлении.

Генрих Баварский обращался с германскими князьями надменно и во время итальянского похода вел себя по отношению к ним как повелитель. Теперь, после смерти Лотаря, он столь же мало заботился об их дружеском расположении к себе, чем и вызвал у князей нежелание остановить на нем свой выбор. Совсем иначе вел себя *Конрад фон Гогенштауфен*, который, участвуя в итальянском походе, сумел расположить к себе князей, в частности — архиепископа Трирского. Кроме того, князья еще твердо памятовали недавно установленную в Германской империи свободу выборов, и все дело было теперь в том, чтобы при выборах императора избежать

малейшего намека на право наследования престола. Родственные связи Генриха с Лотарем были, таким образом, лишним основанием, чтобы обойти его при выборах. Ко всему этому добавлялся также страх перед его превосходящими силами, которые в соединении с императорским титулом могли погубить свободу Германской империи.

Таким образом, теперь во всей государственной системе внезапно изменилось соотношение сил германских княжеских родов. Возвысившийся при прежнем государе род Вельфов, к которому принадлежал Генрих Баварский, вновь был принижен, а дом Гогенштауфенов, обиженный прежним государем, вновь одерживал верх. Как раз к этому времени умер архиепископ Майнцкий, и выборы нового архиепископа обязательно должны были предшествовать выборам императора, ибо в них главную роль всегда играл архиепископ. Но все опасались, что многочисленная свита из саксонских и баварских епископов и светских вассалов, с которыми Генрих должен был явиться в день выборов, может дать ему большинство голосов, и поэтому поспешили (хоть и в нарушение правил) завершить избрание императора до прибытия Генриха. Выборы были проведены в Кобленце (в 1137 г.) под руководством архиепископа Трирского, который с особой благосклонностью относился к дому Гогенштауфенов; герцог Конрад был избран и сразу же в Аахене увенчан короной. Столь изменчивой оказалась судьба, что Конрад, которого папа при прежнем государе отлучал от церкви, теперь был предпочтен зятю того самого Лотаря, который так много сделал для римского престола. И хотя Генрих и все те князья, которые не были привлечены к выборам императора, громко роптали на эти незаконные действия — всеобщий страх перед чрезмерным усилением дома Вельфов и то обстоятельство, что папа высказался за Конрада, заставили недовольных замолчать. Генрих Баварский, в руках которого были королевские регалии, вернул их после некоторого сопротивления.

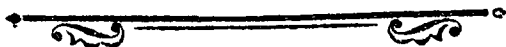
Конрад понимал, что ему нельзя остановиться на этом. Власть дома Вельфов настолько усилилась, что существование такого могущественного врага могло

иметь для спокойствия государства столь же опасные последствия, какие имело бы для свободы имперских чинов возведение представителя этого дома на императорский престол. Ни один император не мог спокойно править рядом с вассалом, обладающим такой мощью, и империи грозила междоусобная война, которая разорвала бы ее на части. Итак, необходимо было вновь ослабить этот дом, и задуманный план Конрад III выполнял со всей настойчивостью. Он пригласил герцога Генриха в Аугсбург, где ему предстояло оправдаться в тех обвинениях, которые ему предъявляла империя. Генрих не рискнул явиться, и на сейме в Вюрцбурге император после бесплодных переговоров объявил его в имперской опале; на другом сейме в Госларе у него были отняты права на оба его герцогства: Саксонию и Баварию.

Скорый суд сопровождался столь же энергичными действиями. Баварию передали соседу Генриха, маркграфу Австрийскому, Саксонию получил маркграф Бранденбургский, Альбрехт, по прозванию Медведь. Баварию герцог Генрих отдал без сопротивления, но Саксонию он надеялся спасти. Воинственное, преданное ему саксонское дворянство было готово сражаться за его дело, и ни Альбрехту Бранденбургскому, ни самому императору, поднявшему против него оружие, не удалось отнять у него это герцогство. Он собирался уже отвоевать и Баварию, но смерть положила конец его деятельности, и факел междоусобной войны в Германии погас. Баварию получил после этого брат и преемник маркграфа Леопольда Австрийского, Генрих, который решил упрочить свои права на это герцогство браком со вдовой покойного герцога, дочерью Лотаря. Сыну покойного, который впоследствии стяжал такую известность под именем *Генриха Льва*, было возвращено герцогство Саксонское, а он взамен отказался от притязаний на Баварию. Этими мерами Конрад достиг того, что на некоторое время улеглись бури, так долго нарушавшие и грозившие еще сильнее нарушить покой Германии, а затем безрассудным походом в Иерусалим он заплатил роковую дань немощному духу своего века.



**О ВЕЛИКОМ  
ПЕРЕСЕЛЕНИИ НАРОДОВ,  
О КРЕСТОВЫХ ПОХОДАХ  
И О СРЕДНИХ ВЕКАХ**







Новая система общественного устройства, рожденная на севере Европы и Азии и установленная новыми народами на развалинах Западной империи, теперь уже имеет почти семивековую давность — срок достаточно длительный, чтобы испытать себя на этой новой, более обширной арене и в новых соотношениях, развиться во всех своих видах и разновидностях и пройти через все свои различные формы и изменения. Потомки вандалов, севов, аланов, готов, герулов, лангобардов, франков, бургундов и многих других народов прижились, наконец, на земле, которую их предки захватили вооруженною рукой; но дух странствий и разбоя, приведший их в это новое отечество, опять пробудился в них на исходе одиннадцатого века, в иной форме и по иным причинам. Европа теперь с лихвой отплатила юго-западной Азии за те нашествия и опустошения, которые она претерпела семьсот лет назад, когда в нее вторглись орды с севера той же Азии. Однако Европе посчастливилось значительно менее: если варвары, ценою потоков крови, сумели создать в Европе вековые государства, то теперь их христианским потомкам пришлось пролить столько же крови, чтобы завоевать в Сирии всего лишь несколько городов и замков, которые двести лет спустя им суждено было потерять вновь — и навсегда.

Безумие и ярость, породившие замысел крестовых походов, и насилия, сопровождавшие его осуществление, не могут быть заманчивыми для взора, привыкшего ограничиваться современностью. Но если мы



будем рассматривать это событие в связи как с предшествующими ему, так и с последующими веками, то его возникновение покажется нам настолько естественным, что не возбудит в нас удивления, и настолько благодетельным по своим последствиям, что наше неодобрение превратится в совсем иное чувство. Если вникнуть в причины этого похода христиан в Святую землю, то он представится столь необходимым и даже неизбежным порождением своего века, что человек, совершенно неосведомленный, сам должен был бы напасть на ту же мысль, если только ему подробно изложить исторические предпосылки этого явления. Если же вникнуть в следствия, то в этих походах можно усмотреть первый значительный шаг, посредством которого суеверие само начало исправлять зло, веками причинявшееся им роду человеческому, и, быть может, нет другой исторической проблемы, которую время разрешило бы столь исчерпывающе и в отношении коей гений, прядущий нить мировой истории, мог бы так убедительно оправдать себя перед человеческим разумом.

Мы видим, как человечество из неестественного и обессиливающего покоя, в который древний Рим погрузил все подпавшие под его власть народы, из расслабляющего рабства, при помощи которого он задушил самые деятельные силы бесчисленного множества людей, вступает в незаконную, бурную свободу средних веков и, наконец, обретя после долгих блужданий отдых в счастливом равновесии между двумя крайностями, благотворно сочетает свободу с порядком, покой — с деятельностью, многообразие — с согласием.

Едва ли можно даже ставить вопрос о том, следует ли считать успехом, по сравнению с самой блистательной порой, в каком когда-либо находилось человечество, то счастливое состояние, которым мы наслаждаемся или приближение коего по крайней мере безошибочно распознаем; стали ли мы действительно совершеннее по сравнению с самыми лучшими временами Рима и Греции. Самое большее, что могли производить Греция и Рим, это — превосходных римлян, превосходных греков, однако даже в самую блистательную свою эпоху нация никогда не возвышалась до

создания превосходных людей. Варварской пустыней представлялся афинянину весь мир, кроме Греции, и нам известно, что, размышляя о своем счастье, он очень высоко ставил превосходство своей страны. Римляне своею же рукой были наказаны за то, что на всей великой территории своего владычества не оставили ничего, кроме римских граждан и римских рабов. Ни одно из наших современных государств не может даровать право римского гражданства; но зато мы обладаем таким благом, о котором ни один римлянин, если он хотел им оставаться, не смел и помышлять. А мы приемлем его из такой руки, которая ни у кого не отнимает того, что дарует другому, и, однажды даровав, никогда не берет обратно,— мы обладаем *свободой человека*, благом, которое — в резком отличии от гражданства римлянина! — растет в цене по мере того, как множится число тех; с кем мы его разделяем, и которое, не завися ни от каких изменчивых форм правления, ни от каких государственных потрясений, покоится на твердой основе разума и справедливости.

Итак, успех очевиден, и весь вопрос в том, не было ли более краткого пути к достижению той же цели? Не могла ли эта благотворная перемена не столь насильственно развиваться из римского государства, и так ли уж необходимо было человечеству пройти через печальный промежуток от четвертого до шестнадцатого столетия?

Разум не выдерживает существования в анархическом мире. Всегда стремясь к согласованности, он предпочитает безуспешно защищать порядок, нежели равнодушно отказаться от него.

Были ли великое переселение народов и последовавшее за ним средневековье необходимой предпосылкой для наших лучших времен?

Азия может дать нам кое-какие разъяснения. Почему не расцвели, следом за походами Александра, какие-нибудь свободные греческие республики? Почему мы видим, как Китай, обреченный на унылое прозябание, стареет в вековечном младенчестве? Потому что Александр в своих завоеваниях был человек, потому что горсточка его греков исчезла среди

миллионов великого царя, потому что орды маньчжуров незаметно затерялись в необъятном Китае. Покорены были только люди; законы и обычаи, религия и государство остались победителями. Для деспотически управляемых стран — спасение только в гибели. Милосердные завоеватели, направляя туда поселенцев, питают хилое тело и могут лишь увековечить его недуг. Для того чтобы зачумленная страна не отравила здорового победителя, для того чтобы немец в Галлии не выродился в римлянина, как грек в Вавилоне выродился в перса, должна была быть разбита форма, которая могла стать опасной для него при свойственном ему духе подражания, и на новой арене, куда он теперь вступал, он должен был во всех отношениях оставаться более сильной стороной.

Разверзается скифская пустыня и извергает на западные страны суровое племя. Кровью отмечен его путь. Города, где оно прошло, обращены в пепел, с равной яростью топчет оно произведения рук человеческих и плоды полей. Чума и голод подбирают то, что забыли уничтожить огонь и меч. Но жизнь гибнет лишь для того, чтобы на ее месте зародилась лучшая жизнь. Не будем вести счет ни трупам, нагроможденным этими полчищами, ни сожженным дотла городам. Более прекрасными воздвигнет их побуждающая к труду Свобода, и лучшее поколение людей будет обитать в них. Все творения красоты и великолепия, роскоши и изощренности гибнут; драгоценные памятники, сооруженные на веки вечные, рушатся, рассыпаются в прах, и буйный произвол хозяйничает в сложном механизме искусного порядка. Но и в этой дикой сумятице трудится рука порядка, и та доля сокровищ былых времен, которой суждено стать достоянием грядущих поколений, незаметно спасается им от разрушительной ярости современников. Мрак запустения расстилается теперь над этим обширным пожарищем; немногие измученные, жалкие жители, которые еще уцелели, не представляют для нового победителя ни враждебной силы, ни соблазна.

Теперь сцена очищена, и новая порода людей занимает ее; тихо и незаметно для нее самой мужала

она веками в северных лесах, дабы стать оздоровляющей колонией для истощенного Запада. Грубы и дики ее законы, ее нравы; но они на свой грубый лад чтут природу человеческую, которую самодержец не чтит в своих изнеженных рабах. Неизменный, словно он все еще на салической почве, и не соблазняемый дарами, которые подносит ему покоренный римлянин, Франк остается верен законам, давшим ему победу. Он слишком горд и мудр, чтобы из рук несчастливцев принимать то, что нужно для счастья. На пепелище римского великолепия раскидывает он свои кочевые шатры, вонзает в завоеванную землю железное копьё, самое ценное свое достояние, водружает его перед судилищами, и даже христианство, если оно хочет привязать дикаря к себе, вынуждено опоясываться грозным мечом.

И вот все чужие руки отстраняются от сына природы. Рушатся мосты между Византией и Марселем, между Александрией и Римом; робкий купец спешит домой; соединявший страны корабль лежит без мачт на берегу. Пустыня вод и гор, мрак диких нравов вплотную подступают к вратам Европы, вся эта часть света отныне заперта.

Начинается длительная, тяжелая и примечательная борьба: грубый германский дух борется с соблазнами нового неба, с новыми страстями, со спокойной силой примера, с наследием повергнутого Рима, который на новой родине все еще расставляет ему тысячи сетей. И горе преемнику какого-нибудь Клодиона, если он на властительском подиуме Траяна возомнит себя Траяном! Тысячи клинков сверкнут, чтобы напомнить ему о скифских дебрях. Бурно сталкивается властолюбие со свободой, упрямство с твердостью, хитрость стремится опутать доблесть, воскресает жестокое право сильного, и веками не остывает дымящаяся сталь. Унылая ночь, помрачающая все умы, нависла над Европой. Лишь изредка взлетают светлые искры, и тьма после них кажется еще ужаснее. Вечный порядок как будто покинул кормило вселенной или же, преследуя какую-то дальнюю цель, отрекся в те времена от людей. Все же, подобно матери, равно пеку-

щейся о всех своих детях, он пока дает изнемогающим приют у подножья алтарей и смирением веры закаляет сердца против мытарств, избавить от которых не может. Нравы он поручает охране одичавшего христианства и позволяет среднему поколению опираться на тот шаткий костыль, который, разломав его, отнимет у более сильного внука. Но в этой долгой войне распалются и государства и жители. Стойко защищается немецкий дух от сковывающего сердца деспотизма, который подавил слишком рано уставшего римлянина; родник свободы бьет животворной струей, неукротенным и сохранным достигает более позднее поколение той прекрасной поры, когда, наконец, благодаря дружным стараниям Счастья и Человека свет мысли соединится с мощью решимости, прозорливость — с героизмом. Когда Рим еще рождал Сципионов и Фабиев, ему не хватало мудрецов, которые указали бы их добродетели достойную цель. Когда же блистали его мудрецы, деспотизм уже задушил свою жертву, и во времена всеобщей расслабленности их появление не возымело благотворного действия. Также и греческая добродетель не сохранилась до светлых времен Перикла и Александра, а когда Гарун учил мыслить своих арабов, жар их сердец уже остыл. Новую Европу бдительно охранял более счастливый гений. Долгие вооруженные распри средних веков дали шестнадцатому веку здоровое, сильное поколение и воспитали могучих бойцов, которые сражаются во имя разума, подъявшего теперь свой стяг.

В каком другом краю Ум воспламенял сердца, а Истина \* вооружала руку храбрых? Где еще люди переживали такое чудо, что умозаключения спокойного исследователя превращались в боевой клич смертоубийственных сражений, что голос себялюбия умолкал перед более могучей властью убеждения, что человек, наконец, стал жертвовать самым дорогим ради

\* Или то, что за нее принимали. Едва ли нужно говорить о том, что здесь речь идет не о добытом материальном благе, а о приложенном усилии; об усердии, а не о вещественном результате. Чем бы ни было то, за что боролись, — всегда это была борьба за разум; ибо лишь путем разума познали право на нее, и только за это право в сущности боролись.

самого благородного! Наидоблестнейшие подвиги греческой и римской добродетели никогда не возносились выше гражданского долга — никогда или лишь один-единственный раз, в деянии мудреца, одно имя которого уже является тягчайшим упреком его веку; наивысшую жертву, какую нация приносила в свое самое героическое время, она приносила отечеству. Только на исходе средних веков можно увидеть в Европе энтузиазм, даже отечеством жертвующий высшему кумиру — разуму. Но почему же только здесь, да и то лишь один-единственный раз, возникает такое явление? Потому что только в Европе, и здесь лишь на исходе средних веков, энергия воли соединилась со светом разума. Только здесь поколение, еще не утратившее мужества, было отдано в руки мудрости.

На всем протяжении истории мы можем наблюдать, что развитие государств не идет в ногу с развитием умов. Государства — однолетние растения, отцветающие за одно короткое лето и от полноты соков быстро загнивающие; просвещение — растение медлительное, для созревания нуждающееся в благодатном небе, тщательном уходе и длинном ряде весен. Почему же такая разница? Потому что государства вверены страсти, которая находит горючий трут в каждой человеческой груди, просвещение же — разуму, который развивается лишь благодаря посторонней помощи и благодаря тем плодотворным открытиям, которые медленно накаплиются временем и случайностями. Как часто одно растение цветет и увядает, прежде чем другое успеваеет хоть сколько-нибудь созреть? Как трудно поэтому государствам дожидаться такого просветления, чтобы запоздалый разум еще нашел раннюю свободу! Только один раз за всю мировую историю провидение поставило перед собой эту проблему, и мы видели, как оно ее разрешило. Продолжительной войной средних веков оно поддерживало искру политической жизни в Европе, пока, наконец, не был накоплен материал, чтобы приступить к развитию *нравственного начала* \*.

\* Свободу и культуру, как ни тесно они связаны друг с другом в своей наивысшей полноте, — только благодаря такой

Только в Европе существуют государства, одновременно просвещенные, нравственно развитые и совсем свободные; в других местах дикость всегда сочетается со свободой и культура — с рабством. Но Европа была единственной и в том, что пробилась сквозь воинственное тысячелетие, и только опустошения в пятом и шестом веках могли породить это воинственное тысячелетие. Не кровь предков, не характер племени избавил наших отцов от ига порабощения, ибо их братья турки и маньчжуры, тоже рожденные свободными, склонили выю перед деспотизмом. Не европейская почва и европейское небо спасли наших отцов от такой судьбы, ибо на той же почве и под тем же небом галлы и бритты, этруски и лузитанцы сносили ярмо римлян. Меч вандалов и гуннов, беспощадно косивший на Западе, и мощные народы, занявшие опустевшую арену и вышедшие из тысячелетней войны непобежденными, — вот создатели счастья, которым мы теперь наслаждаемся; таким образом мы обнаруживаем дух порядка в двух самых страшных явлениях, какие только показывает нам История.

Мне думается, я не должен оправдываться в этом длинном отступлении. Великие эпохи истории пере-

---

связи и достигая этой наивысшей полноты, — все же трудно связать в их становлении. Покой — предпосылка культуры, но ничто так не опасно для свободы, как покой. Все утонченные нации древности купили расцвет своей культуры ценою свободы, получив свой покой от угнетения. Именно потому их культура и стала причиной их гибели, что возникла из гибельного. Для того чтобы новое человечество могло обойтись без этой жертвы, то есть для того чтобы свобода и культура могли в нем сочетаться, оно должно было обрести свой покой совершенно иным путем, нежели путь деспотизма. Но не было иного возможного пути, кроме пути законов, а их человек, еще свободный, может давать себе только сам. Однако на это он решается, только познав и на опыте изведав их пользу или же дурные последствия беззакония. Первое предполагало то, что еще только должно было совершиться и укрепиться; значит, принудить человека могут только дурные последствия беззакония. Но беззаконие имеет очень малую длительность и быстро приводит к произволу власти. Прежде чем разум изыскал бы законы, анархия уже давно окончилась бы деспотизмом. Таким образом, для того чтобы разум успел дать себе законы, беззаконие должно было затянуться, что и произошло в средние века.

плетены между собой так тесно, что одни не могут быть объяснены без других; и событие крестовых походов — лишь начало решения той загадки, которую задало историку-философу переселение народов.

В тринадцатом веке гений вселенной, творивший во мраке, отдергивает полог и показывает часть своей работы. Мутная целена тумана, тысячу лет заволакивавшая горизонт Европы, редеет в это время, и сквозь нее проглядывает ясное небо. Двойное бедствие духовного единообразия и политического раздора, иерархии и ленной системы, завершенное и исчерпавшее себя на исходе одиннадцатого века, само должно подготовить себе конец в самом чудовищном своем исчадии — безумстве священных войн.

Фанатическое рвение взламывает наглухо запертые врата Запада, и взрослый сын выходит из отчего дома. Изумленно озирается он среди новых народов, радуется у фракийского Босфора своей свободе и мужеству, краснеет в Византии за свой грубый вкус, свое невежество, свою дикость и пугается в Азии своей бедности. О том, что он оттуда взял и принес домой, свидетельствуют анналы летописи Европы; история Востока, если бы у нас была таковая, поведала бы нам о том, что он за это отдал и оставил. Но не кажется ли, что героический дух франков все же вдохнул в умирающую Византию кратковременную жизнь? Неожиданно воспряла она, предводительствуемая Комнинами, и, укрепленная кратким пребыванием немцев, отныне более достойным шагом шествует навстречу смерти.

За крестоносцем идет купец, он сооружает мост; расчетливая торговля укрепляет и увековечивает связь между Закатом и Восходом, наспех возобновленную в пьяном угаре войны. Корабль, плывущий в Левант, вновь приветствует хорошо знакомые ему воды, и его богатый груз побуждает алкающую Европу к труду. Вскоре она сможет обходиться без ненадежной помощи путеводного Арктура и, с твердым руководящим началом в себе, отважится выйти в никем еще не посещаемые моря.

Азиатские вождения европеец приносит с собой на родину, но его леса уже не узнают его, и другие.



стяги реют над его замками. Обеднев в своем отчестве, ради того чтобы блистать на берегах Евфрата, он, наконец, отрекается от боготворимого им идола своей независимости и своей заносчивой власти и предоставляет рабам выкупать золотом их естественные права. Добровольно протягивает он теперь руку для наложения пут, которые его украшают, но смиряют никогда не смирявшегося. По мере того как прикрепленные к пашне рабы становятся людьми, растет величие королей; из моря опустошения выходит отвоеванная у нищеты новая плодородная страна — возникает бюргерство.

Лишь тот, кто был душой всего начинания и все христианство заставлял работать для своего возвеличения, — римский иерарх, — видит свои надежды обманутыми. Гонясь за обманчивым миражем на Востоке, он потерял подлинную корону на Западе. Слабость королей была его силой, анархия и междоусобные войны — тем неистощимым арсеналом, откуда он черпал свои громы. Он и теперь еще мечет их, но ему уже противостоит укрепившееся могущество королей. Никакие отлучения, никакие интердикты, преграждающие доступ в рай, никакое освобождение от священного долга — ничто не разорвет плодотворных связей, соединяющих подданного с его законным повелителем. Бессильный гнев папы римского тщетно враждует с временем, которое воздвигло ему трон; а теперь свергает его! Суеверием порождено было это пугало средневековья, и взрастили его раздоры. Быстро и грозно поднялось оно в одиннадцатом веке, как ни слабы были его корни, — подобного не видела никакая эпоха. Но кто мог бы подумать о враге священной свободы, что он послан свободе в помощь? Когда разгорелась борьба между королями и дворянством, он бросился между неравными бойцами и до тех пор задержал опасное решение, пока в лице *третьего сословия* не вырос еще более сильный боец, чтобы сменить создание минуты. Вскормленный распрями, он теперь чахнет среди порядка; порождение мрака, он тает на свету. Но исчез ли некогда диктатор, поспешивший на помощь изнемогавшему Риму против Помпея? Или

Писистрат, разъединивший партии в Афинах? Рим и Афины из гражданской войны переходят к рабству, новая Европа — к свободе. Почему же Европа была счастливее? Потому что здесь преходящий призрак произвел то, что там было совершено длительной властью; потому что только здесь нашлась рука, достаточно мощная, чтобы воспрепятствовать угнетению; но слишком слабая, чтобы самой осуществлять его.

Как не похоже то, что человек сеет, на жатву, ниспосылаемую ему судьбой! Стремясь приковать Азию к ступеньке своего престола, святой отец обрекает мечу сарацинов миллион своих доблестных сынов, но вместе с ними он лишает свой трон в Европе самых прочных его устоев. О новых правах и о завоевании новых корон мечтает дворянство, но более покорные сердца приносит оно, возвратясь, к ногам своих повелителей. Прощения грехов и радостей рая ищет паломник у гроба господня, и ему одному дается больше, нежели было обещано. В Азии он вновь обретает человечность и привозит из этой части света своим европейским братьям семя свободы — приобретение бесконечно более важное, чем ключи Иерусалима или гвозди от креста господня.

Для того чтобы уяснить себе истоки этого начинания и понять, почему оно оказалось столь благотворным, необходимо в кратком обзоре осветить состояние европейского мира в ту эпоху и указать ту ступень, на которой стоял разум человеческий, когда он позволил себе это странное излишество.

Европейский Запад, хотя и разделенный на множество государств, являет в одиннадцатом веке весьма единообразное зрелище. Он был целиком захвачен народами, во времена своего поселения стоявшими приблизительно на одной ступени общественного развития, имевшими в общем одни и те же племенные черты и при овладении страной находившимися в одинаковом положении; поэтому существенные различия между пришельцами могли с течением времени обнаружиться лишь в том случае, если бы места, где они расселились, заметно разнились между собой. Однако одинаковая ярость опустошения, которую эти народы

сопровождали свои завоевания, совершенно уравнивала между собой столь различно населенные и столь различно возделанные страны, бывшие ареной этих событий, ибо покорители равно растапывали и истребляли все, что они здесь находили, и почти без остатка уничтожили всякую связь между новым состоянием этих стран и тем, в каком они пребывали раньше. Если сам климат, свойства почвы, соседство, географическое положение и создавали заметную разницу, если сохранившиеся следы *римской* культуры в южных землях, влияние более образованных арабов в юго-западных, постоянное пребывание главы церкви в Италии и частое общение с греками в той же стране не могли остаться без последствий для жителей, то все же воздействие этих обстоятельств было слишком незаметным, слишком медленным и слабым, чтобы вытравить или сильно изменить прочный, общий всем этим народам склад, который они принесли с собой в новые места обитания. Вот почему тот, кто изучает историю, обнаруживает в самых отдаленных уголках Европы — в Сицилии и в Британии, на Дунае и на Эйдере, на Эбро и на Эльбе — в общем, единообразии правления и обычаев, изумляющее его тем более, что оно наблюдается наряду с полной взаимной независимостью этих стран и почти полным отсутствием сношений между ними. Сколько веков не прошло над этими народами, какие великие перемены не могли быть вызваны и действительно были вызваны в их внутреннем состоянии столькими новыми обстоятельствами, новой религией, новыми языками, новыми искусстваами, новыми предметами вожделения, новыми удобствами и наслаждениями жизни, — в целом еще сохранилось государственное устройство, созданное их предками. Как на своей скифской родине, живут они в разных странах Европы в дикой вольности, готовые и к нападению и к защите, словно в большом военном лагере. И на это обширное поле политических действий пересадили они свое варварское государственное право, в христианство внесли свои северные суеверия.

Монархии римского и азиатского образца и республики, подобные греческим, равно исчезли со сцены но-

вых событий. Их место заняли *солдатские аристократии*, монархии без повиновения, республики без прочного существования и даже без свободы, большие государства, раздробленные на сотни мелких, лишённые согласия в своих пределах, без силы и защиты вовне, плохо связанные внутренне и еще хуже — между собой. Мы находим *королей*, противоречивую помесь варварских военачальников и римских императоров, причем один из них носит это звание, но без полноты этой власти; *магнатов*, по действительной силе и притязаниям везде одинаковых, хотя и различно называемых в разных странах; властвующих мирским мечом *священников*; государственное ополчение, которым государство не повелевает и которого оно не оплачивает; наконец *земледельцев*, принадлежащих к земле, которая не принадлежит им; дворянство и духовенство, людей полусвободных и крепостных. Самоуправляющимся городам и свободным горожанам еще предстояло появиться.

Чтобы разъяснить этот изменившийся облик европейских государств, мы должны вернуться к еще более далекому прошлому и проследить их происхождение.

Когда северные народы овладели Германией и Римской империей, эти народы состояли из одних свободных людей, которые по своей доброй воле присоединились к союзу, сплотившемуся для завоевательных целей и при равном участии в трудах и опасностях войны имели равное право на земли, бывшие наградой в этих походах. Отдельные дружины повиновались приказам своего правителя; несколько дружин — военачальнику или князю, возглавлявшему войско. Таким образом, при равной свободе существовали три разряда или звания, и в зависимости от этого звания, а быть может, и от проявленной доблести, назначались и доли при дележе людей, добычи и земель. Каждый свободный получал свою долю, предводитель дружины — большую, а военачальник — самую большую. Но свободны, как и сами их обладатели, были эти блага, и то, что было кому-либо выделено, оставалось за ним навек, при полной независимости. Это была награда за его труды; услуга, дававшая ему право на нее, уже была оказана.

Меч должен был защищать то, что меч завоевал, а защищать добытое каждый в отдельности был так же мало способен, как не мог бы он в одиночку добыть то, что ему досталось. Поэтому военный союз и в мирное время не мог распадаться; предводители отрядов и военачальники оставались ими, а случайное временное объединение орд теперь становилось оседлым народом, который в случае необходимости мог подняться, готовый к бою, как во времена его воинственного вторжения.

Неотделима от всякого земельного владения была обязанность являться в войско, то есть в надлежащем вооружении и со свитой, соразмерной величине земельного надела, присоединяться к общему союзу, защищавшему всю страну; обязанность, скорее приятная и почетная, нежели обременительная, ибо она отвечала воинственным наклонностям этих народов и с ней были сопряжены важные преимущества. Имение и меч, свободный человек и копьё считались неразрывно связанными.

Однако завоеванные земли не были пустыней, когда ими завладели. Как жестоко ни свирепствовал там меч этих варварских завоевателей и их предшественников — вандалов и гуннов, они все же не могли полностью истребить исконных обитателей страны. Таким образом, многие из них стали предметом раздела, учиненного теми, кто завладел имуществом и землями жителей. Им суждено было обрабатывать, на положении крепостных рабов, ту землю, которою они раньше владели как собственники. Такая же участь постигла и многочисленных военнопленных, которых наступавшие полчища захватили в своих походах и потом, обратив в рабство, таскали за собой. Население состояло теперь из свободных и рабов, из собственников и людей, ставших чужой собственностью. Это второе сословие не имело имущества, и, следовательно, ему нечего было защищать. Поэтому оно и не носило меча, а в политических делах не имело голоса. Меч давал дворянство, ибо владение мечом свидетельствовало о свободе и о наличии собственности.

Земли не были разделены поровну потому, что дело решал жребий, и потому, что предводитель отряда

забирал себе бóльшую долю, чем простой воин, а военачальник — бóльшую, нежели все остальные. Таким образом, он имел дохода больше, чем тратил, то есть излишек, и, стало быть, возможность жить в роскоши. Стремления народов-завоевателей сводились к боевой славе. Поэтому и роскошь должна была проявляться на военный лад. Окружать себя отборными воинами и, возглавляя их, внушать страх соседу, было высшей целью, к которой устремлялись честолюбцы тех времен; многочисленная воинская свита была блистательнейшим свидетельством богатства и власти, и притом вернейшим средством увеличить и то и другое. Поэтому наилучшим употреблением, какое можно было найти для избытка земельных владений, было приобретение соратников, которые могли окружить своего вождя блеском, помогать ему защищать свое добро, мстить за нанесенные ему обиды и на войне сражаться бок о бок с ним. Из этих побуждений вождь и князь выделяли некоторую часть своих земель и уступали пользование ими другим, менее состоятельным землевладельцам, которые взамен принимали на себя обязательство оказывать определенные воинские услуги, не имевшие ничего общего с защитой государства и касавшиеся только особы того, кто жаловал земли. Когда он переставал нуждаться в таких услугах или лицо, получившее землю, больше не могло их оказывать, прекращалось и пользование землями, непременным условием которого были эти услуги. Следовательно, распределение земель было условным и временным. Оно опиралось на договоры, заключенные на определенное число лет или же пожизненно, — и тогда их расторгала только смерть. Поместье, отданное таким образом, называлось «благодеением» (*Beneficium*) в отличие от «свободного поместья» (*Allodium*), которым владели не по милости другого, не на особых условиях, не временно, а по праву, на вечные времена, без каких-либо тягот, кроме воинского долга. «*Feudum*» назывались временные владения на латыни тех времен, быть может, потому, что получавший их обязан был верностью (*Fidem*) тому, кто их давал; по-немецки они именовались «*Lehen*» (лен), потому что их давали временно, а не навсегда. Временно отдавать землю мог

всякий, владевший собственностью; отношения между ленным господином и вассалом не могли быть нарушены никакими другими отношениями. Случалось, что и короли брали лены у своих подданных. Полученные на таких началах земли можно было передавать дальше, и вассал одного сюзерена мог в свою очередь стать сюзереном другого. Однако высшая ленная власть первого владельца земли распространялась на весь, сколь угодно длинный, ряд вассалов. Так, например, ни один крепостной крестьянин не мог быть отпущен на свободу своим непосредственным господином без соизволения верховного феодала.

Когда вместе с христианством среди новых европейских народов были введены и христианские церковные установления, — епископы, капитулы соборных церквей и монастыри очень скоро нашли способы обращать себе на пользу суеверия народа и щедрость королей. Церкви богато одаривались, и значительные имения часто раздроблялись для того, чтобы в числе наследников владельца числился святой покровитель какого-либо монастыря. Никто не сомневался в том, что одаривает бога, обогащая его служителей. Но и духовных особ не освобождали от условия, связанного с любым земельным владением: как и все другие, они по первому зову должны были выставлять достаточный отряд, и мирские власти требовали, чтобы первые в иерархии были и первыми на поле. Поскольку все подаренное церквям уступалось им навек и безвозвратно, церковные владения этим отличались от ленов, владений временных, по истечении срока возвращавшихся в руки сюзерена. Но, с другой стороны, они все же приближались к ленам, не переходя, подобно аллодам, от отца к сыну, так как при кончине очередного владельца в свои права вступал государь и, наделяя леном епископа, осуществлял свою верховную власть. Поэтому о церковных владениях можно было бы сказать, что они были аллодами в отношении самих поместий, никогда не возвращаемых, и бенефициями в отношении очередного владельца, которого определяло к тому не рождение, а выбор. Он получал землю путем наделения леном, а пользовался ею как аллодом.

Существовал еще четвертый вид владений, которые даровались как лен и также влекли за собой ленные обязательства. Полководцу, которого теперь как постоянного хозяина земли можно назвать королем, принадлежало право ставить над народом начальников, разрешать споры или назначать судей и поддерживать общий порядок и спокойствие. Это право и эта обязанность после прочного водворения на новых местах остались за ним и в мирное время, так как народ все еще сохранял свое военное устройство. В силу этого он назначал областных правителей, делом которых также было предводительство над войском, выставляемым в поле этой областью; а так как он не мог сам вершить суд и разрешать споры одновременно в разных местах, то ему приходилось «умножаться», то есть действовать в разных округах через уполномоченных, осуществлявших там его именем верховную судебную власть. Так он сажал герцогов в провинции, маркграфов в пограничные области, графов в области, сотников в меньшие округа и т. д.; и эти высокие должности, подобно землям, отдавались в лен. Они так же мало подлежали наследованию, как ленные владения, и, подобно последним, государь мог передать их от одного другому. На таких же основаниях, как эти должности, отдавались в ленном порядке некоторые сборы — пени, пошлины и т. д.

Тем же, чем король в государстве, было высшее духовенство в своих владениях. Владение землей обязывало духовных сановников к воинской и судебной службе, которые плохо совмещались с достоинством и чистотой их призвания. Это вынуждало их передавать такие дела другим, взамен предоставляя им пользование определенными земельными участками, получение судебных пошлин и других сборов, то есть, на языке того времени, отдавая эти доходы в лен. Архиепископ, епископ или аббат были поэтому в своей области тем же, что король в государстве. Такая духовная особа имела своих управителей, или фогтов, своих чиновников и вассалов, свои трибуналы и свою казну. Даже короли не считали ниже своего достоинства становиться ленниками своих епископов и прелатов, которые не преминули



пстолковать это как знак превосходства, подобающего клиру над мирянами. Не удивительно, что позже и папы додумались жаловать того, кого они делали императором, званием своего фогта.

Эти мнимые противоречия разрешаются, если вспомнить о двойственном положении королей как баронов и в то же время глав своих государств.

Герцоги, маркграфы, графы, которых король назначал в провинции в качестве военачальников и судей, нуждались в известной мощи для успешной защиты своих провинций от внешнего врага, для поддержания своего авторитета перед лицом своевольных баронов, для придания веса своим судебным решениям и для того, чтобы в случае строптивости с оружием в руках приводить непокорных к повиновению. Однако одно лишь назначение на высокую должность еще не давало могущества, о нем чиновник короля должен был сам позаботиться. Это обстоятельство преграждало путь к подобным постам всем менее имущим свободным людям и делало их доступными только для наизнатнейших баронов, достаточно богатых аллодами и способных выставить в поле достаточное число вассалов, чтобы держаться своими силами. Это было особенно нужно в тех странах, где существовало могущественное и воинственное дворянство, и необходимо на границах. Это становилось все более необходимым от столетия к столетию; по мере того как падение королевского авторитета приводило к анархии, вспыхивали междоусобные войны и безнаказанность подстрекала к разбою. Поэтому и духовенство, преимущественно подвергавшееся этим разбойным нападениям, выискивало себе фогтов-защитников и вассалов среди могущественных баронов.

Таким образом, высшие вассалы короны одновременно были богатыми баронами или землевладельцами и сами уже имели подчиненных им вассалов, вооруженной рукой которых они могли располагать. Они были одновременно ленниками короны и сюзеренами тех, кому сами жаловали лены. Первое делало их зависимыми, тогда как второе питало в них дух произвола. В своих поместьях они были неограниченными властителями; в пожалованных им ленах у них были связаны

руки. Поместья переходили по наследству от отца к сыну, тогда как лены после смерти отца возвращались в руки сюзерена. Такие противоречивые отношения не могли долго держаться. Могуущественный вассал короны стал проявлять стремление приравнять свой лен к аллоду, распоряжаться там неограниченно, как и здесь, и завещать то владение, как и это, своим потомкам. Вместо того чтобы представлять в герцогстве или графстве короля, он желал представлять самого себя и располагал для этого опасными средствами. Источники, из коих он черпал в своих многочисленных аллодах, воинственная рать, которую он мог набрать из своих вассалов и которая давала ему возможность быть на своем посту полезным королевской власти,— все это превращало его в столь же опасное, сколь и ненадежное орудие этой власти. Если он владел многими аллодами в области, которая была ему дана в лен или в которой он занимал высокую судейскую должность (по этой причине ему главным образом и вверялся лен), то большинство свободных людей, живших в этой области, обычно находилось в зависимости от него. Они либо получали от него землю в качестве лена, либо вообще должны были остерегаться могущественного соседа, способного повредить им. Как судья их раздоров, он тоже часто держал их благополучие в своих руках, а как наместник короля мог угнетать их и расправляться с ними. И если короли частыми объездами земель или выполнением своих полномочий верховных судей и тому подобными действиями не напоминали о себе народу (под этим именем всегда следует понимать способных к ношению оружия свободных людей и мелких землевладельцев) или если им препятствовали в этом какие-либо походы, то знатные владельцы наследственных земель неминуемо должны были представляться свободным людям высшей властью — источником как притеснений, так и благодеяний. А так как вообще во всякой системе многостепенного подчинения ближайший нажим всегда ощущается сильнее всего, то высшее дворянство очень скоро должно было приобрести огромное влияние на низшее, следствием чего был переход в руки высшей знати той доли власти, которая при-

надлежала низшему дворянству. Поэтому, если между королем и вассалом возникала распря, вассал в гораздо большей мере мог рассчитывать на поддержку своих ленников, и это давало ему возможность перечить королю. Поздно, да и слишком опасно, было теперь отнимать у такого вассала или у его наследника лен, который он в случае нужды мог отстоять соединенными силами всей области. Таким образом, монарху приходилось быть довольным, если ставший слишком сильным вассал оставлял ему тень высшей феодальной власти и соизволял принять от него в лен владение, которое уже захватил самовольно. То, что сказано здесь о вассалах короны, относится также к чиновникам и ленникам высшего духовенства. Последнее было в одном положении с королями в том отношении, что сильные бароны шли к нему в ленники.

Так незаметно из пожалованных должностей и отданных в лен земель образовывались наследственные владения, и вассалы, сохранившие лишь видимость этого звания, становились подлинными владетелями. Многие лены и должности стали наследственными из-за того, что причина, побудившая пожаловать лен отцу, сохраняла силу при сыне и при внуке. Если, например, германский король жаловал саксонскому вельможе Саксонское герцогство потому, что тот уже владел в этой области богатыми аллодами и, следовательно, имел наилучшую возможность ее защищать, то это относилось и к сыну этого вельможи, наследовавшему эти аллоды. Повторяясь несколько раз подряд, это явление входило в обычай, который без особого повода и без открытого применения силы уже нельзя было нарушить. Правда, и в более поздние времена не было недостатка в примерах отобрания ленов, но летописцы упоминают о таких случаях явно лишь как об исключениях из правила. Нужно далее упомянуть еще о том, что это изменение рано или поздно последовало в разных странах более или менее повсеместно.

Но после того как лены выродились в наследственные владения, неминуемо должна была наступить значительная перемена в отношениях между сувереном и его дворянством. Пока суверен брал назад ставший вакант-

ным леном, чтобы отдать его вновь по своему произволу, низшее дворянство часто получало напоминания о троне, и связь, соединявшая мелкого дворянина с его непосредственным сюзереном, сплеталась менее прочно, ибо произвол монарха и каждая смерть вновь разрывали ее. Но когда стало обычным делом, что сын наследует от отца и его лен, вассал знал, что, выказывая преданность своему непосредственному господину, работает на свое потомство. Таким образом, по мере того как связь между могущественными вассалами и короной ослабевала, связь между теми же вассалами и их подчиненными становилась все теснее. Дошло до того, что крупные лены были связаны с короной единственно лишь особой вассала, а он иногда очень долго заставлял себя просить, прежде чем оказывал услугу, обязательную для него по его положению.

1792



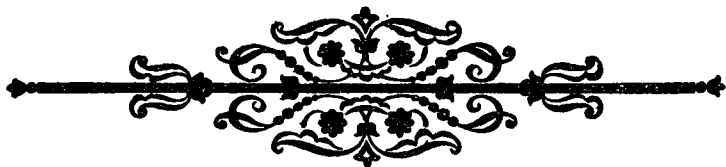




**НЕЧТО О ПЕРВОМ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ  
ПО ДАННЫМ МОИСЕЕВА  
ПЯТИКНИЖИЯ**







## ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА К СВОБОДЕ И ГУМАННОСТИ

На помочах инстинкта, на которых оно и поныне ведет неразумную тварь, ввело человека провидение в жизнь, и так как разум его пребывал еще в зачаточном состоянии, оно стояло у него за спиной, подобно заботливой няньке. Голод и жажда открыли человеку потребность в пище. Всем, в чем он нуждался для удовлетворения этой потребности, провидение в изобилии окружило его и посредством обоняния и вкуса руководило его выбором. Щадя его наготу, оно даровало ему мягкий климат и, оберегая его беззащитную жизнь, установило вокруг него мир, ничем не нарушаемый. Для поддержания рода оно позаботилось вложить в него половое влечение. В том, чем он сходствует с растением и животным, человек был таким образом полностью завершен. Начал понемногу развиваться и его разум. Поскольку природа продолжала печься о человеке, думать и действовать за него, он тем легче и беспрепятственнее мог отдать свои силы спокойному созерцанию, и его разум, еще не отвлекаемый никакою заботой, мог безмятежно заниматься созиданием для себя орудия — языка, а также развлекаться пленительной игрой воображения. Человек созерцал вселенную еще счастливым взглядом. Его радостно настроенная душа бескорыстно и целомудренно воспринимала любое явление; целомудренными и яркими отлагались они в его восприимчивой памяти. Итак, беззаботным и благостным было начало дней человеческих,



да иным оно и быть не могло, дабы человек окрепнул для предстоявшей ему борьбы.

Предположим, что PROVIDЕНИЕ остановило бы его на этой ступени; в таком случае человек стал бы счастливейшим и разумнейшим из животных, но никогда бы не вырвался он из-под опеки естественных влечений и побуждений, никогда бы его действия и поступки не стали свободными и, следовательно, нравственными, никогда не преступил бы он границ, положенных миру животных. В сладостном покое, подобно вечному младенчеству, протекала бы его жизнь, и круг, в котором бы он неизменно вращался, был бы предельно тесен: от желанья к наслаждению, от наслаждения к покою и от покоя — снова к желанью.

Но предназначение человека было иным, и заложенные в нем силы призывали его к совсем иному блаженству. Все, что природа делала за него в его младенческом возрасте, он, достигнув совершеннолетия, вынужден был взять на себя. Он сам должен был стать творцом собственного благополучия, и степень этого благополучия зависела исключительно от него самого, от доли, внесенной им в его созидание. С помощью разума надлежало ему вновь обрести состояние утраченной им теперь невинности и вернуться свободным и разумным туда, откуда он вышел подобным растению, вышел существом, руководимым только инстинктами; из рая неведения и рабства человек должен был, хотя бы много тысячелетий спустя, подняться ценою трудов и размышлений в рай познания и свободы, где ему надлежало подчиняться внутреннему нравственному закону столь же неукоснительно, как он некогда подчинялся инстинкту, и поныне властвующему над растениями и животными. Что же должно было неминуемо случиться? Что не могло не произойти, раз человеку было предопределено двинуться навстречу этой далекой цели? Едва только он впервые испытал силы своего разума, как природа тотчас выпустила его из своих попечительных рук, или, вернее, он сам, увлекасмый еще неведомым ему самому побуждением и не сознавая величия того, что творит, скинул с себя помочи, направлявшие его до этой поры, и, ринув-

пись с неокрепшим еще разумом в самую гущу бурной и стремительной жизни, вступил на опасный путь нравственного освобождения. Если глас божий в эдеме, налагающий запрет на древо познания, мы примем за голос инстинкта, отталкивающий человека от этого древа, то его пресловутая непокорность завету господню явится не чем иным, как отпадением от инстинкта, то есть первым проявлением самостоятельности, первым дерзанием его разума, рождением его бытия в мире нравственных представлений. Это отпадение человека от руководившего им инстинкта, правда принесшее во вселенную нравственное зло, но вместе с тем сделавшее возможным появление нравственного добра, есть, несомненно, величайшее и счастливейшее событие в истории человечества; с него начинается освобождение человека, и здесь был заложен первый краеугольный камень человеческой нравственности. Прав школьный учитель, толкующий это событие как *грехопадение* первозданного человека и там, где это возможно, извлекающий из него полезные моральные поучения; но не менее прав и философ, приветствующий человечество с таким существенным шагом на пути к совершенству. Первый прав, называя это грехопадением, так как человек вследствие этого события из безгрешного создания превратился в греховное, из совершенного питомца природы — в несовершенное нравственное существо, из счастливого орудия — в несчастного творца.

Но прав и философ, сие называющий исполинским шагом вперед, ибо лишь благодаря этому шагу человек превратился из раба естественных побуждений в создание, действующее свободно, из автомата — в нравственное существо; совершив этот шаг, он впервые вступил на лестницу, которая через много тысячелетий приведет его к владычеству над собой. Отныне путь к наслаждению удлинился. Поначалу человеку достаточно было протянуть руку, чтобы удовлетворить зародившееся желание, тогда как теперь удовлетворение желания было обусловлено замыслом, волей к действию и, наконец, усилием. Доброе согласие между животными и человеком окончилось. Нужда гнала животных на поля, возделанные человеком, и побуждала их нападать на него

самого; поэтому он вынужден был при помощи своего разума обеспечить себе безопасность и превосходство сил, в котором ему отказала природа; ему пришлось изобрести для себя оружие и оберегать свой сон, построив неприступное для этих врагов жилье. И вот тут, частично отняв у него животные наслаждения, природа вознаградила его духовными радостями. Возвращенные им растения поразили его своим вкусом, которого он доселе за ними не знал; после томительного дневного труда сон под выстроенным им самим кровом казался более сладостным, чем среди ленивой безмятежности рая. Борьба с разъяренным тигром также радовала его: в ней открывались ему сила собственных мышц и собственная хитрость, и всякий раз, преодолев какую-нибудь опасность, ему за спасение своей жизни приходилось благодарить лишь себя самого.

Теперь он был уже слишком облагорожен для рая, и если порою, под гнетом нужды и забот, он и мечтал вернуться туда, то потому лишь, что еще не познал себя самого. Внутреннее нетерпеливое влечение — пробудившаяся в нем жажда деятельности — преследовало бы его в этом праздном благополучии и отравило бы радости, достигнутые им без приложения труда. Оно превратило бы рай в пустыню, а вслед за тем пустыню — в рай. Не будь у человека необходимости бороться с врагами более страшными, чем неурожай, ярость диких зверей и непогода, — люди были бы счастливы. Однако на человека насадала нужда, в нем заговорили страсти, и вскоре они восстановили его против себе подобных. С таким же человеком, как он сам, пришлось ему вступить в борьбу за собственное существование, борьбу длительную, запятнанную преступлениями, до сих пор не закончившуюся, — но лишь в этой борьбе могли совершенствоваться его разум и его нравственность.

## СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ

Уже первые сыновья, рожденные праматерью человечества, имели перед своими родителями весьма важное преимущество: они воспитывались людьми. Все

успехи, достигнутые родителями самостоятельно и потому в медленном и упорном труде, пошли на пользу их отпрыскам. С самого раннего возраста передавались они детям, как бы играючи, в наставлениях, проникнутых нежной родительскою любовью и лаской. Таким образом, начиная с первого сына, рожденного женщиной, вступает в действие мощное орудие, то орудие, благодаря которому род человеческий сохранил все накопленные им знания и будет сохранять их и впредь, а именно: традиция, или передача понятий.

Здесь повествование Моисея прерывается, и после промежутка, объемлющего свыше пятнадцати лет, оба сына предстают перед нами уже взрослыми. Этот отрезок времени имеет, однако, существенное значение для истории человечества, и если источник оставляет нас здесь перед пробелом, то разум наш должен постараться восполнить его.

Рождение сына, его кормление, уход за ним и его воспитание в немалой мере приумножили познания, обязанности и опыт первого человека, и мы должны попытаться показать это с возможною полнотою.

Своим насущнейшим материнским обязанностям первая мать училась несомненно на примере животных; что же касается облегчения родов, то ему, надо полагать, ее научила нужда. Забота о детях заставила ее обратить внимание на множество мелочей, создающих уют и удобства и доселе неведомых ей; количество предметов, которые она научалась употреблять, все возрастало, и материнская любовь была на этот счет чрезвычайно изобретательна.

До этого времени родители знали лишь один-единственный вид общественных отношений, лишь одну любовь, ибо каждый из них имел перед собою только одно существо. Теперь, с появлением нового существа, им открылся новый вид любви, они познали новый вид нравственных отношений — *родительскую любовь*. Это новое, совершенно бескорыстное чувство было более чистым, нежели то, уже им известное, которое основывалось исключительно на удовольствии и на потребности в общении друг с другом.

Таким образом, испытав это новое для себя ощущение

ние, они подпрыгнули на более высокую ступень нравственности, оно облагородило их.

Но любовь к детям, общая отцу и матери, повлекла за собою немалую перемену и в отношениях, ранее существовавших между ними. Совместные заботы, радости, нежное участие к общему предмету любви соединяли их ныне новыми, прекраснейшими узами. При этом каждый из них открывал в другом новые черты нравственной красоты, и всякое такое открытие возвышало их взаимоотношения и придавало им утонченность. Мужчина любил в жене мать — мать любимого им сына. Женщина уважала в муже отца — кормильца ее ребенка. Чувственное влечение, привязывавшее их друг к другу, возвысилось до глубокого взаимного уважения, из своекорыстной любви полов выросло прекрасное чувство — *супружеская* любовь.

Вскоре этот нравственный опыт был обогащен новыми переживаниями. Дети росли, и между ними в свою очередь постепенно возникали нежные узы. Ребенок охотнее всего тянется к такому же ребенку, как он, ибо всякое существо, любя подобных себе, любит в сущности самое себя. Из таких тонких, почти неприметных нитей, связывавших детей между собою, выросло чувство *братской любви* — новое открытие для первых родителей. Теперь они видели перед собой, *за пределами их собственных отношений*, картину взаимоприязни и благожелательства, и они вновь переживали свои давние чувства, отраженные на этот раз в зеркале юности.

Пока они оставались одни, они жили лишь в настоящем и прошлом, тогда как теперь им сулило радости далекое будущее. Поскольку они наблюдали, как подрастают их дети и каждый день раскрывает в них неизвестные доселе способности, перед родителями возникали заманчивые картины будущего, когда их дети станут взрослыми и уподобятся им самим, и в их сердцах пробуждалось новое чувство — *надежда*. Сколь безгранична область, открываемая людям надеждой! Прежде они могли испытывать удовольствие лишь *однократно*, непосредственно ощущая его, — теперь же, ожидая его,

они могли бесчисленное множество раз наслаждаться всякой будущей радостью.

Когда же дети подросли уже не в мечтах, а в действительности — какое многообразие воцарилось в этом первом человеческом обществе! Всякое понятие, сообщенное ими детям, по-своему преломлялось в каждой из юных душ и поражало новизной. Теперь возник оживленный обмен мыслями, для нравственного чувства открылись возможности широкого проявления, и это в свою очередь развивало его; язык, становясь богаче, стал выражать понятия точнее и красочнее и уже отваживался передавать более тонкие ощущения; человек приобретал новые сведения об окружающей его природе и стал по-новому применять уже добытые прежде. Теперь все внимание человека было поглощено им самим. Теперь не было больше опасности, что люди могут унизиться до подражания животным!

## РАЗЛИЧИЯ В ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

Успехи культуры сказались уже в первом поколении людей. Адам возделывал землю. Один из его сыновей, как нам известно, открыл новый способ пропитания — он занялся скотоводством. Таким образом, уже в те времена человечество, в зависимости от условий существования, делилось на два разряда: земледельцев и пастухов.

Школой первого человека была природа, и ей он обязан всеми полезными в жизни знаниями. При внимательном наблюдении порядок размножения в растительном мире не мог надолго остаться для него тайною. Он видел, как природа сеет и как она поливает, и в нем пробудилось желание подражать ее примеру, а вскоре и нужда побудила его оказывать природе поддержку и умелыми действиями увеличивать ее добровольные щедроты.

Не следует, впрочем, думать, что первое поле было засеяно хлебными злаками, — для этого нужно было иметь слишком много знаний и навыков, а ведь природе

свойственно движение от простого к более сложному. Одним из первых возделываемых человеком растений был, по всей вероятности, рис; на него указывала людям сама природа, ибо рис произрастает в Индии в диком виде, и древнейшие историки упоминают о возделывании риса, как об одной из древнейших отраслей земледелия. Человек заметил, что длительная засуха истощает растения и что после дождя они быстро оправляются и оживают. Он заметил, кроме того, что ил, нанесенный разливом рек, способствует увеличению плодородия. И то и другое открытие он применил на деле: он начал давать растениям искусственный дождь и в тех случаях, когда поблизости не протекала река, несущая ил, — на-таскивать его на свое поле. Итак, он научился поливать и удобрять почву.

Труднее, повидимому, дался ему первый шаг, направленный к использованию животных. И тут, как и во всем прочем, он начал с самого несложного и естественного. Возможно, что, прежде чем посягнуть на жизнь животных, несколько поколений довольствовались только их молоком. Несомненно, что на первую попытку употреблять молоко животных в пищу людей натолкнуло материнское молоко. Познакомившись с этой новой пищей, человек сразу захотел обеспечить себя ею. Стремясь иметь эту еду всегда наготове и про запас, он не мог дожидаться благоприятного случая, который столкнул бы его с нужным животным именно в тот момент, когда он ощущал голод. Поэтому он надумал собрать вокруг себя некоторое число пригодных для его целей животных; он завел себе стадо. Для этого потребовались, однако, такие животные, которые живут сообща; ему надлежало перевести их из состояния дикой свободы в состояние покорности и мирного покоя — иначе говоря, приручить. Прежде чем он отважился на приручение тех животных, которые были дикого нрава и превосходили его силою и естественными средствами самозащиты, он занялся укрощением наименее диких и уступавших ему в силе. Овцу он приручил, таким образом, раньше, чем свинью, быка или лошадь.

Лишив животных свободы, он вынужден был взять на себя заботу об их прокормлении и пещься о них.

Так он сделался пастухом. Пока человеческое общество было немногочисленным, природа в избытке давала пропитание его стаду, состоявшему из немногих голов, и человек не ведал иной заботы, как подыскивать подходящее пастбище, а когда оно истощалось — заменять его новым. Этот легкий труд вознаграждался с лихвою, и плоды, которые он доставлял, не зависели ни от времени года, ни от перемены погоды. Постоянное довольство было уделом пастуха, свободолюбие и ленивый веселый нрав стали чертами его характера.

Совсем по-иному сложилась судьба земледельца. Он был рабски привязан к обрабатываемой им земле; избранный им образ жизни лишил его какой бы то ни было свободы передвижения. Старательно должен был он ухаживать за нежными ростками возделываемых им растений, помогая природе своим трудом и умением, тогда как пастух предоставлял своему стаду самому заботиться о себе. Вначале из-за недостатка орудий любая работа была для земледельца чрезвычайно тяжелой, и ему едва хватало обеих рук, чтобы управиться с нею. Сколь многотрудным должен был быть уклад его жизни, пока лемех плуга не принес ему облегчения и пока он не заставил прирученного им быка делить с ним тяготы, сделаться его товарищем по работе!

Взрыхление почвы, сев, поливка, наконец жатва — каких усилий требовало все это! А сколько еще работы после жатвы, прежде чем человек мог вкушать плоды своих трудов! Как часто приходилось ему отстаивать свои посевы от диких зверей, нападавших на них, охранять и огораживать их, бороться за них, нередко с опасностью для собственной жизни! И как ненадежны были при всем этом плоды его трудолюбия, отданные во власть стихиям и временам года! Вырвавшийся из берегов поток, выпавший град могли погубить посевы перед самою жатвой и подвергнуть человека жесточайшим лишениям. Сурова, несправедлива, превратна по сравнению с мирным спокойным уделом пастуха была участь земледельца, и душа его, обитавшая в теле, закаленном неустанной работой, не могла не ожесточиться.



Сопоставляя свою суровую долю со счастливым существованием пастуха, он не мог не заметить неравенства, которое их разделяло; в соответствии с присущим ему образным мышлением пастух должен был казаться ему баловнем неба.

В груди его зародилась зависть; впервые обнаруженное неравенство между людьми не могло не распалить эту пагубную страсть. С завистью и злобой взирал он на благословенную жизнь пастуха, который мирно пас свое стадо где-нибудь в холодке, в то время как пахаря нещадно жгло солнце и изнурительный труд заставлял его обливаться потом. Беззаботное веселье пастуха вызывало в земледельце раздражение. Он ненавидел пастуха за то, что тот счастлив, и презирал за вечную праздность. Так затаил он в сердце глухую вражду, которая при первом же поводе должна была повести к насилию. Такой повод не замедлил представиться. Границы личных прав каждого не были в те времена строго определены, и не существовало еще законов, различавших «мое» и «твое». Каждый считал, что имеет равные с остальными права на землю; лишь возникавшие между людьми столкновения повлекли за собой раздел ее. Предположим, что стадо объело все близлежащие пастбища, а пастух не хочет уходить далеко от семьи, в незнакомые края. Как же ему быть? Какая мысль, естественно, должна была прийти ему в голову? Он гнал свое стадо на посевы земледельца или, в лучшем случае, не препятствовал, когда оно само находило дорогу к ним. Для его овец здесь было изобилие корма; закона же, воспрепятствовавшего пользованию чужим полем, не существовало. Все, что ему было доступно, ему и принадлежало, — так рассуждал человек в дни своего младенчества.

Теперь впервые пришли в столкновение человек с человеком. Место дикого зверя, с которым вел борьбу земледелец, занял теперь человек. Врагом земледельца оказался пастух, готовый, подобно зловредному хищнику, уничтожать и портить его посевы. Не удивительно, что земледелец встретил его не иначе, чем встречал хищника, примеру которого следовал на этот раз человек. Ненависть, долгие годы вынашиваемая

в груди земледельца, способствовала ожесточению, и одним смертоносным ударом дубины отомстил он соседу, счастью которого давно уже завидовал.

Так печально закончилось первое столкновение между людьми.

## КОНЕЦ РАВЕНСТВА

Некоторые места в нашем источнике позволяют нам сделать вывод, что полигамия на заре человечества была явлением редким и что, следовательно, уже в те времена был в силе обычай ограничивать себя в браке и довольствоваться одною женой. Упорядоченные браки свидетельствуют, однако, о некоторых начатках морали и об утонченности нравов, которые мы едва ли ожидали найти в столь отдаленные времена. В большинстве случаев, лишь испытав последствия беспорядочной жизни, устанавливали люди определенный порядок, и законы, как правило, порождаются беззаконием.

Итак, закрепление упорядоченных браков основано, надо полагать, не столько на законе, сколько на обычае. Первый человек не мог жить иначе, как в браке, а его пример для второго человека уже приобретал некоторую законную силу. Начало роду человеческому положила одна-единственная чета. Этим примером природа как бы возвестила о своей воле.

Если предположить, что в древнейшие времена соотношение полов было приблизительно равным, то придется признать, что сама природа позаботилась упорядочить то, чего не мог бы упорядочить человек. Каждый мужчина брал себе лишь *одну* жену, ибо только *одна* и оставалась на его долю.

Когда же впоследствии равновесие в соотношении обоих полов заметно нарушилось и появилась возможность выбора, этот порядок оказался уже закрепленным в силу постоянного следования ему, и никто не отваживался нарушить обычай отцов, внося в него новшества.

Тем же путем, что и упорядоченные брачные отношения, сами собою установились и определенные правила общественного поведения. Сама природа внушила людям чувство почтительности к родителям, поставив беспомощного ребенка в зависимость от отца и приучив его с самого раннего возраста уважать его волю. Это чувство сохранялось у сына на протяжении всей его жизни. Когда же и он в свою очередь становился отцом, сын его также не мог взирать без почтения на того, к кому, как он видел, столь почтительно приближался его отец, и он беспрекословно оказывал глубочайшее уважение отцу своего отца. Чем больше разрасталась семья и чем старше становился родоначальник, тем почтительнее относились к нему члены семьи; к тому же его опыт — плод долгой жизни — давал ему естественное превосходство над теми, кто был моложе его. В каждом спорном вопросе родоначальник, таким образом, был последней инстанцией, и длительное соблюдение этого обычая положило основание естественной и не тягостной для подчиненных ей верховной власти — власти патриарха над родом, которая не только не уничтожила всеобщего равенства, но, напротив, укрепила его.

Равенство, однако, не могло длиться вечно. Одни были не столь трудолюбивы, иным меньше благоприятствовала судьба и земля приносила им меньше даров, третьи появились на свет более слабыми, чем другие; значит, были сильные и слабые, мужественные и робкие, имущие и бедняки. Слабый и бедный оказались вынужденными просить, имущий мог дать или ответить отказом. Здесь — начало зависимости человека от человека.

Самой природой вещей был заведен порядок, освобождающий старость от тяжелой работы; юноша трудился для старца, сын брал на себя тяготы, которые до этого нес отец. Этот порядок, внушенный человеку самой природой, вскоре нашел подражателей, не имевших к тому естественных оснований. У иного возникало желание совместить спокойное существование старца с наслаждениями, присущими юности, и он стремился найти для себя кого-нибудь постороннего, на кого

можно было бы возложить обязанности, вытекающие из сыновнего долга. На глаза ему попадались слабый или бедняк, ищущие его покровительства или притязающие на помощь от его изобилия. И тот и другой нуждались в его поддержке, ему же в свою очередь нужен был труд бедняка. Одно, таким образом, обуславливалось другим. Бедняк и слабый служил и получал пропитание, сильный и богатый давал и жил в праздности; так впервые началось деление на сословия.

Богатый обогащался благодаря труду бедняка; чтобы еще больше умножить свое богатство, богатый умножал число своих слуг. И он увидел вокруг себя многих, преуспевших меньше, чем он, и многие теперь зависели от него. Богатый ощутил свою силу и возгордился. Ему стало казаться, что все это создано его волей, а не порождено удачею. Труд многих шел на пользу лишь ему одному; отсюда он заключил, что эти многие существуют только для него; еще один, совсем небольшой шаг — и он становился деспотом.

Сын богатого начал мнить себя чем-то высшим по сравнению с сыновьями отцовских слуг. Небо было к нему благосклоннее, нежели к ним, — следовательно, он баловень неба. Он стал именовать себя сыном неба, подобно тому, как мы называем удачликов сынами фортуны. Рядом с ним, сыном неба, слуга был лишь сыном человека. Отсюда в Книге Бытия различие между детьми Элохима и детьми человеческими.

Удача приводила богатого к праздности, праздность — к похоти, а вслед затем — к пороку. Чтобы заполнить жизнь, он должен был множить свои наслаждения; мера, отпущенная природой, не удовлетворяла больше распутника, от безделья помышлявшего лишь об утехах.

Он считал, что ему полагается всего намного больше и лучшего качества, нежели слуге. Слуга попрежнему довольствовался *одною* женой. Богатый позволял себе иметь нескольких жен. Но непрерывные наслаждения в конце концов притупляют и утомляют. Он стал помышлять о том, как бы путем изощренности придать им большую остроту, и сделал еще один шаг. Теперь он не стал довольствоваться тем, что удовлетворял чувст-

венное влечение; он искал в наслаждении иных, более утонченных радостей. Привычные удовольствия уже не насыщали его; его похоть искала запретного. Просто женщина теперь не привлекала его. Он уже требовал от нее красоты.

Среди дочерей своих слуг он примечал красавиц. Удача исполнила его спеси, спесь и безнаказанность сделали его дерзким. Он без труда убедил себя в том, что все, что принадлежит его слугам, тем самым принадлежит ему. И поскольку все сходило ему безнаказанно, он позволял себе решительно все. Дочь слуги казалась ему существом слишком низменным, чтобы взять ее в жены, но ее можно было использовать для удовлетворения похоти. Это был следующий знаменательный шаг к утонченности, влекущей за собой упадок.

Но стоило только подать пример, как падение нравов стало всеобщим. Чем меньше было налицо ограничительных законов, способных препятствовать ему, чем меньше общество, в котором стала сказываться эта безнравственность, успело удалиться от первоначальной чистоты, тем быстрее распространялась в нем порча нравов.

Возникает право сильного, власть дает право на утеснение, и тут впервые появляются тираны.

Пятикнижие называет их сынами распутства, детьми, родившимися вне брака, зачатыми в противозаконном сожителстве. Если понимать эти слова буквально, то в них, очевидно, вложено глубокое содержание, на которое, насколько я знаю, никто еще не указывал. Эти побочные сыновья наследовали надменность отцов, не наследуя их имущества. Случалось, что отец отличал их своею любовью и при жизни оказывал им предпочтение перед другими своими детьми, но лишь только он умирал, законные наследники отвергали и изгоняли их. Исторгнутые из семьи, которой они были навязаны неправым путем, они оказывались покинутыми и одинокими на всем белом свете; никому они не принадлежали, и ничто не принадлежало им; в то времена не было иных способов жить на свете, как быть господином — или слугой господина.

Не будучи первыми, они считали себя слишком выскородными для роли последних; да и воспитаны они были в такой холе, что не могли подчиняться другому. Что же им было делать? Бахвалиться своим знатным происхождением и крепкими мышцами — вот все, что им оставалось. Впав в ничтожество, они уносили с собой в нищету лишь воспоминание о былом благоденствии да горечь ожесточившегося против общества сердца. Голод делал их разбойниками, удача в разбое — искаателями приключений, а порой и героями.

Вскоре они становятся грозой мирного земледельца и беззащитного пастуха и начинают отнимать у них все, чего бы ни пожелали. Молва об их удаче и подвигах широко разносится среди окрестного населения, и многие, соблаздившись легкостью этого нового образа жизни, а также достатком, который он им сулил, вступают в их шайки. Так они, повествует Пятикнижие, стали могущественными и прославились.

Этому, все усиливавшемуся в первом обществе беспорядку, по всей вероятности, положен был бы конец установлением порядка, и упразднение равенства между людьми привело бы от власти патриарха к монархии: самый могущественный и дерзкий из этих искателей приключений объявил бы себя властелином, построил бы укрепленный город и основал бы первое государство, — но существо, вершащее судьбами мира, сочло такое событие преждевременным, и ужасающее стихийное бедствие внезапно преградило человечеству путь к дальнейшему усложнению уклада его жизни.

## ПЕРВЫЙ ЦАРЬ

Азия, которую потоп лишил ее населения, вскоре стала добычей диких зверей, быстро размножившихся на столь плодородной после потопа земле и распространивших свое господство повсюду, где человек был не в силах оказать им сопротивление. Поэтому каждый клочок земли, за обработку которого принимались люди нового поколения, необходимо было сначала отнять у

диких зверей, а затем, силой и хитростью, отстаивать в борьбе с ними. Наша Европа в настоящее время очищена от этих диких обитателей, и мы едва ли можем представить себе, сколь тяжким бедствием для человека были они в те времена; сколь страшен был сей бич, об этом, помимо свидетельства некоторых мест Пятикнижия, мы можем судить также по обычаям древнейших народов, в особенности греков, которые приписывали укротителям диких зверей бессмертие, а также обоже- ствляли их.

Так, например, фиванца Эдипа провозгласили царем в благодарность за то, что он уничтожил опустошавшего страну Сфинкса. Сходным образом заслужили себе посмертную славу и обоготворение Персей, Геракл, Тесей. Всякий, кто не жалел своих сил ради искоренения общих врагов, становился величайшим благодетелем человечества, и действительно, для того чтобы ему в этом деле сопутствовала удача, он должен был соединять в себе редкие дарования. До того как война начала свирепствовать между людьми, охота на зверей была подлинно делом героев. Такая охота осуществлялась, по-видимому, толпами людей под предводительством храбрейшего из них, то есть того, чье *естественное* превосходство над остальными обуславливалось его мужеством и умом. С его именем связывались важнейшие подвиги этого рода, и оно привлекало многие сотни людей, готовых следовать за ним по пятам, чтобы вершить под его началом чудеса храбрости.

Поскольку такая охота предпринималась на основе некоторых предварительных соображений, то есть по плану, задуманному и осуществляемому предводителем, он молча присваивал себе право указывать остальным их обязанности и навязывать им *свою* волю. Неприметно для них самих у людей выработалась привычка повиноваться ему и выполнять его замыслы, как наиболее прозорливые. Если к тому же предводитель отличался личной отвагой, смелой душой и физической силой, то страх и восхищение, которые он вызывал, еще больше способствовали его возвышению, и люди в конце концов слепо подчинялись его руководству. Если между его товарищами, совместно с ним участвовавшими в

охоте, возникали какие-нибудь раздоры,— а в такой многочисленной, грубой и дикой толпе охотников это было неизбежно,— то естественным судьей их споров был опять-таки он, кого все почитали и боялись; почтения и страха, порожденных его личной отвагой, было достаточно, чтобы придать вескость его приговорам. Так предводитель охотников сделался вождем и судьей.

При дележе добычи ему по справедливости, как предводителю, давалась бóльшая доля, и так как она превосходила его потребности, то у него оставался излишек жизненных благ; раздачей этих благ он обязывал других к признательности ему и таким образом создавал себе приверженцев и друзей. Вскоре вокруг него собралось некоторое количество наиболее храбрых, численность которых он старался непрерывно увеличивать постоянными благодеяниями; так он неприметно создал из них своего рода личную охрану, отряд мамелюков, со свирепым усердием поддерживавших его притязания и наводивших своей многочисленностью ужас на всякого, кто пытался ему противоборствовать.

Поскольку охота, которою он занимался, была полезна земледельцам и пастухам — ведь он очищал их угодья от врага, несущего с собою опустошение,— вполне возможно, что они начали доставлять ему время от времени добровольные дары из своих урожаев и от приплода своих стад в качестве известного вознаграждения за его столь полезный им труд; этот дар он впоследствии превратил в постоянную дань, полагающуюся ему по заслугам, и, наконец, стал взимать ее с них, как налог, как следуемый ему побор. Частью этой поживы он оделял самых ретивых воинов и тем самым увеличивал число своих подчиненных. Так как охота нередко заводила его на поля и пашни, что причиняло им немалый ущерб, то многие земледельцы сочли для себя выгодным откупаться от этого зла добровольным подарком, который он впоследствии опять-таки начал требовать и со всех тех, чьи поля он мог бы повредить, если бы только захотел. С помощью этих и сходных с ними способов приумножал он свое богатство, а благодаря ему — богатство своих приверженцев, составивших в конце концов небольшое войско, тем более грозное, что в борьбе



со львами и тиграми оно закалилось, легко переносило любые опасности и невзгоды и вдобавок одичало вследствие грубости своего ремесла. Ужас предшествовал теперь его имени, и никто уже не отваживался отказывать ему в чем бы то ни было. Если у кого-нибудь из сопровождавших его возникал спор с кем-нибудь посторонним, охотник, естественно, взывал к своему вождю и заступнику, и тот привык таким образом распространять свою судебную власть и на то, что к охоте не имело ни малейшего отношения. Чтобы стать царем, ему теперь недоставало только торжественного признания; но разве кто-нибудь мог бы отказать в этом ему, предводителю вооруженных до зубов, буйных дружин? Он был более всех способен властвовать, так как более всех располагал мощью, потребной, чтобы заставить подчиняться своим велениям. Он был благодетелем в отношении всех, ибо ему, а не кому-либо другому, обязаны были они миром и безопасностью от общего всем врага. Власть в сущности уже принадлежала ему, ибо самые сильные и те уже находились у него в подчинении.

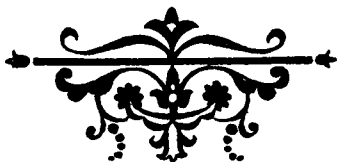
Подобным же образом стали царями, властвующими над своими народами, предки Алариха, Атиллы, Меровея. Так же обстояло дело и с греческими царями, которых Гомер живописует нам в Илиаде. Все они сначала были начальниками вооруженных отрядов, победителями чудовищ, благодетелями своих народов. Из военачальников они постепенно превращались в посредников и затем в судей; на средства, добытые разбоем, они приобретали себе приверженцев, благодаря которым становились могущественными и грозными. И, наконец, они путем насилия всходили на трон.

Приводят пример мидянина Дейока, которого народ добровольно возвел на престол в благодарность за то, что, отправляя обязанности судьи, он принес ему много добра. Попытка объяснить, исходя из этого примера, происхождение царской власти была, однако, ошибочной. Когда мидяне сделали Дейока своим царем, они уже были *народом*, уже были политически сложившимся обществом; в нашем же случае лишь *первый* царь положил начало образованию подобного общества.

Мидяне до избрания на царство Дейока успели испытать на себе всю тяжесть ига ассирийских монархов, тогда как царь, о котором у нас идет речь, был первым царем на свете, а народ, подчинившийся его воле, — обществом свободнорожденных людей, еще не знавших над собой ничьей власти. Власть, которой были покорны в прошлом, может быть с легкостью *восстановлена* таким мирным способом, но установить столь же мирным путем совершенно новую и никому не известную власть — невозможно.

Поэтому, сообразуясь с ходом вещей, гораздо правильнее предположить, что первый царь был узурпатором, возведенным на трон отнюдь не добровольным, единодушным призывом нации (ибо в те времена еще не было наций), но насилием, удачей и готовой на все вооруженной дружиной.

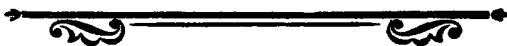
1792







**ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ  
СОБЫТИЯ  
ИЗ ЖИЗНИ МАРШАЛА  
ДЕ ВЪЕЙВИЛЯ**







В исторических сочинениях, повествующих о замечательных временах Франциска I, Генриха II и его трех сыновей, редко упоминается имя маршала де Вьейвиля. А между тем он принимал весьма близкое участие в самых важных переговорах, и ему надлежит занять почетное место в ряду великих государственных деятелей и полководцев той эпохи. Из всех современных ему историографов один лишь Брантóm отдает ему должное, и это свидетельство имеет тем больший вес, что оба они стремились к одной цели, но были приверженцами разных партий.

Вьейвиль не принадлежал к тем сильным натурам, которые мощью своего гения или своих страстей сокрушают великие преграды и какими-либо выдающимися деяниями, существенными для жизни всей страны, принуждают историю говорить о них. Заслуги людей, подобных ему, тем и ценны, что они не хотят привлекать к себе внимание, которого ищут те сильные натуры и более заботятся о том, чтобы жить со всеми в мире, нежели о том, чтобы возбуждать удивление и зависть. Вьейвиль был *придворным* в высшем и наидостойнейшем смысле этого слова, в коем оно обозначает один из самых трудных и славных видов деятельности в этом мире. Он всегда без колебаний, с неизменной стойкостью был предан трону, хотя трижды видел смену монархов, и он умел так тесно слить понятие королевской власти с личностью властелина, что его верность долгу перед государем была согрета всей теплотой личной привязанности. Прекрасный образ старого французского дворян-

ства и рыцарства воскресает в нем, и он так достойно представляет сословие, к которому принадлежит, что может на миг примирить нас с его злоупотреблениями. Он был благороден, великодушен, бескорыстен до самозабвения, предупредителен ко всем без изъятия, исполнен чувства чести, верен своему слову, постоянен в приязни, скор на помощь друзьям, милостив к врагам, геройски храбр, строг в требовании порядка и при всей широте своих взглядов — грозен и неумолим к нарушителям закона. Он в высокой мере владел искусством уживаться с людьми противоположного склада, не поступаясь при этом своим собственным, угождать честолюбцу, слепо пред ним не преклоняясь, быть приятным тщеславному, отнюдь не подольщаясь к нему. Никогда не приходилось ему, подобно бездушным и безвольным царедворцам, отбрасывать свое личное достоинство ради дружбы государя, но он был так силен духом, что мог с достохвальным самоотречением подчинять свои желания обстоятельствам. Благодаря этому и благодаря неоспоримому уму ему удалось в такое время, когда борьба партий захватила всех, стоять вне партий, не лишаясь круга своего влияния, в столкновении стольких интересов оставаться общим другом, пережить без ущерба для своего личного благополучия троекратную смену государей и унести с собой в могилу ту монаршую благосклонность, которая с самого начала сопутствовала ему. Ибо заслуживает упоминания, что он умер в тот день, когда Екатерина Медичи со своей свитой посетила его в замке Дюресталь, и что, таким образом, после шестидесяти лет верной службы он как бы завершил свою жизнь на руках у своего суверена.

Однако такой характер дает нам и весьма естественное объяснение того безмолвия, которым он окружен. Все тогдашние историографы принадлежали к какой-либо партии, все были яркими приверженцами либо старого, либо нового вероучения, и пером их водил живой интерес к их главарям. Такая личность, как маршал де Вьейвиль, холодный рассудок которого был недоступен фанатизму, не представляла для них ничего такого, что они могли бы превозносить или обличать. Он причислял себя к разряду умеренных, которых пытались высмеи-

вать, награждая их кличкой «политиков»; к разряду, которому искони суждено было во времена внутреннего брожения навлекать на себя недовольство обеих сторон стремлением примирить их. При всех междоусобных бурях он неуклонно поддерживал короля, и ни партия Монморанси и Гизов, ни партия Кондэ и Колиньи не могла похвалиться тем, что он принадлежит к ней.

Характеры этого рода у Истории не в чести, так как она чаще повествует о том, что осуществляется силой, нежели о том, что предупреждается разумом, и должна настолько сосредоточивать свое внимание на решительных действиях, что лишена возможности охватить прекрасную спокойную вереницу событий целой человеческой жизни. Тем более благодарным материалом они представляются для биографа, который всегда охотнее избирает своим героем Улисса, нежели Ахилла.

Лишь спустя двести лет после смерти маршала Вьейвиля ему была воздана полная справедливость. В архивах его родового замка Дюресталь были найдены мемуары о его жизни в десяти книгах, автором которых был его личный секретарь Карлуа. Правда, они выдержаны в панегирическом тоне, свойственном также Брантóму и всем историографам того периода. Но это не риторический тон льстеца, старающегося обрести покровителя, а голос благодарного сердца, невольно изливающего себя перед благодетелем. Эта личная склонность отнюдь не затаена, и историческую правду весьма нетрудно отделить от того, что подсказывает автору его признательность и любовь к тому, кому он многим обязан. Эти мемуары в первый раз появились в печати в 1767 году, пятитомным изданием, но отдельные лица уже раньше знали о них и частично пользовались ими.









**ШИЛЛЕР  
КАК ИСТОРИК**







Увлечение Шиллера историей началось еще в ранней юности. С глубоким интересом слушает он в Академии Карла лекции по древней и новой истории, зачитывается книгами Саллюстия и Плутарха, Шлецера и Руссо. У профессора Абеля приобретает он первые навыки философского рассмотрения истории, получает представление об идеях французских и немецких просветителей. Эти первые лекции и первые книги оставили неизгладимый след в сознании юноши и во многом определили направление его будущей творческой деятельности.

Позднее Шиллер, уже создавший свои мятежные драмы, всколыхнувшие общественное мнение Германии, обращается к истории социальных конфликтов прошлого в поисках сюжетов для своих произведений. Почти незамеченная публикой промелькнула его первая драма на историческую тему, «Фиеско», которая, хотя и не имела большого успеха в Германии, принесла ему наряду с первой драмой «Разбойники» звание почетного гражданина революционной Франции. Работая над следующей драмой «Дон Карлос», Шиллер ощутил недостаточность своих познаний в области истории. Потребность свободно овладеть материалом побуждает его на некоторое время целиком отдаться чтению исторической литературы, и весной 1786 года мы застаем Шиллера всецело поглощенного изучением истории.

«С каждым днем мне все дороже становится история... Мне бы хотелось лет десять кряду не изучать ничего, кроме истории. Кажется, я стал бы совсем другим человеком. Как ты думаешь, удастся ли мне наверстать упущенное?» — писал он в апреле 1786 года своему ближайшему другу Готфриду Кернеру.

В связи с изучением истории меняются и творческие планы Шиллера. Уже в августе того же года у него возникает идея создания сборника «История замечательных заговоров и вос-

станий», к участию в котором он намеревается привлечь ближайших друзей и единомышленников. Осенью следующего, 1787 года у него зарождается новый план коллективного труда — «Полное собрание исторических мемуаров».

Толчком к работе в области истории Шиллеру послужили внешние обстоятельства. Жестокая нужда заставила его добиваться какого-либо материального обеспечения, искать «прибежища в какой-нибудь академической науке». После посещения Иены в августе 1787 года Шиллер намеревается стать профессором истории в тамошнем университете. В письмах к друзьям он нередко аргументирует свое решение ссылками на необходимость добиться «репутации», создать себе «экономическую славу». С горечью говорит он о том, что в так называемом ученом и обывательском мире солидность является мериллом заслуг, что по этой причине он вынужден на время отказаться от поэзии.

Эти грустные соображения не помешали, однако, Шиллеру с увлечением отдаться работе над своей первой большой книгой «История отпадения соединенных Нидерландов от испанского владычества». По первоначальному плану произведение должно было войти в состав вышеупомянутого сборника по истории заговоров и восстаний. К написанию книги Шиллеру удалось приступить лишь в августе 1787 года в Веймаре, куда он тем временем переехал. Ни над одним из последующих исторических произведений Шиллер не работал с большим увлечением. «За работой» он «испытывает величайшее наслаждение». Дни и ночи проводит он «согбенный над фолиантами» средневековых хроник, вдохновленный высоким стремлением сделать исторические знания доступными для народа, «рассыпать наслаждение там, где люди без этого могли бы найти для себя только тяжелый труд». Неотразимо влекут Шиллера «большие невозделанные поля» истории, и он сам еще затрудняется определить, «как далеко заведет его этот род умственной деятельности».

Обстановка в Веймаре благоприятствовала творческой работе Шиллера. Общение с крупнейшими деятелями немецкого Просвещения, Гердером и Виландом, изучение философии Канта, чтение исторической литературы — все это расширяло кругозор и давало обильную пищу для размышлений.

Восторженный отзыв Виланда о первых главах «Истории отпадения Нидерландов» побудил Шиллера отказаться от включения своего труда в «Историю замечательных заговоров».

В январском и февральском номерах издававшегося Виландом журнала «Немецкий Меркурий» за 1788 год было напечатано начало шиллеровской «Истории отпадения Нидерландов», а первый том ее увидел свет в октябре того же года. Символическое изображение свободы на титульном листе первого издания вполне соответствовало содержанию и направленности этой первой книги Шиллера. К самоотверженной борьбе за свободу призывал в ней Шиллер немецкий народ. Последующие томы (а их предполагалось шесть) «Истории замечательных заговоров» никогда не были написаны Шиллером. Две статьи его, впрочем, свидетельствуют о попытках автора продолжить свою работу по истории нидерландской революции: появившаяся в 1789 году в шиллеровском журнале «Талия» статья «Суд над графами Эгмонтом и Горном и казнь их», а также «Осада Антверпена принцем Пармским в 1584—1585 годах», напечатанная в журнале «Оры» в 1795 году.

Почти одновременно с «Историей отпадения Нидерландов» вышел под редакцией Шиллера и первый том сборника «История замечательных заговоров и восстаний».

К тому времени, когда работа над первым томом «Истории нидерландской революции» подходила к концу, Шиллер уже несколько иначе оценивает свои занятия историей. Он не намерен «похоронить себя» в этой специальности. «История будет тем складом, из которого я стану черпать... темы для своих драматических произведений», — пишет он Кернеру. Впереди, однако, были еще многие годы напряженной творческой работы в области истории.

«История отпадения Нидерландов» принесла Шиллеру популярность в ученых кругах. В декабре 1788 года Гете сообщил ему о предстоящем назначении в Иену, куда Шиллер переехал в мае следующего года.

Вечером 26 мая 1789 года необычайный шум на главной улице тихого университетского города переполошил его жителей. Испуганные бюргеры бросились к окнам, раздавались даже возгласы: «Пожар!» — но причиной суматохи были всего лишь студенты Иенского университета, которые толпами шли по Иоганнштрассе, спеша занять места в аудитории, где должен был выступить новый профессор. У самого профессора, когда ему пришлось шествовать через весь город, было такое ощущение, будто он идет «сквозь строй шпицрутенов». Так, при огромном стечении слушателей, прочел Шиллер свою

вступительную лекцию «В чем состоит изучение мировой истории и какова цель этого изучения». Начало своего выступления Шиллер посвятил беспощадной и меткой критике филистеров от науки, «ученых хлеба ради», которых «пугает каждое значительное новшество». Он заклеил их как реакционеров, которые «борются с ожесточением, с отчаянием, борются коварно, потому что, защищая систему школьных истин, они борются за свое существование». Таким «ученым» Шиллер противопоставляет «философский ум», неутомимо и бесстрашно стремящийся к исследованию природы и общества. Вторая половина лекции, прочитанная на следующий день, была блестяще выполненным обзором историко-философских идей эпохи Просвещения.

Несмотря на успех первых лекций по всемирной истории, Шиллер сам не находит удовлетворения в этой работе. У него нет контакта с аудиторией. «Между кафедрой и слушателями высятся барьер, через который трудно перешагнуть», — пишет Шиллер. Он жалуется на слабую подготовку студентов, на невозможность приспособиться к их уровню, «спустившись до плоской ясности». Аудитория его постепенно тает, и в конце концов не более двадцати — тридцати человек продолжает посещать его лекции. В январе 1791 года, когда тяжелый приступ болезни заставил Шиллера навсегда прекратить преподавательскую деятельность, он расстался с ней без всяких сожалений.

Ряд лекций Шиллера, напечатанных еще при жизни автора, сохранился до наших дней. Сюда относится прежде всего его вступительная лекция, вышедшая в 1789 году в издании Йенского университета и тогда же перепечатанная в журнале «Немецкий Меркурий», а также лекции «Нечто о первом человеческом обществе по данным Моисеева. Пятикнижие», «Законодательство Ликурга и Солона», опубликованные в журнале «Талия» за 1791 год.

1789—1791 годы были периодом наиболее интенсивной работы Шиллера в области истории. За этот короткий промежуток времени им был создан ряд прекрасных произведений, в том числе и такое крупное, как «История Тридцатилетней войны». Написанная по заказу издателя в чрезвычайно короткий срок и к тому же при исключительно неблагоприятных обстоятельствах, книга эта бесспорно является наиболее значительным историческим произведением Шиллера.

Шиллер приступил к работе над «Историей Тридцатилетней войны» в конце декабря 1789 года. Уже в сентябре следую-

этого года издателю были отосланы первые две книги, вышедшие в «Историческом календаре для дам на 1791 год». Написанная более популярно, чем «История отпадения Нидерландов», и к тому же затрагивавшая тему, близкую сердцу каждого немца, эта книга имела небывалый успех среди широкой читательской публики. Семитысячный тираж ее разошелся очень быстро, и в марте 1791 года пришлось печатать новый. Окрыленный этим успехом, Шиллер пишет своим друзьям: «Я не вижу причин, почему бы я не мог, если я серьезно того пожелаю, стать первым историком в Германии». Этот порыв продолжался недолго. Тяжелое заболевание в мае 1791 года заставило Шиллера отказаться от своих планов. Невероятным усилием воли он заставил себя написать лишь небольшую часть для «календаря» на следующий год. Только в сентябре 1792 года Шиллеру удается завершить свой труд. В последние месяцы работа его чрезвычайно тяготила, и, дописывая последние страницы истории этой войны, окончившейся в 1648 году Вестфальским миром, он спешит тут же поделиться своей радостью с Кернером: «Вряд ли Германская империя была рада больше, чем я, Вестфальскому миру».

В эти же годы Шиллер осуществил ранее зародившийся у него план издания «Полного собрания исторических мемуаров». Своей задачей Шиллер считал при этом не критическое издание научно проверенных текстов, а подготовку сокращенных художественных переводов, которые дали бы возможность широким кругам читателей ознакомиться с историей средних веков и нового времени по записям современников. Первый том «Мемуаров» вышел в свет осенью 1789 года под редакцией Шиллера и с его предисловием ко всему изданию. Ему же принадлежал частично и самый перевод «Алексиады», истории правления византийского императора Алексея I Комнина (1081—1118), написанной дочерью последнего, Анной. К последующим томам Шиллер предпослал в качестве введений ряд своих исторических работ. Так, в третьем томе «Мемуаров» в 1790 году появился его «Обзор важнейших событий всемирной истории во времена Фридриха I», в основе которого лежала одна из прочитанных им лекций. Мемуарам герцога Сюдли, вышедшим в пяти томах в 1791—1793 годах, была предпослана «История французских смут, предшествовавших воцарению Генриха IV» — очерк, написанный Шиллером по книге французского историка Анкетиля «Дух лиги», изданной в Париже в 1767 году.



В те же годы Шиллером написан целый ряд мелких работ: исторических анекдотов, рецензий, предисловий и т. д. После 1792 года Шиллер лишь эпизодически обращается к работе над историческими произведениями. Последняя его работа «Достопримечательные события из жизни маршала де Вьёвиля», написанная им в 1797 году, — блестящий исторический портрет этого деятеля периода религиозных войн во Франции. В 1792—1793 годах начинается новый период в творчестве Шиллера, связанный с углубленным изучением философии Канта.

Более двадцати различных исторических работ оставил нам Фридрих Шиллер. Главные из них посвящены событиям того бурного периода европейской истории, который, начавшись в XVI столетии с Реформации в Германии — широкого антифеодального движения, распространившегося постепенно на всю Европу, — завершился в следующем столетии общеевропейской Тридцатилетней войной и победой буржуазной революции в Англии. Многочисленные внутренние и внешние конфликты, происходившие в этот период, выступления крестьян и горожан против феодалов и национально-освободительные движения, междоусобная борьба князей и войны между государствами — принимали по наследству от уходящего средневековья религиозную окраску, и отражавшийся в этих частных столкновениях общий конфликт нарождающегося капитализма и отмирающего феодализма выступал в форме религиозной борьбы протестантов и католиков.

Подобно тому, как революционеры 1848 года обращали свой взор на французскую буржуазную революцию конца XVIII века, так Шиллер, современник этого великого народного восстания, обращался к событиям прошлого, чтобы тем более ясно оценить настоящее. Его внимание привлекла прежде всего героическая борьба народа Нидерландов против тирании испанских Габсбургов. Средневековые Нидерланды занимали территорию современных государств — Голландии, Бельгии и Люксембурга. С конца XV столетия Нидерланды входили в состав Германской империи. В 1519 году, когда Карл V объединил под своей властью Германскую империю и Испанию с ее европейскими и заокеанскими владениями, Нидерланды были страной высоко развитой в экономическом и социальном отношениях.

Целый ряд естественных и исторических условий способ-

ствовал такому быстрому экономическому развитию Нидерландов: слабость центральной власти в прошлом, неразвитость феодальных отношений в приморских провинциях, наличие здесь свободного крестьянства и, наконец, расположение на перекрестке торговых путей тогдашней Европы. Вот почему именно здесь взошли первые ростки капитализма. Наиболее развитыми провинциями Нидерландов были Фландрия и Брабант на юге и Голландия и Зеландия на севере. В то время как на юге получила развитие текстильная промышленность, главным образом шерстяная, на севере основными отраслями экономики были рыболовный промысел, судостроение и транзитное судоходство. Как на севере, так и на юге в XVI веке уже существовало значительное число мануфактур и высокопродуктивное сельское хозяйство.

Весьма характерным для Нидерландов было значительное развитие городов; в Голландии, например, основную часть населения составляли горожане. Крупнейшие города страны — Антверпен на юге и Амстердам на севере — были одновременно общеевропейскими торгово-промышленными и финансовыми центрами. Классовый состав и структура населения представляли чрезвычайно сложную картину. В то время как на севере крестьянство было свободным, а в центральных и южных провинциях находилось в полузависимом состоянии, в некоторых окраинных провинциях, слабо затронутых экономическим развитием, сохранилось крепостное право. Если на севере церковь и дворянство были слабы, а последнее даже в значительной мере обуржуазилось, то на юге позиции дворянства и католической церкви были еще очень сильны. В городах сильному и богатому бюргерству противостоял многочисленный низший класс: мелкие ремесленники, подмастерья, моряки, рабочие мануфактур. В то же время наблюдалось расслоение и в среде самой буржуазии: с одной стороны, выступала консервативная торговая и финансовая буржуазия, а с другой — более прогрессивные группы, связанные с развивающейся мануфактурой. Приблизительно такова была расстановка классовых сил в Нидерландах к моменту вступления на престол Карла V.

Политическая история Нидерландов в первой половине XVI века представляет собой историю нарастающего конфликта с абсолютизмом Габсбургов, который был главным препятствием для дальнейшего развития страны. Конфликт этот должен был быть тем более острым, что абсолютизм выступал здесь как чужеземная сила, поработившая народ Нидерландов.

Налоги, подрывающие самые основы экономики страны, поддержка всех реакционных сил в ней — прежде всего католической церкви и реакционного дворянства, — законы о бродягах и законы о еретиках, сожжение на кострах, лишение свободы и конфискация имущества десятков тысяч людей — такова была политика испанского абсолютизма в Нидерландах.

Брожение во всех слоях народа было ответом на эту политику. Широкое распространение получает в стране протестантизм, все три главных его течения находят здесь своих сторонников. Местное дворянство, вынужденное стать в оппозицию к испанской монархии, принимает лютеранство; в буржуазной среде приобретает популярность более воинствующее течение — кальвинизм, и, наконец, народные массы попадают под влияние революционного анабаптизма — этого плебейского течения в Реформации. Политический горизонт уже озаряют первые вспышки близящейся бури — восстание в Голландии в 1533—1535 годах и восстание в столице Фландрии, Генте, в 1539—1540 годах. К моменту когда Филипп II вступил на испанский престол, смута в Нидерландах была неминуемой. Политика этого монарха, стремившегося низвести Нидерланды до уровня испанской провинции, непосильные налоги и усиление преследования еретиков только ускорили взрыв.

Первыми на арену выступили в 1565 году оппозиционные дворяне, образовавшие политический союз, так называемый «компромисс»; они пытались добиться своевременных уступок от испанской монархии и таким путем предотвратить «бунт» низов. Под ударами антифеодальных и антикатолических иконоборческих восстаний, вспыхнувших в Нидерландах в 1566 году, союз дворян распался. Восстания были жестоко подавлены с помощью отсталого крепостного крестьянства из окраинных провинций, и вскоре в страну вступила испанская армия под командованием Альбы.

Голландское дворянство и буржуазия во главе с Вильгельмом Оранским боялись нового революционного порыва народных масс и пытались освободить страну при помощи наемных армий. Все эти попытки неизменно кончались бесславными поражениями. Сам народ, однако, не сложил оружия; он прибег к партизанской войне на суше и на море, лесные и морские «гёзы» — нищие, как называли себя голландские борцы за свободу, вели упорную борьбу против испанцев. Новое всеобщее восстание, начавшееся после захвата морскими «гёзами» 1 ап-

реля 1572 года города Бриля, привело к освобождению севера страны от испанского ига. В результате борьбы, продолжавшейся несколько десятков лет, здесь возникло и окрепло первое буржуазное государство — Соединенные провинции Северных Нидерландов. Народное восстание на юге страны в 1576—1578 годах потерпело поражение вследствие предательства дворянства и буржуазии. Уделом южных провинций, оставшихся под властью Испании, были экономический упадок и жестокий политический и религиозный гнет.

Только первые эпизоды этой героической борьбы успел описать Шиллер в своей «Истории отпадения соединенных Нидерландов». Написанная о событиях прошлого, она обращена к настоящему, к немецкой действительности XVIII века. В Германии, раздробленной на множество мелких государств, страдавшей от жестокого произвола сотен мелких тиранов, в Германии, где феодальная иерархия номинально возглавлялась все той же ненавистной династией Габсбургов, свержение феодального строя было столь же настоятельной необходимостью, как и в Голландии XVI века. «Счастливый исход возможен и для нас, когда изменятся обстоятельства и сходные поводы призвут нас к сходным деяниям», — пишет Шиллер на первых страницах своего труда.

После небольшого эскиза политической истории Нидерландов Шиллер переходит к изложению событий 1565—1567 годов.

Гневные вспышки возмущения в народных низах, сложные переплетения политических интриг в верхах, портреты видных деятелей переданы Шиллером со всей силой его драматического таланта. Перед читателем проходит целая галерея тонко выписанных психологических портретов Филиппа II, Эгмонта, Гранвеллы, Вильгельма Оранского. Труды позднейших исследователей исправили в них много деталей, но ни одной сколько-нибудь существенной. Меткие характеристики, динамизм в описании событий, исторические обобщения и параллели являются несомненными достоинствами книги.

Шиллер умеет в одной фразе донести до читателя грозную опасность, нависшую над Нидерландами с приходом карательной армии под командованием Альбы. «С тех пор как испанский полководец находился в стенах города, Брюссель походил на человека, который, осушив кубок с ядом, с минуты на минуту с содроганием ужаса ждет его смертельного действия». Описанием прибытия испанских войск и краткой характе-

ристической деятельности предшественницы Альбы Маргариты Пармской заканчивается эта книга, которая до самых последних страниц читается с неослабным интересом.

Глубокая осведомленность автора в истории Нидерландской революции по ее важнейшим источникам придает книге ценность и в наши дни. Хроники Гроция, Метерена и других защитников революции были им тщательно рассмотрены и сопоставлены с данными ее противников, наборников феодальной реакции, Страды и Бургундия.

Совершенно правильно определяет Шиллер ценность каждого отдельного источника; так, с высокой похвалой отзывается он об известной компилятивной истории Нидерландов, написанной в середине XVIII века архивариусом Амстердама Вагенааром, на которую он в большинстве случаев ссылается при изложении фактов. Своеобразие подхода Шиллера-художника к источникам проявляется в умении по нескольким сухим фразам хроники реконструировать всю ситуацию и преодолеть читателю живое и яркое описание.

Оценивая работу Шиллера и определяя ее место в историографии Нидерландской революции, нельзя пройти мимо отрицательного отношения автора к иконоборческим восстаниям; они изображаются только как буйные неистовства толпы люмпен-пролетариев. В таком изображении отчасти повинны источники, которыми он пользовался. Это относится к защитникам не только феодальной, но и буржуазной точки зрения: те и другие в резко враждебном тоне осуждают эти самостоятельные выступления бедноты в революции. Однако в таком подходе Шиллера к восстаниям иконоборцев повинны не одни только источники; здесь сказалось и его ошибочное понимание роли народных масс в истории, особенно ярко проявившееся в его отрицательном отношении к якобинской диктатуре в период французской революции.

Несмотря на этот крупный недостаток, к стати присущий всей буржуазной историографии, труд Шиллера является бесспорно одним из лучших отображений политической истории первых лет Нидерландской революции. К оценке конкретных событий Шиллер подходил трезвее и объективнее позднейших буржуазных историков, оказавшихся, как, например, американский историк Мотлей, автор самого популярного в XIX веке труда по истории Нидерландской революции, в плену той

концепции истории, которая объясняла все явления революции исключительным влиянием протестантского вероучения.

Книга Шиллера, призванная «пробудить в груди читателя радостное чувство его за самого себя и привести... пример того, на что должны отваживаться люди для благого дела», бесспорно оказала огромное влияние на революционизирование умов в Германии.

Тридцатилетняя война 1618—1648 годов стала темой другой крупной работы Шиллера. Социальная подоплека Тридцатилетней войны крайне сложна. Борьба буржуазии и нового обуржуазившегося дворянства со старым феодальным дворянством, восстания крестьян и городской бедноты в различных странах, национально-освободительная борьба поработенных народов, наконец, различные частные войны между государствами — все это слилось в единый внешнеполитический конфликт, в котором приняли прямое или косвенное участие почти все страны европейского континента. Это был кризис феодального строя в Европе, в котором, с одной стороны, рука об руку с римским католическим престолом выступала феодальная реакция в лице испанской и немецкой ветвей Габсбургской династии, с другой — более прогрессивные абсолютистские государства, в значительной части протестантские. В Англии, где капиталистическое развитие было наиболее высоким (не считая Голландии), этот кризис завершился буржуазной революцией.

Тридцатилетняя война, как и Реформация, началась на территории Германской империи. После крестьянской войны 1524—1525 годов, когда поражение этого великого народного антифеодального движения, объективно направленного на объединение Германии, окончательно отдало страну во власть территориальных князей, в Германии не прекращалась борьба между католическими и протестантскими князьями. Главным содержанием этой борьбы был дележ церковных богатств, и распри, возникавшие между князьями уже после заключения Аугсбургского религиозного мира в 1555 году, не раз грозили вновь перерасти в общую войну. Война, однако, началась не в исконных немецких землях, а восстанием в Чехии в 1618 году, где наступление католической реакции, сочетавшееся с национальным гнетом, объединило все классы чешского общества в стремлении восстановить национальную независимость. Поражение чехов в 1620 году привело к резкому усилению агрессивной Австрийской монархии, что увеличило угрозу для всех

стран — соседей Габсбургов и в первую очередь для Франции, окруженной их владениями. Французская дипломатия берет на себя задачу создания антигабсбургской коалиции. Она стремится противопоставить империи и ее союзнице Польше Россию, Трансильванию и Турцию на востоке, Данию и Швецию на севере, Голландию и Англию на западе. В 1621 году возобновляется борьба Голландии и Испании. В 1625 году в борьбу против австрийских Габсбургов вступает Дания. После выхода Дании из войны (1629) в Германию в 1630 году вторгается шведская армия под командованием короля Густава-Адольфа. Вступление Швеции в войну оказалось возможным лишь благодаря России, которая в 1632 году блокировала союзницу империи — Польшу, оказав тем самым поддержку антигабсбургской коалиции. Наконец, в 1635 году в вооруженную борьбу с Габсбургами вступает и Франция.

Для Германии, которая была главным театром военных действий, война эта стала подлинным национальным бедствием. Датские, шведские, французские, испанские и венгерские армии вторгаются в страну. В течение трех десятков лет наемные армии, чужеземные и «свои», католические и протестантские, грабили и разоряли города и села Германии. Немецкий народ испытал в этой войне много страданий и страстно жаждал мира. В Австрии и Чехии крестьяне восставали, крупные восстания вспыхивали и в итальянских владениях Габсбургов.

Не лучше была картина и в лагере антигабсбургской коалиции. Участились антиналоговые выступления крестьян в Швеции, происходили волнения в голландских городах; во Франции правительство было вынуждено предпринять самые энергичные меры для предотвращения восстаний в стране. Все шире распространялось в соседних странах влияние победоносной английской революции. А печальный пример английского короля Карла I, которому угрожал суд народа, порождал тревогу в сердцах коронованных особ всей Европы и побуждал их торопиться с заключением мира. Этот долгожданный мир был, наконец, заключен осенью 1648 года в Вестфалии, после многолетних дебатов на первом европейском конгрессе дипломатов.

Этот мрачный период немецкой и европейской истории давно занимал воображение Шиллера. Приступая к созданию своего нового труда, посвященного Тридцатилетней войне,

Шиллер искал в ее истории разгадки беспомощного положения современной ему Германии.

«История Тридцатилетней войны» открывается изображением обстановки, сложившейся в Германии в результате Аугсбургского религиозного мира, заключенного в середине XVI столетия. Шиллер показывает, что по существу мир этот был лишь временной мерой и война между католиками и протестантами должна была неминуемо вспыхнуть вновь из-за разделявших их глубоких разногласий отнюдь не религиозного порядка. «Если бы причиной несогласия,— пишет Шиллер,— были только взгляды, как равнодушно смотрели бы все на это несогласие! Но с этими взглядами были связаны богатства, высокие звания, права...» И далее Шиллер указывает на те глубокие социальные и экономические причины, которые привели к войне, и определяет роль религиозной идеологии в истории этой войны. Вскрывая неразрывную связь между Реформацией и Тридцатилетней войной, Шиллер вместе с тем показывает ее общеевропейское значение и считает эту войну первым проявлением взаимного политического тяготения европейских государств. Высказанное в несколько парадоксальной форме это положение содержит в себе, однако, чрезвычайно интересную догадку о том, что единый закономерный характер исторического процесса в Европе особенно рельефно стал обнаруживаться именно к середине XVII столетия.

Поставив перед собой задачу создания популярного труда, Шиллер в работе над «Историей Тридцатилетней войны» иначе подходит к источникам. Круг их не так широк, в изложении общего хода событий Шиллер ориентируется на один основной источник — «Историю немцев» Игнаца Шмидта, привлекая другие лишь для освещения интересных деталей.

Одним из существенных недостатков работы является противоречивая и неверная трактовка Шиллером образов Валленштейна и Густава-Адольфа. Крупный земельный магнат Валленштейн, верный слуга императора, более всего способствовавший укреплению императорской власти, изображается как честолюбец, с самого начала подготавливавший заговор против императора. Однако в данном случае ошибку Шиллера легко объяснить: источники, которыми он располагал, не позволяли ему иначе осветить роль Валленштейна. Шиллер и сам указывает на это в своей работе. «Несчастьем для живого,— пишет Шиллер о Валленштейне,— было то, что он восстановил



против себя победоносную партию. Несчастьем для мертвого — что этот враг пережил его и написал его историю».

Сложнее обстоит дело с образом Густава-Адольфа. Круг источников Шиллера был достаточно широк, чтобы позволить ему в основном правильно осветить роль этого выдающегося государственного деятеля, основателя шведского великодержавия. Вместо трезвого политика, тщательно взвешивающего каждый свой шаг, ставящего перед собой весьма конкретные цели, в частности установление господства Швеции на Балтийском море, перед нами вначале предстает благородный спаситель Германии, чтобы к концу повествования обернуться алчным претендентом на императорскую корону. И в том и в другом случае Шиллер отдал дань дурной протестантской традиции и совершенно отошел от исторической правды.

Эти недостатки работы отступают, однако, на задний план перед ее бесспорными достоинствами. Шиллер не только умеет великолепно изобразить батальные сцены, но и показать весь ужас насилия и жестокости, разрушения и гибели, которые влечет за собой война. Высокое мастерство исторической живописи и прозрачная ясность языка являются отличительными особенностями его труда. Книга Шиллера и сейчас является одним из лучших описаний Тридцатилетней войны.

Таково вкратце содержание и значение двух главных исторических сочинений Шиллера. Их влияние на немецкую историографию и немецкую общественность в первой половине XIX века трудно переоценить. Влияние Шиллера-историка не исчерпывается, однако, влиянием его специальных исторических сочинений; гораздо более глубокий след в сознании немецкого народа оставили его исторические драмы. На этом основании Шиллера-историка часто отождествляют с Шиллером-драматургом, а порой всему его историческому творчеству приписывают исключительно подсобную роль, объявляя его исторические сочинения «только обломками мрамора, из которого он высекал образы своих исторических драм».

Между тем связь драматического творчества Шиллера с его работой в области истории гораздо сложнее: изучение истории отразилось на самом творческом методе Шиллера.

Первую драму Шиллера «Фиеско» (1783), сюжет которой был почерпнут из истории, нельзя еще назвать исторической. Шиллер и не ставил перед собой такой цели; в своем обращении к публике он писал, что «один-единственный порыв

души, вызванный смелым вымыслом, значит для меня больше, чем самая строгая историческая правдивость». «От генуезца Фиеско к моему Фиеско должны были перейти лишь имя и маска». Здесь отвлеченная «республиканская трагедия», совершенно заслонила конкретные факты, события и деятелей истории. «Дон Карлос» был первой драмой, в которой Шиллер пытался в какой-то степени следовать источникам. Шиллер поставил себе целью воссоздать в своей драме «эпоху, в которую больше, чем когда-либо, шла речь о правах человека и свободе совести», отразить в ней брожение умов, борьбу предрассудков с разумом, анархию мнений, предрассветную зарю истины, осветившую середину XVI столетия. Но и здесь Испания XVI века служит только декорацией, и здесь герои драмы — наделенный большим умом и проницательностью Филипп II, благородный Дон Карлос, «гражданин мира» маркиз Поза — ничего общего не имеют с реальными историческими лицами и являются лишь воплощением идеи автора. И здесь абстрактный конфликт политических принципов — конфликт деспотизма и свободы — заслоняет конкретную историческую действительность. Именно к ранним историческим драмам Шиллера более всего относится замечание Маркса о том, что их персонажи представляют собой «простые рупоры духа, времени»<sup>1</sup>.

Более чем десять лет углубленного изучения истории отделяют «Дон Карлоса» от следующего драматического произведения Шиллера — его исторической трилогии «Валленштейн» (1796—1799). Иные задачи ставит теперь перед собой Шиллер: оживить перед взором зрителя «мрачную минувшую годину» Тридцатилетней войны. Шиллер и сам противопоставляет «Валленштейна» своим ранним драмам: «Прежде я старался, например в Позе и Карлосе, заменить недостающую правду прекрасным идеалом, теперь, в Валленштейне, я хочу за отсутствующий идеал (сентиментальный) вознаградить голдой правдой». В соответствии с изменившейся задачей изменились и методы творчества. Действия и характеры выводятся из их времени. В исторических источниках Шиллер сознательно ищет «ограничения, чтобы строго определить свои мысли окружающими обстоятельствами...». Поэтому в драме Валленштейн изображается Шиллером только как честолюбив-

---

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения. Издание первое, т. XXV, стр. 252.

вый заговорщик, мечтающий о короне. Не вина Шиллера, что на этот раз, введенный в заблуждение источниками, он отошел от исторической правды. Абстрактный морально-этический момент, с помощью которого разрешается в трилогии драматическая коллизия, еще более искажает историю.

Подлинным достижением Шиллера в трилогии является изображение армии Валленштейна. Сцены из «Лагерь Валленштейна» живо воскрешают перед зрителем картины этого смутного времени немецкой истории.

Глубоко реалистическое изображение армии явилось шагом по пути более глубокого понимания роли масс в истории, — в этом заключается большой творческий успех Шиллера. Однако у Шиллера армия выступает как единственная движущая сила истории, армия кажется ему «безбрежной равниной», которую «невозможно и представить себе зрительно», а можно только «создать в воображении». Иными словами, Шиллер не видит еще главной движущей силы истории, не видит самого народа. В силу всего изложенного влияние шиллеровской трилогии было двояким. С одной стороны, нарисованная гениальным мастером картина бедствий Германии в прошлом внушала читателю отвращение к войнам, с другой — ошибочное представление об этом прошлом, внушенное тем же гениальным мастером, оказалось чрезвычайно стойким и долгое время служило препятствием для развития научной историографии Тридцатилетней войны.

Последние годы жизни Шиллера были целиком посвящены драматическому творчеству. «Мария Стюарт» (1800), «Орлеанская дева» (1801) и, наконец, «Вильгельм Телль» (1804) явились могучими заключительными аккордами в том прекрасном творческом целом, которое оставил нам Шиллер. Неоконченной осталась драма из русской истории «Деметриус».

Наибольший успех выпал на долю «Вильгельма Телля» — драмы, в которой Шиллер впервые сумел во весь рост показать борьбу народных масс за освобождение от феодального гнета.

Историки-специалисты могут сделать много упреков в адрес Шиллера-драматурга: отход от исторических фактов в последних актах «Орлеанской дэвы» ради усиления морально-этического момента в драме, некоторая идеализация патриархальной Швейцарии в «Вильгельме Телле», полное игнорирование действительного исторического образа польского короля Сигизмунда в драме «Деметриус» и т. д. Все эти недостатки,

однако, покажутся мелочами, если сопоставить их с тем огромным революционизирующим действием, которое оказали драмы Шиллера на его современников и многие последующие поколения. В сущности сила влияния этих драм определялась как раз тем, что с исторической точки зрения является их слабостью. В них изображаются не столько политические конфликты прошлого, сколько конфликт окружающей Шиллера действительности, борьба восходящей буржуазии с гибнущим феодальным классом. Поэтому, возможно, для современных читателей наиболее историческими являются те из драм Шиллера, которые он посвятил своему времени.

Наконец, главное достоинство исторических драм Шиллера заключается в том, что Шиллеру-художнику удалось показать то, чего не сумел сделать Шиллер-историк, — показать народ как главную движущую силу, как творца истории.

Большой интерес представляют взгляды Шиллера в области философии истории. В его исторических произведениях нашли отражение те противоречивые влияния, которые оказали на него, с одной стороны, идеалистическая философия Канта, а с другой — идеи французских материалистов и Гердера. Наиболее полное изложение взглядов Шиллера мы находим в его лекциях по всемирной истории. Историко-философские воззрения Шиллера не отличались последовательностью, он часто колеблется от идеализма в общих тезисах до материалистических выводов в частности.

Исторический процесс Шиллер считает закономерной цепью событий, связанных между собой как причина со следствием. Закономерность эта, однако, понимается Шиллером идеалистически, как «гармония» внутреннего мира человека, «пересаженная вовне, в мир вещей».

Идея прогресса проходит красной нитью через все философские построения Шиллера. Шиллер верит в светлое будущее человека. Он фактически отбрасывает библейскую легенду о «золотом веке», который якобы существовал на заре человечества. Так называемое грехопадение он считает исполинским шагом вперед, благодаря которому «человек превратился из раба естественных побуждений в создание, действующее свободно». Шиллер не идеализирует прошлое; в отличие от реакционных романтиков он осуждает средневековье, ату более

пизкую по сравнению с современностью ступень развития человеческого общества. Человеческое общество непрерывно развивается по восходящей линии, это развитие приведет в будущем к полному освобождению человека.

Это развитие человечества Шиллер понимает не как простое поступательное движение, а как сложное, диалектическое. Так, например, он различает три ступени в развитии культуры. На первой ступени стояли греки, которые воспринимали мир только как целое и не различали в нем отдельного; современники Шиллера, напротив, имеют ясное представление об отдельных предметах, но не видят их общей взаимосвязи; третья ступень должна явиться синтезом двух первых, и тогда греческий идеал будет превзойден.

Развитие человечества совершается, однако, по мнению Шиллера, путем медленной эволюции, «под незаметным и непрерывным воздействием мыслящих голов». К этому отрицанию революционного пути Шиллер пришел не сразу. Правда, элементы компромисса имелись у Шиллера и раньше (об этом свидетельствует, например, его трактовка иконоборческих восстаний в Нидерландах), но перелом в его мировоззрении произошел в связи с французской революцией. Как и большинство представителей немецкой интеллигенции, Шиллер приветствовал первые ее шаги, но он не мог поспеть за ходом событий во Франции и не понял великого значения народного террора. Не понял он также значения коммуны, организованной немецкими революционерами во главе с Георгом Форстером в городе Майнце, занятом французской революционной армией. По мнению Шиллера, попытка французского народа завоевать политическую свободу показала лишь то, что народные массы пока не способны воспользоваться свободой. Отсюда отдельные высказывания Шиллера о незрелости народных масс, о пагубности политической борьбы и т. п. Отсюда и конечный вывод его об эстетическом воспитании человека как о единственном пути развития человечества.

Корни этих заблуждений надо искать прежде всего в окружающей Шиллера немецкой действительности. Германия, раздробленная на сотни мелких государств, была в очень слабой степени затронута современным экономическим развитием, и поэтому социальные противоречия обнаруживались здесь не так ясно, как в соседней Франции. Немецкий народ, страдавший от произвола сотен мелких тиранов, был вследствие все

той же раздробленности скован местными традициями и предрассудками и не способен к широкому, общественному движению в масштабе всей страны. А хилое немецкое бюргерство, рассеянное по множеству городов и городишек, было не способно возглавить такое движение.

Такова была окружавшая Шиллера действительность. Не сумев высвободиться из «ореховой скорлупы» немецкого филистерства, он, хотя и видел, как «мелки и жалки» общественные отношения в тогдашней Германии, но не мог до конца преодолеть их влияние.

Взгляды Шиллера на государство и его законы во многом определяются влиянием Монтескье. Вслед за Монтескье он признает связь законов с географическими условиями, экономикой, религией и т. д. Роль законов и государства он видит в их содействии прогрессу человечества. «Хороши и похвальны те из них, — пишет Шиллер, — которые, способствуя движению цивилизации вперед или по крайней мере не тормозя его, развивают все заложенные в человеке силы». С этой точки зрения он резко осуждает, например, военизированное государственное устройство в древней Спарте.

Возникновение государства Шиллер ставит в зависимость от воли людей. «Величайшее государство — творение человеческих рук». Творцом государства, творцом истории в целом является сам человек. «Человек, сам источник силы и творец мысли», — пишет Шиллер.

Большой интерес представляют взгляды Шиллера на нацию. В своей концепции Шиллер исходил из той посылки, что развитие человечества в форме наций есть уже пройденный этап, а XVIII век — это уже канун слияния отдельных наций в единое человеческое общество. «Отечественные интересы важны только для незрелых наций, для молодежи мира», — писал он. Не кто иной, как Шиллер поднял на щит в новое время принадлежащее древнегреческому философу Диогену выражение «гражданин мира». Идеи, опровергнутые последующим ходом истории, между тем играли в XVIII веке прогрессивную роль; они выражали централизаторскую тенденцию поднимающегося капитализма, ломавшего бесчисленные перегородки феодального общества. Космополитизм просветителей являлся лишь выражением того факта, что их прогрессивные и революционные идеи не признавали политических границ, проникая во все уголки цивилизованного мира. Эта идея играла

особенно прогрессивную роль в Германии, где «отечественными интересами» приходилось подчас считать интересы какого-нибудь карликового княжества и где национальная литература была едва ли не самым важным проявлением единства нации. О том, как на самом деле близки и дороги были Шиллеру интересы родины, свидетельствуют следующие строки из его письма к другу: «Ни одному писателю, будь он по воззрениям каким угодно «другом человечества», в своих представлениях не убежать от своей родины».

Творческое наследие Шиллера в области истории еще не получило должной оценки в мировой литературе. Биографы-литературоведы обычно рассматривают занятия Шиллера историей только как школу реализма; представители позднейших критических школ в буржуазной историографии, как, например, Нибур, исходя из узкоспециальных интересов науки, дают подчас несправедливую оценку его творчеству. Между тем, оценивая наследие Шиллера, не следует забывать общий уровень достижений историографии той эпохи. Источниковедение в XVIII веке, особенно по вопросам новой истории, было еще в зачаточном состоянии, и некоторые высказывания Шиллера представляли определенный интерес. Так, еще в своей вступительной лекции Шиллер говорит о значении письменных источников как единственно доступных исследователю, указывая в то же время на возможные случаи искажения в них действительного объективного хода событий. Особую важность придает Шиллер мемуарам как самому живому памятнику старины. Понятие мемуаров он обстоятельно и вместе с тем четко формулирует в своем предисловии к «Полному собранию мемуаров». Следует отметить, что издание этой серии исторических мемуаров, хотя подготовка текстов и не соответствует требованиям современной науки, явилось ценным вкладом в немецкую историографию того периода. При всем своеобразии подхода Шиллера-художника к источникам его отличает поразительная добросовестность при их использовании. «Факты,— говорит Шиллер,— недоступны для нашего своеволия».

В то же время в своем стремлении познать закономерности истории Шиллер подвергает источники своеобразной философской критике.

«Если история,— пишет Шиллер,— будь она основана на достовернейших хрониках, не могла свершиться, то есть если разум не может усмотреть в ней связи событий, она вздор...»

В связи с той главной задачей, которую ставил перед собой Шиллер популяризацией исторических знаний, он стремился придать своим произведениям высокохудожественную и в то же время доступную форму. Он терпеливо изучает плоские, сухие и бездарные хроники, для того чтобы изложить описанные события в живой и яркой форме, облечь «снелет» истории «нервами и мускулами». Он предъявляет большие требования к языку своих произведений и, постоянно совершенствуясь, создает высокие образцы классической немецкой исторической прозы.

Главным достижением историографии XVIII века было рассмотрение отдельных исторических событий как единого исторического процесса. Идея прогресса человеческого общества принадлежит просветителям этого столетия, тогда же появилось понятие философии истории, которое обычно связывают с именем Вольтера. Впервые вместо описательной исторической литературы появляются общие сочинения историко-философского характера. Вольтер и Монтескье во Франции, Гиббон, Юм и Робертсон в Англии, Гердер в Германии были наиболее выдающимися представителями нового направления в историографии. Труды Шиллера-историка принадлежат к этому же направлению. Один из крупнейших исторических писателей своего времени, Шиллер стоит в одном ряду с теми великими просветителями, которые несли в народ прогрессивные идеи своего века. Творческое наследие Шиллера в области истории сохраняет свое значение и в наше время. В своих произведениях Шиллер с огромной силой показал, какую губительную роль играют войны в истории человечества. Отвергая всякую идеализацию милитаристской Пруссии, он со всей решительностью провозгласил идею мирного развития немецкого народа, идею бесконечного мирного прогресса всего человечества.

*Н. ТЕР-АКОПЯН*







# КОММЕНТАРИИ





## ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

### ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА

Стр. 7—398

Стр. 9. *С начала религиозной войны в Германии вплоть до Мюнстерского мира...*— то есть весь период войн и народных восстаний от выступления Лютера против продажи индульгенций в 1517 г. до 1648 г., когда в городах Мюнстере и Оснабрюке в Вестфалии был подписан мир между государствами, принявшими участие в Тридцатилетней войне.

*...гражданской войны, которая в продолжение четырех бурных правлений потрясала самые основы Франции...*— Имеются в виду правления Франциска II (1559—1560), Карла IX (1560—1574), Генриха III (1574—1589) и Генриха IV (1589—1610).

*...враждебные акты, которые предпринимал Филипп II против королевы Английской Елизаветы...*— После целого ряда неудачных заговоров, инспирированных Филиппом II и католической церковью против Елизаветы (1558—1603), Испания объявила Англии войну, окончившуюся гибелью у берегов Англии в 1588 г. испанской эскадры «Непобедимой Армады».

Стр. 10. *...свободной и непорабощенной вышла Европа из этой страшной войны...*— Оценка, которую Шиллер дает здесь результатам Тридцатилетней войны, сильно преувеличена. Главным положительным результатом войны было поражение австрийских и испанских Габсбургов, которые возглавляли лагерь феодально-католической реакции в Европе и вынашивали планы создания универсальной монархии. Поражение в Тридцатилетней войне означало полный крах этих планов. Война на континенте помешала также феодальным монархиям орга-

низовать интервенцию в Англии, что способствовало победе английской буржуазной революции. Вместе с тем в ряде случаев она привела к усилению реакции. Так, например, в Германии она подорвала основу экономики — крестьянское хозяйство и повела к дальнейшему усилению зависимости крестьян от феодалов-землевладельцев. Тридцатилетняя война была также одним из факторов, закрепивших уже наметившуюся тенденцию к дальнейшему раздроблению Германии.

Стр. 11. *Если бы Карл V... не позволил себе посягнуть на политическую свободу германских чинов...*— В 1526 г. рейхстаг в Шпейере принял постановление о предоставлении каждому князю права решать вопрос о религии своих подданных. Однако в 1529 г. Карл V, опираясь на католических князей, добился отмены этого решения. Этот шаг явился поводом к организации союза протестантских князей.

*Чины* — сословные представительства. В средневековой Германии одним из органов центральной власти был рейхстаг, или имперский сейм; он ведал вопросами законодательства и финансов. В XVI в. сейм распался на три коллегии (курфюрстов, князей и городов). С 1663 г. стал постоянным учреждением с резиденцией в Регенсбурге; прекратил свое существование в 1806 г., когда была упразднена Священная Римская империя германской нации.

*Не будь властолюбия Гизов, вряд ли кальвинистам во Франции довелось бы видеть Конде или Колиньи своими вождями...*— Имеются в виду представители Лотарингского герцогского дома: Франсуа Гиз, главнокомандующий королевской армией, и кардинал лотарингский Карл Гиз, возглавлявшие одну из двух феодально-аристократических клик накануне «религиозных войн» во Франции (1562—1594). В отличие от клики Гизов, выступавшей в роли защитницы «истинной» католической веры, ее противники, возглавленные представителями Бурбонского дома: Антуаном Бурбонским, принцем Конде и Генрихом Наваррским, а также крупнейшим аристократом — адмиралом Гаспаром де Колиньи, исповедовали кальвинизм. Принадлежность к протестантской или католической религии была для дворян, членов соперничавших клик, лишь вопросом тактики в борьбе за власть. Дворяне-протестанты получили между тем в годы войны поддержку широких слоев буржуазии и городского плебса, для которых кальвинизм являлся выражением социального протеста против существующих порядков.

*...не будь... десятины и двадцатины, папский престол никогда не потерял бы соединенных Нидерландов.*— Имеются в виду введенные герцогом Альбой в 1569 г. налоги в десять процентов с продажи движимых имуществ и пять процентов с продажи недвижимых имуществ. Эта налоговая система подрывала важнейшие отрасли нидерландской экономики — торговлю и промышленность. Деловая жизнь в стране была парализована. Такая политика испанцев вызвала всеобщее возмущение населения и способствовала победе революционных сил.

Стр. 12. *...неожиданно возросшее могущество Австрийского... дома...*— В 1519 г. на императорский престол в Германии был избран под именем Карла V сын австрийского эрцгерцога Филиппа и Хуаны Безумной, испанской инфанты. Еще ранее, в 1516 г., Карл унаследовал от матери испанский престол. В результате этого под власть Габсбургов перешли Испания, Неаполь, Сицилия, Сардиния и колонии в Америке.

*Упразднение чужой юрисдикции в их государствах...*— Имеется в виду церковная юрисдикция.

Стр. 13. *...привержены папскому престолу со слепой преданностью... испанцев... во времена готского владычества.*— Это утверждение неточно. В период готского владычества еще не существовало испанской национальности. Вестготские племена вторглись в Испанию в середине V в. В VII в. арабы завоевали почти весь Пиренейский полуостров, только на севере сохранились христианские государства — Астурия и Наварра, откуда началось обратное отвоевание Испании у арабов (по-испански — реконкиста). Именно в период реконкисты (X—XIII вв.), протекавшей под знаменем борьбы христианской религии против мусульманской, окрепла позиция католической церкви в Испании.

*...учениям Лютера и Кальвина...*— Лютеранство — самое раннее течение в Реформации. Учение Лютера отражало взгляды той части немецкого бюргерства, которая стремилась к компромиссу с князьями. Исходные принципы лютеранства, впервые сформулированные Лютером в 1517 г. в его знаменитых 95 тезисах против продажи индульгенций, ставили авторитет «священного писания» выше авторитета церкви и духовенства. Первоначально лютеранство не исключало более радикальных направлений, однако впоследствии это течение все яснее обнаруживает свой умеренный характер, а в ходе крестьянской войны 1524—1525 гг. Лютер и его сторонники предали народное движение и выступили в поддержку князей.

Кальвинизм — воинствующее течение в протестантизме, отражавшее взгляды наиболее смелой части буржуазии. Кальвин в связи с преследованиями протестантов во Франции был вынужден покинуть родину и поселиться в Швейцарии. Женева стала «крепостью» Кальвина, откуда он пропагандировал свое учение. В книге «Наставление в христианской вере», опубликованной в 1536 г., Кальвин выдвинул идею божественного «предопределения», согласно которой одним людям с самого рождения суждено блаженство в раю, в то время как другие обречены на страдания. Но людям не дано знать, что им предопределено, и каждый должен стараться заслужить «блаженство». Учение Кальвина о «предопределении» отражает жестокие законы слепой конкуренции, господствующие в буржуазных отношениях.

*...соперник в лице короля французского...*— Франциск I, правивший с 1515 по 1547 г. Французская монархия начала свои захватнические действия в Италии еще в конце XV в.

Стр. 14. *...преемников Фердинанда I...*— Фердинанд I был избран императором после отречения его брата Карла V в 1555 г. Ближайшими преемниками его на престоле были Максимилиан II (1564—1576) и Рудольф II (1576—1612).

Стр. 16. *Боязнь... варфоломеевских ночей...*— В ночь на 24 августа 1572 г. (под праздник св. Варфоломея) католики под влиянием духовенства и по приказу короля Карла IX устроили резню протестантов в Париже. Название этого события стало нарицательным.

Стр. 18. *...после победы Карла V при Мюльберге...*— апрель 1547 г.

*Казалось, что со Шмалькальденским союзом... погибла свобода Германии...*— Союз протестантских князей Германии, возникший в 1531 г. для защиты дела Реформации. После поражения в войне против императора в 1546—1548 гг. (так называемая Шмалькальденская война) союз распался. По соглашению князей с императором Карлом V в Аугсбурге в 1548 г., католицизм, слегка реформированный, должен был быть восстановлен по всей Германии. Однако, боясь усиления императорской власти, часть католических князей совместно с протестантскими заключила в 1552 г. союз с французским королем Генрихом II и возобновила борьбу против императора. Война на этот раз окончилась победой князей. Переговоры на конгрессе в Пассау в 1552 г., а затем на сейме в Аугсбурге в 1555 г. окончились подписанием Аугсбургского религиозного мира, по которому

князьям предоставлялось право решать вопрос о вероисповедании своих подданных.

*...она воскресла в Морице Саксонском, ее опаснейшем враге.*— Мориц, курфюрст Саксонии, предал в 1546 г. Шмалькальденский союз, войдя в соглашение с императором. Вслед за тем, однако, он изменил императору и развил большую активность для организации нового союза князей. В 1552 г. Карл V, окруженный его войсками, с трудом избежал пленения.

*...аугсбургское исповедание...*— Под таким названием получило известность систематическое изложение воззрений Лютера, представленное на Аугсбургском сейме в 1530 г. императору Карлу V ближайшим сотрудником Лютера Меланхтоном. Аугсбургское исповедание, в отличие от первых сочинений Лютера, признавало необходимость официальной церкви, правда реформированной в духе буржуазных требований «дешевой» церкви.

Стр. 24. *Учение, распространенное Цвингли в Цюрихе...*— Ульрих Цвингли (1484—1531) — выдающийся швейцарский гуманист и деятель Реформации. Учение Цвингли — цвинглианство — по своим религиозно-догматическим принципам во многом совпадало с лютеранством. Цвинглианство, однако, гораздо решительнее порывало связь с мистикой и обрядовой стороной богослужения и, в противоположность лютеранству, отличалось республиканизмом. Социально-политические взгляды Цвингли отражали специфически швейцарские черты Реформации. Он выступает как сторонник мелкой собственности, противник крепостничества, борется против получившего распространение в Швейцарии военного наемничества. Вместе с тем Цвингли идеализирует средневековье, отстаивает провинциальную замкнутость и политическую изоляцию Швейцарии.

Стр. 27. *...вселенский собор... в городе Триденте* (Триенте) — продолжался с перерывами с 1545 до 1563 г. Собор осудил положения протестантских исповеданий как ересь и объявил авторитет папы выше авторитета соборов. Особую активность проявляли на соборе иезуиты.

Стр. 28. *...нескончаемую турецкую войну...*— В 1529 г. турецкие армии впервые осадили Вену. Начиная с этого момента военные действия на турецко-австрийской границе не прерывались почти в течение двух столетий. В 1683 г. турки вновь дошли до стен австрийской столицы. Только вмешательство России помогло в XVIII в. остановить турецкую агрессию в Европе.



Стр. 32. *...венгры подчинились Австрийскому дому...*— Тяжелое поражение, нанесенное турками при Могаче в 1526 г., привело к ликвидации самостоятельного Венгерского государства. Часть магнатов, собравшаяся на сейм в Братиславе, провозгласила королем Венгрии Фердинанда Габсбурга (в 1556 г. избран на императорский престол); в то же время другая часть дворянства избрала королем трансильванского воеводу Яноша Запольяи, получившего поддержку турецкого султана. С этого момента Венгрия на два столетия превращается в арену войн между Турцией и Австрией.

Стр. 33. *...Баторий, Бочкай, Ракоци, Бетлен...*— Стефан Баторий — воевода Трансильвании в 1571—1576 гг.; в 1576 г. был избран польским королем. Иштван Бочкай (1557—1606) — венгерский дворянин, возглавил восстание против Габсбургов; после разгрома австрийской армии в 1605 г. был избран правителем австрийской части Венгрии и князем Трансильвании. Бочкай сумел привлечь к участию в восстании широкие массы крестьян. Крестьянство, однако, почти ничего не выиграло в результате победы восстания: по Венскому миру 1606 г., подтвердившему независимость Трансильвании, только дворянство восстановило свои сословные привилегии и получило свободу вероисповедания. Дьердь Ракоци I — трансильванский князь (1630—1648), в союзе с Швецией и Францией продолжал войну против Габсбургов и добился по миру в Линце (1645) расширения трансильванской территории и нового подтверждения свободы протестантского вероисповедания. Габор Бетлен (1580—1629) в 1613 г. при поддержке турок получил власть над Трансильванией, ставил своей задачей восстановление независимости Венгерского государства. Его участие в Тридцатилетней войне описано Шиллером в настоящем произведении.

Стр. 34. *...Матвей... появился в Нидерландах.*— Эрцгерцог Матвей был приглашен в 1577 г. контрреволюционным дворянством Южных Нидерландов. Этот акт был связан с борьбой дворянства против развернувшегося на юге демократического движения.

*Пресбург* — немецкое название чешского города Братислава.

Стр. 35. *В Чехии... загорелось впервые пламя религиозной войны...*— Имеются в виду так называемые гуситские войны первой половины XV столетия, получившие свое название от имени Яна Гуса (1369—1415), вождя Реформации в Чехии и

выдающегося деятеля национально-освободительного движения. Гуситские войны были одним из величайших антифеодальных движений, подготовивших европейскую Реформацию XVI в.

*...приверженцы ее были известны под именем утраквистов...*— Утраквисты, или чашники,— умеренное течение в движении гуситов. Название свое течение получило от лозунга о причащении мирян «под обоими видами» (и хлебом и вином из чаши). Социальный смысл этого лозунга, общий для всего гуситского движения, состоял в требовании уничтожения привилегированного положения духовенства. Чашники выражали интересы зажиточных горожан и части чешского дворянства, выступавших за национальную независимость, отчуждение земельных владений католической церкви, за независимую национальную церковь. Чашники вместе с тем выступали против антифеодальных революционных требований крестьянства; представителями которого были табориты (название происходит от города Табор). Табориты проповедовали идею имущественного и общественного равенства. Выступая совместно против сил феодальной реакции, табориты и чашники нанесли им ряд сокрушительных поражений. Однако в конце концов чашники, заключив компромисс с силами феодальной реакции, разгромили в 1434 г. армию таборитов.

*...секта чешских и моравских братьев...*— основана религиозным писателем и философом Петром Хельчицким (1390—1460). После разгрома таборитов к секте «чешских братьев» примкнуло много сторонников этого движения. Проповедь имущественного и социального равенства сближала вероучение секты с принципами таборитов. Наряду с этим «чешские братья», однако, отвергали всякое насилие и требовали полного подчинения светским властям. В XV—XVI вв. секта развернула значительную просветительную деятельность.

Стр. 37. *Консистерия* — коллегиальный орган церковного управления.

Стр. 38. *...выбирать из своей среды дефензоров, или защитников свободы.*— Имеется в виду свобода вероисповедания. «Грамота величества» давала право всем не католикам избирать из своей среды дефензоров (защитников), которые наблюдали за точным соблюдением свободы вероисповедания.

Стр. 43. *Трухзес* — в средние века в Германии придворный, в функции которого входило управление хозяйством императора. Со временем это звание приобрело в некоторых дворянских

домах, в частности в доме фон Вальдбургов, характер почетного наследственного титула.

Стр. 44. *...члены соборного капитула в Кельне...*— Капитул, в католической церкви,— коллегия духовных лиц при епископской кафедре, которой принадлежит право избрания епископа.

Стр. 49. *Золотая булла* — изданный в 1356 г. императором Карлом IV акт, по которому признавалась полная политическая самостоятельность курфюрстов. Булла подтверждала за курфюрстами право избрания императоров (само слово «курфюрст» означает по-немецки князь-избиратель) — право, присвоенное этими крупнейшими феодалами Германии еще в XIII в. Согласно определению буллы в состав коллегии курфюрстов входили три духовных (архиепископы Кельнский, Майнцкий и Трирский) и четыре светских князя (пфальцграф Рейнский, маркграф Бранденбургский, герцог Саксонский и король Чешский). Булла разрешала войны между имперскими феодалами и провозглашала невмешательство императора во внутренние дела князей и вольных городов. Золотая булла, этот, по выражению Маркса, «основной закон немецкого самовластья», способствовала дальнейшему раздроблению Германии.

Стр. 53. *...в груди, где текла капля крови Фердинанда Арагонского.*— Фердинанд, король Арагона (ум. в 1516 г.),— дед Карла V Габсбурга. Шиллер намекает на постоянное стремление Фердинанда расширять свои владения. В 1479 г. в результате брака Фердинанда с Изабеллой Кастильской возникло объединенное Испанское государство.

Стр. 54. *...вражда Ганнибала к народу Ромула...*— Ромул, по преданию (вместе с братом Ремом), основал город Рим, название которого связывают с его именем. Ганнибал (247—183 гг. до н. э.) — карфагенский полководец, одержавший над римлянами ряд побед, поставивших под угрозу само существование Римского государства.

Стр. 55. *Кинжал Равальяка спас Австрию...*— Равальяк в 1610 г. убил Генриха IV.

Стр. 65. *Бургграф* — в средние века в Германии назначаемый императором градоправитель, обладавший военной и судебной властью в пределах города и округа. С XIII в. значение бургграфов падает.

Стр. 71. *Валлоны* — народность, населяющая некоторые провинции Южных Нидерландов (современной Бельгии) и говорящая на валлонском диалекте французского языка.

Стр. 74. ...Фердинанд лично отправился в Лоретто...— город в Италии, в котором, по преданию, жила богоматерь. Лоретто является местом паломничества для католических богомольцев.

Стр. 75. Паладин — верный рыцарь, доблестный защитник; в средние века — рыцари, входившие в свиту государя.

Стр. 95. ...при Филиппе III и Филиппе IV...— испанские короли (1598—1621 и 1621—1665). Упадок Испании был обусловлен ее экономической и политической структурой: ведущая роль принадлежала здесь реакционному дворянству и католической церкви, пользовавшимся неограниченной поддержкой королевской власти. В этих условиях экономика Испании стала отставать от экономики соседних стран, где существовал больший простор для развития новых капиталистических отношений. Явления экономического упадка Испании наблюдались уже в царствование Филиппа II. Изгнание мавров и морисков в 1609—1611 гг. еще больше подорвало экономику страны. Упадок сказался в военных поражениях Испании. В 1609 г. перемирие с Голландией означало фактическое признание ее независимости. В 1640 г. отделилась Португалия. Флот Испании не в силах был противостоять английским и голландским каперам. В Тридцатилетней войне, в борьбе с Францией и Голландией, Испания также потерпела поражения, зафиксированные Испано-голландским миром в Мюнстере в 1648 г. и Пиренейским миром с Францией в 1659 г.

Ради Индии обезлюдил Испанию...— Имеются в виду испанские владения в Америке.

Стр. 97. ...в бурный период малолетства наследника — Людовика XIII.

Стр. 98. ...Англия... увеличенная недавним присоединением Шотландии...— Имеется в виду уния Англии и Шотландии при Якове I Стюарте в 1603 г.

Стр. 99. ...Яков отдал свою дочь, внуков и зятя на произвол... победителя.— Старшая дочь Якова I, Елизавета, в 1613 г. стала женой пфальцграфа Фридриха V. Сын их, принц Руперт (1619—1682), был активным деятелем роялистской партии в период английской революции.

...придурковатый отец сам побудил своего жаждавшего приключений сына к скomorошеству, которое привело испанскую инфанту в изумление.— Шиллер намекает на эпизод, имевший место в 1623 г., во время поездки принца Уэльского (с 1625 г. король Карл I) в Испанию. Принц прибыл в страну

инкогнито для сватовства к испанской инфанте. Его попытка познакомиться с инфантой во время ее прогулки была расценена как нарушение этикета и послужила одним из поводов для отказа со стороны испанского двора.

Стр. 100. *За время... правления Христиана IV Дания стала видной державой.*— Христиан IV — датский король (1588—1648). В период его правления Дания достигает большого экономического и культурного расцвета. Доходы от балтийской торговли и расширение сельскохозяйственного экспорта обогащают датское дворянство и купечество, возникает ряд торговых компаний, предпринимаются экспедиции с целью колониальных захватов, основываются мануфактуры. Однако крепостная зависимость крестьян являлась препятствием для развития этих ростков капитализма и была причиной отставания Дании по сравнению с такими странами, как Голландия и Англия.

*Швецию Густав Ваза вырвал из рабства...*— Густав Ваза (1496—1560) — шведский дворянин, возглавивший в 1521 г. успешное крестьянское восстание против датчан. Избранный в 1523 г. королем Швеции, он расторг Кальмарскую унию 1397 г. между Швецией и Данией, служившую датским королям предлогом для постоянных вторжений в Швецию. Династия Ваза царствовала в Швеции до 1654 г. Другая ветвь этого дома царствовала в Польше с 1587 до 1668 г. При Сигизмунде Ваза Польша и Швеция были объединены личной унией (1592—1599).

Стр. 102. *Густав-Адольф... уступками купил мир для того, чтобы обратить оружие против царя Московского.*— Имеется в виду шведская интервенция в России, начавшаяся еще в 1609 г. при Карле IX; в 1611 г. войска Густава-Адольфа захватили Новгород, в 1613 г.— Тихвин. В оккупированных областях развернулась партизанская борьба против шведов. В 1615 г. шведские войска при попытке захватить Псков потерпели тяжелое поражение от русских военных сил во главе с воеводами Бутурлиным и Морозовым. По Столбовскому миру (1617) Швеция очистила Новгород и Тихвин, удержав, однако, за собой Западную Карелию и русскую Прибалтику.

Стр. 103. *...позволила незаметно ввести новую тактику...*— В период Тридцатилетней войны шведская армия была наиболее совершенной в Европе. Ядро этой армии, в отличие от других европейских армий, вербовавшихся почти целиком из наемников, состояло из набираемых по округам шведских крестьян. Благодаря развитию металлургической промышленности в Шве-

ции армия была превосходно вооружена. Шведский мушкетер имел возможность стрелять в два-три раза быстрее, чем его противники; шведская артиллерия была весьма маневренной на поле боя и активно поддерживала пехоту и кавалерию. В составе шведской пехоты мушкетеры играли главную роль, в то время как копейщики (пикинеры) сохранили свое значение в основном в обороне. Немногочисленная конница использовалась в сражении как активная наступательная сила. Большое внимание уделялось снабжению армии. Тактика шведских войск была выработана на основе тщательного изучения военного опыта Нидерландской революции, а также опыта шведско-русской (1609—1617) и шведско-польской (1621—1629) войн. Боевое построение шведской армии двумя равномерно расположенными параллельными линиями позволяло использовать наибольшее количество пушек, развернуть мушкетный огонь и охватить противника с флангов. Такое построение обладало большими преимуществами по сравнению со старыми терциями — глубокими четырехугольными колонками, окаймленными мушкетерами. Стратегия шведов заключалась в стремлении путем маневрирования оттеснить противника на худшие позиции и затем дать сражение. Линейная тактика и стратегия маневрирования господствовала во всех европейских армиях вплоть до французской революции.

Стр. 104. *...Максимилиан Баварский... пожертвовал близким родственником...* — Имеется в виду пфальцграф Фридрих V.

Стр. 106. *Амброзио Спинола (1569—1630)* — крупный испанский полководец, итальянец по происхождению; прославился успешной осадой голландских крепостей.

Стр. 107. *...истечение срока перемирия между Испанией и Голландией...* — Перемирие между этими странами было заключено на двенадцать лет, с 1609 до 1621 г.

Стр. 109. *Нижняя Саксония* — историческая область на северо-западе Германии. Территория Нижнесаксонского округа империи, созданного в 1512 г., охватывает Ганновер, Ольденбург, Бремен, Брауншвейг и Шаумбург-Липпе.

Стр. 124. *...шестьдесят миллиардов талеров.* — Эта цифра сильно преувеличена. По подсчетам некоторых историков — от двухсот до двухсот пятидесяти миллионов талеров.

Стр. 126. *Ганзейский союз* — торгово-политический союз северо-немецких городов, существовавший в XIV—XVII вв.

Стр. 136. *Конклав* — собрание кардиналов для избрания

папы, узаконенное в XIII в. Собрания проходят в изолированном помещении («под ключом» — отсюда «конклав»), для того чтобы создать иллюзию независимости выборов от борьбы партий.

Стр. 144. *...Испания, ослабленная потерей своего американского флота, перевозившего серебро...*— Имеется в виду захват голландской эскадрой под командованием адмирала Питера Хейна в 1628 г. каравана испанских судов с грузом серебра, стоимость которого оценивалась в двенадцать миллионов голландских гульденов.

Стр. 167. *...пример Маастрихта...*— Укрепленный город в Нидерландах, взятый испанскими войсками в 1579 г., после четырехмесячной осады.

Стр. 170. *«Тебя, бога, славим»* — начальные слова религиозного гимна, исполняемого в католической церкви во время благодарственных молебнов. Гимн восходит еще к VI в.

Стр. 176. *...царь Московский приветствовал его через своих послов, предлагая возобновить дружбу...*— Имеется в виду посольство Племянникова и Аристова в 1631 г. В связи со вступлением Швеции в Тридцатилетнюю войну имело место сближение России и Швеции в конце двадцатых и в тридцатых годах XVII в. Интересы России совпадали с интересами антигабсбургской коалиции. Россия поддерживала ее как экономически, так и политически. Вступление России в войну против союзной с Габсбургами Польши (смоленская война 1632—1634 гг.), хотя и преследовало национальные цели, было в то же время косвенной военной помощью антигабсбургской коалиции.

*...история ничего... не может сообщить о деяниях англичан в Тридцатилетнюю войну.*— Англия не принимала прямого участия в военных операциях на территории Германии в период Тридцатилетней войны, однако до начала буржуазной революции в 1642 г. Англия проявляла значительную дипломатическую активность и в ряде случаев оказывала материальную помощь протестантским государствам. Следует, кроме того, отметить, что между событиями на континенте и революционными событиями в Англии существовала самая тесная взаимосвязь. Она выражалась не только в том, что война не давала возможности европейским монархам организовать интервенцию для поддержки английских роялистов, но прежде всего в том значительном влиянии, которое английские события 1642—1649 гг. оказали на революционизирование буржуазии и народных масс в соседних странах, в частности во Франции и в Гол-

ландии. Голландская буржуазия в ряде случаев выступала с прямой политической поддержкой английской революции.

Стр. 192. *...не теряя ариадниной нити...*— Имеется в виду древнегреческий миф об Ариадне, дочери царя Крита, которая помогала афѳинскому герою Тесею убить страшное чудовище Минотавра. Ариадна вручила Тесею клубок ниток, благодаря которому он сумел выйти обратно из Лабиринта — дворца критского царя, где ему пришлось сражаться с чудовищем.

Стр. 200. *...библиотека иезуитов, которую он отправил в Упсалу...*— В Упсале находится знаменитый шведский университет, основанный в 1477 г.

Стр. 209. *...Бернгард даже взял на противоположном берегу Рейна Мышиную башню...*— Название замка связано с легендой о епископе Гаттоне, который погиб здесь от насланных на него полчищ мышей.

Стр. 223. *...фальконетный снаряд...*— Фальконет — старинная пушка небольших размеров, стрелявшая свинцовыми ядрами.

Стр. 240—241. *...король не решился связать свою славу с химерическими замыслами этой отчаянной головы...*— Шиллер опирается на неточные сведения — переговоры между Валленштейном и Густавом-Адольфом велись по инициативе последнего.

Стр. 246. *Монарх потерял в Валленштейне драгоценнейший алмаз своей короны...*— В оригинале игра слов: вторая половина фамилии Валленштейн (*Wallen-stein*) означает по-немецки камень. Как и в драме «Пикколомини», Шиллер намекает на распространенный в период Тридцатилетней войны каламбур.

Стр. 259. *...вооружили новый полк из двадцати четырех рот, с названиями по буквам старого алфавита.*— На красно-белых флажках рот были изображены буквы латинского алфавита (по-немецки *Antiqua*).

Стр. 279. *...упландские, смоландские... ост- и вестготландские полки...*— Упланд, Смоланд, Готланд — исторические области в южной и средней Швеции.

Стр. 281. *...Паппенгейм, Теламонид армии...*— то есть второй герой армии после Валленштейна. Аякс Теламонид (сын Теламона) был вторым по силе и храбрости после Ахилла в армии греков, осаждавших Трою.

Стр. 284. *...орден Золотого руна...*— Орден был основан в середине XV в. бургундским герцогом Филиппом Добрым. Принадлежность к ордену считалась признаком аристократического происхождения. Гроссмейстерами ордена были сами герцоги



Бургундские, а затем государь из дома Габсбургов. Отличием ордена являлась золотая цепь с фигурой агнца — символом смирения, подобающего рыцарям ордена.

Стр. 285. *...повествует Кевенгиллер...*— Имеется в виду книга хрониста Кевенгиллера «Annales Ferdinadei» (кн. 10—12, Лейпциг, 1724—1726), использованная Шиллером в его работе.

*...католический писатель наших дней, заслуги которого признаны...*— Имеется в виду Игнац Шмидт, популярный в XVIII в. немецкий историк. «История немцев» Шмидта («Geschichte der Deutschen»; кн. 6—10, Ульм, 1785—1791) широко использована Шиллером в работе над данным произведением.

Стр. 290. *...остановить победоносное шествие этого гота...*— Так называл Густава-Адольфа французский король Людовик XIII (1610—1643).

Стр. 292. *...обманутый народ с грозным единодушием требовал освобождения от удручавших его тягот.*— В первой половине XVII в. в Швеции имело место общее усиление феодального нажима. Захват земли помещиками ухудшил положение крестьянства. Гнет податей и рекрутчина, связанные с Тридцатилетней войной, еще более обостряли нужду крестьян. Недовольство крестьян проявилось в целом ряде антиналоговых и антипомещичьих выступлений в Швеции в двадцатых — пятидесятых годах XVII столетия. В 1638 г. в западной части страны произошли большие крестьянские волнения, направленные против усиления налогового гнета (именно это событие подразумевает Шиллер). В 1650—1652 гг. имел место массовый отказ от несения барщины. В 1653 г. в области Нерке (средняя Швеция) вспыхнуло восстание, направленное против помещиков.

*...дух древнего Рима времен Бренна и Ганнибала...*— Шиллер намекает на стойкость римских граждан в периоды, когда городу угрожала величайшая опасность. Бренн — легендарный вождь, под предводительством которого галлы в 390 г. до н. э. вторглись в Италию и взяли Рим, за исключением укрепленного холма Капитолия. По преданию, ему принадлежит изречение «горе побежденным», произнесенное им при получении выкупа от римлян.

Стр. 293. *...малолетие его дочери Христины...*— Королева Швеции, последняя из династии Ваза; правила в 1632—1654 гг.

Стр. 299. *Находясь на службе у двух самодержавных государей...*— Имеются в виду шведские короли — Карл IX (1599—1611) и Густав-Адольф (1611—1632).

Стр. 339. ...со времен пророка Самуила никто из тех, кто враждовал с церковью, не завершал счастливо своих дней...— По библейскому преданию, пророк Самуил отрешил первого царя Израиля Саула от власти и помазал на царство его оруженосца Давида.

Стр. 365. ...геройская доблесть возвела немецкого рыцаря даже на императорский трон.— Имеется в виду основатель Священной Римской империи Оттон I.

Стр. 374. Махмед II — турецкий султан (1451—1481), завершил завоевание Византийской империи. В 1453 г. его войсками был взят Константинополь.

Стр. 379. ...победителя при Рокруа, герцога Энзьенского, впоследствии прославившегося под именем принца Конде.— Конде Луи де Бурбон (1621—1686) — французский полководец. При Рокруа (1643) французская армия под его командованием впервые одержала победу над прославленной испанской пехотой.

Стр. 380. Память об этом злополучном дне, сто лет спустя повторившемся при Росбахе...— 5 ноября 1757 г., день, ознаменованный одним из крупных сражений Семилетней войны (1756—1763), в котором прусские войска под командованием Фридриха II разбили соединенные силы французов и австрийцев.

Тюрени Анри де ла Тур д'Овернь (1611—1675) — крупнейший французский полководец XVII столетия, один из выдающихся представителей линейной тактики.

Стр. 382. Тихо Браге (1546—1601) — выдающийся датский астроном. Созданные им инструменты позволяли производить исключительно точные наблюдения за светилами. Последние годы жизни провел при дворе императора Рудольфа II.

Стр. 388. ...голландцы не предприняли обещанной ими на этот год диверсии.— Голландско-испанская война, возобновившаяся в 1621 г., слилась фактически с Тридцатилетней войной. С 1635 г. Голландия вступает в союз с Францией и Швецией для совместной борьбы против Габсбургов. В последние годы войны, однако, активность Голландии резко падает в связи с острой внутренней политической борьбой между партией голландской буржуазной олигархии, выступавшей за скорейшее заключение мира, и сторонниками принцев Оранских, выступавших за продолжение войны.

Стр. 394. ...переговорам в Мюнстере и Оснабрюке...— Переговоры в этих вестфальских городах шли с весны 1644 г.

В январе 1648 г. был подписан сепаратный Испано-голландский мир в Мюнстере. Мирные трактаты между Швецией и Германской империей, а также между Францией и Германской империей были подписаны только в октябре 1648 г. Между Испанией и Францией не было достигнуто соглашения, и испано-французская война продолжалась еще свыше десяти лет.

## СТАТЬИ

### ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЛИКУРГА И СОЛОНА

Стр. 409—448

Стр. 411. *Ликург*.— Государственное устройство, приписываемое Ликургу, относится современной наукой в основном к VIII в. до н. э. Существование самого законодателя хотя и представляется правдоподобным, однако не подтверждено историческими свидетельствами. С V в. до н. э. в Спарте существовал культ Ликурга — бога света.

Стр. 412. *Сенат* — орган государственной власти, носил название герусии, то есть совета геронтов (старейшин). Герусия выполняла функции верховного суда, а также частично военного совета. Геронты в историческое время были выборными лицами. Оба базилевса (царя) были также членами герусии.

Стр. 413. *...продолжатель дела Ликурга... добавил эфоров...*— Коллегия эфоров (наблюдателей) состояла из пяти человек. Относительно времени возникновения и функций этого органа существуют большие разногласия во мнениях античных авторов. Главной задачей эфоров был контроль над действиями царей — базилевсов. Полномочия эфоров были чрезвычайно широкими: от них зависел набор ополчения, они контролировали действия царей в походах и имели право привлечь их к суду.

Стр. 414. *Он повелел всем гражданам Спарты питаться за общим столом...*— Эти трапезы, носившие название сисситий, или фидитий, были одним из проявлений военизированного быта спартанцев. Женщины к участию в сисситиях не допускались и должны были, напротив, вести довольно замкнутый образ жизни.

Стр. 418. *...песнь в честь Кастора...*— Кастор и Полидевк, братья-близнецы (известны также под именем Диоскуры — сыновья Зевса). Культ Диоскуров был широко распространен в Лаконии, а позднее в древнем Риме.

...их звали илотами, ибо первыми рабами спартанцев были жители... Гелоса.— В науке существует также мнение, что само слово «илот» означает покоренный, захваченный в плен. Илоты не были рабами в полном смысле этого слова. Илоты — порабощенное земледельческое население, закрепленное за земельными участками (клерами). Такой участок по жребию отдавался полноправному гражданину Спарты. Ни клеры, ни илоты не могли быть отчуждаемы. Спартанцы по условиям своего быта не могли жить на своих клерах, илоты вели хозяйство самостоятельно и отдавали спартанцам определенную часть урожая. Власть над илотами принадлежала Спартанскому государству в целом. Положение илотов было близким к положению общинных рабов.

Стр. 419. *Это мероприятие называлось криптией...*— Криптии были полицейской мерой, преследовавшей цель предотвращения восстаний илотов путем уничтожения наиболее сильных и опасных из них. Несмотря на зверские расправы с илотами, последние часто восставали; в отдельных случаях восстания илотов угрожали самому существованию Спартанского государства.

*Во время Пелопоннесской войны...*— Война, охватившая всю древнюю Грецию в 431—404 гг. до н. э. Причиной ее была борьба за гегемонию в Греции между афинской рабовладельческой демократией и спартанской рабовладельческой аристократией. В войне принимали участие два крупнейших политических объединения: с одной стороны, Пелопоннесский союз во главе со Спартой, с другой — афинская держава. Первый период войны (так называемая Архидамова война — от имени спартанского царя, вторгшегося в Аттику) завершился в 421 г. до н. э. компромиссным миром. В 415 г. до н. э. война, однако, возобновилась. Афиняне понесли ряд тяжелых поражений на суше, вся Аттика была разорена, в 404 г. до н. э. спартанцы взяли и город Афины. В результате войны власть демократии в Афинах сменилась олигархическим управлением «тридцати».

Стр. 422. *...спартанский царь Леонид и триста героев, сражавшихся с ним вместе...*— Имеется в виду подвиг спартанцев, ценой жизни задержавших продвижение персидской армии у Фермопильского ущелья в 480 г. до н. э. Шиллер приводит известное двустишие греческого поэта Симонида (556—469 гг. до н. э.), высеченное на памятнике, поставленном греками на месте сражения.

Стр. 424. *Насколько более прекрасным предстает нам в своем лагере под стенами Рима грубый воин Гней Марций...* — известен под именем Кориолан. Изгнанный плебсом из Рима, он явился к стенам города в 490 г. до н. э. с вооруженными отрядами племени вольсков. Только по просьбе матери и жены он согласился снять осаду. Этот эпизод использован Шекспиром для одной из своих драм.

Стр. 426. *Ваятели начали с небольших колонн в честь Гермеса и только в последующем возвысились до совершенных форм какого-нибудь Антиноя или ватиканского Аполлона...* — Колонны в честь Гермеса (так называемые гермы), каменные столбы со скульптурным изображением головы бога Гермеса, считавшегося покровителем торговли и путешественников, имели культовое значение и ставились на перекрестках дорог, на улицах и площадях древнегреческих городов, а также во многих общественных зданиях. Антиной — юноша исключительной красоты, любимец римского императора Адриана (117—138), сопровождавший его во всех походах, утонул в Ниле в 122 г. По приказу Адриана было изваяно множество статуй для увековечения красоты Антиноя. Наиболее известная скульптура находится в Луврском музее в Париже. Шиллер имеет в виду находящуюся в Ватикане знаменитую статую Аполлона Бельведерского, приписываемую мастеру Леохару (IV в. до н. э.).

Стр. 427. *Солон* (ок. 639 — ок. 559 гг. до н. э.) — политический деятель и один из первых поэтов древней Аттики. Своим законодательством, охватывающим прежде всего отношения собственности, нанес удар родовой аристократии и расчистил пути для развития рабовладельческой демократии в Афинах. Элегии Солона служат одним из источников изучения социальных отношений в Афинах в VII—VI вв. до н. э.

*После смерти Кодра афиняне упразднили монархию, и верховная власть перешла к должностному лицу... носившему титул архонта.* — Афинские цари известны только по преданиям; Кодр, последний из них, погиб в борьбе с дворянами. Создание института архонтата относится к глубокой древности. Первые архонты с различными функциями избирались, повидимому, наряду с базилевсами. Об этом свидетельствует и тот факт, что звание базилевса носил один из архонтов.

Стр. 430. *Драконт* — один из архонтов древних Афин. «Законы Драконта» представляют собой произведенную около 621 г. до н. э. запись действовавшего в Афинах обычного права.

Шиллер неправильно освещает их сущность. Самый факт кодификации права ограничивал произвол родовой аристократии. Статьи, направленные против кровной мести, свидетельствовали о разложении родового строя и развитии рабовладельческого.

*Рабы... царя царей...*— то есть персидского царя.

Стр. 433. *Сисахфия* — отмена долгов и долговой кабалы, которая явилась одним из поворотных моментов афинской истории. Дальнейшее развитие рабства в Афинах после этого идет уже не за счет членов самой общины, а за счет иноплеменников. Сисахфия была направлена против родовой собственности, лежавшей в основе аристократического землевладения. Вместе с тем эта реформа носила умеренный характер, поскольку не было произведено раздела земли и оставались условия для дальнейшего сосредоточения земель в руках крупных землевладельцев.

Стр. 434. *Имущество всех афинских граждан подверглось оценке, исходя из которой они были разделены на четыре класса или разряда.*— Эти разряды соответственно носили названия: пентакосиомедимны, всадники, зевгиты и феты. Солон, определяя границы между разрядами по доходам с земли, вероятно, подводил под эти категории также и состоятельных представителей торгово-ремесленного населения Афин, не имевших земельной собственности. Это деление населения на имущественные классы легло также в основу распределения военных повинностей.

*...их объединяли по двое, чтобы общий доход обоих был равен тем же тремстам медимнам. Поэтому их называли «парной упряжкой».*— Толкование Шиллера ошибочно. Лица, принадлежавшие к третьему разряду, были владельцами парной упряжки и должны были обладать доходом в двести медимнов (медимн равнялся приблизительно сорока одному литру).

Стр. 435. *Солон учредил сенат, в который вошло по сто человек от каждого из четырех разрядов.*— Члены сената (правильнее — булè, или Совет четырехсот) избирались не от разрядов по имущественному цензу, а от четырех фил или племенных союзов, которые населяли Аттику в древности. Совет четырехсот сохранял, таким образом, архаичные черты родового строя.

Стр. 436. *Посреди Афин находилась обширная, предназначенная для народных собраний площадь... она звалась Пританеем.*— Пританей — здание, находившееся на южной стороне площади, которая называлась агора.

Стр. 437. *...Солон закрепил... республику на двух этих судилищах, то есть сенате и ареопаге...*— Совет четырехсот не был

судебным учреждением. Ареопаг — высший государственный совет, восходящий к глубокой древности. Его состав пополнялся бывшими архонтами. Законы Солона сузили компетенцию ареопага, часть его функций отошла к Совету четырехсот и к народному собранию.

Стр. 438. *Гелиэя* — суд присяжных, в котором могли принимать участие все граждане. Компетенция этого учреждения была чрезвычайно широкой: оно принимало отчеты должностных лиц, имело права расторжения государственных и частных договоров, а также занималось разбирательством всех дел, кроме уголовных, которые находились в ведении ареопага. Гелиэя наряду с народным собранием была наиболее демократическим органом Афинского государства.

Стр. 444. *Сократ, Фукидид, Софокл, Платон.* — Сократ (469—399 гг. до н. э.) и Платон (427—347 гг. до н. э.) — крупнейшие философы-идеалисты древней Греции; Фукидид (455—396 гг. до н. э.) — выдающийся историк; Софокл (497—406 гг. до н. э.) — великий драматург. Все они были жителями Афин.

Стр. 444—445. *...приводил в содрогание и полчища Ксеркса...* — Персидский царь Ксеркс (486—465 гг. до н. э.), из династии Ахеменидов, предпринял в 480—479 гг. до н. э. поход в Грецию. По подсчетам немецкого историка военного искусства Дельбрюка, армия Ксеркса насчитывала двести тысяч бойцов. Грекам эта армия, превосходившая во много раз их силы, представлялась огромной; так, Геродот оценивает ее численность в 5 283 220 человек — цифра невероятная для того времени.

Стр. 445. *...во время войны с Филиппом, царем македонским...* — Имеется в виду отец Александра Македонского, царствовавший в 359—336 гг. до н. э.

Стр. 446. *Аристофан* (450—388 гг. до н. э.) — древнегреческий комедиограф. Произведения его являются ценным источником для изучения социальной и политической борьбы в Афинах в V—IV вв. до н. э.

Стр. 447. *...побывал при дворе египетского царя в Саисе. Рассказы о его встречах с Фалесом Милетским...* — Сведения о путешествиях Солона содержатся в «Истории» Геродота. Саис — город в дельте Нила, столица фараонов позднего Египта. По преданию, Солон заимствовал некоторые законы фараона Яхмоса II (Амазиса, 569—526 гг. до н. э.). Фалес Милетский (624—547 гг. до н. э.) — основоположник греческой науки и философии.

...Солон нашел государство, раздираемое на части борьбою трех партий, во главе которых стояли... Мегакл и Писистрат.— Мегакл возглавлял партию паралиев — жителей приморской полосы, где преобладали торговцы и ремесленники. Паралии стояли за сохранение солоновского устройства. Писистрат был вождем диакриев — крестьян гористой части Аттики, которые требовали передела земли. Третья партия — педиеи (жители равнины) — представляла интересы крупных землевладельцев, требовавших возврата к досолоновским временам. Во главе этой партии стоял Ликург.

Стр. 448. ...расцвело творчество... Анакреонта и была основана Академия.— Анакреонт (570—488 гг. до н. э.) — великий лирический поэт древней Греции. Его именем названа поэзия, воспеваящая любовь и наслаждение (анакреонтика). Академия — философская школа, основанная Платоном в 387 г. до н. э. в священной роще (в честь героя Академуса) того же названия близ Афин. От названия этой школы ведет свое происхождение и современное слово «академия».

...навстречу блистательному веку Перикла.— Перикл — крупнейший государственный деятель Афин, время его правления (443—429 гг. до н. э.) совпадает с наивысшим политическим и культурным расцветом афинской державы.

#### ОБЗОР ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ ВО ВРЕМЕНА ИМПЕРАТОРА ФРИДРИХА I Стр. 449—476

Стр. 449. Фридрих I — Фридрих I Барбаросса (1152—1190), германский император, виднейший представитель династии Гогенштауфенов (герцогов Швабии и Франконии), занимавшей императорский престол с 1138 до 1254 г. При Фридрихе I усилилась германская агрессия в Италии. В шестидесятых годах XI в. в Италии возникла коалиция для борьбы против императора, возглавленная папой Александром III; главную силу ее составлял союз ломбардских городов. В 1176 г. ополчение этих городов разгромило войска Фридриха в битве при Леньяно. Фридрих I был вынужден вернуть захваченные земли и удовлетворить политические требования папы. В настоящем обзоре Шиллером излагаются события периода, предшествовавшего воцарению Фридриха на императорском престоле.

Стр. 451. Ожесточенный спор императора с церковью... за-



кончился, наконец...— Борьба между духовной и светской властью была особенно острой в правление императоров Генриха IV (1065—1106) и Генриха V (1106—1125). Программа церкви была сформулирована папой Григорием VII (1073—1085 гг., в монашестве Гильдебранд) в так называемом «Диктате папы». В этом документе провозглашались верховная власть папы над всеми государями и над их подданными, исключительное право назначения епископов, а также право на так называемую инвеституру (акт передачи сеньором земельного владения вассалу, сопровождавшийся вручением скипетра, а у епископов, кроме того, вручением кольца и посоха как символа утверждения в духовном сане — духовная инвеститура). Борьба императоров с папами шла с переменным успехом. Генриху IV в 1077 г. пришлось коленапреклоненно вымаливать прощение у папы в Каноссе, однако уже в 1080 г. Генрих IV назначает «антипапу» Клементя III и совершает поход на Рим. Только при Генрихе V, в 1122 г., было достигнуто компромиссное соглашение между императором и папой (Вормский конкордат). По этому соглашению епископы избирались духовенством. В Германии «светская инвеститура» совершалась императором и предшествовала духовной, в Италии же вмешательство императора не дозволялось.

Стр. 452. ...«*слуга слуг господних*»...— титул, присвоенный папами с конца VI в.

Стр. 454. ...*порфира изменила и его помыслы*...— то есть возведение в монарший сан изменило его помыслы. Порфира — длинная пурпурная мантия, надеваемая монархами.

Стр. 456. *Иннокентий... вверил свою особу и свое дело благочестию короля Франции* — Людовика VI (1108—1137).

*Бернар Клервоский* — церковный деятель первой половины XII столетия. Основатель монастыря в Клерво во Франции. Известен преследованием «еретических» течений в церкви. В философии — мистик.

Стр. 457. *Латеран* — подаренный в III в. папе дворец в Риме, принадлежавший знатной фамилии Латеранов. Дворец сгорел в 1308 г.; на его месте была впоследствии воздвигнута Латеранская церковь. По месту заседаний ряд вселенских соборов получил название латеранских.

Стр. 459. ...*эта анафема относилась к Рожеру*...— Рожер II, король Сицилии. В 1130 г. добился объединения под своей властью норманских владений в Южной Италии и в Сицилии. Успешно воевал против Византии.

Стр. 460. *Анна Комнин и Оттон Фрейзингенский обратили наше внимание на норманские завоевания...*— Анна Комнин, дочь Алексея I Комнина, византийского императора (1081—1118). Ее мемуары («Алексиада») были переведены и опубликованы Шиллером в первом томе «Полного собрания исторических мемуаров». Оттон Фрейзингенский (ок. 1111—1158) — немецкий хронист, епископ в Баварии. Описанные им деяния императора Фридриха I Барбароссы также вошли в эту книгу.

Стр. 462. *Британию также завоевал норманский герцог — Вильгельм I Завоеватель (1066).*

*Агригент, Гела, Леонтины, Сиракузы, Селинунт и Гимера* — древнегреческие колонии в Сицилии, основанные в VIII—VII вв. до н. э. Наибольшее значение из них приобретают Сиракузы.

Стр. 463. *Кодекс Юстиниана* — свод законов, составленный комиссией юристов в 529—534 гг. при Восточно-римском императоре Юстиниане (527—565). Свод состоял из четырех частей: 1) кодекс Юстиниана — собрание ранее изданных законов римских императоров, 2) «Дигесты, или Пандекты» — сборник авторитетных мнений знаменитых римских юристов, 3) «Институции» — краткое систематическое руководство по римскому праву, 4) «Новеллы» — сборник законов, изданных самим Юстинианом. Римское право, как наиболее совершенная форма права, имеющего своей основой частную собственность, было принято во всех европейских государствах в XII—XIII вв. (так называемая рецепция римского права). Основным источником при рецепции был свод Юстиниана, получивший с этих пор известность под названием «Свод гражданских законов» («*Corsus juris civilis*»).

Стр. 464. *...под влиянием пророчеств о близости Страшного суда...*— Среди широких масс верующих было распространено поверье о новом явлении Христа после 1000 года.

Стр. 468. *...ведь ему, как известно, ничего не стоило прокладывать через земной шар новые меридианы и раздавать еще не открытые земли.*— Имеется в виду соглашение между Испанией и Португалией, заключенное в Тордесильясе в 1494 г. при содействии папы. По этому соглашению все вновь открытые земли к западу от линии, совпадающей с 30-м меридианом, должны были принадлежать испанцам, а к востоку — португальцам.

Стр. 471. *Греческий император Калоян...*— Иоанн II Комнин (1118—1143).

Стр. 476. *Генрих Лев* — герцог Саксонский (1139—1180) и герцог Баварский (1156—1180) из дома Вельфов. В связи с от-

казом Генриха Льва оказать поддержку императору Фридриху I Барбароссе из дома Гогенштауфенов в его борьбе против коалиции итальянских городов, Фридрих I обратил свое оружие против Генриха Льва. Императору удалось объединить вокруг себя германских феодалов. Генрих Лев был отрешен от престола, почти все его владения поделены между князьями. Борьба Вельфов с Гогенштауфенами, продолжавшаяся и в последующие десятилетия, дала повод к наименованию в Италии всех противников императорской власти вообще «вельфами» (или «гвельфами»), а ее сторонников — «гибеллинами» (от Вайблинген — названия родового замка Гогенштауфенов).

*...безрассудным походом в Иерусалим он заплатил роковую дань...*— Имеется в виду второй крестовый поход (1147—1149), в котором принимали участие император Конрад III и французский король Людовик VII. Результаты этой экспедиции были весьма плачевны. Крестьянское ополчение почти полностью погибло по дороге. Рыцари своими грабежами восстановили против себя Византию. Попытки взять Дамаск у арабов окончились полной неудачей.

**О ВЕЛИКОМ ПЕРЕСЕЛЕНИИ НАРОДОВ,  
О КРЕСТОВЫХ ПОХОДАХ И О СРЕДНИХ ВЕКАХ**  
Стр. 477—499

Стр. 479. *Новая система общественного устройства... имеет почти семивековую давность...*— Имеется в виду феодальный строй.

*...вандалов, свевов, аланов, готов, герулов, лангобардов...*— Вандалы — восточно-германское племя, обитавшее по Одру. Во II в. вандалы начинают продвигаться на юг, в 174 г. они были расселены императором по Дунаю, в римской провинции Дакии. В тридцатых годах IV в., вытесненные отсюда вестготами, они перешли на запад в Папилию, а затем под напором гуннов в Галлию и далее совместно с аланами и свевами в Испанию. Отсюда, снова вытесненные вестготами, вандалы во главе с королем Гейзерихом переправились в 429 г. в Африку. В 439 г. ими был взят Карфаген, в 455 г. захвачен и разграблен Рим, при этом было уничтожено большое количество памятников культуры. Неистовства вандалов во время их двухнедельного пребывания в Риме стали нарицательными — отсюда самое слово «вандализм». Созданное вандалами в Север-

ной Африке государство пало в 533 г. под ударами византийских войск. Свевы — собирательное название германских племен, обитавших между Эльбой и Одером. В начале V в. вторглись вместе с аланами и вандалами на Пиренейский полуостров. Аланы — северокавказское племя, предки современных осетин. В IV в. аланы были покорены гуннами и приняли участие в походах последних. Часть аланов в начале V в. вторглась совместно с вандалами и свевами в Испанию, а затем переправилась в Африку. Готы — группа восточногерманских племен, утвердившаяся в III в. в Северном Причерноморье. Готские племена, осевшие по Днестру, получили название вестготов (западных готов), а по Днепру — остготов (восточных готов). Остготы были в 375 г. разбиты гуннами; часть остготов покорилась гуннам, другая их часть поселилась в Паннонии к северу от Дуная. Вестготы, теснимые гуннами, перешли в 376 г. через Дунай и поселились в римской провинции Мёзии. Они возглавили ряд восстаний варваров и рабов против Рима; в 410 г. вестготы, возглавляемые Аларихом, взяли Рим. Вскоре, однако, вестготы покинули пределы Италии и основали в 419 г. в Аквитании (юго-западная часть Галлии между реками Луарой и Гаронной) первое варварское государство. В середине V в. вестготы завладели Испанией, вытеснив отсюда вандалов и аланов. Только северо-западная часть Испании осталась в руках свевов, основавших здесь свое государство. В 493 г. остготы основали в Италии свое государство; в 554 г. остготское государство было разгромлено византийскими войсками. Герулы — одно из северных германских племен, в III в. совместно с готами переселились в Причерноморье, а затем в Паннонию. Лангобарды — германское племя, обитавшее в устье Эльбы. К VI в. лангобарды продвинулись на юг в Паннонию, где соединились с герулами и племенем рушев. В 568 г. лангобарды завоевали Северную Италию и основали здесь королевство (отсюда название Ломбардия). Лангобардское государство было разгромлено в конце VIII в. франками и присоединено к державе Карла Великого (768—814).

*...но дух странствий и разбоя, приведший их в это новое отечество, опять пробудился в них на исходе одиннадцатого века...—* Имеются в виду крестовые походы, начавшиеся в 1096 г. и окончившиеся в 1270 г.

*...завоевать в Сирии всего лишь несколько городов и замков, которые двести лет спустя им суждено было потерять*

*вновь — и навсегда.*— Завоевания крестоносцев в Азии достигали наибольших размеров в середине XII в. и занимали прибрежную полосу Сирии и Палестины, простираясь в некоторых пунктах вглубь страны. На этой территории были расположены государства крестоносцев: королевство Иерусалимское, княжество Антиохия, графство Триполи и графство Эдесса (образованное частично на армянских землях). Уже к концу XII в. эти владения сильно сократились. Последняя крепость крестоносцев — Акра пала в 1289 г.

Стр. 480—481. *...даже в самую блистательную свою эпоху нация никогда не возвышалась до создания превосходных людей.*— Здесь нашли отражение ошибочные взгляды Шиллера на развитие человеческого общества в форме наций, как на пройденный этап в истории.

Стр. 481—482. *...горсточка его греков исчезла среди миллионов великого царя...*— Дария III Кодомана (336—330 гг. до н. э.), держава которого была разгромлена греко-македонскими армиями. Хотя армия завоевателей действительно растворилась в местном населении, однако греческое завоевание оставило заметный след в истории покоренных стран. Держава Александра распалась после его смерти (323 г. до н. э.), и на ее территории возникли новые, так называемые эллинистические государства с экономикой и культурой, значительно отличавшимися от предшествующей эпохи.

Стр. 482. *...орды маньчжуров незаметно затерялись в необъятном Китае.*— Имеется в виду завоевание Китая маньчжурами в XVII столетии. В начале XVI в. маньчжурские племена, занимавшиеся главным образом охотой и скотоводством, были еще разрознены. В роли объединителя страны выступил крупный местный феодал Нурхацци (1559—1626). Создав объединенную так называемую «восьмизнаменную» армию, Нурхацци начал борьбу против Китая. В этот период в Китае ширилось антифеодальное движение китайского крестьянства, вылившееся в мощное народное восстание. В 1644 г. повстанцы под руководством Ли Цзы-чэня овладели Пекином и свергли династию Мин. Преемник Нурхацци — Абахай, воспользовавшись помощью китайских феодалов, предавших родину, нанес поражение Ли Цзы-чэню, овладел Пекином и объявил себя в 1644 г. китайским императором. Его преемники (династия Цин) правили Китаем до 1911 г. Войска маньчжур были размещены в важнейших пунктах и пограничных крепостях Китая. Мань-

чжуры, стоявшие на более низкой ступени развития, не оказали почти никакого влияния на развитие страны и вскоре были ассимилированы местным населением.

*Разверзается скифская пустыня и извергает на западные страны суровое племя.*— Скифией античные авторы называли Причерноморские и Приазовские степи. В середине IV в. за Доном сложился большой союз племен во главе с племенем кочевников монгольского происхождения — гуннов (китайское название — хунну). В 375 г. гунны разгромили остготов и двинулись на Европу. Их продвижение сопровождалось невиданными жестокостями и наносило непоправимый ущерб экономике древних земледельческих народов. В 451 г. римский полководец Аэций нанес гуннам, предводительствуемым Атиллою, поражение на Каталаунских полях (нынешняя Шампань). После смерти Атиллы в 453 г. гуннский союз распался.

Стр. 483. *Неизменный, словно он все еще на салической почве, и не соблазняемый дарами, которые подносит ему покоренный римлянин, франк остается верен законам, давшим ему победу.*— Салическими франками назывались племена, обитавшие по нижнему течению Рейна. Салический закон (lex salica), или «Салическая правда», — запись на латинском языке судебных обычаев франков. Держава франков достигла наибольшего могущества при Карле Великом (768—814).

*И горе преемнику какого-нибудь Клодиона, если он на властительском подиуме Траяна возомнит себя Траяном!* — Клодион (ум. около 447 г.) — один из вождей франкских племен. Траян — римский император в 98—117 гг. Подиум — подножие императорской ложи.

Стр. 484. *Когда Рим еще рождал Сципионов и Фабиев...*— Знатные патрицианские роды. Их наиболее видные представители: Публий Корнелий Сципион Африканский Старший, разгромивший карфагенян в битве при Заме в 202 г. до н. э.; Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский Младший — крупный полководец, выигравший третью и последнюю войну против Карфагена и разрушивший этот город в 146 г. до н. э.; Фабий Максим Квиний, прозванный Кунктатором за свою медлительную тактику в войне против карфагенян (в 218—201 гг. до н. э.).

*...когда Гарун учил мыслить своих арабов...*— Гарун аль-Рашид — арабский халиф из династии Аббасидов (786—809 гг.). Время его правления совпадает с высшим культурным и экономическим расцветом Калифата.

Стр. 485. ...лишь один-единственный раз в деянии мудреца, одно имя которого уже является тяжчайшим упреком его веку...— Имеется в виду Сократ (469—399 гг. до н. э.), приговоренный к смерти за симпатии к олигархическому правлению.

Стр. 486. ...этруски и лузитанцы...— Этруски — одно из древнейших италийских племен, создавшее значительную культуру. Лузитанцы — древнее население юго-западной части Пиренейского полуострова.

Стр. 487. Комнины — династия византийских императоров, правившая в 1057—1185 гг. (с перерывом 1059—1081 гг.).

Левант (от итальянского levante — восход) — в средние века географическое понятие, охватывающее Ближний Восток и юг Балканского полуострова.

...сможет обходиться без ненадежной помощи путеводного Арктура и, с твердым руководящим началом в себе...— Арктур — одна из трех наиболее ярких звезд Северного полушария. Шиллер намекает ниже на магнитный компас, который стал известен европейцам в XIII в.

В Китае компас был известен в глубокой древности.

Стр. 488. ...римский иерарх...— римский папа.

Интердикт — запрещение отправлять церковные богослужения и обряды, налагавшееся римским папой в виде наказания.

...диктатор, поспешивший на помощь изнемогавшему Риму против Помпея? — Имеется в виду Юлий Цезарь, разгромивший Помпея в битве при Фарсале в 48 г. до н. э.

Стр. 489. Сарацины — у античных авторов наименование населения южной Аравии. В средние века сарацинами называли всех последователей ислама.

Стр. 490. ...на Эйidere, на Эбро...— Эйдер — река на юге Ютландского полуострова; Эбро — река на Пиренейском полуострове, впадает в Средиземное море.

Стр. 493. ...обязан был верностью (Fidem)...— Слово «феод» (Feudum) в современной науке объясняется как производное от древнегерманского — feoh, что означает скот. Скот у древних германцев служил средством обмена.

...по-немецки они именовались «Leihen», потому что их давали временно...— Глагол leihen означает по-немецки — одалживать, ссужать.

Стр. 496. ...о двойственном положении королей как барочов...— то есть держателей земли.

Стр. 501. *Пятикнижие Моисея* — основная книга Ветхого завета — более древней части библии. Пятикнижие состоит из следующих частей: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. По данным науки, Пятикнижие восходит к V в. до н. э. и представляет переработку устных преданий различного происхождения.

Стр. 518. *...фиванца Эдипа провозгласили царем...* — Эдип — персонаж греческой мифологии. Мифы об Эдипе получили известность в художественной обработке великого древнегреческого драматурга Софокла (497—406 гг. до н. э.).

*Персей, Геракл, Тесей* — герои древнегреческих мифов. Геракл, величайший из них, по преданию, совершил двенадцать подвигов в борьбе с различными чудовищами. Персею приписывается убийство горгоны Медузы, Тесею — уничтожение Минотавра.

Стр. 520. *Аларих, Атилла, Мервей.* — Аларих — вождь вестготов (395—410), в 410 г. его войска захватили и разграбили Рим. Атилла — предводитель гуннов (433—453), в 451 г. был разбит римлянами на Каталаунских полях (современная Франция); в 452 г. гунны подступили к Риму, но город взят не был, Атилла ограничился выкупом. Мервей — полулегендарный король франков (V в.), родоначальник династии Меровингов (V—VIII вв.).

*Мидянин Дейок* — по греческим источникам или согласно ассирийским надписям Даяукку, в конце VIII в. до н. э. объединил мидийские племена и создал могучую державу. Рассказ Геродота о его избрании на престол как «праведного судьи» носит легендарный характер.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ИЗ ЖИЗНИ  
МАРШАЛА ДЕ ВЬЕЙВИЛЯ  
Стр. 523—527

Стр. 525. *Из всех современных ему историографов один лишь Брантом отдает ему должное...* — Имеется в виду книга французского историка Пьера де Бурдея, сеньора де Брантома (1540—1614), «Жизнеописание знаменитых людей и великих полководцев как французов, так и иностранцев».

Н. ТЕР-АКОПЯН



## СО Д Е Р Ж А Н И Е

### ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

Тридцатилетняя война. *Перевел А. Горнфельд* . . . . . 9

### СТАТЬИ

Предисловие к Полному собранию исторических мемуаров. <i>Перевел Г. Бергельсон</i> . . . . .	401
Законодательство Ликурга и Солона. <i>Перевел А. Бобович</i> .	409
Обзор важнейших событий всемирной истории во времена императора Фридриха I. <i>Перевел Г. Бергельсон</i> . . .	449
О великом переселении народов, о крестовых походах и о средних веках. <i>Перевел Д. Горфинкель</i> . . . . .	477
Нечто о первом человеческом обществе по данным Моисеева Пятикнижия. <i>Перевел А. Бобович</i> . . . . .	501
Достопримечательные события из жизни маршала де Вей- виля. <i>Перевел Д. Горфинкель</i> . . . . .	523
<i>Н. Тер-Акопян</i> . Шиллер как историк . . . . .	529
Комментарии. <i>Н. Тер-Акопян</i> . . . . .	553

### *Фридрих Шиллер*

### Собрание сочинений, т. 5

Редактор *Б. Арон*. Художник *Г. Фишер*. Художеств. ред. *Л. Калитовская*. Технический редактор *Л. Сутина*. Корректор *Е. Козлова*

---

Сдано в набор 20/II—57 г. Подписано к печати 11/IV—57 г.  
Бумага 84×108<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—36<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, печ. л. 29,9 усл.-печ. л. 28,3 уч.-изд. л.  
Тираж 75000. Заказ 2156. Цена 12 р.

Гослитиздат. Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

3-я типография «Красный пролетарий» Главполиграфпрома Министерства культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.